

Рассылается по специальному списку

№ 000041

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том второй

МАРКСИЗМ В ЭПОХУ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Выпуск второй

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
1981

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том второй

МАРКСИЗМ
В ЭПОХУ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Выпуск второй

STORIA DEL MARXISMO

Volume secondo

IL MARXISMO NELL'ETA DELLA SECONDA INTERNAZIONALE

**Giulio Einaudi editore
Torino — 1979**

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том второй

МАРКСИЗМ В ЭПОХУ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Перевод с итальянского

Выпуск второй

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

1981

Общая редакция *АМБАРЦУМОВА Е. А.*

Редактор *ЦЫГАНКОВ И. И.*

СОДЕРЖАНИЕ

ВИТТОРИО СТРАДА

Полемика между большевиками и меньшевиками о революции 1905 года 9 9

1. Русская социал-демократия и Европа	10
2. Аграрный вопрос	12
3. Классы и государство в революции	17
4. Социализм и «буржуазная» демократия	25
5. «Военная партия» и «массовая партия»	29
6. Раскол между меньшевиками и большевиками на V съезде РСДРП	37
7. Троцкий, Парвус и «перманентная революция» — — — — —	39
8. Партия и революция — тезис Ленина	45
9. «Антинародническая» полемика меньшевиков	49
10. Якобинство и ленинизм	53

ЮТТА ШЕРРЕР

Богданов и Ленин: большевизм на распутье

1. Угроза раскола в большевизме	64
2. Политическая «картина мира»	70
3. Агитация и пропаганда	75
4. «Пролетарская культура»	82
5. Коллективизм — идеология будущего общества	98
6. Философия пролетарской борьбы	108

МАССИМО САЛЬВАДОРИ

Германская социал-демократия и русская революция 1905 года. Дискуссия о массовой забастовке и «различиях» между Востоком и Западом

1. Истоки разногласий	117
2. Русская революция и обстановка в Германии	119
3. Разногласия между партией и профсоюзами	121

4. Каутский: Германия между Россией и Соединенными Штатами	135
5. Роза Люксембург: «уроки» России	143
6. Парвус: русская революция и рабочая демократия	152
7. Бернштейн: государство и общество на Востоке и на Западе	159

АНДЖЕЙ ВАЛИЦКИЙ

Польский марксизм в конце XIX — начале XX века

1. Первое поколение польских марксистов	167
2. Национальный вопрос и социализм в отсталой стране	169
3. Проблема познания и неокантианство	174
4. Прошлое и настоящее	178
5. Келлес-Крауз и национальный вопрос	183
6. «Философия труда» Бжозовского	187

ВАЛЕНТИНО ДЖЕРРАТАНА

Антонио Лабриола и внедрение марксизма в Италии

1. Колебания в истолковании и оценке	192
2. Грезы итальянской революции	194
3. Кризис и отход от политики	198
4. От умеренной ориентации к социалистическому радикализму	204
5. Зрелый марксист	214
6. От написания «Очерков» до «кризиса марксизма»	224

ГРЕГОРИО ДЕ ПАОЛА

Жорж Сорель: от метафизики к мифу

1. Годы идейного формирования	236
2. Марксизм как «новая реальная метафизика»	241
3. Марксизм как философия действия	249
4. Марксизм как миф	257
5. Успех Сореля и сорельянства	266

ЭНДРИУ АРАТО

Антиномия классического марксизма: марксизм и философия

1. Материализм как всеобщее мировоззрение: Энгельс, Плеханов и Ленин	271
2. Исторический материализм: Лабриола и Каутский	289

3. «Критика» и этика: Кант и Маркс	301
4. Судьба диалектики в рядах социал-демократии	320
5. Сорель и антиномии марксистской мысли	333
6. Неустрашимый дуализм	340

АНДРАШ ХЕГЕДЮШ

Аграрный вопрос

1. Маркс об аграрном и крестьянском вопросе	344
2. Аграрная программа социализма и I Интернационал — — —	349
3. Попытки ревизии аграрной программы	354
4. Полемика вокруг тезиса о «невозможности выживания» мелкой и средней крестьянской собственности	358
5. Марксизм и аграрный вопрос в Восточной Европе	361

РЕНЕ ГАЛЛИСО

Дискуссии о нации и национальности в рабочем движении

1. Национальный вопрос: пробел в марксистском анализе	367
2. «Горизонты 1848 года»: исторические нации и народы без истории	373
3. Ирландия как исключение и уроки I Интернационала	379
4. «Капиталоцентризм» и незавершенность исследования националь- ности	385
5. Национальный этатизм и его первая теоретическая разработка у Каутского	392
6. Кошмар национализма во II Интернационале	399
7. Национализм и национальное освобождение: от Розы Люксембург к Джеймсу Конноли	401
8. Австрийский компромисс и дискуссия в России (1898—1905)	410
9. Отто Бауэр и национально-культурное развитие	426
10. Революционный централизм и право на самоопределение или национальную автономию и демократия	436

ФРАНКО АНДРЕУЧЧИ

Колониальный вопрос и империализм

1. Колониальный вопрос, угнетенные народы и «крах» капитализма	454
2. Мировая политика и капитализм конца столетия	463
3. Империализм	471

МАДЛЕН РЕБЕРЬО

Дискуссии о войне

1. Теоретические обоснования	480
2. Разработка вопроса о войне и мире: с 1848 года до I Интернационала	484
3. «Единственно подлинная партия мира» >>.....	490
4. Экономические противоречия и милитаризм	493
5. На рубеже века: Weltpolitik и заморские войны	498
6. Штутгарт: последнее проявление единства Интернационала	502
7. Какая война? ?.....	507
8. Война войне	512
9. Война или революция? ?.....	514
10. Крах Интернационала	519

Витторио Страда

ПОЛЕМИКА МЕЖДУ БОЛЬШЕВИКАМИ И МЕНЬШЕВИКАМИ О РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА

Революция 1905—1907 годов была решающим событием в развитии русского государства и общества. «Кровавое воскресенье» 9 января вызвало во всех классах общества и политических организациях внезапный подъем активности, освобождение огромного запаса энергии, накопленной в предыдущие годы и слишком долго подавляемой царским самодержавием. Все более широкие слои русского общества приходили к пониманию анахронизма самодержавия, препятствовавшего демократическим преобразованиям, которые могли бы привести к политическому раскрепощению новых экономических и социальных сил, сформировавшихся в результате бурного промышленного развития страны. Подобная перспектива привлекала в той или иной степени противоположные классы — буржуазию и пролетариат, а также крестьянские массы, наиболее остро ощущавшие гнет закоренелых пережитков, какими были полуфеодальные привилегии. В начале столетия Россия представляла собой сложный комплекс социальных сил и экономических укладов. Вся эта разнородная и динамичная социально-экономическая формация руководилась деспотизмом, который русская социал-демократия единодушно определяла как «азиатский», подчеркивая его специфику по отношению к западноевропейскому абсолютизму, свергнутому к тому времени в результате капиталистического развития и буржуазных революций.

Именно такое разнообразие экономических укладов внутри одного и того же общества и государства придавало революции 1905 года в отличие от других буржуазных революций в истории Европы характер новизны. Эта новизна, ставшая объектом изучения и дискуссии в среде социал-демократии — и не только русской, — не осталась не замеченной и последующими в России классами, как старыми, так и новыми. Ведь политика разных группировок, будь то феодально-монархические или либерально-буржуазные, обуславливалась тем, что «буржуазная революция» 1905 года, разразившаяся с исторической точки зрения с опозданием по сравнению с западноевропейскими революциями предыдущих столетий, произошла уже в эпоху зрелости рабочего класса, у которого в России была еще и своя собственная политическая пар-

тия, к тому же передовая и закаленная теоретически. Сложившаяся ситуация обеспечивала «старому порядку» свежие силы для маневра и для компромисса с теми группировками, которые потенциально принадлежали к «новому буржуазному порядку». В этих условиях перед рабочим классом и его партией, которая в то время в России была расколота на две враждебные фракции, меньшевистскую и большевистскую, не считая других, второстепенных группировок, стояли новые задачи.

1. Русская социал-демократия и Европа

Итак, революция 1905 года стала для русской социал-демократии настоящим испытанием огнем. И не только в прямом смысле, как любая революция, в ходе которой революционной партии решительно брошен вызов и она подвергается риску, но также и в более глубоком смысле: русской социал-демократической партии, прежде чем действовать, предстояло понять новую историческую обстановку, в которой она была призвана это делать. Речь шла также об осознании ею необходимости не только уяснить свою роль, но и определить сущность этой исторической силы — русской социал-демократии, вернее, двух ее фракций. Несмотря на свою новизну, революционная ситуация в России напоминала обстановку буржуазных революций в Западной Европе, а именно французских революций конца XVIII века и 1848 года. Вот почему, чтобы найти объяснение революционной ситуации 1905 года, русская социал-демократия неизбежно должна была определить, в чем сходство и в чем различие между революцией 1905 года и революциями 1789—1793 и 1848 годов. В более отдаленной перспективе это вело к новому сопоставлению, часто проводимому в истории русской политической и социальной мысли, — сопоставлению структурно-исторических характеристик России и Западной Европы.

Понять механизм русской революции и сопоставить его с механизмом европейских революций означало подвести солидную историческую и теоретическую базу под решение тактических вопросов социал-демократии, таких, как отношение к другим социальным и политическим силам или к скромным конституционным реформам, на проведение которых царизм вынужден был пойти. Это означало и нечто более существенное для русской социал-демократии: найти свое место, уяснить значение своей недавней истории и возможные направления своего развития — словом, установить, преодолимо ли размежевание большевиков и меньшевиков, происшедшее на II съезде РСДРП, или оно уже совершилось окончательно. Практика, как известно, внесла в этот вопрос абсолютную ясность: именно революция 1905 года показала, что разногла-

сия между двумя фракциями русской социал-демократии оказались глубокими и непримиримыми. В этом смысле революция 1905 года была, пользуясь ходячим выражением, «генеральной репетицией 1917 года»: помимо тактических разногласий, всегда вероятных и естественных даже внутри одной и той же политической организации, разногласий, связанных с бездной проблем, порождаемых любой революцией, в 1905 году еще более, чем в ходе дискуссии вокруг книги Ленина «Что делать?», и с еще большей логической последовательностью окончательно проявились два различных способа понимания самих задач, стоящих перед русским рабочим классом и его партией, и методов их решения.

Уже в период полемики, развернувшейся вокруг книги «Что делать?» и нашедшей отражение на II съезде РСДРП, русская социал-демократия представляла собой для социал-демократии Западной Европы сложную, новую, еще плохо изученную историческую реальность, тем более что сами русские социал-демократы по-разному объясняли эту реальность и ее практические перспективы. Отношения между русской и нерусской (особенно немецкой) социал-демократиями были довольно тесными, когда речь шла о совместных теоретических и политических изысканиях, а участие в работе V съезда РСДРП Розы Люксембург сделало их непосредственными. Важнейшие выступления западноевропейских социал-демократов (Каутского и особенно Люксембург) ввиду их воздействия на социал-демократию Европы заслуживают особого внимания и должны рассматриваться как составная часть формирования теоретических взглядов этих политических деятелей. Бесспорно одно: чтобы понять смысл полемики, развернувшейся в результате революции 1905 года, необходимо учитывать, как формировалась политика в среде русской социал-демократии. Ни одна из моделей революций, предложенных большевиками или меньшевиками, не имела в то время победоносного исхода, — революция потерпела поражение. Однако, не говоря уже о том глубоком и конструктивном значении, которое имеет для истории даже потерпевшая поражение революция, сама полемика, развернувшаяся тогда в кругах русских социал-демократов, представляла собой довольно поучительную картину двух воззрений и двух стратегий, одна из которых — большевистская — спустя десять лет возьмет верх на исторической арене, не умалив при этом значения стороны, потерпевшей поражение.

Мы не ставим здесь своей задачей предпринять исторический анализ первой русской революции, а также конкретную и точную реконструкцию, на основе всего обширного материала, динамики тактики большевиков и меньшевиков в ходе революции. Нас интересует выявление исходной точки двух политических направлений русской социал-демократии в этот

бурный период. Наиболее приемлемый путь открывают отдельные случаи столкновений и прямых конфронтаций между обеими социал-демократическими фракциями. Они проводили не полемику на расстоянии, анализ которой требовал бы детальной критической расшифровки от того, кто не был бы заведомо неблагоприятен к одной из этих фракций, а два съезда (IV и V), проходившие соответственно в апреле—мае 1906 года и апреле—мае 1907 года, на которых в прямой полемике столкнулись не только главные действующие лица — меньшевики и большевики, — но также (на V съезде РСДРП) Троцкий и Люксембург. Следует уточнить, что мы не беремся за рассмотрение всей истории этих двух съездов, а анализируем наиболее яркие диалексии, дополнив их рядом других положений. Нами будут освещены следующие центральные моменты: отношения социал-демократов с либералами, с одной стороны, и с крестьянством — с другой, а также проблема отношения самой социал-демократической партии к рабочему классу и к новым органам действия и руководства, порожденным революцией 1905 года, — Советам.

2. Аграрный вопрос

IV съезд РСДРП, получивший название «Объединительного», был созван с этой целью руководящими центрами обеих фракций, меньшевиков и большевиков, которые в конце 1905 года образовали объединенный Центральный Комитет по созыву съезда. Этот съезд, на котором большинство составляли делегаты-меньшевики, проходил в Стокгольме в апреле 1906 года. На повестке дня было два центральных политических вопроса, в которых нашел свое отражение опыт революционной борьбы, накопленный в течение года: аграрный вопрос и вопрос об отношении к Государственной думе (представительное собрание страны, созданное в декабре 1905 года).

Опыт революционного движения показал недостаточность аграрной программы социал-демократии, выработанной и принятой на II съезде партии (1903 год). Такая программа не могла более сводиться к борьбе за возвращение крестьянам «отрезков» — части земли, предназначавшейся крестьянам по реформе 1861 года, удержанной помещиками. Поскольку речь шла о пахотной земле, пастбищах и лесных угодьях, эти наделы были жизненно необходимы крестьянам, вынужденным поэтому арендовать их у помещиков. Но теперь крестьянское движение поставило вопрос непосредственно обо всей земле, еще находившейся в руках крупных землевладельцев. Доклад Ленина на съезде по аграрному вопросу не сохранился, но его точку зрения по этому вопросу легко ус-

тановить из других источников того времени, а также из самого хода дискуссии. Точка зрения Ленина заключалась главным образом в преобладании конфискации всех церковных, монастырских, государственных, помещичьих земель и, в случае победы революции, их национализации. Некоторые большевики, в том числе Сталин, предлагали, однако, разделить землю помещиков и передать наделы крестьянам в частную собственность. Они полагали, что между буржуазно-демократической и социалистической революциями пройдет достаточно долгое время и такая структура сельского хозяйства оправдает себя. Ленин же, рассчитывавший на скорейшее перерастание одной революции в другую, полагал, что только национализация создаст благоприятные условия для такого перерастания. Однако это не помешало ему поддержать по тактическим соображениям проект тех, кто требовал раздела земли и передачи ее в собственность отдельных крестьян. Меншевики же выдвигали положение о муниципализации земли, предусматривавшей передачу ее в распоряжение местных органов самоуправления. Последние должны были предоставлять ее в аренду крестьянам.

Против проекта национализации выдвигалось два основных соображения. Теоретик меньшевиков по аграрному вопросу Маслов, указав на разнообразие экономических условий, существующих одновременно в такой огромной стране, как Россия,—разнообразие, которое нельзя было оставить без внимания в аграрной программе (а как раз к этому вело «упрощенное и абстрактное» решение вопроса, предложенное Лениным),—утверждал, что национализация возымеет негативное действие, приведя к объединению в контрреволюционном движении всех областей Российской империи. По словам Маслова, это породило бы «не одну Вандею, а всеобщее восстание крестьянства против попытки вмешательства государства в распоряжение *собственными*, крестьянскими наделенными землями, против попытки их национализировать. Реакционеры воспользовались бы такой попыткой, чтобы восстановить крестьянство против революционеров, и осуществление проекта т. Ленина привело бы революцию не к ее концу, а к ее началу»¹. Кроме того, Маслов выступал с критикой «крестьянских комитетов», которые Ленин предлагал создать в качестве промежуточного звена между центром и крестьянством после национализации, в то время как меньшевики предлагали создать такое промежуточное звено из органов местного самоуправления после муниципализации. Маслов утверждает, что Ленин «в своем проекте, лишивши права принимать участие в распоряжении землями револю-

¹ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы». М., Госполитиздат, 1959, с. 55.

ционеров некрестьян, предлагая передать землю только крестьянским комитетам, мечтает потом, при дальнейшем развитии революции, когда будет провозглашена демократическая республика, *отобрать* у них землю и передать государству. Трудно придумать лучшее средство вызвать у крестьян отвращение к демократической республике и толкнуть их в контр-революцию!»¹.

Возражение, выдвинутое Плехановым против аграрной программы Ленина, имеет более теоретический характер и содержит критику большевиков, уже выраженную в ходе полемики вокруг книги «Что делать?»: Ленин-де отошел от марксистских позиций, воскресив под социал-демократическим обликом старые традиции русокого революционного народничества, и, более того, приблизился к неонародническим позициям партии социалистов-революционеров. Одновременно в адрес Ленина выдвигается иного рода критика: ревизия им его собственных взглядов периода 90-х годов, когда, по словам меньшевиков, он сотрудничал с «законными марксистами». По отношению к ним, в этот период уже стоявшим на самостоятельных либеральных позициях, Ленин будет постоянно, особенно начиная с 1905 года, выражать не только полную политическую антипатию, но и глубокое интеллектуальное презрение в отличие от меньшевиков, которые, напротив, как мы увидим дальше, стремились установить основанные на критике, но вместе с тем конструктивные отношения с либеральной буржуазией.

Прежде чем вернуться к выступлению Плеханова на IV съезде по аграрному вопросу, следует отметить, что в годы первой русской революции делаются первые открыто полемические и обстоятельные с политической точки зрения попытки исторически объяснить непродолжительный начальный период истории русской социал-демократии. Сам Ленин принимался за это исследование, собрав свои статьи за 1908 год и предпослав им обстоятельное предисловие². Что касается лагеря меньшевиков, то укажем на серию статей, опубликованных Мартыновым в том же году в «Голосе социал-демократа»³, в которых отмечаются и акцентируются разногласия и расхождения, в большинстве своем неосознанные или так или иначе замаскированные, между Лениным и такими социал-демократами, как Плеханов и Аксельрод, уже в 90-е годы, то есть еще до раскола между большевиками и меньшевика-

¹ Там же, с. 56.

² См. приложение к итальянскому изданию книги В. И. Ленина «Что делать?» (Турин, 1971).

³ См. статьи под заглавием «Движущая сила русской революции (К 20-летию русской социал-демократии)», напечатанные в различных номерах «Голоса социал-демократа», теоретического и политического органа меньшевиков, издававшегося сначала в Женеве, а затем Париже (1908).

ми. Как считал Мартынов, Ленин «грешил» тогда чрезмерным пренебрежением к собственным позициям начала века, и особенно периода революции 1905 года, то есть грешил умеренностью. Не вдаваясь в сложные переплетения вопросов истории и теории, относящихся к первому десятилетию истории русской социал-демократии, рассмотрим в качестве примера один из вопросов в изложении Мартынова, что поможет нам понять полемический намек, содержащийся в выступлении Плеханова.

Мартынов пишет: «Еще в 1902 году Ленин полагал, будто возвращение крестьянам отрезков — это максимум того, что может принести революция, не нарушая интересов общественного развития — в настоящее время капиталистического — и не нарушая интересов классовой борьбы пролетариата. Следовательно, Ленин еще в 1902 году думал, что полная экспроприация крупной помещичьей собственности была как экономическая мера реакционной для России. Принципиально иным было понимание значения требования возврата отрезков группой «Освобождение труда»: члены этой группы полагали, что лишь «соотношение сил» в данный момент — то есть лишь тактические соображения (опасность контрреволюционной коалиции буржуазных классов против радикальных аграрных требований при отсутствии в то время сильного крестьянского движения, способного поддержать их) — заставляло в данный момент воздержаться от внесения в программу пункта о полной экспроприации. Но при благоприятном изменении соотношения сил и при наличии развития революционного движения крестьян, по мнению членов этой группы, можно и уместно расширить требования вплоть до полной экспроприации, не только не опасаясь, что это повредит развитию капитализма, но, напротив, будучи уверенными в обратном. Однако, сознательно не делая из экспроприации боевого лозунга, группа в то же время считала необходимым продолжать держать под спудом свои идеи по данному поводу, и поэтому Плеханов одновременно с Лениным дал в «Искре» свой комментарий к аграрной программе, принципиально отличный от ленинского»¹.

Отсюда понятно, что хотел сказать Плеханов, когда в начале своего содоклада по аграрному вопросу, указав на необходимость исправления «ошибки, которая закралась» в аграрную программу 1903 года, заявил, что в то время «многие из наших товарищей стояли за отрезки, потому что боялись крестьянской аграрной революции. Она остановила бы в России развитие капитализма»². Но если раньше, по мнению

¹ А. Мартынов. Движущая сила революции. — «Голос социал-демократа», № 1—2, с. 14.

² «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 58.

Плеханова и Мартынова, аграрная программа Ленина была слишком умеренной и запоздалой, то его новая программа, программа национализации, являлась не только внешне слишком революционной, но и при этом чреватой опасностью, связанной со специфическим характером русской истории и русского государства. Этот специфический характер Плеханов называет «китайщиной»! и анализирует эту особенность в статье «К аграрному вопросу в России», опубликованной незадолго до съезда в «Дневнике социал-демократа». В своем выступлении он следующим образом синтезирует свою точку зрения, являющуюся центральной в его понимании русской истории сравнительно с западноевропейской и задач социалистической «европеизации», которые должна была решить русская социал-демократия: «Аграрная история России более похожа на историю Индии, Египта, Китая и других восточных деспотий, чем на историю Западной Европы. В этом нет ничего удивительного, потому что экономическое развитие каждого народа совершается в своеобразной исторической обстановке. У нас дело сложилось так, что земля вместе с земледельцами была закреплена государством, и на основании этого закрепощения развился русский деспотизм. Чтобы разбить деспотизм, необходимо устранить его экономическую ос-

! Плеханов пишет: «Случилось ли вам прочесть в VII томе географии Элизе Реклю страницы, посвященные Китаю? Если случилось, то вы, наверное, помните курьезный рассказ о том, как «после различных перипетий, повлекших за собой революции и перемены династий», китайские «социалисты» покинули идею общинной собственности («как она существовала прежде») и «сделали попытку применить новую систему». В 1069 г. Ван ган-че, повествует Реклю, удалось установить свою систему государственного коммунизма и сохранить ее на протяжении пятнадцати лет. «Но достаточно было перемены царствования, чтобы низвергнуть новый режим, который так же мало соответствовал желаниям народа, как и стремлениям высокопоставленных лиц, и который к тому же создал целый класс инквизиторов, сделавшихся настоящими землевладельцами» [“Nouvelle géographie”, tome VII, p. 577] (Г. В. Плеханов. Соч., т. XV, с. 31).

Этот эпизод из китайского «коммунизма» нужен Плеханову для того, чтобы сделать следующий вывод: «Мы не только не ждем ничего, кроме зла, от затей русских Ван ган-че, но употребим все усилия для того, чтобы сделать такие затеи экономически и политически невозможными» (там же, с. 33). Однако плехановский анализ идет от полемики о «национализации земли» к интерпретации специфической природы русской истории, что типично для его марксизма. Действительно, он пишет: «Надо признать, однако, что в аграрной истории Московской Руси было, к сожалению, слишком много китайщины. Под влиянием многих неблагоприятных исторических условий, — в числе которых экономическая отсталость этой части России и монгольское иго играли не последнюю роль, — право собственности на землю из рук *земледельцев* постепенно перешло к великому князю, — впоследствии к царю, — который и стал распоряжаться ею как фондом для удовлетворения потребностей государства. Петербургский период нашей империи закончил и привел в систему то, что начато было московским... И вот русское государство постепенно сделалось тем Левиафаном, о котором мечтал Томас Гоббс» (там же, с. 33—34).

нову. Поэтому я — против национализации теперь; когда мы спорили о ней с социалистами-революционерами, тогда Ленин находил, что мои возражения были правильны»¹.

Теперь же «Ленин смотрит на национализацию глазами социалиста-революционера», и — комментирует Плеханов, указывая на его приверженность к народничеству, но одновременно упрощая оригинальность его политической мысли, которая не была простым воспроизведением русского революционного народничества², — «приятно вспомнить старых знакомых, но неприятно видеть, что социал-демократы становятся на народническую точку зрения»³. С одной стороны, Плеханов связывал новую аграрную программу Ленина с «оптимистическими предположениями», с «обычным приемом утопического мышления»⁴, согласно которому демократическая республика, порожденная революцией, продержится вечно и, следовательно, национализация не принесет результатов, вызывавших опасение Плеханова (сам же Плеханов настаивал на существовании опасности реставрации деспотизма, которая именно в национализации найдет солидную базу); а с другой стороны, он отдавал себе отчет в том, что аграрная программа Ленина не являлась самоцелью, а была «тесно связана с утопией захвата власти революционерами»⁵, то есть с народническо-якобинским проектом, который должен был осуществляться, по мнению меньшевиков, на базе организации и концепции партии, отстаиваемых Лениным. Это также послужило причиной того, что Плеханов выступал против ленинской аграрной программы и предпочитал ей муниципализацию, которая, если ее проведение доверить местным органам самоуправления и в случае реставрации деспотизма, создаст благодаря таким политическим органам оплот против реакции. Впрочем, заключал Плеханов, если бы муниципализация была невозможной и если бы пришлось выбирать между национализацией и распределением земли между крестьянами, то он «в интересах революции» предпочел бы последнее решение.

3. Классы и государство в революции

Все эти разнообразные позиции по аграрному вопросу были еще одним отражением полемики, которую вели русские марксисты, особенно Плеханов, против народничества.

¹ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 59.

² По вопросу отношения Ленина к народничеству см. введение В. Страды к итальянскому изданию книги В. И. Ленина «Что делать?», а также библиографические сведения, содержащиеся в этой книге.

³ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 59.

⁴ Там же, с. 60.

⁵ Там же.

Центральным в этой полемике был вопрос о государстве, о самодержавном государстве старого типа в России, которое революционные народники, захватив власть путем заговора, намеревались использовать в целях проведения радикальных социально-экономических преобразований в стране. Именно поэтому в своих основных работах о русском революционном марксизме Плеханов боролся против народническо-якобинской идеи «захвата власти», предостерегая от увлечения идеалом «патриархального авторитарного коммунизма», при котором вместо «перувианских „сынов солнца“ и их чиновников национальным производством будет заведовать социалистическая каста»¹. Уже упомянутая статья Плеханова «К аграрному вопросу в России» содержит его центральную мысль о «восточном деспотизме» и на примере русской аграрной истории показывает, как «русское государство постепенно сделалось тем Левиафаном, о котором мечтал Томас Гоббс»². В исторической обстановке рабства и деспотизма, разумеется, не могла остаться нетронутой психология крестьянина. Чем объяснить, спрашивает Плеханов, видимую легкость революционной пропаганды среди крестьянства, а также «беспорядки» в деревне? И отвечает: «психологией крестьянина, исторически сложившейся на почве очерченной мною «*национализации*» земли. А эта психология существовала несравненно раньше, чем крестьянство стало поддаваться революционному влиянию. Она создана не революционерами, а „историей государства российского“»³. Когда крестьяне говорят об изъятии земли у помещиков, они даже не помышляют о подрыве основ государства. Напротив, крестьянин «считает себя *охранителем* той экономической основы, которая освящена в его глазах веками, потому что на ней в течение целых веков держалось русское государство. Потому-то он искренно считает *бунтовщиками* помещиков, противящихся переделу. И в некотором смысле — в смысле *сознательного* стремления — он в самом деле является охранителем. Более того. Если бы ему удалось восстановить указанную экономическую основу старого нашего государственного порядка, то сильно, очень сильно повернулось бы назад колесо русской истории»⁴. Отсюда двойственность отношения Плеханова и меньшевиков к крестьянству, в котором они усматривали оппозицию и одновременно вероятную опору режима нового деспотизма.

«Поэтому мы поддерживаем крестьянское движение *толь-*

¹ Г. В. Плеханов. Соч., т. II, с. 81. Об этой антинароднической полемике (и антиленинской — *ante litteram*) Плеханова см. введение к итальянскому изданию книги В. И. Ленина «Что делать?», с. LV—LVI.

² Там же, с. 34.

³ Там же, с. 35.

⁴ Там же, с. 35—36.

ко в той мере, в какой оно разрушает старое, а не в той мере, в какой оно стремится восстановить нечто такое, в сравнении с чем само это старое кажется новым и прогрессивным явлением. Двойственный характер крестьянского движения требует от нас — не скажу двойственной тактики, потому что хуже такой тактики быть ничего не может,—нет, наоборот, нам нужно внимательно следить за тем, чтобы наша тактика не стала двойственной под влиянием двойственного характера крестьянского движения; чтобы она сама не прониклась отчасти реакционным духом; чтобы она не поддерживала стремления повернуть назад русскую экономическую историю»¹.

Если меньшевики обвиняли большевиков в авантюризме и утопизме новонародничества, большевики обвиняли меньшевиков в либерально-демократических тенденциях и революционной вялости. Так, Сталин, носивший тогда псевдоним Иванович, писал, что выступление Плеханова с его постоянными полемическими выпадами против «пагубности „ленинизма“» создает напряженную обстановку и, безусловно, не способствует «объединению»; если Плеханов очень много говорит об «анархических замашках» Ленина, то «и мы могли бы сказать кое-что о кадетских замашках т. Плеханова»². Но это тоже полемический прием, так как всем было ясно, что позиции обеих фракций довольно далеки одна от другой и, как некоторое время спустя подтвердилось, оказались непримиримыми. Более существенно соображение, из которого видно, что Сталин не поддерживает ни национализации, ни муниципализации, но выступает за раздел земли: соображение чисто прагматическое и тактическое, способное примирить оба решения. Союз с крестьянством он рассматривает как чисто «временный»: «мы не можем, стало быть, не считаться с требованиями этого крестьянства», а оно «требует раздела» — меры, которая не противоречит сегодняшним интересам революции и которая, следовательно, должна быть принята рабочим классом³.

Более ярко в поддержку Ленина выступил Луначарский. Он также остановился на выдвинутом Плехановым обвинении Ленина в принадлежности к социалистам-революционерам: «Серьезно утверждать, что Ленин эсер, было бы так же дико и странно, как если бы в этом собрании раздалось утверждение, что т. Плеханов — кадет»⁴. Здесь речь идет о первых стычках, однако в дальнейшем, особенно на V съезде, подобные утверждения, пусть не такие безапелляционные,

¹ Там же, с. 36.

² «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 78. «Кадетами» называли русских либералов по начальным буквам названия их партии — конституционно-демократическая.

³ Там же, с. 79.

⁴ Там же, с. 98.

уже не покажутся «дикими и странными» ни в том, ни в другом смысле, так как центральным вопросом будет именно отношение социал-демократии, с одной стороны, к крестьянским массам и их партиям (прежде всего социалистам-революционерам) и, с другой стороны, к либерально-буржуазным слоям и конституционно-демократической партии, представляющей эти слои. Продолжая полемику с Плехановым, Луначарский превозносит «гибкость» Ленина, доказанную им «вполне недвусмысленно, когда он под давлением событий шагнул от отрезков, главным кумом которых он был, — к национализации»¹. Такая оценка вместе с тем допускала наличие определенного изменения, внесенного Лениным в его аграрную политику. Однако это воинственно-оборонительное выступление Луначарского не ограничивается лишь аграрной политикой; его поразило то место выступления Плеханова, где он критикует идеи Ленина о «захвате власти». Очевидно, Плеханов не мог себе представить, рассуждает Луначарский, что любая политическая сила, особенно революционная, естественно, стремится к победоносному завершению борьбы за власть.

«Нет, т. Плеханов, очевидно, имел в виду заговорщицкий захват, тот, который теперь можно видеть разве только в оперетке. Приходят во дворец 50 замаскированных людей с кинжалами и совершают переворот. Но разве победа революции связывается у Ленина с подобным опереточным захватом власти? Ничуть»².

Здесь в нарочито шутиливом тоне Луначарского уловим отзвук полемики, развернувшейся вокруг книги «Что делать?» и прозвучавшей на II съезде РСДРП. Разумеется, теория «заговорщицкого захвата власти» не укладывалась в поверхностные опереточные термины, и, как мы увидим, сущность такого захвата будет уточнена в ходе дискуссии о революции 1905 года.

В заключительном выступлении Ленина по аграрному вопросу особого внимания заслуживают два пункта. Первый касается гарантий против реставрации, в результате которой национализация оказалась бы контрреволюционной мерой. Ленин уточняет, что есть «единственная гарантия» — «социалистический переворот на Западе»³, но эта гарантия должна относиться и ко всем другим решениям аграрного вопроса, а не только к национализации: «Вне этого условия, при всяком другом решении вопроса (муниципализация, раздел и т. п.) реставрация не только возможна, но прямо неизбежна. Я формулировал бы это положение в таких словах:

¹ Там же, с. 99.

² Там же, с. 97—98.

³ Там же, с. 127.

русская революция может своими собственными силами победить, но она ни в коем случае не может своими собственными руками удержать и закрепить своих завоеваний. Она не может достигнуть этого, если на Западе не будет социалистического переворота»¹.

Далее Ленин подкрепляет идею международного характера русской революции сравнением с Великой французской революцией: «У нашей демократической республики нет никакого резерва, кроме социалистического пролетариата на Западе, и в этом отношении не надо упускать из виду, что классическая буржуазная революция в Европе, именно Великая французская революция XVIII века, происходила совсем не при такой международной обстановке, при какой происходит русская революция. Франция конца XVIII века была окружена феодальными и полуфеодальными государствами. Россия XX века, совершающая буржуазную революцию, окружена странами, в которых социалистический пролетариат стоит во всеоружии накануне последней схватки с буржуазией»².

Сравнение с Великой французской революцией и с революцией 1848 года, как мы увидим дальше, будет часто фигурировать при анализе революции 1905 года и в полемике о ней. Здесь достаточно отметить, что если фоном для обсуждения аграрного вопроса служит социалистическая революция в Европе, то даже в условиях России это всего лишь центральный момент более широкой деятельности — захвата власти. И напоминание о революционном народничестве «Народной воли», полемизирует Ленин, — натяжка, поскольку в то время к захвату власти стремилась только группа интеллигентов, лишенная опоры на подлинно массовое движение, тогда как теперь, начиная с 1905 года, в результате открытого революционного выступления народных масс вопрос захвата власти стоит на повестке дня совсем по-иному. Полемизируя с Плехановым, Ленин говорит: «Аграрная революция есть пустая фраза, если ее победа не предполагает завоевания власти революционным народом. Без этого последнего условия это будет не аграрная революция, а крестьянский бунт или кадетские аграрные реформы»³.

Эта позиция Ленина особенно отчетливо выделяется в свете его идеи о буржуазной революции в России, идеи парадоксальной, согласно которой «победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буржуазии»⁴. Ленин продолжает: «Это кажется парадоксальным, но это факт. Преобладание крестьянского населения, страшная придавлен-

¹ Там же.

² Там же, с. 127—128.

³ Там же, с. 130.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 44.

ность его крепостническим (наполовину) крупным землевладением, сила и сознательность организованного уже в социалистическую партию пролетариата,—все эти обстоятельства придают нашей буржуазной революции *особый* характер»¹.

Этот особый характер вовсе не лишает революцию ее буржуазного характера, а «выделяет ее из числа других буржуазных революций нового времени, но сближает ее с великими буржуазными революциями старых времен, когда крестьянство играло выдающуюся революционную роль»².

Этот оригинальный исторический анализ своеобразного характера буржуазной революции обосновывает не менее оригинальную ленинскую теорию о формах революционной власти, которые она должна создать, а также проливает свет на те контрреволюционные позиции, которые займет русская буржуазия: «Эта особенность обуславливает лишь контрреволюционный характер нашей буржуазии и необходимость диктатуры пролетариата и крестьянства для победы в такой революции. Ибо «коалиция пролетариата и крестьянства», одерживающая *победу* в буржуазной революции, и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»³.

Здесь Ленин делает смелое обобщение: он не повторяет народнических положений, а развивает их, обновляя в свете применения более широкой стратегии, соответствующей новой исторической обстановке классовой борьбы в России и особой интерпретации положений Маркса и Энгельса. Программа стратегии приобретает поистине грандиозный характер: развернувшаяся революция — буржуазная, и речь идет не о немедленном начале социалистической революции, хотя руководящая роль в этой буржуазной революции принадлежит пролетариату в союзе с крестьянством и органом государственной власти, который призван осуществить эту буржуазную революцию без буржуазии, является «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», напоминающая якобинскую диктатуру времен Великой французской революции. Речь идет о диктатуре, которая не только осуществляет буржуазную революцию «демократически» (в терминах якобинской, а не либеральной демократии): другой важной задачей такой диктатуры будет обеспечение «перерастания» буржуазной революции в революцию социалистическую. Подлинным режиссером этой исторической операции — составной части европейской революции — будет, по видимому, партия, но такая партия, какой ее представлял себе Ленин, и главное, партия под его личным руководством, поскольку он сам был идейным вдохновителем и организа-

¹ Там же.

² Там же, с. 46.

³ Там же, с. 44.

тором всего этого движения и имел право непосредственно принимать решения стратегического и тактического характера, а также неожиданно изменять свои собственные позиции, так что его наиболее близкие соратники часто оставались в недоумении.

Речь, как всегда, шла о решениях и переменах, подчиняющихся какой-то последовательной, хотя и скрытой логике,— логике форсированного и управляемого процесса исторического развития в России и за ее пределами в соответствии с новой перспективой, при которой старое народничество вступало в творческий синтез с особым видом марксизма. Таким образом, можно понять, какая пропасть отделяла Ленина от меньшевиков, бескомпромиссных антинародников, убежденных в том, что русская революция была по существу «традиционной» буржуазной революцией и, следовательно, представляла русскому пролетариату удобный случай поддержать либеральную буржуазию в ее борьбе против самодержавия и вместе с тем расширить массовое движение, особенно в городе, до движения за политическое воспитание всего рабочего класса в ходе завоевания демократических свобод и новых позиций для борьбы. В этой операции меньшевики ставили партию ниже класса, а политический опыт масс— выше усиления руководящей группы революционеров. Неслучайно опыт Советов родился в сфере меньшевиков и затем утвердился вопреки скептицизму большевиков (Ленин лучше и раньше других большевиков понял значение Советов, хотя и в рамках своего иного стратегического и тактического проекта). Что касается Троцкого и Розы Люксембург, то на их взглядах, как увидим, следует остановиться более подробно.

Вернемся к IV съезду РСДРП, а именно к заключительному выступлению Плеханова по аграрному вопросу. Плеханов хорошо видел кардинальные пункты разногласий с Лениным, хотя и был склонен сводить ленинские позиции к народническим, не замечая новизны взглядов Ленина по сравнению со своими: «Между мною и Лениным существуют в высшей степени серьезные разногласия. Этих разногласий не надо затушевывать. Их надо выяснить себе во всей их важности, во всем их объеме. Наша партия переживает чрезвычайно серьезный момент. От решения, которое вы примете сегодня или завтра по занимающему нас вопросу, будет в значительной степени зависеть судьба всей нашей партии, а с ней и всей нашей страны. И это именно потому, что в проекте т. Ленина оказывается не только частный его взгляд на наш аграрный вопрос, а весь характер его революционного мышления. Бланкизм или марксизм— вот вопрос, который мы решаем сегодня»¹.

¹ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 139.

В Ленине, говорит Плеханов, «поистине, пропал превосходный адвокат»! — такова сила красноречия, с которым он защищал свой проект. Однако Ленин с откровенностью, за которую ему надо воздать должное, признал, что «его аграрный проект тесно связан с его идеей захвата власти»². Итак, продолжает Плеханов, «наша точка зрения состоит в том, что захват власти обязателен для нас, но обязателен тогда, когда мы делаем *пролетарскую* революцию. А так как предстоящая нам теперь революция может быть только мелкобуржуазной, то мы обязаны отказаться от захвата власти»³. Наконец, Плеханов дает любопытный ответ, адресованный Ленину и косвенно Луначарскому, относительно характера «Народной воли»: «Тов. Ленин с жаром и энергией говорит мне, что после 17 октября⁴ народовольческая идея захвата власти перестала быть утопией. Но в чем же заключался утопический характер этой идеи? В том ли, что народovolьцы надеялись захватить власть силами небольшой горстки людей? Нет. Только тот, кто судит о заговорщиках по опереточным заговорам, как это делают некоторые наши театральные критики, только тот может думать, что народovolьцы приурочивали свои надежды к усилиям горстки заговорщиков; нет, они также понимали, что захват власти революционерами должен явиться результатом революционного движения всего народа. Утопический характер их мышления состоял в том, что они считали возможным для революционной власти решение таких задач, которых она решить не может, устранение таких трудностей, которые неустранимы. Утописты тем и отличаются от нас, марксистов, что они обходят трудности вопроса с помощью тех или других оптимистических предположений. И этот утопический прием характеризует теперь революционное мышление Ленина. Он именно обходит трудности вопроса с помощью оптимистических предположений. А кто сомневается в убедительности такого приема, того он заподозревает в равнодушии к революционному делу»⁵.

Это — тонкое замечание, но в нем, однако, не принималась во внимание не только сила убеждения, но и сила воздействия, которой в высшей степени обладала ленинская «утопия». Подобная ограниченность плехановской критики происходила от недопонимания самобытности такой «утопии» не только по сравнению с народничеством, с которым она, скажем, была связана, но и по сравнению с любой другой

¹ Там же, с. 140.

² Там же, с. 139.

³ Там же, с. 142.

⁴ То есть после первой победы революции, которая привела к опубликованию царского манифеста 17 октября о признании Думы законодательным органом, а также о предоставлении политических свобод.

⁵ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 142.

утопией. «Утопия» Ленина была реалистичной, основанной на понимании самобытности русской исторической обстановки, а также на чрезвычайной политической и этической гибкости в противоположность твердой меньшевистской «ортодоксальности». Подлинными «утопистами» были меньшевики, которые надеялись, что смогут повторить в России буржуазную и рабочую революции в чистом виде, не отдавая себе отчета в хрупкости и одновременно инертности государственно-по аппарата своей страны и стремясь сделать из демократии этический принцип, который рабочий класс и его партия должны будут соблюдать.

4. Социализм и «буржуазная» демократия

Дискуссия по аграрному вопросу уже, как известно, переплеталась с наиболее важными и общими проблемами политики партии, поэтому переход ко второй части съезда, к обсуждению «текущего момента и классовых задач пролетариата», означал не что иное, как естественное углубление первой его части. Непосредственным политическим вопросом был вопрос об участии в выборах в Думу или бойкоте ее; большевики и меньшевики принимали по нему противоположные решения (впоследствии Ленин признал, что, когда революционная волна стала спадать, бойкот первой Думы был ошибочным). Рассмотрим наиболее общие и устойчивые мотивы разногласий между двумя фракциями русской социал-демократии.

В самом начале своего доклада Мартынов подчеркивает непримиримость позиций меньшевиков и большевиков: «Мы, так называемые меньшевики и большевики, расходимся не только в наших нынешних тактических директивах, мы расходимся в самом критерии, в самом представлении о ходе всякой революции. Именно поэтому мы различно оцениваем текущий момент, именно поэтому мы приходим к различным тактическим выводам»¹.

Поскольку тактические расхождения большевиков и меньшевиков опираются на принципиальные противоположения, следует рассмотреть обе концепции революции. Как утверждает Мартынов, «большевики говорят: либо конституционное строительство, либо вооруженное восстание», то есть выдвигают совершенно «утопическую» альтернативу, поскольку «во всех крупных революциях стихийный взрыв и насильственное столкновение идут параллельно с ломкой политических учреждений, то есть с конституционным строительством, и оба эти процесса не только исключают, но, напротив, вза-

¹ Там же, с. 192.

имно обуславливают друг друга»¹. В дальнейшем мы увидим, что на V съезде РСДРП оппозиция между обеими фракциями по этому вопросу станет более отчетливой, а пока посмотрим, как Ленину вновь предъявляется обвинение в новонародничестве и анархизме. Еще раз напоминая о выступлении Луначарского, который иронизирует по поводу «захвата власти», сравнивая его с опереточным заговором, Мартынов, развивая мысль Плеханова, настаивает: «Если бы т. Войнов [Луначарский] был так же хорошо знаком с историей русского революционного движения, как он знаком с историей опереток, то он пришел бы к другим выводам. Ткачев и Бакунин писали о восстании совершенно то же самое, что рассказывал нам здесь т. Ленин в своей речи об аграрном вопросе; они говорили не о кучке заговорщиков, а о широком стихийном движении народных масс, о «революционном творчестве» народа, о «Народной расправе»², и по поводу этого именно изображения революции Энгельс сказал: „Представлять себе захват власти в таком виде могут только люди, не пережившие двенадцатилетнего возраста”»³.

Мотивы несогласия с большевиками касались оценки роли либералов, к которым Ленин неизменно относился презрительно-оппозиционно. Иной была позиция Мартынова: никаких иллюзий по отношению к либералам, но «...мы должны иметь в виду, что либералы самим объективным ходом революционных событий вынуждены искать опору в новых элементах буржуазно-демократического населения. Наши либералы антиреволюционны, но они организуют и сплачивают такие элементы средней и мелкой буржуазии, которые неизбежно перерастут их в своей программе и в своей тактике»⁴.

В ответ на возражение большевиков, которые считали, что в эпоху открытой борьбы между социализмом и буржуазией буржуазная демократия уже не в состоянии выработать революционную идеологию, Мартынов ссылается на исключительные условия, в которых находится Россия, но в противоположность Ленину он находит эти условия типичными для буржуазной революции, в которой «...антагонизм между нарождающимся буржуазным обществом и отмирающим крепостническим — чреват гораздо более острыми революционными столкновениями, чем антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Пролетариат своей борьбой обостряет все противоречия современного общества и тем самым содействует

¹ Там же.

² «Народная расправа» — организация Сергея Нечаева. См. наше предисловие к книге А. Герцена «К старому товарищу» (А. *Herzen. A un vecchio compagno*. Torino, 1977).

³ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 192.

⁴ Там же, с. 194.

обнаружению социального характера нашей революции, как революции буржуазной»¹.

Однако подлинные разногласия касались не столько средств (в определенном смысле обе тактики — тактика поддержки либеральной демократии и тактика союза с революционным крестьянством, предлагаемые соответственно меньшевиками и большевиками — в 1905 году не принесли ожидаемых результатов), сколько целей. И снова Мартынов в конце своего доклада резонно утверждает, что обе фракции расходятся даже в представлениях о том, каков должен быть «психологический тип доброго революционера»². Естественно, указывает Мартынов, большевики подражают Бланки, но уточняет, что они это делают плохо, поскольку Бланки говорил, что у хорошего революционера должно быть «*du feu sous la glace*», то есть сердце должно быть пламенное, а голова — холодна, как лед. У большевиков же горячее воображение, а сердце холодное. По этому поводу стоит привести курьезный случай. Однажды Мартынов беседовал в коридоре с Лениным, когда из зала заседаний неожиданно выбежал Луначарский «и запыхавшись крикнул Ленину: они не хотят вставить слово „революционное“. Ленин с Воиновым моментально побежали в зал и подняли руки, голосуя за слово «революционное», причем Ленин даже и не знал, где это слово предполагалось вставить»³.

Луначарский, взяв слово после Мартынова, осуждает обострение антибольшевистской полемики, в основе которой лежало мнение меньшевиков о том, что вероятная «победа ленинизма означала бы принижение марксистской мысли, забвение марксистских традиций, торжество утопизма и революционной фразы»⁴. Он напоминает меньшевикам о том, что и они в период подъема революции прибегли к тому самому утопизму, который теперь вменяют в вину большевикам. С другой стороны, Луначарский обвиняет Плеханова в «боязни новизны»: «из страха перед мнимым торжеством народничества он убоялся новых решительных смелых лозунгов»⁵. Однако Луначарский не занимается дополнительным анализом и заканчивает тем, что бросает риторический призыв «единству партии и по обычаю превозносит «вечно юную, вечно новую революционную мысль» и «вечно совершенствующуюся революционную практику»⁶. Большой интерес представляет признание Луначарского (которое тут же будет воспринято критически одним из делегатов от меньшевиков), что «кое-

¹ Там же, с. 195.

² Там же, с. 199.

³ Там же.

⁴ Там же, с. 201.

⁵ Там же, с. 202.

⁶ Там же, с. 203.

что из некогда праздных мечтаний превратилось в реальную возможность»¹. Стало быть, ошибка народовольцев, комментирует меньшевик Руденко (Ерманский), была не принципиальной, а заключалась лишь в том, что они еще 20 лет тому назад проектировали революцию, которая лишь в 1905 году с помощью Ленина смогла стать реальностью².

Меньшевики настаивали на том, что различные массовые движения и организации, независимые от социал-демократической партии, имеют значение для революционного развития и формирования рабочего класса, а также для расширения сферы его политической деятельности, и осуждали большевиков за недоверие и оппозицию по отношению к этим движениям и организациям. Помимо Советов, о которых речь пойдет на V съезде РСДРП, имелись в виду, например, профсоюзы. Костров (Жордания) говорил: «Большевики спорили о значении профессиональных союзов. Они говорили: теперь³ не время нам этим заниматься, не мы должны их организовывать, пусть организуют другие! Меньшевики, наоборот, утверждали: мы должны организовать профессиональные союзы и сделать двигателем революции. И что же получилось? То, что последняя тактика была принята всеми под давлением жизни»⁴.

Однако более серьезной причиной несогласия между большевиками и меньшевиками по вопросу о профсоюзах было не столько опоздание, с которым большевики в ходе революции занялись профсоюзами, сколько различное понимание отношения между профсоюзным и политическим движениями. Так называемая «теория нейтральности» приводила меньшевиков к поддержке «равноправия» между профсоюзной и политической борьбой, а следовательно, к параллелизму двух соответствующих организаций, в то время как Ленин предполагал подчинить профсоюзы руководству партии⁵.

И вновь частное разногласие восходит к основному разногласию по вопросу понимания революции. Согласно Жордания, «утопическая тактика» большевиков «вытекает из их утопического понимания хода революции». Действительно: «Они ход революции представляют очень просто: в один день или в одну неделю произойдет всероссийское восстание, самодержавие будет низвергнуто, на его месте появится временное революционное правительство, и будет учреждена республика. Восстание — временное революционное правительство — республика — вот вся политическая схема боль-

¹ Там же, с. 202.

² См. там же, с. 205.

³ То есть в начале революции.

⁴ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 215.

⁵ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 427—437.

шевиков»¹. В сущности, это, как известно, схема революции 1917 года. А по мнению меньшевиков, «революция развивается эволюционно, она не может перескочить известной фазы, т. е. развивается как раз не по схеме большевиков, нет одного победоносного восстания, а есть целый ряд победоносных восстаний»², вследствие чего укрепление позиции либералов (конституционных демократов) — это всего лишь первый необходимый этап революции, за которым последуют другие схватки и восстания, теперь уже социалистические. Социал-демократы, заключает Жордания, не должны замыкаться в «политическом абсентеизме», бойкотируя новые институты общественной жизни, а, напротив, должны осуществлять «политическое вмешательство во все проявления общественной жизни»³.

5. «Военная партия» и «массовая партия»

Предстояло решить еще два вопроса: о диктатуре пролетариата и о природе революционной партии. Один делегат-меньшевик выражал удивление по поводу убожества и двусмысленности ленинской концепции диктатуры рабочих и крестьян. Он привел цитату из брошюры Ленина «Победа кадетов и задача рабочей партии» с описанием воображаемой сцены, где действующими лицами являются казачий офицер Аврамов, проявивший большую жестокость во время репрессий против революционеров, и одна из лидеров партии социалистов-революционеров, Спиридонова, арестованная за покушение в 1906 году. Затем, изобразив, как Аврамов истязает Спиридонову, Ленин в полемике с либералами, выступавшими за правовое государство, делает заключение: «...когда Аврамов с казаками истязает Спиридонову, это есть военно-полицейская диктатура над народом. Когда революционный... народ применяет насилие к Аврамову и Аврамовым, это есть диктатура революционного народа»⁴.

Словом, чтобы проиллюстрировать сущность «диктатуры народа», Ленин не нашел другого способа, как умозрительно вывернуть наизнанку худшее проявление полицейского произвола самодержавного государства. И тут же уточнил: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть»⁵. Таков проект «диктатуры», предлагаемый

¹ Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы, с. 216.

² Там же.

³ Там же, с. 217.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 320.

⁵ Там же.

Лениным для России, и неслучайно тот же делегат-меньшевик задается вопросом, не являются ли для Ленина «диктатурой революционного народа» те самые акты терроризма и «экспроприации», которые совершают с особым рвением социалисты-революционеры.

Не менее важным, чем вопрос о будущей «диктатуре», был вопрос о природе и задачах партии. И здесь большевистская модель встречает серьезную оппозицию меньшевиков. Большевики и меньшевики имели, можно сказать, диаметрально противоположные понятия о гегемонии. С самого своего появления этот термин получил широкое распространение среди русской социал-демократии, но значение его было строго ограничено: подразумевалась руководящая роль рабочего класса, которую тот должен был принять на себя в деле освобождения от оков абсолютизма и в борьбе за демократию и социализм. Были определены, конечно, также время и способы осуществления этой руководящей роли. В ходе революции 1905 года, как известно, столкнулись два способа осуществления гегемонии русской социал-демократией: большевистский, при котором делалась ставка на «революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства», и меньшевистский, который был рассчитан на либерально-демократическое развитие России с помощью народного движения и социал-демократической политики с целью создания наиболее благоприятной обстановки для дальнейшей собственно социалистической деятельности рабочего класса. Но и при том, что вопрос о гегемонии излагался в тот период при помощи подобных терминов, разногласия по этому поводу были еще более серьезными. Для большевиков гегемония была вопросом немедленного захвата власти для осуществления, с помощью диктатуры партийных верхов (большевиков, номинально социал-демократов), буржуазной революции «без буржуазии» и дальнейшего перехода к социализму. Меньшевики же считали, что вопрос состоит не в столь «технических» терминах и не в столь антилиберальной перспективе, а в том, что период укрепления позиций рабочего класса в России должен быть не столько продолжительным, сколько более насыщенным в отношении возможностей политического самовоспитания самых широких слоев народа и созревания самой партии. Причем под партией подразумевались не только ее верхи. Словом, меньшевистская идея гегемонии подразумевала ее более широкое значение, связанное с участием в жизни общества и деятельности его институтов, что, по мнению меньшевиков, не исключало открытой борьбы и революционных порывов.

Это различие позиций с достаточной ясностью изложено в одном месте в выступлении Руденко (Ерманский), который уomatривает не только чисто тактические причины нетер-

пимости и твердости большевиков. Проследим за его анализом: «Большевики не думают о расширении и укреплении тех общественных сил, которые призваны наносить удары существующему режиму. Они думают только о самих ударах, о планомерном их нанесении... Теперь техника борьбы важнее политической работы. Все убожество нашей действительности в области сознательности и организованности масс, всю недостаточность массового базиса существования нашей партии, всю бесформенность и стихийность нашей борьбы — все это большевики принимают как факт, с которым они примиряются. К этому факту они только приставляют планомерную организацию верхушек партии, организацию профессиональных революционеров. Ею они хотят восполнить все пробелы в области организации пролетариата и других революционных элементов»¹.

Но «в том-то и состоит одна из коренных ошибок большевиков, что они думают лишь о *разрушении* абсолютизма»², а этого мало: для того чтобы такое разрушение было подлинным и окончательным и чтобы абсолютизм, пусть уничтоженный политически, в дальнейшем не возрождался там, где он найдет для себя почву, то есть среди бюрократии, в полиции и армии, следует создать массовую основу революции в новом духе демократии и социализма. «Только эта работа придает нашей борьбе социал-демократический характер, только она связывает наши ближайшие демократические требования с конечными социалистическими целями. С этой точки зрения все технические задачи момента должны быть подчинены политическим. Воспитывать сознание и волю масс и организовывать их в процессе постановки и решения политических задач, в процессе борьбы — такова наша задача во всякий момент... В этом отношении позиция меньшинства правильнее, социал-демократичнее»³. Это проницательный анализ, хотя и недооценивающий огромный исторический потенциал, которым обладало рациональное народническо-марксистское революционное искусство Ленина.

Выступление Сталина в поддержку положения большевиков иллюстрирует еще один аспект его политического мышления, который проявится спустя 20 лет: не только прагматизм, явно ощутимый в его высказываниях по вопросу о временном союзе с крестьянством, которые оставляли открытым путь к полному изменению тактики по отношению к ним, но и схематизм, при помощи которого он упрощает сложные вопросы и сводит их к отдельным решительным и отчетливым «или — или», доводя «рационализм» Ленина до какой-

¹ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 222.

² Там же.

³ Там же, с. 223.

то схематической прямолинейности: «Если, по мнению товарищей меньшевиков, нам нужна не гегемония пролетариата, а гегемония демократической буржуазии, тогда само собой ясно, что ни в организации вооруженного восстания, ни в захвате власти мы не должны принимать непосредственного активного участия. Такова «схема» меньшевиков. Наоборот, если классовые интересы пролетариата ведут к его гегемонии, если пролетариат должен идти не в хвосте, а во главе текущей революции, то само собой понятно, что пролетариат не может отказаться ни от активного участия в организации вооруженного восстания, ни от захвата власти. Такова «схема» большевиков. Или гегемония пролетариата, или гегемония демократической буржуазии — вот как стоит вопрос в партии, вот в чем наши разногласия»¹.

Однако проблемы, безусловно, были сложнее, чем они выглядели в сталинской трактовке. Чтобы убедиться в этом, вернемся к выступлениям крупнейших лидеров фракции меньшевиков, менее упрощенным, чем выступления Луначарского и Сталина, которые носили чисто полемический и оборонительный характер. Мартынов напоминает, что рабочий класс, вне всяких сомнений, играет центральную роль — роль гегемона, отстаивание которой не только не является монополией большевиков, но, напротив, всегда было стержнем всей теории «отца русского марксизма» Плеханова². Дебаты развернулись и по другим вопросам, и прежде всего по вопросу о крестьянстве, на определяющей роли которого в революции настаивает Ленин. Мартынов говорит: «Нас хотят уверить, что в обществе с развивающимися капиталистическими отношениями, в обществе с экономическим, политическим и культурным преобладанием города над деревней политическая власть и гегемония будет завоевана деревней»³. И продолжает: «Новая теория крестьянской революции есть очевидная реставрация старых народнических утолий»⁴. Здесь Мартынов, как это часто происходит с меньшевиками, утрирует ленинский лозунг, в котором, хотя и провозглашается решающая роль крестьянства в русской революции и одновременно отрицается какая бы то ни было роль либеральной буржуазии, все же не подразумевается новое «восстание вроде пугачевского бунта»⁵, как это утверждает Мартынов; в нем отражена новая концепция революции, согласно которой крестьянство — это своего рода внушительная

¹ Там же, с. 224—225.

² О позиции Плеханова в начале марксистского движения в России см. вышеупомянутое введение к книге В. И. Ленина «Что делать?», с. LIV—LIX.

³ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 238.

⁴ Там же.

⁵ Там же, с. 240.

«ударная масса», тогда как «ядром нападения» остается городской пролетариат и «штабом армии» — «профессиональные революционеры».

Как уже говорилось, несомненна преемственность ленинской теории в отношении революционного народничества, но несомненна и ее оригинальность в отличие от теории социалистов-революционеров, для которых вопрос о буржуазной революции не стоял. По мнению социалистов-революционеров, она уже была осуществлена в результате реформы 1861 года, и они выдвигали цель социализации отношений собственности, социализации, тесно связанной со свержением царского самодержавия. Ленин же, напротив, считал, что происходившая революция носила безусловно буржуазный характер и, следовательно, социалистические задачи рабочего класса и крестьянства подчинялись целям этой революции. С другой стороны, буржуазная революция должна была осуществляться под руководством диктатуры рабочих и крестьян, против той же самой буржуазии. В свою очередь диктатура должна была возглавляться «профессиональными революционерами». Словом, возрождалось прежнее народничество, правда, в марксистском облачении и, главное, с грандиозной и безусловно «утопичной» исторической программой, как утверждали меньшевики, справедливо считавшие себя «более социал-демократичными», чем большевики. Программа была более утопичной в 1905 году, но не в 1917 году, когда мировая война предоставила Ленину уникальную возможность (уникальность ее он осознавал, о чем неоднократно писал) для воплощения этой «утопии», всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что касается Советов, то Мартынов был прав, говоря о приоритете меньшевиков: «Тов. Ленин, видно, забыл, что мы предсказывали возникновение этих форм творчества народа еще задолго до октябрьских дней, обобщая их под названием органов революционного самоуправления»¹. И действительно, Советы входили в программу меньшевиков, предусматривавшую расширение форм участия масс, включая и автономные по отношению к партии. Однако один из большевиков тут же высказал возражение: «Зачем вам называть их местным революционным самоуправлением, зачем употреблять такое мистическое выражение?»² Против такого «мистицизма» автономии Советов выступает также Ленин, иронизируя по поводу того, что Плеханов, хотя и явно превозносит Советы, «не потрудились анализировать, что представляет Совет рабочих депутатов. Что это? — орган революционного самоуправления или зачаточные органы влас-

¹ Там же, с. 239.

² Там же, с. 232.

ти?»¹ И Ленин, очевидно, склонен согласиться с последним предположением. Чтобы понять в общих чертах, как ставился вопрос о Советах внутри фракции большевиков, следует принять во внимание отражение их позиций по этому вопросу в «Новой жизни» — первой легальной газете большевиков. В этих позициях раскрывается недоверие и несогласие большевиков, поскольку Советы казались им чем-то политически аморфным, принижавшим авторитет и гегемонию партии. В той же газете в конце статьи «Совет рабочих депутатов или партия?» Б. Радин пишет: «Здесь нам бы хотелось затронуть вопрос, сможет ли Совет заменить партию или возглавить политическую борьбу пролетариата, и мы отвечаем на этот вопрос отрицательно. Значит ли это, что Советы, возлагая на себя определенные конкретные политические задачи (такие, как руководство всеобщей стачкой), не открывают своего политического лица? Ничего подобного. Пролетариат должен с уверенностью знать, под каким знаменем идет его выборный орган и от какой партии исходят лозунги и директивы, которые он практически воплощает. В политической борьбе итрать вслепую не в интересах пролетариата. Необходимо, чтобы Советы точно указали, какую политическую партию они принимают в качестве лидера и за какой политической программой они следуют»².

Один только Ленин вопреки узкой постановке вопроса Радиным или еще более сектантским позициям других большевиков усматривает в Советах важное средство для расширения политической деятельности и формирования новой власти. Он заявляет, что большевики готовы заключить «временный боевой союз со всей революционной демократией для достижения нашей общей ближайшей политической цели»³. «Мы входим для этого, — заключает он, — сохраняя строго свою партийную особность и самостоятельность, и в Советы рабочих депутатов и в другие революционные союзы. Да здравствуют новые органы власти народа! Да здравствует единый, верховный и победоносный орган народной власти!»⁴. Однако дуализм авторитарной и моноцентричной партии и Советов, этого «мистического» органа «революционного самоуправления», остается в силе, и этим объясняется дальнейшая судьба Советов после Октябрьской революции. Этим объясняется также политика Ленина по отношению к Советам в период с февраля до октября 1917 года и его собственный лозунг: «Вся власть Советам!», который, в сущности, означал «Вся власть партии!».

¹ Там же, с. 242.

² «История РКП(б) в документах». Под ред. Ш. М. Левина и И. Л. Татарова. Л., 1926, т. 1, с. 334—335.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 127.

⁴ Там же.

Мы не будем детально анализировать обширный доклад Аксельрода о Государственной думе и ограничимся отдельными наиболее рельефными общими вопросами. Аксельрод аналитически излагает положение меньшевиков относительно того, что во имя общей цели борьбы с абсолютизмом русский пролетариат может идти на временное «политическое сотрудничество» с буржуазией, чтобы добиться благоприятных условий для зрелой политической борьбы. Затем Аксельрод выступает против тенденции «бланкизма», прикрывающегося марксистской фразеологией, и осуждает то, что уже в начале столетия «в лагере самих социал-демократов начинает распространяться бессознательная тенденция к политическому обезличению нашего пролетариата, к превращению его в объект и орудие революции, в политически бесформенную массу, играющую роль не самостоятельного носителя ее, а боевой физической силы, управляемой вне и над нею стоящей политической организацией»¹. Аксельрод неоднократно подчеркивает, что его критика касается не только большевиков, но и меньшевиков, которые — «за немногими исключениями — не отличались существенно от большевиков»² в начальный период революции. Аксельрод спрашивает, что означает выражение «революционный авангард», и, утверждая, что нельзя сводить роль класса к «авангарду» как физической силе в военно-техническом отношении, используемой революционным штабом в революционной борьбе, заявляет: «Миссия революционного авангарда в абсолютистской России неразрывно связана с сознательным выступлением в роли выразителя и представителя интересов всей нации, всей страны против ее общепоработителя и угнетателя, против царско-полицейского самодержавия. Исторические условия возникновения и развития нашего освободительного движения заключают в себе объективную возможность для возвышения нашего пролетариата до значения такого авангарда в этом движении. Но использовать эти условия в интересах такого политического возвышения российского рабочего класса значило систематически, планомерно, на почве мелких и крупных столкновений рабочих масс с их эксплуататорами и властями, выяснять, подчеркивать и резко выдвигать вперед общенациональное или общедемократическое значение освободительных усилий этих масс»³.

При такой перспективе становится «буржуазной» собственно ультрареволюционность, означающая ставку на вооруженное восстание и превращение масс в военно-техническое средство проведения этой операции. Проследим за рассуж-

¹ «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», с. 253.

² Там же, с. 257.

³ Там же, с. 259.

дениями Аксельрода: «Возлагая... все свои надежды и расчеты на удачное вооруженное восстание, технически подготовленное заговорщическим или конспиративным путем, концентрируя или стремясь концентрировать все внимание и все силы нашей партии на такой подготовке народного восстания, они [большевики] тем самым бессознательно толкают ее на путь самого что ни на есть буржуазного революционизма. Я характеризую этот путь такими терминами потому, что он отвлек бы нас окончательно от выполнения нашей основной задачи — политического развития и объединения рабочих масс в самостоятельную классовую организацию. Наоборот, он ведет к политическому обезличению пролетариата, потому что, идя по нему, мы систематически готовили бы рабочие массы только к роли боевой физической силы, не имеющей собственной политической воли и организации. Эта воля и эта организация формируются наиболее успешно в атмосфере широкой социально-политической борьбы, в которой рабочие массы, руководимые социал-демократией, практически сталкиваются лицом к лицу с организованными силами других классов. Но такая атмосфера создается именно на почве конституционного строя, открывающего широкий простор для организованной междоусобной борьбы разных классов из-за влияния и власти в государстве»¹.

Здесь будет уместно напомнить о последнем вопросе, не упомянутом в докладе, но фигурирующем в заключительном выступлении Аксельрода, о Государственной думе. Имеется в виду оценка, данная им Ленину. Не ограничиваясь характеристикой его как личности, что часто делали другие меньшевики, склонные приписывать исключительно Ленину отрицательную роль в возрождении народничества, он стремится рассмотреть явления ленинизма в исторической перспективе: «Но как бы высоко мы ни оценивали его таланты и влияние, мы все же не много выиграем от того, что взвалим на него всю ответственность за все наши партийные раздоры, грехи и недочеты, от которых партия так много пострадалась в последние годы. Ленин сам является продуктом всего нашего прошлого, и если за ним идет такая масса товарищей по пути, который мы считаем гибельным для партии, то, очевидно, не из простой прихоти или пристрастия к нему, а потому, что он выражает их собственные стремления и понимание вещей, развившиеся на почве данных исторических условий»².

Дискуссия о вооруженном восстании уточняет, но не меняет вырисовывающуюся картину, которая свидетельствует о непреодолимом противостоянии большевиков и меньшеви-

¹ Там же, с. 272.

² Там же, с. 322.

ков при обсуждении всех тактических вопросов, кроме вопроса о вооруженном восстании, где компромисс был возможен. Впоследствии большевики вновь будут обвинять меньшевиков в поддержке позиций кадетов, так же как меньшевики будут обвинять большевиков в чрезмерном увлечении анархическим и заповорщическим народничеством. Луначарский недвусмысленно заявляет, что «общая тенденция меньшевиков заключается в том, чтобы отвернуться от стоящего на очереди призрака революции и направить работу партии по руслу органической работы».

«Мы же повторяем и не устанем повторять, если в предстоящих грозных столкновениях народа с правительством партия хочет сохранить свое выдающееся положение, приобрести руководство массами, она должна стать не только партией мирных реформ, не только партией миссионеров и просоветителей, но и военной партией»¹.

Такому утверждению противопоставлено утверждение меньшевика Дана: «...И тогда, когда мы стоим накануне восстания, созная всю необходимость военных действий, мы прямо и открыто признаем: мы не заговорщическая организация, а массовая партия, и как таковая мы этих задач на себя взять не можем»².

Этим противопоставлением «военной партии» и «массовой партии» мы можем закончить наш анализ работы IV съезда РСДРП, анализ, ставивший задачу не охватить все сколько-нибудь важные тактические вопросы момента, а определить основные, общие направления, по которым между большевиками и меньшевиками имелись в тот период разногласия, усилившиеся в последующие периоды.

6. Раскол между меньшевиками и большевиками на V съезде РСДРП

Вырисовывающуюся здесь картину, видимо, следует дополнить материалами V съезда РСДРП, проходившего в Лондоне в апреле — мае 1907 года, оценивая их по тем же критериям. Съезд, центральной темой которого было отношение русской социал-демократии к буржуазным партиям, засвидетельствовал серьезный и окончательный раскол между обеими фракциями, которые, впрочем, несмотря на свою формальную принадлежность к одной партии, к тому времени по существу представляли собой две различные организации, не говоря уже об их политических ориентациях. На V съезде РСДРП, который был логическим продолжением и

¹ Там же, с. 376.

² Там же, с. 397.

завершением предыдущего съезда в период революционного спада, полемический диалог между большевиками и меньшевиками пополнился новым голосом, имевшим тогда в организационном плане решающее значение,— голосом Розы Люксембург, делегата от Лодзинской организации Польской социал-демократической партии. Важное значение имело присутствие Троцкого, не принадлежавшего ни к одной из двух фракций.

Наиболее значительным событием съезда была изоляция меньшевиков на фоне слияния позиций Ленина, Люксембург и Троцкого. Разумеется, речь шла о слиянии объективном. Оно было далеко не сбалансированным и не исключало значительных расхождений между Лениным и большевиками, с одной стороны, и Люксембург и Троцким — с другой. Что касается отношений между Лениным и Троцким (тема, которая нас здесь с аналитической точки зрения не интересует), то уместно сделать краткое замечание. Ленинский лозунг «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», как и все лозунги Ленина, имел теоретический костяк, отнюдь не лишивший его политической гибкости, а следовательно, и способности к саморазвитию. Достаточно прочесть следующие знаменитые слова Ленина, относящиеся к сентябрю 1905 года: «от революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути»¹. Уже эти строки дают возможность судить о том, что для Ленина граница между «буржуазной революцией» и «социалистической революцией» была достаточно неопределенной и вопрос о переходе от одной к другой — то есть период единого «непрерывного» революционного процесса — являлся чисто тактическим вопросом, решать который партия должна была на основе анализа (предпринимаемого, очевидно, самой партией) сил «сознательного и организованного пролетариата». Лозунг «перманентной революции» Троцкого, приписывавший революционную миссию лишь пролетариату, который после завоевания власти использует ее для непосредственного осуществления социалистической политики, был более прямолинейным. Но два лозунга — «непрерывной» и «перманентной» революции — раскрывают два стиля политического мышления в еще большей степени, чем временное конъюнктурное разногласие. Ленин сосредоточивал больше внимания на крестьянском вопросе и, следовательно, вел более динамичную политическую игру в этом отношении. Тактические выкладки Ленина по этому вопросу оказались пре-

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 11, с. 222.

одоленными жизнью (он ожидал, к примеру, что в недрах революционных крестьянских масс возникнет мощная политическая сила), а это могло создать впечатление их малой надежности по сравнению с четкими и ясными теоретическими схемами Троцкого.

Но именно потому, что позиции Ленина постоянно менялись, пусть даже подчиняясь жесткой внутренней логике, можно было полагать, что в 1917 году он «приблизился» — как говорили (и как давал повод полагать сам Троцкий) — к позициям Троцкого. В действительности же именно Троцкий приблизился к позициям Ленина, приняв его идею о «якобинской» партии, которую резко критиковал в период полемики вокруг книги «Что делать?», — идею «якобинской» партии (Ленин, следуя традиции революционного народничества, совершенно отчетливо видел, что меньшевики обвиняли его не без основания) как необходимого средства для осуществления «непрерывной революции» с помощью крестьянских масс. Отсюда превосходство Ленина и перед Розой Люксембург, которая тоже полемизировала с ним в ходе обсуждения «организационного вопроса» и в отличие от Троцкого продолжала полемику (по вопросу о свободах) и после Октябрьской революции. Ленин в противоположность своим «объективным» союзникам на V съезде РСДРП не только имел совершенно четкие намерения, но и знал, что требовалось для их осуществления, и был готов без щепетильности принять все последствия этого осуществления. Заслуга (если так можно сказать) меньшевиков, политика которых терпела поражение и не пользовалась поддержкой западноевропейской социал-демократии (как известно, даже Каутский занимал радикальную позицию в отношении революции 1905 года), состояла по крайней мере в том, что они отчасти разбирались в природе ленинской теории и отчасти предвидели ее возможные результаты.

7. Троцкий, Парвус и «перманентная революция»

Стержнем позиции Троцкого в период первой русской революции была концепция «перманентной революции», которая станет кардинальным положением его политической теории и которая, как таковая, станет одним из предметов развернувшейся в 20-х годах широкой полемики о характере Октябрьской революции, о значении ленинской «ортодоксии» и о перспективах международного коммунизма. В книге Троцкого, так и озаглавленной: «Перманентная революция» — и написанной им в 1929 году во время его пребывания в Алма-Ате уже на пути в изгнание, он займется анализом узловых моментов этой концепции, поднимаясь, разу-

меется, к самым ее истокам — революции 1905 года. Но если теория «перманентной революции» Троцкого находит должное освещение лишь в рамках сложного политического мышления автора, то анализ дискуссии между большевиками и меньшевиками о революции 1905 года в свете развернувшихся на IV и V съездах РСДРП событий вызывает в памяти одну историческую фигуру. Речь идет о Парвусе (А. Л. Гельфанд), который, оставаясь вдали от таких партийных форумов, как IV и V съезды РСДРП, сыграл значительную роль в жизни русской социал-демократии того времени и вдобавок не только тесно сотрудничал с Троцким, но и был одним из вдохновителей его теории «перманентной революции». Выходец из России, Парвус принял активное участие в деятельности немецкой социал-демократии и с началом революции 1905 года вернулся в Россию и какое-то время участвовал в русском социал-демократическом движении.

При анализе событий русской революции Парвус также пользуется двумя параметрами в процессе выработки политической линии на тот период: это специфический характер русского общества и модель западноевропейских буржуазных революций. Историческое развитие России, которое в докапиталистический период следовало «скорее китайской модели, нежели европейской»¹, привело к тому, что в стране появилась «капиталистическая буржуазия, а не промежуточная, из которой родилась и в лице которой утвердилось политическая демократия в Западной Европе»². В России, так же как в период революции 1848 года в Европе, капиталистическая буржуазия вслед за свержением самодержавия быстро отходит от пролетариата для закрепления своих собственных завоеваний. Однако запоздание русской революции по сравнению с европейскими революциями вкупе с высокой политической зрелостью рабочего движения и специфическим характером обстановки в России, где доминировала военная автократия при поддержке международного капитала и буржуазии, испытывавшей вынужденный политический подъем и лишенной собственной широкой социальной базы, — все это в целом выдвигало перед революционной социал-демократией особые задачи. Последняя «должна [была] подготовить революционную силу, способную не только свергнуть самодержавие, но и стать во главе революционных событий»³. Становясь на путь проведения самостоятельной революционной политики, русский пролетариат должен был со вниманием отнестись к своим отношениям с другими полити-

¹ Парвус. Россия и революция. Санкт-Петербург, 1906, с. 136.

² Там же.

³ Там же, с. 138.

ческими и социальными силами. Что касается отношений с либералами, то речь идет не о том, чтобы проводить политику союза или конфронтации, а о том, чтобы, сохраняя собственную политическую автономию и центральную роль своего класса пролетариата, объединить вокруг себя либеральные и демократические силы, не забывая о необходимости «присматривать за собственными союзниками не меньше, чем за собственными противниками», и «больше заботиться о том, как воспользоваться создавшейся в результате борьбы обстановкой, нежели о том, как сохранить союзника»¹.

Общим стержнем подобной политики является отказ от того, что Парвус называет «фаталистической концепцией исторического развития, определяемого классовыми отношениями»². Если бы действительно классовые отношения непосредственно и просто определяли исторический ход событий, все было бы легко и оставалось бы лишь «вычислить момент наступления социальной революции, подобно тому как астрономы вычисляют момент прохождения какой-либо планеты, а затем наблюдают за ней»³. Фактически же, возражает Парвус, «отношения между классами порождает прежде всего политическая борьба», конечный результат которой определяется развитием классовых сил. А весь «ее исторический ход, охватывающий века, зависит от массы смежных экономических, политических и национальных условий, политического сознания борющихся партий, их тактики и способности пользоваться политическим моментом»⁴. Подобная переоценка политического момента приводит Парвуса к тому, что он отводит довольно серьезную роль государству и утверждает, что «какой-либо класс общества может посредством государственной власти удерживать свое господство, и не принимая во внимание экономических условий»⁵. Русское самодержавие, по мнению Парвуса, являет собой наглядный пример такого первенства политической власти над экономическим развитием (и вопреки ему). В России революция открывает возможности не для построения социализма, «в настоящее время неосуществимого при отсутствии социальной революции в Западной Европе»⁶, а для создания демократического правительства особого типа, в котором роль, отводимая пролетариату, будет в значительной мере определяться революционной энергией самого пролетариата, политической решительностью социал-демократии, а также способностью тех и других использовать государственную власть, по крайней мере

¹ Там же, с. 139.

² Там же, с. 194.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же, с. 195.

временно, в интересах масс. Парвус полагает, что «временным правительством в России будет правительство рабочей демократии»¹.

В этом новом процессе русской буржуазной революции, запаздывающей во времени по сравнению с западноевропейскими революциями, но ускоренной по отношению к ритму фаз и социальным результатам последних, Парвус не игнорирует роли крестьянских масс, отказывая им, однако, в способности определиться как подлинная революционная сила: значение участия в революционном процессе заключается в способности крестьянских масс «усилить политическую анархию в стране и, следовательно, ослабить правительство»². Позднее у Парвуса будет более четкое понимание значения единства борьбы крестьянства и рабочих, за которыми он всегда будет признавать центральную роль и самостоятельность в революции.

По Парвусу, пролетарская революция «завершит цикл революций, начатых Великой французской революцией»³, а кульминационный момент последней, момент перехода к новой, социалистической фазе развития, он видит не в якобинцах, а в заговоре Бабефа. Специфический исторический механизм русской революции, обрисованный выше, сработает так, что революция не ограничится национальными рамками, а «в ходе своего развития поднимет народы и потрясет до основания весь капиталистический мир»⁴. И именно это возобновление революционного движения в Западной Европе создаст возможность перехода русской революции от политической к социальной фазе развития, а затем к социализму.

Однако уже в своей политической фазе русская революция порождает нечто радикально новое, что должно получить долговременный характер и распространение в будущем, а именно: Советы—«институт не только разрушения, но и созидания», в котором ощущается «сила, способная реорганизовать государство»⁵. В рабочих Советах Парвус видит «ядро новой государственной власти»⁶.

Вся эта революционная программа могла быть осуществлена при двух условиях: первое — круг возможностей и поле самостоятельной политической деятельности политических сил буржуазии, и прежде всего либеральной, будут достаточно ограниченными, и в результате они станут орудием политической программы пролетариата; второе условие, которое является предпосылкой первого и непосредственно нас

¹ Там же, с. 141.

² Там же, с. 140.

³ Там же, с. 198.

⁴ Там же, с. 206.

⁵ Там же, с. 214.

⁶ Там же, с. 216.

здесь интересуется, — пролетариат будет располагать политической организацией, способной осуществить эту программу. Поскольку Парвус, так же как Троцкий и Люксембург, стоявшие на близких ему позициях, превозносит творческую энергию масс, он ясно понимает, что при отсутствии четкого политического руководства эта творческая энергия будет растрачена впустую. Отсюда полемика Парвуса с русской социал-демократической партией как неспособной решать революционные задачи — полемика, направленная главным образом против Ленина, но не щадившая и меньшевиков.

Полемика с Лениным сложна, и тянулась она годами. Здесь достаточно упомянуть о критике Парвусом «ленинизма», который он понимал «в том смысле, что Ленин в своей книге «Что делать?» и в резолюциях, принятых на II съезде РСДРП, дал наиболее полное выражение известному кругу идей, касающихся политики и организации»¹. Этот «ленинизм» интерпретируется как бернштейнианство наоборот, поскольку в книге Ленина «Что делать?» Парвус видит не только «конспиративную узость, выросшую на почве русской революционной интеллигенции»², но и механическую реакцию на ревизионизм Бернштейна. Известное положение Ленина, согласно которому рабочее движение, предоставленное самому себе, в своем спонтанном развитии не выходит за рамки капиталистического строя и ограничивается созданием профсоюзного движения, является, по Парвусу, «в высшей степени бернштейнианским способом видения вещей»³. Даже при том, что Ленин делает отсюда заключения, противоположные заключениям немецкого ревизионизма, и изобретает политические средства (партия нового типа), призванные обеспечить противоядие, он — «оппортунист наоборот. Полагая, что рабочее движение оппортунистическое, он стремится повернуть его вокруг своей оси в революционном направлении»⁴, а потому превращает «социализм в идеологию» и ставит на первый план «организационную задачу»: «просвещенные марксисты, сильные своей централизацией, направляют революционную массу по социал-революционному руслу»⁵, — задачу, решение которой, по мнению Ленина, достойно приняли на себя профессиональные революционеры. Парвус же полагает, что «организация — это форма, в которой протекает социал-революционный процесс, им же самим и созданная», и что «не существует организационной формы, способной самостоятельно охватить всю классовую борьбу пролетариата»⁶.

¹ Там же, с. 188.

² Там же, с. 190.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же, с. 174.

Если Ленина Парвус критикует за его «оппортунизм наоборот», то меньшевиков он критикует за их прямой оппортунизм. Как только «революция в России стала политическим фактом, перед русской социал-демократией встала задача захвата государственной власти и ее использования, разумеется, способом, соответствующим экономическим условиям России, в интересах рабочего класса. Меньшевики не справились с этой задачей и углубились в рассуждения о возможности добровольно уступить политическую власть буржуазной демократии сразу же после того, как революционная армия пролетариата одержит верх»¹.

Таким образом, меньшевики становятся узниками того «фатализма», против которого Парвус высказывает вышеуказанные замечания.

Выступая против «организационного схематизма» большевиков и «политической узости» меньшевиков, а также против «нетерпимости» тех и других, Парвус вновь наставляет на первейшем требовании к русской социал-демократии: стать «единой и сплоченной партией», ибо, «если армия раскалывается на две партии, каждая из которых независимо от другой проводит собственную тактику, вся армия потерпит поражение, несмотря на самую совершенную тактику, выработанную той или другой партией»².

Рассуждение на первый взгляд непогрешимое, однако практика обоих съездов РСДРП, о которых здесь идет речь, показывает, что оно лишено исторической перспективы. «Армия» раскололась на две партии, но неэквивалентные: одна из них — партия «организационного схематизма» — обладает значительным превосходством над партией «политической узости» и при прочих равных условиях одерживает верх. Рассматриваемые в перспективе, теперь уже углубленной и освещенной временем, позиции Парвуса, так же как и не совпадающие с ними целиком, но близкие им позиции Троцкого и Люксембург, столь непреклонных в своей революционной логике, оказываются заметно ослабленными из-за отсутствия должного понимания глубины и значения раскола в среде русской социал-демократии, а также из-за слишком умозрительной веры в самостоятельную и творческую роль масс и самого рабочего класса. Парвус рисует карикатуру на Ленина, одержимого своей «организационной» идеей и доводящего ее до абсурда: «Он склонился над ней на корточках и старается загнать политическую жизнь под бумажный колпак, сердито пытая, так как она постоянно выходит наружу и разбегается массами во все стороны; он тужится, пуская слюну, и объявляет предателем любого, кто находит политичес-

¹ Там же, с. 194.

² Там же, с. 195.

кое развитие и революционную борьбу вне ленинского колпака. Изменницей по отношению к Ленину станет вся политическая жизнь, если он не научится принимать ее во внимание»¹.

Парвус доживет до тех дней, когда станет свидетелем и воочию убедится в том, что ленинский «бумажный колпак» опустится едва ли не на всю «политическую жизнь» социализма, а малая ее часть, еще ускользающая из-под «колпака», будет объявлена «ренегатской», «предательской».

8. Партия и революция — тезис Ленина

Если вновь обратиться к участникам V съезда РСДРП, то можно проследить за тем, какая выигрышная роль досталась Розе Люксембург, критиковавшей меньшевиков за их формальную ортодоксальность. Плеханов цитирует то место из «Манифеста Коммунистической партии», где Маркс и Энгельс пишут о революционной роли буржуазии, и Люксембург иронизирует в отношении «нашего почитаемого теоретика и творца русского марксизма»: «Ссылка на то, как Маркс и Энгельс характеризовали роль буржуазии 58 лет тому назад, представляет в применении к теперешней действительности поразительный пример метафизического мышления, превращение живого, исторического взгляда творцов «Манифеста» в окаменевшую догму»².

На самом деле Плеханов и меньшевики не заимствовали свою политику из трудов Маркса столь механически. И все же в среде марксистов было принято искать подтверждение правильности своей политики в трудах «классиков»; в лучшем случае они пытались взаимно сблизить «классиков» и действительность. На примере дискуссии, развернувшейся на IV съезде РСДРП, нам уже довелось убедиться, насколько сложной была политическая логика меньшевиков, не говоря уже о ленинской политической логике. Как и Троцкий, Люксембург часто прибегала к красивым революционным лозунгам, звучавшим в условиях России до определенной степени абстрактно. В некотором смысле позиция Люксембург во время полемики между большевиками и меньшевиками представляет собой некий «третий путь», все же гораздо более близкий к позициям большевиков. Действительно, квалифицируя либеральную буржуазию как политический труп и указывая на пролетариат как на единственную революционную силу, она уточняет: «Правда, действительный марксизм одинаково далек от этой односторонней переоценки парламентаризма, как

¹ Там же, с. 169.

² «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы». М., Госполитиздат, 1963, с. 384.

и от механического взгляда на революцию и переоценки так называемого вооруженного восстания. Здесь мои польские товарищи и я расходимся во взглядах с товарищами большевиками»¹.

Затем Люксембург переходит к критике положения о технической подготовке восстания путем применения тактики «заговора», что вызывает одобрение Плеханова. Но тут же вслед за этим, заранее отказываясь от аплодисментов меньшевиков, она говорит о необходимости завоевания политической власти пролетариатом в целях осуществления задач настоящей революции. Вместе с тем наиболее глубокие разногласия между Розой Люксембург и меньшевиками заключаются не в анализе русской революции и не в разработке последовательной политики, а в оценке большевизма как политического явления. Если для меньшевиков большевизм все более приобретает характер самостоятельной доктрины, связанной с определенными революционными традициями, то для Люксембург это не что иное, как естественная реакция на «оппортунистическую» (по выражению Ленина) политику меньшевиков. Под аплодисменты большевиков Люксембург действительно говорит:

«Твердокаменность есть та форма, в которую неизбежно выливается с.-д. тактика на одном полюсе, когда она на другом принимает бесформенность студня, расплзающегося на все стороны под давлением событий»².

Позиция Троцкого аналогична позиции Люксембург. Но в своей полемике с меньшевиками он приближается к их же аргументации: «Вы, меньшевики, часто выступаете против форсирования классовой борьбы в сфере политических отношений. Вы требуете, чтобы то политическое «сотрудничество» между либеральной буржуазией и пролетариатом, которое существует объективно в рамках нашей революции, было переведено на язык политического сознания. Но разве это «сотрудничество» в меньшей мере происходит между пролетариатом и народными массами с крестьянством во главе? Или классовый антагонизм между пролетариатом и крестьянством зашел дальше, чем между пролетариатом и городской буржуазией? Вы этого не скажете. Но в таком случае вы должны учесть все эти соотношения в практике избирательных соглашений, раз вы признали не только их допустимость, но и их необходимость. Иначе вы придете к роковому противоречию. Заключая соглашения с либералами против реакции и не вступая в соглашение с революционными крестьянами против либеральных буржуа, вы нарушите все реальные перспективы и, вместо самостоятельного вмешательства в по-

¹ Там же, с. 389.

² Там же, с. 391.

литические отношения с целью их революционизирования, вы окажете лишь простую поддержку к.-д., т. е. фактически окажетесь во время выборов вспомогательным отрядом при либеральной буржуазии»¹.

В более общих чертах Троцкий критикует большевизм, который-де «слишком часто страдает пороком чисто формального ригоризма и «интрансигантизма» и «слишком часто является голой антитезой тактике меньшевиков»². Троцкий еще убежден в том, что единство партии возможно: «Единство политических действий... возможно при разнообразии идей. ...В противном случае политическая деятельность стала бы вообще немислимой»³. И, обращаясь к Ленину, чтобы предложить ему компромисс, заявляет: «Без сознания необходимости компромисса самый компромисс становится источником новой борьбы и деморализации. Он становится жизненным и содержательным лишь тогда, когда над конкуренцией вполне законных фракционных притязаний ставится обязательный для всех фракций завет единства действий единой партии!»⁴.

Но, очевидно, компромисс был невозможен. Причиной тому была не недобрая воля отдельных представителей фракций, а расхождение по существу, вырисовывающееся со все большей отчетливостью.

Ленин вновь повторяет большевистскую интерпретацию революции. Русская революция — «буржуазная в смысле ее общественного экономического содержания. Это значит вот что: задачи данного, происходящего теперь в России, переворота не выходят из рамок буржуазного общества. Даже самая полная победа современной революции, т. е. завоевание наиболее демократической республики и конфискация всей помещичьей земли крестьянством, несколько не затрагивает основ буржуазного общественного строя»⁵. Но из этого общего с меньшевиками положения «вовсе еще не следует вывода, будто главным двигателем или вождем революции является буржуазия»⁶, как хотелось бы меньшевикам, потому что революция происходит в то время, когда «пролетариат уже начал сознать себя особым классом и объединяться в самостоятельную, классовую организацию. При таких условиях пролетариат пользуется всяческим завоеванием демократии, пользуется каждым шагом свободы, чтобы усиливать свою классовую организацию *против буржуазии*»⁷, так же, как, с другой стороны, «антагонизм буржуазии и пролетариа-

¹ Там же, с. 259.

² Там же, с. 263.

³ Там же, с. 50.

⁴ Там же, с. 266.

⁵ Там же, с. 365.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

та заставляет буржуазию стремиться сохранить известные орудия и учреждения старой власти, чтобы применять эти орудия *против* пролетариата»¹. Вот свидетельство «классической ленинской политики «класса против класса», для которой демократия и свобода являются средствами укрепления «диктатуры». Но чьей диктатуры? И тут возникает крестьянский вопрос, при освещении которого Ленин делает одно важное уточнение по поводу отношений между крестьянством и партией.

Ленин дает объяснение специфическому механизму русской революции, делая акцент на невозможности какого бы то ни было сотрудничества пролетариата с либеральной буржуазией в их общей борьбе против абсолютизма. Не только ввиду вышеназванных противоречий, особенно в России, но потому, что «крупнейшей особенностью этой революции является острота аграрного вопроса», — именно этот вопрос, «т. е. борьба крестьян за землю против помещиков, оказался одним из оселков настоящей революции»². Отсюда опять-таки следует, что «буржуазия не может быть ни главным двигателем, ни вождем революции» и что революцию «довести до конца, т. е. до полной победы, в состоянии только пролетариат». И все же «эта победа может быть достигнута лишь при том условии, если пролетариату удастся повести за собой большую часть крестьянства. Победа современной революции в России возможна только как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»³.

До сих пор Ленин предельно ясно излагает свою схему революции. Но вопрос заключается в том, как будет осуществляться эта «диктатура» — не по отношению к обществу (Ленин уже недвусмысленно заявил, что речь пойдет о неограниченной власти), а по отношению к двум членам коалиции, призванной осуществлять диктатуру. Если у пролетариата имеется своя собственная партия, может ли идти речь о коалиции с другой, крестьянской партией? Подобную возможность Ленин, безусловно, рассматривал, но в данный момент, перед лицом неизбежных «колебаний крестьянства и крестьянских демократических партий», он утверждает, что «социал-демократия ни на минуту не должна смущать себя боязнью изолировать себя от подобных колебаний» и должна разъяснять крестьянству, что «только рабочая партия является действительно надежным, до конца верным защитником интересов не только социализма, но и демократии, не только всех трудящихся и эксплуатируемых, но и всей крестьянской массы, борющейся против крепостнической эксплуатации»⁴.

¹ Там же, с. 365—366.

² Там же, с. 366.

³ Там же.

⁴ Там же, с. 373.

Этот ленинский лозунг оказывается настолько гибким, что в план его осуществления включается, как это видно, не только «непрерывная революция», но и создание единой партии пролетариата и крестьянства. Подобная операция могла бы натолкнуть на мысль об «обезличении» классового характера партии, о котором говорили меньшевики, если забыть о том, что пролетарский характер этой «непрерывной революции», этой «диктатуры» и этой партии гарантируют «профессиональные революционеры». Последние рационалистически, не будучи пролетариями, встали на историческую «точку зрения» пролетариата, а также восприняли науку, родившуюся из этой «точки зрения», — марксизм. Рядом с этим грандиозным теоретическим построением «перманентная революция» Троцкого и вера Розы Люксембург в силу и миссию рабочего класса выглядят необоснованными положениями, и, для того, чтобы действовать и побеждать в истории, они должны были отчасти абсорбироваться более широкой и прозорливой ленинской программой.

9. «Антинародническая» полемика меньшевиков

Вернемся к меньшевикам. Их полемика с Люксембург касается главным образом оценки русского либерализма. Череванин отмечает, что пролетариат не должен торжествовать по поводу слабости русского либерализма, ибо это не означает, что «наш пролетариат, на удивление пролетариату всего мира, развертывает социалистические перспективы». Напротив, это признак «слабости народного движения, потому что старый режим» окажется «сильным и стойким в борьбе»¹. Ясное всего по этому вопросу высказался Мартов, который, ironизируя по поводу «очерка истории русского либерализма», предложенного Розой Люксембург, отверг схему, по которой «либерализм вянет при подъеме пролетариата и — обратно — оживает при его поражении»². В действительности «вся история русской общественности доказывает, что каждый подъем революции, вызываемый выступлением пролетариата, вливает новую кровь в анемичные жилы буржуазно-демократического движения. Вам неприятно это констатировать, потому что этот факт переворачивает вверх дном ваши упрощенные формулы о дальнейшем ходе революции. Но если бы это было не так, то совершенно бессодержательны были бы все построения о русском пролетариате как авангарде революции, о специфической роли пролетариата в этой последней»³.

¹ Там же, с. 244.

² Там же, с. 408.

³ Там же.

Торжествуя по поводу изоляции пролетариата от либеральной буржуазии, Люксембург и большевики «там, где лицо явная, очевидная революционная слабость пролетариата, [видят] высшую ступень его революционной зрелости». И Мартов делает вывод: «Вы идеализируете бессилие революции. Это называется — грубо льстить пролетариату, который не нуждается в такой лести». Поэтому меньшевики борются против «кадетофобии» большевиков. «Мы не за то вас обвиняем, что вы стремитесь разоблачать непоследовательность и половинчатость кадетского демократизма: в литературной борьбе с к.-д. мы, смею думать, нанесли им не самые слабые удары на этой почве. Но мы говорим, что, возбуждая рабочих против к.-д. за то, что они буржуазны, отождествляя буржуазный либерализм и буржуазную демократию с контрреволюцией*, вы тем самым закрываете глаза пролетариату на буржуазный, непролетарский характер других демократических слоев населения, раз только они выступают более революционно, чем кадеты. Мы говорим, что вы такого рода агитацией не отшлифовываете в пролетариате сознание непримиримости антагонизма между пролетариатом и буржуазией, а, напротив, способствуете растворению пролетариата в «народе», т. е. в массе, живущей в мелкобуржуазных и добуржуазных условиях экономического существования. ...Ваша схема, по которой все буржуазное по природе своей контрреволюционно, неизбежно ведет к этому затушевыванию, окружая ореолом небуржуазности все то, что в современной революции выступает революционно»¹.

Плеханов также полемизирует с Розой Люксембург, выступая главным образом против ее утверждения о том, что меньшевики якобы догматически повторяют позицию Маркса периода 1847—1848 годов, считая буржуазию носителем революционной энергии, которой она, напротив, по мнению Люксембург, давно уже не обладает. Плеханов возражает, заявляя, что уже в 40-х годах Маркс не считал немецкую буржуазию революционным классом, и, приводя соответствующие цитаты, в заключение говорит:

«Маркс смотрел на *германскую* буржуазию совершенно так, как смотрим *мы* на *российскую*. Он видел ее половинчатость и все-таки считал необходимым поддерживать ее в ее хотя бы и половинчатой борьбе со старым порядком. Нам говорят: в то время германское рабочее движение было еще в зародыше. Положим. Но это, как и известно, не помешало Марксу надеяться, что буржуазная революция в Германии послужит лишь *прологом* — *пролетарской*... Это вовсе не *схе-*

* Слово «с контрреволюцией» В. Страда не приводит в цитате. — Прим. ред.

¹ «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы», с. 409.

ма, а метод, — наш материалистический метод в его применении в политике... Мы верны ему. Тов. Роза Люксембург ему изменяет. Это жаль. Тов. Абрамович назвал ее бланкисткой. Это неточно. Ее взгляды — это все-таки марксизм, — бланкизм надо целиком оставить товарищам большевикам. И это не «окаменелый» марксизм. Это марксизм *испарившийся, улетучившийся* в жару революционной фразеологии»¹.

И заканчивает колким замечанием:

«Тов. Либер спросил т. Розу Люксембург, на каком стуле она сидит. Наивный вопрос! Тов. Роза Люксембург не сидит ни на каком стуле. Она, подобно рафаэлевой Мадонне, носится на облаках... отрадных мечтаний»².

Касаясь крестьянского вопроса, Мартынов не забывает об эволюции ленинской позиции по этому вопросу³, но замечает,

¹ Там же, с. 421.

² Там же, с. 422.

³ «Неправильная оценка большевиками современного состояния русского крестьянства ведет свое начало еще от нашего легального марксизма 90-х годов, в литературе которого видное место занимали известные вам сочинения Ильина «Развитие капитализма в России», «Экономические этюды» и пр. Наши легальные марксисты 90-х годов в пылу полемики с народниками, отрицавшими возможность развития капитализма в России, по обыкновению перегибали лук и доказывали, что капитализм чуть ли не овладел уже, в той или другой форме, всем нашим крестьянским хозяйством и на всем протяжении страны...

По мнению Ильина, регрессивные, докапиталистические отношения в самом крестьянском хозяйстве исчезают у нас беспрепятственно и сохраняются лишь в отношениях между крестьянами и помещиками в отработочной форме аренды. Во всей этой литературе тенденция принималась за совершившийся факт. Благодаря этой неправильной оценке экономической действительности Ленин в то время, безусловно, боялся, как бы крестьянская борьба за землю не приняла слишком большие размеры и не испортила бы его чертежей. Только этим и можно объяснить придуманную им пресловутую теорию возвращения отрезков, которая теперь показалась бы умеренной даже с точки зрения кадетов. Только этим можно объяснить преувеличенные надежды, которые Ленин в то время возлагал на либеральных капиталистических помещиков. Я напомню вам его известную фразу: «До свидания, господа предводители дворянства, наши завтрашние союзники!» Эти односторонние взгляды Ленина, как известно, тогда уже оспаривались его товарищами по литературной коллегии «Искры»» («Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы», с. 379—380).

Мартынов имеет в виду статью Ленина «Внутреннее обозрение», опубликованную в журнале «Заря» в декабре 1901 года, в которой Ленин, комментируя выступления двух предводителей дворянства, содержавшие критику в отношении существующих порядков, предложил социал-демократии развернуть агитацию и пропаганду во всех слоях общества, недовольных политикой царского самодержавия. Статья заканчивается словами: «А предводителям дворянства мы скажем, прощаясь с ними: до свидания, господа завтрашние наши союзники!» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 347). Эти слова стали притчей во языцех среди русских социал-демократов и повлекли за собой обвинение его в оппортунизме. В действительности этот проект союза с «предводителями дворянства», сколь он ни был наивен и обречен в конечном итоге на поражение, — признак широкого и мобильного тактицизма Ленина, который при осуществлении своего стратегического плана умел извлечь пользу из самых

что между большевиками и меньшевиками отсутствуют разногласия по поводу того, что «в настоящий момент огромные слои крестьян более демократично и более революционно настроены, нежели городская средняя и мелкая буржуазия», и что «в борьбе приходилось и еще придется чаще идти рядом с крестьянами, нежели с городской буржуазной демократией»¹. Но большевики не видят глубокой объективной «двойственности» крестьянского движения, которое наряду с прогрессивными сторонами включает в себя и реакционные. Таким образом, происходит возрождение «народнических идеалов, которые многим из нас казались уже похороненными экономическим развитием страны; вот это-то движение вдохнуло новую силу в эсеровскую партию, которая в 90-х годах была совершенно оттиснута на задний план марксизмом»².

До сих пор Мартынов излагает известные мысли меньшевиков по поводу пережитков народничества в русской политической жизни и в большевизме. Наиболее интересно и ново следующее замечание о последствиях такого положения вещей:

«Но вред аграрных утопий крестьян не ограничивается специально областью аграрных отношений. На этой социальной почве складываются известные наивные, утопические представления о политической тактике, которые распространяются с силой эпидемии. Эту мужицкую тактику в свое время метко и с любовью охарактеризовал анархист Лев Толстой: «Давайте, братцы, воевать по-мужицки, по-дурацки: возьми дубину и гвоздь!» Этим словом исчерпывается вся премудрость крестьянской стратегии, и, что особенно важно, этой премудростью заражается пролетариат, благодаря чему ослабляется главная двигательная сила революции. Пролетариат, истощенный экономическим кризисом, уставший после забастовок и декабрьских поражений, проникнутый глубоким недоверием к бессильной и оппортунистической городской либеральной буржуазии, в последнее время охотно стал прислушиваться к народническим речам, он позволяет убаюкивать себя уверениями, что деревня выступит на смену городу, что решение аграрного вопроса в деревне уничтожит безработицу в городе, что значительная часть рабочих вернется из города в деревню и сядет вновь на землю. В связи со всем этим в рядах пролетариата получают весьма сильное распространение

различных антиправительственных и антикапиталистических брожений и оппозиционных настроений, исключая, разумеется, те политические силы, которые, как, например, либералы, имели собственную, противоположную стратегию. Эти последние, особенно силы марксистского толка (такие, как меньшевики), становились для Ленина почти столь же серьезными политическими противниками, что и царизм и капитализм.

¹ «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы», с. 378.

² Там же, с. 381.

анархистские и террористические методы борьбы, подтачивающие классовую силу и классовую солидарность пролетариата»¹.

Мартынов заканчивает обвинением в адрес Ленина: «Тот самый Ленин, который писал громовые статьи в «Искре» против «революционного авантюризма» эсеров, который клеймил именем «хвостистов» тех, которые «преклоняются перед стихийностью», этот самый Ленин первый капитулировал перед крестьянской стихией, он первый склонил перед ней свое с.-д. знамя, он первый на страницах «Новой жизни» выдвинул эсеровский лозунг «земля и воля», и с его легкой руки большевики в нашей партии до такой степени усвоили все эсеровские лозунги в агитации, что их на практике очень трудно отличить от эсеров»². Мартынов в полемике, видимо, не замечает существенной разницы между большевиками и эсерами, которая была между ними, несмотря на наличие безусловно определенного сходства: Ленин фактически делал из крестьянства армию, которой предстояло совершить крупную историко-стратегическую операцию, и штаб последней, разумеется, не был «заражен» аграрной идеологией эсеров. Народничество Ленина заключалось не в своего рода крестьянской демофилии, а в холодной политической логике революционного преобразования, для которого и крестьянство, и его партии (такие, как эсеры) были всего лишь средством. Не достигало цели и другое критическое замечание Мартынова в адрес Ленина; мы здесь приводим его с познавательной целью: «Эсеровский дух не только пропитал политические взгляды большевистского крыла нашей партии, он поколебал основы их марксистского мировоззрения. Почти все теоретические лидеры большевиков принадлежат, как известно, к критикам материализма, к эмпирионистам»³.

Меньшевистская печать еще вернется к этому обвинению, отсоединяя органическую связь между политическим «волютаризмом» большевиков и философским «субъективизмом» эмпирионизма, проповедуемого такими видными большевиками, как Богданов и Лупачарский. В своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин, как известно, разоблачит эту интерпретацию большевизма и даст ему философско-материалистическое объективистское обоснование.

10. Якобинство и ленинизм

Сказанного выше достаточно, чтобы представить себе, какие глубокие и непримиримые противоречивые тенденции и

¹ Там же, с. 381—382.

² Там же, с. 382.

³ Там же.

умонастроения существовали в период проведения V съезда РСДРП между большевиками и меньшевиками—подлинными героями драмы, развернувшейся тогда в среде русской социал-демократии, тогда как Троцкий и Роза Люксембург, несмотря на их блестящий ум, ораторское искусство и революционный пыл, остались фигурами, стоящими на более низкой исторической ступени. Мы не станем вдаваться в особенно подробный анализ дебатов об отношении социал-демократии к буржуазным партиям, но, очевидно, нельзя закончить обзор V съезда РСДРП, не остановившись, пусть вкратце, на заключительной его части, посвященной «рабочему съезду». Идею этого съезда выдвинул еще летом 1905 года Аксельрод. В результате работы такого съезда возникла бы новая, пораздо более открытая и развернутая партийная организация, целью которой стало бы расширение сферы действия социал-демократии в массах. Известна решительная оппозиция Ленина этому проекту, который он считал плодом «утомления революцией и желания во что бы то ни стало легализовать партию, выкинуть всякую там республику, диктатуру пролетариата и пр.»¹. Известно также то, что идея «рабочего съезда» была провалена на съезде большевиками при поддержке польской и литовской делегаций как оппортунистическая. Здесь нас интересует не анализ или история этого проекта, а лишь некоторые аспекты его обсуждения, довершающие общую картину Лондонского съезда.

Аксельрод делает сенсационное заявление, вызывающее гнев и незамедлительные протесты большевиков: «Я утверждаю, что партия наша является по происхождению своему и до сих пор еще остается революционной организацией не рабочего класса, а мелкобуржуазной интеллигенции для революционного воздействия на этот класс»².

Подобное утверждение, как бы его ни оценивать, наилучшим образом передает атмосферу духовной раскрепощенности периода становления русской социал-демократии, не боявшейся самокритики. Проследим далее за мыслью Аксельрода: «Да, наша партия исторически сложилась, в силу всей совокупности условий своего возникновения и развития, в организацию революционной интеллигенции и до сих пор сохраняет еще этот характер. Против этого выставляется тот факт, что рабочие численно преобладают в нашей организации. Но подавляющее большинство только в самое последнее время вступило в нее или, вернее, допущено или принято в организацию — притом чуть не чаще всего из фракционных расчетов. И масса принятых в ее среду пролетариев до

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, с. 185.

² «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы», с. 505.

сих пор является в партии чем-то вроде сословия плебеев, между тем как интеллигенция играет роль аристократии, сословия патрициев, управляющего внутренними и внешними делами нашего партийного государства, опекающего его плебейские низы от всяких тлетворных влияний извне»¹.

До сих пор партия руссокой социал-демократии переживала подготовительный период, прежде чем обрести наконец свое подлинное классовое лицо. Это была сложная и даже опасная обстановка, напоминавшая Аксельроду эпоху народничества. И здесь Аксельрод проводит синтетический анализ сущности народнической интеллигенции, который благодаря своей тонкости и значению заслуживает того, чтобы привести его целиком: «В начале 70-х годов революционная интеллигенция провозгласила народ (крестьянство) единственной силой, способной совершить социальную революцию, себя же она считала годной лишь на то, чтобы помочь ему организовать и служить как бы в роли орудия истории для его возвышения. «Народ — все, интеллигенция же — сама по себе — ничто». И только слившись с ним, растворившись в нем, она выполнит действительно серьезную и плодотворную историческую миссию. В этом состоял символ веры революционной интеллигенции 70-х годов. А к концу этого и началу следующего десятилетия отношение ее к революционной самостоятельности народа и своей собственной исторической роли изменилось радикальным образом в обратном смысле. «Народ» в роли активного революционного фактора появится на исторической сцене лишь после того, как интеллигенция совершит политическую революцию. И вместо революционного обоготворения народа она начала обожать самое себя и свою собственную интеллигентскую партию как социальную силу, непосредственно представляющую интересы народа и исторически призванную своей организацией и своими героическими подвигами заменить его собственную — по крайней мере до падения абсолютизма — организованную самостоятельность. Подобная же эволюция, разумеется, только в некоторых отношениях замечается и в наших рядах»².

Актом прозорливости и смелости, который впоследствии будет казаться нелепым, станет заявление Аксельрода о том, что аналогичный процесс протекает и внутри социал-демократической партии, только в начальный период бессознательно: первые русские социал-демократы сумели создать организацию в момент, когда пролетариат мог взять на себя роль лишь пассивного объекта революционного влияния интеллигенции, но они понимали также и то, что речь шла

¹ Там же.

² Там же, с. 506.

о переходном периоде. Теперь этот переходный период чересчур затянулся, о чем свидетельствует революционное движение масс. Следовательно, речь должна идти о переходе к новой фазе в организации партии путем борьбы с процессом, аналогичным тому, который проиллюстрировал Аксельрод на примере народничества. Однако, считает Аксельрод, в рядах партии «начала распространяться и укореняться иллюзия ее пождешественности с классовой пролетарской организацией передовых стран Запада. Узко организационный патристизм и консерватизм приобрели большую власть над массой с.-д. интеллигенции, для которой сохранение нашей исторически сложившейся конкретной партийной организации стало своего рода самодовлеющей целью, идеализация же пролетариата и его будущей классовой политической организации уступила место самоидеализации нашей партийной интеллигенции, как исторического носителя социалистической сознательности и принципиальности, и идеализации нашей интеллигентской или полунинтеллигентской [партии] как настоящей классовой партии непосредственно самих рабочих масс»¹.

Ничто не могло носить более антибольшевистский характер, нежели эта полемика, направленная против того, что Аксельрод называет «партийным патриотизмом», и не случайно эта позиция Аксельрода подвергнется таким яростным атакам. Аксельрод заканчивает свое выступление еще более суровым приговором, который ставит под сомнение эффективность «рабочего съезда» для выхода из создавшегося положения — если партия не сделает всего необходимого для того, чтобы поднять дух инициативы и самостоятельности масс. «Наша партия из организации, развивающей и стремящейся развивать классовую самодеятельность пролетариата, превратится в силу консервативную, непосредственно мешающую его политическому развитию, самым фактом своего существования задерживающую это развитие»². С другой стороны, превращение партии в «классовую организацию рабочих масс» может быть не прямым результатом «рабочего съезда», а только следствием «целого исторического процесса, в котором передовые слои пролетариата должны играть роль не объекта, а субъекта, сознательно работающего над сплочением своего класса в сознательную политическую силу»³.

Естественно, сторонники «рабочего съезда» не могли забыть и о Советах и об отношении к ним большевиков, выработанным ими в начальный период. Мартов говорит: «Насту-

¹ Там же, с. 507.

² Там же, с. 517.

³ Там же.

пили октябрьские дни. Стачка в Петербурге поставила перед массами вопрос: что делать? Меньшевики сейчас же дали ответ: выбрать Совет рабочих депутатов. И таково уж было сложившееся мнение меньшевиков по всей России об этом вопросе, что вслед за Петербургом Советы создались в свыше чем 30 городах России. Вы знаете, что большевики сначала повели войну против Советов, потом пошли за меньшевиками»¹.

И в другом своем выступлении, обращаясь к большевикам, повторяет: «Вы пойдете в Советы только тогда, когда вас потащат «ваши» рабочие, как они вас, против вашей воли, затащили в Петербургский Совет рабочих депутатов после того, как вы долго упирались, обвиняя нас в стремлении погубить партию организацией и поддержкой Совета?»²

Дан также, напоминая о меньшевистской идее «революционного самоуправления», предостерегает: «Под сенью этой идеи зародились Советы рабочих депутатов. Вы боролись против их возникновения, но они стали фактом, и вы вынуждены снова были отступить. Вы боролись против беспартийности Советов рабочих депутатов, вы требовали от них присяги на верность партийной программе и снова должны были отступить, и теперь уже беспартийные рабочие организации включены в вашу резолюцию»³.

Мы могли бы закончить следующими словами Мартова: «Но можно ли делать из фактов, всем нам известных, тот вывод, что «беспартийные организации» годны лишь в моменты «непосредственного выступления», в промежутки же между этими моментами, столь частые в нашей революции, мы должны противодействовать таким организационным попыткам. Так думают большевики. Мы не так думаем. Для нас организационное творчество масс, пытающихся активно работать над делом своего освобождения,— не зло, с которым приходится лишь мириться ради успехов революции. Для нас, скорее, неизбежное зло то, что в периоды «органического развития» класс вынужден условиями своего рабочего существования «передоверять» заботу о своих политических интересах своему авангарду. Для нас рабочее движение не есть стихия, которую мы, революционеры, хотим лишь «использовать» для разрушения крепостнического государства, для завоевания республики... Данная партийная форма никогда не может быть фетишем для революционного социал-демократа»⁴.

Дан, описывая историю формирования большевизма, замечает, что вслед за победой большевиков на Лондонском

¹ Там же, с. 529.

² Там же, с. 552.

³ Там же, с. 567.

⁴ Там же, с. 531.

съезде партия, «будучи официально большевистской по своей политической линии, стала для большевиков объектом «использования», как и любой политический или рабочий институт». Следовательно, «политика большевизма стала «заговорщицеской» по двум направлениям: по отношению к проблемам общеполитического порядка и по отношению к самой партии; деятельность «большевистского центра», воплощавшая в себе идею узкого круга «одержимых революционеров», была законспирирована тщательным образом не только от государственной полиции, но и от партии и членов Центрального Комитета, «большевистского» по своему политическому направлению. Это было логическим завершением той организационно-политической линии, начало которой было положено еще книгой Ленина «Что делать?». Но это также явилось источником того абсолютного господства непосредственной «функциональности» в выборе средств борьбы (наряду с безграничной преданностью коллективу собственной фракции, с неиссякаемой энергией при достижении поставленной цели, со строжайшей дисциплиной, с беспрекословным подчинением всем директивам «сверху» и другими «динамическими» чертами, воспитанными в большевизме всей историей его происхождения и развития), которое стало составной частью политико-психологической физиономии большевизма и была им же самым распространена также на руководящие круги международного коммунизма».

Эта присущая большевизму новизна, отчетливо проявившаяся в политике Ленина, выработанной им в ходе революции 1905 года, несомненно, формировалась на основе традиций революционного народничества, как не преминули заметить русские марксисты — современники зарождения большевизма, которые, хотя и распознали «отца», тем не менее недооценили оригинальности «сына». В этой генеалогии следует, однако, подняться к еще более раннему поколению и вспомнить, как это также делали современники указанного процесса, якобинскую традицию (или бланкистскую, ввиду того, что в России оба направления слились в одно). Вот известная формулировка Ленина, относящаяся к кануну революции 1905 года: «Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, создавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ»¹. Эта положительная формулировка направлена против меньшевистских «жирондистов». «Жирондист, тоскующий о профессорах, гимназистах, боящийся диктатуры пролетариата, вздыхающий об абсолютной ценности демократических требований, это и есть оппортунист»². Данная отрицательная фор-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 370.

² Там же.

мулировка должна была дать понятие о меньшевиках, «экономистах», ревизионистах, либеральных демократах, то есть всех небольшевиках, не связанных непосредственно с наиболее откровенной реакцией. К противопоставлению жирондистов и якобинцев Ленин возвращается в своей раскрывающей политическую обстановку 1905 года классической работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции»: «Жирондисты современной руссокой социал-демократии» — это меньшевики и либералы, которые стремятся «разделаться с самодержавием мягко, по-реформаторски», а «якобинцы современной социал-демократии, — большевики... — хотят поднять своими лозунгами революционную и республиканскую мелкую буржуазию и особенно крестьянство до уровня последовательного демократизма пролетариата, сохраняющего свою полную классовую особенность. Они хотят, чтобы народ, т. е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией «по-плебейски», беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком»¹.

Естественно, уточняет Ленин, обращение к якобинцам не означает повторения их программы революционной социал-демократией — речь идет о «сравнении», которое проясняет суть двух «тактик» (в сущности, следовало бы оказать — двух умонастроений) русской социал-демократии. В 1917 году Ленин вновь обратится к якобинцам. Вообще он довольно часто обращается к ним в своих произведениях, и эти ссылки на якобинцев представляют собой целую систему идей и руководящих указаний, связанную с не менее частыми косвенными ссылками на революционное народничество. Ссылки на тех и других гармонически дополняют друг друга при выработке Лениным своей теоретической и практической политической линии².

Что касается Плеханова в качестве образца «жирондиста»-меньшевика, то он восхищался якобинцами, настоящими якобинцами, безусловно, ничуть не меньше, чем Ленин, и в его темпераменте было немало от «якобинца»³. Однако в силу своего антинароднического марксизма Плеханов был вынужден признать, что существует «правило, не допускаю-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. II, с. 47—48.

² О якобинстве в России см. мои предисловия к книге В. И. Ленина «Что делать?» и к работе Герцена «К старому товарищу».

³ О «якобинстве» Плеханова и о полемике, с которой он выступил сразу же после свершения большевистской революции, см. мое предисловие к книге В. И. Ленина «Что делать?», с. XI—XII. В отличие от ленинского «якобинство» Плеханова было сентиментальным и непоследовательным, а главное, безоружным, то есть лишенным соответствующей теории и практики организации партии и власти.

щее исключений, что, чем меньше шансов имеет данный общественный класс или слой отстоять свое господство, тем более охлоники обнаруживает он к террористическим мерам»¹. Отсюда следует, что «предстоящий теперь в цивилизованных странах «великий бунт» рабочего сословия наверное не будет отличаться жестокостью». Действительно, «торжество рабочего дела до такой степени обеспечено теперь самой историей, что ему не будет надобности в терроре»². А если бы «торжество рабочего дела» не было «обеспечено самой историей»? И если бы «великий бунт» не произошел в «цивилизованных странах», то есть экономически зрелых, по классической марксистской модели, а был бы запроектирован во имя нового, народнического марксизма в стране нето чтобы «нецивилизованной», однако, несмотря на свое быстрое вступление на путь экономического обновления, еще обремененной жестокой и подавляющей надстройкой абсолютизма? Марксизм Плеханова, не будучи «жирондистским», должен был столкнуться с ленинским марксизмом народнического типа, богатым якобинскими реминисценциями. Победа ленинского марксизма не представляла собой фатальной неизбежности, чтобы восторжествовать, ему понадобилась большая война, война мировая. Но, утвердившись однажды как новая государственная национальная власть, зрелый и законченный ленинизм ярко продемонстрировал свое коренное отличие от якобинской модели. В отличие от французской революции³ революция большевиков не знала краткого периода «террора», но поддерживала внутренний «терроризм» на протяжении крайне длительного периода, практически до сих пор не законченного, и в масштабах, также несравнимых с масштабами якобинского террора. Однако более глубокое различие между якобинством и ленинизмом заключается в том, что стрелнем последнего была теория и практика построения политико-идеологической партии, совершенного новшества для истории. Другим различием была структура этой партии, которой были свойственны распространение и повторяемость — с отдельными вариантами — в мировом масштабе и опора на идеологию борьбы и власти, на иерархию функционеров, не имеющую прецедента в социализме. Даже народничеству как составной части ленинизма суждено было

¹ Г. В. Плеханов. Соч. т. IV, с. 63.

² Там же, с. 64.

³ Параллель между русской и французской революциями не менее общеизвестна, чем параллель между ленинизмом и якобинством. Но эта «общеизвестность» не умаляет глубины значения указанных параллелей, тем более что они осознавались русскими революционерами как до 1917 года, что видно из дискуссии 1905 года, так и после, что видно из полемики 20-х годов вокруг «термидора». О параллели между якобинством и ленинизмом см.: А. Mathiez. Le bolchévisme et le jacobinisme. Paris, 1920.

отойти на второй план, приобретая с течением времени все более общее значение, тогда как главная идея — идея организации и неукоснительной власти над обществом гомогенизированной массы — по контрасту все более четко утверждалась. Марксизму доленнинского периода было суждено стать гуманистическим ореолом, научным основанием (или абстрактным инструментом политико-идеологического соревнования) той идеологии, которую даже «ортодоксальные» марксисты-меньшевики оказались не в состоянии увидеть во всем ее могуществе и значении. Сама функция, или «миссия», рабочего класса изменялась, таким образом, по сравнению с традиционными, изначальными ожиданиями даже марксистского социализма, и оказалось, что из активной силы всеобщей эмансипации он мог превращаться в пассивное орудие построения тотального народного общества с жестким управлением.

С приходом русской революции 1905—1907 годов ленинская модель исторической деятельности поднимается на новую ступень зрелости после строгой теории «Что делать?»¹. В дальнейшем останется лишь уточнять эту модель, приспособливая ее к наиболее крупным историческим событиям, и проецировать ее на мировой фон вместе с теорией империализма. Меньшевики, несмотря на свое историческое поражение, по крайней мере обладали достаточным марксистским интеллектом, чтобы понять то новое, что происходило в русской социал-демократии (даже если для них это означало возвращение чего-то старого). Такой прозорливости не доставало в данном случае Розе Люксембург, «рафаэлевой Ма-

¹ Хотя революция 1905 года, так сказать, предвосхитила революцию 1917 года для которой она была «генеральной репетицией», по известному выражению Ленина («Третий интернационал и его место в истории», — В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, с. 306), — все же не следует забывать о сопокунности коренных различий между ними с точки зрения внутренней и международной жизни. Достаточно вспомнить, что революция, совершенная большевиками в октябре 1917 года, была направлена не против царского самодержавия, а против слабого правительства, порожденного народной революцией, свергнувшей самодержавие и не опиравшейся на широкий единый фронт демократических и социалистических сил, но утвердившейся в качестве власти меньшинства над этими силами, которые, moreover, очень скоро были устранены. Иной была и техническая сторона Октябрьской революции по сравнению с Февральской революцией 1917 года и революцией 1905 года. Фактически она не была порождена спонтанным народным движением, в результате которого появилась сочлененная система политических тенденций, а утвердилась как оригинальный «государственный переворот», опирающийся на пассивное участие широких масс (особенно крестьянских), разрозненных и озлобленных войной. Все это наряду с другими обстоятельствами следует иметь в виду, чтобы понять динамическую последовательность преемственности различных точек зрения в период революционной ситуации 1905 и 1917 годов — точек зрения Ленина, меньшевиков, Каутского, Розы Люксембург и других политических деятелей и партий социалистов, демократов и либералов.

донне», как назвал ее тогда Плеханов, которая «носится на облаках... отрадных мечтаний». Она опустится на землю после 1917 года, критикуя последствия большевистской революции, так же как она опустилась на землю в 1904 году, критикуя ленинскую концепцию партии. Что же касается Ленина — автора самого выдающегося и стабильного новшества в марксизме, то до какой степени он осознавал значение поворота, совершенного им в истории? Его последователи, и особенно Сталин, самый крупный из них ввиду достигнутых им успеха и могущества, ответили на вопрос той прямолинейной формулировкой марксизма-ленинизма, которая вот уже долгое время облечена такой материальной и идеологической властью, что способна на протяжении длительного периода преграждать путь какой бы то ни было критике по любому вопросу.

Ютта Шеррер

БОГДАНОВ И ЛЕНИН: БОЛЬШЕВИЗМ НА РАСПУТЬЕ

Александр Богданов (псевдоним Александра Александровича Малиновского, 1873—1928) — не только один из ведущих представителей советского марксизма (на протяжении ряда лет он тесно сотрудничал с Лениным и еще в 1922 году занимал пост председателя Исполнительного Комитета Коминтерна*). По мнению Зиновьева, Богданов был одним из наиболее влиятельных руководителей большевизма¹. Свою теорию общества и революции Богданов с самого начала считал альтернативой ортодоксальному марксизму, а впоследствии, на основе опыта революции 1905 года, — альтернативой «ленинизму» (этот термин был впервые употреблен в критическом смысле, для определения авторитарного стиля, в 1907 году А. В. Луначарским, стоявшим в то время на тех же позициях, что и Богданов). Когда летом 1909 года Ленин исключил Богданова из фракции как «левого большевика», он в конце того же года основал литературную группу «Вперед», просуществовавшую внутри Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) вплоть до лета 1917 года, хотя сам он с конца 1911 года не участвовал в ее работе. За несколько недель до Октябрьской революции Богданов основывает Пролеткульт. Эта организация, число членов которой в 1920 году приближалось к числу членов коммунистической партии (около полумиллиона), была передана Лениным в подчинение государственному аппарату (Наркомпросу), после чего Богданов окончательно отстранился от политической жизни. Врач по образованию, он с 1921 года занялся исследованиями в области гематологии и основал в Москве первый институт переливания крови, директором которого он был назначен в 1926 году. Погиб он во время эксперимента, поставленного на самом себе. Некоторыми его смерть была истолкована как самоубийство.

По сравнению с Плехановым Богданов был гораздо более продуктивным и популярным писателем русской социал-демократии, о чем свидетельствуют высокие тиражи и многочисленные переиздания его произведений. Однако политические

* Так в тексте. — *Прим. ред.*

¹ См.: G. E. Sinowjew. Geschichte der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) Erlangen. 1972, S. 155.

и философские расхождения, соперничество с Лениным привели к почти полной его изоляции в конце 20-х годов. Его влияние на русскую социал-демократическую интеллигенцию, а в особенности на русский пролетариат до и после 1917 года до сих пор остается чем-то вроде табу для официальной партийной историографии. Да и в работах западных авторов, посвященных русской социал-демократии, большевизму и ленинизму, его имя почти полностью игнорируется. Основным источником сведений о личности Богданова стало произведение Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», над которым он работал в эмиграции в 1908 году и которое было опубликовано в России в мае 1909 года. Однако вынесенный с философских позиций приговор, послуживший Ленину обоснованием исключения Богданова из фракции, сам по себе не объясняет сути конфликта между этими двумя людьми — рупорами большевизма, тем более что философские взгляды Богданова прежде уже критиковали меньшевики Л. И. Аксельрод-Ортодокс (1904), А. М. Деборин (1907) и Плеханов (1901, 1908), тогда как «Материализм и эмпириокритицизм» выражает главным образом личную точку зрения Ленина. Расхождения между Лениным и Плехановым носили не только абстрактный, теоретический характер; они касались также целей практических и политических и были непосредственно связаны с вопросами тактики различных партийных течений. «Махистская оппозиция, — замечает Корш, — добралась даже до Центрального Комитета партии большевиков»¹. Или, по словам Гаупта, «как часто бывает в истории социализма, политический конфликт был также глубоким идеологическим конфликтом»².

1. Угроза раскола в большевизме

«А. А. Богданов играл огромную роль в развитии нашей партии и в развитии общественной мысли», — пишет Бухарин в некрологе, опубликованном в «Правде» в апреле 1928 года. Он был «довольно значительное время одним из крупнейших теоретиков марксизма», «образованнейшим человеком нашего времени», целое поколение «привлекалось его статьями», ему «многие и многие обязаны началом своего революционного пути»³.

Политическая деятельность Богданова с самого начала была теснейшим образом связана с его литературными и педагогическими интересами. В результате пропагандистской

¹ K. Korsch. Zur Philosophie Lenins. — A. Pannekoek. Lenin als Philosoph. Frankfurt—Wien, 1969, S. 134.

² G. Haupt et J.-J. Marie. Les bolchéviki par eux-mêmes. Paris, 1969, p. 270.

³ «Правда» от 8 апреля 1928 года.

деятельности молодого Богданова в подпольных рабочих кружках Тулы в 1897 году появился его «Краткий курс экономической науки» — первый учебник политической экономии, предназначенный для рабочих. Книга много раз переиздавалась вплоть до конца 20-х годов и использовалась в качестве учебника в советских партийных школах. Это одна из немногих книг Богданова, переведенных на иностранные языки. Следующее произведение — «Основные элементы исторического взгляда на природу» (1899) — также явилось прямым результатом педагогической деятельности автора в рабочих кружках. После многих лет, проведенных в тюрьме и ссылке в Калуге и Вологде (период исключительно плодотворный для его писательской деятельности), он в 1904 году эмигрировал в Швейцарию. Здесь Богданов, уже в октябре 1903 года, примкнув к группе большевиков, впервые встретился с Лениным. Последний в 1898 году (в журнале «Мир Божий») приветствовал как «замечательное явление в нашей экономической литературе» «Краткий курс экономической науки», подчеркнув и превознес тот факт, что «автор последовательно держится исторического материализма»¹. В Женеве Богданов становится союзником Ленина в борьбе против меньшевизма. Они вместе занимаются подготовкой издания печатного органа большевистской фракции, который выходит в Женеве с 4 января 1905 года под названием «Вперед», а затем под названием «Пролетарий». Богданов вводит в члены новой редакции некоторых своих товарищей по ссылке, таких, как Луначарский, В. А. Базаров (Руднев), И. И. Скворцов-Степанов, в тот период неизвестных Ленину. Сам Богданов вернулся в Россию с целью использовать свои многочисленные знакомства и найти средства для финансирования журнала.

Еще в Женеве вместе с Лениным, М. Н. Лядовым, М. М. Литвиновым и некоторыми другими Богданов был избран в Бюро комитетов большинства — новый орган, который должен был функционировать наряду с Центральным Комитетом РСДРП в качестве своего рода верховного органа большевистской фракции и некоторое время спустя стал известен как Большевистский центр. В России Богданов вопреки оппозиции меньшевиков ведет подготовку III съезда партии, состоявшегося в Лондоне 25 апреля — 10 мая 1905 года. Богданов был избран в Центральный Комитет наряду с Лениным и Л. Б. Красиным; одновременно его назначили главным ответственным за литературную работу Центрального Комитета в России. В Петербурге он представлял Центральный Комитет в первом Совете рабочих депутатов и вместе с Красиным занимался организацией боевых партийных групп (бое-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, с. 35, 37.

вая техническая группа), которые позднее примут участие в пресловутых экспроприациях, организованных большевиками на Урале и на Кавказе для пополнения партийной кассы. В октябре 1905 года Богданов вместе с Красиным, Румянцевым, Горьким, Базаровым, Луначарским и Лядовым основал в Петербурге первую легальную ежедневную газету большевиков — «Новая жизнь».

Уже благодаря тому, что Богданов находился в России с самого начала революции, он был более осведомлен о ее ходе, чем Ленин, вернувшийся на родину лишь в ноябре 1905 года. Более того, в этот период Богданов был известен в рабочей среде настолько шире, чем Ленин, что в 1905 году его считали вождем большевиков. Арестованный вследствие роспуска в декабре 1905 года Петербургского совета, он на IV съезде партии, проходившем в Стокгольме в апреле 1906 года, был избран, находясь еще в тюрьме, членом Центрального Комитета. После освобождения в мае следующего года он поселяется вместе с женой, Лениным и Крупской в деревенском доме в Куоккала в Финляндии неподалеку от русской границы. Здесь Богданов выполняет функции связного между Центральным Комитетом и большевиками — депутатами Второй думы. На V съезде РСДРП, проходившем в Лондоне в мае 1907 года, он выступает с блестящими докладами по проблемам организации и практики руководства, а также, и главным образом, по проблемам литературной пропаганды. В отличие от Ленина его вновь избирают в Центральный Комитет. Кроме того, он — член Большевицкого центра, который создал руководство «Пролетария» и определял впоследствии тактику большевиков.

Этот последний момент и стал яблоком раздора. Разрыв Ленина с Богдановым коренится в оценке политической ситуации, сложившейся после роспуска Второй думы в сентябре 1907 года. Разногласия развернулись по вопросу об участии в выборах в Третью думу: использование ее трибуны для социал-демократической пропаганды — ленинское положение — или же концентрация усилий на новом революционном восстании и бойкот выборов в Думу, олицетворявшую псевдоконституционный режим, неспособный предоставить революционному большевизму какую-либо возможность действовать, — богдановское положение. В результате дискуссии, после того как на Всероссийской конференции в августе 1907 года четырнадцать из пятнадцати большевистских делегатов высказались в пользу Богданова, он возглавил партийную фракцию в Советах, а Ленин вступил в соглашение с меньшевиками, которые с самого начала предлагали тактику использования минимальных легальных возможностей, существовавших в России.

Тактика бойкота, поддерживаемая, помимо Богданова,

Луначарским и Г. А. Алексинским (большевик — депутат Второй думы), пользовалась широким успехом среди рабочих, которые в своей массе воздержались от участия в выборах и последовали призыву Богданова готовиться к вооруженному восстанию. Но когда надежды на немедленный революционный взрыв рухнули, бойкот выборов в Думу, казалось, потерял всякое значение, несмотря на то что на одной из районных конференций большевиков, проходившей в Москве в мае 1908 года, было выражено крайне критическое мнение относительно деятельности социал-демократов в рамках Думы. Часть делегатов, в том числе Станислав Вольский, поддерживали мнение о бесполезности иметь своих депутатов (собственно, потому, что думские депутаты от РСДРП были в основном меньшевиками) и потребовали их отзыва (отсюда — «отзовисты»). Другая часть, возглавляемая Богдановым, Алексинским и В. Л. Шанцером (Марат), требовала, чтобы Центральный Комитет в ультимативной форме дал указание социал-демократам — депутатам Думы признать партийную дисциплину и безоговорочно соблюдать решения Центрального Комитета (отсюда — «ультиматисты»).

Влияние «отзовистов» и «ультиматистов» в партийной организации Москвы, в зональном комитете Центральной России, в Петербурге, Одессе и на Урале на протяжении определенного периода времени было значительным. Их политический вес увеличивается благодаря тому, что эта группа левого крыла советской фракции — включавшая Богданова, Луначарского, Красина, Алексинского, Базарова, тесно связанного с ними Максима Горького, а также Вольского, Шанцера, Лядова, историков М. Н. Рожкова, В. А. Десницкого (Строев), Д. З. Мануильского, В. Р. Менжинского и ряд других — не только представляла собой наиболее значительный интеллектуальный потенциал большевиков: все они были защитниками неортодоксальной, «антиавторитарной» концепции марксизма и заботились о его дальнейшем развитии, вернее, о его подлинном обновлении, опираясь в основном на введение в марксизм последних открытий естественных наук и философии науки. Все они хотели дополнить марксизм гносеологией эмпириокритицизма Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса, которые исходили из положения о том, что знание опирается исключительно на опыт. Что это, новый аспект ревизионизма? Так утверждал Мартов в отношении Богданова еще в 1904 году. Не «левый» ли это ревизионизм (как реакция на «правый») русских «легальных марксистов»? Отражали ли выдвигаемые этой группой идеи кризис марксизма в целом? Или же раскол угрожал главным образом большевизму? Агенты охраны, как правило, довольно хорошо информированные, в своих доносах того периода не колеблясь указывают на существование фракции «ленинцев» и фракции

«богдановцев». Но кто же «истинные», «подлинные» большевики? Плеханов недвусмысленно заявляет, что официальная философия большевиков — это «богдановщина». Он хочет продемонстрировать, что большевики — ревизионисты не только в области политики, но и в области философии. Термин «богдановщина», столь обычный для полемики 20-х годов, появился около 1908 года в ходе полемики Плеханова с Богдановым и его последователями, русскими эмпирикритиками.

Внутрифракционный конфликт большевиков длился на протяжении всего 1908 года. Ленин все более концентрировал свои усилия на борьбе против Богданова, бесспорного вождя «левых большевиков». В конце 1907 года Большевистский центр направляет Богданова в Женеву, принимая во внимание позицию, занимаемую им в редакционном комитете «Пролетария». Весной 1908 года Ленин отстраняет его от исполнения этой функции. Немного позже, в августе 1908 года, Богданов и Красин были сняты с ответственных должностей в финансовой комиссии Большевистского центра. Теперь Ленин располагал денежными средствами, специально предназначенными для потребностей фракции, и — не в последнюю очередь под давлением меньшевиков — мог освободиться от товарищей, скомпрометировавших себя участием в экспроприациях. В период работы над «Материализмом и эмпириокритицизмом» в июле 1908 года Ленин пишет сотруднику «Пролетария» В. В. Воровскому, что «положение у нас трудное. Надвигается раскол с Богдановым... Драка на ближайшей конференции неизбежна. Раскол весьма вероятен. Я выйду из фракции, как только линия «левого» и истинного «бойкотизма» возьмет верх»¹.

В июне 1909 года Ленин собирает на совещание в Париже членов редакции «Пролетария». По собственному усмотрению он вводит в редакцию нескольких членов и объявляет это совещание съездом Большевистского центра с правом вынесения резолюций. На Совещании были приняты решения, тексты которых были заранее подготовлены Лениным и которые еще более укрепили главенствующую позицию Ленина внутри фракции большевиков: Богданов был исключен из фракции, отзовизм, ультиматизм, левое ликвидаторство, богостроительство, партийная школа на Капри (в ленинской полемике все эти оттенки утрачены) были осуждены как бесплодные политические попытки «левых большевиков», как «извращения марксизма», «совершенно непримиримые с позицией большевизма, еще раз сформулированной Совещанием»², — словом,

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 159—160.

² «Протоколы Совещания расширенной редакции „Пролетария“». Партиздат, 1934, с. 202.

как новый идеологический и политический центр, отделяющийся от фракции большевиков¹.

Работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которая может быть осмыслена лишь с учетом политической ситуации, сложившейся к моменту ее написания («книга является составной частью какой-то процедуры», — утверждает Паннекук)², практически не играла никакой роли в рассматриваемом конфликте. Она приобрела значение лишь в 20-е годы, особенно вскоре после смерти Ленина, в связи с дискуссией о партийности философии. В своем ответе на «чисто политический памфлет» Ленина, написанном Богдановым в 1910 году (Покровский, 1926) и до тех пор остававшимся полностью неизвестным — многозначительно озаглавленном «Вера и наука», — Богданов, вместо того чтобы занять соответствующую позицию, проанализировав положение за положением каждое «обвинение» в отдельности, довольствуется суровой критикой ленинского метода, заключающегося в приписывании Богданову и даже Маху идей, совершенно противоположных тем, которые они на самом деле излагали.

Возникает вопрос: имеют ли вообще философские расхождения между Лениным и Богдановым принципиальное значение в конфликте 1909 года или же они используются против Богданова в этот момент по тактическим соображениям? Еще в период написания своей полемической работы Ленин открыто признавал, что он недостаточно компетентен в области философии, в то же время считая, что знаком с философской точкой зрения своего противника с самого начала литературной деятельности Богданова. Как следует из письма Максиму Горькому от 25 февраля 1908 года, Ленин прочел все работы Богданова по мере их опубликования еще в конце 90-х годов, находясь в ссылке в Сибири. Ему не только был известен основной философский труд Богданова «Эмпириомонизм» — три тома, вышедшие в 1904—1906 годах, — он проанализировал этот труд и все критические замечания сообщил Богданову. Однако, как большевики, объясняет он Горькому, он с Богдановым летом и осенью 1904 года «заключили... молчаливый и молчаливо устранивший философию, как нейтральную область, блок», позволявший им «совместно провести в революцию ту тактику революционной социал-демократии (= большевизма), которая, по моему глубочайшему* убеждению, была единственно правильной»³. Отныне философия расценивалась как частное дело и должна была нахо-

¹ См. там же, с. 50.

² *Pannekoek*. Lenin, S. 87. Паннекук решительно отвергает тот факт, что в книге «Материализм и эмпириокритицизм» содержится «марксистская» критика Маха, Авенариуса и Богданова.

* В приводимой цитате автор опускает это слово. — *Прим. ред.*

³ *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 47, с. 142.

даться в стороне, особенно от публикаций фракции. И все же, несмотря на такие утверждения, Ленин убедил Л. И. Аксельрод, преданную последовательницу Плеханова, выступить с критикой философских идей Богданова, которая была опубликована в «Искре» в конце 1904 года.

«Гениальный оппортунист», каковым он всегда был, по утверждению Луначарского, Ленин выходит из «блока» с Богдановым в тот момент, когда последний находится во главе важной группы фракции большевиков, и объявляет себя защитником «истинного» большевизма. Одновременно, по словам Горького, Богданов и его единомышленники — среди которых в тот период был сам Горький — противопоставляют «историческому фатализму» Ленина и Плеханова «философию действия»¹. Однако, несмотря на то что Богданов, поддерживаемый Горьким, выдвигал активистский принцип «философии пролетарской борьбы», Ленин в своем «Материализме и эмпириокритицизме» (подзаголовок — «Критические заметки об одной реакционной философии») заверял, что философская позиция Богданова представляет собой серьезную угрозу революционному стремлению русских марксистов к борьбе, опосредованности партии к политическому действию.

Итак, какова особенность «философии действия» Богданова? Против какой «угрозы» предостерегает Ленин? Что означает большевизм для Богданова? И что вообще означал большевизм в этот момент? И правомерно ли говорить о том, что большевизм находился в тот период на распутье и оба возможных направления на протяжении определенного периода времени, короткого, но важного, находили свое воплощение в лице Богданова и Ленина?

Если можно считать, что ленинская линия, которая в конечном счете окажется «победоносной», нам известна, то пельзя сказать то же в отношении теории общества и революций Богданова, дискредитированной Лениным, который определил ее как карикатуру на большевизм, и априорно дискредитированной его последователями. Далее на страницах этой работы мы постараемся проанализировать политическую программу Богданова, до сих пор недостаточно известную, а также его концепцию большевизма, его видение будущего социалистического общества в отличие от ленинской концепции большевизма, а в те годы и в противоположность ей.

2. Политическая «картина мира»

Вскоре после исключения Богданова из фракции в листовке, обращенной к большевикам, он утверждал, что «раскол

¹ См.: Письмо М. Горького К. П. Пятницкому (В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М., 1969, с. 48).

большевизма» был «повторением старой истории, воспроизводящим вплоть до мелочей картину раскола между меньшевиками и большевиками, с изменением лишь заинтересованных лиц». В основе союза Ленина и Плеханова («парламентаризм любой ценой») лежал, безусловно, меньшевистский принцип. По мнению Богданова, не эта новая «фракция центра», не «парламентский большевизм нового «Пролетария» и раскольнический левый меньшевизм», а одни только «левые большевики» могли гарантировать преемственность большевизма: внутри социал-демократии они защищают революционную тактику от оппортунизма.

Богданов следующим образом определяет революционную тактику большевизма в исторических условиях реакции в «межреволюционную эпоху»: 1) усиление нелегальных и конспиративных партийных организаций, невзирая на любые репрессивные меры; 2) воспитание широких рабочих масс в духе классовой социалистической сознательности (отличительная черта которой — распространение революционно-демократических лозунгов, пропагандирующих каждодневную борьбу) посредством нелегальной и легальной литературы; создание партийных школ, для того чтобы рабочие вместо интеллигенции постепенно начинали руководить пролетарской борьбой; 3) продолжение традиций революционной борьбы, с изучением методов вооруженного восстания и военной техники в специальных группах и школах инструкторов для подготовки к надвигающейся революции.

«Раскол большевизма», о котором Богданов известил своих товарищей еще в июле 1909 года, формально произошел лишь в конце года. Стало реальностью то, что в ироническом тоне предсказывал еще в конце сентября 1908 года Лео Иогихес (Тышка) в своем письме Богданову: его не удивило бы, пишет он, если бы разлад в среде большевиков, отчетливо проявившийся на Совещании расширенной редакции «Пролетария», привел к появлению третьей внутрипартийной фракции со своим Центральным Комитетом, в составе «Коллегии лекторов рабочей школы»¹. Преподаватели и слушатели этой партийной школы на Капри, созданной в августе 1910 года «левыми большевиками» по инициативе Богданова и Горького, обратились в Центральный Комитет РСДРП с просьбой признать их как «литературную организацию» под названием «Вперед» — и официальное признание было им предоставлено на парижском пленуме в 1910 году.

«Платформа» группы «Вперед» — «Современная обстановка и задачи партии», — обстоятельно отредактированная Богдановым, провозглашала своей основной задачей «борьбу

¹ «Протоколы Совещания расширенной редакции „Пролетария“», с. 263.

за восстановление единства большевизма», а также за выработку практических задач социал-демократии на основе большевизма, «так, как мы их понимаем». Сам большевизм определялся как «строгое и последовательное приложение научного социализма к русской действительности». Специфика сложившейся в России ситуации — которая также была отправным пунктом многочисленных теоретических дискуссий Богданова по вопросу о «русском марксизме, или большевизме», — породила принцип партийности. Что же он означает конкретно?

Лишь организационные принципы большевизма, а именно партийность — аргументируется в «платформе», — радикально изменили сложнейшую ситуацию, в которой находилась партия в России: привычки, порожденные условиями работы изолированных один от другого и разбросанных повсюду кружков, работавших на местах в стиле традиционной кустарщины, преобладали до такой степени, что в тот момент мешали взаимодействию внутри партии, а в будущем — ее подлинному объединению. Даже когда программа партии была уже выработана, наиболее авторитетные члены партии, особенно из интеллигенции, не захотели отказаться от своих руководящих позиций, которые они занимали в кружках, функционировавших в большинстве своем за границей. Но тут вмешался большевизм со своей организацией: партийная психология против кружковщины. Во имя организационной дисциплины большевизм требовал, чтобы «интересы дела ставились выше любого авторитета»; чтобы члены партии, работавшие в России, пользовались привилегиями по сравнению с членами партии, работавшими за границей; чтобы был осуществлен переход к центральному руководству и одновременно вопросы партийной жизни решались на широкой организационной основе, с соблюдением принципа демократического централизма; наконец, выдвигалось требование объединить различные национальные организации под эгидой «единства партийной работы». В «платформе» зафиксировано, что наиболее важный вопрос большевизма с точки зрения программы, организации и тактики — вопрос о членстве в партии: членом партии может быть тот и только тот, кто принадлежит к авангарду пролетариата, обладающему революционным сознанием, а не к стихийному движению пролетарских низов, — как отмечено в определении роли пролетариата и его тактики, сформулированном во время революции 1905 года.

Начиная с 1907 года — констатируется в «платформе» — демократический централизм изживает себя вследствие усиления реакции и полицейских репрессий. Теперь в самом большевизме начинается идейный разброд: с одной стороны, центры окончательно оторвались от местных организаций, с

другой — внутрифракционная борьба парализует работу партии, направленную на осуществление задач пролетарского дела. В качестве выхода из положения группа «Вперед» предлагает вести большевистскую агитацию и пропаганду, на данный момент практически отсутствующую, начиная с низов — то есть с местных организаций; здесь, так же как в листовке Богданова, большевизм определен как продолжение революционной борьбы на данном этапе и одновременно защита от оппортунистического парламентаризма. Пока местные организации не функционируют или почти не функционируют, полагать возможным использование думской трибуны с целью эффективной пропаганды — заблуждение. И все же, требуя партийной дисциплины, авторы «платформы» рекомендуют не отзывать из Думы депутатов от социал-демократии: «До тех пор пока партия с полным основанием не изменит своих решений относительно Третьей думы, все организации, все члены партии обязаны всеми средствами поддерживать работу парламентской группы». Однако «любой член партии имеет право давать свою оценку результатам и значению работы, проводимой в Думе». В этом смысле авторы «платформы» расценивают отзовизм как «один из разнообразных узаконенных оттенков деятельности революционного крыла партии», и предполагается, что именно «разнообразие оттенков, при неизблемом единстве принципов», свидетельствует о жизнеспособности и подлинности большевизма.

Отдельные пункты той части «платформы», в которой говорится об агитации и пропаганде, дают возможность легко распознать идеи Богданова о социалистическом воспитании русского пролетариата. Эти идеи, с самого начала лежавшие в основе его политической деятельности, стали причиной создания партийной школы на Капри и в Болонье и привели, как мы увидим дальше, к развитию его теории общества и «пролетарской культуры».

Характерно ленинское прочтение «платформы»¹: анализ в ней «современного исторического положения нашей страны» (анализ, который сам Ленин считает отвечающим позиции большевиков на конференции 1908 года) — это «„карикатурная“ революционность», когда при помощи «правильных большевистских рассуждений», если их рассматривать по отдельности, думская трибуна обрекается на использование в целях пропаганды, то есть не принимается во внимание «своеобразие» периода перехода к «новой революции». Иными словами, Ленин рассматривает «платформу» исключительно как манифест отзовистов, последние же для него — это те, кто не учитывает «своеобразие современного момента», настаивая на такой тактике, при которой первостепенное

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 241—246.

значение придается исключительно революционному восстанию. Но если подобная тактика соответствовала принципам большевиков во время революции, то, с тех пор как политическая и экономическая ситуация в России изменилась, она была уже неверной. Следовательно, Ленин с принципиальной точки зрения не оспаривает большевистской ориентации отзовистов, и, таким образом, становится понятным, почему он вообще употребляет термин «левые большевики»: автор «Материализма и эмпириокритицизма» не отрицает полностью того факта, что в течение какого-то периода после публикации этой книги Богданов и члены его группы придерживались организационных принципов большевизма.

Эта работа Ленина о «платформе» и в значительной степени ряд других его статей о деятельности группы «Вперед», относящихся к тому же периоду, явно свидетельствуют о том, что полемика Ленина с Богдановым сосредоточивалась прежде всего на проблемах тактики и политического руководства, на методах политической борьбы в связи с «новой революцией», на «марксистском анализе момента», то есть на тактике, которой следовало придерживаться в период «между революциями». По мнению Ленина, группа «Вперед» состояла из отзовистов. Но отзовизм — это тактический отход от «ортодоксального большевизма», и поэтому с ним следует вести беспощадную борьбу. Борьба с философским отступлением от «ортодоксального марксизма» стоит на втором плане, однако доказательство того, что в области философии Богданов уже более не марксист, приобретает принципиальную важность, когда Ленин, желая применить определенную тактику, прибегает к марксистскому анализу сложившейся обстановки. Такой анализ Богданов не способен дать именно потому, что является последователем «философского идеализма». В полемике Ленина с Богдановым выражение «левый большевизм» появляется еще в 1914 году (речь идет об одной из групп «левых большевиков» на Кавказе), и Ленин противопоставляет ему собственный, «марксистский большевизм», который он иногда называет «антивпередовским большевизмом».

В ленинском комментарии к «платформе» нет ни следа критического анализа конкретных предложений Богданова о создании в России организации по агитации и пропаганде, а также о социалистическом воспитании рабочих с целью формирования из них руководящих кадров в противоположность интеллигенции — словом, о предложениях Богданова «обновить партию», которые являются центральным моментом «платформы». Помимо всего прочего, «литераторы и теоретики нашей партии», входящие в состав группы «Вперед», созданной по инициативе Богданова, полагали, что их функция заключалась в «создании новой литературы для ведения среди народа пропаганды, наиболее полно и адекватно раз-

вивающей научное социалистическое мировоззрение в его взаимосвязи с русской действительностью». Даже отдельные краткие абзацы, посвященные «пролетарской культуре», представляют собой дискуссии не по существу проблемы или теоретического характера, а скорее по вопросам тактики: они направлены на то, чтобы оторвать Горького как основного представителя «пролетарского искусства» от идеологии «пролетарской культуры» (по мнению Ленина — «новый псевдоним махизма») и в конечном счете вновь завоевать его для собственной фракции. То же можно сказать и о некоторых статьях и письмах Ленина, касающихся группы «Вперед» и относящихся к более позднему периоду (1914). В них, оправдывая исключение Богданова из членов редакции большевистской «Правды», Ленин не только выступает против «пролетарской философии, или махизма», но и делает попытку избежать углубленной теоретической дискуссии. В сущности, «Материализм и эмпириокритицизм» — это единственная работа Ленина, где в полемике с Богдановым теоретическая дискуссия противопоставлена сиюминутным интересам тактики.

Как же конкретно вырисовывается богдановская программа агитации и пропаганды, постулирующая осуществление основной цели пролетариата — распространения идеи социализма и социалистических идеалов? И отчего Ленин в полемике с Богдановым совсем не коснулся достоинств этой «литературной» инициативы группы «Вперед», а также избегал обсуждать вопрос о готовности впередовцев стать в качестве «литературной группы» представителями одного из «разнообразных идеологических течений, которые непременно должны существовать внутри сильной и жизнеспособной партии»?

3. Агитация и пропаганда

Проблема отношения партии к Думе — дебаты по поводу бойкота, отзовизма и ультиматизма, — безусловно, предоставила Богданову возможность выступить с требованием создания «мощного и активного аппарата агитации и пропаганды». Составленная, по-видимому, без учета тактики конспирации, закрепленной в других документах, эта программа создания аппарата агитации и пропаганды является частью обязательного минимума требований «платформы», которая благодаря ей становится важным политическим документом: после ленинской работы «Что делать?» это первый большевистский документ, органически и детально трактующий проблемы политической агитации и пропаганды.

Тот факт, что думская трибуна могла быть успешно использована для социал-демократической пропаганды, в принципе не отрицался в «платформе». Однако то, что социал-де-

мократические депутаты Третьей думы не считали себя ответственными ни перед местными партийными организациями, ни перед Центральным Комитетом или по крайней мере — поскольку в последнее время он уже не собирался более или менее регулярно — перед «Пролетарием» (Большевистский центр), казалось неприемлемым. Неприемлемым было и то, что депутаты даже не поддерживали никакой связи с этими организациями. Полная изоляция думских депутатов от рабочих организаций, пишет Богданов летом 1908 года в том же «Пролетарии», вызывает опасение, что деятельность социал-демократов в Думе приведет к антипарламентаристским настроениям в среде рабочих. В «платформе» подчеркивается отрицательное отношение к любой форме антипарламентаризма. Антагонизм между парламентаризмом и революционным или анархистским синдикализмом, характерный для международной социал-демократии, определяется обеими сторонами как экстремизм: решать, что отвечает интересам класса в целом в той или иной ситуации, в любом случае следует в соответствии с общим волеизъявлением партии. У членов группы «Вперед» нет никаких сомнений относительно оценки и интерпретации задач класса и волеизъявления партии: их предложения по агитации и пропаганде направлены исключительно на «организационную работу внутри партии», то есть в условиях нелегальности; о конкретном же использовании думской трибуны для социал-демократической пропаганды в иных политических условиях они никогда не высказывались.

Еще один мотив, объяснявший стремление Богданова создать прочную сеть агитации и пропаганды, — ситуация, сложившаяся внутри самой партии: с одной стороны, «социал-демократами считают себя индивиды, не интересующиеся жизнью партии», не занимающиеся никакой партийной деятельностью, являясь, таким образом, лишь номинальными членами партии, вплоть до того, что такие члены не платят членских взносов; с другой стороны, в период после революции интеллигенция массами выходила из партии, а это означает, что те функции, которые она до сих пор выполняла в партии, теперь должны будут взять на себя сами рабочие: например, редактирование журналов и политических листовок, создание центров агитации и пропаганды и, наконец, само руководство партийей.

Исходя из этих предпосылок, «платформой» группы «Вперед» предусматриваются два типа агитации и пропаганды: 1) в целях специальной подготовки рабочих для ведения партийной работы или для формирования партийных кадров (впрочем, понятие «кадры» встречается довольно редко); 2) для всеобщей мобилизации рабочих масс, достигаемой посредством их воспитания в духе революционного, социалисти-

ческого сознания. В целом эта агитационно-пропагандистская модель возвращает нас к демократическому централизму, понимаемому как форма организационных основ большевизма. Модель состоит из следующих частей. Прежде всего школа усовершенствования, где готовят рабочих к ведению ответственной и сознательной организационной деятельности и агитации. Такая школа строит свою работу, исходя из того, что в будущей революции пролетариат должен располагать собственными руководителями, которым необходимо хорошо знать основы научного социализма. Для этого нужен новый тип социалистической пропаганды. Условия нелегальности и конспирации таковы, что в дальнейшем, возможно, появится единый тип «пропагандистского кружка», совпадающий с местной партийной организацией. Здесь рабочие, занимающиеся партийной деятельностью, знающие программу партии и основы политэкономии, в течение трех-четырех месяцев проходят курс усовершенствования. Основной упор делается на ознакомление слушателей с основными идеями научного социализма, с общей картиной рабочего движения и его организации, а также с аграрными проблемами и актуальными задачами партии. Руководство такими пропагандистскими кружками — и здесь особенно остро дает себя знать нехватка интеллигенции — должно быть доверено пропагандистам, прошедшим подготовку в специально созданных кружках; эти последние в свою очередь будут вести пропагандисты, прошедшие подготовку в высших партийных школах. В кружках для пропагандистов существует специализация по различным областям партийной работы: подготовка фабричных агитаторов, профсоюзных деятелей, агитаторов и пропагандистов, работающих на селе, редакторов местных газет. Лучшие слушатели этих пропагандистских кружков будут направляться в партийные школы, в которых специальных дисциплин не преподается, но идет подготовка руководящих работников. До принятия окончательной редакции программы пропаганды региональные центры должны будут запрашивать мнение местных органов о том или ином виде пропаганды, который следует использовать, а также будут знакомиться с конкретными вопросами, которые ставят рабочие перед агитаторами и т. д. После опубликования результатов этого обследования созываются региональные конференции пропагандистов и агитаторов, где окончательно утверждаются программы и определяется форма организации пропаганды. Наконец, Центральный Комитет и общая партийная конференция при поддержке печати и партийных школ подводят итоги разработки проектов и программ.

Именно как политическое совершенствование рабочих должно проходить в условиях нелегальности, так и при пропаганде среди пролетарских масс также нужно принимать во

внимание конспиративный характер организации и, следовательно, вести работу главным образом с помощью печатных изданий. Основным средством социал-демократической агитации в массах должна стать местная нелегальная газета. Народные газеты такого типа должны выпускать местные партийные организации. Редакции газет должны располагать группами корреспондентов из числа рабочих социал-демократов, собирающих информацию и свидетельства относительно конкретной ситуации и специфики интересов рабочих в различных областях России. Местной партийной печати придется преодолевать очевидные трудности; поэтому ей должны будут оказывать поддержку главным образом партийные центры, которые в свою очередь создадут народную газету, публикующую материалы на актуальные темы, статистику, передовые статьи по основным вопросам социал-демократической теории и практики, хронику международного рабочего движения, а также беллетристику — словом, совокупность информации, которой смогут воспользоваться непосредственно местные газеты. Точно так же региональные центры должны будут создать «литературные» информационные агентства, которые, используя университетские и публичные библиотеки, будут способны срочно предоставлять в распоряжение редакций местных газет необходимую информацию и разработки. Местные рабочие газеты немедленно вслед за их публикацией следует отправлять в партийные центры и в Центральный Комитет, с тем чтобы последние могли помочь им в теоретическом и практическом плане. Там, где невозможно создать такую газету, нужно выпускать листовки и брошюры, непосредственно посвященные экономическим, политическим и культурным вопросам, касающимся пролетарских масс.

Одно из наиболее действенных средств, привлекающих к агитации внимание масс, — распространение среди рабочих специальных вопросников, которые должны не только апеллировать к непосредственным экономическим и политическим интересам трудящихся, но и затрагивать проблемы «каждодневной жизни и быта» пролетариата. В других вопросниках будут разрабатываться актуальные проблемы тактического порядка: например, безработица и борьба с ней, усиление активности профсоюзов, проблемы социального обеспечения рабочих, взаимоотношения с кооперативами и т. д. Главный принцип использования вопросников — получение непосредственной информации относительно мнения рабочих и ознакомление с их рекомендациями, на основе чего должна будет создаваться пропагандистская литература.

«Платформа» предусматривает специальные формы агитации и пропаганды для сельского пролетариата, армии и профсоюзов, а также для легальных институтов (впрочем, это

единственный содержащийся в «платформе» намек на использование легальных возможностей) — кооперативов, клубов, народных университетов, библиотек и т. д. Однако «платформа» настаивает главным образом на том, что агитация и пропаганда включают в себя также популяризацию опыта массового вооруженного восстания и партизанской борьбы. Следует оспаривать бытующее в среде западноевропейской социал-демократии мнение, будто рабочие массы неспособны организовать вооруженное восстание против регулярной армии. Местные партийные организации должны создавать «инструкторские школы для специализированного практического изучения техники ведения боя» — пункт, на котором Богданов настаивает не только в «платформе», но и во всех своих политических работах этого периода, добиваясь, чтобы пролетариат был готов к грядущей революционной борьбе более, чем в 1905 году. Эти идеи об агитации и пропаганде излагаются здесь так детально только потому, что «платформа» никогда не переиздавалась и сегодня ее текст почти недоступен. На основе вышесказанного группа «Вперед» объявляет о публикации популярных брошюр и при первой же возможности — народной рабочей газеты с целью «всеобщего и полного развития научного социалистического мировоззрения в условиях русской действительности». Некоторое время спустя идеи группы «Вперед» действительно найдут свое выражение в нерегулярно издаваемой группой «народной серии», озаглавленной впоследствии «На тему дня» и выходящей под девизом «Серьезно служить делу возрождения партии».

Описание методов нелегального ведения агитации и пропаганды, которое группа «Вперед» представила в своей «платформе» товарищам по партии с откровенностью, непривычной в эти годы репрессий, — это не только ее оправдание, ее *raison d'être* как «литературной» организации внутри партии, обвиняемой в том, что она в последнее время не заботится о создании пропагандистских текстов. «Платформа» рассматривает свою задачу в области «культурного творчества» как гарантию соблюдения организационных принципов большевизма, основанных на демократическом централизме, — принципов «революционного крыла нашей партии». В этом смысле в одном из последних пунктов настаивается также на необходимости «небольшой, нелегальной, закрытой партии, но формирующейся из активных членов», преимуществом которой гарантируется «литераторами и теоретиками» группы «Вперед».

Как уже говорилось, Ленин никогда не анализировал конкретно утверждения группы «Вперед» о том, что она обеспечивает большевизм внутри партии. То же можно сказать о «впередовской» критике по адресу руководителей партии,

якобы оказавшихся в плену интеллигентского мировоззрения: о такой критике Ленин упоминает практически лишь однажды, в единственной фразе. И все же именно этот последний пункт имеет самое важное значение для идеологии группы «Вперед» и лежит в основе главного требования, выдвигаемого в «платформе»: подготовить русский пролетариат к самостоятельному руководству собственным движением в организационном, тактическом и идеологическом плане и создать таким образом основу для обновления партии.

В различных своих работах, написанных в период прямого конфликта с Лениным и даже позднее, в 1918 году, Богданов многократно цитирует — даже с вариантами — ту часть «платформы», где руководители партии, и особенно Ленин, подвергаются суровой критике, хотя последний и не называется по имени: индивидуализм и авторитарное поведение, амбициозность и культ личности, отказ от внутрипартийной дисциплины и неприятие критики товарищей, самодовольство и эгоизм руководителей, партийной интеллигенции бесконечно осложняют идеологическую борьбу и распыляют силы партийной организации в многочисленных внутрипартийных конфликтах, к тому же бесплодных. Следует добавить, что именно эти характерные черты породили вредную привычку партийных работников слепо верить в авторитет, никогда не подвергая сомнениям позиции наиболее видных руководителей. Периодическая критика руководителей, продолжает Богданов, в сущности, ничего бы не изменила: при ближайшем рассмотрении речь идет о формах поведения, глубоко укоренившихся в старом буржуазном и мелкобуржуазном мире, которому обязаны своим происхождением «социалисты-интеллигенты». Противоречие между явным институционализированным влиянием буржуазной культуры и идеалом социалистического общества, классовой борьбой, может быть преодолено лишь в том случае, если *hic et nunc* (без всякого промедления) в условиях капитализма буржуазной культуре будет противопоставлена новая, пролетарская культура, укоренившаяся и распространившаяся в массах, основанная на принципе «подлинной солидарности в среде пролетариата». По мнению Богданова, лишь «законченное социалистическое образование» способно радикально изменить сущность партийной организации, более того, обновить ее.

Теперь программные требования, выдвигаемые «платформой» — развитие и автономная деятельность трудящихся, их независимость от руководителей, рекрутируемых из интеллигенции, — конкретно воплощались в форме эксперимента в партийных школах на Капри (август — декабрь 1909 года) и в Болонье (ноябрь 1910 — март 1911 года). Деятельность так называемых высших социал-демократических школ аги-

тации намного убедительнее, чем «платформа», свидетельствует о том, что для «левых большевиков» агитация и пропаганда (эти дисциплины в форме практических занятий составляли значительную часть учебной программы) означают не только формирование «постоянных кадров рабочего происхождения»¹, но и создание партийной интеллигенции, рекрутируемой из рабочих. «Новый, высший тип партийной пропаганды» недвусмысленно предполагает создание рабочей интеллигенции. «Пролетариат как общественный класс должен иметь собственную интеллигенцию, работающую в рядах пролетариата с целью свержения капитализма», — утверждает единственный из всех основателей партийной школы на Капри пролетарий по происхождению, «рабочий-философ» Михаил (псевдоним Н. Е. Вилонова), на которого Богданов оказывал сильное влияние. Но что значит «рабочая интеллигенция»? Идентична ли она «рабочим руководителям» партии? И в чем в конечном счете заключается «обновление партии», проповедуемое группой «Вперед»?

Ответ на этот вопрос тесно связан с богдановской концепцией «пролетарской культуры». У этой последней, впервые изложенной в «платформе» в программной форме как картина будущего социалистического общества, уже имелись заметки в некоторых работах Богданова, написанных в период до революции 1905 года, особенно в очерках, опубликованных в 1904 году в московской «Правде» под красноречивым заглавием «Новый мир». «Пролетарская культура» как революционная стратегия «левых большевиков» стала доминирующей идеологией партийных школ, в которых Богданов видел ростки будущих «рабочих университетов» и которые в конечном счете пошли гораздо дальше поставленной ими первоначально цели (формирование будущих пролетарских кадров). В конфликте между Лениным и Богдановым эти партийные школы играют первостепенную политическую роль. Действительно, «рабочие слушатели», успешно окончив эти школы, должны были вернуться в Россию и вести пропагандистско-агитационную работу в новых кружках, о которых говорится в «платформе», иначе говоря, заниматься пропагандой богдановской теории общества и революции. Деятельность партийных школ — которая, как и вся деятельность группы «Вперед» — означала, по мнению Ленина, прежде всего пропаганду идей отзовизма. Ленин тут же, еще до начала их функционирования, усматривает серьезную опасность и всеми силами пытается прекратить деятельность этих школ, привлечь на свою сторону их слушателей и т. д. Его собственная партшкола, которую в советской историко-

¹ «Отчет первой высшей социал-демократической пропагандистско-агитаторской школы для рабочих». Париж, 1910, с. 1.

графии называют «ленинской» и которую Ленин организовал в 1911 году в местечке Лонжюмо близ Парижа, при ближайшем рассмотрении оказывается не чем иным, как контрмерой по отношению к партийным школам «левых большевиков». По сути же — согласно своим взглядам на агитацию и пропаганду, — Ленин полагал, что в тот момент легальная возможность формирования кадров посредством использования думской трибуны была гораздо реальнее, нежели путем партийных школ: последнее казалось ему практически неосуществимым вдали от России, в жестких условиях эмиграции¹.

4. «Пролетарская культура»

Хотя школа на Капри «видит свою первостепенную задачу в классовом углублении социал-демократической пропаганды» — как сказано в письменном отчете, сделанном для того, чтобы получить одобрение партии, — и считает себя «новым орудием классового воспитания пролетариата», но в ее задачи, по собственному признанию ее организаторов, входит воспитание не столько «политических деятелей революции», то есть профессиональных революционеров в ленинском смысле, сколько «сознательных социалистов, способных анализировать проблемы современности с классовых позиций». Об этом еще ярче свидетельствует другой документ, написанный непосредственно в результате деятельности школы на Капри и опубликованный в начале 1910 года в Париже издательством группы «Вперед» под названием «Ковсем товарищам». Организация серьезной социалистической пропаганды не под силу кучке партийных руководителей, происходящих из интеллигенции, — «Большевистскому центру», замечает в этой работе Богданов. Эти партийные интеллигенты видят в руководстве партии свою монополию. Они полагают, что тратьте силы партии на воспитание руководителей рабочего происхождения бесполезно. «Этот страх перед «конкуренцией» свежих и жизнеспособных сил, сил самого пролетариата... не имеет уже ничего общего с большевизмом», он находится в непреодолимом противоречии с самой природой большевизма².

В той же статье Богданов указывает на неприменные условия формирования сознательных социалистов-трудящихся, способных руководить движением масс: прежде всего выпуск новой пропагандистской литературы, а также создание партийных рабочих университетов. «Большевизм, — утвер-

¹ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 285—293.

² Максимов (А. А. Богданов). Не надо затемнять. — В: «Ковсем товарищам». Париж, 1910, с. 4 и далее.

ждает Богданов,—не просто политическое явление, но и социально-культурное движение», и политическая гегемония пролетариата по отношению к буржуазии невозможна без его общей культурной гегемонии.

«Имплицитной предпосылкой большевизма является, следовательно, идея непосредственного создания в рамках современного общества великой пролетарской культуры, более сильной и гармоничной, нежели культура буржуазных классов, находящихся в процессе упадка, бесконечно более свободной и творческой». Те, кто не признает этой прямой связи между политикой, наукой, философией и литературой, иными словами, не признает задачи «пролетарской культуры», не являются, по мнению Богданова, истинными большевиками. Фактически он считает, что истинный большевизм был пре-дан членами заграничных кружков, и прежде всего Больше-вистским центром, «политически нездоровыми личностями»: он существует исключительно «в твердом и здравом проле-тарском движении», сила которого выражается в способно-сти пролетариата к организации. Большевистский же центр занимается раскольнической деятельностью. Единственный в своем роде истинный большевизм, подлинно революционная концепция задач и идеалов пролетариата, по мнению Бог-данова, совпадает со своей политической, культурной и соци-альной эмансипацией во имя «социалистического идеала». Богданов считает необходимым стремиться достигнуть этого грандиозного будущего пролетариата во имя «старого боль-шевизма»—«вместе с вождями, если они хотят этого, без них, если не хотят, против них, если они окажут сопротивление». Задачей партии должно быть освобождение трудящихся. «Наше дело — дело коллектива, а не отдельных личнос-тей»,—заключает автор статьи, которую можно считать ма-нифестом его «философии пролетарской борьбы», или «филос-офии коллективизма», по выражению самого Богданова и его единомышленников.

Согласно богдановской концепции организующей энергии коллектива, или пролетариата, его целью является формиро-вание руководителей пролетарского движения для внесения в массы социалистического сознания. Именно в этом смысле следует понимать используемое им понятие «рабочая интел-лигенция». В своем труде «Культурные задачи нашего вре-мени», составленном из лекций, прочитанных им в партий-ной школе на Капри, и первоначально носившем многозна-чительное название «Культурные задачи пролетариата», но измененном по цензурным соображениям, Богданов пишет о «новой интеллигенции», которая «выходит из среды самого пролетариата» и тождественна самому пролетариату, «куль-тивированному» в этическом, художественном и научном смысле. Эта «новая интеллигенция» впитала в себя весь «об-

щий опыт пролетариата» и, следовательно, никогда больше не сможет отделиться от него. Она одна может «придать работе необходимую последовательность и цельность, внутреннее единство ясной и повсюду себе верной классовой психологии»¹.

Из опыта революции 1905 года Богданов делает вывод, что социалистическая революция возможна лишь при условии, если трудящихся сначала воспитать в духе социалистического сознания. Это тем более верно, что в «повседневной экономической работе и в обыденной политике кроется опасность сужения кругозора и отход от какого бы то ни было идеала революции в пользу компромиссов и поверхностного практицизма»². То, что эта концепция формирования социалистического сознания и воспитания в самом широком смысле охватывает весь человеческий опыт и политическую практику, не оставляет никаких сомнений. «Пролетарская культура» представляет собой в определенном смысле теорию — если не идеологию — такого воспитания, направленного на будущее общество, вернее, на человека будущего вообще; и первоначально она имеет гораздо более широкое и глубокое значение, чем обучать литературе и искусству пролетарские массы или содействовать деятельности рабочих-поэтов, рабочих-артистов и т. д. Если после 1917 года этому понятию придавалось именно такое значение, то следует заметить, что оно, помимо всего прочего, по существу сужает и калечит содержание богдановских идей, с которыми он выступал до революции. «Пролетарская культура» означает сознание и практику; она является не эстетикой, а этикой. «Пролетарская культура» — это не философия; она не имеет отношения только к политике, но именно как политический выбор это — альтернатива идеям Ленина.

Если, как уже говорилось, богдановская концепция «пролетарской культуры» первоначально была выдвинута в виде программы в рамках политической «платформы» группы «Вперед», то во всех деталях она была объяснена и обоснована уже в начале 1911 года в работе «Социализм в настоящем» — своего рода социально-культурном манифесте, — опубликованной в культурно-политической серии «Вперед» и недвусмысленно обращенной к пролетарскому читателю. Это обоснование концепции «пролетарской культуры» относится также и к самой организации «Пролеткульт», существовавшей с начала 20-х годов, поэтому есть смысл остановиться на его основных пунктах.

Речь идет об общей теории общества, тяготеющей к большевизму и все же существенно отличающейся от теории Ле-

¹ А. А. Богданов. Культурные задачи нашего времени. М., 1911, с. 69.

² Максимов. Не надо затемнять, с. 4.

нина¹. Отправным пунктом богдановской теории является следующее соображение: «Сущность социализма... заключается в монолитной организации всего производства, то есть в преобладании прочных трудовых отношений между людьми». Это — основа всех остальных характеристик социализма: общественной собственности на средства производства, упорядочения классов и такого распределения продуктов труда, при котором каждый может выбрать себе работу, отвечающую его интересам. Верно, что такие условия достижимы лишь после победы рабочего класса, «и все же социализм — это не только будущее, но и настоящее, не только идея, но и реальность».

Если общественную организацию следует определять в целом как сотрудничество людей, то необходимо провести грань между прочными трудовыми отношениями и отношениями, основанными на принципах конкуренции. На сегодня подлинно прочными можно назвать отношения между рабочими на производстве: их место в производстве, условия труда, интересы идентичны. Благодаря своим трудовым отношениям рабочие очень близко стоят друг к другу, труд одного самым тесным образом связан с трудом другого, каждый может занять место товарища, заменить его. Идентичность положения означает идентичность интересов. Взаимопонимание и взаимная симпатия создают основу для тесной сплоченности товарищей, которая вначале объединяет тех, кто работает в самых различных отраслях, а затем и трудящихся разных стран мира. Рабочие постепенно впитывают в себя сознание этой солидарности, которая «проникает в их чувства и интеллект», словом, становится их «классовым самосознанием». В этой «сознательной организации», которая уже существует в процессе труда, в живой классовой кооперации и в тесном сотрудничестве, осознаваемом рабочими, следует видеть действительное, реальное начало социализма.

Основываясь на своем классовом самосознании, трудящиеся должны развивать собственные социальные идеалы и собственные формы человеческих отношений, существенно отличающиеся от отношений старого общества. Борьба за социализм не означает только войну с капитализмом, она — одновременно и позитивный, созидательный труд: это есть «непрерывное создание новых элементов социализма» силами пролетариата в ходе его повседневной жизни, в процессе общечеловеческих взаимоотношений между рабочими. Недостаточно только объединить пролетариат в такие организации, как партия или профсоюзы, недостаточно предложить

¹ См.: Максимов. Социализм в настоящем. — «Вперед», 1911, № 2, с. 60—71.

пролетариату лозунги, призывающие к экономической и политической борьбе,—его внутреннюю оплоченность, его духовное единство следует углублять, вырабатывая «пролетарскую социалистическую культуру». Ее модель представляют собой условия труда в рамках крупной, технически развитой машиностроительной промышленности: здесь, у прокатного стана, где от одного жеста, отдельного движения каждого рабочего зависит процесс производства, рождаются то взаимопонимание, та взаимозависимость и солидарность в процессе труда, в которых Богданов усматривает дух товарищеского, коллективного сотрудничества и которые составляют основу пролетарского сознания и пролетарской идеологии, «пролетарской культуры».

«Пролетарская культура» включает в себя всю каждодневную практику пролетариата, его быт и жизнь в обществе. Она начинается в самой структуре рабочей семьи, которая, по мнению Богданова, не может быть частным делом для социалистов. Даже в семье политически сознательных и активных трудящихся сохраняются пережитки варварства, такие, как полная зависимость женщины от мужчины, слепое повиновение детей родителям. Товарищеский дух солидарности, лежащий в основе трудовых отношений между рабочими на производстве, должен проникнуть также и в рабочую семью в качестве социалистического сознания.

То же можно сказать о партийных организациях, где сохраняются пережитки авторитарного, индивидуалистического стиля руководства и основная масса рядовых членов подчинена немногочисленным авторитетам. Выявить это противоречие пролетарского социализма, эту полную несовместимость духа, царящего в партийных организациях, с принципами групповой дисциплины и коллективной деятельности—вот что должно стать для «пролетарской культуры» одним из главных «участков работы».

Наряду с семейной и партийной моралью третьим политическим устоем «пролетарской культуры» является разработка новой науки и философии и нового искусства. Новые, социалистические наука и философия должны опираться на пролетарский опыт, служить делу организации пролетарского опыта, коренным образом отличающегося от опыта старых классов. Поскольку иные условия жизни влекут за собой иной способ восприятия и иное мироощущение, «все науки и вся философия приобретут в руках пролетариата новый аспект». Для современных науки и философии характерна их дисперсия в многочисленных, изолированных один от другого секторах. На основе прочных сознательных отношений трудящихся, для которых полное взаимопонимание важнее всего бы то ни было иного, развитие концепции социализма должно идти по пути упрощения и унификации

наук. Нужно найти такие методы исследований, которые лежат в основе всех наук, и предложить своего рода общий ключ к различным дисциплинам. Это позволит рабочим овладеть разными науками так же быстро, как рабочий-машиностроитель «на основании своего опыта знакомится с общими характеристиками и методами техники и с относительной легкостью способен перейти от одной специализации к другой».

Так же, как и наука, искусство должно организовать пролетарский опыт. Но оно организует его не в форме абстрактных понятий, а в форме живых образов, вот почему «искусство в определенном смысле более демократично, нежели наука», то есть оно ближе к массам и шире в них распространено. «Пролетариат нуждается в собственном искусстве, социалистическом, которое было бы целиком проникнуто его ощущениями, устремлениями и идеалами», чтобы суметь повести массы на борьбу, чтобы воспринимать их и «вести вперед, к более светлому будущему».

Наряду с задачей продолжения борьбы и задачей организации перед пролетариатом, по мнению Богданова, стоит задача сознательно и последовательно собирать крупицы новой культуры, элементы «современного социализма», развивать и систематизировать их. Лишь при условии, что пролетариат сам создает новые и свои собственные формы жизни во всех областях, он сможет сам реализоваться в творческой, то есть социалистической, форме. Эта постепенная творческая реализация социалистического классового порядка приведет в конечном счете к такой победе пролетариата, которая позволит распространить этот порядок на все человечество. Социалистическое развитие найдет свое завершение в социалистической революции.

В том факте, что рабочий класс должен достигнуть духовной власти прежде, чем политической, как раз и заключается политическая необходимость «пролетарской культуры». Духовная революция предполагает политическую стабильность власти пролетариата. Но это не означает, что Богданов со своим «постулатом нового духа в пролетариате» перестает настаивать на «победе революции в ближайшем будущем» и что дальнейшее развитие им концепции «пролетарской культуры» ведет к исправлению его изначальной «ультрарадикальной» позиции, как это утверждает пока что единственный биограф Богданова Дитрих Грилле¹. Как мы показали, основой постулата подлинного пролетарского сознания и его критерием является критика партии и ее руководства, которое, по оценке Богданова, находится в плену

¹ См.: D. Grille. *Lebens Rival: Bogdanov und seine Philosophie*. Köln, 1966, S. 178

буржуазной культуры и чьи психологические особенности — индивидуализм, авторитаризм и так далее — полностью противоречат «пролетарскому опыту». «Платформа» слушателей и преподавателей школы на Капри, в которой та же терминология указывает на авторство Богданова, содержит заявление о том, что пережитки этой буржуазной культуры и ее мира являются препятствием на пути к успеху революции. Чем скорее будет уничтожена буржуазная культура, тем больше открывается возможностей для свершения революции, которую Богданов все же не упускает из виду, хотя решающим фактором ее успеха — более решающим, чем классовая борьба,— считает сознание пролетариата. Настаивая на необходимости автономии и свободы для инициативы пролетариата в области культуры, Богданов, понимая как раз буквально теорию Маркса, думает, что таким образом можно установить власть рабочего класса. Стремление сделать пролетариат активным, постоянно ориентируясь на революцию, апеллировать к творческой стихийности рабочих масс приобрело характер отрицания элиты, понимаемой как представительство пролетариата лицами свободных профессий, так как Богданов видел в них силу, которая препятствует пролетарской революции, тормозит ее. Следовательно, авангард пролетариата должен формироваться не из интеллигенции, а из промышленных рабочих, представляющих собой «наиболее сознательную» категорию. Принципы будущей культуры и будущей эпохи должны опираться исключительно на социальное поведение рабочего класса. Неслучайно «пролетарский социализм» Богданова, его апелляция к пролетарскому сознанию как основной и наиболее активной революционной силе были истолкованы Лениным в смысле левого радикализма: элитарной концепции партии, которую поддерживал Ленин, Богданов противопоставлял концепцию «пролетарской культуры», обращенную непосредственно к массам и рассматриваемую Лениным как анархизм.

Богданов направляет явно против Ленина свою апелляцию к творческой энергии пролетариата, с помощью которой последний создаст собственные науки и искусства. В работе «Культурные задачи нашего времени», появившейся в результате чтения лекций в партийных школах на Капри и в Болонье, Богданов вменяет в вину «противникам идеи пролетарской культуры» (наряду с Лениным недвусмысленно указывается Плеханов) их «крайний теоретический консерватизм»: они сделали из марксизма, «учения, радикально отрицающего всякие абсолютные и вечные истины», абсолютную и вечную истину и таким образом признали за научными, эстетическими и этическими знаниями объективную и вечную ценность, несмотря на то что те были целиком и полностью созданы интеллигенцией. Пролетариату же они, по

мнению Богданова, оставили лишь способность видеть в марксизме очередную экономическую и политическую доктрину. По мнению Ленина и Плеханова, философия диалектического материализма — представленной, разумеется, в популярной форме — более чем достаточно для удовлетворения требований пролетариата. Это «глубокое недоверие к творческим силам» пролетариата и явилось для Богданова легитимацией его критики в адрес главных «идеологов рабочего класса», словом, их оспаривания¹.

В той же работе о культурных задачах пролетариата — задачах, включавших также издание новой пролетарской энциклопедии, которая по аналогии с «Энциклопедией» XVIII века должна была заложить фундамент новой эпохи, опираясь на знания нового класса, — Богданов излагает свою концепцию культуры, или идеологии, дающую ключ к пониманию его теории общества. Для него все еще оставался «интересной психологической загадкой» тот факт, что марксистские авторы пока ни разу не высказывались по поводу того, что «идеология, или духовная культура, интеллигенции выполняет организующую функцию в жизни общества, групп и классов»². Своей теорией функциональной зависимости идеологии от социальной структуры Богданов сознательно пытается заполнить пробел, допущенный «историческим материализмом»³. Действительно, мало «знать», что идеология произошла из производства, что от него она зависит и является «надстройкой» над ним, по выражению Маркса, — замечает Богданов в другой своей работе, «Наука об общественном сознании», также явившейся результатом чтения лекций в школах на Капри и в Болонье, но опубликованной лишь в 1914 году. — Надо еще понять, точно и определенно, что она такое на деле, в самой жизни, т. е. выяснить ее практический смысл и значение. Относительно этого до сих пор господствует большая неясность»⁴. По сравнению с экономической жизнью идеология играет далеко не второстепенную роль: «надстройка» — это не просто прямое и необходимое следствие «базиса», а «орудие организации общества, производства, классов и вообще всяких общественных сил и элементов, без которого эта организация невозможна»⁵. В частности, Богданов поясняет, что идеология не «украшение» на здании общественного труда и экономики. Он демонстрирует взаимозависимость и взаимопереплетение, взаимосвязь идеологии и экономической жизни. Науки, как

¹ См.: А. А. Богданов. Культурные задачи нашего времени, с. 28—32.

² Там же, с. 44.

³ Там же.

⁴ А. А. Богданов. Наука об общественном сознании. М.—П., 1923, с. 4.

⁵ Там же, с. 6.

технические, так и естественноисторические, безусловно, продукт производства; их развитие можно объяснить, лишь принимая во внимание современное состояние производства. В свою очередь они способствуют совершенствованию производства, воздействуют на него, ибо без них невозможны современные заводы, шахты, лаборатории, железные дороги. В этом смысле идеологию можно сравнить с мозгом живого организма: если верно то, что развитие мозга обусловлено развитием других органов и он зависит от них, то верно и то, что без мозга эти органы становятся совершенно бесполезными.

В более общих терминах, идеология есть общественное сознание людей, служащее им для организации собственной жизни. Развитие классового сознания, или идеологии наиболее передового класса, расценивается Богдановым как работа «самая необходимая, исторически самая важная в нашу эпоху». Способствовать формированию нового сознания, то есть обучать и просвещать рабочий класс, означает для него «развивать самые основы его организации, участвовать в образовании того мозга, который должен управлять могучим телом»¹. Развитие классового сознания равнозначно организации классовых сил². «Средством «социальной» организации», то есть идеологией, является тесное сотрудничество товарищей, трудовой коллективизм, или «пролетарская культура».

По определению Богданова, сама культура имеет «организующую функцию» — «оформление и закрепление определенной социальной организации»³. Культура является источником всех достигнутых в процессе труда материальных и нематериальных завоеваний человечества, возвышающих его над природой и совершенствующих его жизнь. Техника, со всеми ее вспомогательными средствами (машинами, транспортом), со всем ее практическим и научным опытом (языком, искусством, навыками, традициями, моралью, правом, политикой), представляет собой элемент культуры, которая включает в себя также физическое воспитание и оздоровление организма с помощью гимнастики и других средств. Однако следует различать две основные силы культуры: материальную и духовную. «Материальная культура» охватывает всю сферу производства: человеческую рабочую силу, коллективный труд людей, развитие производительных сил общества и их господство над внешней природой — и опять-таки все средства и формы производства, а также технические и экономические отношения в процессе производства. А «ду-

¹ Там же.

² См.: А. А. Богданов. Культурные задачи нашего времени, с. 45.

³ Там же, с. 51.

ховная культура» включает в себя сферу философии, этики, политики, искусства, языка — словом, сферу идеологии, общественного сознания. Однако духовная и материальная культура не отделены одна от другой. Генезис и функцию идеологических принципов можно понять, лишь исходя из «материальных» предпосылок, то есть из технических и экономических условий. Технический уровень общества, его экономическая структура являются отправным пунктом идеологии, или, согласно Богданову, «культурными задачами» общества.

«Задача культуры», по Богданову, заключается в процессе организации. Идеологии имеют, таким образом, организационную, реальную общественно-политическую функцию: то, что составляет объект организации, имеет своим конечным продуктом производственные отношения — технические (отношения человека к природе) и экономические (отношения людей между собой). Объективный смысл идеологических процессов заключается в фиксировании этих отношений, их регулировании и координации. «Способы мышления определяются именно производственными отношениями, для которых первые являются средством организации, основные же способы мышления (идеологии) определяются, разумеется, основными производственными отношениями»¹.

Главные формы кооперации при разделении труда, которые можно обнаружить в истории, и соответствующие им способы мышления, или необходимая «адаптация» идеологии к трудовой деятельности, по Богданову, подразделяются на пять эволюционных фаз: 1) примитивная кооперация — идеологии низшего порядка (период примитивного коммунизма); 2) простая авторитарная форма кооперации — простые авторитарные идеологии (эпоха патриархально-родовых организаций); 3) развитая авторитарная форма кооперации — развитые сложные авторитарные идеологии (эпоха феодализма); 4) анархическое сотрудничество — идеологии индивидуализма (мелкобуржуазное и капиталистическое общество); 5) прочное товарищеское сотрудничество — коллективистская идеология (период коллективизма, эмбриональные формы которого появляются уже при капитализме как результат деятельности класса пролетариата)².

Идеология есть жизнедеятельная сила общества — Богданов подчеркивает это во всех своих работах, и особенно в

¹ *A. Bogdanov. Einige Missverständnisse Eine Antwort an Karl Kautsky.* — «Die Gesellschaft. Internationale Revue für Sozialismus und Politik», В. II, 1925, S. 287. В первом томе «Die Gesellschaft» (S. 564—578) Каутский подверг довольно суровой критике очерк Богданова «Наука об общественном сознании».

² Для детального ознакомления с этой схемой см.: *А. А. Богданов. «Наука об общественном сознании».*

«Эмпириомонизме». Вне идеологии не может существовать подлинно общественных классов, ибо если в основе разделения общества на социальные группы и классы лежит технический процесс производства, то формирующий момент составляет идеология, или идеологии¹. Идеология играет объективную роль в жизни общества, имеет необходимую социальную функцию, используется обществом. «Идеология в своем зарождении выступает как организующая форма социально-трудовой жизни»². Идеология есть форма, целиком организующая практику общества, иными словами, средство ее организации; она организует опыт и превращает его в знания.

В третьем томе «Эмпириомонизма» (1906) Богданов следующим образом обосновывает свой тезис о том, что идеология организует опыт, превращая его в форму знания. Разделение общества на социальные группы и классы является результатом количественного и качественного прогресса техники. Социальные группы формируются с развитием специализации, классы — это следствие прогрессирующего освоения общественных функций, организационных и исполнительских. Разделение общества на группы и классы влечет за собой принципиальные различия с точки зрения общественного отбора. Общественные группы и классы превращаются в общественные комплексы длительного, окончательного характера в тот момент, когда они выдвигают определенные дифференцированные идеологии, которые обуславливают направление общественного подбора внутри этих коллективов. Формирование общественных групп имеет в своей основе две противоположные тенденции: дифференциацию техники, определяющую специализацию в профессиях, и интеграцию, сближающую различные специализированные функции производства и ведущую к их единству. С исторической точки зрения развитие техники до уровня машинного производства происходит с преобладанием первой тенденции. В этом случае система общественных групп четкая и стабильная и обеспечивает поэтому долговременное существование институтов, таких, например, как корпорации. Однако затем накопление и организация общественно-технического опыта ведут к преобладанию тенденции к интеграции. В самых различных областях производства, а особенно в машиностроительной промышленности, вырабатываются одинаковые методы, и границы специализации становятся менее жесткими; идеологии же общественных групп сближаются и сливаются, но идентичность методов труда вовсе не устраняет раздробленности общества на социальные группы.

¹ См.: А. А. Богданов. Эмпириомонизм. С.-П., 1906, кн. 3, с. 89.

² А. А. Богданов. Культурные задачи нашего времени, с. 9.

Деление общества на классы происходит уже на начальных этапах дифференциации и является следствием особого отношения, существующего между функцией организатора и функцией общественной идеологии. «Организатор ...представляет из себя персональную форму «организующего приспособления», как «идеология» — форму безличную»¹. Организатор живет и работает, идеология же всегда развивается на основе определенного состояния общественной энергии — при условии преобладания присвоения, приобретения энергии над потерей ее непосредственно в процессе трудовой деятельности, то есть в процессе техническом. По этой причине первыми создателями идеологии являются элементы, организующие общество, благодаря которым созданная ими идеология едина и равноценна для всего общества. Идеология, выработанная организующей частью общества, целиком сохраняет свое значение для обеих его частей, пока организующая суть идеологии принимается обеими этими частями. Если же порядок вещей изменяется, если реальное содержание, сама жизнь двух частей общества становятся резко различными (например, в начале эпохи рабовладения, когда высшая часть общества занимается товарообменом, а низшая остается привязанной к натуральному хозяйству), то начинается идеологическое разделение классов: идеология высших классов вступает в противоречие с практическим опытом и нуждами низших классов, и это противоречие все более обостряется. Организационная функция высшего класса позволяет ему организовать жизнь низших классов на основе норм, не соответствующих условиям жизни последних. Такие нормы имеют для угнетенных классов значение внешней силы, которая — аналогично силам природы — враждебна, но к которой необходимо адаптироваться. В этом заключается главное и принципиальное классовое противоречие, отправной пункт любой классовой борьбы.

Среди различных исторических типов классовой эволюции выдающееся значение имеют два — рабовладение и капитализм. Все остальные, например феодализм, могут быть связаны с первыми двумя, в которые они переходят, когда их эволюция достигает определенного уровня. Эти два типа развития классов соответствуют друг другу в том смысле, что организующий класс, который постепенно отдаляется от технического производственного процесса, со временем теряет свою реальную организационную функцию и превращается в паразитирующий класс, вырождается и, таким образом, теряет свою социальную силу.

¹ В богдановской концепции идеологии последняя не понимается как механизм и степень «адаптации» к условиям научно-технической эры играет особенно важную роль.

Один тип эволюции отличается от другого соответствующими отправными точками, а также конечными социальными результатами. В основе архаичного типа развития классов лежит патриархальный принцип, господство натурального хозяйства, которое затем усложняется товарообменом (впрочем, в него вовлечены лишь высшие слои общества). Влияние хозяев и организаторов распространяется на все аспекты существования рабов; цепь, связующая господ и рабов, статична, то есть не может быть ослаблена по воле раба, а лишь по воле господина. Этот тип классового развития превращает трудящегося в средство производства. Следовательно, технический прогресс пресекается. Идеология раба не способна сформироваться, она не преодолевает зачаточного состояния; классовая борьба отсутствует. Упадок обоих классов сопровождается крушением целого общества.

Капиталистический тип классового развития начинается с организации мелкобуржуазного товарообмена. Роль предпринимателя как организатора ограничивается определенным отрезком жизни трудящегося, иначе говоря, рабочим днем. Отношения, связывающие предпринимателя и трудящегося, подвижны, то есть могут быть объектом соглашения. Этим объясняется то, что масса обособленных трудящихся постепенно превращается в сплоченный коллектив, приобретающий способность выполнять организационную функцию во все более растущем и неограниченном масштабе. Быстрый технический прогресс именно такого типа эволюции стимулирует быстрое развитие противоположных классовых идеологий и классовой борьбы. Это вызывает крушение бывшего класса организаторов и преобразование общества: противоречивое развитие классового общества уступает место полному и гармоничному развитию. Стихийность вне и внутри общества в равной степени преодолевается организующей и планирующей силой человечества, и господство последнего над природой безгранично растет¹.

Хотя идеология занимает в основном важное место в теории Богданова, она все же не первостепенный фактор в плане социальной причинности, или, как иногда утверждают, идеология фактически не выполняет самостоятельной функции в общественном развитии. Каждое структурно значимое преобразование имеет право на существование в технике, но не в идеологии. По мнению Богданова — который таким образом сознательно связывает себя с марксизмом, — основу общественного развития составляет технический прогресс; любое прогрессивное преобразование общественных форм является результатом технического процесса. Однако идео-

¹ См.: А. А. Богданов. Исторический монизм: классы и группы. — В: «Эмпириомонизм», кн. III, с. 139—142.

логия не менее важна, чем техника, хотя ее значение положительно «киного характера», нежели значение техники¹. Так, уже в работе «Развитие жизни в природе и в обществе», опубликованной в 1902 году, Богданов подчеркивает тесную связь, вернее, взаимосвязь между техникой и идеологией. Технический прогресс, объясняет он, осуществляется благодаря изобретениям, а они в свою очередь представляют собой итог всех знаний, технических и абстрактных, которыми располагает изобретатель; труд изобретателя основывается на материале знаний, на технике (структура), на методах познания, на науке (надстройка). Без этих «идеологических» предпосылок не было бы почти ни одного открытия. Степень совершенства изобретения определяется, таким образом, количеством и качеством таких предпосылок. На основании этой идеи о взаимозависимости техники и идеологии Богданов делает заключение, что знание есть трудовой опыт, организованный обществом. Эта идея, подчеркивает он, не противоречит марксистской концепции техники как основы социальной жизни по двум причинам: 1) формы познания, как и все другие идеологические формы, безусловно, являются материалом и условием общественного развития, но не движущей силой этого развития; импульс к образованию новых форм исходит из сферы техники; отсюда начинается любой процесс общественного преобразования; 2) следует иметь в виду общее значение идеологии: идеология есть организующая форма, и то, что она организует, в конечном счете представляет собой технический процесс; в этом отношении она, так сказать, находится в обрамлении того же самого технического процесса, который в самом общем смысле определяет ее содержание. Влияние, которое идеология оказывает на техническое развитие, имеет, следовательно, свои корни в самой сфере техники².

По мнению Богданова, идеология важна также для многочисленных крупных научных открытий (сделанных специалистами и исследователями главным образом в конце XIX века), которые часто непосредственно влекут за собой появление новых форм техники. Однако — хотя это и не всегда очевидно — именно открытие является каждый раз результатом нового трудового опыта, который возникает в сфере технической деятельности и, в узком смысле, на «основе техни-

¹ О дальнейших работах Богданова по этому вопросу см.: очерк «Развитие жизни в природе и в обществе». — В: А. А. Богданов. Из психологии общества. С.-П., 1904, с. 81—87.

² По этому вопросу см. также определение Богдановым идеологии в предисловии к переизданию его «Краткого курса экономической науки» 1919 года (книга переиздавалась девять раз в период с 1897 по 1906 год): «Идеология есть орудие организации экономической жизни и — следовательно — важное условие экономического развития».

ки». Научный поиск, ведущий к крайне важным техническим результатам (таким, как открытие рентгеновских лучей или радия), — это не только идеологический процесс; его основную часть составляет техническая работа. Между химической лабораторией какого-либо ученого или специалиста с университетским образованием и химической лабораторией заводского техника не существует, по Богданову, сколько-нибудь существенной разницы.

Итак, если идеология никогда не может быть главной движущей силой преобразования общественных форм, или общественного развития¹, то, по мнению Богданова, организация таких форм, появляющихся в результате развития техники и преобразующих общество, то есть превращение их в сознательные формы, является специфической функцией идеологии. Эта функция идеологии — развитие сознания — именуется ее «культурной задачей» (в теории Богданова недвусмысленно присутствует доля активизма, если не оказать волюнтаризма). «Культурные задачи» заключаются в выявлении на основе материала, предлагаемого «технической базой», соответствующих форм мышления, «картин мира», чтобы организовать их затем по различным областям, таким, как философия, этика, искусство, политика. А поскольку последние достижения техники встречаются в крупной машиностроительной промышленности, поскольку последний этап развития методов техники и трудового технического опыта воплощен в наиболее развитой части промышленного пролетариата, то, как считает Богданов, основной «культурной задачей» идеологов его времени была организация сознания этого класса — «пролетарской культуры», или пролетарской науки, пролетарской философии, пролетарского искусства, пролетарской морали и особенно пролетарских политических организаций.

Однако «пролетарская культура», задача которой — систематически связывать результаты и методы знания, приобретаемого в данное время с помощью коллективного трудового опыта, практической деятельности рабочего класса, может быть осознана, или организована, лишь теми, кто располагает этим классовым опытом. Следовательно, эта «культурная задача» затрагивает непосредственно пролетариат, а не «пришлых теоретиков коллектива», принадлежащих к буржуазной интеллигенции². Если верно то, что в основе существования пролетариата лежит технический процесс, или производство, и что это также источник социальной, экономической и политической борьбы, то верно и то, что обе сферы в равной степени зависят от коллективного опыта. Од-

¹ См.: А. А. Богданов. Эмпириомонизм, кн. III, с. 66.

² См.: А. А. Богданов. Культурные задачи нашего времени, с. 68—69.

нако наиболее важная из них — техника труда — совершенно чужда и незнакома «идеологам-интеллигентам». Специализируясь в области «общественных проблем», интеллигенция почти незнакома с физическим аспектом производства, и у нее нет сколько-нибудь серьезных и обоснованных знаний по идеологии, соответствующей производству (технические и естественные науки). Даже в рамках своей специализации (наука об обществе и ее проблемы) интеллигенты лишены прямой связи с конкретной, практической жизнью, которая есть у рабочего. Очевидно, что эта «пришлая интеллигенция», которая, конечно, может быть полезна для рабочих в их организациях, в их политической и профсоюзной деятельности (несмотря на то что здесь она довольно часто действует оппортунистически), абсолютно непригодна для решения «культурных задач» рабочего класса. Не «варяги» — как Богданов называет буржуазную интеллигенцию по имени скандинавского народа, которому приписывают основание русского государства, — а «новая интеллигенция», порожденная самим пролетариатом, способна создать «пролетарскую культуру».

На этом круг, так сказать, замыкается: Богданов с самого начала, и особенно после революции 1905 года, в эмиграции, а в России после 1913 года и вплоть до 20-х годов, точнее, вплоть до самой своей смерти, прилагал усилия в области теории и практики к формированию сознания, идеологии пролетариата, к организации его творческих и гуманистических способностей. Он издавал пропагандистскую литературу, основывал партийные школы, которые были, скорее, «высшими рабочими школами», создал первый пролетарский университет, открытый в Москве в 1918 году, работал над проектом первой пролетарской энциклопедии, организовал движение Пролеткульт и, наконец, в качестве медика и исследователя проводил эксперименты (для него роковые) по переливанию крови, которые должны были способствовать продлению жизни будущего общества, созданного «пролетарской культурой».

Богданов не мог отрицать свою принадлежность к интеллигенции, к столь презираемым «белым воронам», к «перелетным птицам», по его собственному выражению. Однако он старался, с одной стороны, свести к минимуму влияние этого факта (безусловно, являвшегося проблемой ввиду той борьбы, которую он вел за автономию пролетариата и против интеллигенции), помня о своем научном и техническом образовании, что, по его теории, ставило его на один уровень с техниками и специалистами промышленных лабораторий (исследователи и техники равным образом воплощают в себе технический и трудовой опыт и, следовательно, идеологию производительных сил общества; они представляют

собой две чаши «весов» современной индустрии¹). С другой стороны, Богданов сознательно пытался освободиться от психологии интеллигенции, то есть от буржуазного индивидуализма, о чем свидетельствует его философия коллективизма и особенно его деятельность, постоянно обращенная к коллективу (по Богданову, любая осылка на индивидуализм, на индивидуальное мышление², на обособленную и автономную личность и особенно на авторитет есть абсолютизация мышления и, следовательно, «фетишизм»). На вопрос, в какой мере эта попытка удалась, трудно ответить в рамках данной работы.

5. Коллективизм — идеология будущего общества

Именно этот «фетишизм» в лице «идеологических вождей», особенно Ленина и Плеханова, должен быть раз и навсегда ликвидирован с помощью «пролетарской культуры», основанной на «объединении людей в новый коллектив»³. «Классовое сознание пролетариата есть его идеологическая революция, предшествующая всеобщей социальной революции. Причем по всей линии происходит последовательная и окончательная ликвидация великого фетишизма во всех его аспектах и проявлениях», — пишет Богданов в работе «Падение великого фетишизма», где он анализирует «современный кризис идеологии». Это также страстный призыв к созданию нового трудового коллектива и уничтожению индивидуалистических и авторитарных отношений, присущих «идейным „вождям“», которые препятствуют формированию «коллективного самосознания»⁴. То, что коллективистская идеология, по крайней мере в зачаточной форме, зарождается уже в эпоху капитализма (следовательно, еще до появления подлинно коллективного способа производства), Богданов пытается объяснить развитием — на основе машиностроения и современной техники — нового типа трудовых отношений и сотрудничества между рабочими, «товарищеской солидар-

¹ О «сбалансированности» и гармонии современного производства и нового общества см. далее.

² Дошло до того, что Богданов, которому были отлично известны общественные теории его времени, ни в одной из своих работ не указывал ни на эти последние, ни на их авторов, хотя их влияние на теорию Богданова, так же как в определенном смысле и на теорию Сореля, очевидно. Все эти идеи были для него результатом коллективного опыта, и не имело ни малейшего значения, какой именно индивид обращает этот опыт в теоретические концепции. То же относится и ко всем «левым большевикам», таким, как Луначарский, Вольский и т. п., которые также не снисходят до упоминания отдельных авторов.

³ А. А. Богданов. Культурные задачи нашего времени, с. 83.

⁴ А. А. Богданов. Падение великого фетишизма. Современный кризис идеологии. М., 1910, с. 114—115.

ности» и в соответствии с этим — зарождением нового типа культуры — «пролетарской культуры», или коллективизма.

В чем заключается новый характер труда, оправдывающий коллективизм, идеологию будущего общества? Богданов отвечает на этот вопрос в своей «Науке об общественном сознании», созданной на основе лекций, прочитанных на Капри и в Болонье, опубликованной впервые в 1914 году, переизданной в 1919 и в 1923 годах и использовавшейся в качестве учебника в советских партийных школах в 20-е годы. Книга составлена в виде вопросов и ответов — дидактическая модель, которой Богданов отдает предпочтение в своих многочисленных работах, обращенных непосредственно к рабочим.

В отличие от ручного труда, читаем мы в этой книге, требующего непосредственного применения рабочими физической силы, труд машины предполагает, что рабочий управляет ею. Новая форма труда — «исполнительско-организаторская и, следовательно, объединяющая характеристики обоих его видов, прежде резко разделенных»; с одной стороны, труд «организатора», контролирующего действия исполнителя и наблюдающего за процессом производства, с другой — труд рабочего, исполнителя. В новых технических условиях повышается уровень технической подготовки рабочего и его общего интеллектуального развития, так что роль инженера, по видимому, уже качественно не отличается от роли рабочего: «организатор» использует в своем труде те же методы, что и «исполнитель» — пусть даже первый обладает более обширным объемом технических знаний; таким образом, производительные силы сливаются в единый тип и различаются лишь степенью развития. Дальнейшее развитие техники — автоматизация, а затем появление машин с автоматическим управлением — еще более повышает уровень «простых» производительных сил и необходимо приводит их труд к абсолютной однородности с научно-организационным трудом инженера.

Такой тип сотрудничества, обусловленного однородностью труда в машинном производстве и опирающегося на сознание, связывает людей солидарной ответственностью. Но даже при том, что машиностроение порождает широкую солидарность рабочих, эта последняя в современную эпоху не может достичь совершенства и до конца реализоваться непосредственно в трудовом процессе: до тех пор пока существует капиталистическая система, «организатор» сохраняет главенствующее научно-организаторское положение в производстве и решения по коренным, принципиальным проблемам производства принимаются без участия рабочих. Создание крепкого коллектива трудящихся, который не только выполняет всю работу сообща, как это происходит при капитализме, но и выносит решения по работе также сообща, предполагает «изменение всего строя экономических отношений, и притом с

поднятием рабочей силы на высший уровень, когда и организаторы войдут в товарищеский коллектив, как сотрудники, превосходящие других лишь по степени, а не по типу развития»¹. Аналогично, в условиях капитализма также нельзя достигнуть вершины технологии, что является технической предпосылкой для «культуры коллективизма», а именно внедрения саморегулируемых машин (по мнению Богданова, это квинтэссенция господства человека над природой) и абсолютного отождествления рабочего с инженером, или преодоления классовых различий. Появление таких чрезвычайно сложных саморегулируемых машин станет возможным, лишь когда в экономике перестанут руководствоваться идеей эксплуатации и будут заботиться о пользе для производства и для его участников, то есть при коллективистской организации. Механизм саморегулирования чужд капитализму, ибо требует применения слишком дорогой техники. Сама структура капитализма больше ориентирует на выгоды, которые техника обеспечивает предпринимателю, чем на усовершенствование этой техники². Однако, чем совершеннее тип машины, чем сложнее и точнее ее механизмы, ее автоматика, а также регуляторы и индикаторы ее функционирования, тем скорее рабочий перестает быть рабом машины. Существование рабочего наполняется элементами трудовой деятельности, связанной с организацией, и он неизбежно становится как бы мыслящим «регулятором», «организатором».

Единственная сфера, где рабочий коллектив уже имеет не только функцию исполнения, но и функцию принимать решения, — это классовая организация рабочего движения. «В области классовой борьбы рабочие являются... самостоятельной стороной»³. И все же это «звено солидарности» несовершенно, и Богданов вновь проявляет озабоченность в связи с продолжающимся существованием таких авторитарных элементов и буржуазной культуры внутри рабочего класса, особенно внутри партийной организации, как пассивное подчинение, слепая вера в авторитет, лишенное критики доверие к вождям и отсюда отсутствие инициативы у рабочих⁴.

¹ А. А. Богданов. Наука об общественном сознании, с. 272.

² В условиях капитализма наиболее совершенные образцы современной техники можно встретить лишь там, где на месте предпринимателя находится государство, где высокая стоимость машин не составляет проблемы, а главными целями являются точность, завершенность и скорость, то есть речь идет о военной промышленности. Пример таких саморегулирующихся машин дает нам торпеда для уничтожения боевых кораблей, движущаяся автоматически и самостоятельно контролирующая свое движение под водой. По этому вопросу см.: А. А. Богданов. Наука об общественном сознании, с. 267, а также главу «Социалистическое общество» в книге Богданова «Краткий курс экономической науки [1919], в которой, разумеется, отсутствуют примеры новейших машин.

³ А. А. Богданов. Наука об общественном сознании, с. 272.

⁴ Эту обусловленную связь пролетариата с буржуазной культурой

Однако условия классовой борьбы и коллективная дисциплина промышленного пролетариата, связанная с этими условиями (из-за мобильности производительных сил капитализма сегодня один и тот же тип работы выполняется вместе с одними сотрудниками, завтра — с другими, более того, сегодня это один сектор производства, завтра — другой), означают, что «каждый рабочий становится возможным сотрудником для каждого другого». Новый тип идеологии — коллективистская культура, для которой характерна идея трудового коллектива, его идеал, — возникает, следовательно, при капитализме, в эпоху машинного производства. Но в условиях капитализма такая идеология не может стать господствующей и, следовательно, может лишь обозначиться как классовый, пролетарский тип, который станет превалирующим лишь в социалистической системе производства, когда он будет являться моделью всего будущего общества, не разделенного на классы, — моделью охватывающей все человечество. «Сотрудничество здесь принимается как хозяйственная связь общества», «развитие стройности и силы коллективов — как сущность человеческого прогресса». Идеология класса обретает универсальность, сам класс превращается в крепкий коллектив всего человечества во всемирном масштабе². «Пролетарская культура» становится, таким образом, общечеловеческой социалистической культурой, классовая функция — незначительной, отчуждение — преодоленным. Буржуазное сознание индивида, личности как особой независимой единицы, как автономного средоточия интересов, стремлений и знаний уже не принимается во внимание. Принимается во внимание лишь новое сознание, коллектив и «новый человек», коллективист. Здесь все становятся рабочими, и в процессе самого труда все найдут полное применение своим творческим силам, порожденным избытком трудовой энергии. Будущее общество будет развиваться лишь в направлении всеобщей гармонии³.

Богданов проиллюстрировал еще красноречивее в предисловии к немецкому изданию первого тома своего труда «Всеобщая организационная наука» (1923), расценив ее как результат специализации отдельных членов партии, которая нарушает однородность коллектива, порождая не только взаимное недоверие, но и подлинные разногласия по конкретным вопросам между членами коллектива. Богданов приводит в качестве характерного примера обособление высших, квалифицированных слоев от низших, неквалифицированных во II и III Интернационалах, а также «корпоративистские» тенденции в профсоюзном движении, расхождение между программой и тактикой профсоюзных организаций, кооперативов и политических партий рабочего класса. См.: А. А. Богданов. Всеобщая организационная наука (тектология). Л.—М., 1925, т. I, с. 9.

¹ А. А. Богданов. Наука об общественном сознании, с. 17.

² См. там же, с. 274.

³ См.: А. А. Богданов. Краткий курс экономической науки, с. 345, 346.

Система труда в коллективистском обществе определяется как «гармоничная организация». Отношения между трудящимися абсолютно равноправны, лишены противоборства, ибо нет больше никакой власти и каждый свободен в выборе специальности.

Основанная на таких трудовых отношениях система мышления будет монистически гармоничной, поскольку идеал труда и знание идентифицируются. В основе солидарной организации всей человеческой жизни лежит универсализированное монистическое мышление. Монистическое мышление становится общим принципом организации общественного механизма, который управляет организацией с помощью системы правил, то есть контролирует ее согласно заранее установленному плану. Абсолютная гармония означает бессодержательность таких понятий, как свобода и счастье. Существует лишь царство вечного и самообновляющегося «общественного робота».

Такую систему мышления, соответствующую идеалу коллективного господства над природой, идеологию коллективизма Богданов построил в своем «Эмпириомонизме» (3 тома), где он намечает философские основы общей теории коллективистского общества, или организации коллективистского человечества. Аргументация в пользу тесной связи между идеологией и техническим прогрессом, развиваемая в «Эмпириомонизме», становится идеологией самого технического процесса (технического опыта и знаний). Эмпириомонизм есть мировоззрение, охватывающее область труда и общества. Эта идеология определяется как «пролетарская по тенденциям, познавательная идеология технического процесса, в своей общей схеме воспроизводящая основные черты строения современного общества»¹.

От «Эмпириомонизма» мысль Богданова последовательно идет через «пролетарскую культуру» к разработке такого знания, в котором собран и научно систематизирован весь организационный опыт, и приходит к «всеобщей организационной науке (тектологии)». Труд был задуман Богдановым сразу же по завершении педагогической деятельности в партийных школах на Капри и в Болонье. Первую его часть он опубликовал в 1913 году. Вторая часть, хотя и завершенная в 1916 году, вышла в свет лишь после Октябрьской революции. Полное издание обеих частей, дополненное третьей, которая и носила название «Тектология», опубликовано в 1922 году. (Наиболее важные главы этой книги были напечатаны еще в 1919—1920 годах в журнале Пролеткульта «Пролетарская культура».) В 1927 году вышло третье издание книги, а последняя переработка третьей части была опубли-

¹ А. А. Богданов. Эмпириомонизм, кн. III, с. 159.

кована в 1929 году после смерти Богданова также под названием «Тектология».

В этом поистине монументальном произведении, которое сам Богданов определяет как «общую теорию природы», он пытается доказать, что «всякую человеческую деятельность, техническую, общественную, познавательную, художественную, можно рассматривать как некоторый материал для организационного опыта и исследовать с организационной точки зрения»¹, поскольку человечество незнакомо ни с какой иной деятельностью, ни с какой иной задачей, кроме организационной. И если природа есть организация, находящаяся за пределами человеческих целей, то «в технике мы нашли организацию вещей для человеческих целей»². Формулу «старого учителя научного социализма Энгельса... «производство людей, производство вещей, производство идей», — пишет Богданов, — мы сделаем точнее», принимая во внимание факты опыта и идеи, появившиеся в последние десятилетия развития науки и техники. По мнению Богданова, эта формула теперь должна выглядеть следующим образом: «организация внешних сил природы, организация человеческих сил, организация опыта»³. Иными словами: общество в техническом плане организует внешний мир, в экономическом — само себя, в идеологическом — собственный опыт.

Единство организационных методов ...навязывается новейшим развитием техники и науки⁴. Задача «тектологии» (по Богданову, этот термин, происходящий от греческого глагола *τεκταίνω* — строю, — наиболее близкий синоним современного понятия «организация») состоит в систематизации организационного опыта, иначе говоря, в задачу тектологии входит постижение всех наук в качестве инструментов для организации единого общественного трудового процесса, которому, безусловно, следует придать гармоничную и единую форму; приведение этих инструментов в законченное и гармоническое единство, а также разработка общих методов и точек зрения, связующих между собой все частные науки. Цель тектологии — создание единой, «монистической» науки, в которой должна сложиться система общих методов и законов, лежащих в основе каждой отдельной области. «Но общая их основа будет по мере развития все значительнее преобладать над этой специальной их стороной. Тогда исчезнет замкнутость отдельных отраслей, и переход от одной из них к другой станет настолько же возможным и обычным

¹ А. А. Богданов. Всеобщая организационная наука (тектология), т. I, с. 25.

² Там же, с. 30.

³ Там же, с. 27, 28.

⁴ Там же, с. 63.

делом, как переход от одной специальности к другой в машинном производстве»¹.

Чем более наука развивается в «монистическом» направлении, тем более философия, которую можно представить как попытку объединения разрозненных и фрагментарных знаний, утрачивает свое право на существование; следовательно, в конце концов в философии упадет необходимость, и ее отчасти просто упразднят, а отчасти она растворится в монистической науке. Универсальность философии в прошлом заключалась в поиске синтеза опыта, представленного в гармоничной и единой картине мира. Однако в эпоху специализации наук постулат всеобщего единства, гарантируемого философией («спокойное созерцание единства»), обнаруживает всю свою наивность. Тектология, характеризующаяся переходом к решению специальных проблем лишь в том случае, если они уже были обобщены (в этом ее смысл и право на существование), в отличие от философии не «ищет» синтеза опыта, а создает его. Ее метод опирается на активность и организацию. Она выше философии, ибо ее универсальность носит одновременно научный и практический характер. Одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе — «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его» — становится девизом и легитимацией тектологии, а сам Маркс определяется как «великий предтеча организационной теории»². Поскольку законы организации необходимы прежде всего для практики, поскольку весь организационный опыт человечества входит в компетенцию тектологии, последняя, по словам Богданова, «революционна по природе». Развитие этой науки — собственной науки Богданова — «станет признаком того, что люди завоевали сознательное господство над внешними и общественными силами природы, а также неограниченную возможность решать теоретические и практические задачи в соответствии с научным планом»³.

В той мере, в какой философия благодаря своей синтетической работе предвосхитила научные обобщения (например, идея сохранения материи и энергии), в той мере, в какой некоторые философские построения имеют отчетливый тектологический характер, хотя это и не осознается (например, диалектика или теория эволюции Спенсера), они станут частью новой теории организации и утратят, таким образом, свой специфически философский характер.

Эта универсальная наука о методах организации — наука, обобщающая и собирающая в единое целое все разнообра-

¹ А. А. Богданов. Наука об общественном сознании, с. 281, 282.

² А. А. Богданов. Всеобщая организационная наука (тектология), т. I, с. 118.

³ Там же.

разные методы и частные области науки, — представляет собой, по мнению Богданова, «науку будущего», «всемирную методологию»¹.

Как сфера, далекая от практики, философия близка к исчезновению, пишет Богданов в 1911 году. Сам эмпириомонизм отнюдь не полная и законченная философия; он является переходной формой, так как знает свою дорогу и знает, чему следует уступить место. Он — не самоцель, а непосредственная предпосылка новой систематизации. «Начало всеобщей новой науки будет положено в ближайшие годы, ее расцвет возникает из той гигантской лихорадочной организационной работы, которая создает новое общество и завершит мучительный пролог истории человечества. Это время не так далеко...»².

В своей «теории организации» Богданов дал характеристику запланированным направлениям социальных процессов, а также определил те принципы, которым должно будет следовать человеческое сознание для достижения полного господства над природой, техникой и экономикой. Он останавливается на многих частностях, анализ которых невозможен в объеме данной работы. Издания «Тектологии», вышедшие в свет после 1917 года, Богданов дополнил положениями, посвященными организации советского общества. Его идеи относительно плановой организации производства (Богданов некоторое время был членом ВСНХ), а также теории равновесия (известной сегодня в кибернетике как система *feed back**) сыграли исключительно важную роль в советском экономическом планировании 20-х годов; это еще одна до сих пор не изученная проблема.

Наконец, для своей «всеобщей организационной науки» Богданов нашел выражение еще в одной, полностью отличающейся от остальных, удивительной форме: якобы его, Богданова, теорию наглядно иллюстрирует на Марсе некий ученик Маркса (марсианский Маркс зовется Ксарма); эту свою картину «нового мира» и его организации Богданов рисует в романе «Красная звезда», законченном в 1906 году (то есть написанном еще в период революции) и опубликованном в 1908 году. В соответствии со схемой, в определенном смысле предложенной в книге Чернышевского «Что делать?», этот роман можно характеризовать одновременно и как политический, и как утопию. Уже в «Эмпириомонизме» Богданов да-

¹ По этому вопросу см. главу «Наука будущего» в книге А. А. Богданова «Философия живого опыта» (1920). Богданов закончил ее в 1909—1910 годах, работая в партиколах на Капри и в Болонье.

² Там же, с. 255.

* Обратная связь (англ.). — Прим. ред.

ет утопии принципиально положительную оценку, определяя ее как «незыблемую активность в борьбе за жизнь». Как педагог Богданов полагает, что изображение политической утопии в форме романа (в 1912 году Богданов написал еще один утопический роман — «Инженер Мэнни») есть политико-воспитательное средство, для того чтобы сделать доступной рабочим идею будущего коллективистского общества. Фактически он рисует перед массами «художественную» картину, которая может в отличие от теории оказать воздействие на их воображение, пробудить их фантазию. Коллективизм, показанный в «Красной звезде» (который иллюстрируется там на примерах воспитания, семейной жизни, решения проблем питания, преклонного возраста, болезней и смерти, труда, науки, социализации), обязан своим блестящим функционированием центральной административно-статистической машине, которая регистрирует и контролирует трудовой процесс, выпуск продукции и производительность предприятий, а также колебания в численности рабочей силы. Этот статистический механизм путем трансмиссий и электрических сигналов гарантирует производству запланированное равновесие, сигнализируя о том, какие продукты должны быть изготовлены, в каких количествах, в какие сроки и сколько потребуется рабочей силы. Незанятые рабочие, где бы они ни находились, получают информацию из статистического центра, после чего самостоятельно массами направляются туда, откуда поступил запрос, и начинают заниматься производством недостающих материальных благ, чтобы довести их количество до требуемого. Тем самым достигается необходимое статистическое равновесие процесса производства, а также нормальное функционирование общества, причем каждый абсолютно свободен в выборе места работы и организации своего трудового процесса. В рецензии от 1908 года Луначарский определил утопию Богданова как «пророчество пролетарской философии в момент своего рождения». Эта утопия, в которой нашли свое выражение коллективистские идеалы и надежда на полное исчезновение индивидуализма в идеальном обществе будущего, предвосхитила богдановскую идею науки как коллективного опыта людей и как средства организации жизни общества. Технический прогресс есть единственный критерий истины.

Однако наряду с «великими» идеологиями, или «основополагающими идеологиями» коллективизма, наряду с эмпириомонизмом и тектологией в многочисленных работах Богданова анализируются и другие идеологические формы коллективизма, помогающие человечеству «планомерно организовать по всей линии свои творческие силы, свою жизнь»¹: например,

¹ А. А. Богданов. Философия живого опыта, с. 255.

нормы общественной жизни, или нормы товарищеской солидарности, приходящие на смену юридическим и моральным нормам буржуазной культуры; искусство, воспринимаемое как средство воспитания и организации; создание единого языка для всего человечества в качестве «самой общей организующей формы для мирового сотрудничества»¹. Коллективизм — как подсказывает анализ отдельных идеологических тенденций — в любой области означает подавление специализации, или, как говорит Богданов, повторяя выражение Эрнста Маха, «филистерства специализации».

В отношении языкового объединения Богданов полагает симптоматичным то, что каждое новое изобретение порождает ряд новых терминов для обозначения деталей машин, их функций, способов обращения с ними рабочих. Исключая незначительные поправки, большинство этих терминов принимается всеми языками. То же происходит с терминологией точных наук. Однако и в других областях рост количества иностранных слов также указывает на взаимное проникновение языков. Следовательно, такой язык, наиболее оригинальная форма организации, может развиваться до тех пор, пока не станет единственным языком, пригодным для использования в ходе всего трудового процесса на основе действительно практического единства жизненных условий людей, то есть коллективизма. Однако (обратите внимание) Богданов вовсе не прибегает к попыткам искусственного создания международных языков, таких, как эсперанто — это типичное изобретение интеллигентов и наивных ученых, которые вообще не понимают, «что есть речь», и, «обладая лишь миллионной долей общечеловеческого опыта», в разгар борьбы народов и классов отвлеклись от происходящего и решились создать искусственный язык².

Новое понятие коллективистского искусства вовсе не означает, что все искусство прошлого должно быть разоблачено и отвергнуто (это обвинение впоследствии неоднократно предъявляли Богданову противники Пролеткульта, особенно Ленин и Троцкий): просто коллективистское сознание воспринимает искусство совершенно иначе. Посредством нового искусства коллективизм преобразует старое и превращает его в средство воспитания, инструмент для организации в своих целях. Так, в античном мире скульптура божества заключала в себе религиозный смысл как для художника, так и для его современников, внушая авторитарные чувства, и была символом высшей организационной власти. В эпоху коллективистского сознания в ней видится и чувствуется идеал жизни того коллектива (община, племя, род), который через посредство

¹ А. А. Богданов. Наука об общественном сознании, с. 308.

² Там же, с. 309.

своего художника воплощал символ векового психологического наследия, устремлений, настроений и веры этого коллектива. Коллективизм не означает также и того, что творческие таланты должны вербоваться лишь в среде пролетариата (Богданов неоднократно подчеркивает эту мысль в своих работах как до, так и после 1917 года), — даже в том случае, если интеллигенту трудно полностью проникнуться жизнью коллектива¹.

Идея, лежащая в основе всех богдановских программ «пролетарской культуры», коллективистской идеологии, заключается в проповеди «культурной революции в пролетариате»: «его внутренняя социалистическая революция ...необходимо должна предшествовать внешней социалистической революции общества»².

6. Философия пролетарской борьбы

Постулат культурной революции в самом пролетариате, предваряющей политическую и экономическую революцию, есть основная альтернатива революционной ориентации ленинского большевизма. Фактически «теория революции» Богданова навеяна существенно отличным от ленинского понимания будущих перспектив революции — это именно «наука организации», которая развивается на основе технических и экономических условий труда при капитализме и осуществляет революционное преобразование мира. «Пролетарская культура» означает, что пролетариат созрел настолько, что может сам, без помощи авторитарных вождей-идеологов, установить после революции общественный строй, основанный на коллективизме. Этот строй заявляет о своем существовании уже в эпоху капитализма благодаря созданию прочного «товарищеского сотрудничества». Иными словами, во внешних общественных силах принуждения, таких, как государство, власть, право и мораль, нравы и обычаи, религия и метафизика, особенно привилегированная элитарная группа, управляющая пролетариатом, — во всем этом уже нет более необходимости³. Коллективизм — который Богданов называет также, не делая различия, социализмом или коммунизмом — начинается непосредственно вслед за революцией.

По Богданову, в основе гармоничного общества должна лежать не просто смена отношений собственности, а глубокое преобразование в сфере производства, где исторически уста-

¹ См. там же, с. 290—293.

² Там же, с. 307.

³ Относительно идей о будущем см.: Л. А. Богданов. Краткий курс экономической науки (особенно последнюю главу, «Социалистическое общество»).

новившееся разделение труда наряду со специализацией привели к фрагментации идей и мыслей, а впоследствии — к разобщенности людей. Поэтому необходимы более развитые идеи относительно структуры основ коллективизма, а также производственных отношений, идеологии, сознания и т. д. В основе этих идей, изложенных выше, лежит богдановская философия, опирающаяся в свою очередь на знания науки о природе — эмпириомонизм.

Сам Богданов отождествляет свою «конечную философскую цель», эмпириомонизм, с «идеалом полного и строгого познания». Эмпириомонизм, читаем мы в третьей книге богдановского основного труда по философии, есть «попытка дать насколько возможно стройную картину мира для нашего времени и для того социального класса, делу которого я себя посвятил». Эту попытку, как утверждает Богданов, он принял совершенно один: он не примыкал ни к одной из философских школ, несмотря на то что использовал их идеи в качестве материала для своей работы. «Только социальная философия Маркса послужила для меня более чем материалом — она была регулятором и методом моей работы одновременно»¹.

Это утверждение независимости от «философских школ» является недвусмысленным ответом первому русскому теоретику марксизма Плеханову, который в предисловии к «Критике наших критиков» заклеил Богданова как «махиста» и «эмпириокритициста». В своей работе 1906 года Богданов отвечает: «Я гораздо меньше «махист», чем тов. Бельтов [Плеханов] — «гольбахианец»; и я надеюсь, это не мешает нам обоим быть добрыми марксистами»². Одновременно он соглашается с тем, что многое почерпнул у Маха — прежде всего мысль о том, что элементы опыта — ни «физические», ни «психические» и что эти их характеристики зависят исключительно от условий опыта. В чем же, собственно, заключается влияние эмпириокритиков на Богданова и в чем отличие богдановского учения от эмпириокритицизма, в чем оправдание его системы эмпириомонизма (термин изобретен самим Богдановым)?

Как следует из «Эмпириомонизма» (издание 1906 года), Богданов по образованию натуралист. Поэтому первое время он, со своим строгим гносеологическим монизмом, научным объективизмом и категорическим отказом от всякого рода «фетишей религиозных и метафизически-идеалистических мировоззрений», был довольно близок к «материализму естествоиспытателей». Однако впоследствии «социальный материализм» Маркса убедил его в несостоятельности «старого материализ-

¹ А. А. Богданов. Эмпириомонизм, кн. III, с. XL.

² Там же, с. XLI.

ма» ученых-натуралистов¹. Тем не менее, даже став марксистом в смысле приверженности марксистской социальной философии, Богданов не имел никаких причин «отказываться от своего старого стремления к поиску основы для философии в естественных науках». Напротив, если под философией подразумевалась совокупность опыта и науки, воплощение законченной системы знаний, то именно марксистская философия, до сих пор не существовавшая в природе, неизбежно должна была оформиться как натурфилософия. «Ведь естественные науки—*идеология производительных сил общества*, потому что их базисом служит технический опыт и технические науки; согласно же основной идее исторического материализма, производительные силы общества представляют базис его развития вообще»². Создание философии, «органически связанной с научной теорией марксизма», — вот задача, решение которой ставит перед собой Богданов в «Эмпириомонизме» и во многих других работах. Он стремится познать самую сущность знания и, в соответствии с марксизмом, посредством социально-генетического исследования, то есть единственно возможным путем³, осуществить гармонический синтез, с одной стороны, методов, используемых в естественных науках, и их философий, которые получили свое развитие уже после Маркса и Энгельса, и, с другой — социальной философии Маркса.

Влияние эмпириокритицизма⁴ объясняется тем, что диалектический материализм Энгельса не мог быть согласован с данными современных естественных наук. Последние открытия в области физики породили серьезные сомнения в ценности понятия материи: атом, который до сих пор рассматривался как конечный материальный элемент мира, теперь превращается в средоточие энергии и силы. В научных дискуссиях той эпохи говорили об «исчезновении материи». Такие эмпириокритицисты, как физики Эрнст Мах и Рихард Авенариус, сделали из этого вывод о том, что мир дан человеческому знанию непосредственно в ощущениях. Все понятия, употребляемые людьми, есть не что иное, как знаки, указывающие на эти непосредственные ощущения и комплексы ощущений; это мысленные символы, знаки, которые служат для общения между людьми, их взаимопонимания и облегчают его, но не имеют никаких коррелятов в реальности. Это чистые символы, представленные в виде вещи, причины, тела, атома, ма-

¹ Там же, с. III.

² Там же, с. XXIII—XXIII.

³ Там же, с. IV.

⁴ Влияние эмпириокритицизма на Богданова, его отход от этого направления и создание им эмпириомонизма хорошо освещены в лекциях И. И. Либера, прочитанных в начале 60-х годов в Свободном университете в Берлине.

терин; и даже то, что обычно называют законами природы, в сущности, есть не что иное, как мысленные символы, рабочие гипотезы. С точки зрения эмпириокритиков, формирование подобных понятий, формулировка законов природы как в жизни, так и в науке есть процесс, существующий вследствие того, что человеку свойственно стремиться к экономии работы мозга, к экономии собственного мышления. Этот принцип «экономии мышления» означает отказ от классических материалистических понятий, таких, как закономерность или причинность, которые являются метафизическими предположениями, лишенными какой бы то ни было экспериментальной основы. Материя становится чистым мысленным символом, обозначающим относительно устойчивый комплекс элементов ощущения, а категории причины и следствия заменяются функциональным понятием постоянства определенных связей. Следовательно, хотя любое знание можно свести к ощущению и комплексам ощущений, формирование понятий все же необходимо для человека и для его собственной познавательной деятельности: процесс познания есть не что иное, как управление ощущениями посредством понятий с целью достижения как можно большей простоты во взаимопонимании и как можно большей экономии интеллектуальной деятельности. Значит, научная мысль выполняет главным образом функцию упрощения общения между людьми, их взаимопонимания, когда дело касается содержания их чувств. Однако любой философ, знакомый с таким построением, должен отметить, что в конечном счете при любой концептуализации игнорируется реальность и возникает противоречие ей в том смысле, что с помощью понятия делается попытка в потоке ощущений зафиксировать нечто такое, что в действительности не может быть зафиксировано.

Одной из основных проблем для Маха и Авенариуса стало решение вопроса о том, каким образом из ощущений, носящих субъективный характер, возможно вывести объективность физического мира и его познания. Богданов, согласившись с их теорией, по которой ощущение есть элемент познания, тем не менее полагает, что эмпириокритицизм несостоятелен, так как не преодолевает дуализма между психическим и физическим. Сам Богданов предлагает — и идет дальше Маха и Авенариуса — монизм, согласно которому физические и психические явления представляют собой различно организованные элементы одного и того же опыта: психические элементы — индивидуально организованный опыт, а физические — опыт, социально организованный¹. Проблему субъективного происхождения и объективной, всеобщей ценности всех знаний об окружающем мире Богданов решает путем

¹ См.: А. А. Богданов. Эмпириомонизм, кн. I, с. 35—41.

выдвижения гипотезы о том, что объективность имеет право на существование благодаря привычке и общественному соглашению. Физический мир есть социально согласованный, социально упорядоченный или социально организованный опыт. В соответствии с этим мировоззрением такие категории, как время, пространство, причинность, закономерность, величина, качество и т. д., не являются свойствами окружающего нас мира или вещами в себе — они теряют всякий объективный характер и становятся простыми формами организации, или упорядочения опыта, лишь позволяющими человеку формировать объективный мир. Однако эти формы упорядочения имеют общую ценность для всех людей, ибо они утвердились на основе взаимного соглашения и получили, так сказать, всеобщее признание. Реальность в своей совокупности есть, следовательно, результат организационного опыта, в основе которого лежат первоначально данные ощущения и который достигает своей универсальной ценности в конечном счете благодаря общественному соглашению об использовании определенных форм и определенных упорядоченных понятий.

Признавая за общественным соглашением столь решающую роль в построении научно упорядоченного и познаваемого мира, Богданов считает, что он не только остается верным марксизму и его теории общественной обусловленности познания, но и, кроме того, обеспечивает марксизму лучшую философскую базу, чем Энгельс. Об этом особенно ярко свидетельствует его концепция истины: по Богданову, истинность мысли выводится всегда только из ее утверждения в определенном социальном контексте. И главное, истина не является объективной надысторической величиной, как считал Плеханов. По Богданову, истинно то, что представляет собой социальную ценность для определенной эпохи. Значит, все знание есть техника общественно полезной организации опыта и его элементов, ощущений. Такое знание истинно лишь в том случае, если оно помогает определенным группам людей создать себе мировоззрение, делающее возможным их существование. Истина есть «машина, с помощью которой кроится, перекраивается и сшивается реальность»¹. Цель познания не в постижении реальности, а в адекватной организации нашего опыта, исходя из его элементов.

Подобно тому как мышление заключается в организации элементов опыта, любая человеческая деятельность вообще является организационной деятельностью. Смысл любой организации — создание состояний равновесия самых разнообразных противоположных сил. Но любое равновесие, однажды достигнутое, может быть вновь нарушено появлением

¹ Цитируется без указания на источник в книге: G. A. Wetter. *Der dialektische Materialismus*. Wien, 1958, S. 109.

новых, свободных сил. Следовательно, борьба за достижение равновесия становится не только высшим принципом организаторской деятельности человека, но и законом развития мира и истории; в этом смысле и диалектика, по мнению Богданова, есть борьба — борьба за ликвидацию неустойчивости, порождаемой в результате противостояния различно ориентированных сил.

Отталкиваясь от этого нового философского обоснования марксизма, в котором поставлена цель преодолеть механистический детерминизм, развитый в последних работах Энгельса и Плеханова, Богданов приходит к тому пониманию общества и революции, которое было уже нами ранее проанализировано. Его философия приобретает форму «общей теории организации», способной организовывать и планировать состояние равновесия будущего общества. Таким образом, Богданов мог заявить, что его философия в состоянии преобразовывать мир, более того, что она — революционная теория. Организация, или плановое преобразование мира, как он полагал, с одной стороны, было необходимым новаторством по сравнению с историческим детерминизмом и фатализмом Плеханова; с другой стороны, она апеллировала к активности человеческого воображения ввиду общей цели и предоставляла свободу действия в строительстве будущего общества. Придавая такое значение опыту организации в развитии истории и в социальном прогрессе, Богданов отводит сознанию исключительно важную, хотя и не первостепенную¹, роль. Это радикально отличает его от «ортодоксальных» критиков, чьи доводы он опровергал, настаивая на том, что разделение общества нельзя истолковывать схематически, лишь исходя из собственности на средства производства, а нужно дать ему более тонкое объяснение с учетом обладания опытом организации², которое может придать роли идеологии больший вес по сравнению с «ортодоксальным» марксизмом.

¹ Критики Богданова настойчиво подчеркивают его положение, согласно которому общественное бытие и общественное сознание идентичны (см.: А. А. Богданов. Из психологии общества. С.-П., 1904, с. 51). Однако это положение не должно рассматриваться вне контекста: в данном случае Богданов выступает против наивного дуализма Плеханова и его учеников, которые абсолютизировали, «фетишизировали» знаменитое положение из работы «К критике политической экономии»: «общественное бытие определяет» общественное «сознание», — рассматривая бытие как нечто стоящее вне сознания. Напротив, Богданов настаивает на том правильном, по его мнению, истолковании Маркса, что экономические факторы неотделимы от сознания — это не физические отношения между телами, а трудовые отношения между людьми; сам труд при этом есть сознательная деятельность.

² По этому вопросу см. критическую рецензию Каутского на работу Богданова «Наука об общественном сознании»: Богданов будто бы спутал экономикку с техникой, а способ производства, «для которого форма собственности на средства производства имеет решающее значение», — с методом работы, «который в определенных технических условиях всегда

Было бы, разумеется, неправильным сделать вывод, будто бы Богданов не верил в необходимость завоевания пролетариатом власти и перехода средств производства в руки рабочего класса¹: для него революция, как и социализация собственности, — необходимая предпосылка для создания коллективистско-коммунистического общества. Однако революция вовсе не изменит участи рабочих или изменит ее в незначительной степени, если они не смогут сами решать собственную судьбу и доверяют ее «властям», чуждым классу. В этом смысле, по его теории революции, классовая борьба не считается безусловно единственным решающим фактором пролетарского сознания, выдающаяся же «революционная» роль придается «пролетарской культуре», как мы это освещали выше.

Активистская, волюнтаристская черта философии Богданова — который стремится порвать с детерминизмом, метафизичностью материализма «ортодоксальных» марксистов — непосредственно связана с определением сущности большевизма, которое содержится в его политических и программных трудах: большевизм есть организация, сознание пролетариата и воля революции. Приобретает значение тот факт, что Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» не вникает в сущность политико-революционной программы Богданова, его интерпретации большевизма. Фактически ленинская политическая теория базируется на организационной, сознательной и волюнтаристской концепции большевизма. По некоторым аспектам его политическая практика гораздо ближе к активизму и волюнтаризму Богданова, чем к детерминизму Плеханова. Ленин сознательно избегает политических дебатов по этому вопросу. Отвечая Богданову, он прибегает к «ортодоксии», к детерминистскому материализму Энгельса и пользуется почти той же философской аргументацией, что и Плеханов, включая догматическую критику последнего в адрес Богданова с самого начала выхода в свет его произведений.

Таким образом, Ленин как бы оставляет за собой возможность опровергнуть утверждение Плеханова, будто ревизионизм Богданова есть подлинно большевистская философия и большевики выкраивали свой бланкизм из ереси Маха, тем более что, по мнению самого Плеханова, лишь меньшевики были подлинными наследниками ортодоксального марксизма. Кроме того, специфика сложной политической ситуации внутри партии позволяла Ленину по тактическим соображениям утверждать, что его борьба против «левых ликвидаторов» в

одинаков, если не принимать во внимание собственности на средства производства» (см.: *K. Kautsky. Eine materialistische Geschichte des menschlichen Denkens* — In: "Die Gesellschaft", 1925, B. 1, S. 571).

¹ Так утверждает Веттер в: "Der dialektische Materialismus", S. 112—113.

рядах партии должна рассматриваться в том же плане, что и борьба Плеханова против «правых ликвидаторов» в среде меньшевиков. «Материализм и эмпириокритицизм» может быть понят лишь на фоне этого приравнивания философии Богданова к большевизму, чем впервые занялись меньшевики, а в числе критиков Богданова выделялись наряду с Плехановым А. М. Деборин и Л. И. Аксельрод (Ортодокс); при этом нас не должен вводить в заблуждение тот почти парадоксальный факт, что влияние эмпириокритицизма распространилось также и среди меньшевиков. Сам Богданов видел в «Материализме и эмпириокритицизме» попытку Ленина подать себя в философском плане, в отношении «истинной ортодоксальности», в качестве «верного ученика Плеханова»¹. Превращение Лениным диалектики в религию и метафизику² есть, по мнению Богданова, не что иное, как продукт авторитарного, статичного, а следовательно, «религиозного» мышления, «национальной материалистической школы», т. е. специфики «русского марксизма». До опубликования «Материализма и эмпириокритицизма» эту «школу» представлял почти исключительно Плеханов. Богдановская критика застоя в марксизме, содержащаяся в его работе «Приключение одной философской школы» (1908), направлена исключительно против Плеханова. Но отныне и впредь рядом с последним почти на одном уровне с ним ставится Ленин, о котором Богданов [иронически] говорит: «Не знаю, к какой фракции русских марксистов принадлежит В. Ильин»³.

Объем данной работы не позволяет нам анализировать, в какой мере определение понятий материи и диалектики, предлагаемое в «Материализме и эмпириокритицизме», а также философское определение критерия истинности знания (партийность мышления) составляют существенный элемент будущей ленинской философии, а позднее — ленинизма. По поводу же конфликта между Лениным и Богдановым мы должны наконец констатировать, что, хотя «Материализм и эмпириокритицизм» и направлен против Богданова, в нем не содержится углубленного обсуждения его позиций — как, например, в книге Плеханова «*Materialismus militans*», — при котором нельзя было бы обойтись без анализа его теории пролетарской революции. Иными словами, анализ, содержащийся в «Материализме и эмпириокритицизме», вносит крайне скудный вклад, если не сказать — никакого вклада, в понимание действительных политических и тактических разногласий между Лениным и Богдановым. Однако этот анализ полезен для понимания сущности ленинской переработки ди-

¹ А. А. Богданов. Вера и наука. М., 1910, с. 199 и 196.

² Там же, с. 162.

³ Там же, с. 194.

алектического материализма в новый период развития естественных наук по сравнению с эпохой, в которую творил Энгельс. Философская мысль, изложенная в «Материализме и эмпириокритицизме», не развивается в ходе точного и естественного сопоставления с философской проблемой, а преследует цели практического и политического характера. В процессе формирования философии Ленина дискуссия с Богдановым представляет собой лишь промежуточный этап, которому предшествуют иные моменты, иного рода полемика с иными политическими группировками, такими, как народники, «легальные марксисты», экономисты.

Массимо Сальвадори

ГЕРМАНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА. ДИСКУССИЯ О МАССОВОЙ ЗАБАСТОВКЕ И «РАЗЛИЧИЯХ» МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Германская социал-демократия, по общему признанию, являлась ведущей партией II Интернационала как по причине своей организационной мощи, к которой приплюсовывалась мощь связанных с партией и возглавлявшихся социал-демократами «свободных профсоюзов», так и благодаря значению теоретических дискуссий, которые происходили в ее рядах, знаменуя целые главы в истории международного марксизма. Самой известной и значительной из них была, без сомнения, дискуссия о ревизионизме, развернувшаяся в последние годы XIX — первые годы XX века. Другая важная глава связана со спорами, разгоревшимися в период первой русской революции по вопросу о всеобщей стачке, со спорными разногласиями, вспыхнувшими в связи с этим в самой социал-демократической партии, а также между партией и профсоюзами. Содержание дискуссии хорошо известно: ее ход не раз прослеживался не только в работах о германской социал-демократии в целом, но и в монографиях, посвященных наиболее видным участникам дискуссий, среди которых выделяется Роза Люксембург; более активно, чем кто бы то ни был другой, она выступала по теоретическим аспектам массовой стачки как новой формы современной пролетарской революции.

I. Истоки разногласий

При том, что основные положения этой дискуссии неоднократно воссоздавались в работах исследователей, подлинное ее историческое значение оставалось непонятым. Дискуссия развернулась в Германии под мощным воздействием русской революции 1905—1907 годов, причем в такой период, когда империю Вильгельма II сотрясали крупные массовые выступления, в основе которых были как экономические требования трудящихся, так и их стремление — особенно сильное в Пруссии и Саксонии — изменить несправедливые избирательные законы, отводившие, по сути дела, социал-демократии вечную роль меньшинства. Тогда перед герман-

ским рабочим движением встали в основном следующие вопросы: должна ли германская социал-демократия взять на вооружение в собственных целях ту массовую политическую забастовку, которая благодаря российскому пролетариату сыграла колоссальную роль в его борьбе с царским режимом? Должна ли партия безоговорочно признаваться руководителем всего рабочего движения, а следовательно, и профсоюзов?

Воссоздать картину споров по этим вопросам, приведших к размежеванию в рядах германского рабочего движения, чрезвычайно важно не только для истории Германии и истории ведущей партии II Интернационала. Огромная важность такой работы обусловлена прежде всего тем (и здесь мы подходим к основному пункту, который, на мой взгляд, не был достаточно выяснен всей предшествующей историографией), что в ходе споров были четко и непреложно обозначены предпосылки раскола, разделившего после 1917 года европейское рабочее движение на два главных течения. Представители первого исходили из того, что базой революционного процесса должна служить массовая внепарламентская борьба, и считали, что именно русский пролетариат открыл путь этой новой стратегии и наполнил ее существенным содержанием. Представители другого считали, что если пролетариат развитых капиталистических стран станет копировать формы борьбы русского пролетариата, то это может привести лишь к пагубным результатам. Они полагали необходимым придерживаться законных путей, действуя внутри институтов парламентарного строя, и думали, что социализм обязательно наступит благодаря расширению рамок политической демократии, понимаемой в духе либеральной традиции. За этими спорами крылось глубокое расхождение во мнениях относительно степени «специфичности» положения русских рабочих, а следовательно, и форм их борьбы.

Таким образом, именно в Германии в 1905—1907 годах развернулась та дискуссия о «различиях» между Востоком и Западом, которой суждено было приобрести столь большое значение в будущем. Будучи воспроизведены в расширенном виде, эти разногласия вначале не только раскололи, но и после третьей русской революции фронтально противопоставили друг другу социал-демократов и коммунистов. Позже, после провала коминтерновской стратегии, нацеленной на борьбу против «социал-фашизма», эти же разногласия в рядах самих коммунистов послужили толчком к новым рассуждениям, вроде изложенных в «Тюремных тетрадах» Грамши. Наконец, после «десталинизации» они же в результате длительного процесса вызревания привели к появлению «еврокоммунизма». Не следует забывать, что тема «различий» в период между двумя мировыми войнами получила

скрупулезную разработку в трудах австромарксистов, и прежде всего в работах Отто Бауэра. Разумеется, мы не утверждаем, что в дискуссии, развернувшейся в рядах германского рабочего движения в 1905—1907 годах, уже содержалось, так сказать, все то, что в дальнейшем было сказано и написано на эту тему. Мы хотим лишь сказать, что, с одной стороны, проблема была обрисована тогда в основных чертах, а с другой — тогдашние расхождения как бы предвосхитили и прояснили в теоретическом и политическом отношениях раскол, произошедший после 1917 года между социал-демократами и коммунистами.

2. Русская революция и обстановка в Германии

Первая русская революция отозвалась мощным эхом в Германии, вступившей в полосу острых стачечных конфликтов и политических выступлений, сотрясаемой до самых основ последствиями межимпериалистических столкновений (кульминацией которых был первый марокканский кризис) и раздираемой противоречивой реакцией общественности на репрессии в германских колониях в Африке. Короче говоря, русская революция всколыхнула германское рабочее движение, которое в силу внутренних факторов уже настолько прониклось боевым духом, что созрело для постановки вопроса о непосредственных целях борьбы и ее формах.

1905 год начался в Германии грандиозной забастовкой горняков в Руре, в которой в момент ее наибольшего размаха участвовало свыше 200 тысяч человек. Исключительное значение этой забастовки определялось не только ее продолжительностью (начавшись 7 января, она окончилась 19 февраля), но и тем, что она наглядно продемонстрировала стихийный порыв масс. Этот порыв создал немалые трудности для самого социал-демократического руководства «свободных профсоюзов», предметом озабоченности которого была не только сплоченность фронта предпринимателей, исполненных решимости не идти ни на какие уступки, но и то, что забастовка затягивалась и становилась базой, на которой происходил общий процесс радикализации, охватывавший как членов профсоюзов, так и неорганизованных рабочих. С большим трудом профсоюзным руководителям удалось добиться прекращения забастовки 9 февраля с помощью соглашения, которое по существу означало отказ хозяев удовлетворить требования рабочих. Фактически же забастовка продолжалась до 19 февраля.

Забастовка горняков в Руре представляла собой лишь наиболее крупный эпизод борьбы рабочих в 1905—1907 годах, за которым последовали многочисленные выступления

рабочих — членов профсоюзов. В 1905 году было зарегистрировано в общей сложности 2323 стачки и локаута, в которых участвовало 507 964 человека, в 1906 году — 3480 стачек и локаутов и 316 042 участника, в 1907 году — 2792 стачки и локаута и 281 030 участников.

Одновременно с подъемом забастовочного движения, начало которому положила забастовка горняков в Руре, в 1905 году развернулся еще один фронт массовых выступлений — за реформу избирательной системы в Пруссии и Саксонии, основанной на принципе «трех классов» и обрекающей социал-демократию на полное политическое бессилие. В главных городах Саксонии, Дрездене, Лейпциге, Хемнице, в ноябре—декабре 1905 года происходили крупные массовые демонстрации. В Дрездене дело дошло до жестоких стычек с полицией. Крупная забастовка политического характера (против существующей муниципальной избирательной системы) вспыхнула в январе 1906 года в Гамбурге. В том же месяце в Пруссии и Саксонии возобновились и продолжались на протяжении всего года волнения из-за избирательной системы на основе принципа «трех классов».

К перечисленным причинам массовых выступлений прибавилось затем, как уже говорилось, недовольство империалистической внешней политикой Германии. В связи с первым марокканским кризисом эта политика породила серьезную опасность войны между европейскими империалистическими державами и повлекла за собой резкий рост расходов на армию и флот, что тяжело отразилось на уровне жизни населения, и в первую очередь трудящихся. Напряженные социально-политические отношения внутри страны усугубились сообщениями о чудовишной жестокости, с которой немецкие войска расправлялись с восставшим населением африканских колоний Германии.

В обстановке повышенной внутривнутриполитической напряженности в Германии русская революция сыграла роль катализатора. С одной стороны, она вызвала волну манифестаций солидарности с пролетариатом царской империи, с другой — обострила теоретическую дискуссию о соотношении реформ и революции, о наиболее эффективных формах борьбы с организованным и опытным западным капитализмом, о связях между событиями в России и борьбой трудящихся в Германии и вообще в Центральной и Западной Европе. Весьма показательны, что если подъем революционного движения в России способствовал радикализации значительной части германской социал-демократии, то его спад и поражение в такой же степени содействовали тому, что в партии возобладали наиболее умеренные течения, а Роза Люксембург, выдвинувшаяся в качестве главного руководителя и теоретика радикального крыла, оказалась в изоляции. На парла-

ментских выборах в январе 1907 года социал-демократы недосчитались многих мандатов. «Урок», который извлекла из этого их партия, отступавшая на умеренные позиции под нажимом профсоюзов, заключался в том, что русская революция ни в коей мере не может служить примером для немецкого рабочего движения и что магистральный путь к успеху в Германии — это путь законности, постепенности, реформ. Суть урока сводилась к тому, что Запад — даже тот страны «Запад», каким была кайзеровская Германия, — не может и не должен следовать за Востоком.

3. Разногласия между партией и профсоюзами

Влияние первой русской революции наложилось в Германии на боевое движение масс и идущий от этого движения импульс к пересмотру стратегии германского рабочего движения в одном определенном направлении, а именно по проблеме массовой забастовки. Споры по этому вопросу, развернувшиеся с беспрецедентным для германского рабочего движения размахом, были вызваны не только примером массовых забастовок в России и крупных стачечных выступлений в самой Германии: влияли также массовые забастовки, прокатившиеся в 1902—1904 годах по Бельгии, Швеции, Голландии и Италии. Именно из-за откровенно политических целей этих забастовок очередной конгресс II Интернационала, заседавший в августе 1904 года в Амстердаме, занялся обсуждением вопроса о всеобщей забастовке. Отвергнув анархистскую концепцию всеобщей забастовки, большинство участников конгресса указало на возможность применения массовой политической забастовки как крайнего средства в тех случаях, когда целью ее является «достижение крупных социальных изменений либо отпор реакции, покушающейся на права трудящихся». Примечательно, что среди самых решительных противников всеобщей забастовки были немецкие делегаты. Деятель германских профсоюзов социал-демократ Роберт Шмидт заявил, что для профсоюзов его страны вопрос об объявлении всеобщей забастовки даже «не подлежит обсуждению» и что единственный путь, по которому нужно следовать, — это путь постепенных усилий, направленных на укрепление рабочих организаций.

Насколько прохладным было отношение к этому вопросу германской социал-демократии, показал Бременский съезд партии в сентябре 1904 года. Выдвинутое на нем предложение (поддержанное среди прочих Карлом Либкнехтом и Кларой Цеткин) включить в повестку дня следующего съезда вопрос о всеобщей забастовке натолкнулось на сопротивление партийного руководства, которому в конце концов и

было доверено принять окончательное решение по этому поводу¹.

Но если вплоть до этого момента вопрос о всеобщей забастовке оставался для германского рабочего движения темой предпочтительно академических теоретических дискуссий, то под воздействием первой русской революции и в связи с массовыми выступлениями, подобными забастовке горняков в Руре, он приобрел остроактуальное значение.

Русская революция вызвала огромный энтузиазм среди немецких социал-демократов, которым царская Россия извечно представлялась оплотом европейской реакции, а монархия Романовых — родной сестрой германской и австро-венгерской монархий. Когда Каутский писал в 1897 году, что Маркс и Энгельс завещали рабочему классу «борьбу с царизмом» наряду с борьбой против капитализма, он выражал своего рода «массовую идеологию» социал-демократии². Таким образом, Россия рассматривалась как источник реакционного влияния, приходящего на Запад с Востока, как олицетворение милитаризма и бюрократизма. Избавить Европу и весь мир от царского самодержавия означало поэтому заложить предпосылки крупных политических перемен для всего континента. Характерно, что именно в таком смысле писала накануне революционного взрыва в России газета баварских социал-демократов «Мюнхнер пост», известная своим ревизионистским направлением. «Освобождение России», утверждала газета, явится, «возможно», самым важным событием современной истории после Французской революции. «В качестве оплота реакции Россия ныне не просто служит идеалом государства для германской и австрийской династий, для конкеров и всех реакционных сил в обществе, ведущих свою родословную от средневековья. Подобно кошмару, Россия нависает над всеми другими державами Западной Европы, да и всего остального мира, препятствует развитию каких бы то ни было освободительных движений, воздействует в реакционном и обскурантистском духе на другие страны» посредством своей внутренней и внешней политики, своего милитаризма³.

Вот почему лозунг поддержки революции ради демократизации России и ее, так сказать, воссоединения с Западом сразу же сделался общим лозунгом германской социал-де-

¹ Краткие, но точные и исчерпывающие сведения о дискуссии в международном рабочем движении по вопросу о всеобщей забастовке вплоть до начала 1905 года см. в: *J. Braunthal. Geschichte der Internationale*. Hannover, 1961, B. I, S. 291—304; *K. Kautsky. Der politische Massenstreik*. Berlin, 1914, S. 9—108.

² *K. Kautsky. Die orientalische Frage und die Sozialdemokratie*. — In: «Vorwärts», 4. III. 1897.

³ «Zusammensturz des Zarismus». — In: «Münchener post», 23. XII. 1904.

мократии после «кровавого воскресенья» 22 (9) января 1905 года, которым ознаменовалось в Петербурге начало борьбы русских масс против царизма. Эта позиция была ясно изложена вождем партии Августом Бебелем в апрельском обращении 1905 года: «основной целью» революции должно быть «завоевание политических прав и политической власти». «На всей территории Российской империи» нужно добиваться образования «свободной народной республики», основанной на политических и гражданских свободах, полной свободе организации, современном социальном законодательстве, восьмичасовом рабочем дне. Кульминационным пунктом всех завоеваний должно было стать всеобщее избирательное право¹.

Все это укладывалось в рамки восторженной, но все же неопределенной поддержки русской революции — поддержки, обусловленной главным образом заинтересованностью германской социал-демократии в том, чтобы свержение российской монархии создало повсюду в Европе более благоприятную атмосферу для распространения демократии и международной разрядки. Подобная позиция маскировала центральную проблему немецкой социал-демократической партии и профсоюзов: что должно предпринять рабочее движение в Германии ради поддержки революции, или, точнее, следует ли немецкому рабочему движению перенять формы борьбы русского пролетариата для борьбы с капитализмом и государством в Германии. Именно поиски ответа на эти вопросы вызвали в германском рабочем движении процесс глубокого размежевания. Так дискуссия о революции в царской империи переросла в ожесточенный, доходящий до раскола спор о революции в Германии.

Разногласия обострились, когда обсуждение непосредственно коснулось оценки тех последствий, которые могло вызвать в Германии применение массовых форм борьбы русского пролетариата, и особенно массовой забастовки. По мнению радикального крыла партии (Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Клара Цеткин, Франц Меринг, сам Каутский), пример русской массовой забастовки служил «уроком» немецкому пролетариату, долг которого состоял в том, чтобы подготовиться к наступательным действиям, выйдя за рамки традиционной парламентской и профсоюзно-экономической стратегии с целью достижения крупных политических перемен (на первое место при этом ставился вопрос о реформе избирательной системы на основе принципа «трех классов»). Такая позиция левого крыла вызвала резкую реакцию «сво-

¹ "August Bebel an die deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen im Russisch-Polen und Lituanien. Offener Brief". — In: "Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung". Berlin, 1967, B. IV, S. 143—144.

бодных профсоюзов», в результате которой в центр споров выдвинулся не только вопрос о формах борьбы, но и вопрос об отношениях между партией и профсоюзами.

Самым авторитетным органом радикального крыла являлась в то время газета «Лейпцигер фольксцайтунг», где ответственным редактором был Меринг. Выступления этой газеты с изложением позиции левых не замедлили вызвать ответ профсоюзов, бывших на практике прочной опорой ревизионизма и реформизма. В общем, все течения немецкого рабочего движения были едины в поддержке попытки русского пролетариата положить конец ненавистному самодержавию, но отнюдь не были едины в одобрении и усвоении русских методов борьбы. Вот что писала «Лейпцигер фольксцайтунг» 2 февраля 1905 года: «Влияние столь грандиозного события, как русская революция, выходит далеко за пределы Российской империи, и Германия является тем государством, которое более чем какое-либо иное восприимчиво к этому влиянию... Русская революция знаменует конец нынешнего спокойного существования. Она открывает перспективы огромного значения и ставит нас перед вопросами, решение которых потребует полного напряжения всех наших сил и поднятия революционного инстинкта немецкого рабочего класса на новый уровень»¹.

Еще категоричнее были следующие слова: «Русская революция вносит новый элемент в методы борьбы международного пролетариата... Русские рабочие показали рабочим Западной Европы, как следует на практике проводить ту всеобщую забастовку, о которой велось столько дискуссий... Подобная всеобщая забастовка... и есть организованная революция, есть выступление пролетариата как класса. Всеобщая забастовка, массовая политическая забастовка, представляющая собой в Западной Европе крайнюю и последнюю форму классовой борьбы в экономико-политическом плане, ныне образцово применяется русской социал-демократией»².

Смысл подобных заключений не требовал никакого разъяснения: черным по белому было написано, что Запад и Восток должны объединиться в выборе форм борьбы и что примером тут является русский пролетариат. Но как раз это профсоюзная верхушка считала абсолютно неприемлемым, самым настоящим объявлением войны традиционной страте-

¹ "An der Schwelle einer neuen Epoche". — In: "Leipziger Volkszeitung", 2. II. 1905. Перепечатано в: L. Stern (red.). Die russische Revolution von 1905—1907 im Spiegel der deutschen Presse (в дальнейшем—RRSDP). Berlin, 1961, B. II 3, S. 232—233.

² «Märzstürme» — In: «Leipziger Volkszeitung», 21. III. 1905 (RRSDP, B. III/3, S. 152—153).

гии профсоюзов. Российский пример учил, что экономические стачки в накаленной атмосфере всеобщей или, во всяком случае, массовой забастовки мгновенно приобретали политический характер, что массовая забастовка в огромной степени развязывала инициативу самих масс. Профсоюзные вожди истолковывали русский пример как прямую угрозу собственному положению. Мало того, отвечая радикалам, они подчеркивали, что условия России глубоко отличаются от условий Западной Европы, и особенно Германии, что роль государства в царской России совсем иная, чем в Германии, что карательная мощь господствующих классов в Германии резко отлична от карательной мощи господствующих классов такой отсталой и прогнившей страны, как Россия, подорванной к тому же поражением в войне с Японией. Профсоюзные вожди клеймили выводы радикального крыла как «интеллигентские» рассуждения. «Мы отнюдь не сторонники уличных демонстраций», — писала, отвечая представителям этого крыла, официальная газета профсоюзов. Русские демонстрации — это типичное проявление массовых движений, не прошедших «школу организации». У немецкого пролетариата иной стиль, как это ясно показывает огромная забастовка в Руре. Основными чертами этого стиля являются «железная дисциплина» и «паразитический самоконтроль»¹.

Категорический отказ немецких профсоюзов «учиться» у России и их столь же категорический отказ от любой революционной стратегии, стержнем которой являлась бы всеобщая забастовка, были санкционированы решениями Кёльнского съезда профсоюзов в мае 1905 года. Докладчик по вопросу о всеобщей забастовке Теодор Бёмельбург объявил, что идея всеобщей забастовки отмечена несомненной печатью анархизма, что основополагающей для профсоюзов является работа по повышению уровня организации и что, хотя массовая политическая забастовка и может рассматриваться как некое гипотетическое оружие для отражения угрозы политическим и профсоюзным правам трудящихся, следует отвергнуть любую систематическую пропаганду в пользу применения этого типа забастовки. В представленной съезду Бёмельбургом от имени Генеральной комиссии профсоюзов резолюции, с одной стороны, осуждались «любые попытки навязывания тактики, выработанной с помощью пропаганды массовой политической забастовки», а с другой — содержался призыв к рабочим не поддаваться на увещевания и не отвлекаться от «скромной повседневной работы по укреп-

¹ "Generalstreiks und Revolution in Russland". — In: "Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands", II. II. 1905 (RRSDP, B. II/3, S. 148).

лению организации». Из 208 делегатов съезда против этой резолюции проголосовали лишь семь»¹.

Следует напомнить, что позиция профсоюзов по вопросу о массовой политической забастовке и тем более о всеобщей забастовке была равноценна объявлению войны не только радикальному крылу социал-демократии, но и самому бернштейнскому ревизионизму. В самом деле, Бернштейн, как будет подробнее сказано ниже, вступив в дискуссию в январе 1925 года, заявил, что он согласен с идеей обращения — при определенных условиях — к оружию массовой забастовки ради отстаивания демократических завоеваний или приобретения новых, но только не во имя революционных целей. Принятая профсоюзным съездом резолюция сразу же вызвала бурную реакцию в низовых профсоюзных и партийных организациях. Во многих немецких городах (Берлине, Бремене, Франкфурте, Гамбурге, Кёльне и других) были отмечены многочисленные энергичные протесты рабочих в защиту массовой забастовки. Но на сторону руководства профсоюзов стала редакция центрального партийного органа, газеты «Форвертс», которая начиная с июня развернула педантичную и настойчивую полемическую кампанию, особенно против Каутского. Эта кампания продлилась вплоть до октября, когда прежний состав редакции был заменен новым. Наряду с Каутским одной из главных мишеней для «Форвертс» служила голландская социалистка Генриетта Роланд-Гольст, опубликовавшая в июне 1905 года работу «Всеобщая забастовка и социал-демократия», которая оказала огромное влияние на ход дискуссии.

С 17 по 23 сентября 1905 года проходил съезд социал-демократической партии в Йене. Наиболее важным, политически значимым вопросом в его повестке дня был тот же вопрос, что и на профсоюзном съезде в мае: о массовой забастовке. Среди многих комментариев, посвященных профсоюзной и партийной печатью открытию съезда, два особенно четко отражают столкнувшиеся на нем противоположные взгляды. Газета профсоюзов без обиняков писала:

«Подготовка к ней [массовой забастовке] равноценна организации революции. Куда важнее укреплять политическую и экономическую организацию пролетариата, для того чтобы она была в состоянии защитить его в любой ситуации и контролировать любое пролетарское движение»².

В свою очередь орган женского социал-демократического движения газета «Гляйххайт», которой руководила Клара

¹ «Protokoll der Verhandlungen des fünften Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands abgehalten zu Köln a. Rh. von 22 bis 27 Mai 1905». Berlin, s. d., S. 30.

² «Der sozialdemokratische Parteitag in Jena». — In: «Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands», 16. IX. 1905 (RRSDP, B. II/4, S. 643).

Цеткин, писала, выражая противоположную точку зрения: «Германская социал-демократия собирается в Йене в необычайно серьезный и великий момент. Она проводит свой съезд под знаком одного из самых грандиозных событий мировой истории — русской революции».

Развивая затем выступление именно в том направлении, которое наталкивалось на самое упорное противодействие профсоюзов, газета указывала на русскую революцию как на пример для всего пролетариата: «События в России пробуждают и подкрепляют понимание пролетариатом собственной революционной силы. Они помогают ему осознать, что революция является неизбежным моментом исторического развития... они направляют его внимание на массовую политическую забастовку как метод борьбы»¹.

Съезд 1905 года имел для германской социал-демократии опромное значение, ибо ознаменовал поворот партии к радикальным позициям. Этот поворот, разумеется, был непосредственно связан с влиянием русской революции — влиянием, которое, как мы видели, пришлось именно на момент повышенной социальной и политической напряженности в немецком обществе. Основной темой выступления на съезде была тема массовой политической забастовки в связи с оценкой революции в России, влияния этой революции на стратегию рабочего движения в Германии, отношений между партией и профсоюзами. Харизматический вождь партии Бебель, который не имел равных как политический оратор, произнес на съезде одну из самых выдающихся своих речей. Он говорил, что у социал-демократии нет иного пути, кроме как быть в оппозиции всей господствующей системе в целом. Поскольку надежды на создание буржуазно-демократического реформаторского блока несостоятельны, партии в связи с этим необходимо приготовиться к максимально энергичной защите условий своей дальнейшей деятельности, которым открыто угрожают замыслы реакции. Что касается ее собственных намерений, то социал-демократия полна решимости идти мирным путем. Но она должна быть готова противостоять реакционным вылазкам. Затронув наиболее животрепещущий вопрос, Бебель вступил в открытую полемику с профсоюзами в отношении массовой политической забастовки. Неверно, заявил он, будто ее применение ведет к одним лишь поражениям. Массовая политическая забастовка может оказаться решающим оружием в деле защиты и расширения демократических прав, «средством борьбы, которое может быть использовано в определенных условиях»². В этом

¹ "Zum sozialdemokratischen Parteitag. — In: "Die Gleichheit", 20. IX 1905 (RRSDP, B. II/4, S. 644).

² "Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Spd. abgehalten zu Jena vom 17 bis 23 September 1905", S. 305.

свете любое стремление профсоюзов к политической нейтральности следует расценить как отрицательное и вредное, и значит, с ним нужно бороться. Долг профсоюзов состоит в том, чтобы готовить пополнение для партии социал-демократов.

Сказав это, Бебель, однако, отверг какие бы то ни было параллели между обстановкой в Германии и обстановкой в России. В Германии, отметил он, предприниматели располагают огромной организованной мощью и в целом — классовым сознанием, «намного более высоким, чем сознание принадлежности к одному классу у немецких рабочих». Кроме того, они действуют на основе «самого полного единства», которому противостоит дробление сил пролетариата на различные профсоюзные организации, конфликтующие одна с другой¹. Помимо этого, не следует забывать, что, с одной стороны, германская военная организация — «непревзойденная», а с другой — германское социальное законодательство в некоторых отношениях нельзя не назвать превосходным². В свете всего этого Бебель, четко отмежевываясь от радикального крыла партии, видевшего в русских массовых забастовках пример для немецкого пролетариата, отверг какую бы то ни было возможность уподоблять Германию России: «условия в России настолько чудовищны, что эти забастовки [забастовки русских рабочих] не могут рассматриваться нами как образец»³.

В конце концов Бебель сыграл роль посредника между двумя различными крылами партии. Подобно радикалам, он отстаивал возможность обращения при определенных условиях к массовой политической забастовке и в Германии, но вместе с реформистами, враждебно относящимися к такого рода забастовкам, он отверг применимость русского образца для Германии. Среди противников массовой забастовки особенно выделялся ревизионист Эдуард Давид. В своей в некотором смысле примечательной речи на съезде он предпринял лобовую атаку на Розу Люксембург, всячески упирая на несводимость германских условий к русским. Теории люксембургинанского толка, усматривающие в массовой забастовке средство открыть путь процессу социальной революции, подчеркивал он, в Германии могут лишь лить воду на мельницу карателей. Если из русских событий и следует извлечь какой-то урок, то смысл его прямо противоположен тому, который извлекает Люксембург: «Русская революция учит нас многому, но только прямо противоположному тому, в чем нас хочет убедить Роза Люксембург. Русская револю-

¹ Ibid., S. 291.

² Ibid., S. 305.

³ Ibid., S. 306.

ция учит прежде всего, что условия революции... в России никоим образом не могут быть уподоблены условиям, которые существуют у нас в Германии. То, что там представляется правильным, у нас может оказаться совершенно неверным, и было бы чистым безумием стремиться извлечь из русских условий выводы для выработки необходимой нам тактики... Однако в таком безумии и заключается метод товарища Люксембург».

Столбовой дорогой для Германии является путь парламентской демократии с присущими ей методами: «Завоевание политической власти не означает, что наши идеи завоевывают большинство народа. Достичь чего-нибудь подобного насильственным путем, оставаясь партией меньшинства, мы считаем невозможным ни сейчас, ни в самом далеком будущем»¹.

Среди тех, кто на съезде решительно выступил против массовой политической забастовки, был глава профсоюзов Легин, который заявил, что, «однажды вступив на путь массовых действий, мы фактически окажемся перед лицом революции. Пути к отступлению тогда у нас уже не будет»².

В конце концов съезд 287 голосами против 14 и двух воздержавшихся принял резолюцию, представленную Бебелем. В ней говорилось, что партия признает массовую политическую забастовку оружием, применимым для достижения двух целей: защиты всеобщего избирательного права и права на объединение и для завоевания «важных основных условий» освобождения пролетариата. Признавалось необходимым, следовательно, открыто развернуть пропагандистскую работу в предвидении возможного применения массовой забастовки³. Комментарий центрального органа профсоюзов по поводу принятия съездом резолюции о массовой забастовке выражал жесткую, непримиримую оппозицию этому решению: профсоюзы не потерпят, чтобы в их рядах велась «пропаганда массовой политической забастовки»⁴.

Вскоре после съезда партии накал дискуссии о массовой забастовке резко усилился. Начиная с ноября все более частыми стали манифестации и выступления в поддержку избирательной реформы в различных землях. Движение нарастало. Из Саксонии оно перекинулось в Пруссию; вместе с массовыми выступлениями дальнейшее развитие получила дискуссия о соотношении между обстановкой в России и в Германии. Напор радикального крыла в партийной печати

¹ Ibid., S. 328.

² Ibid., S. 322.

³ Ibid., S. 143.

⁴ "Der Parteitag der deutschen Sozialdemokratie". — In: "Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands", 30. IX. 1905 (RRSDP, B. II/4, S. 715—716).

становился все более осязаемым. «Фольксштимме» 10 ноября писала, что урок русской революции заключался в том, что она на деле полностью опровергла миф, будто народ не в состоянии одолеть государство с его аппаратом власти¹. 11 ноября Роза Люксембург заявила в «Форвертс», перешедшей теперь под контроль радикалов, что русская революция знаменует возврат на авансцену революционного марксизма². 14 ноября «Лейпцигер фольксцайтунг» писала, что русские события означают похороны немецкого ревизионизма; пролетариат и в Германии признал «массовую революционную забастовку» оружием своей борьбы³.

В начале декабря крайне накалилась обстановка в Саксонии. В Дрездене произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Газета «Сексиге арбайтерцайтунг» писала в комментарии, что «от искр русской революции» занялись сердца немецких пролетариев⁴. Правда, партийное руководство делало все возможное, чтобы убедить массы не выходить за рамки законности, однако несомненным было то, что развитие событий оказалось на опасной грани, за которой могло начаться фронтальное столкновение с властями. Значило ли это, что настал момент прибегнуть к массовой политической забастовке? Бебель выступил в рейхстаге как выразитель настроений массового движения. В начале декабря он заявил, что «при известных обстоятельствах народы Западной Европы также могли бы показать своим хозяевам то, что показал своему господину русский народ»⁵. Несколько дней спустя, в кульминационный момент Московского вооруженного восстания, революционный накал в речах Бебеля дошел до предела, и тот даже на какой-то момент отклонился от собственной позиции на Йенском съезде, где, как мы помним, он утверждал, что русские условия не идут ни в какое сравнение с немецкими. 14 декабря он выступил с предостережением в рейхстаге: «Мы переживаем период реакции, никто не может этого отрицать... Но только результатом реакции всегда становилась революция». В Германии также может сложиться революционная ситуация, и потому вполне вероятно, что, «если не будут избраны новые

¹ "Revolutionslehren". — In: "Volksstimme", 10. IX. 1905 (RRSDP, B. II/4, S. 812).

² "Nach dem Bankrott des Absolutismus". — In: "Vorwärts", 11. XI. 1905 (RRSDP, B. II/4, S. 818).

³ "Geplatze Seifenblasen". — In: "Leipziger Volkszeitung", 14. XI. 1905 (RRSDP, B. II/4, S. 922—925).

⁴ "Wahlrechts-Sturm: Die Arbeiter-Bataillone in Marsch". — In: "Sächsische Arbeiter-Zeitung", 4. XII. 1905 (RRSDP, B. II/5, S. 971).

⁵ "Aus der Reichstagsrede des Abgeordneten Bebel am 7. Dezember 1905". — L. Stern (red.) Die Auswirkungen der ersten russischen Revolution von 1905—1907 auf Deutschland (в дальнейшем — AERRD). Berlin, 1955, B. II/1, S. 127.

пути, в Германии произойдет то же, что и в России». «Проведите же реформы», — оказал он, обращаясь к правящим классам. Пруссия к этому времени уже 30 лет ожидала реформу избирательной системы¹.

Декабрь 1905 года — месяц вооруженного восстания в Москве и обострения борьбы за избирательные реформы в Германии — стал высшей точкой радикализации германской социал-демократической партии. Но к бою в этот период из-готовился и консервативный лагерь в Германии. Его основные доводы звучали так: немецкая социал-демократия играет с огнем; Германия — не Россия, сила русского господствующего класса не идет ни в какое сравнение с мощью правящих классов в первой из двух стран. Консервативная пресса не останавливалась перед требованием в случае необходимости подавить силой любую массовую политическую забастовку и ограничить право рабочих на объединение в организации². Канцлер фон Бюлов со своей стороны неоднократно напоминал в рейхстаге, что Германия — это не Россия и что немецкое правительство сумеет обеспечить порядок внутри страны³. Обращаясь непосредственно к Бебелю и отвечая на его речь от 7 декабря, фон Бюлов заявил по поводу главного вопроса о соответствии между ситуациями в Германии и России: «Позавчера депутат Бебель неоднократно напоминал об обстановке в России, а в социал-демократической печати мы каждый день видим сравнения и намеки на то, что и у нас могло бы произойти нечто аналогичное.... Со своей стороны хочу заявить, что условия в Германии в корне отличаются от условий в России... Кроме того, хочу заявить, что если социал-демократия решится попытаться развязать у нас кампанию грабежей и убийств, всеобщих забастовок и массовых демонстраций, то попытки такого рода окончатся неудачно, натолкнувшись на прочность наших институтов, сплоченность правительств земель, здравый образ мыслей немецкого народа, который не потерпит ига социал-демократии»⁴.

К этим недвусмысленным угрозам канцлера в адрес социал-демократов в том же месяце прибавились принятые военным министром Пруссии меры по ужесточению наказаний, предусмотренных за организацию антимилиитаристских выступлений, а также письмо Вильгельма II фон Бюлову, в котором выражалось решительное намерение ликвидировать со-

¹ "Reichstag". — In: "Vorwärts", 15. XII. 1905.

² "Die Gefahren des Generalstreiks". — In: "Neue Preussische Zeitung", 6. XII. 1905 (RRSDP, B. II/5, S. 1024—1025).

³ "Aus der Reichstagsrede des Abgeordneten Fritzen und des Reichskanzlers von Bülow am 6. Dezember 1905" (AERRD, B. II/2, S. 96).

⁴ "Aus der Reichstagsrede des Reichskanzlers von Bülow am 9. Dezember 1905" (AERRD, B. II/1, S. 131).

циал-демократическую партию, в случае если она перешагнет пределы дозволенного.

В начале 1906 года сложились условия для перехода германского рабочего движения на умеренные позиции и особенно для решающего столкновения между верхушкой профсоюзов и партийным руководством. В результате этого первые фактически навязали свою волю второму. В январе еще продолжались массовые демонстрации в поддержку избирательной реформы и русской революции, на которую уже накатывалась волна репрессий. 25 января фон Бюлов вновь подтвердил решимость консервативных сил противостоять социал-демократии, 14 февраля Бебель заявил в рейхстаге, что немецкий рабочий класс, как и рабочий класс всех стран, воодушевлен русской революцией¹. Но сразу же после подавления Московского восстания совсем иначе прозвучал комментарий центрального органа профсоюзов. В этом комментарии из опыта русской революции извлекался вполне определенный «урок». Он состоял в том, что, следуя русскому примеру, можно прийти лишь к поражению. Только «хорошая организация», писала 6 декабря «Корреспонденцблатт», может привести стачечное движение к успеху. «Ничто не учит нас этому столь убедительно, как обрушившиеся на русский пролетариат кровавые репрессии, которые уничтожили его лучшие силы и насильственно прервали первые шаги русских рабочих по пути к организации».

Радикализация партии, с одной стороны, и открытые угрозы консервативного лагеря — с другой, побудили профсоюзных руководителей предпринять решительные действия по отношению к самой партии. Они не имели ни малейшего намерения рисковать будущим профсоюзной организации в столкновении с аппаратом власти германских правящих классов. Поэтому нажим профсоюзов на партию носил решительный характер, и партия уступила. 16 февраля состоялась конфиденциальная встреча представителей исполнительных органов партии и профсоюзов, на которой партия была вынуждена: 1) взять на себя обязательство препятствовать проведению массовой политической забастовки; 2) взять на себя ответственность за руководство массовой политической забастовкой в случае, если она все же начнется. Профсоюзы в этом случае обещали обеспечить свою поддержку, но в качестве вспомогательной силы.

Несколько дней спустя, с 19 по 23 февраля, состоялось совещание профсоюзных руководителей, на котором были обсуждены отношения между партией и профсоюзами. Участники совещания открыто проявили враждебное отношение к

¹ "Aus der Reichstagsrede des Abgeordneten Bebel am 14 Februar 1906" (AERRD, B. II/2, S. 281).

каким бы то ни было притязаниям партии на руководство профсоюзами и отказались признать русский опыт за образец для немецкого рабочего движения. Влиятельный профсоюзный руководитель Мюллер во всеуслышание заявил, что большая часть партии опьянена русской революцией, но профсоюзы твердо намерены руководствоваться не духом «романтизма», а «здравым реализмом». Вслед за этим он яростно ополчился на Розу Люксембург, Каутского и Меринга¹. Легин со своей стороны подтвердил, что профсоюзы считают обязательной для себя не резолюцию Йенского съезда партии, а резолюцию съезда профсоюзов в Кёльне². Брингман подчеркнул, что ведущей фигурой радикального крыла, бесспорно, является Роза Люксембург, теории которой представляют собой возрождение революционного духа «Манифеста Коммунистической партии» — духа, который «никим образом не согласуется с условиями, существующими в Германии»³. Ф. Эльм выразил накопившееся у профсоюзных деятелей недовольство, заявив, что профсоюзам пора перейти в контратаку на партию⁴. Другой профсоюзный деятель, Рексхойфер, считал необходимым поскорее устранить опасность того, что под влиянием русской революции массы сочтут крайне важной выработку новой линии⁵. Бёмельбург призвал профсоюзы защищать условия своего существования от угроз реакционного характера, явившихся результатом безответственных выступлений представителей радикального крыла социал-демократической партии⁶. Против подобных позиций раздавались лишь немногочисленные голоса.

Центральный партийный орган газета «Форвертс» ответила на выступления на профсоюзном совещании твердым напоминанием о принципах, но в действительности она делала это с оборонительных позиций и, главное, не имея ни малейшей возможности оказать влияние на сами профсоюзы. «Форвертс» заявляла, что никто не собирается искусственно фабриковать массовые политические забастовки; обличала откровенное стремление профсоюзов не подчиняться «по принципиально важному политическому вопросу» приоритету политической партии — выразительницы совокупных требований рабочего движения; защищала Розу Люксембург от упреков в том, что ее выступления носят антипрофсоюзный характер; наконец, обвиняла профсоюзы в том, что, притязая

¹ "Partei und Gewerkschaften. Wörtlichabdruck des Punktes: "Partei und Gewerkschaften" aus dem Protokoll der Konferenz der Gewerkschaftsvorstände vom 19—23. Februar 1906". Berlin, s. d., S. 1—2.

² Ibid., S. 6.

³ Ibid., S. 14.

⁴ Ibid., S. 21—22.

⁵ Ibid., S. 24.

⁶ Ibid., S. 41.

на роль главного выразителя потребностей борьбы пролетариата, они фактически не оставляют иного выбора, кроме как между анархизмом и ультраревизионизмом¹. Однако истинное положение дел было таково, что перед нажимом профсоюзов партия в конце концов отступила.

Очередной съезд партии, состоявшийся в сентябре 1906 года в Мангейме, явился как бы нотариальным актом, зафиксировавшим полную победу профсоюзов. И нотариусом, скрепившим этот акт, был не кто иной, как вождь партии Август Бебель. Массовая забастовка не была отвергнута: вопрос о ней был сдан в архив. В центр своего доклада о массовой политической забастовке Бебель поставил различия между Россией и Германией, а следовательно, непригодность русских методов для широких масс Германии. Разрыв Бебеля с радикальным крылом был очевидным. Необходимо целиком отвергнуть, заявил он, позицию тех, кто выступает за проведение массовых забастовок даже в тех случаях, когда нет уверенности в победе. Без согласия профсоюзов нечего и думать об этой форме борьбы. А вот что он говорил о России и Германии: «Не следует упускать из виду, что положение в России нельзя сравнивать с положением, существующим в Германии. Россия — страна, экономически и политически очень отсталая. Россия управляется деспотически, население не обладает даже самыми элементарными политическими правами... Борьба в России является революционной борьбой, цель которой — завоевание самых элементарных основ современной государственной жизни... В России борьба ведется за новое государственное устройство. У нас уже много лет назад завоеваны те условия, за которые в России еще приходится вести борьбу... Поэтому обстановку в Германии нельзя сравнивать с той, которая существует в России. Хотя мы должны бороться с существующим строем, никто не возьмется утверждать, что в нашей борьбе мы должны во всех случаях обращаться к методам, сходным с методами наших русских товарищей... У нас не ставится вопрос об изменении всей политической надстройки буржуазного общества»².

В общем, Бебель энергично поставил проблему различий между Востоком и Западом, к которому, несмотря на ограниченность своих порядков с точки зрения буржуазно-демократического развития, принадлежала Германия. Что же касается специфического вопроса о массовой забастовке, то Бебель не отрекся от своих взглядов на Йенском съезде, но так ограничил проблему, что фактически его позиции совпадали теперь с позициями профсоюзов. В самом деле, на

¹ "Zum Protokoll der Gewerkschaftskonferenz". — In: "Vorwärts". 14—15, 17—19. VIII. 1906.

² "Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Spd. abgehalten zu Mannheim vom 23 bis 29 September 1906". Berlin, 1906, S. 231—232.

съезде он снискал полное одобрение Легина, Бёмельбурга и лидеров ревизионистского крыла. Давид на этот раз обрушился на Каутского, который в январе 1906 года утверждал, что русский опыт должен побудить немецкую социал-демократию к пересмотру собственной тактики. Давид еще раз объявил, что Россия ничему не может научить, что ничего не нужно пересматривать и что «революционный ревизионизм» следует отвергнуть¹.

Съезд в конце концов принял предложенную Бебелем резолюцию, которая означала самую настоящую капитуляцию партии перед профсоюзами, хотя формально речь шла лишь о компромиссе между ними. В тексте ее говорилось, что между партией и профсоюзами не существует никаких разногласий по вопросу о массовой забастовке, что в том предположительном случае, если дело дойдет до такой забастовки, партия и профсоюзы будут действовать по совместному согласию и, наконец, что партия и профсоюзы равноправны, но профсоюзы при этом должны стремиться действовать в соответствии с «социал-демократическим духом». Эта резолюция была принята 386 голосами против пяти. Среди голосов, поданных «за», были голоса профсоюзных лидеров, а также Давида, Каутского, Розы Люксембург, Карла Либкнехта². Подлинный смысл голосования не ускользнул от социал-демократов умеренной ориентации, которые расценили его как поражение радикального крыла. Орган баварских социал-демократов газета «Мюнхнер пост» прекрасно поняла значение этого факта, когда писала, что отныне можно считать подчеркнутыми как решения Дрезденского съезда (1903), ознаменовавшего поражение ревизионизма, так и расхождения между партией и профсоюзами. Во всяком случае, не могло быть никаких сомнений, что «решения по вопросу о массовой забастовке, принятые в Мангейме», явились результатом «растущего влияния профсоюзов на партию». Поражение понесли идеологи вроде Каутского и Розы Люксембург, причем именно в связи с поражением Розы Люксембург русский пример был исключен из стратегии германской социал-демократии³.

4. Каутский: Германия между Россией и Соединенными Штатами

Хорошо известно, что в германской социал-демократии на протяжении всего периода с конца XIX века до первой мировой войны Карл Каутский играл роль официального пар-

¹ Ibid., S. 260.

² Ibid., S. 305—306.

³ "M. A. Der Parteitag von Mannheim". — In: "Münchener Post", 3. X. 1906.

тийного идеолога. Это была вполне реальная роль, хотя ее пытались оспаривать ревизионисты и лишь с критическими оговорками принимало радикальное крыло (вплоть до момента разрыва между этим крылом и Каутским примерно в 1910 году в связи с ожесточенной полемикой по вопросу о формах революционного процесса). Одним из решающих компонентов, составлявших авторитет Каутского, была его тесная дружба с общепризнанным вождем партии Бебелем. Сам Бебель, однако, на Мангеймском съезде отмежевался от Каутского в вопросе о массовой политической забастовке, сочтя его позиции чересчур радикальными.

Период 1904—1906 годов чрезвычайно важен в политической эволюции Каутского. Именно в эти годы влиятельный теоретик совершил поворот влево, что было обусловлено как вспышкой массовых выступлений в Германии, так и воздействием русской революции. Каутский в это время пришел к мысли о необходимости пересмотра тактики социал-демократов и сочетании парламентских и внепарламентских форм борьбы в соответствии с опытом, приобретенным русскими революционерами.

На Каутского, таким образом, оказала глубокое влияние русская революция. Он дал анализ ее движущих сил, заслуживший безоговорочно одобрительную оценку Ленина. В значительной своей части этот анализ шел параллельно и в тесной связи с анализом отношения между Германией и Россией. Каутский пытался ответить на вопрос, действительно ли рабочее движение России проложило путь, по которому могли и должны были пойти немецкие рабочие, взяв на вооружение опыт своих русских собратьев. В центре его размышлений был следующий основной вопрос. Ведь среди западных держав Германия стояла ближе всего к России по авторитарному характеру политического строя, отсутствию либерально-демократической буржуазии, способной вести борьбу с милитаризмом, бюрократизмом, юнкерством, по наличию рабочего движения, выступающего в роли единственной силы, готовой последовательно бороться за демократию. Но Германия в отличие от России имела, как неоднократно отмечал Каутский, «самое сильное правительство в мире», крепчайший военный аппарат, высокоорганизованный капитализм. Немецкий пролетариат поэтому — в некотором смысле наравне с русским — имел против себя могущественный блок сил, враждебный как рабочему классу, так и политике реформ. Для успешной борьбы с этим блоком требовались мощные выступления масс. Однако в Германии в силу сложившихся здесь условий столкновение с правящими классами в форме массовых политических выступлений неизбежно совпадало с революционным процессом, в случае поражения революции рабочее движение оказалось бы обреченным на

полное и непоправимое поражение. И это продолжалось бы целую историческую фазу.

В период восходящего развития русской революции Каутский полагал, что победа пролетариата в царской империи окажет большое воздействие на международную обстановку и в первую очередь на Германию: в результате будет ослаблен консервативный лагерь и создадутся условия для решающих боев за установление социалистической власти в Западной Европе. После победы масс в России массовая политическая забастовка в Германии станет решающим средством разрешения классовых конфликтов. Однако успех реакции в России в конечном счете привел Каутского к выводу, что если методы борьбы русских масс оказались непригодными для сокрушения царистского государства, уже подорванного тяжелым военным поражением и обладавшего несравненно меньшими ресурсами, чем германское государство, то эти методы не могли бы принести положительного результата и в Германии. Так завершился этап радикализации Каутского и были заложены предпосылки его разрыва. Каутский после этого окончательно перешел к теоретизированию в вопросе о «различиях между Востоком и Западом», примкнув в этом пункте к типичным позициям ревизионистского крыла партии; он утверждал, что методом германской социал-демократии может быть только метод парламентской борьбы и постепенного продвижения — главным образом метод завоевания большинства в рейхстаге.

Особо острый интерес Каутского к России возник еще до того, как в этой стране вспыхнула революция. В предисловии к русскому изданию своей книги об Эрфуртской программе, вышедшей на идиш в России, Каутский отмечал два крупнейших фактора, в силу которых «нынешняя политическая обстановка в мире выглядит совершенно иной, чем десять лет назад»: развитие и экспансию американского капитала в международных масштабах и развитие пролетариата в России. Особенность ситуации в царской империи, по его словам, состояла в том, что пролетариат для того, чтобы организоваться, нуждается в «политической свободе», но свободы этой не может добиться иначе, как путем уничтожения царизма. Борьба с самодержавием в России была задачей не одного только пролетариата, но добиться успеха антицаристские силы могли лишь благодаря «классовой борьбе пролетариата» — единственной силе, над которой никто и ничто не могло одержать окончательной победы¹. Причины, по которым русский пролетариат призван сыграть роль авангарда в

¹ K. Kautsky. Eine Vorrede. — In: "Leipziger Volkszeitung", 1, 3. III. 1903.

революционном движении, были вскрыты Каутским в июле 1904 года. Верно, писал он тогда, что Россия — единственная страна, где можно предположить наличие буржуазии с революционными задачами. Русская буржуазия вместе с тем стоит перед лицом исторического противоречия, вытекающего из ее места в обществе и политической системе. Столкновения с царским самодержавием дают ей стимул к «революционным задачам», но всякое ее революционное стремление сводится на нет тем фактом, что ее почти парализует страх перед пролетариатом. Из-за этого страха она уже усвоила «реакционный образ мыслей буржуазии Запада»¹. Отсюда — убеждение, что грядущая русская революция будет иметь са-мобытные черты, не имеющие аналогии ни в одной из революционных эпох прошлого.

Незадолго до революционного взрыва в России Каутский вел весьма примечательную полемику с Келлес-Краузом (писавшим под псевдонимом Лужня). Этот последний критиковал Каутского за то, что в книге «Социальная революция» тот не упомянул о вооруженной борьбе как революционным средством и ограничился лишь анализом массовой забастовки. Доводы, которые Каутский приводит в ответ, позволяют проследить основные нити связей, устанавливаемых между Россией и Германией теоретиком немецкой социал-демократии в его анализе форм и рамок революционного процесса. Да, говорит он, немецкий пролетариат — самый организованный в мире, но и немецкое правительство — «самое сильное в мире». Поэтому не следует считать, что эра грядущих пролетарских революций, которая, как полагал Каутский, уже близка, начнется с выступлений рабочего класса Германии. Куда вероятнее, считал он, что она начнется с выступлений русского пролетариата, который уступает по уровню развития германскому, но, с одной стороны, самими условиями жесточайшей эксплуатации и отсутствия какого бы то ни было права на политическую самостоятельность побуждается выступить в роли наиболее революционной силы общества, а с другой — имеет перед собой хилую буржуазию и разлагающееся самодержавие. Поэтому и русско-японская война, по всей вероятности, «ускорит победу революции». Целью русской революции, если учесть экономическую и социальную незрелость страны, будет, конечно, не построение социалистического строя, а утверждение демократии, главным фактором жизнеспособности и гарантией которой будет не буржуазия, а пролетариат. В свою очередь победоносная революция в России явится мощным стимулом для выступлений немецких рабочих и ослабит международный фронт консерватив-

¹ K. Kautsky. Wie weit ist das kommunistische Manifest veraltet? — In: "Leipziger Volkszeitung", 27. VII. 1904.

ных сил. Конечным итогом этого процесса может стать «политическое господство пролетариата» в Западной Европе. Тогда наступит вторая фаза революционного процесса: пришедший к власти на Западе пролетариат поможет русскому пролетариату модернизировать экономику и создать материальные условия для построения социализма в демократической России. Общество «в целом», писал Каутский, не «может искусственно перепрыгнуть через отдельные фазы развития», но некоторые его части могут совершить такой прыжок при помощи более развитых зон¹.

Взрыв русской революции, колоссальная забастовка в Руре, массовые выступления в поддержку избирательной реформы — все это не только убедило Каутского в том, что сформулированный им вывод верен, но и заставило его считать, что пришло время предложить рабочему движению цельную стратегию. По поводу позиции Кёльнского съезда профсоюзов относительно политической забастовки он открыто высказал критические замечания, более того, обвинил профсоюзы в непонимании характера начавшейся исторической эпохи. Комментируя результаты профсоюзного съезда, он писал:

«По странной иронии судьбы съезд провозгласил потребность профсоюзов в покое как раз в такой год, который по революционности превосходит любой другой на памяти нынешнего поколения»².

Каутский вполне разделял озабоченность профлидеров по поводу политической забастовки и, как и они, был убежден, что в Германии ее проведение будет иметь революционный смысл. Ошибка профсоюзов, на его взгляд, состояла в непонимании того, что «мы ожидаем возникновения революционных ситуаций и в Германии»³. Каутский имел ожесточенную полемическую стычку и с редакцией «Форвертс», выступившей с позиций, враждебных по отношению к массовой политической забастовке. С учетом уровня конфликтности, которого достигла Германия, утверждал он, массовая политическая забастовка разразится и без поддержки профсоюзов.

Комментируя вопросы, стоявшие на партийном съезде, которому суждено было завершиться принятием решения о пропаганде массовой политической забастовки, Каутский в предвидении ее проведения вновь вернулся к вопросу о значении русской революции. Ее главная черта была теперь ясна: «промышленный пролетариат является самой мощной движущей силой» революции. Каутский подчеркивал, помимо

¹ K. Kautsky. *Allerband Revolutionäres*. — In: "Neue Zeit", XXII, 1903—1904, B. I, S. 623—627.

² K. Kautsky. *Der Kongress von Köln*. — In: "Neue Zeit", XXIII, 1904—1905, B. II, S. 314.

³ Ibid., S. 315.

того, именно интернациональный характер начавшегося в России процесса. Русская революция, писал он, «несмотря на свой буржуазный характер», представляет собой «начало той эры пролетарских революций, навстречу которой мы идем»¹. Если на Востоке русский пролетариат не может преодолеть буржуазного уровня своих революционных перспектив из-за отсталости страны, он все же мощно способствует возникновению на Западе «революционных ситуаций всех типов»², ситуаций, которые в наиболее передовых странах открывают социалистические горизонты. Таковы были основные моменты тогдашних рассуждений Каутского.

Анализ русской революции и отношений между Россией и Германией обогатился у Каутского важным элементом в ходе спора с Вернером Зомбартом. Главное утверждение Зомбарта гласило, что Соединенные Штаты отныне являют всему миру образец капиталистического развития и что передовые страны Европы в конечном счете пойдут по указанному ими пути. Каутский ответил, что было бы заблуждением считать, будто в мире существуют образцы, годные для всех. «Парадокс» германской ситуации, добавил он, заключается в том, что Германия находится в известном смысле на полпути между Соединенными Штатами и Россией. «Экономика Германии ближе к американской, политика же германская ближе к русской», так что «обе эти страны являют нам наше будущее». В этом смысле задача немецкого пролетариата носила специфический характер: вести борьбу с аппаратом власти, не оставляющим места для демократии (здесь имелась, хотя и относительная, аналогия с российской ситуацией) и в то же время опирающимся на самую развитую экономику Европы (здесь была аналогия с американской ситуацией)³.

Таким образом, если специфика германской ситуации состояла в ее одновременно «русском» и «американском» характере, то специфику ситуации в России следовало видеть в переплетении двух противоречивых элементов: первостепенной роли пролетариата в ходе революционной борьбы и буржуазной природы революции по социально-экономическим причинам (бремя отсталости). Передовым политическим условиям соответствовали отсталые социально-экономические условия. В результате русская революция должна была приобрести характер долговременной, «перманентной революции». В России вряд ли можно было предвидеть создание подлинного буржуазно-демократического строя. Ведущей по-

¹ K. Kautsky. Zum Parteitag. — In: "Neue Zeit", XXIII, 1904—1905, B. II, S. 756.

² Ibid.

³ K. Kautsky. Der amerikanischer Arbeiter. — In: "Neue Zeit", XXIV, 1905—1906, B. I, S. 615.

литической силой русской демократии в борьбе сначала за капиталистическую модернизацию, а затем за социализм призван был стать пролетариат. В свою очередь русская революция приводила в движение международный революционный процесс: «Перманентная революция, следовательно, именно то, что нужно пролетариату в России»¹.

Разумеется, с учетом структуры российской экономики гигантское значение в России приобретал аграрный вопрос, а стало быть, и проблема отношений между пролетариатом и крестьянством. Каутский подчеркивал, что в России в отличие от развитых стран Европы крестьянство играло не консервативную, а революционную роль, хотя и в буржуазно-демократическом смысле. Дворянство и буржуазия в России единым строем выступали против крестьянских требований, в защиту крупной земельной собственности², поэтому только рабочие могли быть союзниками крестьян³.

В анализе Каутского сохранялся нечеткий подход к экономическому содержанию союза пролетариата и крестьянства в России. Каутский понимал, что рабочие нуждаются в поддержке крестьянства для завоевания демократии, но в первое время считал, что рабочие не заинтересованы в создании условий для возникновения мелкой крестьянской собственности, которая станет в будущем препятствием на пути формирования социалистического сельского хозяйства. Он советовал поэтому русскому пролетариату соблюдать известный «нейтралитет» в борьбе крестьянства с крупными собственниками⁴. Вскоре, однако, эти колебания были изжиты, и из-под пера Каутского вышло его самое цельное исследование о русской революции, получившее полное одобрение Ленина.

Это исследование под названием «Движущие силы и перспективы русской революции» увидело свет в ноябре 1906 года. Оно содержало существенно новый элемент, связанный именно с углублением анализа отношений между пролетариатом и крестьянством. Аграрный вопрос в России, утверждал Каутский, может быть решен только с помощью революционных мер, ломкой снизу отношений собственности. Путь законности и постепенных улучшений, предлагавшийся либеральными течениями, наиболее чуткими к запросам крестьянства, и предполагавший переход земли к крестьянам за выкуп, не может быть принят. Подобный путь привел бы к финансовому истощению крестьянства, которое как раз всего

¹ K. Kautsky. Die Folgen des japanischen Sieges und die Sozialdemokratie. — In: "Neue Zeit", XXIII, 1904—1905, B. II, S. 462.

² K. Kautsky. Die Agrarfrage in Russland. — In: "Neue Zeit", XXIV, 1905—1906, B. I, S. 414.

³ K. Kautsky. Die Bauern und die Revolution in Russland. — In: "Neue Zeit", XXIII, 1904—1905, B. I, S. 677.

⁴ Ibid., S. 675.

острее нуждалось именно в капиталах для обновления, модернизации сельского хозяйства. Лишь промышленные рабочие в России готовы были последовательно поддерживать выгодную для крестьян аграрную программу. Но для осуществления такой программы хозяйственной модернизации необходимо было сломать всю структуру российского государства и российского общества: «Без упразднения постоянной армии, без прекращения перевооружения флота, без конфискации всего достояния царской семьи и церкви, без сокрушения государства и национализации крупных монополий в той мере, в какой железные дороги, нефтяные промыслы, шахты, металлургические заводы и т. д. будут еще находиться в частных руках, невозможно будет найти громадные суммы, необходимые для того, чтобы вырвать сельское хозяйство России из плена его ужасающей отсталости»¹.

Характерные черты русской революции, таким образом, заключались, по мысли Каутского, в следующем: поскольку буржуазия не является одной из «движущих сил» революции, эта последняя не может быть охарактеризована как «буржуазная» с политической точки зрения. Но поскольку пролетариат в связи с общей отсталостью страны слишком слаб в экономическом отношении, целью революции не может быть установление диктатуры пролетариата. Отсюда и задача рабочих выступать в роли политического гегемона революционной демократии, опирающейся прежде всего на союз с крестьянством, несоциалистические интересы которого необходимо соблюдать. Социализм может претвориться в действительность лишь в результате усилий по модернизации экономики, которые станут возможными благодаря установлению революционной демократии. Тогда-то пролетариату нужно быть готовым к конфликту интересов с крестьянством, что типично для развитых стран². «По-видимому, — заключал он, — невозможно, чтобы нынешняя революция в России уже привела к установлению социалистического способа производства, даже в том случае, если она временно приведет социал-демократию к власти»³.

Как мы уже говорили, влияние российских методов борьбы на какое-то время побудило Каутского открыто поставить вопрос о необходимости пересмотра тактики, освященной решениями съездов германской социал-демократии. В особенности подтолкнули его к этому «уроки Москвы», то есть вооруженного восстания московского пролетариата в декабре 1905 года. 28 января 1906 года Каутский написал для «Форвертс» статью «Перспективы русской революции», в которой

¹ "Triebkräfte und Aussichten der russischen Revolution". — In: Ivi., XXV, 1906—1907, B. I, S. 324—327.

² Ibid., S. 329—331.

³ Ibid., S. 333.

указывал на необходимость «пересмотреть высказанное Энгельсом в предисловии к Марксовой работе «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» мнение, что эпоха баррикадных боев окончательно ушла в прошлое». В самом деле, в Москве массовые политические выступления сочетались со стачкой, «подрывающей дисциплину в войсках» и создававшей перспективы, благоприятные для развития революции. Те же положения были повторены Каутским в октябре 1906 года в предисловии ко второму изданию «Социальной революции»; совсем не исключено, утверждал он, что событиям, происшедшим в Москве, суждено повториться в Западной Европе¹.

5. Роза Люксембург: «уроки» России

Важная роль в дебатах о массовой забастовке и русской революции принадлежит голландке Генриетте Роланд-Гольст, автору уже упоминавшейся работы «Всеобщая забастовка и социал-демократия», увидевшей свет в июне 1905 года. Для массовой политической забастовки, направленной на достижение политических целей с помощью «мобилизации экономической мощи пролетариата», указывала в своей работе Роланд-Гольст, существуют две следующие основные предпосылки: 1) соглашение между партией и профсоюзами, без которого забастовка может обернуться «крайне опасным экспериментом»; 2) понимание того, что забастовка не может быть плодом надуманного решения, поскольку по самой сути своей она является результатом «взрыва долго накапливавшихся негодования и революционной энергии». Относительно же условий возникновения такой забастовки автор отмечала, что всеобщая забастовка может разразиться скорее в такой стране, как Россия, где рабочие не располагают политическими правами, и в частности правом на создание собственных объединений, чем в странах типа Германии. Здесь всеобщая забастовка, писала Роланд-Гольст в согласии с Каутским, может служить «лишь первым шагом к решающей борьбе»².

Размышляя об «уроках» русской революции, голландская социалистка в ходе развернувшейся в 1905 году дискуссии о применимости русского опыта к Западной Европе, заняла позиции, почти совпадавшие с позицией Розы Люксембург. На страницах «Нойе цайт» и «Форвертс» она разъясняла актуальность проведения массовой политической забастовки на Западе и, более того, указывала на наличие там наилучших условий для этого. Она подчеркивала, что вопрос о револю-

¹ K. Kautsky. Die soziale Revolution. Berlin, 1907, S. 5—6.

² H. Roland-Holst. Generalstreik und Sozialdemokratie. Dresden, 1905.

ции поставлен на повестку дня: «Русская революция происходит в такую эпоху, когда во всех главных странах борьба социал-демократии приблизилась к тому, чтобы превратиться из борьбы за то или иное право в борьбу за государственную власть»¹.

В предисловии ко второму изданию ее книги «уроки» русской революции рассматривались с точки зрения их всемирно-исторического значения для борьбы пролетариата. Массовые забастовки, писала она, можно сравнить с последовательно сменяющимися одна другую волнами осаждающих, идущих на приступ крепости консерватизма. Сама природа массовой забастовки такова, что в ней неразрывно сочетаются политический и экономический аспекты. Подобного рода массовое движение, указывала Роланд-Гольст (и здесь мы касаемся решающего пункта ее анализа), имеет своим результатом ослабление и революционизирование военно-карательной машины путем размывания скрепляющей ее дисциплины.

В конечном счете автор приходила к заключению, что политическая забастовка русского типа глубоко изменила саму перспективу применения этого средства на Западе по сравнению с тем, что раньше считалось возможным достичь с ее помощью. Россия, по сути дела, доказала, что массовая политическая забастовка представляет собой «самое острое оружие борьбы», каким располагает западный пролетариат для противодействия «в решающие часы государственному аппарату власти». В своем оптимизме Роланд-Гольст доходила до утверждения, что именно на Западе массовая забастовка способна дать максимальный эффект, ибо в развитых странах Запада армия, с массами призванных в ее ряды социал-демократически настроенных трудящихся, еще более, чем в России, может быть «революционизирована» с помощью «народного революционного движения»².

Вышедшая в июне книга Роланд-Гольст получила горячее одобрение Розы Люксембург, которая, однако, высказала весьма примечательное критическое замечание: на ее взгляд, в очерке был «слишком сильный упор на момент организации и дисциплины и недостаточно сильный — на исторически обусловленный процесс усиления классовых противоречий», а также чрезмерно подчеркивалось использование массовой политической стачки в оборонительных целях³. Эти критические замечания очень характерны для всей поста-

¹ H. Roland-Holst. Proletarisches Bewusstsein und Revolution. — In: «Neue Zeit», XXIV, 1905—1906, B. I, S. 215.

² H. Roland-Holst. Der politische Massenstreik in der russischen Revolution. — In: «Neue Zeit», B. II, S. 214, 221.

³ H. Roland-Holst. Rosa Luxemburg: ihr Leben und Werke. Zürich, 1937, S. 219.

новки Розой Люксембург вопросов о массовой забастовке и об «уроках» русской революции. Можно утверждать, что весь анализ Розы Люксембург целиком был подчинен именно раскрытию того смысла, который «усиление классовых противоречий» получает в массовой борьбе — борьбе, невиданный пример которой явила русская революция.

В центр своей теоретической разработки в 1905—1906 годах Роза Люксембург поставила узловые вопросы соотношения между массовой борьбой и ролью организации, между условиями в России и в Германии. Стержневой ее тезис может быть схематически сформулирован следующим образом. Массовая забастовка русского типа лишь наиболее острое проявление метода борьбы, который имеет универсальное значение в силу противоречий между трудом и капиталом в революционную эпоху, то есть в эпоху, когда революция — при всех ее специфических национальных различиях и общих моментах — становится интернациональным процессом. Целью массовой забастовки русского типа является не борьба за демократию, а борьба за социализм. Борьба за демократию и в России служит не целью, а средством. Стимул к революционному действию есть плод социальных противоречий, который, следовательно, рождается на основе стихийности, охватывающей своим влиянием всех эксплуатируемых, как организованных, так и неорганизованных. Роль социал-демократической партии состоит в том, чтобы сознательно направлять этот объективный процесс, который нельзя ни искусственно вызвать к жизни, ни остановить. Коренная особенность русской революции заключается в том, что перед ней стоят промежуточные цели буржуазно-демократического типа, а ее ведущей силой является социалистический пролетариат, национальная политическая позиция которого связана с исходом пролетарских битв в развитых странах в международном плане. Отныне целью этих битв может быть только построение социализма. В подобной перспективе массовая забастовка становится уже не оборонительным оружием, а наступательным, ведущим к столкновению с капиталистическим государством.

Восток выступает учителем революции по отношению к Западу. Историческая миссия Запада в эпоху, открытую русской революцией, состоит в том, чтобы воссоединиться с Востоком, замкнув революционный круг. С самого начала революции Люксембург подчеркивает следующее обстоятельство: «Исходная точка грядущей революционной волны переместилась с Запада на Восток». Однако и Германия с началом грандиозной стачки в Руре вступила в полосу брожения, так что «капиталистический мир, а стало быть, и международная классовая борьба, похоже, окончательно вышли из фазы застоя, из затянувшегося периода парламентских пере-

бранок». Вновь выходят на авансцену «активные основные революционные силы из недр современного общества»¹. «Восстание российского пролетариата» является поэтому «новым феноменом», «усвоение» которого международная социал-демократия должна поставить себе задачей². Главное, что Люксембург сразу же хочет донести до понимания немецких социал-демократов, так это то, что действия масс в России представляют собой не «восточный бунт», а «современную революцию»³. Именно тот факт, что русская революция имеет характер современной революции, дает основание полностью и категорически отклонить все доводы, которые так или иначе исходят из различий между российскими условиями и условиями в развитых странах (именно эти доводы, как мы видели, были главными в арсенале профсоюзных лидеров и ревизионистов). «Основной вопрос, — писала Люксембург 1 мая 1905 года, — заключается как раз в следующем: нужно ясно и глубоко осознать, что революция, происходящая ныне в царской империи, будет мощным источником *ускорения* интернациональной классовой борьбы, которое весьма быстро поставит нас также и в странах «старой» Европы перед революционными ситуациями и новыми тактическими задачами»⁴.

По мере того как революция в России разрасталась, анализ Розы Люксембург становился более продуманным, емким. В России 1905 года, по ее мысли, главным образом благодаря русским рабочим происходило возрождение изначального, революционного духа марксизма. Самым ходом своего развития русская революция «буквально» возвращала к жизни старую, столь пренебрежительно отброшенную «схему» марксизма, то есть Марксову политику времен «Манифеста Коммунистической партии» и мартовской революции 1848 года⁵. В силу этого русская революция, по мнению Люксембург, обретала значение теоретического возрождения марксизма и, следовательно, требовала от западного рабочего движения пересмотра собственной стратегии. Отсюда неизбежный вывод (ему суждено было вызвать самую ожесточенную реакцию тех, кто в рядах социал-демократической партии отвергал «уроки» России) о том, что и в Германии, если понадобится, нужно быть готовыми противопоставить правящим классам тот же «революционный идеализм», образец которого демонстрировали русские рабочие⁶.

¹ R. Luxemburg. Die Revolution in Russland. — In: "Gesammelte Werke" (в дальнейшем — In: GW). Berlin, 1974, B. 1/2, S. 477.

² R. Luxemburg. Nach dem ersten Akt. — In: GW, S. 523.

³ R. Luxemburg. Der Bittgang des Proletariats. — In: GW, S. 523.

⁴ R. Luxemburg. Im Feuerscheine der Revolution. — In: GW, S. 539—540.

⁵ См.: R. Luxemburg. Nach dem Bankrott des Absolutismus (RRSDP, II/4, S. 818).

⁶ См.: R. Luxemburg. Agrarier und Revolution (RRSDP, II/4, S. 928).

На одной из конференций в декабре 1905 года Люксембург утверждала, что русская революция «доказала», что массовая забастовка «стала исторически необходимой рабочему классу», а следовательно, момент ее применения неизбежно наступит и в Германии¹. Подводя итоги 1905 году, она писала, что это был год великой борьбы и политических успехов повсюду в Европе: прежде всего в России, но также и в Италии, где вспыхнула крупнейшая забастовка железнодорожников, во Франции, где происходил процесс объединения социалистов, в Англии, где усилилось влияние социалистов на профсоюзы и рабочее движение обрело новую политическую самостоятельность, в Австро-Венгрии, где развернулась борьба за всеобщее избирательное право. «Историю человечества всколыхнули родовые схватки, намечаются контуры новых общественных порядков: рождается новое». В этой обстановке интернациональная задача германской социал-демократии состояла в том, чтобы выполнить «собственный всемирно-исторический долг в качестве авангарда»².

В своем анализе русской революции 1905 года и ее международного значения Роза Люксембург предприняла усилия разрешить главный теоретический вопрос, который можно определить так: каким образом методы борьбы пролетариата столь отсталой страны, как Россия, могут обрести общемировую значимость и применимость даже по отношению к западному пролетариату? Чтобы ответить на этот вопрос, объясняет Люксембург, необходимо понять природу русской революции. Свое мнение по этому поводу она изложила в основном в статье, опубликованной в «Нойе цайт» через несколько дней после «кровавого воскресенья». Россия, говорится в этой статье, самая отсталая в Европе страна с политической точки зрения. В ней нет современной буржуазии, способной повести борьбу с царизмом и удерживать под своей гегемонией пролетариат. Отсутствует в ней и та мелкая буржуазия, которая «во всех минувших революциях нового времени играла главную руководящую роль». Российская буржуазия цепко держится за «реакционный консерватизм», она не является либеральной. Либерализм служит знаменем дворянско-помещичьему классу, страдающему от государственности и стремящемуся лишь к свободной торговле.

Вследствие этого единственным подлинно революционным классом является промышленный пролетариат, а единственной революционной идеологией — социал-демократическая: «вопреки всем ходячим мнениям, нынешняя русская револю-

¹ *R. Luxemburg*. Aus der Frauenbewegung. Der politische Massenstreik. — In: "Vorwärts", 8. XII. 1905.

² *R. Luxemburg*. Neues Jahr, neue Kämpfe (без подписи). — In: "Vorwärts", 31. XII. 1905.

ция носит более выраженный пролетарский характер, чем все происходившие до сего дня революции».

Но во имя каких же целей может сражаться этот пролетариат? Здесь-то и коренится присущее России противоречие. С одной стороны, из-за отсталости российского общества цели революции не могут выйти за пределы «создания буржуазно-демократического государственного устройства». С другой же стороны, наличие уже развитого промышленного пролетариата в стране без демократической буржуазии и при наличии революционной мелкой буржуазии ведет к тому, что лишь рабочие могут в политическом плане возглавить борьбу с самодержавием¹. Конечно, нетрудно предвидеть, что политическую власть возьмет в свои руки буржуазия. Но ее власть оказалась бы в таком случае далеко не полной: послереволюционная ситуация «с самого начала» будет отмечена «глубокими разногласиями», обусловленными тем, что буржуазия получила власть не благодаря собственной силе, а благодаря силе пролетариата², который с первых же шагов завоевал в революции «положение руководящего класса»³.

Пролетарский характер революции проистекает, кроме того, не только из факта участия в ней трудящихся масс в качестве ее материальной силы, но и из форм борьбы, присущих пролетариату (массовых выступлений), и двойственности ее целей — борьба ведется не только против политического абсолютизма, но и против экономической эксплуатации. Это, следовательно, одновременно политическая борьба против самодержавия и экономическая антикапиталистическая борьба. Массовая же забастовка выступает как «синтез этих двух моментов»⁴. Политические свободы, республика, гражданские права — за это борются русские рабочие, и это означает свержение самодержавия — являются не целями как таковыми, когда их осуществление приведет к установлению некой буржуазной «нормальности», а способами создания «средств борьбы с буржуазией»⁵.

В конце 1905 года Роза Люксембург еще раз подчеркивала, что Россия «не созрела для построения социалистического государства», однако революционный процесс дал пролетариату сознание «собственной силы и собственных интересов» и поставил на повестку дня глубокое преобразование отношений собственности в деревне. Отсюда вывод: «отныне возможен лишь либерально-демократический строй с прочной

¹ R. Luxemburg. Die Revolution in Russland. — In: GW, B. I 2, S. 479—480.

² Ibid., S. 514.

³ Ibid., S. 515.

⁴ R. Luxemburg. Eine Probe aufs Exempel. — In: GW, B. I 2, S. 530.

⁵ "Rosa Luxemburg über die russische Revolution". — In: "Leipziger Volkszeitung", 29. IX. 1906.

социально-политической базой»¹. Важно отметить, что весь анализ проводился с глубоким убеждением — которое не мог поколебать исход Московского восстания, — что «реакция теперь не может одержать победу». Даже если бы реакция и добилась установления военной диктатуры, утверждала Люксембург в статье от 22 декабря, подобный режим смог бы продержаться лишь очень недолго².

Итак, если русская революция была «буржуазной» с точки зрения своих возможных институциональных перспектив, она была пролетарской по своим средствам: пролетариат в ней боролся самостоятельно и собственными средствами. Классическое же пролетарское средство — массовая забастовка, которая теперь выступала в качестве окончательно доказанной формы революционного процесса, правомерного для всех стран, где рабочие ведут борьбу, имея перед собой перспективу завоевания власти. Не следует, однако, думать, будто для Розы Люксембург революционный процесс совпадал с массовой забастовкой. Подобная забастовка была для нее лишь этапом, столь же необходимым, сколь и определенным, по завершении которого предстояла окончательная, возможно, вооруженная схватка с государственной властью. Массовая забастовка была необходима для того, чтобы решить три чрезвычайно важные задачи: добиться установления самого широкого единства организованных и неорганизованных трудящихся, вызвать политико-экономический кризис в лагере противника, создать условия растущей самоорганизации масс. Партия не может ставить себе задачей отдавать по собственному усмотрению приказы о начале революции, переходе к той или иной ее фазе либо ее окончании. Не может она и провозглашать массовые забастовки или извне устанавливать для них задачи. Задача партии — быть сознательной частью процесса, двигателем которого являются социальные противоречия. «Подлинная революция, массовое движение никогда не бывают и не могут быть искусственным результатом сознательного руководства и заранее спланированной агитации». На «руководство» революцией можно влиять лишь в той мере, в какой удастся разъяснять массам, в чем состоят задачи революционных классов и каково действительное положение в обществе. Можно, разумеется, «ускорить взрыв революции», используя ту или иную конкретную ситуацию, но, конечно, не следует создавать иллюзий, будто можно руководить революцией и тем более начальной фазой ее развития³.

¹ R. Luxemburg. Neues Jahr, neue Kämpfe. — In: "Leipziger Volkszeitung", 31. XII. 1905.

² R. Luxemburg. Vor der Entscheidungsschlacht (без подписи). — In: "Vorwärts", 21. XII. 1905.

³ R. Luxemburg. Die Revolution in Russland. — In: GW, S. 510—511.

Отталкиваясь от этой общей предпосылки, Роза Люксембург решительно атаковала тех, кто полагал, что можно планировать условия больших массовых движений. Всеобщая забастовка, которую она определяет как «первый шаг, естественную начальную форму всякого открытого массового действия и, кроме того, всякой современной уличной революции, в России была не плодом абстрактной пропаганды, а результатом конкретных социальных противоречий. Она вспыхнула в России при отсутствии всех тех условий, которые педантичные теоретики германской социал-демократии указывали в качестве предпосылок массовой забастовки: сильных профсоюзных организаций, свободы объединений, крупных стачечных фондов, широкой классовой организации с влиятельным руководством и крепкой дисциплиной, слабой военизации. Русская революция демонстрировала тем самым, с одной стороны, могущество массовой забастовки, а с другой — ее характер как новой модели для всех, тем более убедительной, что успех был одержан в наименее благоприятных условиях. В силу всего этого «революция, происходящая ныне в царской империи, представляет собой новое явление, по-видимому, гораздо более типичное для грядущих революционных битв европейского пролетариата, чем предыдущие буржуазные революции во Франции и Германии». Эта модель подтверждала также, что массовая забастовка есть лишь «начальная фаза» революции¹. Хотя и было возражение противников массовой забастовки состояло в том, что такая форма борьбы действительно представляла собой «начальную фазу», но только в смысле перехода к использованию армии в карательных целях. Роза Люксембург отвечала на это — и ее доводы стали также доводами Каутского и Роланд-Гольст, — что вопрос об армии может рассматриваться только в связи с последствиями крупных массовых выступлений, их прямым воздействием и на солдатскую массу. «Серьезное массовое действие», считала Роза Люксембург, может быть предпринято лишь «в революционной ситуации — той, что уже привела в состояние брожения всю страну, всю массу народа». Русский пример доказывает, что революционный процесс создает условия и для решения самого вопроса об использовании армии в карательных целях, ибо подлинное революционизирование масс охватывает также солдат и закладывает предпосылки ослабления, а в предельном случае и разложения вооруженных сил².

На последний из великих «уроков», преподанных русской

¹ *R. Luxemburg. Eine Probe aufs Exempel.* — In: GW, S. 530—531.

² См.: *R. Luxemburg. Die Lösung der Frage.* — In: GW, S. 621—622. См. также: «*Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 23 bis 29 September 1906 in Mannheim*». — In: GW, B. II, Berlin, 1972, S. 172.

революцией — способность масс к самоорганизации, — Роза Люксембург опиралась, когда выступала против умеренных позиций профсоюзных вождей, а также против того, что можно было бы назвать их организационным фетишизмом. Подобные взгляды, разумеется, более всего усиливали враждебность профсоюзных лидеров и ревизионистов к польской революционерке. На партийном съезде в 1905 году Люксембург обратилась к сторонникам «фетишистского» преклонения перед организацией масс сверху с призывом «учиться у русской революции». «Массы, — утверждала она, — вступили в революцию, почти не обладая даже зачатками профсоюзной организации, ныне же они шаг за шагом укрепляют свою организацию путем борьбы». Затем она переходила к восхвалению самоорганизации, рождающейся из самого опыта борьбы. «В самом деле, совершенно механистической и антидиалектической является концепция, согласно которой необходимая предпосылка борьбы есть наличие крепких организаций. Между тем, наоборот, организация порождается самой борьбой вместе с сознанием, проистекающим из участия в этой борьбе»¹.

Проследенный нами ход мысли Розы Люксембург получил в 1906 году свое законченное и убедительное выражение в ее книге «Всеобщая забастовка и немецкая социал-демократия» — этом мощном артиллерийском залпе по позициям лидеров германских профсоюзов. Критика Люксембург наиболее ярко проявилась в основном разделе книги, где утверждается необходимость того, «чтобы немецкие рабочие научились рассматривать русскую революцию как свое собственное дело не только в смысле интернациональной классовой солидарности с русским пролетариатом, но прежде всего как главу своей собственной социальной и политической истории»². Исходя из этой точки зрения, Люксембург заявляла, что русская революция и ее методы борьбы, пусть даже «в особых условиях самодержавной России», выражают «общие итоги международного капиталистического развития» и что, следовательно, антицаристская революция порождена не различием Востока и Запада, а, наоборот, выступает «предтечей новой череды пролетарских революций на Западе»³, поскольку происходит в эпоху надвигающегося «обострения классовых противоречий» также и в Западной Европе⁴. Продемонстрировав «впервые в истории классовой борьбы величественное осуществление идеи массовой забастов-

¹ "Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 17 bis 23 September 1905 in Jena". — In: GW, B. I/2, S. 603.

² R. Luxemburg. Massenstreik, Partei und Gewerkschaften. — In: GW, B. II, S. 150.

³ Ibid., S. 149—150.

⁴ Ibid., S. 101.

ки», русская революция открыла «новую эпоху в развитии рабочего движения»¹. Мало того, Люксембург пускала в профсоюзных вождей самую отравленную из стрел: массовые выступления в России доказали, что революционный процесс ломает любые перегородки между организованными и неорганизованными рабочими, вследствие чего необходимо положить конец «недооценке неорганизованных пролетарских масс и их политической зрелости»². Весь этот свой анализ она завершала наконец идеей о том, что огненные на повестку дня в Германии в качестве единственно возможной исторической цели для рабочего движения становится диктатура пролетариата. В Германии, писала она, «нельзя уже говорить о буржуазной революции», поскольку либерализм и буржуазная демократия как явления исчерпали себя. «Поэтому в Германии в период открытой народной политической борьбы единственной исторически необходимой целью, о которой идет речь, отныне является только диктатура пролетариата»³.

В своих выступлениях на Лондонском съезде русской социал-демократической партии в мае 1907 года Роза Люксембург, несмотря на поражение революции в царской империи и поражение германской социал-демократии на январских выборах 1907 года, подтвердила эти взгляды, обобщив их до масштабов «всей Западной Европы». Согласно этим взглядам, коль скоро буржуазия перестала выполнять прогрессивную политическую роль⁴, русская революция представляет собой первый акт «грядущих пролетарских революций» и немецкий пролетариат смотрит на русских как на людей, «расширивших и углубивших перспективы пролетарской тактики»⁵.

6. Парвус: русская революция и рабочая демократия

В обзоре главных аналитических подходов в Германии к русской революции и ее последствиям для Запада нельзя не упомянуть позиции русского эмигранта Александра Гельфанда, более известного под псевдонимом Парвус. Получив германское гражданство и обосновавшись в Мюнхене, он принял активное участие в дискуссии о ревизионизме в конце XIX века и стал одним из самых видных публицистов радикального крыла Германской социал-демократической партии. Одновременно он продолжал активно участвовать и

¹ Ibid., S. 95.

² Ibid., S. 144.

³ Ibid., S. 153.

⁴ См.: "Parteitag der SDAPR 1907 in London".—In: GW, B. II, S. 216.

⁵ Ibid., S. 213.

в идеологической борьбе в рядах русской социал-демократии, а в 1905 году отправился в Россию и принял участие в революции. Парвус выступил в «Искре» с серией важных статей, в которых, разбирая последствия русско-японской войны, уже в 1904 году предсказал историческую неизбежность революции. Примерно в 1905 году он заложил основы той теории «перманентной революции», благодаря которой — в частности, и как вдохновитель Троцкого — он занял видное место в истории марксистской мысли. В германской социал-демократической печати он опубликовал несколько крупных очерков, в которых делал упор на три основных момента: 1) русскую революцию следует рассматривать одновременно как результат противоречий международного капитализма и как фактор, порождающий в нем новые противоречия; 2) внутренняя динамика русской революции такова, что она не допускает прочной консолидации на буржуазной политической основе; 3) Советы — и здесь мы встречаемся с элементом, совершенно новым даже по сравнению с высказываниями Люксембург, — представляют собой зародыш новой формы государственной организации.

Как мы видели, анализ специально русской революции велся в немецкой печати в рамках более широкого анализа, основными объектами которого были, с одной стороны, всеобщая забастовка в качестве нового пролетарского оружия, а с другой — тенденция капитализма порождать межимпериалистические конфликты, служащие в свою очередь предвестниками социальных революций.

Выступая в дискуссии о всеобщей забастовке задолго до вспыхивающей революции в России и, следовательно, задолго до «уроков», преподанных грандиозными массовыми выступлениями в России, Парвус сформулировал теоретический тезис о том, что всеобщая забастовка представляет собой специфическую форму, с которой должен был начаться пролетарский революционный процесс. «Всеобщая забастовка, — писал он в августе 1904 года, — будучи массовой политической забастовкой, обращена не против экономической власти класса капиталистов, а, скорее, против политической власти капиталистического государства». Ее цель — «дезорганизация государства» — достигается благодаря параличу «наиболее важных отраслей производства и средств сообщения». Вместе с тем цель всеобщей забастовки заключается также в том, чтобы деморализовать противника и вызвать энтузиазм у пролетариата. Отсюда вывод: «В этом смысле всеобщая забастовка есть не что иное, как революция без обращения к оружию». Прежние революции выражались в форме нападения на правительство, и неслучайно они совершались по преимуществу в столицах. Всеобщая же забастовка «направлена против государства», и происходит она во всей стране. Помимо это-

го, прежние революции имели предпосылкой «общее недовольство правительственной политикой». Всеобщая же забастовка имеет предпосылкой «развитие профсоюзов и социал-демократического движения, а также распространение социалистических идей в армии». Следовательно, «всеобщая забастовка есть пролетарская революция»¹.

Высказав положение о всеобщей забастовке как новой форме пролетарской революции, Парвус с настойчивостью стал проводить мысль о реальности военной опасности и революционным отражении ее пролетариатом. Комментируя в «Лейпцигер фольксцайтунг» в октябре 1905 года откровения Делькассе о том, что в связи с последствиями марокканского кризиса Европа оказалась под угрозой возникновения мировой войны, Парвус проанализировал причины военной угрозы в современном ему мире. Глубокие причины общеевропейской войны, писал он, коренятся не в тех или иных изменениях международной политической «конъюнктуры», а в милитаризме, который питают как завоевательские стремления аристократии, так и капиталистические интересы фабрикантов оружия. Мы вступили в период возросшей напряженности и войн, из чего следует, что «нас ожидает война, хотя мы пока не знаем, где она разразится». Царивший пока мир был «миром, основанным на страхе». Между тем признаки надвигающейся мировой войны отчетливы и вызывают тревогу: китайско-японская, испано-американская войны, война с бурами, русско-японская война. Факторами, подготавливающими новую войну, являются: превращение Германии в морскую державу, превращение Соединенных Штатов в еще одно милитаристское государство, обострение борьбы против мирового господства Великобритании в торговле. Такова обстановка, в которой пролетариат не может ожидать ничего хорошего от равновесия сил капиталистических держав. «Единственная возможность предотвратить мировую войну — это противопоставить ей революционную оппозицию европейского пролетариата»². Задача пролетариата, понимает-ся, не пассивно ждать начала войны, а попытаться предотвратить ее. Если же войне все же суждено вспыхнуть, то ответом рабочего класса должно стать «развязывание революции»³.

Русскую революцию Парвус рассматривал в рамках этого международного процесса, этой диалектической связи империализма с революцией в общемировом масштабе. Она выступала в качестве специфического аспекта куда более

¹ Parvus. Über den Generalstreik. — In: "Leipziger Volkszeitung", 23. VIII. 1904.

² Parvus. Die Kriegsgefahr. — In: "Leipziger Volkszeitung", 17. X. 1905.

³ Parvus. Unsere Agitation gegen den Krieg. — In: "Leipziger Volkszeitung", 18. IV. 1905.

общего явления. Революция в России, следовательно, рождалась как детище мировой капиталистической системы, и именно на всю эту систему в целом ей суждено будет оказывать воздействие, обострив конфликт между капитализмом и пролетариатом в международном масштабе. В статьях 1904 года в «Искре» Парвус предвидел революцию в России и завоевание российским пролетариатом роли «авангарда» международного социалистического движения. Русско-японская война, писал он, стала борьбой за гегемонию в Восточной Азии: ей суждено поколебать исторические позиции царизма и отразиться на соотношении сил между всеми странами. Все это в свою очередь изменяет соотношение сил между капитализмом и пролетариатом на общемировом уровне.

«Всемирный процесс капиталистического развития ведет к политическому восстанию в России, а это должно оказать свое воздействие на политическое развитие капиталистических стран повсюду в мире. Русская революция потрясает политические основы капиталистического мира, русский пролетариат может завоевать роль авангарда социальной революции»¹.

Через несколько дней после «кровавого воскресенья» (22 января 1905 года) Парвус указал на факторы динамики уже начавшейся в России революции. Его главный тезис гласил, что русскому пролетариату нужно добиваться единства своих рядов и полной самостоятельности по отношению к любым другим политическим силам. Его задача никоим образом не может заключаться в политике союзов, которая подчинила бы его чужим интересам и ограничила бы его независимость. Борьба с царизмом знаменует начало более общей борьбы против буржуазии, — борьбы, которой суждено продолжаться. «Рабочий класс должен знать, что революция и свержение самодержавия никоим образом не тождественны; что для того, чтобы довести до конца революционное восстание, рабочий класс должен сначала сразиться с самодержавием, а потом — с буржуазией». Самое важное для пролетариата — сохранять «независимость собственной организации, ее реальную самостоятельность по отношению ко всем остальным политическим течениям». Отсюда пять заповедей революционного пролетариата (содержащих в зародыше теорию «перманентной революции»): «1) не смешивать организации; идти порознь, а бить вместе; 2) не отказываться от собственных политических требований; 3) не скрывать различия в интересах; 4) следить за союзниками, как за врагами; 5) больше стремиться к использованию ситуации, созданной борьбой, чем заботиться о сохранении союзников».

¹ Цит. по: W. B. Scharlau, Z. A. Zeman. *Freibeuter der Revolution: Parvus-Helphand, eine politische Biographie*. Köln, 1964, S. 71.

Если социал-демократия не хочет потерять доверия рабочих, она не должна бояться притязаний на политическую власть. Парвус поэтому отвергал всякую перспективу прихода буржуазии к кормилу правления: лишь социал-демократия может стать силой правления, соответствующей моменту, причем стать ею не для «социалистических преобразований», для которых пока нет экономических предпосылок, а для создания «демократической республики», опирающейся на «революционную армию рабочих»¹.

Рассматривая события под таким углом зрения и разъясняя в августе 1905 года на страницах газеты баварских социал-демократов смысл происходящей в России революции, Парвус резюмировал свою мысль следующим образом. Революция, по его словам, должна привести к трем главным результатам: превращению пролетариата в независимую силу; завоеванию политических свобод как условия независимой деятельности социал-демократии; созданию демократического строя как базы для нового и более широкого революционного процесса в социальном смысле².

Наиболее важными аналитическими работами Парвуса, опубликованными в германской печати, являются статьи в «Нойе цайт» (декабрь 1905—апрель 1906 года). Первая из них (без подписи) перепечатана из русского социал-демократического журнала «Начало» и озаглавлена «Задачи социал-демократии»; заглавие хорошо отвечало программному характеру этой статьи. Ее центральным пунктом было переплетение непосредственных задач русского пролетариата и его более отдаленных целей,— переплетение, подчеркивающее неразрывную связь буржуазной и послебуржуазной фаз этой революции. «Непосредственной революционной целью» русского пролетариата, рассуждал Парвус, является уже не построение политического строя, управляемого буржуазией, а создание государственного порядка, в рамках которого «было бы гарантировано удовлетворение требований рабочей демократии». Чрезвычайно интересное определение Парвус давал понятию «рабочая демократия». Оно интересно, в частности, тем, что в нем четко указываются, так сказать, методологические основы процесса «перманентной революции». «Рабочая демократия,— писал Парвус,— содержит в себе все наиболее радикальные запросы буржуазной демократии, но вместе с тем придает некоторым из них особый характер и добавляет к ним новые, чисто пролетарского

¹ Parvus. Vorwort zu Trotskis Broschüre, Bis zum 9 Januar 1905". — In: W. B. Scharlav, Z. A. Zeman. *Freibeuter der Revolution: Parvus-Helfhand, eine politische Biographie*, S. 354—358. В приложении к этой книге содержится полный текст этого предисловия.

² Parvus. *Die russische Revolution und die Arbeiter*. — In: "Münchener Post", 6—7. VIII, 1905.

свойства». Одним словом, пролетариат стремится использовать присущие буржуазной демократии свободы для увеличения собственной классовой организованной мощи в целях социальной борьбы. По мере развития этого процесса он создает свои организации, которые с точки зрения форм выходят за традиционные пределы буржуазной демократии, а с точки зрения содержания отражают самый ход борьбы за социальную революцию, направленную против капитала.

«Речь пока не идет,— писал Парвус,— о диктатуре пролетариата, задача которой — в корне изменить производственные отношения в стране, однако это уже шаг за рамки буржуазной демократии. Мы еще не можем считать своей задачей превращение буржуазной революции в революцию социалистическую. Но еще менее необходимым мы считаем подчинение наших задач буржуазной революции... Наша задача — расширить границы буржуазной революции; действуя внутри нее, как можно дальше продвинуть интересы пролетариата и в пределах буржуазного общественного строя создать как можно более широкую базу для революционного преобразования общества»¹. Иначе говоря, речь идет об использовании буржуазного либерализма в самостоятельных целях пролетариата.

Главный фактор, который, по мнению Парвуса, помешает «консолидации буржуазного строя» в России, заключается в своеобразном переплетении классовых интересов буржуазии, рабочих и крестьянства. В России капитализм уже не в силах обеспечить решение крестьянского вопроса: это и было тем решающим элементом, из-за которого революция становилась крайне «запутанной» и получала характер длительного процесса. В качестве руководящей политической организации пролетариата социал-демократия выступает как единственная сила, которая в состоянии удовлетворить крестьянские запросы, ибо она представляет собой единственную силу, способную «изменить производственные отношения таким образом, чтобы освободить все слои трудящихся масс от эксплуатации». Если верно то, что русский капитализм не в состоянии разрешить крестьянский вопрос, если это препятствует построению прочного буржуазного политического строя, если один лишь пролетариат способен освободить крестьянство от эксплуатации, то не менее истинным было для Парвуса и то, что социал-демократия не может стремиться к созданию политического порядка, отвечающего мелкособственническим чаяниям крестьянства. По его убеждению, социал-демократия призвана воспрепятствовать возврату вспять, «возврату к прежним формам экономичес-

¹ «Die Aufgaben der Sozialdemokratie Russland». — In: «Neue Zeit», XXIV, 1905—1906, B. I, S. 455—456.

ких отношений». Социалисты должны направить революционный порыв крестьянства «в русло социалистических преобразований»¹. Этим исключалась возможность равноправного союза рабочих и крестьян в политической области, и первые по необходимости наделялись приоритетом в разработке стратегии и в руководстве. Порожденная воздействием международного капиталистического развития на Россию, русская революция предназначена в свою очередь повлиять на Запад. «Успехи» рабочей демократии в России, писал Парвус, «могут вызвать в Западной Европе решающие битвы между социал-революционными организациями пролетариата, с одной стороны, и государственной властью — с другой»².

Вторая статья, опубликованная Парвусом в «Нойе цайт», была специально посвящена концепции рабочей демократии. Там поднималась еще одна тема, остававшаяся практически не освещенной в работах немецких авторов, анализировавших русскую революцию. Парвус привлекал внимание к Советам как новой, специфической форме рабочей демократии и зачатку перманентной контрвласти. Самобытная черта Петербургского Совета рабочих депутатов, подчеркивал Парвус в статье «Современное политическое положение России и будущие перспективы», заключается в непохожести этого Совета на какие бы то ни было организации прошлого, ставившие своей целью борьбу с правительством. С Советами возникла «впервые организация, действующая не только в разрушительных, но и в созидательных целях», организация нового типа, способная — что самое главное — «приступить к строительству государства». Важность этого наблюдения определялась уже тем, что в нем прозорливо предвосхищалась та аргументация, которая в дальнейшем, после 1917 года, будет нескончаемое число раз приводиться в поддержку советской стратегии. Петербургский Совет позаботился об установлении связи с организациями в других городах: тем самым был создан зародыш «массовой пролетарской партии». Рождение Советов изменяет традиционные взаимоотношения между социал-демократической партией и трудящимися массами, ставит эти отношения на существенно новую основу, создавая между партией и массами организационное посредничество, опоспособное оснастить революционный процесс мощной структурой. Социал-демократия представляет политическое сознание («программу») революции; Совет обеспечивает распространению этого сознания конкретную базу, поскольку имеет свои корни на предприятиях³, органически

¹ Ibid., S. 457.

² Ibid., S. 458.

³ Parvus. Die gegenwärtige politische Lage Russlands und die Aussichten für die Zukunft. — In: "Neue Zeit", XXIV, 1905—1906. B. II, S. 120.

выражая «интересы рабочей массы»¹. Будучи массовой организацией, Совет стал орудием постоянной мобилизации, орудием всеобщей забастовки. Партия, Совет, всеобщая забастовка — таковы, по Парvusу, три элемента современного революционного процесса, специфически пролетарской революции.

Следуя за ходом анализа Парvusа в этой статье, можно полностью оценить значение его утверждения о том, что «рабочая демократия», зародыш которой возник в России, выходит за пределы буржуазной демократии и приводит к развитию процесса «перманентной революции». Совет явился «первым подлинно представительным выборным органом народных масс», в котором начали видеть «зародыш новой государственной власти»². Однако это не только организация, выражающая интересы городского пролетариата, это нечто гораздо большее: орган политического руководства крестьянами и солдатами со стороны пролетариата³. Именно от такого революционного процесса нового типа Парvus ждал возможного разрешения кардинальной проблемы современной пролетарской революции: ликвидации карательной мощи армии путем вовлечения ее в процесс политизации, нарастающий до такого уровня, когда происходит частичное или полное разложение войск как орудия в руках враждебной трудящимся правительственной власти⁴.

7. Бернштейн: государство и общество на Востоке и на Западе

Анализируя русскую революцию, все представители радикального крыла германской социал-демократии так или иначе приходили к выводу, что эту революцию следует рассматривать как специфическое проявление революционного процесса, проявившегося уже в пределах всей Европы. Если прибегнуть к обобщенной формуле, эти авторы не противопоставляли Восток и Запад, а рассматривали их как части некоего по своим тенденциям единого целого, воссоздание которого диктовалось не только нарастанием революционных битв, развивавшихся присущими каждой из стран темпами, но и применением, в сущности, однородных форм борьбы. Общий для всех радикалов тезис о том, что массовая политическая забастовка, наиболее прандиозные образцы которой были продемонстрированы в России, представляет собой в конце концов открытую форму социальной революции, как раз и предназначался для доказательства наличия единой—

¹ Ibid., S. 110—111.

² Ibid., S. 111—112.

³ Ibid., S. 114.

⁴ Ibid., S. 119.

для Востока и Запада — основы. Эра европейских революций началась; русская революция есть эпизод, более того, основная глава этой эры.

Анализ русской революции представителями ревизионистского крыла социал-демократической партии представлял собой полную противоположность тезису радикалов. Хотя, как мы увидим, по вопросу о массовой политической забастовке между ревизионистами не было единства (в том смысле, что одни были безоговорочно против, а другие отчасти одобряли ее), все они сходились в отрицании того, что: 1) русская революция положила начало европейским революциям; 2) история поставила социализм в повестку дня; 3) в какой-то мере можно говорить о «революционном» единстве (пусть даже лишь в тенденции) между Востоком и Западом и особенно об однородности применяемых тут и там методов борьбы. Обобщая, можно заметить, что во всех высказываниях ревизионистов подчеркивались «различия» между Востоком и Западом, причем это делалось двояко: выявлялись различия в социально-экономических, а значит, и политических условиях, и, как следствие, выявлялись различия в методах борьбы. Даже те, кто, подобно Бернштейну, одобрял применение — при определенных обстоятельствах и ради определенных целей — оружия массовой политической забастовки, были в корне против того, чтобы считать ее открытой наконец формой современной социальной революции. Кроме того, ревизионисты упорно отрицали всякое уподобление деспотизма в царской России авторитаризму политической системы, созданной Бисмарком и продолжавшей существовать в кайзеровской Германии. По их мнению, целью германской социал-демократии должна была быть полная парламентская демократия, а не революционный скачок к социализму, русская же социал-демократия должна была поставить себе целью преодолеть «различия» между Востоком и Западом.

Таким образом, в ревизионистском лагере было два течения по вопросу о массовой политической забастовке. Представители первого категорически отвергали ее во имя постепенности и полной законности и третировали как разновидность анархистской всеобщей забастовки. Представители второго, напротив, принимали ее — четко отделяя, однако, от всеобщей революционной забастовки — для тех случаев, когда необходимо отстаивать демократию перед лицом реакционного переворота либо когда речь идет о расширении демократических прав. В этом последнем случае массовая забастовка никак не противопоставлялась принципу постепенности и парламентскому пути, а рассматривалась как средство давления на парламент. Можно сказать, что сторонники первого течения объединялись с профсоюзными вождями,

а второго — отмежевывались от них. Решительными противниками массовой политической забастовки были такие ревизионисты, как Эдуард Давид и Вольфганг Гейне. Сторонником ее, напротив, выступал отец теоретического ревизионизма Эдуард Бернштейн.

Мы уже знакомились с некоторыми высказываниями Давида ранее. Теперь настал момент проанализировать его позицию несколько глубже. Комментируя итоги Йенского съезда партии (где была принята резолюция в поддержку массовой забастовки), Давид указывал, что трудность заключается не в том, чтобы различать анархистскую всеобщую забастовку и массовую, а массовую забастовку и борьбу на улицах (Бебель на съезде четко провел эти различия). Трудности носили конкретный, практический характер и заключались в том, что, вступив на путь массовой забастовки, партия заранее лишала себя возможности регулировать переход от одних фаз движения к другим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому правомерным и реалистичным было представление о массовой политической стачке и главы профсоюзов Легина и Розы Люксембург, поскольку и тот и другая приходили в конечном счете к выводу, что такая забастовка имела революционное значение; мнения их расходились в том, что первый трактовал такой процесс как пагубный, а вторая приветствовала его в свете примера «славной русской революции». По мнению Давида, следовать нужно путем, ведущим к парламентскому большинству. «Когда мы завоевываем на свою сторону реальное большинство населения, — писал он, — тогда мы добьемся и той политической власти, к которой стремимся. Другого пути не существует. Ни демократию, ни социализм нельзя навязать силой. Пока большинство народа против нас, мы должны уважать его волю»¹.

В свою очередь Гейне не колебался использовать против перспективы обращения к массовой политической забастовке разнузданную контратаку реакционных сил. Он обрушился с нападками на пропагандистов политической забастовки вроде Роланд-Гольст и всех, кто стоял на сходных с ней позициях — в первую очередь на Розу Люксембург, — обвиняя их в непонимании специфических условий, которыми определяется расстановка социально-политических сил в Германии. Самое важное — «наличие *практических* условий» в стране². В Германии (и здесь вновь проглядывает один из наиболее употребительных доводов ревизионистов в полемике со сторонниками «русского образца») социал-де-

¹ E. David. Rückblick auf Jena. — In: "Sozialistische Monatshefte", 1905, № 10, S. 842—845.

² W. Heine. Politischer Massenstreik im gegenwärtigen Deutschland? — In: "Sozialistische Monatshefte", 1905, № 9, S. 755.

мократия имеет против себя сильного, более того, чрезвычайно сильного противника. Силен здесь класс предпринимателей, как и военный аппарат,— одним словом, сильна вся система государственной власти. Этот противник, и в первую очередь предприниматели, в состоянии выдерживать массовую политическую забастовку значительно дольше, чем сами забастовщики. Поэтому в конечном счете результатом будет «уничтожение социал-демократии»¹. Одним словом, Гейне предостерегал: в Германии нельзя играть с огнем, ибо «наши враги располагают совершенно непреодолимыми средствами грубого подавления» и к тому же исполнены готовности пустить их в ход². А тогда в стране установится свирепый реакционный режим, опирающийся на «фанатичную военщину» и «военно-полевые суды»³. В этом смысле исходом массовой политической забастовки в Германии стала бы «ликвидация политической и профсоюзной организации» рабочего движения и проведение «реакционной политики», которая, «возможно, поставит под угрозу само будущее демократического социализма в Германии»⁴.

Различие между Востоком и Западом было темой статьи еще одного ревизиониста, Рихарда Кальвера, опубликованной также в теоретическом органе ревизионистов «Социалистиче монатсхейте». Автор не отвергал русского опыта, более того, оценивал его положительно в специфических социально-политических условиях России. Отвергалась идея применимости того, что происходило в России, к Германии и Западу. В России неосуществим был путь реформ, возможность которых имела, напротив, на Западе, где как раз революция выглядела «бессмысленной». В стране с деспотическим строем, вроде России, именно вследствие деспотизма «революция является *ultima ratio*»⁵.

Сложным и неоднозначным было в 1905 году отношение Бернштейна к массовой политической забастовке, русской революции и ее влиянию на Германию, различиям между Востоком и Западом. Накануне революции в России он проанализировал вопрос о возможности использования в Германии массовой политической забастовки. Этот анализ примечателен не только своей типичностью для бернштейннской позиции в целом, но и тем, что по данному вопросу выводы автора в точности совпадают с предложениями Бебеля на Йенском съезде. Бернштейн четко отличал анархистскую

¹ Ibid., S. 757.

² Ibid., S. 759.

³ Ibid., S. 761.

⁴ Ibid., S. 762.

* Последним доводом (лит.). — *Прим. ред.*

⁵ R. Galtzer. Russland. — In: "Sozialistische Monatshefte", 1905, № 2, S. 113.

всеобщую забастовку от массовой политической забастовки, которую решительно поддерживал при определенных условиях. Анархистская всеобщая забастовка соответствовала политической стратегии, ошибочной в двух важных аспектах: 1) с точки зрения средств осуществления революции недооценивались огромные ресурсы сопротивления буржуазного общества; 2) с точки зрения послереволюционного устройства успех такой забастовки привел бы к замене буржуазной собственности какой-то формой «новой корпоративной собственности». Политическая забастовка в том виде, в каком поддерживал ее Бернштейн, представляла собой, напротив, «необычайное средство давления на правительство и общественность» ради достижения конкретных, четко очерченных целей: «защиты от конкретных реакционных мероприятий или удовлетворения определенных требований»¹. Разумеется, трудности проведения массовой забастовки в Германии колоссальны. Но социал-демократия, несмотря на это, не должна отступать, если германские правящие классы попытаются урезать всеобщее избирательное право, ибо это право служит не только «единственным рычагом рабочего движения», но и условием любых успехов на пути постепенности и реформизма².

В опубликованной в 1905 году брошюре «Массовая политическая забастовка и политическое положение социал-демократии в Германии» Бернштейн сделал упор на тезис о том, что для достижения победы в массовой политической забастовке она ни в коем случае не должна вырождаться в борьбу на улицах и должна неизменно подчиняться «четко ограниченным целям»³. На Йенском съезде, последовательно поддержав предложенную Бебелем резолюцию в поддержку политической забастовки, Бернштейн уточнил, что для обеспечения успеха массовой забастовки в Германии необходимо учитывать, что наряду с реакционными силами в стране имеются «широкие слои буржуазии, не согласные с реакцией»⁴. Разумеется, в этой позиции не было и тени одобрения той концепции массовой забастовки, которую развивала Роза Люксембург. Мало того, Бернштейн также прибег к излюбленной аргументации всех ее противников, утверждавших, что «революционный романтизм» Розы Люксембург основывается на полном непонимании обстановки в Западной Европе и Германии и льет воду на мельницу реакции. Роза

¹ E. Bernstein. Ist der politische Streik in Deutschland möglich? — In: „Sozialistische Monatshefte“, 1905, № 1, S. 32—33.

² Ibid., S. 35—37.

³ E. Bernstein. Der Politische Massenstreik und die politische Lage der Sozialdemokratie in Deutschland. Berlin, 1905, S. 40.

⁴ „Protokoll...“, S. 314.

Люксембург, по сути дела, «мать той революционной фразеологии», реальный адресат которой — реакция¹.

Что касается высказываний Бернштейна о русской революции, ее реальном и возможном воздействии на Германию, то тут перед нами непрерывная череда полемических утверждений, опровергающих выводы радикалов, особенно Розы Люксембург. Главные тезисы Бернштейна можно без труда резюмировать следующим образом: с одной стороны, единственный позитивный результат, который можно ждать от русской революции, заключается в преобразовании режима царской империи в демократический строй, который приведет Восток к воссоединению с Западом, с другой — Восток не может предложить Западу никакого образца, поскольку различия между ними в смысле отношений между государством и гражданским обществом носят принципиальный характер.

Русская революция, утверждал Бернштейн в апреле 1905 года, может быть «только буржуазно-либерально-демократической», ибо классовые и производственные отношения в России делают социалистическую перспективу «безнадежной утопией»². Задача этой революции — освободить Россию и Европу от самодержавия и военной угрозы царизма, способствуя тем самым укреплению демократии повсюду в Европе. Задача же германской социал-демократии — защищать русскую революцию от иностранной интервенции³.

Но, может быть, русские методы борьбы все же содержали хоть что-то позитивное, «образцовое», годное для применения и в Германии? Размышляя над этим вопросом, Бернштейн указывал в одной из статей в январе 1906 года, что, несомненно, следует признать «влияние» русской революции на германскую внутреннюю политику и что русский пример, конечно же, некоторым образом «нарушил существующую традицию»⁴. В конечном счете, однако, его ответ заключался в подчеркивании необходимости возврата к реформистской стратегии, хотя бы, возможно, и такой, которая была бы способна использовать энергию масс.

Размышляя над указанными вопросами — и открыто полемизируя с Розой Люксембург, — Бернштейн придавал органическую форму своим идеям относительно различий между Востоком и Западом. Безоговорочные поклонники русско-

¹ E. Bernstein. Einige Randbemerkungen — In: "Sozialistische Monatshefte", 1906, № 2, S. 130.

² E. Bernstein. Revolution und Russland. — In: "Sozialistische Monatshefte", 1905, № 4, S. 292.

³ Ibid., S. 294—295. По этому вопросу см. также: E. Bernstein. Zum sozialdemokratischen Parteitag in Jena. — In: "Sozialistische Monatshefte", 1905, № 9, S. 733.

⁴ E. Bernstein. Politischer Massenstreik und Revolutionsromantik. — In: "Sozialistische Monatshefte", 1906, № 1, S. 15.

го примера, рассуждал он, упускают из виду прежде всего то, что сила забастовок трудящихся масс России (забастовок, отмеченных печатью стихийности) прямо пропорциональна слабости других классов и государства. Сама «стихийность» выступает здесь признаком этой типично русской особенности. Легкость, с какой вспыхивают забастовки в России, их стихийность — «не доказательство собственной силы рабочего класса, а признак временного бессилия или недостатка энергии у других классов и государственной власти»¹. Это исходный пункт, от которого Бернштейн отталкивался для широкого анализа различий между обществом и государством в России и в развитых странах Европы. Революцию в России сделала возможной проигранная война, которая повергла общество в хаос, а государство — в состояние бессилия. Эти хаос и бессилие обусловлены, с одной стороны, отсутствием организованного гражданского общества с политическими партиями, представляющими те или иные социальные группы, а с другой — тем, что, не имея за спиной организованного общества, российское государство оказалось без резервов. Все это, однако, было прямым следствием деспотизма: «Неизбежным результатом самодержавия является то, что позади себя оно оставляет хаос». В Германии совершенно иная ситуация. Хотя и верно, что подлинной политической демократии здесь нет, имеется все же достаточно разветвленная сеть общественно-политических организаций, делающая обстановку в стране несопоставимой с российской. Да и само германское государство совсем иное, чем российское. Оно обслуживается преданным чиновничеством, оно прочно. За его плечами стоит решительный и хорошо организованный класс предпринимателей. «Итак, при наличии государства этого типа, организованных политических партий, которые, пусть даже не всегда зная, чего они хотят, довольно хорошо знают, чего они не хотят, и соответственно хорошо организованной предпринимательской буржуазии в некоторых отраслях промышленности — даже очень хорошо организованной — ясно, что при наличии всех этих обстоятельств вопрос о массовой политической забастовке не может не ставиться совершенно иным образом, чем в потрясенной России, внутренние связи которой нарушены. Не видеть этого могут лишь люди, наделенные наивностью детей либо легкомыслием игроков»².

Помимо всего этого, Бернштейн настаивал еще на том, что в Германии отсутствует революционная традиция. Революционность, отмечал он, действительно проникла в немецкое рабочее движение, но на идеологически абстрактном

¹ Ibid., S. 17.

² Ibid., S. 18.

уровне. По историческим причинам немец «никогда не был» революционером. «Язык, который мы употребляем,— писал Бернштейн,— особенно на съездах,— это антипарламентарно-революционный язык, но наша практика... антиреволюционно-парламентарная. Мы никоим образом не революционная партия, мы партия легально-парламентарного действия. И год от года мы становимся ею все больше». Участь германской социал-демократии является парламентской, и в качестве таковой ее следует признать¹.

В статье, посвященной результатам партийного съезда 1905 года, Бернштейн, воспроизводя главные положения своей известной книги, заложившей классические основы теоретического ревизионизма, подчеркивал в полном согласии с радикалами, что в Германии и политическая демократия, и парламентаризм носят уродливо урезанный характер. Однако из этой общей с радикалами точки зрения он делал опровергающий их заключения вывод. Немецкая социал-демократия должна употребить все свои силы на то, чтобы вдохнуть жизнь в политическую демократию и парламент для придания им энергии в борьбе за реформы².

¹ См.: *E. Bernstein. Das vergrabene Pfund und die Taktik der Sozialdemokratie.* — In: «*Sozialistische Monatshefte*», 1906, № 4, S. 293—295.

² См.: *E. Bernstein. Zum sozialdemokratischen Parteitag.* S. 730—732.

Анджей Валицкий

ПОЛЬСКИЙ МАРКСИЗМ В КОНЦЕ XIX— НАЧАЛЕ XX ВЕКА

I. Первое поколение польских марксистов

Первые польские последователи Маркса и Энгельса не были марксистами. Это были патриоты в изгнании, преданные романтической идее революционного братства народов и убежденные, что все угнетенные — угнетенные классы в такой же мере, как и угнетенные нации, — повсюду сражаются фактически за одно и то же дело. Глубокое впечатление на них производила последовательно пропольская позиция основателей «научного социализма»¹.

С момента Краковского восстания 1846 года Маркс и Энгельс не уставали повторять, что польское национально-освободительное движение, направленное против реакционного Священного союза и поддерживающее идею аграрной революции, представляет собой самую внушительную революционную силу к востоку от Эльбы, что Польша «сделалась революционной частью России, Австрии и Пруссии»² и что ее освобождение имеет особое значение для воссоединения и преобразования Германии. Польше, считали они, должны быть возвращены границы 1772 года, ибо только крупное польское государство, достаточно сильное и жизнеспособное, в состоянии защитить Европу от реакционного влияния царской России, особенно ошущаемого в Германии. В польском восстании 1863 года они увидели начало новой революционной эпохи в Европе³. В ходе восстания Маркс предложил польскому полковнику Лапинскому организовать

¹ См.: J. W. Borejsza. W kregu wielkich wygnanców 1848—1895. Warszawa, 1963; C. Bobinska. Marksa spotkania z Polska. Kraków, 1971; J. Koherdowa. Pierwsza Miedzynarodówka i lewica Wielkiej Emigracji. Warszawa, 1964.

См. также два главных источника: "Marks i Engels o Polsce", Warszawa, 1964, т. I—II; "Pierwsza Miedzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materialy", Warszawa, 1964.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Дебаты по польскому вопросу во Франкфурте (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, с. 379).

³ См. письмо Маркса Энгельсу от 13 февраля 1863 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 30, с. 265—266).

легион добровольцев, который сражался бы на стороне поляков под немецким национальным знаменем¹. Такого рода настроения сочувствия Польше были тогда очень распространены в среде западноевропейского рабочего класса. Показательно, что именно на собрании французских и английских рабочих в Лондоне в июле 1863 года, организованном в поддержку борьбы поляков, родилась идея создания Международного Товарищества Рабочих. В Интернационале Маркс и Энгельс объявили дело освобождения поляков вопросом чрезвычайной важности для внешней политики рабочего класса и решительно отстаивали этот тезис от нападок прудонистов, по мнению которых (сформировавшемуся не без участия официальной пропаганды царской России) польское восстание представляло собой движение реакционной католической знати. Полемизируя с прудонистами, Энгельс писал: «Так обстоит дело и теперь, с одним лишь исключением (Прудон. — А. В.), о котором подробнее скажем ниже. Рабочие Европы единодушно провозглашают восстановление Польши как неотъемлемую часть своей политической программы, как требование, наиболее выражающее их внешнюю политику»².

Не удивительно поэтому, что Интернационал завоевал симпатии многих поляков, в том числе и либерально настроенных консерваторов, и что отдельные представители левого крыла патриотической польской эмиграции вступили в него и работали в его Генеральном Совете, поддерживая политическую линию Маркса и Энгельса, которых они справедливо считали своими лучшими друзьями. Сознание того, что, говоря словами Маркса и Энгельса, они поставлены перед выбо-

¹ См.: *J. W. Borejsza. W kregu...*, str. 371—378.

Маркс говорит о своих беседах с Лапинским в письме Энгельсу от 12 сентября 1863 года (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 30, с. 305—306).

[Из упомянутого письма не вытекает, что Маркс «предложил... Лапинскому организовать легион добровольцев». Там сказано лишь: «Его (Лапинского. — *Ред.*) целью в Лондоне является сейчас формирование немецкого легиона, хотя бы в 200 человек, который выступил бы под черно-красно-золотым знаменем против русских в Польше...». — *Прим. ред.*]

Интеллектуальная реакция Маркса на восстание 1863 года отразилась в его рукописях о Польше, которые недавно были опубликованы и главный тезис которых заключается в том, что восстановление Польши представляет собой абсолютную необходимость для немецких демократов, поскольку это путь к избавлению Германии от опеки царской России. См.: *K. Marx. Manuskripte über die Polnische Frage (1863—1864). Herausgegeben und eingeleitet von Werner Conze und Dieter Hertz-Eichenrode s'Gravenhage, 1961*. Десять лет спустя в Польше вышло новое, дополненное издание на польском и немецком языках, подготовленное группой советских, польских и немецких историков, под заглавием: *"Przyczynki do historii polskiej. Rekopisy z lat 1863—1864"*. Warszawa, 1971.

² Ф. Энгельс. Какое дело рабочему классу до Польши? (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 16, с. 156).

ром быть революционерами или погибнуть¹, было одним из главных мотивов, повинувшись которым польские изгнанники приняли столь широкое участие в Парижской коммуне. Два руководителя польского восстания 1863 года стали военачальниками революционного города: Ярослав Домбровский, погибший потом на баррикадах, был главнокомандующим всеми вооруженными силами Коммуны, а Валерий Врублевский командовал сектором на левом берегу Сены, где организовал и оборонял до самого конца последний оплот сопротивления версальцам. После поражения Коммуны Врублевский стал членом Генерального Совета Интернационала и сделался близким другом Маркса и Энгельса: их дома, по его собственным словам, были для него «единственными братски открытыми домами»². Марксистом он не стал, но в некоторых случаях оказывал Марксу и Энгельсу услуги в их борьбе с «аполитизмом» прудонистов и бакунистов. Маркс и Энгельс в свою очередь делали все возможное, чтобы поддерживать в Интернационале настроения сочувствия Польше. Для поляков это было чрезвычайно важно, так как после Парижской коммуны (дискредитировавшей их в глазах общественного мнения) и объединения Германии Интернационал был единственным международным форумом, где их дело расценивалось как важный общеевропейский вопрос.

2. Национальный вопрос и социализм в отсталой стране

По логике забавного, но объяснимого парадокса вопрос о национальной независимости Польши стал тем пунктом, по которому мнения Маркса и Энгельса вступили в острое противоречие с позициями первых польских марксистов: Людвика Варыньского, Казимежа Длуского, Шимона Дикштайна, Станислава Мендельсона и других, разработавших в конце 70-х годов так называемую Брюссельскую программу (1878) и начавших издавать в Женеве свой журнал «Рувность» («Равенство»). На их взгляд, пролетарский интернационализм был прямой противоположностью патриотизму; они были убеждены, что польский патриотизм стал орудием реакционеров, пытавшихся помешать формированию классового сознания у польских трудящихся. В 1880 году они организовали в Женеве международный митинг, чтобы отметить пятидесятилетнюю годовщину польского восстания 1830 года, и провозгласили на нем, что старый клич «Да здравствует Польша!» утратил свое революционное содержание. Новыми лозунгами польских революционеров должны были, по их убеждению,

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 508.

² Цит. по: J. W. Borejsza. W Kragu..., str. 163.

стать: «Долой патриотизм и реакцию!» и «Да здравствуют Интернационал и социальная революция!»¹ Выступая против подобных позиций, Маркс и Энгельс 27 ноября 1880 года направили участникам митинга приветственное послание (подписанное также П. Лафаргом и Ф. Лесснером), в котором подтвердили революционное содержание дела польского освобождения и заявили, что дело это по-прежнему достойно безоговорочной поддержки со стороны всех европейских революционеров, включая русских.

В своем письме Каутскому от 7 февраля 1882 года Энгельс следующим образом комментировал женевскую ассамблею: «На господ из «*Równosc*», очевидно, произвели впечатление радикально звучащие фразы женевских русских» (то есть русских анархистов и народников, отвергавших *политические* вопросы как якобы малозначащие с точки зрения целей социальной революции. — А. В.). В том же письме Энгельс давал следующее теоретическое объяснение своей и Марксовой позиции:

«Каждый польский крестьянин и рабочий, пробуждающийся от своей закоснелости к участию в борьбе во имя общих интересов, прежде всего сталкивается с фактом существования национального гнета, который повсюду встает перед ним, как первое препятствие на его пути. Устранение национального гнета является основным условием всякого здорового и свободного развития. Польских социалистов, не ставящих освобождение страны во главе своей программы, я сравнил бы с германскими социалистами, которые не желали бы требовать в первую очередь отмены закона против социалистов, введения свободы печати, союзов и собраний. Для того чтобы иметь возможность бороться, нужна сперва почва под ногами, воздух, свет и простор. Иначе все — болтовня»².

Столкновение с идейными учителями не изменило мнения первых польских марксистов. В предисловии к отдельному изданию материалов женевской ассамблеи они, полемизируя с письмом Маркса и Энгельса, отмечают, что революционеры, вышедшие из польского дворянства, — это революционеры скорее в эмиграции, чем на родине³. Действительное положение дел было не совсем таким, но основное расхождение вообще касалось не исторических оценок. Главное состояло в том, что для того, кто решился посвятить себя классовой борьбе пролетариата, категорический отказ от борьбы за национальную независимость становился своего рода психологической необходимостью, ибо принцип приоритета классов-

¹ Ibid., str. 138.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 35, с. 224, 221.

³ См.: «*Pierwsze pokolenie marksistów polskich*», a cura di Alina Molska, Warszawa, 1962, t. I, str. 375—424.

вых интересов приходилось защищать от тяжелого давления патристической традиции, вызвавшей к идеалам сотрудничества и солидарности всех классов нации.

В 1882 году Людвик Варыньский (1856—1889) организовал в Королевстве Польском (русской части Польши) первую партию польских рабочих — социал-революционную партию «Пролетариат». Одновременно в русском Варшавском университете образовался кружок молодых польских социалистов, наиболее видным руководителем которых был Станислав Крусиньский (1857—1886) — по его имени членов кружка стали называть крусиньскистами. Самым известным среди них был социолог Людвик Кшивицкий (1859—1941), впоследствии ставший одним из крупнейших польских исследователей в области общественных наук. В 1884 году крусиньскисты напечатали в Лейпциге польский перевод первого тома «Капитала»¹.

В идеологии первых польских марксистов необходимо различать два разных направления: социал-революционное и социал-демократическое. Первое преобладало в «Пролетариате» Варыньского; после откола от него социал-демократической группы во главе с Казимежем Пухевичем оно было принято единодушно всей партией. Второе направление господствовало в кружке Крусиньского. Различия между этими двумя течениями были не столько тактическими, сколько теоретическими. В самом общем виде они состояли в том, что социал-революционеры делали упор на историческом значении «субъективного фактора», а социал-демократы подчеркивали прежде всего объективный характер социальных процессов и необходимость постепенного «вызревания» экономических условий для социалистической революции. Социал-революционеры тесно сотрудничали с русскими революционерами из «Народной воли» и под их влиянием поддерживали политический террор², социал-демократы, напротив, решительно возражали против его применения.

Еще более существенные расхождения касались фундаментальных теоретических положений марксизма и возможности применения их в экономически отсталой стране. Социал-демократы были убеждены, что объективные условия для социалистической революции нельзя считать созревшими, пока страна не пройдет все фазы капиталистического развития. На этом основании польская буржуазия, идеологами которой выступали так называемые «варшавские позитивис-

¹ Лучшей работой о первых польских марксистах является развернутое введение А. Мольской к антологии: *"Pierwsze pokolenie marksistów polskich i polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej. 1878—1939"*. Warszawa. 1973.

² Сотрудничество между двумя партиями регулировалось официальным соглашением. См.: *"Pierwsze pokolenie marksistów polskich"*, т. II, стр. 144—147.

ты»¹, рассматривалась как прогрессивный класс, тогда как крестьяне представлялись оплотом отсталости страны, реакционной мелкособственнической массой, способной превратиться в революционный резерв пролетариата не раньше своей полной экспроприации в процессе капиталистического развития. Из этого следовало, что задачи польских социалистов должны ограничиваться пропагандистско-воспитательной работой и экономической борьбой, направленной на постепенное улучшение положения трудящихся внутри существующей капиталистической системы. Роль политического руководителя в политической борьбе должна быть отдана соответственно либеральной буржуазии (хотя, как необходимо отметить, польская буржуазия была тогда весьма далека от активной политической борьбы с царизмом), идеал же социалистических преобразований должен сохраняться лишь как отдаленная задача грядущих поколений. По всем этим вопросам социал-революционеры занимали диаметрально противоположную позицию. Степень «зрелости» капитализма, на их взгляд, должна была измеряться всемирно-историческим масштабом: польский капитализм есть составная часть европейского капитализма, иначе говоря, часть социально-экономической системы, уже достигшей максимальной «зрелости» и вступившей повсюду (включая относительно отсталые страны) в неизбежную фазу упадка. Кроме того, они подчеркивали, что зрелость объективных, экономических, условий — это еще не все, поскольку не менее важна зрелость субъективных условий, то есть классового сознания, политического опыта и боевого духа масс. Исторический опыт наиболее развитых западных стран внушил польской буржуазии слишком сильный страх перед революционным потенциалом масс, чтобы она могла выполнять хоть какую-то исторически прогрессивную миссию. В то же время польский пролетариат, восприняв уроки классовой борьбы на Западе, лучше защищен от буржуазных иллюзий, более восприимчив к социалистическим идеям, то есть находится на более высокой ступени зрелости, нежели находились трудящиеся западных стран в тот период, когда они проходили соответствующую стадию экономического развития. Поэтому, утверждали социал-революционеры, польский рабочий класс может начать социалистическую революцию, не дожидаясь, когда капиталистическая система в Польше достигнет своего максимального развития. Что касается России — страны куда более отсталой с экономичес-

¹ Под таким названием действовала весьма влиятельная в 70-е годы группа либеральных идеологов, по убеждению которых полякам следовало отбросить идею борьбы за национальную независимость и сосредоточиться на так называемой органической работе, то есть модернизации национальной жизни в сфере экономики и культуры. Наиболее крупным деятелем в этой группе был Александр Свентоховский.

кой точки зрения, чем Польша, — то применительно к ней польские социал-революционеры считали возможным и желательным вовсе избежать развития по капиталистическому пути. В поддержку этого тезиса Маркс, как известно, высказал весомые доводы в своем вызвавшем столько толков письме главному редактору «Отечественных записок» (1877)¹.

С этой позицией сочетался интересный подход к крестьянскому вопросу. Социал-революционеры утверждали, что в силу ускорения исторического развития и сосуществования различных его фаз (типичная особенность отсталой страны, переживающей стадию экономической модернизации) можно предположить, что ненависть польского крестьянства к феодальной эксплуатации перерастет во враждебность к любым формам эксплуатации, включая капиталистическую, и что революционный пролетариат получит тем самым мощного союзника. Польские трудящиеся должны начать революцию, преследуя в ней цель буржуазно-демократических преобразований, но не отдавая политической власти буржуазии. Достигнув этого рубежа, они должны попытаться осуществить собственно пролетарские цели, то есть социалистическое преобразование общества. При этом руководящая роль в революционной борьбе будет принадлежать сформировавшейся в подполье, хорошо организованной социалистической партии. После революции эта партия конституируется в высший орган политической власти в новом государстве. Суть этой власти определялась как «диктатура пролетариата»².

Как можно видеть, теоретические споры между первыми польскими марксистами очень напоминали споры в России между группой Плеханова (позиции которой были весьма близки к позициям польских социал-демократов) и идеологами «Народной воли». Из этого, впрочем, еще не следует делать вывод, что польские социал-революционеры попросту находились под влиянием русских революционных народников и что, следовательно, их марксизм, разбавленный чужеродными элементами, был «менее марксистским», чем у социал-демократов. В отличие от споров в России в начале 80-х годов идейные расхождения между польскими социал-революционерами и социал-демократами представляли собой расхождения внутри марксизма. Если рассматривать эти споры в перспективе дальнейшего развития, то в них нетрудно увидеть предвещение отдельных идейно-теоретических разногласий, которым суждено было вызвать отмежевание русских большевиков от меньшевиков.

¹ Письмо Маркса было опубликовано с комментариями в «Валька кляса», 1886, № 5-7, с. 11—12. Значение его в контексте освободительной борьбы в России рассмотрено в: A. Walicki. *Marxisti e populisti: il dibattito sul capitalismo*. Milano, 1973.

² «Pierwsze pokolenie marksistów polskich», t. II, str. 119, 496.

Более глубокая причина такого рода сходства и параллельности заключалась, говоря словами одной из авторитетных работ о первых польских марксистах, в следующем: «Польша была, пожалуй, первой европейской страной, где последователи марксистской теории столкнулись с трудностями, порожденными противоречием между теоретическим и практическим опытом западноевропейского рабочего движения, и совершенно не подходящими для этого опыта условиями экономической отсталой Восточной Европы. Именно в силу особенностей обстановки в Польше и за ее пределами, то есть условий, порождавшихся внутренним развитием польского общества и новой расстановкой революционных сил в международном масштабе, польская марксистская мысль в конце 70-х годов формировалась в сопоставлении старого и нового опыта, иначе говоря, в сопоставлении достигнутого в старых капиталистических странах Европы и того, что предлагалось или предполагалось в России»¹. Несмотря на имеющиеся здесь значительные различия, мы можем утверждать, что обе группы польских марксистов стояли в 80-е годы на общей платформе, которая четко отличала их от всех остальных общественно-политических течений польской мысли. Самой емкой и точной характеристикой этой платформы могло служить само название ежемесячного печатного органа партии «Пролетариат» — «Валька кляс» («Классовая борьба»), который выходил в Женеве с 1884 по 1886 год. Как социал-революционеры, так и социал-демократы упорно отстаивали классовый подход ко всем вопросам и боролись с любыми видами идеологии национальной солидарности, включая новую позитивистскую идеологию «органической работы» и старый революционный патриотизм. Порой они доходили до абсолютизации этой позиции и не делали, например, никакого различия между прогрессивным солидаризмом, требующим от правящих классов отказа от собственных привилегий во имя общего национального дела, и консервативным солидаризмом, вызывающим к национальному единству как средству принудить эксплуатируемые классы к отказу от борьбы за социальную справедливость. Подобная ориентация, как нетрудно понять, делала их позицию в национальном вопросе жестко сектантской.

3. Проблема познания и неокантианство

В своих философских разработках первые польские марксисты — в отличие от русских марксистов группы Плеханова — сумели избежать некоторых крайностей догматического

¹ Ibid., str. XVII—XVIII.

характера. Подобно многим другим марксистам этого времени, они рассматривали марксизм как общую теорию социально-экономического развития и в особенности как теорию развития капитализма, его внутренних противоречий и неизбежного краха. Вместе с тем они не уделяли большого внимания онтологическим и гносеологическим проблемам, содержащимся в «Анти-Дюринге» Энгельса и позже развитым — главным образом Плехановым — во всеобъемлющую теорию «диалектического материализма». В отличие от этого русского марксиста они не слишком интересовались гегельянским наследием. Их больше привлекала перспектива разработки и расширения философского аспекта марксистской теории путем заимствования определенных положений из наиболее модных в ту пору философских течений. В первую очередь их интересовала возможность соединения марксизма с достижениями позитивизма, эволюционизма и эпистемологических теорий эмпириокритиков и неокантианцев, объединенных общим наименованием неокритицизма. Не останавливаясь специально на детальном разборе философских идей польских марксистов XIX века, ограничусь изложением лишь самых характерных моментов философских концепций первых польских марксистов, оказавших наибольшее влияние на дальнейшее развитие философской мысли в стране. Помимо концепций Кшивицкого и Крусиньского, нам придется рассмотреть также идеи самого авторитетного из теоретиков Польской социалистической партии (ППС) Казимежа Келлес-Крауза (1872—1905), который хотя и не принадлежал к поколению первых марксистов, но считал себя тем не менее очень близким к ним и подчеркивал связь своих теорий с некоторыми формулировками Крусиньского.

Главное направление философских размышлений первых польских марксистов было обозначено многочисленными и разнородными попытками преодолеть индивидуалистическую и рецензивную (пассивную) трактовку субъективного восприятия подчеркиванием социального и практического характера познания: именно в этом заключался смысл их идеи истолкования эволюционизма и неокритицизма в марксистском ключе. Кшивицкий принимал эмпириокритический принцип «экономии мысли», поскольку видел в нем подтверждение марксистского тезиса о теории, порождаемой потребностями практики¹. Он предпринял также попытку переосмыслить кантианский априоризм в духе натуралистического эволюционизма, утверждая, что априорные элементы опыта фактически суть результат филогенетической эволюции, то есть «постоянного приспособления живых организмов к условиям жизни».

¹ См. его статьи: "Najnowszy ruch filozoficzny w Niemczech", 1884; "Zasada najmniejszosci w filozofii", 1886.

Аналогичные идеи встречаются в статьях Крусиньского, где доказывалось, что материализм биологов и идеализм неокантианцев фактически не противоречат один другому. Келлес-Крауз со своей стороны соглашался с Кантом насчет существования априорных элементов опыта, но отвергал как кантианский трансцендентализм (то есть положение об априорных условиях всего человеческого опыта), так и биологическое, эволюционистское истолкование трансцендентного (то есть априорное, понимаемое как результат некоей совокупной биологической эволюции человечества). Он предлагал взамен теорию «социального априоризма», в которой упор делался на проблеме предустановленности и предопределенности познания социальной наследственностью и классовым положением познающего. Марксистская теория сознания как надстройка преобразовывалась, таким образом, в теорию «классового восприятия», понимаемую как истолкование истинных элементов кантианской гносеологии в социологических и классовых терминах.

Рассматриваемый под таким углом зрения исторический материализм должен был выступать также и в роли эпистемологической теории. По мысли Келлес-Крауза, эта теория отличалась следующими чертами: 1) феноменализмом, поскольку предполагалось, что вещи в себе непознаваемы; 2) активизмом, поскольку акцент в ней делался на роли практики в генезисе познания, а мышлению придавалась активная функция «фильтрации» потока неоформленных данных, предоставляемых чувственным опытом; 3) историзмом и социологичностью, поскольку они выступали в качестве теории коллективного, социального и исторически детерминированного познания. Само собой разумеется, это была одновременно теория классового характера социального сознания, а также классовой обусловленности общественных наук. Келлес-Крауз полагал, что в бесклассовом обществе будущего познание станет свободным, бескорыстным и объективным; в буржуазном же обществе, подчеркивал он, все положения общественных наук (включая марксизм) обусловлены классовыми интересами, и пока еще преждевременно помышлять о преодолении подобного положения вещей. Этим убеждением он отличался от крусиньскистов, которые, признавая возможность «чисто научного», объективного познания общества, считали, что такое познание доступно «мыслящему пролетариату», то есть интеллигенции, лишенной социальных связей и преданной делу прогресса¹.

Идея о марксизме как социологическом истолковании кан-

¹ Эта идея, вызывающая в памяти манигеймовскую концепцию «познания как привилегии», присущей «свободно парящей интеллигенции», разрабатывалась в особенности литературным критиком Б. Бялоблочким, находившимся под влиянием русского публициста Дмитрия Писарева.

тианства была разработана в особенности Станиславом Бжозовским в 1906 году; к поставленным им проблемам нам еще придется вернуться. Что же касается «феноменалистского» аспекта идей Келлес-Крауза, то он был расширен, развит и переосмыслен Эдвардом Абрамовским (1868—1918), видным теоретиком «социализма без государства» и кооперативного движения, лишь позже пришедшим к марксизму. В его трактовке законы исторического материализма выступают в основном как психологические законы, выявляющие взаимоотношения между потребностями и способностями человека, между подсознательными чувствами и сознательными, целеустремленными действиями. Идеализм и психологизм этой концепции бросаются в глаза, но это не значит, что следует оценить как идеалистическую и всю теорию Келлес-Крауза (подобно тому, как поступали иные марксисты в 50-е годы): на наш взгляд, самое большее, что можно сказать о ней на сей счет, так это то, что она недостаточно застрахована от возможностей истолкования такого рода. В то же время стоит заметить, что теория «классового восприятия» Келлес-Крауза была подхвачена марксистом такого калибра, как Оскар Ланге, который счел ее формулировки полезными в том, что касается фундаментальных эпистемологических предпосылок марксизма¹. Можно было бы также выявить аналогии между этой теорией и некоторыми идеями Грамши о соотношении между марксистской трактовкой сознания и философской традицией «современного субъективизма»².

Келлес-Крауз утверждал, что «социализировал» эпистемологическую идею Канта. Такая «социализация» выражала антииндивидуалистическую тенденцию, чрезвычайно типичную для образа мыслей польских марксистов XIX века и четко отмежевывавшую их от либеральных позитивистов. Эта тенденция проявлялась не только в общих — эпистемологических и социологических — теориях, но и в методологических концепциях. Преодоление «гносеологических робинзонад» путем социологического и исторического толкования как познания, так и познающего шло рука об руку с антиноминализмом в методологии. Типичный пример подхода такого рода — методологические размышления Кшивицкого, в которых выявляется роль абстракции в науке и подчеркивается важность идеализации метода. В глазах Кшивицкого «Капитал» Маркса представлял собой гениальный образец применения идеализированного («логического») метода.

¹ O. Lange. *Ekonomia polityczna. Zagadnienia ogólne*. Warszawa, 1959, str. 279—280. О теории «классового восприятия» Келлес-Крауза см.: K. Kelles-Krauz. *Pisma wybrane*. Warszawa, 1962, t. I, str. 35—41.

² См.: A. Gramsci. *La così detta "realta del mondo esterno"*. — In: "Guaderni del carcere", Ed. critica a cura di V. Gerratana. Torino, 1975, p. 1411—1416.

4. Прошлое и настоящее

Антииндивидуалистическая тенденция в воззрениях первых польских марксистов выразилась также в особой идеализации первобытнообщинных форм общественной жизни, описанных в работах Бахофена, Маурера, Мэна, Мак-Леннана, Тэйлора и Моргана. По мнению Крусиньского, лишь первобытное общество, где единственным типом связующих нитей были родственные узы, было подлинно «естественным» и «органическим». В цивилизованных обществах, расколотых на антагонистические классы, он отмечал неуклонный распад естественных общественных связей, рост противоречий и центробежных стремлений, достигающий высшей точки при капитализме (в этом отношении он вступил в полемику со Спенсером, по утверждению которого именно капитализм, приводящий разделение труда к максимальному развитию и усложнению, является самой «органической» социальной системой). Бесклассовое общество будущего, на взгляд Крусиньского, должно явиться возвратом — на более высоком уровне — к изначальным, «естественным» общественным отношениям. Он был убежден, что только после преодоления классовых антагонизмов смогут проявить себя позитивные аспекты экономической интеграции, результаты достигнутого обществом высокого уровня разделения труда: тогда исчезнут эгоизм и обособленность индивидов, общество станет подлинно единым организмом, наделенным коллективной памятью и коллективным сознанием, то есть собственной «социальной душой».

Аналогичные рассуждения прослеживаются в статьях Кшивицкого. Он не раз подчеркивал, что общества, основанные на родственных связях, например индийская община, представляют собой более высокий тип социализации, нежели цивилизованные общества капиталистической Европы¹. Его типология общественных систем была дихотомической, основанной на различении двух основных категорий социальных отношений: во-первых, личных отношений, объединяющих индивидов узами взаимной солидарности как человеческих существ, и, во-вторых, объективных отношений, объединяющих людей через посредничество вещей. Первый род общественных отношений преобладает в первобытном обществе, основанном на кровном родстве, второй типичен для всех классовых обществ. Эти последние Кшивицкий зачастую определяет понятием «территориальные общества». В территориальном обществе основой человеческих взаимоотношений всегда является определенная территориальная единица (де-

¹ См.: S. Krusinski. *Dusza społeczna*. — In: "Pisma zebrane". Warszawa, 1958.

ревня, город, государство), в пределах которой люди вступают в определенные связи друг с другом через свои отношения к вещам. В этих обществах, следовательно, люди являются «простым придатком, живым органом мертвых вещей»¹. В своих предсказаниях будущего Кшивицкий был очень осторожен, но внутренняя логика его воззрений показывает, что социалистическое общество у него ассоциировалось с преодолением овеществленных общественных отношений, возвратом к естественным, личностным социальным связям.

В анализе и критике овеществленных социальных отношений Кшивицкий, как легко догадаться, опирался на Марксов анализ товарного фетишизма, но с одним характерным отличием: автор «Капитала» рассматривал овеществление общественных отношений как явление, проистекающее из развитого товарного производства, то есть типичное только для капитализма; польский же социолог приписывал указанному феномену более широкий смысл, усматривая наличие овеществления отношений во всех общественных системах, где существует разделение на классы и частная собственность. Это согласовывалось и с точкой зрения крусиньскистов, которые обычно противопоставляли социализм всем классовым обществам, видя в нем диалектическое возвращение к коллективистским ценностям первобытнообщинного строя.

Келлес-Крауз, вынашивавший идею создания научной социальной психологии, которая основывалась бы на историческом материализме, попытался представить эту точку зрения как пример некоего всеобщего закона. Закон этот он сформулировал и определил как «закон революционной ретроспекции». В действительности это было социально-психологическое переосмысление гегелевского «отрицания отрицания» и концепции круговорота в философии истории Джамбаттисты Вико². По мнению Келлес-Крауза, «идеалы, с помощью которых движения реформаторов стремятся заменить существующие общественные нормы, всегда обладают сходством с нормами более или менее далекого прошлого»³. Источником идей для будущего всегда является прошлое. Борьба за радикальное преобразование общества со всей очевидностью предполагает разрыв с настоящим, а также с недавним прошлым. Такая борьба вдохновляется более отдаленным прошлым: чем оно более отдаленное, тем радикальнее идеал обновления. Пролетарские идеалы противостоят всем формам эксплуатации и деления на классы — следовательно, черпать эти идеа-

¹ L. Krzywicki *Rozwój Kultury materialnej, wiezi społecznej i pogladu na swiat*. — In: «Swiat i Czlowiek». Warszawa, 1912, № 3, p. 85—86.

² Келлес-Крауз настолько восхищался Вико, которого считал одним из величайших мыслителей, что даже написал очерк «Диалектика общества в философии Вико». См.: K. Kelles-Krauz. *Pisma wybrane*, t. I, str. 169—187.

³ Ibid., str. 250.

лы следует в более далеком прошлом, в первобытнообщинном строе.

Келлес-Крауз не считал свой «закон революционной ретроспекции» ревизией или исправлением исторического материализма. Более того, он выступал против всех попыток немецких ревизионистов поставить под вопрос определяющую роль экономического фактора в истории и, стремясь подчеркнуть свою верность этому тезису, назвал собственную концепцию «моноэкономизмом». Теория «революционной ретроспекции», по его мнению, применима лишь в области социальной психологии: она была выработана не с целью исправления или «дополнения» марксизма, а единственно для того, чтобы дать теоретическое объяснение тому специфическому способу, с помощью которого общественное сознание формируется экономическими условиями. Обобщая, он утверждал, что каждая экономическая формация удовлетворяет и развивает одни потребности за счет других, развившихся при предшествовавшей формации и подавленных новой. Носителями этих «подавленных» потребностей выступают угнетенные и эксплуатируемые классы, из чего следует, что идеалы этих классов соответствуют архаическим нормам прошлого.

Этой концепции давались разные оценки. Некоторые исследователи-марксисты считают, что независимо от своих намерений Келлес-Крауз — подобно Абрамовскому, с которым он солидаризировался и чьи работы внимательно читал, — фактически стал на идеалистические позиции «феноменализма» и психологизма¹. Подобная критика представляется нам чересчур резкой. Более уравновешенной выглядит оценка Кшивицкого, по мнению которого Келлес-Крауз «слегка видоизменил» исторический материализм, придав большее значение историческим традициям². Кроме того, теорию «исторической ретроспекции», по-видимому, можно оценивать и в отрыве от общих, «феноменологических» позиций ее автора. Ведь речь идет, помимо всего прочего, не о некоей всеобъемлющей теории, а лишь о теоретическом объяснении некоторых исторических явлений, отмеченных также и Марксом. Сам Келлес-Крауз приводит знаменитое место из «Восемнадцатого брюмера Лун Бонапарта», где говорится о значении традиций. Если бы он мог познакомиться с перепиской Маркса, то нашел бы подтверждение своим мыслям в письме Маркса к Энгельсу от 25 марта 1868 года, где автор «Капитала» пишет, что «вторая реакция» на французскую революцию и связанное с ней Просвещение «заключается в том, чтобы заглянуть за пределы средневековья в пер-

¹ См.: A. Schaff. *Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej*. Warszawa, 1950.

² См. предисловие Кшивицкого к первому изданию: K. Kelles-Krauz. *Pisma wybrane*, t. I, str. 10.

вобытную эпоху каждого народа», и что эта вторая реакция «соответствует социалистическому направлению»¹. А еще более убедительное подтверждение своему тезису он обнаружил бы в известных набросках письма Вере Засулич (1881), в которых Маркс утверждает, что коммунизм явится возрождением в более высокой форме «арханческого типа» общинной собственности².

По данному поводу можно добавить, что немаловажные примеры «закона исторической ретроспекции» встречаются в идеологии польских демократов романтической поры, мысленно обращавшихся к старинному славянскому коммунизму и теориям русских народников, в которых идеализировали древний институт русской сельской общины. Келлес-Крауз очень хорошо знал как польскую демократическую традицию, так и русское народничество³; весьма вероятно поэтому, что именно такого рода примеры стояли перед его мысленным взором, когда он приступил к теоретическому осмыслению диалектики ретроспекции.

В числе теоретических концепций первых польских марксистов следует упомянуть также теорию Кшивицкого о «бродячих идеях»⁴. Она представляла собой косвенный ответ на критику, обращенную в адрес польских марксистов одним из представителей «варшавского позитивизма», Владиславом Всеклицей, который опубликовал в 1882 году памфлет «Фантазии польских социалистов по поводу доктрины их учителя». В памфлете утверждалось, что осуществление социализма в условиях Польши — преждевременное и невозможное предприятие. Говорилось, что поскольку необходимой предпосылкой социализма выступает максимальный уровень капиталистического развития, то распространение социалистических идей в отсталой стране есть анахронизм, аномалия, наносящая ущерб нормальному, естественному развитию; польские же социалисты не понимают простой истины: то, что на Западе — наука, в их стране — лишь утопия. В сущности, речь здесь шла о тех самых полемических аргументах, к каким прибегали в своей полемике с социалистами и русские либералы, тоже обращавшиеся с этой целью к авторитету Маркса⁵. Как правило, они ссылались на предисловие Маркса к первому немецкому изданию «Капитала», где говорится, что законы общественного развития прокладывают себе путь с

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, с. 44.

² См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 402.

³ См. его статью о социологических идеях Н. К. Михайловского: К. Kelles-Krauz. Pisma wybrane, t. I, str. 360—369.

⁴ Она была развита в его работе «Идея и жизнь», опубликованной в 1888 году.

⁵ См.: А. Л. Реуэль. Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX века и марксизм. М., 1956, с. 139—140.

«железной необходимостью» и что отсталые страны должны пройти те же фазы развития, которые уже оставлены позади развитыми странами. Речь шла о серьезной проблеме, и польские социалисты чувствовали, что им необходимо осмыслить ее и найти для нее собственное решение.

Рассуждение по этому поводу Кшивицкого вызывает в памяти статью Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения», а также доводы Маркса из уже упоминавшихся набросков письма Вере Засулич. Кшивицкий решительно утверждал, что все великие исторические идеи уходят корнями в «потребности жизни», то есть в определенные социальные и экономические условия. Идеи, намного опережающие свое время, осуждены оставаться бесплодными утопиями; чтобы сделаться силой, способной творить историю, они должны изменить самим себе. Это не значит, однако, что идеи, возникшие в передовых странах, не содержат ничего полезного для экономически отсталых обществ. Великие исторические идеи всегда порождаются экономическими условиями данной конкретной страны, но вскоре обретают самостоятельность и начинают «блуждать» по другим странам. Таким образом, когда идея, возникшая в обществе, ушедшем дальше по пути эволюции, начинает действовать в более отсталой, но развивающейся стране, она становится самостоятельным двигателем ее прогресса и ускоряет ее историческое развитие. Прекрасным примером превращения такого рода, по мысли Кшивицкого, была та роль, которую древнеримское право сыграло в развитии европейского капитализма: оно дало юридические модели контрактов, которые соответствовали потребностям складывающихся торговых отношений, связанных с ростом товарного производства, и, следовательно, обеспечивало западной буржуазии отличное решение ее юридических проблем. Кшивицкий считал, что аналогичную роль выполняет распространение современного социализма в отсталых странах: оно позволяет трудящимся и прогрессивной интеллигенции перешагнуть в процессе собственной идейной эволюции промежуточные фазы буржуазной демократии и утопического социализма и тем самым облегчает и ускоряет социально-экономическое развитие. По своей внутренней логике эта концепция опровергала не только точку зрения либеральных критиков марксизма в Польше, но и теоретические позиции социал-демократов, истолковывавших марксизм в духе позитивистского эволюционизма¹.

Чтобы глубже проанализировать социологические концепции первых польских марксистов, их пришлось бы рассмат-

¹ См. введение А. Мольской к изданию: "Pierwsze pokolenie marksistów polskich i polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej. 1878—1939", str. LXXVII.

ривать в контексте других идейных течений в Польше последней четверти XIX века. Этот период отмечен именами многих талантливых польских социологов, таких, как Болеслав Лимановский, теоретик ППС, сочетавший идеи Конта с теоретическим наследием польских мыслителей-романтиков; Зигмунд Балицкий, теоретик «интегрального национализма»; Людвик Гумплович, завоевавший в последующие годы международное признание; Эдвард Абрамовский, Леон Винярский и другие. Со своей стороны и первые марксисты сыграли важную роль в закладке основ польской социологической традиции. Чтобы полностью оценить значение сделанного ими, следует вспомнить, что путь к научной карьере для них был наглухо закрыт: ни в русской, ни в прусской частях Польши не существовало польских высших учебных заведений, в Краковском же и Львовском университетах кафедры общественных наук находились в руках консервативных клерикалов. В подобных условиях Кшивицкий мог надеяться получить кафедру только в русском Варшавском университете, однако он не в состоянии был бы принять ее по патриотическим соображениям. Преподаватель по призванию, он на протяжении многих лет читал лекции на нелегальных, подпольных курсах. Такие курсы устраивались в Варшаве на частных квартирах, и их участники по соображениям безопасности постоянно переезжали с одного места на другое, из-за чего эти курсы нередко называли «летучим университетом». Многие другие польские исследователи того времени — как правило, лучшие — находились в таком же положении и принимали для себя такое же решение.

5. Келлес-Крауз и национальный вопрос

Поскольку Польша была поработенной страной, то, само собой разумеется, одним из важнейших вопросов для польских мыслителей являлся «**национальный вопрос**» в самом широком смысле этого понятия. Не удивительно, что и польские марксисты уделяли ему большое внимание. Самый значительный вклад в его разработку внесли Роза Люксембург и Келлес-Крауз. Что касается первой, то она широко известна на Западе и ее идеи рассматриваются в других главах настоящего тома. Работы же Келлес-Крауза по национальному вопросу, написанные на польском языке в 1900—1904 годах¹, остались неизвестными для западных ис-

¹ Речь идет, в частности, о следующих работах: "*Niepodległość. Polski w programie socjalistycznym*" (1900); "*Kwestia narodowosciowa w Niemczech*" (1901); "*Nowa teoria narodowosci w Austrii*" (1903); "*Program narodowosciowy socjalnej demokracji austriackiej*" (1904). Переизданы в: *K. Kelles-Krauz. Pisma wybrane*, t. II.

следователей, которые обычно сосредоточивают внимание на Розе Люксембург, не заботясь о выяснении взглядов ее оппонентов из числа польских социалистов. Подобное отношение проистекает из широко распространенного убеждения, будто в рядах такой марксистской партии, как ППС, не было теоретиков, достойных внимания. Это верно лишь отчасти: влиятельный деятель ППС Келлес-Крауз, без сомнения, был выдающимся мыслителем и страстным марксистом.

В спорах с Розой Люксембург Келлес-Крауз, естественно, останавливался и на польском вопросе. Он отвергал ее тезис о том, что русские рынки необходимы для развития польской промышленности и что по этой причине Польша должна оставаться объединенной с Россией. Присоединение, утверждал Келлес-Крауз, отнюдь не необходимо для экономического сотрудничества и торгового обмена. Оно неспособно гарантировать полякам даже то, что царское правительство в один прекрасный день не воздвигнет таможенного барьера между Королевством Польским (то есть русской частью Польши) и Россией, если только это будет к выгоде русских промышленников. И вообще, считал он, сводить важные политические вопросы к простым соображениям хозяйственной целесообразности — значит грешить «экономизмом», типичным для «аполитичных» анархистов и народников, но совершенно чуждым марксизму. Важнейшим марксистским доводом в пользу независимой Польши служил, по его мнению, тот признанный Энгельсом в «Предисловии к польскому изданию „Манифеста Коммунистической партии“ 1892 года» факт, что польский рабочий класс — более развитый, более зрелый и более многочисленный пропорционально населению, чем русский рабочий класс. С точки зрения Келлес-Крауза, русское господство над Польшей затрудняло демократическое преобразование России, ибо, как неоднократно подчеркивали Маркс и Энгельс, «не может быть свободен народ, угнетающий другие народы»¹.

Мысль Маркса и Энгельса о том, что национальное самоопределение не следует рассматривать как некое абсолютное, неотъемлемое право народа, по сути своей верна: сепаратистские движения малых и культурно отсталых наций шли в направлении, прямо противоположном интересам социалистического преобразования Европы. Польша, однако, не относилась к этой категории стран: она, если воспользоваться терминологией Энгельса, представляла собой «историческую нацию», более развитую, чем Россия, в области экономики и культуры, более близкую к Европе и дальше продвинувшуюся по пути к социализму. Подлинная проблема состояла в судьбе литовского, белорусского и украинского на-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 509.

селения, включенного в состав прежнего польского государства. Придерживаясь старой позиции Маркса и Энгельса, Келлес-Крауз считал, что эти нации недостаточно созрели для того, чтобы конституироваться в независимые государства, но в отличие от Энгельса не считал их простыми «национальностями», то есть этническими группами, неспособными развиться в самостоятельные современные нации. Поэтому он предлагал, чтобы они развивали собственное национальное сознание, оставаясь на федеративных началах в составе Польши, возрожденной и социалистической. Подобный федеративный союз, утверждал он, был бы гораздо полезнее для их национального развития, нежели дальнейшее пребывание в составе Российской империи, самодержавной и «азиатской» по своей сути. Окончательное разрешение этой проблемы, а стало быть, и польского вопроса зависело, по мысли Келлес-Крауза, от организационно-воспитательной работы польских социалистов: будущим границам Польши предстояло определяться сферами территориальной деятельности ППС.

Совершенно иным по сравнению с отношением к Розе Люксембург и ее «Социал-демократии Королевства Польского и Литвы» было отношение Келлес-Крауза к первым польским марксистам из партии Варыньского «Пролетариат». Существует, говорил он, определенная диалектика в развитии пролетарского сознания и рабочего движения. На первой стадии его от национального сообщества должна оторваться пролетарская партия, призванная утвердить и отстоять собственные классовые позиции. После этого, однако, пролетарское движение должно преодолеть свое отчуждение от национального сообщества, взяв на себя ответственность за разрешение национальных проблем и возложив на трудящихся роль руководящего класса нации. Первые польские марксисты олицетворяли начальную стадию этого развития. Они отвергали идею независимости Польши, но в то же время, пробуждая в польских рабочих чувство человеческого достоинства, порождали у них также чувство национального достоинства и тем самым — вольно или невольно — вносили свой вклад в дело национального освобождения. Случай Розы Люксембург был в глазах Келлес-Крауза совсем иным: ее партия действовала в других, более зрелых условиях, а следовательно, ее отказ от борьбы за польскую независимость являлся лишь выражением близорукого сектантства, упрямого цепляния за примитивную фазу развития классового сознания пролетариата.

В первые годы существования Польской Народной Республики Келлес-Крауз был осужден как националист, хуже того — как маскирующийся под социалиста «империалист», поскольку своими работами он дал псевдомарксистские до-

воды для оправдания похода Пилсудского на Киев¹. Более внимательный подход позволил разглядеть в его размышлениях ценное марксистское содержание, и ныне его работы по национальному вопросу, как правило, пользуются немалым уважением, хотя его идеи насчет восточных границ Польши по-прежнему вызывают большие оговорки². На мой взгляд, Келлес-Крауз был единственным довольно крупным мыслителем, который при всех изменениях обстановки пытался хранить верность идеям Маркса и Энгельса по польскому вопросу. Подобно австрийским марксистам, он понимал, что идеи Маркса и Энгельса о так называемых народах без истории (*geschichtslose Völker*), заслуживших славу реакционных и осужденных на гибель ради европейского прогресса, несостоятельны³. При этом, правда, он считал, что не лишено смысла проводить различия между такими нациями, как Италия, Польша и Венгрия, которые во всех отношениях были готовы к принятию независимости и, более того, независимость или объединение которых, бесспорно, могли бы лишь способствовать интересам развития Европы в прогрессивном направлении, и нациями, чье право на самоопределение вследствие их малых размеров либо экономической и культурной отсталости могло считаться спорным с точки зрения политики Интернационала (в эту вторую категорию Келлес-Крауз включал литовцев, украинцев и белорусов). Очевидно, что Келлес-Крауз недооценивал силу современного национализма, опирающегося на этнические и языковые критерии, и, таким образом, по существу, поддерживал отжившую свой век идею реставрации — пусть даже в форме свободной федерации — старого польского государства. Вместе с тем он внес важный вклад в марксистскую теорию национальностей, рельефно выявив руководящую роль рабочего класса в процессе национально-обновления и борьбы за независимость. Польский пролетариат выступал в его глазах как самый развитый, самый зрелый и современный класс общества, то есть «национальный класс» в марксистском значении этого термина⁴.

¹ См.: *A. Schaff. Narodziny i rozwój.*

² См., например: *M. Waldenberg. Z problematyki narodu w polskiej myśli polskiej czasówokresu zaborów.* — In: «*Idee i koncepcje narodu w myśli polskiej czasów porozbiorowych* (pod red. I. Gockowski i A. Walicki). Warszawa, 1977. str. 246—266.

³ См.: *G. Haupt. Les marxistes face à la question nationale: histoire du problème*, p. 21 (Introduction à «*Les marxistes et la question nationale 1848—1914. Études et textes*», Sous la direction de G. Haupt, M. Lowy et C. Weill. Paris, 1974, p. 21).

⁴ Марксова теория «национального класса» разбирается в публикации: *F. S. Bloom. The World of Nations. A Study of the National Implications in the Work of Karl Marx.* New York, 1941. p. 57—64. В последнее время значение этой теории подчеркивал Г. Лихтхейм, писавший: «В целом Марксова концепция «национального класса» оригинальна и в высшей

В противоположность как Розе Люксембург, так и сторонникам традиционного патриотизма Келлес-Крауз отнюдь не полагал, что классовое сознание польских трудящихся есть что-то чуждое, малозначительное или враждебное патриотизму; напротив, он считал его самой современной и развитой формой польского национального сознания. Этот тезис был выдвинут также Станиславом Бжозовским (1878—1911), который в революционные 1905—1906 годы открыл в польском рабочем классе единственную общественную силу, которая, сражаясь за национальную независимость, в то же время вносила наиболее существенный вклад в экономическое и духовное обновление Польши. В начале XX века, когда Марксова идея «национального класса» оказалась почти совсем забытой, такого рода позиция была самобытной и заслуживала внимания как попытка органично сочетать марксизм с прогрессивным пролетарским патриотизмом.

6. «Философия труда» Бжозовского

Только что упомянутый нами литературный критик и философ Станислав Бжозовский прошел впечатляющий путь духовной эволюции, в рамках которой марксизм был всего лишь одним из этапов, пусть и очень важным¹. До революции 1905—1906 годов он рассматривал исторический материализм как последнее слово натурализма в общественных науках, как концепцию «объективного» социально-экономического развития, совершенно независимого от человеческой воли и подчиненного «железным законам» исторической необходимости. После 1906 года, однако, он пришел к заключению, что подобная интерпретация марксизма, характерная для руководителей II Интернационала, в действительности представляет собой позитивистское искажение подлинного смысла марксизма, этой, по определению Лабриолы, «философии практики»². Марксизм, писал он, на самом деле есть

степени соответствует теории и практике современного коммунизма. Поражает факт ее игнорирования» (*G. Lichtheim. Marxism. An Historical and Critical Study. New York, 1962, p. 86*).

! Из многочисленных книг Бжозовского упомянем здесь: *"Kultura i życie"* (1906), *"Idée"* (1910), *"Legenda Młodej Polski"* (1910), *"Głosy wśród nocy"* (1912). Помимо этого, он написал исторический роман о русских революционерах из «Народной воли» под названием *"Plomienie"* («Пламя»). Под редакцией М. Сроки была издана также его увлекательная переписка: *S. Brzozowski. Listy. Kraków, 1970, t. I—II*. Самой исчерпывающей из новейших работ об общественно-философских взглядах Бжозовского является публикация: *A. Walicki. Stanisław Brzozowski. Drogi myśli. Warszawa, 1976*.

² См. статью Бжозовского о Лабриоле, перепечатанную в новом издании его труда *«Культура и жизнь»* (*S. Brzozowski. Kultura i życie. Warszawa, 1973*). Бжозовский, который провел последние годы жизни и умер в Италии, был восторженным поклонником итальянской культуры.

антинатуралистическая философия действия, должным образом учитывающая «коперниканский переворот», совершенный в философии Кантом. С его точки зрения, «Тезисы о Фейербахе» доказывают, что Маркс отверг лишь воспринимающую, пассивную концепцию субъекта и заменил ее концепцией активного человеческого субъекта, который приобретает знания о внешнем мире, чтобы бороться в нем, изменять его, подчинять его «субъективным» человеческим целям. Естественно, Бжозовский отдавал себе отчет в том, что в марксизме «активным субъектом» выступает не трансцендентная сила, а коллективный — биологический и исторический — субъект: трудящееся человечество. Чтобы избежать смешения с идеалистическим активизмом Фихте, он назвал свою концепцию «философией труда».

Главной предпосылкой этой философии является тезис о том, что труд ради выживания и развития человека, и особенно физический труд, есть важнейший из видов человеческой деятельности, высший источник наших знаний о внешнем мире и основа господства человека над стихийными силами природы. Бжозовский наделял труд творческой способностью и осмысливал его в социологических и исторических понятиях. С философской точки зрения это означало, что так называемое классическое определение истины лишено смысла, поскольку внешний мир, каким мы его знаем, не есть нечто готовое, «данное», а представляет собой нечто создаваемое нами самими в исторических и социальных процессах коллективного труда. «Природа», какой мы ее знаем (а никакой другой природы не существует, потому что мы ничего не знаем о «вещах в себе»), есть продукт истории, ибо все то, что содержится в нашей идее «природы», есть продукт исторической практики человека. Таким образом, марксизм для Бжозовского был равноценен окончательному опрокидыванию «натурализма», то есть идеи готового, «эмпирически данного» мира, и «интеллектуализма», то есть идеи «чисто теоретического мышления», продукта созерцательной деятельности наблюдателя. Бжозовский считал, что Вико, ведя борьбу с картезианством, был совершенно прав.

Можно сказать, что польский мыслитель превратил исторический материализм в некую эпистемологическую концепцию, которая может быть определена как расплывчатый активистский субъективизм. Очевидными последствиями этого были «антропологизация» и историческая релятивизация истины: вера в некую «надчеловеческую» истину, независимую от человеческой практики, была, по Бжозовскому, равнозначна провозглашению светской теологии. В то же время, однако, он выступал против релятивизма в этике и стремился найти прочную основу для моральных критериев. В конечном счете эту основу он найдет в Марксовой теории стоимо-

сти, которую превратил в общую аксиологию¹. Отношение к труду, по его мнению, может служить всеобщим ценностным критерием, то есть критерием и историческим (поскольку существуют разные системы коллективного труда), и одновременно экзистенциально присущим человеку в каждую данную историческую эпоху, поскольку само человечество создает себя в процессе труда.

Другой важный вывод «философии труда» заключается в утверждении, что так называемые объективные законы природы (или законы истории) дают ложное, овеществленное изображение мира. Это изображение, по мысли Бжозовского, порождается отчуждением интеллигенции, в свою очередь являющейся продуктом отделения бездеятельных производителей идей — для которых мир, каким они его знают, есть «данность» — от людей, которые трудятся и которые фактически творят этот мир. Если сами труженики пребывают в иллюзии относительно «объективности» естественных и исторических процессов, то это происходит исключительно из-за их социально порабощенного положения, которое на протяжении длительного времени выступало необходимым условием развития производительных сил. В этом смысле современный промышленный пролетариат образует класс трудящихся, который впервые в истории имеет возможность освободиться, не вызывая тем самым регресса в господстве человека над природой.

В попытке объяснить идейный генезис «натуралистических» искажений марксизма Бжозовский дошел до теоретического положения о глубинных различиях между философской мыслью Маркса и философской мыслью Энгельса. В программной статье «Исторический материализм как философия культуры», опубликованной в «Нойе цайт» в 1907 году, он приписал Энгельсу ответственность за бессознательную измену марксизму, совершенную во имя «мадонны Эволюции». Энгельс, заявил он, никогда не понимал подлинного смысла диалектики и практики, о чем свидетельствует уже тот факт, что диалектика истории была включена им в контекст «объективной» диалектики природы, хотя само существование такого рода диалектики несовместимо с философской позицией Маркса.

В 1908—1909 годах Бжозовский начал отрываться от марксизма и все больше сближаться с позицией Сореля. Вначале он обратил острие своей критики против Энгельса, особенно против его поздних работ², начиная с «Диалектики

¹ См. его статью «Psychologia i zagadnienie wartosci», перепечатанную в новом издании «Kultura i zycie» (1973).

² Впоследствии эти идеи получают развитие в пространной статье Бжозовского «Анти-Энгельс» (1910), опубликованной в его книге «Идеи». Противопоставление марксизма Маркса марксизму Энгельса (рассматри-

природы»; в дальнейшем же мишенью его нападок стал сам марксизм в целом, за которым он в конечном счете стал признавать лишь значение социального «мифа» в сорельянском смысле слова. К переходу Бжозовского на позиции едкого скептицизма по отношению к социалистическому движению его подтолкнули, бесспорно, тягостные переживания личного характера¹. Что же касается его философской эволюции², то ее следует рассматривать в связи с получившей развитие в начале века критикой марксизма II Интернационала. Напомним, что эта критика выражалась не только в полемических выступлениях ревизионистов, но и в трудах таких мыслителей, как Лабриола и Сорель, а в дальнейшем приобрела законченный облик в философских разработках Лукача и Грамши, действовавших в рамках марксистской традиции.

ваемому в качестве позитивистского искажения марксизма) служит одним из многократно повторяющихся мотивов в книге Лихтхейма (*G. Lichtheim. Marxism*). В поисках истоков этого противопоставления Лихтхейм, естественно, обращается к Лукачу (работа «История и классовое сознание») и к Коршу (работа «Материализм и философия»). П. Брейз в американском журнале «Телос» (1970, № 5, с. 1—2) замечает, что идея глубинной несовместимости идей Маркса и Энгельса была выдвинута малоизвестным австрийским марксистом Эрвином Даном в одной из его статей (*Э. Дан. Энгельс как теоретик. «Коммунизм», XII, 1920, № 3*). Однако, насколько я могу судить, никто на Западе не знает, что впервые суждение такого рода было высказано Бжозовским как раз на страницах официального органа германской социал-демократии.

! В мае 1908 года русский социал-революционер Влад. Бурцев обвинил Бжозовского в том, что тот состоит на службе у царской тайной полиции. Это обвинение было предано гласности органом социалистической партии Розы Люксембург и повторено также ППС, партией, к которой Бжозовский чувствовал себя наиболее близким в 1905—1907 годах. Польский философ немедленно потребовал созыва третейского суда из представителей разных социалистических партий (кроме двух польских партий, были приглашены также РСДРП и еврейский Бунд). Однако этот суд чести не пришел к единому выводу, хотя и не нашел никаких убедительных свидетельств против Бжозовского. Факты, относящиеся к данному эпизоду, тщательно воспроизведены М. Срокой в его вступительной статье к изданию переписки Бжозовского.

² Для философского творчества Бжозовского была характерна способность черпать вдохновение из разных источников, не владея при этом в эклектизм. Не говоря уже о его интересе к польской философии романтической поры, а позже — о влиянии на него Сореля и Бергсона, немалое воздействие на него оказал русский «неомарксизм», который он изучил и усвоил в особенности после встречи с Луначарским на Капри. На Луначарского произвело впечатление точное совпадение их взглядов на Плеханова. См.: *A. Walicki. Stanislaw Brzozowski and the Russian "neomarxists" at the beginning of the XX century.* — In: «Canadian-American Slavic Studies», 1973, № 2.

Валентино Джерратана

АНТОНИО ЛАБРИОЛА И ВНЕДРЕНИЕ МАРКСИЗМА В ИТАЛИИ

Представляя в декабре 1896 года французской — а фактически и международной — читательской публике «Очерки материалистического понимания истории» Антонио Лабриолы, Сорель писал в предисловии, что «опубликование этой книги является вехой в истории социализма». Уже каких-нибудь два года спустя, увлеченный пропагандой «кризиса марксизма», тот же Сорель остерегся бы повторить подобную оценку и наверняка не назвал бы работу Лабриолы «книгой, которая нужна тем, кто хочет получить представление о пролетарских идеях»¹. Престиж Лабриолы испытывал постоянные колебания, но, даже когда этот престиж был достаточно высоким, он не перерастал в реальное влияние на окружающих. Троцкий в своих мемуарах вспоминает восторг, вызванный в его юношеском мозгу чтением «Очерков» Лабриолы; отдельные характерные выражения из них он мог повторить наизусть и через 30 лет². Ленин, прочтя «Очерки» уже в 1897 году, тоже оценил их как «чрезвычайно дельную и интересную вещь» и рекомендовал побыстрее перевести книгу на русский язык³. И все же, по-видимому, нельзя говорить о сколько-нибудь заметном влиянии Лабриолы на Троцкого или на Ленина. Более противоречивым и в любом случае более сложным был феномен Грамши, идейное формирование которого проходило преимущественно под знаком других влияний. Несомненно, однако, что и для Грамши — как было отмечено разными исследователями⁴ — период признания Лабриолы имел место за много лет до критических размышлений над его работами и соответствующего переосмысления некоторых его теоретических положений.

Но даже если оставить в стороне различия между престижем и влиянием (в общем-то самоочевидные, но зачастую

¹ A. Labriola. *Essais sur la conception matérialiste de l'histoire*. Paris, 1897, p. 19.

² Троцкий. *La mia vita*. Milano, 1930, p. 104—105.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, с. 59.

⁴ V. Gerratana. *Ricerche di storia del marxismo*. Roma, 1972, p. 157—158; L. Dal Pane. *Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana*. Torino, 1975, p. 463—464; C. Luporini. *Il marxismo e la cultura italiana del Novecento*. — In: «Storia d'Italia». Torino, v. V, p. 1587—1588.

забываемые и тогда, когда речь идет о Марксе), определение места Лабриолы в истории марксизма постоянно сопряжено с трудностями. Они возникают сразу же, как только мы пытаемся выяснить главные черты этой фигуры. Кто он — чистый теоретик? Простой популяризатор марксизма? Самобытный мыслитель? Классик младшего ранга? Духовный вождь итальянских социалистов? Профессор, склонный к злословию? Уже в высказываниях современников — в зависимости от повода и ситуации — можно встретить все эти столь различные характеристики.

1. Колебания в истолковании и оценке

Поучительно с этой точки зрения сопоставить два некролога, посвященных Лабриоле: один в «Нойе цайт», другой в «Критике социале». Памяти Антонио Лабриолы, умершего в Риме 2 февраля 1904 года, теоретический орган германской социал-демократии, в то время самый авторитетный социалистический журнал Европы, посвятил обширную редакционную статью, написанную Францем Мерингом, но опубликованную без подписи¹. Воздавая должное покойному и без колебаний называя его «духовным вождем итальянских социалистов», автор статьи подчеркивал два характерных момента, свидетельствовавших об особых взаимоотношениях Лабриолы с марксизмом:

«а) по духу своему он был сокровенно близок Марксу и Энгельсу. Совершенно независимо от них Лабриола проделал тот же самый путь интеллектуального развития;

б) даже если бы и существовал некий ортодоксальный марксизм (а такого не существует), Лабриола никогда бы не был его последователем. Этот тонкий мыслитель был наделен слишком свободным и независимым духом, чтобы стать ортодоксом».

По этим двум характерным чертам Лабриола без труда узнал бы себя, ибо, в сущности, они лишь отражали то, что он думал о себе самом и о марксизме; меньше, должно быть, он согласился бы со званием «вождя итальянских социалистов». И вовсе не потому, что ему когда-либо была чужда судьба итальянского социалистического движения, как давалось понять между строк некролога в «Критике социале». Написанная и помеченная инициалами Турати краткая статья, загнанная на предпоследнюю страницу журнала, откровенно преследовала цель преуменьшить вклад Лабриолы

¹ См.: «Neue Zeit», XXII, 1903—1904, В. I, S. 585—588. Авторство неподписанных редакционных статей можно установить по ежегодному указателю материалов, опубликованных в журнале.

в борьбу за социализм. Сами похвалы и позитивные оценки, в немалом числе содержащиеся в заметке, производили впечатление, будто речь идет об ограничении заслуг Лабриолы областью, внешней по отношению к практическим интересам движения. Турати показывал, что высоко ценит «эрудицию» и «тонкость дарования» покойного, уверял, что восхищается «полетом мысли, выписывавшей самые тонкие узоры и отмеченной самыми удивительными оттенками»; все это давало ему основание воздать почести «самоу просвещенно-критическому уму, какой когда-либо оказывал честь итальянскому социалистическому движению», но в то же время исключить, чтобы от столь великой «чести» движение получило хоть какие-нибудь позитивные плоды. «В основном критическая, натура его таланта не позволила ему стать ни активным бойцом партии в полном смысле этого слова, ни деятелем, сотрудничающим в осуществлении наших позитивных акций, в которых он различал прежде всего упущения и неизбежную непоследовательность». За этими словами снова шли похвалы, но они не смягчали холодности заключительного прощального напутствия: «Мы будем часто возвращаться к его книгам в краткие мгновения досуга, которые жизнь активного члена партии оставляет для учебы»¹.

Блистательная и эрудированная научная проза для мгновений досуга, а не теория, способная быть руководством к действию. Вследствие такой ограничительной оценки Турати мог обойтись и без той самой серьезной оговорки, с помощью которой он по меньшей мере десять лет пытался устранить Лабриолу-политика, а именно обвинения в злословии. Обвинение такого рода в журнальном некрологе выглядело бы неуместным, но это не значит, что оно было забыто. Спутница жизни Турати Анна Кулишова писала ему 5 февраля 1904 года: «Прочитал ли ты в «Трибуне» статью Растиньяка (Винченцо Морелло) об Антонио Лабриоле? Она показала мне лучшей из всех более или менее преувеличенно апологетических материалов, появившихся в газетах. Этот образ современного Сократа, который становится навсегда кафе, страшно язвителен, но в то же время правдив»². В действительности же самым едким в сравнении Растиньяка был даже не сам по себе этот образ, а намек на причины, по которым Сократ в Лабриоле уступил место оратору, разглагольствующему в кафе: «Поскольку город больше не предоставлял в его распоряжение форума, ему не оставалось ничего иного, как искать прибежище в кафе»³. Почти деся-

¹ *Critica sociale*, XIV, 1904, p. 63.

² Текст письма приведен в публикации: A. Schiavi. Filippo Turati. Roma, 1955, p. 159.

³ См.: *Rastignac (Vincenzo Morello). Labriola*. — In: «*Tribuna*». Roma, 4 febbraio 1904.

тилетием раньше Энгельс, не прибегая ни к каким метафорам, говорил, в сущности, о том же самом. Отвечая Турати, который в одном из предыдущих писем жаловался на «злословие» Лабриолы, он писал: «Что касается... Лабриолы, то злой язык, который Вы ему приписываете, возможно и имеет некоторое право на существование в такой стране, как Италия, где социалистическая партия, как и все другие партии, подверглась нашествию своего рода саранчи, этой «деклассированной буржуазной молодежи», которой так гордился Бакунин»¹.

Чтобы лучше понять суть проблемы и быть в состоянии ориентироваться среди этих противоречивых мнений, необходимо обратиться к истории итальянского рабочего движения, с которой связано развитие личности Лабриолы.

2. Грезы итальянской революции

Упоминание Энгельса о «деклассированной буржуазной молодежи», которой так радовался Бакунин, видя в ней наилучшую гарантию революции в Италии, напоминает определение, данное этой молодежи самим Бакуниным в 1872 году. В одном из писем испанскому социалисту Франсиско Мора простодушный апостол анархизма следующим образом аргументировал свой оптимистический революционный прогноз для Италии: «Народ, как в деревнях, так и в городах, находится в совершенно революционном, то есть экономически-отчаянном положении, и массы начинают организовываться самым серьезным образом, их интересы начинают превращаться в идеи.— До настоящего времени в Италии не хватало не инстинктов, а именно организации и идеи. То и другое формируется, так что Италия, после Испании и вместе с Испанией, быть может, является в настоящее время наиболее революционной страной. В Италии есть то, чего не хватает другим странам: пылкая, энергичная молодежь, совершенно выбитая из колец, без перспектив на карьеру, не видящая выхода, молодежь, которая, несмотря на свое буржуазное происхождение, в нравственном и умственном отношении не изношена до такой степени, как буржуазная молодежь остальных стран. Теперь она очертя голову бросается в революционный социализм, принимая всю нашу программу, программу Альянса»².

Восемнадцать лет спустя, цитируя отрывок из этого письма в одной из своих корреспонденций в «Социал-демократе»,

¹ Письмо Энгельса Турати от 28 июня 1895 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 405).

² Цит. по: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 451—452.

Лабриола констатировал, что упомянутые ожидания Бакунина были лишь «грезой». «То была,—добавлял он,—не музыка будущего, а наскучивший припев песни, уже выходящей из моды»¹. Проживая в Неаполе, этом «естественном центре итальянского анархизма»², сам он никогда не был очарован бакунинской «грезой». В 1872 году, когда Бакунин писал Франсиско Мора про деклассированную буржуазную молодежь, готовую очертя голову броситься в революционный социализм, Лабриола, правда, уже занимался активной политической деятельностью, но только в противоположном лагере — в рядах неаполитанских умеренных. Судя по десяти корреспонденциям, написанным им тогда для флорентийской газеты «Национе» в связи с муниципальной избирательной кампанией в Неаполе, завершившейся неожиданной победой клерикалов, опыт этой деятельности был отнюдь не вдохновляющим³. Трезво оценивая ситуацию, он видел, что умеренные необратимо утрачивают былую гегемонию, переживают кризис и разложение. Навсегда угасала и его мечта об итальянской революции сверху, возглавляемой теми деятелями исторической Правой, которые были вождями успешно осуществленного политического объединения страны.

Под сенью этой мечты Лабриола вырос. Родившись в Кассино в 1843 году в мелкобуржуазной интеллигентской семье, связанной с патриотическими кругами, юный Антонио в 1861 году переехал в Неаполь для учебы в тамошнем университете. Соприкоснувшись с политической жизнью воссоединенной Италии, он с первых же шагов смог убедиться, насколько огромна дистанция, отделяющая действительность от политических программ и идейных споров. Его пребывание в университете совпало с периодом вторичного расцвета неаполитанского гегельянства, и среди философов он уже вскоре зарекомендовал себя многообещающим специалистом по Гегелю. Однако тяготы повседневной жизни были столь угнетающими, что наложили отпечаток на его интеллектуальное и нравственное формирование. Вынужденный из-за бед-

¹ A. Labriola. *Scritti politici. 1886—1904*. A cura di V. Gerratana. Bari, 1976, p. 243. Источником, благодаря которому Лабриола мог ознакомиться с письмом Бакунина Франсиско Мора, была брошюра (в приложении к которой это письмо и было опубликовано): "L'Alliance de la Démocratie socialiste et l'Association internationale des travailleurs. Rapport et documents publiés par ordre du Congrès de La Haye". Hamburg, 1973.

² G. D. H. Cole. *Storia del pensiero socialista*. V. III: *La Seconda Internazionale. 1889—1914. Parte II*. Bari, 1968, p. 224.

³ Идентифицированные Джузеппе Берти, десять корреспонденций Лабриолы печатались под заголовком «Неаполитанские письма» в «Национе» с 28 июня по 2 августа 1872 года. См.: «Кронаке меридионали», июль—август 1954 года, с. 558—584.

ственного материального положения семьи искать работу еще до окончания университета, он после неоднократных безуспешных попыток наконец в 1863 году удовольствовался — за неимением лучшего — должностью технического сотрудника полицейского управления; место это он получил благодаря покровительству Бертрандо Спавенты, брата тогдашнего министра внутренних дел Сильвио Спавенты. Молодой студент философии, уже написавший к тому времени работу, в которой подвергался критике целлеровский «возврат к Канту» и раскрывалось значение гегелевской диалектики, не мог не чувствовать униженности подобного положения. Должно быть, на многие годы запала ему в душу та обида, которая отчетливо прозвучала в письме невесте от июля 1864 года: «Мое личное положение и общее состояние общества, в котором я живу, мои свободные стремления и угнетающая атмосфера, которой я вынужден дышать,— все это, соединившись, порождает у меня глубочайшее недовольство; и это недовольство — слабость ли моего таланта тому виной или отсутствие честолюбия — мне до сих пор не удается превратить в начало серьезной работы»¹.

Это состояние раздражения и недовольства окружающим миром и самим собой, порой порождающее соблазн замкнуться в личном, уйти в сокровенное, смириться с существующим положением вещей, не покидает Лабриолу и в 1865 году, когда, сдав экзамены на право преподавания в гимназии, он смог наконец найти себе не столь униженную работу в лицее. Преподавание было для него не менее разочаровывающим опытом, чем вся предыдущая деятельность, да и занимался он им без особого старания и веры в собственные профессиональные способности. Первой попыткой превратить свое недовольство в «начало серьезной работы» явилось его решение возобновить систематические занятия философией, принятое после длительных колебаний между филологией и философией (как вспоминает сам Лабриола в своем первом письме Энгельсу)². Философские очерки, подобные работе о Спинозе, написанной в 1866 году, но опубликованной только после смерти автора, и книге о Сократе, изданной в 1871 году, могут быть истолкованы как этапные моменты выработки критической мысли, которой позже будет суждено войти составной частью в теоретическое осмысление Лабриолой марксизма. Столь же правомерно вместе с тем предположить, что эти работы находились в связи с его политической ориентацией, все еще удерживавшей его в орбите политики умеренных, по отношению к которой, впро-

¹ Цит. по: *L. Dal Pane. Antonio Labriola*, p. 4.

² См. письмо Лабриолы Энгельсу от 2 апреля 1890 года в публикации: *G. Del Bo (edl). La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. Milano, 1964, p. 358—359.*

чем, указанные произведения выступают как потенциально разрушительные. «Критический антиспекулятивизм», отличавший, как подчеркивают исследователи¹, позицию молодого Лабриола от направления Бертрамдо Славенты и гегельянской традиции, в которой Лабриола сложился, еще не был направлен на разрыв с элитарными представлениями о тех задачах возрождения страны, которые предстояли новорожденному итальянскому государству. Пока Лабриола оставался под влиянием подобных представлений, то есть пока ему не удалось полностью изжить грезы о революции сверху, которая сможет восстановить жизненные силы в поверженном в прах итальянском обществе, его внимание было отвлечено от любых других — реальных или фантастических — возможностей. Именно этим и объясняется то, что, проживая в Неаполе в первые годы выхода анархистов на общественную сцену, Лабриола пребывал в полнейшем неведении на этот счет и даже косвенно не был затронут их влиянием.

Дело было еще и в том, что предпринимавшиеся попытки объединить итальянское рабочее движение являлись неудачными и, как казалось, ни к чему путному вообще привести не могли. «Акт братства», принятый в 1864 году съездом итальянских рабочих обществ в Неаполе, оставался простым клочком бумаги, а мадзинистские рабочие общества по-прежнему переживали состояние «разброда и обезглавленности»². Именно кризис мадзинизма создавал благоприятную питательную среду для проповеди Бакуниным своих идей во время его пребывания в Неаполе в 1865—1867 годах. Но, чуждый этому миру, молодой Лабриола не замечал всего этого, и, похоже, ему ничего не было известно о бурной деятельности Бакунина в Неаполе, включая даже публичные выступления последнего³. Точно так же, вероятно, от его внимания ускользнуло — хотя он уже питал интерес ко всему издававшемуся в Германии — объявление в номере неаполитанского еженедельника «Либерта э джуститица» от 27 апреля 1867 года о предстоявшем выходе «Капитала», «произведения мощного и строгого ума Карла Маркса, одного из неутомимых распространителей социальных идей в

¹ A. Zanardo. *Metodo storico e motivi realistici nel giovane Labriola*. — In: A. Zanardo. *Filosofia e socialismo*. Roma, 1974, p. 19—57.

² G. Manacorda. *Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi*. Roma, 1963, p. 94.

³ О деятельности Бакунина в Неаполе см.: M. Bakunin. *Scritti napoletani (1865—1867)*, a cura di P. P. Masini. Bergamo, 1963; A. Romano. *Storia del movimento socialista in Italia*. Bari, 1966, v. I; A. Scirocco. *Democrazia e socialismo a Napoli dopo l'Unità (1860—1878)*. Napoli, 1973; F. Damiani. *Bakunin nell'Italia postunitaria (1864—1867)*. Milano, 1977. Обобщающие сведения обо всем периоде и библиографию см. в: Valiani. *Questioni di storia del socialismo*. Torino, 1975, p. 67—80, 215—226.

Европе». Вместе с анонсом в журнале был помещен перевод большого отрывка из предисловия, «любезно присланного автором». Однако Марксово предупреждение «*De ta fabula narratur*»*, должно быть, звучало тогда в Италии как еще совершенно преждевременное! К тому же успеху бакунизма суждено было еще задержать на немалое число лет организацию социалистического движения в Италии.

3. Кризис и отход от политики

Окончательное созревание кризиса политической умеренности в сознании Лабриолы можно датировать 1872—1873 годами. Осознание им этого кризиса стимулировали, вероятно, разные мотивы, в том числе и порожденные личными заботами. Приблизившись к тридцатилетнему рубежу, Лабриола все еще не обрел того прочного положения в обществе, которое позволило бы ему выйти из состояния «глубокого недовольства», наложившего свой отпечаток, как мы видели, на его первые юношеские опыты. Летом 1871 года он добился присвоения ученой степени и получил права на занятие профессорской должности при кафедре философии истории Неаполитанского университета. Однако на первых порах это практически ничего не меняло в перспективах его устройства. Осенью, взяв длительный отпуск без сохранения содержания, а фактически уволившись из гимназии, преподавание в которой сделалось для него невыносимым, он решил было попытаться счастья в журналистике. Удовлетворительные условия были им найдены наконец в редакции «Унита nazionale», новой газеты умеренных, основанной в Неаполе Руджеро Бонги². На протяжении примерно одного года в 1871—1872 годах, в течение которого длилось его сотрудничество с этим печатным органом, он, видимо, пребывал в иллюзорном убеждении, что, подвизаясь на таком общественном поприще и активно участвуя в политической жизни, сможет внести свой вклад в дело национального возрождения, которое, на его взгляд, и являлось задачей умеренных (Лабриола видел в них не консерваторов, а

* Не твоя ли история это! (лат.). — Прим. ред.

! «Либерта э джустизиа» (еженедельная газета демократическо-социалистического направления, орган одноименной ассоциации) просуществовала недолго: она выходила в Неаполе с 17 августа по 24 декабря 1867 года. См.: *Testi e documenti per la storia del Mezzogiorno, "Libertà e giustizia", edizione integrale a cura di A. Ralli. Salerno, 1977* (текст объявления о предстоящем выходе «Капитала» и отрывок из предисловия Маркса см. на с. 248—250 этой публикации).

² О сотрудничестве Лабриолы в «Унита национале» в 1871—1872 годах см.: *N. Siciliani De Cumis. Studi su Labriola. Urbino, 1976, p. 165—206.*

«уравновешенных революционеров»¹). Горестный опыт неаполитанских выборов 1872 года, ознаменовавший также крах собственных честолюбивых журналистских надежд Лабриолы, привел его к новому кризису.

Справиться с этим кризисом было нелегко. И не только потому, что для него вновь начался период мучительных поисков «устройства», к которым добавились тягостные семейные невзгоды. Как он сам пишет в одном из писем Берtrandо Спаvente в конце 1873 года, во всех этих трудностях ему виделись подтверждение его «прирожденной нелюдимости» и новый стимул к «раздражительности и пессимизму»². Однако к таким настроениям его подталкивало нечто более серьезное, нежели пошлые кулуарные интриги с целью повлиять на исход университетского конкурса, в котором он участвовал в том году. После нескольких месяцев неопределенности и переживаний Лабриола выиграл этот конкурс, что обеспечивало ему вполне приличное положение, но не помогло избавиться от разочарований и склонности к пессимизму. Возглавив в 30 лет кафедру нравственной философии и педагогики Римского университета, он мог бы считать себя удачником, одним из тех, кто сумел добиться своего и перед кем открывается еще более привлекательное будущее. Именно такого рода мысли пытались внушить ему старшие коллеги по факультету, но эти-то утешительные рассуждения как раз и обостряли до крайности его угнетенное состояние.

Сразу же по прибытии в Рим Лабриола находит, что атмосфера в столичных литературно-политических кругах не пригодна для дыхания: «от такого воздуха можно сделаться кретином»³. И это его впечатление не меняется, когда он по праву занимает свое место в храме мужей науки, профессор среди профессоров: в этом «дикий мир» ему по-прежнему нечем дышать. Вокруг себя он видит опиритуалистов и позитивистов, которые состояются друг с другом в интеллектуальном тщеславии и прекраснодушных намерениях осуществлять некое культурное обновление — намерениях, с которыми не сочетается никакое серьезное дело. В письмах к Берtrandо Спаvente Лабриола описывает это окружение в острополюемических тонах, с множеством карикатурных примеров, рассказывая, как он пытается защититься от него с помощью иронии. «Что же до философии, — пишет он, — то я форменно убежден, что в книгах судеб отнюдь не сказано, что творить ее надобно именно в Риме. Более того, этот как раз довод я и выставляю в свою защиту всякий раз, когда

¹ Эта характеристика умеренных повторена Лабриолой в одной из статей 1903 года. См.: *A. Labriola. Scritti politici*, p. 503.

² 123 lettere inedite di Antonio Labriola a Bertrando Spaventa. — In: *“Rinascita”*, supplemento, al № 12, 1953, p. 726.

³ Ibid., p. 722.

меня спрашивают, почему я не участвую в основании итальянской философии. Я отвечаю в этих случаях: „Видите ли, я не имею счастья принадлежать к числу гениальных людей и, следовательно, не могу создать свою собственную философию. Мне приходится приспосабливаться к философии других. Между тем единственная итальянская философия нынешнего столетия, которую я знаю, — это философия Розмини, и мне она не нравится. Поэтому пусть тот, кто считает себя гением, создаст ее, а я потом решу, стоит ли с нею соглашаться”»¹.

Однако глубинные корни кризиса носили политический характер. Позже, в первом письме Энгельсу (1890), Лабриола скажет, что еще с 1873 года, с того момента, как он профессором прибыл в Рим, он был «бессознательным социалистом», поскольку чувствовал себя «решительным противником индивидуализма»².

Но вместе с тем и социализм Лабриолы был совершенно неосознанным, а потому и не поддающимся выявлению. Да и сам Лабриола, вспоминая годом раньше, как он выступал в печати «против руководящих принципов либерального строя»³, предпочел не употреблять столь абстрактных и расплывчатых понятий, как «бессознательный социализм». Выражение это могло иметь смысл только как косвенное признание бесплодности критики индивидуалистического либерализма, лишенной позитивной альтернативы, которая может быть дана лишь социализмом. Критика же либерального индивидуализма у Лабриолы в тот период опиралась на этическое понимание государства, то есть на опору, уже подточенную действительностью, но сохранявшую прочность в сознании философа.

Это не означает, что Лабриола оставался как бы прикованным к гегельянской традиции, в русле которой сформировался. Сомнительно, впрочем, и то, что можно говорить какой-то подлинно гегелевской стадии в формировании его философских убеждений. «Говорить следует не столько о его юношеском гегельянстве, — пронизательно заместил один из исследователей, — сколько об изучении гегелевских текстов и прекрасном знании специфических гегельянских тем, разработывавшихся Спавентой, с которым до конца жизни у Лабриолы сохранялись отношения преданной дружбы»⁴. Но и перед Спавентой он сумел отстоять независимость собственных суждений. Например, его, по-видимому, не слишком убедило новое прочтение «Философии права», предложенное

¹ Ibid., p. 731—732.

² “La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895”, p. 359.

³ A. Labriola. Scritti politici, p. 285.

⁴ E. Garin. Labriola. — In: “Dizionario del movimento operaio italiano”. Roma, 1977, v. III, p. 22.

СпаVENTой в 1869 году в его «Исследованиях этики у Гегеля» (а ведь Лабриола даже правил гранки этой книги). Вспоминая за несколько месяцев до смерти, что в те времена он «был уже вне этого строя мыслей», Лабриола оспаривал даже самую правомерность существования гегелевской этики, поскольку «в гегелевской системе возможна социология, но не этика»¹. Что он имел в виду под этим на первый взгляд загадочным утверждением, можно понять, если перечитать как раз его статьи 1873 года («О нравственной свободе, морали и религии»²), в которых он выступает «против руководящих принципов либерального строя». Возрождение интереса к нравственной философии Канта, вызванное Гербартом и гербартианской школой, которое стимулировали в тот период философские раздумья Лабриолы, не могло не отвлечь его от теоретических установок гегелевского типа, ориентировавших на рассмотрение этики как подчиненного момента всеобъемлющего диалектического процесса. Подобный взгляд на этику, подчеркивали гербартианцы, может привести, по существу, к моральному индифферентизму³. У антииндивидуализма Лабриолы, таким образом, немного точек соприкосновения с мотивами гегелевской философии. Однако, сосредоточивая все свои исследовательские усилия на анализе нравственного опыта и выводя из этого сами этические задачи государства, Лабриола вступал на путь, ведущий к неоднозначным и во многих отношениях противоречивым выводам.

Хотя знакомство с немецкой академической философией, с которой он продолжает поддерживать регулярные контакты и после 1873 года, по-видимому, не слишком стимулирует его научную работу, про него никак нельзя сказать, что он удовлетворился тихой и спокойной жизнью исследователя, кичащегося своим внутренним духовным богатством. Интерес к нравственным вопросам у него неотделим от инстинктивного отвращения ко всякой форме мистического аскетизма и вымученной умозрительности. Поэтому немецкая философская литература второй половины XIX века — от работ заборной гербартианской школы до первых приобретений новых наук, исследующих человеческое сознание, — дает ему обильный материал для размышлений и обобщений с учетом долговременной перспективы. Развитие этики и педагогики в

¹ A. Labriola. Lettere a Benedetto Croce. 1885—1904. Napoli, 1975, p. 373—374.

² A. Labriola. Opere, a cura di Dal Pane. V. III: Ricerche sul problema della libertà e altri scritti di filosofia e di pedagogia (1870—1883). Milano, 1962.

³ По этим вопросам см.: S. Poggi. Antonio Labriola. Herbartismo e scienze dello spirito alle origini del marxismo italiano. Milano, 1978, p. 43—47.

связи с новыми усилиями по научному переоснащению психологии, с новым вкусом к эмпирическому исследованию, обогащенному применением более тонких концептуальных категорий, расширяет его интеллектуальный кругозор, но в то же время и удерживает от соблазна поспешных глобальных выводов. Точно так же распространение его интересов на новые области исследований, например методологию истории, новые направления общественно-политических дисциплин, способствует тому, что процесс теоретического созревания Лабриола замедляется: он идет как бы подспудно, большей частью лишь отрывочно проявляя себя вовне.

Результаты этого процесса становятся видимы после его завершения, когда — уже в 1887 году — Лабриола публикует вступительную лекцию «Проблемы философии истории»¹, где в кратком наброске сконцентрированы итоги пятнадцатилетних размышлений и исследований, поражающие как плодотворностью новых философских выводов, так и открытостью в отношении неясных проблем. Достаточно сопоставить этот текст с предыдущими публикациями периода преподавания в университете (особенно с «педагогическим очерком» 1876 года «О преподавании истории» и «психологическим очерком» 1878 года «О понятии свободы»²), чтобы наряду с непрерывной линией преемственности выявить новый уровень зрелости, достигнутый автором.

Впрочем, в 1887 году Лабриола уже менее всего ограничивает себя узкими рамками чисто профессиональных обязанностей, в которые он замкнулся на столь долгий срок начиная с 1873 года. Его отключенность от политики на протяжении всего этого времени была полной, если не считать краткого периода осенью 1874 года, который он провел в Болонье, участвуя на страницах местной газеты «Мониторе» в избирательной кампании (но уже тогда он говорил в письмах, что принял приглашение редакции исключительно от скуки). Еще до этого он начал сомневаться в способности умеренных удержаться на высоте поставленных ими перед собой задач. Но вместе с тем он и не видел альтернативы умеренным. Мысль же смириться с ролью стороннего наблюдателя (ворождала у него инстинктивный протест. Летом 1875 года, характеризуя в одном из писем к Берtrandо Спа-венте убожество экономической и политической жизни в Анконе (куда его послали членом экзаменационной комиссии), Лабриола, похоже, все еще ждет, что произойдут какие-то невероятные события, способные изменить существующее по-

¹ Эта работа, переведенная в 1888 году также на немецкий язык, была впоследствии издана Б. Кроче в публикации: A. Labriola. *Scritti varî di filosofia e politica*. Bari. 1906. Ныне она воспроизведена в публикации: *Scritti filosofici e nolitici*, a cura di E. Sbarberi. Torino, 1973, v. I.

² A. Labriola. *Opere*, v. III, p. 153—265.

ложение. Он пишет: «Я по-прежнему задаюсь вопросом: неужели в Италии не найдется дюжины людей, наделенных чувством государственной ответственности, которые бы покончили с этим пустопорожним говорением о свободе и возродили серьезное отношение к делу? Государство должно представлять собой господство лучших, а лучшие не рождаются на свет по воле случая, что бы там ни говорили Дарвин и мошенники, называющие себя либералами»¹.

Время от времени, однако, Лабриола снова впадает в состояние «равнодушного отвращения», которым были отмечены его юношеские годы. После падения правительства Правой он упрекает умеренных в том, что они «неспособны даже играть роль оппозиции»². В 1879 году он не без ехидства спрашивает самого Спавенту: «Прежде я думал, что партия умеренных годится на что-нибудь, хотя бы пока находится у власти. А выходит, она ни на что не способна? Кому же в конце концов надлежит навести хоть немного порядка?»³

Явление парламентского трансформизма, воспринимаемое Лабриолой как сплошная тусклость, усугубляет его пессимизм. Если раньше он находил хотя бы теоретические оправдания политике умеренных, то теперь пессимизм сокрушает и эти доводы. Все в том же 1879 году, отвечая другому из деятелей умеренных, Камилло Де Менсу, который прислал ему экземпляр своей брошюры, Лабриола, отметив, что прочел ее «с большим огорчением», пишет далее: «Вообразите себе картину этих дней, когда после длительного сговора Никотеры и Селлы дело дошло до открытого сожительства левых с умеренными! Умеренные, начиная со Спавенты, Бонги, Ланцы и прочих, словно голову потеряли. Особенно молодежь! Бедная наша страна! Все поражено болезнью, все. Никаким лекарством тут не помочь. Дела идут все хуже»⁴.

Проглядывающее в этом едком пессимизме разочарование в минувшем политическом увлечении пока, по-видимому, не находит никакого другого выхода, кроме горестной констатации собственного бессилия. Обличение продажности, царящей в политической жизни, грозит вследствие этого парализовать любые попытки более глубокого анализа и вылиться в конечном счете в «злословие», не представляющее ни для кого практической опасности. Никаких других указаний,

¹ "123 lettere inedite di Antonio Labriola a Bertrando Spavento" (seconda parte). — In: "Rinascita", 1954, № 1, supplemento, p. 73.

² В письме 1882 года Сильвио Спавенте, по: G. Antonucci: Una lettera di A. Labriola. — In: Bergomum, "Bergamo", gennaio-marzo, 1941, p. 51.

³ Цит. по: "Rinascita", 1954, № 1 (supplemento), p. 82.

⁴ Письмо Лабриолы Камилло Де Менсу от 13 июля 1879 года; копия хранится в Институте имени Грамши (архив Тольятти).

судя по всему, нельзя извлечь из ярких вспышек возмущения, которые часто повторяются в письмах Лабриола к Бертрандо Спавенте. Достаточно привести следующие негодующие строчки из письма от 22 октября 1882 года: «В письме не берусь объяснить Вам таинства Рима. Как смог бы я описать каждодневные сцены публичной торговли голосами в редакции «Пополо романо»? А как прелестно видеть Шове, прогуливающегося под ручку с Шошаммошкой... Даже вся философия истории не снабдит вас способностью понять Коккапеллера... Каждый день видеть, слышать, обонять, трогать, вдыхать, ощущать эти навоз, грязь, гнусь, мерзость, ложь, бесстыдство—вот после этого-то и возникает точное, ясное и законченное представление о том, что такое Италия. Правда, можно задохнуться, но, когда миг смертельной опасности миновал, продолжаешь себе жить как ни в чем не бывало благодаря способности к приспособлению»¹.

Таким образом, напряженной исследовательской работе и теоретическому анализу в этот период сопутствует полный отход от политики. «Отвращение к политической коррупции», о котором сам Лабриола говорит в уже упоминавшемся первом письме Энгельсу², грозит, иначе говоря, превратиться в предлог, оправдывающий аристократическое уединение и практическую бездеятельность. Еще в 1883 году после смерти Бертрандо Спавенты он пишет его брату Сильвио, государственному деятелю лагеря умеренных, вытесненному политикой трансформизма с итальянской политической сцены: «Здесь я ни с кем не вижусь и даже не читаю газет. Впрочем, пока Депретис не решится собственной кончиной положить конец нынешнему золотому веку, мы ни во что не должны ввязываться»³.

И все же Лабриола не стал ждать смерти Депретиса, чтобы сменить беспросветный пессимизм на новый боевой политический задор в соответствии с новыми взглядами, сложившимися у него после кризиса политики умеренных.

4. От умеренной ориентации к социалистическому радикализму

В 1889 году в лекции, прочитанной в рабочем клубе в Риме, Лабриола, касаясь собственных социалистических убеждений, сказал, что вступил на «этот путь новой идейной веры» в 1879 году, то есть за десять лет до того⁴. Тем не ме-

¹ Цит. по: "Rinascita", 1954, № 1 (supplemento), p. 87.

² "La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895", p. 359.

³ A. Labriola e S. Spaventa. Carteggio. — In: "Movimento operaio", giugno — luglio 1950, p. 263—264.

⁴ A. Labriola. Scritti politici, p. 185.

нее первая часть этого пути походила на подземную реку, была скрыта от глаз и не была отчетливо видна даже самому идущему, если учесть, что отправная точка его находилась так далеко. Год спустя после этой лекции Лабриола в письме Энгельсу уточнял, что в 1879—1880 годах он «почти совсем уже перешел на позиции социалистических воззрений, но больше в силу общего видения истории, чем по внутреннему импульсу активной личной убежденности»¹. Именно этим и объясняется то, что новые интеллектуальные позиции смогли столь долго сосуществовать с упоминавшейся политической бездеятельностью, затянувшейся до 1886 года. В то же время медлительность этого процесса созревания в значительной мере отражала медлительность и трудности самого процесса формирования социалистического движения в Италии.

Организационные успехи, продемонстрированные было анархистским движением в 70-е годы, в конце концов не привели ни к чему. Среди самих анархистов к этому времени ширилось понимание закономерности провала их борьбы, ведущей лишь к росту числа жертв и оставляющей общество в прежнем состоянии разобщенности, пассивности и покорности старым и новым угнетателям. Как раз в 1879 году, том самом, когда философ Лабриола начал проникаться идеями социализма, появилось знаменитое открытое письмо Андреа Косты «К моим друзьям в Романье», в котором отважный боец Интернационала анархистов вынужденно признавал, что «революция—вещь серьезная», и призывал своих соратников к самокритике². Но эта благородная, хотя и продиктованная идейной нечеткостью попытка Косты, который хотел бы, сохранив идеологические основы анархистской традиции, объединить социалистов всех оттенков, не могла заложить прочных основ социалистического движения в Италии. Еще десять с лишним лет это движение оставалось раздробленным на местные группы и партии, неспособные выработать общую программу и стратегию. Марксизм пока не стал для него идейно объединяющим и организующим элементом.

На первых порах и для самого Лабриолы сближение с социализмом шло другими путями, хотя, возможно, и менее случайными, чем может показаться. Рассказывая Энгельсу (все в том же первом письме), что с некоторого времени он занялся изучением «государственного права, административного права и политической экономики», Лабриола не поясняет, на какой именно стадии произошло это расширение его интересов, которые в 70-е годы были обращены преимуще-

¹ «La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895», p. 359.

² Письмо А. Косты «К моим друзьям в Романье» см. в приложении к книге: G. Manacorda. Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi, p. 357—361.

ственно к исследованиям по этике и педагогике, философии истории и социальной психологии. Судя по его профессорским конспектам, хранящимся в библиотеке Даль Пане, курс по «науке о государстве» был впервые прочитан им в 1880 году¹. Известно также, что эти конспекты в концептуальном отношении опираются на «Энциклопедию наук о государстве» Рудольфа фон Моля, теоретика правового государства, юриста и государственного деятеля либерально-демократической ориентации, человека, которому были чужды какие бы то ни было симпатии к социализму. Однако, независимо от того, как и с какими целями Лабриола использовал эти труды в своей преподавательской работе, остается фактом, что он почувствовал потребность включить в круг своих обычных исследований также проблемы государственного права. Этот-то факт и требует объяснения. Можно предположить, что занятия новым комплексом теоретических проблем были связаны с тем, что профессору педагогики Римского университета (занимавшему, помимо всего прочего, также пост директора Музея просвещения и воспитания) в определенный момент пришлось заняться сравнительным изучением школьного законодательства. Поскольку он был привлечен к выработке реформы средней школы (реформа дебатировалась в итальянском парламенте в 1879 году), ему нужно было прежде всего углубить свои знания о «критериях, применяющихся другими правительствами», с целью «полного и систематического сравнения наших теоретических воззрений на школьное дело с положением в этой области в других, наиболее цивилизованных государствах»². Первые плоды этих сопоставительных исследований уже были использованы в парламенте, фигурируя в качестве «приложения» к «Законопроекту distinguished Koppiuo о среднем школьном образовании» («*Atti parlamentari*», 1878—1879). За ними последовала серия «Заметок о частных школах второй ступени в других государствах» — эти заметки были включены Руджеро Бонги в свой очерк, опубликованный в 1880 году в «Ежегоднике юридических, социальных и политических наук». И наконец, появилось более обширное исследование «Об устройстве народного образования в разных странах», обнародованное Лабриолой в 1881 году в «Анналах статистики»³.

Во «Вступительных замечаниях» к этому исследованию сам Лабриола счел нужным отметить «довольно сухую манеру» изложения, которой он придерживался, как бы желая подчеркнуть чисто технический характер этой своей научной

¹ L. Dal Pane. Antonio Labriola, p. 170 ff.

² A. Labriola. *Scritti di pedagogia e di politica scolastica*, a cura di D. Bertone Jovine. Roma, 1961, p. 118.

³ Ibid., p. 115—229.

работы, вполне согласующийся с уже известными нам позициями отказа от активного участия в политике. На самом же деле позже, на конференции 1888 года, где вопрос о народном образовании будет поставлен как боевая политическая тема¹, но покажет, какое множество стимулов для восприятия последовательно демократической ориентации было получено им в ходе этой работы, на первый взгляд заключавшейся лишь в простом сборе фактов и цифр. Но ему с самого начала было ясно, что подобные сопоставительные исследования в области школьного законодательства связаны с теоретическими проблемами государственного права и в первую очередь с проблемой определения задач государства и проблемой отношений между государством и церковью. Вместе с тем вполне понятно, что в данной области, как и в других, Лабриола начинал научный поиск — по времени это было примерно в 1879 году — с обращения к тому, что было в его глазах наиболее передового в этой области исследований, — к немецкой академической науке. Здесь наряду со старыми теоретиками государственного права он встретил новых теоретиков катедер-социализма, от которых, вероятно, и воспринял первые стимулы к более глубокому осмыслению идей социализма.

В Германии социалистическое движение, объединенное в одной партии уже с 1875 года, к этому времени пустило глубокие корни и выступало как все более могущественный фактор общественной жизни, с которым нельзя было не считаться. Именно попыткой уладить эти «сочеты» в разумно приемлемых для буржуазии пределах и явились выступления катедер-социалистов — *социалистов от кафедры*, прозванных так в насмешку либералами и консерваторами. Однако Бисмарк после некоторых колебаний склонился в сторону репрессии и в 1878 году объявил социалистов вне закона. Интерес, проявленный Лабриолой к катедер-социализму после 1878 года, свидетельствует, помимо всего прочего, о том, что он уже тогда отрицательно относился к бисмарковскому запрету и устремлялся к поискам иного, демократического решения проблемы. Впрочем, если что-то особенно интересовало его в работах катедер-социалистов, например Brentano и Шмоллера, которых он упоминает в одной имеющей немаловажное значение рецензии 1883 года², то это были скорее не предложенные ими конкретные решения специфических вопросов, а широта открывающихся новых горизонтов, не бесспорность конечных результатов, а новая область ис-

¹ A. Labriola. Della scuola popolare. — In: A. Labriola. Scritti politici, p. 121—150.

² Речь идет о рецензии на книгу: F. Bärenbach. Socialwissenschaften. Zur Orientirung in den sozialwissenschaftlichen Schulen und Systemen der Gegenwart. — In: A. Labriola. Opere, v. III, p. 332—335.

следования. Для Лабриолы очевидным становилось значение социализма, но не точное место, которое ему надлежало занять в перспективе исторического развития. Определение этого места оставалось подчиненным «принципам общественной этики», возлагающим на государство новую и трудную задачу в каждом данном случае находить верную меру «ограничения индивидуализма социализмом»¹. Похоже, что помыслы Лабриолы в этот период направлены не столько на выяснение образцовой модели социализма, сколько на поиски некоего третьего пути, который, не будучи ни социализмом, ни либерализмом, был бы в состоянии удовлетворить требованиям как первого, так и второго. Речь шла о поисках не какой-то абстрактной формулы или эклектической комбинации, а именно *tertium datur* — промежуточного решения, способного вывести из тисков жесткой дилеммы, которую он сформулировал в одном из своих конспектов так: «привилегии противозаконны, социализм невозможен»².

Самым важным результатом этого мучительного бесплодного поиска явилось принятое Лабриолой в 1886 году решение вернуться к активной политической жизни с целью проверить на беспристрастных весах реальности действительный вес приобретений, добытых на почве чистого теоретического экспериментирования. Медлительный процесс идейно-теоретического созревания сменился в этот период резким ускорением, которое в короткое время превратило новые радикально-демократические убеждения Лабриолы в определенное радикально-социалистическое направление мыслей, в свою очередь предваряющее последующий приход к марксизму. Такого рода ускорение объясняется, однако, не одними лишь психологическими мотивами: в нем своеобразно отразилось также развитие реальной ситуации.

В предпринятом Лабриолой в 1886 году выходе на политическую арену главным был не эпизод с несостоявшимся выдвижением его кандидатуры на парламентских выборах этого года, а полученная им в этой связи возможность уяснить себе перспективы политической борьбы в Италии. Вывод, к которому он приходит, сводится, по сути дела, к тому, что теперь уже очевидное истощение парламентского трансформизма оставляет открытыми лишь две возможности: либо возврат вспять, к авторитарным и реакционным формам правления, либо поворот в сторону подлинной демократии путем формирования новой оппозиции, способной превратиться в новую правительственную партию. Решение вступить в борьбу ради осуществления этой второй возможности заставляет Лабриолу конкретно реалистически подойти

¹ Ibid., p. 335.

² L. Dal Pane. Antonio Labriola, p. 180.

к дебатлируемым вопросам, не заботясь о том, насколько это согласуется с принципами либерально-демократической доктрины. Судя по письму поэту Джозуэ Кардуччи от апреля 1886 года, где Лабриола указывает основные пункты программы, которую он предложил бы избирателям в случае официального выдвижения своей кандидатуры, главная его забота — именно о ясности и простоте. «Я не ворошу прошлого и не занимаюсь здесь философией,— пишет он.— Я указываю позицию в том виде, как она диктуется соображениями текущей обстановки, и объясняю, какова должна быть цель оппозиции. Радикалы и прогрессисты должны прийти к соглашению для борьбы с правительством личной власти, ведущим к реакции, и для возвращения парламенту его подлинных функций. Они должны договориться также о том, чтобы с помощью подходящих законодательных мер ограничить действия полиции, переходящие ныне в натыйш произвол; о том, чтобы найти практическое решение социальных вопросов, которого действительно ждет страна. Сражаюсь с «кастриачеством» во внешней политике и особое внимание уделяю школе»¹.

Еще точнее эти идеи изложены в схеме избирательной программы, составленной в тот же период². Лабриола не жалеет сил на их развитие и популяризацию и не оставляет активной политической деятельности даже после того, как из замысла с выдвижением его кандидатур по второму избирательному округу Перуджи ничего не вышло. Примечательно вместе с тем, что из всех демократических требований, которые представляются ему самыми животрепещущими в тот момент, он с наименьшей энергией и наибольшей осторожностью отстаивает как раз те, которые связаны с протестом рабочих и крестьян. Создается впечатление, что по отношению к их запросам он не находит ничего лучшего, как вновь предложить проведение «обследований» — старый метод, милый сердцу наиболее умных консерваторов. «Классовые выступления нарастают, социальные вопросы обостряются,— пишет он.— Нет ни таких репрессивных средств, которые бы сдержали их, ни таких переписанных из ученых книг законов, которые бы принесли покой. Требуются широкое обследование реальных нужд населения и способное провести его правительство, которое пользовалось бы доверием граждан в силу своей популярности и справедливости своих намерений. Нужно, чтобы голос рабочих имел надежный отклик в парламенте»³.

«Голос рабочих», от имени которых в итальянском парламенте 1886 года выступали три депутата (после выборов

¹ Ibid., p. 188.

² A. Labriola. Scritti politici, p. 105—107.

³ Ibid., p. 107.

1890 года их станет пять), мог найти в законодательном органе лишь слабый отклик. Отдавая себе в этом отчет, Лабриола все же полагал тогда, что политика демократического обновления не должна выходить за рамки осторожной постепенности. Еще в ноябре 1887 года в открытом письме депутату Баккарини, даже провозглашая себя «теоретически социалистом», он по-прежнему выражал веру в правильность такого подхода. Перед лицом буржуазно-консервативного парламентского большинства, считал он, остается лишь «предпринимать постепенные попытки, соразмеряя их последовательно с сопротивлением, которое в дальнейшем не может не уменьшаться, если страна продвинется по пути прогресса»¹. Вполне естественно, такого рода взгляды предполагали весьма смутные представления о социализме (неслучайно, как мы видели, эти представления первоначально складывались под влиянием катедер-социалистов). Но, помимо этого, осторожный оптимизм Лабриолы со всей очевидностью опирался на еще не изжитую веру в осуществимость того демократического поворота, который он отстаивал в убеждении, что для Италии еще возможно применение английской модели, предполагающей наличие двух партий — консервативной и прогрессивистской, — поочередно сменяющих одна другую у кормила власти и в оппозиции. Причем такая вера основывалась не столько на анализе определенного исторического опыта, сколько на принятии некоей стройной теоретической концепции основополагающих задач современного государства, то есть такого государства, которое, как он писал в 1887 году во вступительной лекции «Проблемы философии истории», «уравновешивая радикальные и консервативные силы, намеренно придает прогрессу постепенность и выступает в роли его сознательного и добровольного инструктора»².

Но именно конкретный политический опыт, приобретенный в эти годы активного участия в общественной деятельности (1886—1889), обнаружил несостоятельность перспективы демократического поворота и заставил Лабриолу пересмотреть все свои теоретические и практические позиции и по-новому подойти к осмыслению проблемы отношений между социализмом и демократическим развитием. Исходным пунктом в этом процессе послужило убеждение, что новая демократическая оппозиция не может сложиться просто в виде парламентской комбинации, а должна опираться на широкое движение низов, которое ставило великие вопросы общенационального масштаба. Одним из них был вопрос о защите светского характера государства, который, на взгляд

¹ Ibid., p. 118—119.

² A. Labriola. *Scritti filosofici e politici*, v. I, p. 30.

Лабриолы, подрывался политикой потворства и чрезмерной осторожности («переходящей в трусость») по отношению к церкви, отказывавшейся признавать принцип «главенствования государства». Этой цели было посвящено его первое политическое выступление, получившее широкий отклик, — речь в Римском университете (июнь 1887 года)¹, направленная своим острием против первых попыток «примирения» с Ватиканом. Вслед за этим он активно включился в демократическую кампанию в поддержку инициативы установления памятника Джордано Бруно, чему препятствовали клерикалы и сочувствующие им круги. Подобное движение снизу, считал Лабриола, призвано устранить преграды, остановившие революцию сверху. И первой из таких преград, по его мнению, было иллюзорное убеждение, будто государству в объединенной Италии для сохранения своей опоры следует «затормозить ход прогресса, вступая в соглашения и компромиссы с силами и идеями, против которых и была совершена революция»². Однако предпосылкой успеха этой борьбы была способность демократического движения объединить и поддерживать все рождающиеся в низах порывы к прогрессу.

На практике этой способностью движение не обладало — таков был вывод из напряженной политической работы Лабриолы в 1888—1889 годах. Активнейшим образом участвуя в пропагандистско-агитационной деятельности демократического лагеря (в борьбе за народную школу, за празднование юбилея Джордано Бруно, против присоединения Италии к Тройственному союзу), он в 1888 году впервые вступил в непосредственный контакт с рабочим движением. В марте 1888 года в Риме выпыхнули волнения безработных строителей, вызванные кризисом в строительном деле, который последовал за спекулятивным бумом в столице³. Нависшая над многими участниками манифестаций угроза судебнопольцейских репрессий сделала Лабриолу поборником кампании солидарности с ними⁴, но в то же время заставила соприкоснуться с трудностями, которыми изобиловала новая область борьбы, доселе известная ему лишь в чисто теоретическом плане. В 1888 году Андреа Коста организовал в Риме Рабочую социалистическую федерацию. Лабриола, установив в связи с кампанией солидарности непосредственные отношения с Костой, почувствовал потребность в новых инициативах, способных вывести итальянское рабочее движение из состояния раздробленности и политической изоля-

¹ A. Labriola. *Scritti politici*, p. 108—112.

² Ibid., p. 155.

³ См.: L. Cafagna. *Anarchismo e socialismo a Roma negli anni della "febbre edilizia" e della crisi (1882—1891)*. — In: *"Movimento operaio"*, IV, 1952, № 5, p. 729—771.

⁴ См.: A. Labriola. *Scritti politici*, p. 151—152.

ции, в котором оно все еще пребывало. Этой потребностью было продиктовано, например, сделанное им в августе Косте предложение организовать манифестацию солидарности с немецкими социалистами по случаю десятилетней годовщины закона о запрете социалистической партии, который по-прежнему действовал в Германии¹. Годовщина к тому же совпадала с датой официального визита германского кайзера в Италию, так что манифестация позволила бы слить демократическое движение против участия Италии в Тройственном союзе (Лабриола участвовал в нем, помимо всего прочего, и как председатель Ассоциации борцов за освобождение аннексированных Австрией итальянских земель), с протестом рабочих. Тем самым международным союзом европейской реакции был бы противопоставлен единый фронт демократических и социалистических сил. Но Коста не откликнулся на это предложение, возможно опасаясь недоверия, которое оно могло бы вызвать в анархистских кругах. Уже одно это свидетельствовало о наличии препятствий, на которые суждено было натолкнуться политической инициативе Лабриолы.

Препятствия и затруднения становились тем серьезнее, чем активнее Лабриола включался в конкретные эпизоды борьбы, направленной на то, чтобы хоть немного расширить пределы политической свободы в условиях режима, который видел главное средство самозащиты в произволе и провокациях полиции, пользующейся потворством судебных чиновников и поддержкой ретроградного общественного мнения. Достаточно было «бунтовщику» Андреа Косте в заурядной стычке с полицией (речь шла о не разрешенной властями демонстрации в декабре 1888 года в память казненного анархиста Обердана) пустить в ход зонтик, как его, несмотря на депутатский статус, отдали под суд и приговорили к трем годам тюрьмы. Солидарности Лабриолы в подобных случаях, естественно, не мешали никакие расхождения во мнениях относительно политической тактики социалистов. Невзгоды выпали и на долю самого радикального профессора, который в 1889 году в битком набитой аудитории Римского университета начал читать факультативный курс о Французской революции (по случаю исполнявшегося ее столетия). Стоило ему появиться на манифестации безработных перед дворцом парламента — Монтечиторио, как консервативная пресса принялась обличать его как подстрекателя беспорядков и зачинщика бунтов, вознамерившегося претворить в уличные волнения свои подрывные лекции, произносимые в университете с «кафедры анархии». А чтобы подобные лекции боль-

¹ См.: "Quarto stato", a cura di G. Bosio. IV, Milano, 1949, № 8-9, p. 41.

ше не раздавались с этой кафедры, была использована группа студентов правого толка, возбужденных газетной кампанией и поддержанных университетским начальством. Воспользовавшись устроенной ими в аудитории контрманифестацией, ректорат более чем на месяц отменил лекции Лабриолы¹. То было «предупреждение», сделанное с целью заставить его вернуться «к сухому академическому тону», как сам он напишет Энгельсу, вспоминая год спустя этот исполненный горечи эпизод².

Пережитое стимулировало у радикала Лабриолы усиление интереса к социалистическому движению, к осмыслению его как главной пружины самого демократического движения. То, что прежде казалось ему неким постепенно складывающимся побочным продуктом более широкого политического процесса, теперь стало выглядеть в его глазах основным условием всякого реального прогресса. Впрочем, к такого рода инверсии в оценке соотношения между социализмом и демократией его побуждал не только политический опыт Италии, увязшей в липкой паутине трансформизма, но и глубокие размышления о последнем столетии европейской истории, открытом революцией 1789 года. Направления этих раздумий весьма четко обозначены в том первом мотивированном провозглашении веры в социализм, каким была лекция Лабриолы, прочитанная в июне 1889 года в одном римском рабочем клубе³. Теперь, когда он стал социалистом, его старая неприязнь приверженца умеренных к любым формам якобинизма либералов получает новое и совершенно иное обоснование. «Великий праздник» 1789 года, «не только не омраченный, но даже украшенный гильотиной, представлявшейся орудием торжествующего разума»⁴, не может служить перспективой новой социальной революции, в частности, потому, что эта перспектива опирается на «теорию, измеряющую преобразования меркой столетий»⁵. Речь идет «не о том, чтобы отбросить политические свободы, а о том, чтобы дополнить их; не о том, чтобы сделать шаг назад, а о том, чтобы пройти много шагов вперед по пути политической демократии»⁶. Однако именно в силу этого задача новой социальной революции куда сложнее той, которую решала революция буржуазно-демократическая.

«В этом и состоит пока главнейшая заслуга социализма: в том, иначе говоря, что он открывает и описывает подлин-

¹ Описание этого эпизода по материалам римской печати той поры см. в публикации: N. Siciliani De Cumis. Studi su Labriola, p. 191—306.

² См. «La corrispondenza di Marx e Engels con italiana, 1848—1895», p. 359.

³ См.: A. Labriola. Scritti politici, p. 170—185.

⁴ Ibid., p. 178.

⁵ Ibid., p. 176.

⁶ Ibid., p. 175.

ную природу новейшего врага — капитала и пригвождает к позорному столбу шарлатанов, лицемеров и демагогов либерализма.

Если немногочисленному кругу философов было относительно легко распознать, а охваченной энтузиазмом толпе — на смерть поразить конкретных носителей общественной тирании, то куда сложнее в наши дни вырвать когти у нового, скрытного и безликого врага, каким является капитал, и уберечься от коварных происков либералов. Ведь банк, способный множеством способов угнетать наемный труд, не потащишь на эшафот, как Людовика XVI. Ведь железный закон заработной платы не сокрушишь, как крепость или дворец. Ведь общественную организацию труда не заменишь с такой же легкостью, с какой королевскую стражу заменили национальной гвардией. Ведь рабочие не выстраиваются в сомкнутые ряды производственных кооперативов с тем же энтузиазмом, какой увлекал в 1793 году французских пролетариев, готовивших отечеству непрочную славу наполеоновских побед, а своим детям — горькую участь наемных тружеников. Ведь здесь будет недостаточно ни красноречия жироидистов, ни отваги якобинцев! Речь идет о колоссальной, многообразной и долговременной работе, — о работе, необходимой для переделки всего общественного организма.

XIX век, отмеченный частичными успехами и разочарованиями либерализма, знаменует лишь начало. Мы находимся на заре нового времени»¹.

Таким образом, Лабриола вновь подчеркивает необходимую связь между политической демократией и социализмом. Но теперь социализм в его представлении выходит на передний план и занимает центральное место на сцене. И это центральное место ему надлежит удерживать на протяжении «долговременного» периода, по отношению к которому либеральная эпоха была не более чем прологом.

5. Зрелый марксист

Лекция 1889 года о социализме еще несет на себе отпечаток разнородных влияний и теоретических мотиваций (особенно обращают на себя внимание в этом отношении подход к анализу истории и теоретизирование по поводу так называемого «юридического социализма»²). И все же эта лекция с очевидностью показывает, что в формировании Лабриолы-марксиста уже произошла закладка основ. Прино-

¹ Ibid., p. 178—179.

² См.: V. Gerratana. Antonio Labriola di fronte al socialismo giuridico. — In: «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1974—1975». Milano, 1975, № 3-4, t. 1, p. 55—72.

бретение их пришло не путем ученической зубрежки и не в форме внезапного озарения: оно явилось результатом медленно созревавшей независимой теоретической разработки в сочетании с интенсивным и бурным накоплением политического опыта. Углубление этого процесса формирования в последующие годы происходило таким же точно образом и привело к состоянию зрелости лишь в 1894 году, когда Лабриола смог наконец написать Энгельсу, что у него «отпали все сомнения насчет материалистического истолкования истории»¹.

Таким образом, из работ Маркса и Энгельса — не только прочитанных еще до 1889 года (главным образом в журналах «Социал-демократ» и «Нойе цайт»), но и тех, что попадали к нему в последующие годы, вплоть до совсем редких книг, которые он упорно разыскивал на международном букинистическом рынке или раздобывал благодаря помощи Энгельса, — Лабриола извлек не готовое учение, явившееся ему как бы в результате прозрения, а интеллектуальный стимул к исследованию исторической практики, на почве которой и происходила решающая проверка истинности добытых результатов. Теперь в еще большей степени, чем во всей его предыдущей деятельности, ритм идейно-теоретического созревания Лабриолы-марксиста определялся именно этим взаимообменом теории и практики. Подобный метод, разумеется, никоим образом не гарантировал немедленного успеха, как в том впоследствии Лабриоле пришлось убедиться на собственном, довольно горьком и разочаровывающем опыте участия в практической работе в рядах социалистического движения. Однако в отличие от периода пребывания в лагере умеренных он теперь не только ощущал в себе способность преодолевать чувство сокрушенности и банкротства, но и находил надежные точки опоры в истории собственного времени, в сознании своего движения вместе с нею вверх и вперед, к целям прогресса, уже не скрытым от глаз в тумане будущего.

Отправной точкой для практической деятельности Лабриолы-социалиста послужила директива, выдвинутая Международным социалистическим конгрессом, который был созван в Париже в зале «Петрель» 14 июля 1889 года в ознаменование столетия революции 1789 года. Эта директива предусматривала организацию международной манифестации 1 мая под лозунгом восьмичасового рабочего дня. Лабриола был одним из немногих в Италии, кто деятельно принялся за подготовку этого мероприятия, невзирая на организационную слабость все еще совершенно разобщенного социалистического движения. Сверх того он с большой энергией взял-

¹ «La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895», p. 523.

ся за разъяснение стратегического значения требования «восьми часов», выдвигавшегося в противовес продышущему лозунгу «права на труд», который вплоть до этого момента доминировал в выступлениях безработных. «В манифестации за восемь часов,—писал он,—заключен целый комплекс практических, конкретно осуществимых идей. Сокращение рабочего времени — если оно будет повсеместным и систематическим — поведет к увеличению числа реально занятых рабочих и уменьшению численности безработных, сузит поле конкуренции между трудящимися и ограничит эксплуатацию: оно ознаменует шаг к обобществлению капитала.

Люди, которые выдвинули идею этой великой манифестации, не просто знают, чего они хотят, но и знают, как идти к намеченной цели»¹.

Параллельно с разъяснением этой стратегической установки («кто знает путь, который предстоит пройти, тому известны и все его этапы в их последовательности») Лабриола вел настойчивую пропагандистскую борьбу против «вредного» требования «права на труд». Вероятно, ему уже были знакомы содержащиеся в «Классовой борьбе во Франции» мысли Маркса по поводу рожденного революцией 1848 года лозунга «право на труд» — «этой первой неуклюжей формулы, в которой находят обобщенное выражение революционные потребности пролетариата» (на анализ Маркса он будет ссылаться и позже, говоря, что «басня о праве на труд кончилась трагедией июньских дней») ². Примечательно вместе с тем, что выводы, сходные с Марксовыми, делались им не столько на основе теоретических выкладок, сколько на базе анализа конкретного политического опыта, лично им пережитого в рядах итальянского рабочего движения. Именно этот опыт научил его с недоверием относиться к лозунгам типа «право на труд», которые, с одной стороны, поддавались буржуазной мистификации и использованию в корыстно-эгоистических интересах правящего класса, а с другой — обнаруживали неспособность ускорить дело организации рабочего движения и привести к чему-нибудь, кроме кратковременных вспышек бунта, дорогих сердцу анархистов.

Напротив, в новом лозунге сокращения рабочего времени Лабриола сразу уловил заключенный в нем стратегический потенциал, причем не только для стран, наиболее продвинувшихся по пути капиталистического развития, но и для такой страны, как Италия, которой для преодоления своей исторической отсталости требовалось объединительное движение однородных социальных сил. Иначе говоря, Лабриола был убежден, что даже независимо от непосредственных ре-

¹ A. Labriola. Scritti politici, p. 214.

² A. Labriola. Saggi sul materialismo storico. Roma, 1977, p. 31.

зультатов, которых удалось бы достичь в борьбе за восьмичасовой день, сама эта инициатива в силу своей внутренней логики сможет вновь двинуть вперед процесс, блокированный механизмами политического трансформизма — этим порождением итальянской отсталости.

Нельзя сказать, что Лабриола полностью обманулся в этих своих ожиданиях. Подводя в корреспонденции для «Социал-демократа» итоги тому, что произошло в Италии 1 мая 1890 года, он имел основание заявить о своем полном удовлетворении результатом, далеко превзошедшим то, на что позволяли надеяться численно весьма скудные силы, которые удалось вывести на улицу. Тратикомический страх итальянской буржуазии перед призраком революции, который вновь бродил по Европе, способствовал тому, что манифестация — в иных обстоятельствах рисковавшая пройти незамеченной — приобрела вес. «Что более полезного могло сделать буржуазное правительство для дела демократии? Пехота, кавалерия и полиция в полном боевом облачении 48 часов кряду судорожно ждали взрыва революции в Неаполе, Риме, Ливорно, Милане, Болонье, Турине — повсюду в Италии. Разве это не праздник по поводу официального выхода социализма на общественную сцену? Синьор Криспи ускорил развитие рабочего движения на несколько лет. От имени всех товарищей надо сказать ему спасибо»¹.

Лабриола пребывал в убеждении, что в ходе первой манифестации утвердился и публично заявил о себе «здоровый зачаток партии трудящихся». Однако он не строил иллюзий насчет того, что последующее развитие может пойти быстро и легко. Предостерегая от таких иллюзий, он вместе с тем сразу же ставил вопрос о том, что необходимо делать, чтобы способствовать росту этого исторического «зачатка», формированию органической партии итальянских трудящихся. Одним из первых шагов на пути решения этой проблемы явилось сделанное им сразу же после 1 мая (в открытом письме Соччи от 5 мая 1890 года «Пролетариату радикалы») публичное заявление о политическом разрыве с радикалами². Тем самым он сознательно подвел черту под целой фазой собственной политической деятельности — деятельности социалиста внутри более широкого демократического движения. И решился он на подобный шаг отнюдь не потому, что этой его работе как-либо препятствовали или сдерживали ее (например, в качестве вице-председателя Римского кружка радикалов он, не встречая никаких затруднений, направил от имени кружка послание солидарности немецким социалистам по поводу замечательной победы, одер-

¹ A. Labriola. Scritti politici, p. 226.

² Ibid., p. 218—224.

жанной ими на выборах 20 февраля 1890 года ¹⁾, а потому, что отныне был убежден, что социалистическое движение может развиваться только как совершенно самостоятельное движение, свободное от корыстной опеки буржуазных прогрессистов. В радикалах он видел теперь «крайне левое крыло буржуазного и полубуржуазного либерализма», которое могло еще сохранить за собой широкое поле полезной деятельности при условии, что радикалы откажутся выступать в роли «предводителей, вождей и воспитателей нового пролетарского движения» и, следовательно, превращать социализм в «приложение, приписку, примечание, постскриптум великой книги либерализма»²⁾.

Размежевание с радикалами было для Лабриолы необходимым, но еще недостаточным условием для обеспечения самостоятельности пролетарского движения. Будучи субъективной предпосылкой такой самостоятельности, оно объективно могло быть только ее результатом. Результата же можно было достигнуть лишь путем формирования социалистической партии, политически независимой и сознающей свои цели. Однако, когда пять лет спустя этот результат был наконец достигнут, Лабриола остался им не удовлетворенным и в последней своей корреспонденции в «Лейпцигер фольксцайтунг» в мае 1895 года заявил, что «план полного отделения социалистического движения от радикалов и республиканцев, в сущности, не удался»³. Именно в этом — ключ к пониманию его разногласий с Турати и к объяснению той необычной позиции, которую ему суждено было занять в Итальянской социалистической партии.

Во второй половине 1890 года Лабриола на протяжении нескольких месяцев верил, что именно с Турати удастся найти те прочные взаимопонимание и союз, которые позволят наиболее эффективно содействовать основанию в Италии социалистической партии. Турати, имевший прямые контакты с боевым рабочим движением Милана и вообще Северной Италии и тоже имевший за плечами опыт участия в радикально-демократическом, расплывчато социалистическом движении, независимо от Лабриолы, но практически одновременно с ним пришел к марксизму. Поэтому он сразу увидел в брошюре римского профессора «Пролетариат и радикалы» верную программную основу для политического действия. Публичное одобрение им этой основы⁴, очевидно, придало дополнительную уверенность Лабриоле, который к тому времени уже завязал с молодым миланским адвокатом полезный

[†] Ibid., p. 209—210.

² Ibid., p. 221–223.

³ Ibid., p. 365.

4 M.: *Clor Cortesed*. (ed. Duraturo: giovine Scapigliatura positivismo, marxismo. Milano, 1962, p. 409-413.

диалог на страницах издававшегося им журнала «Куоре э критика»¹. Более того, у Лабриолы возник замысел привлечь Турати с его Миланской социалистической лигой к проведению совместной политической кампании. Речь шла о том, чтобы собрать подписи социалистов по всей Италии под «Приветственным адресом» Галльскому съезду германской социал-демократии (октябрь 1890 года), которая победоносной и окрепшей вышла из 12-летнего периода бисмарковских репрессий. Осуществлению этого плана Лабриола придавал большое значение, видя в нем конкретный начальный акт процесса непосредственного собирания сил для той партии, которой все еще недоставало в Италии, создания ее — по образцу германской социал-демократии — «инициативной и воспитывающей силы новой истории»². Лабриола не только написал сам текст «Адреса», но и завязал и поддерживал отношения с немецкими социалистами. В то же время он не недооценивал важности того, что именно Турати взял на себя большую часть организационной работы по поиску единомышленников и сбору подписей, то есть практически — разведку с целью выявления тех, кто смог бы объединиться в будущую партию. Но тем сильнее должно было быть его разочарование, когда по завершении этой работы Турати, хотя усилия увенчались крупным успехом, высказал скептическое отношение к продолжению начатого дела, полагая, что предложенный Лабриолой путь, вполне правильный, если рассуждать абстрактно, в конкретной итальянской ситуации мало пригоден, так как новая партия рисковала возникнуть на слишком узкой основе.

В действительности непригодным оказался в конечном счете как раз путь Турати, путь отказа от четкого программного направления во имя поддержания диалога с разнообразными — и несогласными между собой — компонентами еще не возникшего итальянского социалистического движения. Косвенно это вынужден был признать сам Турати, когда двумя годами позже, в августе 1892 года, на Генуэзском съезде он резко сменил курс, поддержав ту самую линию Лабриолы, которую прежде отвергал как «чересчур немецкую». Все эти прагматические шарахания подвергали марксистскую зрелость Лабриолы суровым испытаниям. Он уже и так пережил разочарование, когда в конце 1890 года Турати внезапно пошел на попятный и решил выпускать журнал «Критика социале» (начал выходить в январе 1891 года) под фла-

¹ A. Labriola. *Scritti politici*, p. 199—208.

² Ibid., p. 249. О происхождении этой формулировки см.: E. Ragionieri. *Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani, 1875—1895*. Milano, 1961, p. 246, nota 174. В этой фундаментальной работе Раджоньери содержится также самый обстоятельный анализ инициативы Лабриолы в связи с приветствием Галльскому съезду германских социалистов.

гом эклектики, чтобы сделать из него нечто вроде дискуссионного клуба вместо органа политической ориентации. Нора-зочарование не означало уныния: римский профессор не прекращал своих политико-педагогических усилий по пробуждению и высвобождению социалистической мысли, с тем чтобы облегчить рождение новой партии итальянских трудящихся. Расценивая проект Турати, предусматривавший объединение всех без разбора, как утопический, он усилил по-лемику со сторонниками расплывчатого демократического филантропизма, в котором видел в тот момент главное препятствие на пути перехода от стихийно-экономических выступлений к сознательной организации рабочего движения. Задача, подчеркивал Лабриола, состоит совсем не в том, чтобы, как предлагал Турати, «вести пропаганду среди буржуазии» с целью «вызвать сочувствие к социализму» («Да поможет вам бог в этом филантропическом предприятии», — добавлял Лабриола!), а в том, чтобы вести с позиций силы классовую борьбу, разгоравшуюся и в Италии. Эту точку зрения он продолжал отстаивать и в статье по поводу международного митинга, организованного мадзинистскими кругами в Милане в апреле 1891 года: «Энергичная, острая, постоянная, каждодневная и сознательная классовая борьба — вот что диктует нам сегодняшняя история. Какие бы то ни было сетования на горькую участь трудящихся, не ведущие к организации самих трудящихся, — это пустословие филантропов, а филантропия, как известно, слишком часто бывает гостьей в доме лицемерия. Абстрактная проповедь социализма есть интеллигентское тщеславие, проистекающее из старого предрассудка, согласно которому вещи рождаются из идей, между тем как в действительности именно из вещей и силою вещей рождаются, питаются и развиваются идеи... Дюжинные реформаторы, прожекторы всех сортов, изобретатели легальных уловок — все они просто грезят с открытыми глазами, если не видят, что там, где сила, нет права; или если ждут, что капитал заведет себе новый орган — сердце; или если воображают, что буржуазия под воздействием воплей и протестов пойдет на самопожертвование и покончит жизнь самоубийством; или, наконец, если они не проникнутся убеждением, что там, где нет сильной, уверенной в себе и сознательной партии трудящихся, нет средства добиться выполнения требований»².

Лабриола, конечно же, не ожидал, что эти уроки марксизма сотворят чудо. Как хороший философ, он также знал, что, обращаясь к умозрительной категории «вещь» (пренебрежи-

¹ См.: *"Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti (1880—1925)"*, a cura di *Alessandro Schiavi* (ed.) Bari, 1947, p. 78—79.

² *A. Labriola. Scritti politici*, p. 255—256.

тельно третировавшейся его коллегами-идеалистами как «приют невежества»), он может отстаивать ее приоритет по отношению к умозрительной категории «идея» с оглядкой на сложный комплекс объективных отношений, развитие которых могло идти лишь в результате процесса трудного созревания. И в самом деле, в этой же связи он отмечал, что рабочим, которые «впервые проходят школу своего приобщения к лику современного боевого пролетариата», предстоит еще выучиться «путем опыта и трений отличать возможное от невозможного и достигать, как невозможное сегодня становится возможным завтра»¹.

Но та же сила «трений» затрудняла самому Лабриоле в эту пору его марксистского созревания различение возможного и невозможного в поисках необходимой точки равновесия в собственной практической деятельности социалиста. В 1890 году, как мы помним, он увидел в скромных результатах первомайской манифестации «праздник по поводу официального выхода социализма на общественную сцену» (и такая оценка содержала, должно быть, долю оптимистического преувеличения). Но когда год спустя он, преисполненный веры, всей душой отдался работе по подготовке новой первомайской манифестации и исход этой пробы сил оказался неудачным, разочарование по сему поводу вновь повергло его в лессимизм, не раз переходивший в опустошающее ощущение политического бессилия. Речь шла не только о жестоких правительственных репрессиях (по всей стране прокатилась волна арестов, тысячи участников демонстраций были отданы под суд: Лабриола даже употребил выражение «белый террор»), но и — главным образом — об отрицательных последствиях, вызванных контрнаступлением реакции в рядах самого рабочего движения, об усилившейся в ней дезориентации — результате растущего контраста между порожденным безысходностью авантюризмом анархистов и отступлением на умеренно демократические позиции так называемых легалитаристов, то есть сторонников легальных способов борьбы. В этой обстановке стало казаться, что цель образования новой партии не приближается, а отдаляется еще больше, и Лабриола был склонен сделать из этих впечатлений самые горестные выводы, аналогичные тем, к которым он пришел к концу своего периода пребывания в лагере умеренных. «Я пришел к полному убеждению, — пишет он Турати в конце 1891 года, — что социализм в Италии знаменует не начало новой жизни, а предельное выражение идейной и политической продажности»².

¹ Ibid., p. 256.

² См.: "Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti (1880—1925)", p. 83.

Энгельс, вступивший в переписку с Лабриолой в марте 1890 года и получивший в его лице ценный источник точной информации о положении в Италии, не мог скрыть, что поражен пессимизмом своего римского корреспондента, и пытался объяснить этот пессимизм главным образом психологическими соображениями. «Лабриола,— писал он Каутскому в декабре 1891 года,— очень недоволен ходом событий в Италии; не знаю, не связано ли это с разочарованием, вызванным у него тем, что его вступление в движение не привело сразу же к перелому и подъему»¹.

На деле Энгельса, по-видимому, не до конца убедили объяснения Лабриолы, который, выражая ему признательность за «сердечные советы», заранее пытался защититься от упреков в нетерпении и в одном из предыдущих писем говорил о «некоем замысле», который он вынашивает «с целью популяризации идей научного социализма» как условия реального развития социализма в Италии. «Для того чтобы социализм родился и получил развитие в Италии,— читаем мы в его письме Энгельсу от 9 ноября 1891 года,— требуются многие условия, которых сейчас нет. Нужно поэтому, чтобы тем временем не было фальсифицировано само понятие социализма»². При таком взгляде на вещи марксизм Лабриолы все еще выглядел несколько доктринерски, и Энгельс не без основания испытывал некоторые сомнения за сей счет. Некая «идея», понятие социализма, предшествующее развитию «вещей» и моделирующее его,— не вступало ли все это в противоречие с той материалистической концепцией истории, которую незадолго до того отстаивал сам Лабриола? И не вело ли это к кризису той самой идеи научного социализма, которую он намеревался «популяризовать»?

На деле так оно и было. Кризис политической веры у Лабриолы во второй половине 1891 года в основе своей был также кризисом теории, и преодолеть его он мог, лишь поднявшись на новую ступень зрелости, но зрелости не только теоретической—зрелости в овладении учением или в труде по его распространению. Чтобы совершить этот шаг, недостаточно было советов Энгельса: как бы ценны они ни были, Лабриола говорил, что они лишь *помогают* ему завершить свое формирование как социалиста³. В попытке выйти из этого своего кризиса 1891—1892 годов он в противовес линии Турати, прагматически стремившегося подчинить теорию практике, в конечном счете фактически впал в другую крайность: в продиктованную прекраснодушными мечтами попытку подчинить живую практику теории, которая тем самым превраща-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, с. 205.

² "La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895", p. 408.

³ Ibid., p. 440.

лась в тюрьму для фактов. Естественно, вскоре ему пришлось убедиться, что и при таком подходе концы не сходятся с концами и для приведения в равновесие соотношения между теорией и практикой все объяснительные категории марксизма следует вновь проанализировать и осмыслить, а не только «популяризировать». «Практические действия в Италии,— писал Лабриола Энгельсу 3 августа 1892 года, накануне Генуэзского съезда,— ныне невозможны. Нужно написать книги для обучения тех, кто хочет выступать в роли учителей. Италии не хватает полувека развития науки и опыта других стран. Этот пробел нужно заполнить»¹.

Отправляя это письмо, он дошел до конца тупика, в который загнал себя примерно годом раньше. Но понимание того, что исторические пробелы не заполняются писанием книг, пришло к нему позже, когда он попытался привести в исполнение свой замысел популяризации марксизма, тщательной подготовкой к которому были его курсы лекций, прочитанные в университете². Причем перемена взгляда на возможности практических действий в Италии была вызвана у него, разумеется, не превзошедшим все ожидания результатом Генуэзского съезда, где внезапно, словно по мановению волшебной палочки, возникла та самая партия итальянских трудящихся, за образование которой он тщетно ратовал столько времени. В письме Энгельсу Лабриола излагает мотивы своих глубоких сомнений и одновременно пытается, преодолевая пессимизм своих оценок, выискать хоть какой-то проблеск надежды в самих объективных условиях итальянской обстановки. «Как бы то ни было, вещь родилась,— пишет он,— а почти все человеческие вещи — по крайней мере по видимости — рождаются плохо и как бы случайно. Теперь важно понять, сможет ли она приносить полезные и устойчивые результаты или ей суждено вырождаться в одно из обычных пустопорожних сборищ по-итальянски... Как знать, а вдруг эта неожиданно возникшая маленькая партия с ее на скорую руку одобренной программой породит любовь к дисциплине и чувство ответственности»³.

Если Лабриоле все же удалось, несмотря на оговорки, которые вызывал у него характер «зачатка», созданного съездом в Генуе, вернуть себе веру в возможности политического действия в Италии, то помогли ему в этом еще раз факты внешней жизни (по отношению к которым, однако, он уже никогда больше не будет просто пассивным наблюдателем). К подобным фактам относилось прежде всего его ак-

¹ Ibid., p. 443.

² См. письмо Энгельсу от 12 марта 1893 г. (ibid., p. 475—476): «Никому не дано ни заполнить пробелы истории, ни переделать задним числом то, что было плохо сделано отцами и дедами».

³ Ibid., p. 448—449.

тивное участие в разоблачении банковских скандалов 1892—1894 годов и в кампании солидарности и политической поддержки движения сицилийских фаший («первый крупный факт итальянского социализма»))—участие, которое способствовало тому, что конкретный опыт политической борьбы слился у Лабриолы воседино с отточенным и углубленным сознанием зрелого теоретика. Правда, его отношениям с партией было суждено всегда носить сложный и трудный характер, но столь же верно и то, что впредь он уже был не в состоянии обходиться без этой партии и постоянно ощущал себя ее составной частью, несмотря на видимые расхождения и полемические колкости. Он чувствовал, что в этой партии ему не подходит ни роль «солдата», ни роль «полководца»¹, но возражал против того, чтобы его считали лишь «теоретическим социалистом». Когда в 1897 году на страницах «Критики социале» его мимоходом аттестовали как человека, «теоретически являющегося социалистом, хотя и не состоящего в партии»², он отреагировал на это письмом Турати, в котором упомянул о недостатках, характерных для «нас, итальянских социалистов». «Говоря это «нас»,— отмечал он в письме,—я вовсе не намереваюсь прибегать к традиционно употребляемому множественному числу, потому что я положительно зачисляю сюда и себя, ибо, хотя Сольди, не помню уж в каком номере «Критики», и объявил меня социалистом *in partibus infidecium**, знаю, что есть и моя доля ответственности за то, что есть хорошего и плохого в партии»³.

6. От написания «Очерков» до «кризиса марксизма»

В 1892 году Лабриола писал Энгельсу, что принял социалистическое учение «как нечто готовое и разработанное» и на протяжении нескольких лет пользовался им «по-ораторски и от случая к случаю»⁴. Тем самым он указывал предел, у которого остановилось в тот период его марксистское развитие. На пределе этом он делал акцент в упомянутом письме («боюсь, что меня назовут некомпетентным») главным

¹ В письме, посланном Энгельсу 22 августа 1893 года, по возвращении с Международного социалистического конгресса в Цюрихе, он писал: «Вы были правы: мне следует быть смелее. Но чтобы иметь смелость, нужно быть либо солдатом, либо полководцем. Я же просто выбившийся из шенги» (*ibid.*, p. 497).

² R. Soldi. Il partito socialista e la politica italiana in Oriente. — In: «Critica sociale», VII, 1897, p. 84.

* Не вполне надежный (лат.). — Прим. ред.

³ Письмо Лабриолы Турати от 2 сентября 1897 года. Цит. по: «Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti (1880—1925)».

⁴ «La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895», p. 450.

образом для того, чтобы объяснить, почему он отказывается засесть за писание тех книг, в которых, как он сам считал, Италия испытывает острую нужду. Вместе с тем в таком четком понимании собственного предела можно увидеть исходный пункт новой фазы теоретических исследований, которая приведет к окончательному созреванию марксизма Лабриола — марксизма, понимаемого уже не «как нечто готовое и разработанное», но как определенное, прочно усвоенное направление мысли, которое по самой своей природе есть нечто находящееся в постоянном становлении, а следовательно, подлежащее продолжению, критическому развитию и направлению.

В осторожности, с какой Лабриола подходил к исследовательской работе в этой новой фазе, следует видеть одну из самых примечательных черт его научного метода. Его самобытный критический подход к марксизму складывался в процессе методологического сомнения, которое удерживало его на значительной дистанции от каких бы то ни было поспешных выводов, как позитивных, так и негативных. Образцовой в этом смысле является его переписка с Энгельсом, где порожденное восхищением преклонение прекрасно уживалось с откровенными критическими оговорками. Причем эти оговорки касались не только второстепенных вопросов, проблем политической тактики (по этим вопросам Лабриола, как правило, доверялся более обширному опыту своего прославленного корреспондента), но и существенных теоретических вопросов. Будучи философом, Лабриола, естественно, особенно интересовался философскими аспектами марксизма, и в этой области его согласие с Энгельсом установилось отнюдь не сразу (и никогда не являлось совершенно полным). Прочитав в октябре 1892 года предисловие Энгельса к вышедшему в том же году английскому изданию книги «Развитие социализма от утопии к науке», в котором автор вновь изложил в переработанном виде теорию исторического материализма, Лабриола не скрывал своего недоумения: «Я с большим вниманием прочел Ваше предисловие... и очень хотел бы побеседовать с Вами о «материалистическом истолковании истории», которое, как мне кажется, для достижения зрелости нуждается в более длительном изучении конкретных проблем. Бесспорно, когда речь идет о происхождении (доказательством тому — Ваша книга о происхождении семьи), оно начинает изобиловать трудностями, когда его применяют к сложным явлениям развитых цивилизаций»¹.

Лишь полтора года спустя, в письме от 14 марта 1894 года, Лабриола, перечислив Энгельсу свои исследования «по генезису современного социализма», почувствовал себя на-

¹ Ibid., p. 459.

конец вправе заявить: «Зерно марксизма дает ростки у меня на глазах, и у меня отпали все сомнения насчет материалистического истолкования истории»¹. Важна связь между этими двумя утверждениями. Сомнения относительно применимости материалистического понимания истории «к сложным явлениям развитых цивилизаций» преодолены Лабриолой не абстрактно, не путем гадания на ромашках философской спекуляции, а с помощью генетического анализа современного социализма, позволяющего материалистически объяснить само «прорастание» марксизма. Выводя природу марксизма из его исторических истоков, из объективно обусловленных общественных отношений, определивших его появление на свет, Лабриола наконец постигает необходимость марксизма не в качестве порождения некоего гениального ума, а в качестве плода и момента развития того исторического движения, выражением которого он является. Такова направляющая нить, которой он следует в трех своих «Очерках материалистического понимания истории», написанных и опубликованных в 1895—1898 годах: «В память о „Манифесте Коммунистической партии“», «Об историческом материализме. Предварительное истолкование» и «Беседы о социализме и философии».

Однако такая постановка задачи вынуждает Лабриолу отказаться от первоначальных популяризаторских намерений и предпринять куда более сложный труд по теоретической переработке марксизма, вновь подвергающей сомнению его основополагающие устои, начиная с вопросов метода, которые казались уже решенными раз и навсегда. Первый — и главный — из этих вопросов касался «диалектического метода»: обсуждение его в июне—августе 1894 года явилось темой наиболее глубокого философского диалога за всю длительную переписку Лабриолы с Энгельсом². Основным требованием, которое отстаивал Лабриола в этом диалоге, было «убереечь явления», чтобы оставить «неперечеркнутой эмпирически выявляемую природу каждой конкретной формации» и в то же время не ужалить правомерности «любых усилий мысли в стремлении установить связь и единство наблюдаемого разнообразия». Речь, следовательно, шла об антигегельянском, но одновременно и антипозитивистском требовании обеспечения — в этом двояком аспекте — философской самостоятельности марксизма. Эта самостоятельность, по мнению Лабриолы, затемнялась обращением к «диалектическому методу», который в свое время столь настойчиво

¹ См.: V. Gerratana. *Per una corretta lettura di Labriola. Precisazioni e rettifiche.* — In: «Critica marxista», settembre-ottobre 1973, p. 265.

² См. письма от 13 июня и 11 августа в публикации: «La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848—1895», p. 536—539, 545—546.

предлагал Энгельс, в качестве ключа к пониманию всего метода Маркса. Однако, рекомендуя заменить выражение «диалектический метод», двусмысленное по причине как своего гегельянского происхождения, так и уже наметившегося злоупотребления им, другим выражением — «генетический метод» (или «генетическое понимание»), Лабриола отнюдь не собирался подрывать методологические основы марксизма, а, напротив, думал об их укреплении. Поэтому его диалог с Энгельсом, даже когда между ними обнаруживались расхождения (Энгельс продолжал отстаивать верность тезиса о том, что Маркс «поставил на ноги» диалектический метод Гегеля), ни разу не окрашивался в тона полемики.

Вдобавок весьма поучительно проследить, как этот философский диалог отразился в «Очерках», особенно тех, которые написаны после смерти Энгельса. Лабриола не только не стремился акцентировать свои разногласия с ним, но и старался, судя по всему, смягчить их. Развивая свой «генетический метод», подчиненный стремлению связать идеи и факты путем сведения их к некоему единому «генезису», он больше не представлял его как альтернативу «диалектическому методу», а включал этот последний в качестве подчиненного момента в генетическое понимание истории. Тем самым Лабриола вновь обращался к Гегелю, но в четко очерченных пределах, предотвращавших соблазн его некритически-школярского воскрешения. По правде говоря, в этой позиции Лабриолы не было ничего для него нового: еще задолго до того он отошел от Гегеля и избрал более крутые и трудные пути, но ни разу не поддался моде пренебрежительно-высокомерного отказа от него. Более того, он исподволь убедился, что те, кто отворачивается от Гегеля, более всего восприимчивы к худшим разновидностям влияния гегельянства, как это случилось со сторонниками «универсализации дарвинизма», которые своим сциентистским монизмом воспроизводили «худшую по причине своей безмысленности»¹ форму гегельянства.

Еще явственнее значение этих размышлений о методе проступало в связи с разбором содержания теории, который Лабриола предпринял уже в первом очерке 1895 года «В память о „Манифесте Коммунистической партии“». На первый взгляд, этот анализ содержания с помощью генетического метода вел к растворению или обесцениванию самого понятия «марксизм». Даже термин этот приводился в первом очерке как бы против воли, только для того, чтобы не нарушать молчаливого уговора: автор писал о «комплексе теорий, который мы ныне обыкновенно называем марксизмом»². Впрочем, уже в самом начале он подчеркивал, что

¹ A. Labriola. *Scritti filosofici e politici*, v. I, p. 24.

² A. Labriola. *Saggi sul materialismo storico*, p. 32.

предпочитает другое название — «критический коммунизм»: «Именно таково подлинное имя этого учения, и нет другого, которое бы больше подходило ему»¹. Позже, в третьем очерке, приравниваясь к устанавливающейся традиции и критически объясняя ее, Лабриола постарался разъяснить в первую очередь масштабы своих оговорок и написал, что марксизм, как название, «которое теперь используется в качестве символа или свода многообразного идейного течения и сложного учения, не остается и не будет оставаться целиком заключенным в трудах Маркса и Энгельса»². В любом случае марксизм (или критический коммунизм) есть теория, учение или комплекс учений, и не отождествляется с рабочим движением, которое порождается «и продолжает порождаться независимо от влияния каких бы то ни было доктрин»³. Отношения между марксизмом и этим современным рабочим движением (в политической борьбе которого «действительно случаются и, следует допустить, будут случаться и в дальнейшем колебания и задержки, но никогда не наступит момент полного поглощения системой и уничтожения») определяются в его представлении тем, что марксизм становится составной частью и важнейшим фактором развития рабочего движения в силу «революционной функции», заложенной в генезисе и природе марксистского учения. Специфический характер этой революционной функции превращает субъективный момент сознания в решающее звено реально совершающегося объективного процесса. «Критический коммунизм,—пишет Лабриола,—не фабрикует революций, не подготавливает революций, не вооружает мятежей. Он действительно составляет единое целое с пролетарским движением; но он видит и поддерживает это движение в полном понимании (которым то обладает или может и должно обладать) его взаимодействий со всей совокупностью отношений, составляющих жизнь общества. Одним словом, это не семинар, где формируется штаб полководцев пролетарской революции, а только средство осознания этой революции и, особенно при некоторых обстоятельствах, осознания трудностей, на которые она наталкивается»⁴.

Все это означало вместе с тем изменение самого понятия «революция» и превращение его в представление, равно далекое как от якобинского образца, так и от фаталистической стихийности: «Возвышая до уровня теории ту потребность в новой социальной революции, которая более или менее оформленно жила в инстинктивном сознании пролетариата, в его кратких и пламенных выступлениях-вспышках, эта исто-

¹ Ibid., p. 15.

² Ibid., p. 187.

³ Ibid., p. 24.

⁴ Ibid., p. 40.

рическая концепция устанавливает внутренне обусловленную, имманентную необходимость революции и тем самым меняет представление о ней. То, что раньше считалось возможным для сект заговорщиков, что выглядело осуществимым по плану, в соответствии с замыслами и усилиями авторов «акций», теперь обрело характер процесса, которому следует создавать самые благоприятные условия, оказывать поддержку и сочувствие. Революция становилась целью политики, условия которой заданы совокупной обстановкой в обществе; другими словами, она превращалась в результат, к которому пролетариат должен прийти путем разнообразных битв и с помощью разнообразных организационных средств, еще не изобретенных старой тактикой восстаний»¹.

Подобное направление мысли подразумевало обширную программу: в трех «Очерках» она осуществилась лишь в очень небольшой части. После первого очерка с его четким историческим анализом появились второй и третий, посвященные главным образом методологическим вопросам и преследовавшие прежде всего цель защитить марксизм от расхожих догматических и схоластических искажений и предостеречь от развития его в ложных направлениях (вроде того, например, которое претендовало превратить марксизм в некую всеобъемлюще энциклопедическую науку). Пояснения, которые Лабриола вносит в рассматриваемые вопросы, по своей проницательности и четкости остаются неизменно плодотворными, а по большей части даже, пожалуй, и непревзойденными по сей день. Но что остается в тени в двух последних «Очерках», так это именно развитие концепции революционной функции теории,—функции, которую он верно установил в связи с потребностями реального движения. Возникает впечатление, что в предвидении периода оборонительных боев он был озабочен главным образом укреплением защитных сооружений, но что в то же время ему не удалось изготовить те инструменты анализа, необходимость которых он сам ощущал.

Сразу же после окончания второго очерка Лабриола почувствовал неполное соответствие между анализом социального развития в том виде, как он был разработан марксизмом до того, и новыми явлениями в жизни общества. В письме Ромео Сольди от 31 августа 1896 года он, комментируя нечеткие решения Лондонского конгресса II Интернационала, не колебался написать, что «ныне сами марксистские теории (я говорю о *настоящих*) становятся отчасти неадекватными новым социально-экономическим явлениям последнего двадцатилетия», и предсказал, что вследствие этого международное социалистическое движение вступит «в дли-

¹ Ibid., p. 25.

тельный период кризиса»¹. Следовательно, Лабриола уже как будто был подготовлен к идейному взрыву конца XIX столетия, вошедшему в историю под названием «первого кризиса марксизма». Главные деятели этого кризиса — Бернштейн в Германии, Сорель во Франции, Кроче в Италии, — зная сомнения Лабриолы и его нетерпимость ко всякому догматизму, возможно, вначале питали иллюзии, что он примкнет к ним. Но Лабриола разочаровал их, резко выступив против ревизии марксизма, публично порвав с ее вдохновителями и продемонстрировав при этом такую непреклонность, которая могла показаться удивительной в человеке подобного критического ума.

Между тем речь шла не о теоретическом ожесточении, не об уходе в глухую догматическую защиту, а о глубокой верности методу и содержанию своей марксистской разработки. Этого не могли понять люди, оказавшиеся в плену предрассудка, в соответствии с которым «критическое» есть лишь противоположность «догматическому». Для Лабриолы же «критическое» противостоит не только «догматическому», но — в равной мере, хотя и иначе, — «поверхностному», «импровизированному». Легковесность противопоставления догматизму, но от этого она не становится ближе к «критическому» в истинном смысле слова, то есть к тому, что для Лабриолы составляло неотъемлемую часть методологических принципов науки. Поэтому он отказывался признавать претензии на научность нападок на теории Маркса. Поскольку марксизм, писал он, «сам по себе есть критика, то и его развитие, применение и исправление могут происходить не иначе, как критически»². В итоге объединение в рамках единой кампании самых разных по своей природе попыток ревизии марксизма под предлогом его «кризиса» опосредованно было вызывать у него лишь раздражение. В то же время в таком объединении он видел самый неопровержимый признак политического характера этой кампании. Попытка научно дискредитировать марксизм, за которым тем самым, в сущности, признавалась его революционная роль, в действительности выражала — независимо от субъективных намерений тех, кто такую попытку предпринимал, — стремление отбросить назад социалистическое движение. Перед лицом такого наступления Лабриола хорошо знал, на чьей стороне он сам.

Остановить Лабриолу не могло и то шекотливое обстоятельство, что с главными участниками кампании «кризиса марксизма» он ранее был связан узами сотрудничества. Впрочем, он реагировал дифференцированно, возможно, отчасти с

¹ R. Soldi. Il Congresso internazionale socialista di Londra del 1896. — In: "Movimento operaio". Milano, 1950, p. 253.

² A. Labriola. Saggi sul materialismo storico, p. 187.

целью попытаться расчленив силы атакующего противника. Например, с Сорелем, который был инициатором перевода его «Очерков» на французский язык и которому в некотором роде посвящен третий очерк, написанный в форме «писем Сорелю», разрыв носил более резкий характер, вылившись в несколько страниц саркастической полемики, предпосланных в качестве предисловия к французскому изданию третьего очерка (1899). С Кроче, который сделался ревностным издателем «Очерков» в Италии и в 1895 году под влиянием Лабриолы с восторгом неопита приобщился к марксизму и социализму, тон полемики был более мирным, причем не только в личной переписке, но и в публичных выступлениях, вроде «Постскриптума» к французскому изданию третьего очерка, где предпринята попытка доказать научную незрелость критики молодого Кроче в адрес Маркса. В этом более мягком тоне отразилась надежда, что начинающего итальянского философа еще удастся «перевоспитать». Совсем иначе велась полемика с Масариком, которого Лабриола считал первым, кто пустил в оборот тезис о «кризисе марксизма». Вместе с тем Масарик был единственным, с кем у него не было личных отношений, и выступления против него имели целью доказать тщетность академической критики марксизма как таковой¹.

Наконец, в совсем иной плоookости вел он полемику с Бернштейном. Из всех руководителей германской социал-демократии, с которыми Лабриола в предыдущие годы стремился установить связь, Бернштейн представлялся ему подающим самые большие надежды. Он даже ободрил Бернштейна в его первых ревизионистских попытках, которые, как казалось итальянскому философу, могли явиться ответом на потребность дать марксистское объяснение изменениям, произошедшим в капиталистическом мире на протяжении последних десятилетий. Он был солидарен с Бернштейном и тогда, когда тот подвергся нападкам Плеханова, как бы присвоившего себе право поучать других с позиций марксистской ортодоксии. Но когда вышла книга Бернштейна² и вся международная печать ухватилась за нее как за главное доказательство реальности столько раз возвещенного «кризиса марксизма», отношение Лабриолы к Бернштейну резко изменилось. У него zakралось подозрение, что подобное пропагандистское использование теоретической работы автора-социалиста происходит неспроста, и он дал понять, что нахо-

¹ Ibid., p. 303—319.

² E. Bernstein. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart, 1899. Об отношениях Лабриолы с Бернштейном см.: A. Labriola. Lettere a E. Bernstein, L. e K. Kautsky (1895—1904), a cura di B. Andreas e G. Procacci. — In: "Annali dell' Instituto Giangiacomo Feltrinelli". Milano, 1960, p. 285—341.

дит морально недостойным двусмысленное поведение Бернштейна, который, с одной стороны, уверял, что стремится вести борьбу в рамках партии, а с другой—не упускал случая воспользоваться поддержкой классово чуждых сил извне. Вместе с тем Лабриола признал, что в Германии у этого кризиса есть реальные корни и что выйти из него в самом скором времени будет невозможно. Выступив на страницах «Мувман сосьялист» с критикой теоретических предположений, содержащихся в книге Бернштейна, он позволил себе закончить статью в несколько отрешенном тоне. «По правде говоря, за всеми этими шумными спорами стоит серьезный и важный вопрос. Пылкие, боевые, нетерпеливые ожидания недавних лет — ожидания, грешившие чрезмерной точностью в деталях и оттенках,— ныне наталкиваются на сопротивление в виде усложнившихся экономических отношений, более запутанных передаточных механизмов в сфере политики. И тогда те, кто не умеет привести свое психологическое время (а в переводе на простой язык это означает: терпение и наблюдательность) в соответствие со временем внешнего мира, устают на полпути и покидают наши ряды»¹.

А позже в письме к Кроче, не будучи связанным соображениями политической тактики, он говорил еще откровеннее: «Социализм сейчас переживает момент остановки. Это лишь подтверждает правильность исторического материализма. Экономико-политическая действительность усложнилась. Этот кретин Бернштейн может воображать себе, что сыграл роль Иисуса. Этот простака Каутский может предаваться иллюзии, будто он призван быть стражем священного ковчега. Этот интриган Мерлино может уверять, что служил делу социализма, находясь в действительности на службе полиции. Этот Сорель может верить, что исправил то, чего никогда не мог выучить... Но скажите на милость, в чем же состоит та действительная новизна мира, которая сделала очевидными в глазах множества людей несовершенства марксизма? Здесь-то и зарыта собака»².

Ради того, чтобы «откопать собаку», Лабриола готов был употребить свое «психологическое время», то есть терпение и наблюдательность, но мучительная болезнь и смерть помешали ему выполнить эту задачу. Да и не известно вообще, смог ли бы он ее выполнить; во всяком случае, в оставшемся незавершенным четвертом очерке («От одного века к другому») указанная цель, конечно же, не была достигнута. Его изолированное положение в итальянском рабочем движении

¹ A. Labriola. *Scritti politici*, p. 440—441.

² A. Labriola. *Lettere a Benedetto Croce*, 1885—1904. Napoli, 1975, p. 337.

(тщетно пытался он возобновить с Турати отношения практического сотрудничества после бурных событий 1898 года¹) приводило к тому, что в вопросах выработки политической линии он не всегда занимал осмотрительную позицию. Он не понял, например, что «хронический антиколонит», в котором он упрекал социалистов, был единственной болезнью, какой Итальянская социалистическая партия, страдающая множеством недугов, могла бы не стыдиться. Но и в этом случае он был прав, отвергая ярлык «еретика», который старались приклеить ему либеральные круги.

«Это,— писал он, — худший способ ведения полемики со стороны либеральной прессы. Партия критиков — каковой является социалистическая партия — живет критикой и самокритикой. В прошлом партия сектантов и утопистов, она лишь мало-помалу приобретает умение решать реальные проблемы и, пока учится, ошибается и грешит»².

¹ *A. Labriola. Scritti politici*, p. 442—446. На Лабриолу произвели тяжелое впечатление те судорожные формы, которые приобрела классовая борьба в Италии в связи с миланскими волнениями 1898 года. «Все это кажется кошмаром, — писал он Кроче. — Восстание безумных сменилось реакцией одержимых» (*A. Labriola. Lettere a Benedetto Croce*, p. 294).

² *A. Labriola. Scritti politici*, p. 462—463.

Грегорио Де Паола

ЖОРЖ СОРЕЛЬ: ОТ МЕТАФИЗИКИ К МИФУ

Тот, кто задался бы целью проследить за распространением марксизма во Франции в конце XIX века на основании анализа организаций рабочего класса, прямо объявлявших себя приверженцами марксистского социализма, обнаружил бы перед собой разочаровывающе тусклую картину. Сочетая в себе две крайности — память о заговорщической бланкистской традиции и теоретические установки, доводящие до абсурда организационное рвение, — французская Рабочая партия восприняла основы марксистской теории в упрощенной, слабой форме гедизма¹. С этой точки зрения Марксову анализу суждено было оказать незначительное воздействие на формирование идеологии массового движения в целом. С конца прошлого века и еще на протяжении многих лет марксизм был для французских масс чем-то загадочным, неведомым, «неуловимым»².

Однако в этой картине упрощения и опошления, если угодно, даже блокирования процесса проникновения идей Маркса во Францию встречаются и кое-какие существенные исключения. Благодаря работам некоторых представителей интеллигенции, сумевших добиться взаимодействия идей Маркса с французской культурой, трактовка марксизма приобрела большую глубину и строгость, хотя и сопровождалась дискуссией в усложненных и противоречивых формах. Разумеется, это был не прямолинейный процесс, и все же неоспоримо, что он дал интересные специфические плоды, которые полноправно входят в совокупную историю развития марксизма. Своего рода символическим выражением этих оригинальных специфических черт французского марксизма было творчество Жоржа Сореля. С его именем связаны непрерывные и страстные усилия по распространению во Франции идей Маркса и в то же время по их развитию применительно

¹ О Жюле Гедде и сложных взаимоотношениях между марксизмом, интеллигенцией и рабочим классом во Франции см.: *M. Maggi. La formazione dell'egemonia in Francia*. Bari, 1977. В этой же работе содержится заслуживающее внимания изложение идей Сореля.

² «Неуловимый марксизм» — таково вызывающее, но убедительное заглавие новейшей книги о философии и идеологии во Франции с 1880 года по сегодняшний день (*D. Lindenbergh. Il Marxismo introvabile*. Torino, 1978).

но к особенностям французской истории и политики. И каковы бы ни были результаты этих усилий, отличительной чертой Сореля было постоянное стремление сохранять открытой перспективу практического осуществления социализма.

Между тем по поводу отношения Сореля к Марксу в марксистской традиции существует известное единообразие оценок, сходящихся на преуменьшении, если не прямом отрицании, ценности и плодотворности работ Сореля для марксизма. Достаточно вспомнить тезис Альтюссера о том, что Сорель служит примером теоретической нищеты французского рабочего движения, неспособного сформулировать задачи, продиктованные необходимостью преодолеть буржуазную гегемонию¹. Или вспомним суждение Лукача, который, опираясь на давнюю ленинскую оценку, относит теоретические труды Сореля к узким взглядам мелкобуржуазной интеллигенции². В то же время за пределами марксистского лагеря существуют прямо противоположные точки зрения: здесь достаточно будет упомянуть такого мыслителя, как Кроче, на взгляд которого Сорель был единственным истинным продолжателем марксизма³. Вполне очевидно, что такой разницей в оценках в решающей степени обусловлен разным отношением к марксизму. Очевидно также, что определенное влияние на эти оценки оказали колебания Сореля в политике в личном плане (например, сближение с монархической группой «Сите франсэз» перед самым началом первой мировой войны или не лишённое сочувствия внимание к Муссолини в годы прихода фашизма к власти в Италии, особенно в сочетании с тем теоретическим тупиком, в котором он оказался, когда фаза революционного синдикализма была исчерпана. И все же определяющим фактором здесь явилась способность сорельянства вписываться в новые для себя контексты, порой далекие от исходного (в силу чего, например, фашизм смог на первых порах представляться Сорелю неким грандиозным воплощением «мифа»). В конечном счёте оправданно задаться вопросом: существовало ли когда-нибудь учение Сореля как нечто цельное или оно представляло собой, скорее, вереницу разрозненных поисковых положений?

Вернуться к проблемности Сореля — значит поэтому выйти за рамки категорических суждений о его ограниченности

¹ См.: L. Althusser. *Per Marx*. Roma, 1969, p. 7—9.

² См.: G. Lukács. *La distruzione della ragione*. Torino, 1959, p. 30—33.

³ Кроче писал: «Синдикализм явился новой формой великой мечты Маркса, и мечта эта была возрождена не менее проникательным, чем Маркс, наблюдателем социальных явлений и человеком, пожалуй, более, чем Маркс, проникнутым религиозно-этическим духом, — Жоржем Сорелем... Я понял, что если социализму суждено быть, то он должен быть только таким и никаким другим» (*B. Croce. La morte del socialismo*, 1911. — In: *"Cultura e vita morale"*. Bari. 1914, p. 176—177).

и воспротивиться расщеплению его мысли на разрозненные фрагменты. По сути, речь идет не только и не столько о том, чтобы определить качественную степень усвоения марксизма Сорелем, сколько — и прежде всего — о том, чтобы выявить смысл и значение той теоретической операции, которую Сорель осуществил по отношению к учению Маркса.

1. Годы идейного формирования

Момент приобщения Сореля к марксизму обычно датируют его открытым письмом в «Ревю философик», опубликованным в 1893 году под заголовком «Наука и социализм». Этим письмом Сорель включился в дискуссию, в ходе которой под весьма прозрачной оболочкой академического диспута на деле обсуждались животрепещущие проблемы Франции, рельефно выступившие в результате предшествующих политических событий. Серьезный кризис конца 80-х годов, вызванный бонапартистскими поползновениями генерала Буланже, был преодолен, что свидетельствовало о глубинной прочности республиканских институтов. В связи с этим изначальная шаткость Третьей республики, родившейся под знаком разгрома под Седаном и расправы с Парижской коммуной, выглядела атрибутом скорее прошлого, чем настоящего. Вместе с тем крупный успех, одержанный на парламентских выборах 1893 года французскими социалистами, пусть разобщенными на несколько партий, указывал на то, что растет сила, способная создать серьезную угрозу престижу правящей политической элиты, и так уже подорванному шумным скандалом вокруг аферы с Панамским каналом.

Однако конкретным предлогом для дискуссии неслучайно послужила рецензия на книгу о германской социал-демократии¹. Таким образом, с самого начала дискуссии было ясно, что представители французской интеллигенции сознают международные масштабы социалистического движения, все более приобретающего в те годы характер общеевропейского явления, с которым уже нельзя было не считаться. Можно сказать, что суждения, высказывавшиеся разными участниками диспута, отражали типичные взгляды и позиции французской интеллигенции. Так, Тард, обращая внимание на «религиозное» рвение германских социалистов, усматривал в

¹ См. опубликованную в «Ревю философик» (1893, т. XXXV, с. 79—84) рецензию Г. Тарда на книгу: *I. Bourdeau. Le socialisme allemand et le nihilisme russe. Paris. 1892*, а также последовавшую дискуссию, в которой приняли участие: Г. Мазель (статья «Определение социализма», там же, с. 512—514), Ж. Бело (статья «Еще об определении социализма», там же, с. 631—635) и Э. Дюркгейм (статья «Замечание относительно определения социализма», там же, с. 506—512).

этом симптом «болезни роста потребностей и амбиций», развившейся после «золотого дождя», который хлынул на Германию в результате победы над Францией. Мазель на основе дотошного разбора разных дефиниций социализма приходил к выводу, что социализм есть тенденция «к подчинению индивида государству, подобно тому как индивидуализм стремится подчинить государство индивиду». Бело со своей стороны находил, что во французской национальной традиции имеется своя идея социализма, понимаемого как «кооперация», и что поэтому следует отвергнуть авторитарную концепцию социализма, характерную, по его словам, для германской социал-демократии. Особенно плодотворной в этом контексте выглядела позиция Дюркгейма. Отталкиваясь от определения социализма как «тенденции к переходу — резкому или постепенному — от нынешнего, распыленного состояния экономических функций к их организованному состоянию», он указывал, что социализм «присущ самой природе высших обществ», ибо предполагает «разделение труда» и «соединение отдельных позиций с отдельными органами, а этих последних — между собой». Социализм тем самым в точности соответствовал воззрению Дюркгейма на общество как на «организм», исправное функционирование которого требует контроля над всеми потенциально «патологическими» элементами¹.

В совершенно иной плоскости ставил в своем письме проблему Сорель. Он отказывался видеть в социализме просто движение под флагом материальных требований. «Для многих, — писал он, — социализм есть лишь форма якобинства; есть образованные люди, полагающие, что социализм — это повод поделить между собой имущество буржуазии и содержать полчища чиновников за счет налогоплательщиков». Между тем смысл и закономерность наступления социализма определяются учением Маркса, иначе говоря, теорией общества, которая, базируясь на экономике (то есть области, где явления носят устойчивый и повторяющийся характер), становится способной создать «новую, реальную метафизику». Альтернатива, говорил Сорель, состоит не в выборе между голым эмпиризмом политиков и утопиями многих социалистов. Между этими двумя крайностями есть «рациональная наука», представляющая собой творение нашего духа в том смысле, что она никогда не согласуется полностью с реальными обстоятельствами, но в то же время достаточна для обоснования нового публичного права, которое составило бы фундамент «рационального государства». Сорель делал вывод: «Социализм ныне претендует на то, чтобы установить экономическую науку; если его претензия обоснованна, то

¹ Durkheim. La scienza sociale e l'azione. Milano, 1970, p. 245, 247.

он вправе требовать законодательного пересоздания государства; и тогда должны найти применение его постулаты; то, что рационально доказано, должно стать реальным»¹.

В дальнейшем мы увидим, как взаимодействуют у Сореля эти ключевые в его марксизме понятия: «экономическая наука», «реальная метафизика», «рациональное государство». Следует, однако, с самого начала иметь в виду, что всю эту систему понятий через считанные годы постигнет кризис. Пока же полезно уточнить, на какой период жизни Сореля приходится момент, когда он совершает этот свой поворот к марксизму.

В 1893 году Сорелю исполнилось 45 лет, и за плечами у него было 20 лет пребывания на государственной службе. Уже обретя известность, он в ответ на просьбу сообщить какие-нибудь сведения о своем прошлом нарочито ограничился следующей умалаяюще лаконичной справкой: «Моя биография укладывается в несколько строк. Родился в Шербуре 2 ноября 1847 года. Образование получил в коллеже того же города, если не считать года, проведенного в «Коллеж Роллен» в Париже. Затем с 1865 по 1867 год учился в Политехнической школе. Служил по ведомству гражданского строительства, откуда уволился в 1892 году, как только смог сделать это на приличных условиях: получив правительственную награду (орден Почетного Легиона служил своего рода аттестатом лояльной службы для всех чиновников, достигших известного ранга) и чин главного инженера»². Несколькими годами раньше он писал, еще резче оттеняя совершенный поворот: «20 лет я трудился ради того, чтобы похоронить то, что у меня еще оставалось от полученного образования... Последние 15 лет я тружусь во имя того, чтобы пополнить свои знания»³.

Приход к марксизму был, бесспорно, поворотным для Сореля шагом, но шаг этот увенчивал путь от уединенных размышлений в провинции, где протекала его инженерная деятельность, до изучения и усвоения трудов Маркса. На этом пути он прошел через восприятие главных элементов культуры позднего позитивизма во Франции. Примечательно, что первые статьи Сореля, опубликованные в 1883—1892 годах, имели стержнем критический интерес к проблемам философии науки и свидетельствовали о неудовлетворенности автора механистическим детерминизмом.

Центральным пунктом этих размышлений было осмысление понятия причинности, которое бралось Сорелем не в

¹ G. Sorel. Science et socialisme. — In: "Revue philosophique", XVIII, 1893, t. XXXV, p. 510.

² См. автобиографическое письмо Ж. Сореля в: A. Lanzillo. Giorgio Sorel. Roma, 1910, p. 124.

³ G. Sorel. Considerazioni sulla violenza. Bari, 1970, p. 55.

значении механизма, содержащегося внутри действительности, а как «идеальная схема». В действительности существует совокупность условий, например «пассивное сопротивление», которые ускользают от точного научного выявления. Следовательно, действительность разнообразнее, «плюралистичнее», чем то, что отражено в научных законах. Формулировать закон можно лишь путем изоляции некоторых свойств действительности от других ее свойств. Но это значит, что закон, «идеальная схема», никогда не будет содержать природу в ее целостности, а будет воспроизводить «чисто абстрактным образом то, что есть научно познаваемого в явлениях»¹. Выступая против распространения механистических представлений, Сорель также заявлял, что каждая отрасль науки должна создавать себе собственную «схему». В этом смысле он подчеркивал «автономию причин», то есть невозможность сведения всех их к некоему унифицирующему принципу. Некоторые из таких дисциплинарных «схем» могут, как он считал, создать условия для выведения «типов» (например, «преступного типа» в антропологической криминологии Ломброзо, чему Сорель посвятил несколько статей в 1893 году). «Типы» эти, по мысли Сореля, явятся плодом некоей «средней» эмпирических исследований, и их истинность будет носить, так сказать, «статистический» характер.

Мы обращаем здесь внимание на этот интерес Сореля к эпистемологии не столько для того, чтобы проследить связь между его научно-техническим образованием и складом ума, с одной стороны, и приходом к марксизму — с другой, сколько для того, чтобы показать, что эпистемологическим анализом окрашивается и само понимание им Маркса.

Другая область теоретической деятельности Сореля в эти годы, подготавливавшая его приобщение к марксизму, представлена исследованиями и размышлениями о Французской революции и ее последствиях. От историков, особенно от Тэна, Сорель воспринял не только тенденцию к отказу от абстрактной трактовки великих революционных лозунгов 1789 года, но и сверх того стремление к привязке этих лозунгов к конкретным социальным группам, которые отстаивали их, и, в частности, к изучению механизмов, с помощью которых в ходе исторического процесса формировались «активные группы», в свою очередь воздействовавшие на реальный ход социальной борьбы. Взгляд исследователя, таким образом, сместился: в фокусе его внимания оказались теперь «жизнь людей, сокровенные силы сцепления группировок, материальные потребности, которые определяют тенденции

¹ G. Sorel. De la cause en physique. — In: "Revue philosophique", XXVI, 1888, p. 472. О соотношении между научным подходом и политической мыслью у Сореля см.: N. Badaloni. Le riflessioni di Sorel sulla scienza. — In: "Dimensioni", I, 1976, № 1, p. 22—31.

широких масс»¹. Эта воспринятая от Тэна острота исторического взгляда в сочетании с интересом к процессам формирования коллективного мышления, «психологии толпы», позволяли Сорелю успешно преодолевать представление об «общественных переменах», являвшее собой слепок с биологического эволюционизма. «Ныне,—писал он в 1893 году,—существует тенденция к тому, чтобы изображать социальные преобразования как бы в рамках более широкой биологической модели: многие авторы воображают, что существует некая таинственная сила, бессознательно побуждающая общество к движению»². Через критику подобных воззрений в размышлениях Сореля прокладывало себе путь «материалистическое» понимание исторических процессов, которое как раз и содействовало его сближению с марксизмом. Тот факт, что Сорель уделял пристальное внимание силам, конкретно действующим в историческом процессе, позволяет лучше понять смысл его возражений, выдвинутых против политической теории Прудона. Он признает за Прудоном заслугу разработки «схемы», научного понимания экономики; отталкиваясь от представления о труде как «продукте человеческого духа», автор этой «схемы», по мнению Сореля, сумел достичь «сопоставимости» различных типов труда, имеющих общим измерителем его «продолжительность». Ныне, добавляет Сорель, эта однородность подтверждена исследованиями Кетле: «Время, которое средний работник затрачивает на изготовление некоей вещи, представляет собой действительность и вполне научную меру»³, поскольку в промышленности различия между работниками никогда не бывают слишком большими.

Таким образом, теория стоимости становится и для Сореля возможной идеальной (но не абстрактной) основой нового права, способного устранить порожденную противоречивым развитием капитализма пропасть между богатством и бедностью. Однако, задается вопросом Сорель, какие силы выступают историческими носителями этого права? Предположив возможность синтеза, или — позже — взаимного уравновешивания сил, Прудон, по убеждению Сореля, возвел в ранг всеобщего философского принципа то, что на деле было лишь специфической чертой определенной исторической фазы — эпохи Реставрации, рассматриваемой как момент

¹ G. Sorel. *Considerazioni sulla violenza*, p. 152.

² G. Sorel. *Le crime politique*, d'après M. Lombroso. — In: "Revue scientifique", LI, 1893, p. 562. Об отношении Сореля к Тэну см.: M. Simonetti. G. Sorel e Guglielmo Ferrero fra cesarismo borghese e socialismo. — In: "Il pensiero politico", V, 1972, p. 102—151.

³ G. Sorel. *Essai sur la philosophie de Proudhon*. — In: "Revue philosophique", XXXIII, 1892, p. 622—638; XXXIV, p. 41—68.

«сбалансированности противостоящих и независимых сил»¹. Содержание этой критики политической теории Прудона станет яснее и обретет более четкие очертания начиная с 1895 года, когда Сорель делает упор на решающем значении классовой борьбы в исторических процессах. А до тех пор обращение к прудоновской теории стоимости было тем фоном, на котором происходило освоение Сорелем трудов Маркса.

2. Марксизм как «новая реальная метафизика»

В одной из статей, появившихся в 1894 году в «Эр нувель» под заголовком «Прежняя и новая метафизика», Сорель разъясняет основные положения своей эпистемологии и демонстрирует применение их к области социально-экономических явлений. Здесь же он тщательно уточняет смысл своего определения марксизма как «новой реальной метафизики». Прежде всего он различает два способа познания: «систематику» и «рациональную науку». В первом случае речь идет о стремлении «классифицировать познанные явления таким образом, чтобы с достаточной для практических нужд приближенностью *предвидеть* то, что должно произойти»; во втором же речь идет об «упорядочении научных абстракций в законы, независимые от любых возможных условий реального существования»². Очевидно, что «систематика» слишком привязана к сущему, чтобы направить практическую научную ориентацию по радикально новым путям. «Рациональная наука», напротив, не сводится к пересказу серии наблюдений или размышлению над нею, а предполагает вмешательство разума, исходящего из данных, или «экспрессивных подпорок». «Для того чтобы построить рассуждение,—говорит Сорель,—нужно располагать строительными деталями, которые я буду называть *экспрессивными подпорками* (геометрическими фигурами, механизмами, живыми существами, их коллективами): ведь философы для своих нужд прибегают к различным приемам. Логика под этим углом зрения должна была бы называться «совокупностью правил по употреблению экспрессивных подпорок в процессе доказательства»³. Научным построениям, отмечает Сорель, свойственна определенная искусственность; она таит опасность того, что неосторожный выбор или неправильное применение «подпорок» может обернуться «метафизическими иллюзиями», например социальными утопиями или мифами. И в том и в другом случае «подпорка принимается за существо дей-

¹ Ibid., p. 43.

² G. Sorrel. *Scritti politici e filosofici*, a cura di G. Cavallari, Torino, 1975, p. 65.

³ Ibid., p. 79.

ствительности, а отношения рассматриваются как последствия этой гипотетической реальности»¹.

Так через критику «псевдонаучных иллюзий» систематики и «спиритуалистских бредней» классической метафизики уточняется сорелевское понятие «новой реальной метафизики», становящейся наконец возможной благодаря той степени однородности, которой действительность достигла под унифицирующим воздействием индустриализма. «Ныне,—заявляет Сорель,—механизмы помогают объяснению всего». И еще: *«Наука социальна, она — в экономической среде»*². Мысль Сореля здесь полемически заостряется против субъективистских позиций. Этику нельзя конструировать гипотезированием произвольно выбранных целей (подобно тому, как поступают Ренувье и спиритуалисты). «Нравственный прогресс связан с экономическим прогрессом, и именно этот последний питает науку. Из одного и того же материала конструируются наука и реальная этика»³. Человек должен рассматриваться в своей целостности, то есть во взаимосвязи с орудием труда; это последнее с научной точки зрения выступает в виде машин, которые «определяют способ присвоения и использования сил природы»⁴. Необходимо, следовательно, изучать роль машин и связанных с ними явлений. Подобно тому как машины поставляют «экспрессивную подпорку» науке, так ясно видимый общественный характер, приобретенный трудом на современном предприятии, и реальность непрерывного возрастания капитала⁵, рассматриваемые в качестве абсолютных феноменов, представляют собой «подпорки» метафизики Маркса. Помимо этого, прибегая к рассуждению по аналогии, Сорель превращает в «подпорку» «новой метафизики» также «товар как форму». «Учение о труде, — пишет он, — удачно дополненное открытиями Джоуля в области теории теплоты, стало основой любого современного анализа» в том смысле, что «все силы природы, все источники движения, все искусственные приспособления рассматриваются как в некотором роде однородные с точки зрения энергии»⁶. Но точно так же универсализация обмена в его товарной форме сделала очевидной однородность разных видов труда, уничтожив его старые иерархические различия, базировавшиеся на качественных особенностях каждого вида. Фигура «общественного работника», вырастающая из метафизики Маркса, заменяет собой образ человека

¹ Ibid., p. 100. Следует отметить, что Сорель, выдвигая этот упрек, не проводил тогда разграничения между утопией и мифом.

² Ibid., p. 129.

³ Ibid., p. 109.

⁴ Ibid., p. 136.

⁵ Ibid., p. 156.

⁶ Ibid., p. 161.

как «мыслящего животного» из метафизики Аристотеля, которая, отбрасывая подневольный труд рабов в сферу, далекую от интересов философии, оставалась оторванной от почвы, единственно способной стать фундаментом здания науки.

Таким образом, социалисты, предлагая «социализацию орудий производства, присвоенных капиталистами», стремятся не к устранению случайного злоупотребления, а делают логический вывод из всей эволюции общественных отношений, носящей вполне детерминированный характер¹. Гипотезу о будущем «коллективистском городе, где все виды труда расцениваются по тому общему, что содержится в каждом из них», Сорель называет «идеальным экспериментированием» и указывает, что правомочность такой гипотезы задана уже тем, что в таком предполагаемом обществе «вещи не меняют своей природы, люди же в своем духовном восприятии сразу улавливают то, что является социальным»². Таким же образом, наблюдая современную капиталистическую фабрику, «не составляет труда вообразить себе фабрику будущего — еще более механизированную, более автоматизированную, где все потребности в энергии будут покрываться за счет естественных источников, а люди будут выполнять работу, принципиально отличную от работы машин»³.

Здесь становится достаточно ясно, что, для того чтобы включить теоретический остов «Капитала» Маркса в свою концептуальную конструкцию, Сорель должен был подвергнуть его основательной переделке. Он признавал за «Капиталом» роль инструмента, позволяющего проникать в недра общества, но лишь при том условии, чтобы в самом обществе при этом оттенялась прогрессирующая тенденция к упрощению сложных классовых сочленений (что делало бы очевидной растущую социализацию), а исследователь сосредоточивал свое внимание на материальной стороне производственного процесса, игнорируя подчинение науки целям капитала, столь отчетливо обрисованное Марксом. Неслучайно, впрочем, наиболее частые ссылки Сореля на «Капитал» в этот период касаются четвертого отдела книги первой, и особенно главы — «Машины и крупная промышленность». При этом для него характерно частичное восприятие этой главы: Сорель действительно убежден, что с развитием машинного производства «рабочий из участника производственной операции, каким он был в условиях мануфактуры, превратится в „надсмотрщика”»⁴.

¹ Ibid., p. 76.

² Ibid., p. 170.

³ Ibid., p. 160.

⁴ Ibid., p. 136. Подчеркивая растущее значение машинного производства, Сорель опирался на некоторые положения Рело. В книге «Кинема-

Уподобление марксизма идеальному эксперименту не замедлило обнаружить собственную ограниченность. Фактические обстоятельства, которые Сорель рассчитывал использовать в их самоочевидности (усиление концентрации производства, рост однородности труда, возможность отделить действие машины от человеческой деятельности), весьма скоро утратили неотразимую, как казалось, доказательность: к тому моменту, когда Кроче и Бернштейн объявили, что развитие идет не в том направлении, в каком должно идти, согласно марксизму, эти факторы оказались уже непригодными для использования. Но прежде чем проследить за развитием у Сореля в период его сотрудничества в «Девенир со-сьяль» понятия марксизма как «новой, реальной метафизики», полезно рассмотреть применение этого понятия в его статье «Конец язычества», напечатанной в «Эр нувель» в 1894 году. В этой работе анализ смещается в плоскость историографии, а целью становится раскрытие смысла перехода от античности к христианству.

Выбор темы, видимо, был определен не без влияния работы Энгельса, опубликованной почти одновременно на страницах «Нойе цайт»¹. Но в еще большей степени на выборе темы отразилось то беспокойство за судьбы французского общества, которое особенно навязчиво звучит у Ренана в его «Интеллектуальной и моральной реформе» и легко прослеживается также в работах исторического характера. Известно, что Ренан был автором трудов, которые служили излюбленным источником, откуда Сорель не только черпал материал для своих размышлений, но и заимствовал темы и — более того — общую постановку вопросов, изнутри обуславливавшую его мысль. Но в данном очерке Сорель задался целью пойти дальше тех выводов, которые Ренан наметил в заключение своего «Марка Аврелия». Ренан, констатируя, что безразличие римского государства к социальным проблемам привело к его распаду и соответствующему усилению христианства, отмечал, что это случается всякий раз, когда заявляется претензия на то, чтобы направлять действия людей с помощью абстрактного идеала. «Человек,—закключал он,—рождается на свет такой посредственностью, что хорошим он бывает, лишь когда мечтает. Чтобы делать то, что следовало бы делать из любви к добру, он нуждается в иллюзиях»². Сорель признавал этот тезис верным только по

тика» тот утверждал, что на передовой стадии технологического развития разделение труда перестает быть необходимостью, поскольку рабочий получает возможность освоить целый ряд машин. На этой-то шаткой основе Сорель и формулировал свое положение о возможности преодоления парцеллизации труда.

¹ Имеется в виду работа Энгельса «К истории первоначального христианства» (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 456—492).

² E. Renan, *Marc-Aurèle ou la fin du monde antique*. Paris, 1882, p. 565.

отношению к прошлому, но не соглашался с его распространением и на современный исторический период, отмеченный прогрессом индустриализации. Разумеется, писал он, «покушаться на фикции, с помощью которых среда выражает свои исторические начала, очень опасно», но только «до тех пор, пока у людей нет никакого средства научно осмыслить экономические отношения»¹. Сорель улавливал здесь разлагающий эффект христианской идеологии, который, на его взгляд, объяснялся ее чисто разрушительным характером. Указывая на небесный град как цель человеческой жизни, она делала очевидным уже совершившийся распад града земного. Нов то же время она предлагала принцип (божественного права), осуществление которого оказывалось неподконтрольно большинству, ибо представительство коллективных интересов было сосредоточено в руках немногих лиц (духовенства). Античное общество тоже было в состоянии осознать коллективный характер своего существования только с помощью *фикции* (отечество), но совместное участие в защите территории (отсюда и значение, приобретенное образом воина-героя) и в *коллективных драмах* (народных празднествах) осязаемо напоминало о «политическом характере сосуществования людей под властью одного и того же узаконенного строя»². Сорель определяет переход прерогатив власти от античного государства к церкви как *идеалистическую революцию* в смысле попытки основать отношения между людьми на абстрактном принципе, лишенном привязки к какой бы то ни было социальной практике.

В отличие от этого марксистский социализм, в представлении Сореля, может использовать в качестве опоры для своей идеологии две исторические тенденции. Первая из них выражается как раз в ослаблении престижа церкви. «Пролетариат,—отмечал Сорель,—приобрел ясное понимание того, что учреждения, которые раньше именовались благотворительными, в действительности суть коллективистские учреждения, которые должны подчиняться органам, управляющим в настоящее время светским обществом»³. Другими словами, Сорель считал, что придание школам светского характера и успехи рабочего законодательства составляют первые моменты процесса обобществления снизу институтов государственного строя. Наряду с этим *светским государством*, постепенно приобретающим черты социалистического, он видел реально существующее *государство—стервятника*, то есть ту его сторону, которая связана с функционированием политической машины и борьбой за власть. Другой динами-

¹ G. Sorel. La fin du paganisme. — In: G. Sorel. La ruine du monde antique. Paris, 1925, p. 93.

² Ibid., p. 86.

³ Ibid., p. 162.

ческий момент заключается в констатации «давления со стороны гражданского общества», — давления, которое превращается во «всеобщее напряжение человеческих сил, направленных к овладению всем тем, что представляется желанным»¹. Это постоянное давление ведет не только к разложению старого, но и к образованию «групп, обладающих прочным каркасом, на котором откладываются и формируются чувства и идеи»². Так, рабочий класс представлялся Сорелю группой, наделенной своим прочным каркасом. Марксистская идеология и марксистская наука настолько гармонично сочетались в его сознании, что способны были стать цементом, необходимым для исторической инициативы пролетариата.

На этой идейной основе Сорель создавал предпосылки для своих отношений с социалистическим движением, которым с течением времени суждено было постепенно приобрести черты осознанного долга теоретика-интеллектуала. До 1894 года ищущая мысль Сореля двигалась сложными и в высшей степени индивидуальными путями, а его работы лишь как бы случайно появлялись на страницах «Эр ну-вель». В 1895 году он вместе с Лафаргом, Бонне и Девилем основывает «Девенир сосьяль» — первый (и на протяжении длительного времени единственный) французский журнал, открыто объявлявший своим направлением марксизм. Главным, что отличало это издание, был не столько интерес к конкретным событиям во французском рабочем движении, сколько стремление сделать более полным овладение идейным наследием Маркса, в том числе и при помощи сопоставления его с другими идеологиями. Для Сореля то был период очень напряженной работы. Он сам пишет не менее половины материалов, появляющихся на страницах журнала; хлопочет об установлении связей с другими теоретиками, причем не только французами. В свои замыслы ему удается вовлечь Антонио Лабриолу, а через него и Бенедетто Кроче. Так возникает прямая линия духовного общения с Италией, которым будет отмечен весь последующий интеллектуальный путь Сореля.

Сквозной нитью, проходящей через статьи Сореля этого периода, по-прежнему служит использование образа машины в анализе комплекса социально-экономических отношений. По его мнению, все общество в целом есть не что иное, как всеобщая машина, сотворенная объединением людей. Как в любой другой машине, в ней можно различить обычные компоненты: «материал, форму и оператора»³. В философии

¹ Ibid., p. 175.

² Ibid., p. 172.

³ G. Sorel. Les théories de M. Durkheim. — In: "Devenir social", I, 1895, p. 169.

Маркса, считает Сорель, социологический материал представлен системой производства и обмена. Оператором являются общественные классы. Форму же образуют стремления и цели, которые ставят перед собой классы,— иначе говоря, то, что Сорель называет «психологией» классов: «Мы предполагаем, таким образом, средствами выявления того, что есть подлинно человеческого в социологии; мы в состоянии точно определить активные группы, то есть экономические условия их формирования»¹. В самом деле, необходимые условия, при которых можно говорить об общественных классах как «активных группах», сводятся, в сущности, к тому, чтобы классы «были прочно объединены в экономической жизни и обрели полное сознание своих классовых интересов»². Применительно к пролетариату первое условие есть объективная данность исторического контекста капитализма, и борьба за классовое самосознание развивается через борьбу за овладение вторым элементом. Экономическая основа возможности социализма, по убеждению Сореля этого периода, заведомо обеспечена (с этой точки зрения Марксовы законы есть просто «констатации фактов»), а значит, осуществление социализма зависит от способности к выработке соответствующего идеологического инструмента (сознания классовых интересов). В этом смысле марксизм выступает у Сореля не столько орудием исследования действительности, сколько орудием построения идеологии. Лишь прочное соединение материальной базы и сознания сможет образовать блок, которому под силу будет реализовать цель социализма.

Благодаря этой теории преобразования, стержнем которой служит вмешательство общественных классов снизу, социалисты соотносят цели с реальными людьми, а не с воображаемыми величинами, будь то организующее государство Дюркгейма или идеальная история Вико. Как раз в очерке, посвященном Вико, Сорель обрисовывает условия перехода к новому обществу. Исторически сложившаяся основа экономической действительности образует «мост» перехода от капитализма к социализму, «мост», который обеспечит наряду с «тотальной революцией» также «хозяйственную и юридическую преемственность», что позволит избежать травмирующих разрывов и обращения к методам насилия. Он пишет: «Первое условие будущей революции заключается в развитии у пролетариата сознания своей исторической роли. Второе состоит в таком приспособлении организации труда, порожденной крупной промышленностью, к потребностям и условиям коллективного производства, чтобы *экономическая действительность в своей совокупности образовала мост, с*

¹ Ibid.

² Ibid., p. 177.

помощью которого должен будет осуществиться переход от одного состояния к другому. Наконец, необходимо, чтобы ничего не осталось от социальной иерархии. К тому же если нынешняя цивилизация разработает систему законов, весьма осторожно регулирующих отношения между соучастниками процесса промышленного производства, то и сама юридическая преемственность не будет насильственно разорвана пролетарской революцией... Если пролетариат окажется в промышленности единственной жизнеспособной организацией; если рядом с ним сохранится лишь ничтожное меньшинство, вредное и бессильное; если в его рядах не останется никаких иерархических структур, способных отделиться от рабочей массы и образовать правящую клику; если, наконец, в результате развития социального законодательства он проникнется правовым сознанием, — тогда экономическая и юридическая преемственность будет гарантирована... Самая великая из революций, когда-либо задуманных человеком, будет самой мирной, ибо не встретит перед собой сопротивляющихся сил, способных возродиться»¹.

Как можно видеть, эти выводы пронизаны огромным оптимизмом и великой верой в недалекий конец капитализма. Впрочем, весь марксизм II Интернационала отмечен этим ожиданием краха капиталистического строя. Сореля, если уж на то пошло, отличает скорее то, что подобное ожидание сочетается у него с концепцией социализма, который устанавливается самой силой вещей, который вытекает из роста технических и юридических способностей масс, которому для победы не нужны насилие или якобинские крайности. С этой точки зрения можно понять интерес, проявленный на этой стадии Сорелем к первым очеркам Лабриолы, и возникшее у него впечатление близости между его собственными взглядами и теориями итальянского философа. Разве не тот же самый заряд антиякобинизма побудил Лабриолу утверждать, что революция «совершается», а не «оказывается совершенной»? Точно так же родственными и убедительными должны были казаться Сорелю и многие другие положения Лабриолы из первого очерка, например такое: «Критический коммунизм не фабрикует революций, не подготавливает революций, не вооружает мятежей. Он действительно составляет единое целое с пролетарским движением; но он видит и поддерживает это движение в полном понимании (каким оно обладает или может и должно обладать) его взаимодействий со всей совокупностью отношений, составляющих жизнь общества»².

¹ G. Sorel. Etude sur Vico. — In: "Devenir social", II, 1896, p. 935.

² A. Labriola. In memoria del Manifesto dei comunisti. — In: "La concezione materialistica della storia", a cura di E. Garin, Bari, 1971, p. 32. См. также рецензию Сореля на первые два очерка Лабриолы в: "Devenir social". II, 1896, p. 761—766.

Однако по этому последнему пункту, то есть по поводу возможности осмыслить весь комплекс общественных отношений, между двумя авторами возникло расхождение. В предисловии к французскому изданию двух первых очерков Лабриолы, вышедшему в 1897 году, Сорель выдвигал требование большей ясности именно в этом направлении, подчеркивая, что как раз здесь он видит «уязвимую часть» теории Маркса. «Невыясненным, — замечал он, — остается вопросом, какова же метафизическая база» марксизма. Лабриоле предлагалось развернуть изложение именно на тему о той «несущей структуре» (то есть эпистемологической модели «машины»), которая, как мы видели, выступала для Сореля необходимым условием основания науки об обществе¹. В прямо адресованном Сорелю ответе Лабриола заявлял, что марксизм не нуждается в выискивании внешней эпистемологической основы, поскольку он, будучи философией практики, отличается самодостаточностью и выражает тенденцию к восстановлению единства теории и действия.

Сорелю подобное решение проблемы не могло не быть совершенно чуждым: неслучайно ответ Лабриолы ознаменовал непоправимый разрыв между ними. Вдобавок все здание этих первых марксистских представлений Сореля заколебалось как раз в те самые годы под ударами наступления, развернутого ревизионистами. Этим атакам суждено было заставить его пересмотреть большую часть своих позиций.

3. Марксизм как философия действия

В последней из статей, опубликованных в «Девенир со-сьяль» — это была рецензия на книгу Мерлино «За и против социализма» (1897), — Сорель начал высказывать сомнения, которые позже привели его к отходу от интерпретации марксизма как «реальной диалектики». «Схема концентрации производства и пролетаризации, — писал он, — несомненно, дает четкое изображение куда более сложных явлений, происходящих в обществе. Схема эта показалась настолько близкой к действительности, что ее стали принимать за действительность и рассматривать как выражение условий борьбы между классами. Но более глубокое рассмотрение вопроса показывает, что она не отражает наиболее глубоких, сокровенных, динамичных факторов в этой борьбе... Представление об обществе, расколотом на два класса, уже не отра-

¹ Предисловие Сореля к французскому переводу первых двух очерков Лабриолы содержится в виде приложения в: A. Labriola. *Discorrendo di socialismo e di filosofia*, a cura di B. Croce. Bari, 1939, p. 178—179.

жает с достаточной точностью фактического положения дел; это обветшавший символ»¹.

Эти заявления свидетельствовали о том, что Сорель воспринял положения, выдвинутые — с разными намерениями — Кроче и Бернштейном. Первый задался целью подвергнуть «беспристрастной» проверке некую концептуальную конструкцию (теорию Маркса), второй предпринял попытку проверить соответствие между принципами социализма и стратегией социал-демократии. Ревизионистское наступление метило прямо в сердце учения Маркса, причем, как считали организаторы этого наступления, совершенно неотразимым образом. Кроче, например, несколько десятилетий спустя считал себя вправе резюмировать смысл тогдашних идейных битв в безапелляционной фразе: «Теоретический марксизм в Италии и во всем мире исчерпал себя примерно в 1900 году»².

В качестве исходного рубежа Кроче избрал «Очерки» Лабриолы, но при этом намеренно утрировал содержащиеся в них выводы, особенно по вопросу о «морфологическом предвидении». Опираясь на весьма распространенное в европейской культуре конца века убеждение, Кроче заявлял о невозможности целостного истолкования хода истории и, полемизируя прежде всего с позитивистским эволюционизмом, провозглашал конец всякой философии истории. «Лабриола,— писал он, — прекрасно сказал, что сами предвидения социализма носят *просто* характер морфологического указания»³. Таким образом, Кроче недопустимо сужал теоретические усилия Лабриолы, направленные на то, чтобы найти точку равновесия между научным предвидением и отказом от утопии,— усилия, как раз и отразившиеся в сжатой форме в выражении «морфологическое предвидение», которое, по сути, содержало в себе ядро куда более обстоятельного теоретического рассуждения. Кроче утверждал, что «историческое движение во всей его полноте можно свести лишь к одному понятию — понятию *развития*, лишенному всего того, что, собственно, и составляет содержание истории»⁴. Следовательно, логически отрицание предвидения опосредовалось отсутствием понятий, способных свести к единству область истории как таковой. По утверждению Кроче, перед нами лишь «конкретные предметы, земля, натуральное производство, животные; перед нами человек с присущей ему видимой дифференциацией так называемых физических и так на-

¹ G. Sorel. Pro e contro il socialismo. — In: "Le devenir social", III. 1897. p. 878.

² B. Croce. Come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia (1895—1900). — In: B. Croce. Materialismo storico ed economia marxistica. Bari. 1968. p. 293.

³ B. Croce. Materialismo storico..., p. 8
Г. Де П.).

⁴ Ibid., p. 3.

зываемых физиологических процессов»¹. Чтобы придать убедительность своей идее, Кроче нужно было поставить под сомнение истинность Марксовой теории стоимости, которая, по мнению Лабриолы, «никогда не выступает как *эмпирический факт*, добытый путем вульгарной индукции, не представляет собой просто *логического утверждения*... а есть *типическая предпосылка*, без которой все остальное не поддается осмыслению»². Взяв именно этот фрагмент из Лабриолы, Кроче отмечает в виде комментария, что «Марксова стоимость, создаваемая трудом, есть не только логическое обобщение, но и *понятие, осмысленное и взятое как тип*, то есть как нечто большее и иное, нежели чисто логическое понятие. Оно не обладает уже инерцией абстракции, а наделено силой чего-то определенного и особого, что выполняет в Марксовом исследовании капиталистического общества функцию сравнительного эталона, меры, *типа*»³.

Истолковывая «типическую предпосылку» Лабриолы как «сравнительный эталон», Кроче смещал смысл высказывания и тем самым сужал познавательную ценность теории стоимости. Эта последняя оказывалась в результате пригодной лишь для «сравнения капиталистического общества с некоей частью себя самого, абстрактной и возвышенной до независимого существования»⁴, и становилась неприменимой ко всей совокупности общественных фактов. Впрочем, Маркс, «охваченный жадой познания *вещей* (конкретных и индивидуальных вещей), не придавал большого значения теоретизированию по поводу понятий и форм понятий»⁵. Так, когда Маркс в «Капитале» намечал черты некоего «идеального и схематического» общества, его цель заключалась не в том, чтобы вывести из них законы предвидения, а в том, чтобы привлечь внимание к тому «фрагменту экономического общества»⁶, каким являлся пролетариат. И наконец, касаясь части учения Маркса, выступающей как закон диалектического перехода от одного способа производства к другому, Кроче напоминал: «современной исторической науке... хорошо известно, что эти способы [азиатский, рабовладельческий, феодальный и капиталистический.—Г. Де П.] суть четыре *формы* экономического уклада, которые следуют одна за другой и переплетаются в реальной истории, зачастую образуя самые диковинные смеси и чередования»⁷. В этой мешанине, которая не поддается упорядочению с помощью уни-

¹ Ibid., p. 5.

² A. Labriola. La concezione materialistica, p. 191.

³ B. Croce. Materialismo storico..., p. 58—59.

⁴ Ibid., p. 65.

⁵ Ibid., p. 76.

⁶ Ibid., p. 62.

⁷ Ibid., p. 84.

фицирующего принципа и в которой невозможно выявить определенные тенденции, конкретные действия людей выглядят, по мнению Кроче, лишенными опоры на безусловность научных истин. Человеческая деятельность, указывал он, основывается скорее на «субъективном убеждении», в силу которого действие равноценно дерзанию: «„Жребий брошен“, — сказал Цезарь; «Да поможет мне бог», — сказал Лютер»¹. Здесь нетрудно распознать истоки одного из центральных положений всей крочеанской теории — истолкования политики как «страсти». Освящая разрыв между теорией и практикой, Кроче выворачивал наизнанку выводы Лабриолы, но главной мишенью его при этом было социалистическое движение с его попытками выработать теоретические инструменты, которые не позволяли бы сводить классовую борьбу просто к столкновению враждующих сил.

Если мы проследим теперь, как решает проблему истолкования теории стоимости Сорель, мы в состоянии понять, каким образом он, даже соглашаясь с выводами Кроче (п Бернштейна) о несоответствии между законами, выведенными Марксом, и фактами, представленными действительностью, может не только выступать за применение марксизма, но и сохранять открытой перспективу социализма. Сорель тоже поддерживает мысль о несостоятельности притязаний на то, чтобы выискивать у Маркса неукоснительное соответствие между законами и фактами. Согласно его точке зрения, дело в том, что Маркс воображает себе «бесконечно *упрощенные* общества, где все отрасли производства достигли одинакового уровня совершенства. Нет ничего менее похожего на действительную сложность реального мира, порожденного историей!»². Если и могло возникнуть мнение (а ведь прежде так думал и сам Сорель) о всеобщей истинности Марксовых законов, то недоразумение это было обусловлено случайным совпадением между этими законами и положением в Англии во времена Маркса. На самом же деле Маркс «не пытался описывать действительность, а стремился лишь к созданию *метафизики средней прибыли*»³. Иначе говоря, абстракция в данном случае есть результат процесса упрощения, при котором теряются соответствия в реальной действительности. Всеохватывающее сознание, по Сорелю, уже невозможно. Единственное, что поддается констатации, — это *mélange**, то есть нединамическое и неантагонистическое сосуществование разных способов производства (как то доказывается выживанием мелких предприятий и ремесленного

¹ Ibid., p. 94.

² G. Sorel. *Democrazia e rivoluzione*, a cura di A. Andreasi. Roma, 1973. p. 48.

³ Ibid., p. 59.

* Смесь (франц.). — Прим. ред.

производства, а также сохранением широкого слоя крестьянства). Кроме того, Марксова идея взаимосвязанности базиса и надстройки может служить лишь обобщенной отправной точкой в изучении действительности, между тем как конкретный исторический анализ требует дифференцированного подхода, то есть «рассечения» на отдельные участки, в пределах которых возможно прослеживание рациональных связей¹. Иной подход к исследованию явлений неизбежно оказывается несостоятельным. «Исторические связи зависимости, — пишет Сорель, — проявляют себя... одновременно как притяжение и отталкивание; производительные силы вроде бы определяют общественные отношения, но вместе с тем как бы оказываются в противоречии с ними, порождают их и в то же время содействуют их уничтожению»².

И вообще концепция, согласно которой каждый исторический период характеризуется господством определенного уклада производительных сил и само движение истории зависит от их развития, составляет, по мнению Сореля, не самую оригинальную часть теоретического наследия Маркса. Подлинно новаторский аспект Марксовой мысли заключается в ином — в констатации, «что именно классы образуют первейший феномен, выявить форму которого должен историк»³. Но Маркс в этом смысле подсказал и второй, более удачный способ объяснения экономики — тот, который исходит из воли определенных групп навязать обществу собственную идею социальной организации. Первое условие при этом — не допустить недооценки обуславливающего характера объективных обстоятельств, ибо «экономическая материя» обладает «сопротивляемостью». Марксизм в этом смысле можно было бы определить как совокупность правил предосторожности с целью избежать «ложных революционных маневров»⁴. Второе условие — это вера в то, что социальные группы обладают возможностями вмешательства в ход истории, ибо действительность не является неизбежно детерминированной. «Свобода, — утверждает Сорель вслед за Бернштейном, — не только будет существовать в будущем

¹ G. Sorel. I tre sistemi storici di Marx (1900). — Idem., Saggi di critica del marxismo, a cura di V. Caeca. Milano—Palermo—Napoli, 1903, p. 225. В этом томе, выпущенном только на итальянском языке по личному желанию Б. Кроче, собраны самые значительные из многочисленных статей Сореля, посвященных ревизии марксизма. В те годы его выступления на эту тему были столь часты, что даже вызвали у Лабриолы ироническое замечание насчет того, что Сорель «оккупировал» десятки журналов. Особенно важным для Сореля было его сотрудничество в журнале Ф. С. Мерлино «Ривиста критика дель социализмо» (1899).

² G. Sorel. La necessita e il fatalismo nel marxismo (1898). — Idem., Saggi..., p. 74.

³ Ibid., p. 43.

⁴ Ibid., p. 47.

мире; она начинает создаваться в мире теперешнем»¹. Но нужно, чтобы социальные группы выработали себе для этого соответствующие теоретические инструменты. Ведь мы, говорит Сорель, способны возводить на фундаменте экономических феноменов то, что есть продукт нашего духа. Например, соотношение «базис — надстройка» поддается пониманию только с помощью образов, или, по словам Сореля, «фигур речи». Иными словами, экономические законы суть законы качественные, а не количественные: они выражают *символическое* понимание совокупности.

Если ранний марксизм Сореля был пронизан идеей о возможности переноса на экономику эпистемологической модели естественных наук, то теперь дело касается, напротив, признания того, что «социолог и физик... идут совершенно разными путями»². В отличие от законов физики законы экономики конструируются на основе не совокупности фактов, а только самых важных и значимых из них. Важным фактом современной экономики является конфликт между капиталистами и рабочими: «Именно в борьбе с капиталистами трудящиеся массы обретают единую голову и единое сердце, приучаются мыслить как пролетариат и завоевывают для себя субъективную свободу»³. Пролетарская организация скачкообразно поднимает борьбу рабочих на качественно новую ступень; становясь коллективом, они могут сделаться базой новой *юридической системы*⁴ и прийти к новой *политической идее*⁵, которая установит, что законно, а что незаконно с точки зрения пролетариата. Ведь, «когда один из классов становится революционным, он отождествляется (субъективно) со всем обществом»⁶. Это *субъективное* отождествление становится новым вариантом идеи всеобщности, которая уже не может быть выверена материально.

Можно заключить, таким образом, что экономика вопло-

¹ Ibid., p. 121.

² Ibid., p. 67—68.

³ Ibid., p. 214.

⁴ «Право в том виде, как оно сформулировано в либеральных кодексах, знает лишь изолированного рабочего. Одиночный труженик может бросить работу, группа трудящихся может договориться о том, чтобы сообща уйти с завода, но увеличение числа такого рода индивидуальных актов не меняет их индивидуального характера... С точки зрения профсоюзов этот тезис ложен: в совокупности трудящиеся образуют единое тело, интересы всех солидарны, никто не может отречься от дела своих товарищей, не зарабатывая при этом славу предателя. Характерной чертой забастовки в сознании рабочих является именно эта солидарность» (G. Sorel. *Scritti politici e filosofici*, p. 203).

⁵ «По мнению хозяев, процветание нации связано со слепой игрой закона спроса и предложения... По мнению рабочих, производство должно контролироваться общественным предвидением» (G. Sorel. *L'éthique du socialisme* (1898). — In: «Revue de métaphysique et de morale», V, 1899, p. 287).

⁶ G. Sorel. *Saggi di critica del marxismo*, p. 218.

щает непрерывность и лишь право осуществляет *разделение* частей, позволяя пролетариату обрести самого себя. Новая юридическая система уже не имеет научного статуса «реальной метафизики» с ее притязаниями на выявление направлений, тенденций в истории; элементы динамизма в обществе определяются уже не по движению экономических форм, а только по их претворению в сознательные акты поведения.

Следовательно, теорию пролетариата можно определить как «долговременное учение», складывающееся не прямолинейно, а как результат слияния различных течений: «Необходимо, чтобы теории, выработанные интеллектом, соединялись здесь с чувствами, присущими классу в силу условий его существования, и, помимо этого, чтобы была корпорация для поддержания учения»¹.

Итак, Сорель в этот период принимает кроучевскую критику, отказывающую марксизму в способности быть орудием объяснения конкретной социально-экономической действительности: из экономического базиса не вырастают автоматически новые институты, из теорий невозможно прямым путем вывести практические программы. Однако конструирование «типического» общества не является для Сореля лишь умственной операцией мыслителя-одиночки: оно соответствует идеологии класса, который таким способом заявляет о своем присутствии на исторической сцене, преодолевая стадию стихийной раздробленности². И это стремление отнюдь не самоцель, что доказывается, в частности, тем, что оно вырастает на основе конкретной практики, неотделимой от хозяйственной жизни.

Социализм в качестве философской интерпретации этой практики связывает свою участь не с теми или иными неожиданными поворотами обстановки или крахом капиталистической системы: «Социалистическое движение приобрело столь большой размах и столь четкие черты, что его можно изучать подобно естественному явлению... социализм содержится в сегодняшнем дне»³.

Концепции Сореля вдохновлялись в эти годы оптимисти-

¹ G. Sorel. *Essai sur l'Eglise et l'Etat*. Paris, 1901, p. 4. В другом месте понятие корпорации уточняется следующим образом: «Новые группировки носят профессиональный характер; основой им служит способ производства материальной жизни, а перспективой — промышленные интересы; следовательно, в соответствии с принципами исторического материализма они могут служить *стержнем* социалистической структуры» (G. Sorel. *Scritti politici e filosofici*, p. 214).

² Примечательно, что единственный пункт теоретических расхождений между Кроучем и Сорелем касается именно вопроса о том, существуют ли классы. Сорель пишет в этой связи: «Кроуч полагает, что нужно отказаться от деления на классы... Мне же это не кажется необходимым» (G. Sorel. *Democrazia e rivoluzione*, p. 50).

³ G. Sorel. *L'éthique du socialisme*. — In: «Revue de métaphysique et de morale», V, 1899, p. 280.

ческой верой в возможности роста пролетарских выступлений. В этом нетрудно уловить отголосок позиций Бернштейна, а также влияние доводов, развитых Мерлино в его книге «За и против социализма». Впрочем, вера и оптимизм были в тот момент прямым производным от ряда конкретных фактов, знаменовавших развитие организованного рабочего движения в общеевропейских масштабах: организационного роста профсоюзов (именно в эти годы Пелутье прилагал усилия к тому, чтобы организовать французское профсоюзное движение вокруг бирж труда, привлечших к себе внимание Сореля), продемонстрированной институтами Третьей республики в ходе дела Дрейфуса способности в общем и целом противостоять давлению консервативных сил и, наконец, возрождения демократического движения в Италии после реакционной волны, связанной с репрессиями 1898 года.

Сорель пытался теоретически обосновать эти позитивные признаки и указать перспективу их развития с выделением некоторых обстоятельств, благоприятствовавших, на его взгляд, инициативе рабочего движения. Он видел их прежде всего в возможности вовлечь в борьбу средние классы: «Глубинный антагонизм капиталистического способа производства достаточно остро дает знать о себе во всех общественных отношениях, в результате чего складывается активная взаимозависимость и возникают вторичные центры движения»¹. Другим обстоятельством было то, что Сорель называл «социализацией экономической среды». Подхватывая в этом отношении идею Прудона, он утверждал, что существует возможность сделать менее громоздкими и более гибкими все элементы общественной организации, не связанные непосредственно с производством. Тем самым предприятие выдвинулось бы как пункт выдвижения требований о новой социальной организации, и пролетариат смог бы таким образом проявить свою способность к руководству обществом.

Вместе с тем важнее всего для Сореля в этой фазе размышлений позитивная оценка, которую он дает демократии: «Великое преимущество демократических учреждений состоит не в том, что они вручают власть самым достойным, а в том, что они отнимают у власти ту оболочку престижа, которую ей обеспечивали традиции *ancien régime* * и которую «во имя науки» ей хотели присвоить реформаторы»². Демократия — это «режим, при котором все носит временный характер, а сменяемость людей у власти имеет следствием большую легкость последующих исправлений... Почитание

¹ G. Sorel. Pro e contro il socialismo. — In: "Le devenir social", III, 1897, p. 879.

* Старый режим (франц.). — Прим. ред.

² G. Sorel. La science et la morale. — In: "Questions de morale". Paris, 1900, p. 24.

власти сводится к нулю и в политике, и в промышленности»¹. Таким образом, демократия представляется Сорелю на этой стадии как некое инертное поле, без заведомо установленного господства,—поле, обеспечивающее «самые широкие возможности роста инициативе рабочего класса».

4. Марксизм как миф

Третьим моментом, предопределившим сорельянское переосмысление марксизма, послужило разочарование исходом дела Дрейфуса. Сам Сорель позже четко укажет на этот столь важный эпизод истории Третьей республики как на веху в периодизации эволюции своей мысли. «В 1901 году, — напишет он впоследствии, — я плохо отличал политический социализм от социализма пролетарского. Первые манифестации в защиту Дрейфуса заставляли меня надеяться, что социализм сделает большой шаг вперед, начиная ясно осознавать себя рабочим движением в условиях демократии. Соответственно ликвидация дрейфусарской революции привела меня к открытию, что пролетарский социализм, или синдикализм, неспособен полностью выявить свою природу, если он сознательно не становится рабочим движением, направленным против демагогов»².

Разочарование неожиданно двусмысленными результатами этого движения, на первых порах выглядевшего как борьба за справедливость и соблюдение законности, сближало Сореля с другими представителями интеллигенции, такими, как Галеви и Пеге. Но было и отличие. Отвратительное зрелище рвения, с каким радикалы применяли «закон об ассоциациях»; скандал с анкетами, то есть внезапно обнаружившаяся практика систематической слежки за офицерами в армии; политика сдерживания нарастающих социальных конфликтов, проводимая путем чередования жестоких репрессий и ловкого посредничества,—все это выросло в глазах Сореля до символического олицетворения правящей системы в целом и переходило в озлобленное осуждение любых форм участия в политике.

Поворот в его позициях отчетливо выразился в сближении с синдикалистским течением, группировавшимся вокруг организации «Мувман сосьялист» Лагарделя. Но еще до этого признаки поворота проявились в некоторых статьях, написанных Сорелем в 1902 году для журнала Колаянни «Ривиста пополаре ди политика» в виде комментария к парла-

¹ G. Sorel. Essai sur l'Église et l'État, p. 22.

² G. Sorel. Mes raisons du syndicalisme (1910). — In: G. Sorel. Matériaux d'une théorie du prolétariat. Paris, 1929, p. 268.

ментским выборам, состоявшимся в том году. Так, он писал на страницах названного журнала: «Процесс Дрейфуса можно уподобить ожесточенной рекламно-коммерческой схватке двух соперничающих торговых фирм... До процесса Дрейфуса было много людей, которые со всей искренностью верили, что политическими партиями... руководят самые благородные силы и принципы... Теперь стало видно, что все это идеологическое сооружение было очень поверхностным и что политика — на деле — сплошная грязь. В душах людей воцарилась своего рода растерянность»¹. Так исчезли последние из элементов, на которых основывалась вера Сореля в способность марксизма завоевывать все новые позиции в качестве «юридической системы». Демократия оказалась не инертным полем: в ней выявились тенденции, представляющие опасность для рабочего класса. Общий вывод, который сделал из всего этого Сорель, состоял в том, что «все теперь ввергнуто в беспорядок; не осталось ничего необходимого, никакое предвидение невозможно»².

Что касается развития экономики, то и здесь происходило ослабление фактора, который Сорель считал наиболее характерным для капитализма, — тенденции к прогрессу производства. В экономической системе все больше происходила ориентация на образование трестов, а в глазах Сореля это было возвратом к «феодальным» образцам. В то же время империализм, олицетворяя собой преодоление конкурентной фазы капитализма, стремился к смягчению социальных противоречий путем обращения к формам солидарности³. В результате классовая борьба переставала быть фактом противоборства исключительно капиталистов и рабочих. В пролетарском лагере происходило «подчинение собственно социалистического элемента элементу политико-радикального свойства»⁴, сопровождавшееся образованием рабочей аристократии. Из этого вытекала опасность заключения боевого классового потенциала в рамки системы, лишаящей его революционной природы. Причем эта опасность, как считал Сорель, таилась не только в специфически французской ситуации: итальянский и германский примеры (не говоря уже об английском) доказывали, что рабочий класс стоит перед лицом нового феномена всемирно-исторической значимости. Прин-

¹ *“Rivista popolare di politica”* VII, 1902, p. 122—123.

² *G. Sorel. Scritti politici*, a cura di R. Vivarelli. Torino, 1971, p. 726.

³ «В Англии, похоже, в настоящее время действует тенденция к солидарности: империализм не имеет другого смысла, а единство проявляет себя прежде всего по отношению к внешнему миру» (*G. Sorel. Insegnamenti sociali dell'economia contemporanea. Degenerazione capitalista e degenerazione socialista. Milano-Palermo-Napoli*, 1907, p. 233). Сорель склоняется к истолкованию экономических изменений, связанных с империализмом, в рамках схемы «возвратов к прошлому» Вико и видит в них, следовательно, регресс капитализма.

⁴ *G. Sorel. Scritti politici*, p. 743.

ципиально верной психологически-гносеологической позицией по отношению к нему мог быть, на взгляд Сореля, только *пессимизм*, иначе говоря, отказ от выискивания каких бы то ни было позитивных тенденций в действительности. Теоретически эта позиция определяется во введении к «Размышлениям о насилии» следующим образом: «Пессимист рассматривает социальные условия как систему, жестко укрепленную железным законом, из-под власти которого невозможно ускользнуть и который может исчезнуть единственно в результате катастрофы, способной сменить систему целиком»¹.

Пессимизм устремляет внимание исследователя к еще одному, более глубокому историческому принципу — принципу естественности упадка обществ и искусственного (в смысле искусственно сконструированного) их величия. «Человечество,—пишет Сорель,—порой выходит из состояния посредственности под энергичным нажимом некоторых принудительных обстоятельств, но... вновь впадает в него, если оказывается предоставленным власти собственных тенденций; отнюдь не невозможно, следовательно, что будущее утонченных и пришедших в полный упадок обществ будет походить на далекое прошлое первобытных народов»². Однако возникновение новых исторических фаз нельзя предвидеть: «Если в истории совершается нечто единственное в своем роде, то это происходит потому, что огромную роль в жизни народов играет случай; порой бывает, что сцепление могущественных факторов производит в конечном счете результаты нового порядка»³. Перед лицом такой невозможности предвидеть и подготавливать будущее возрастает значение стихийно возникающих институтов, носителей новой морали.

Переосмысливая процесс зарождения христианства, Сорель возводит проблему возникновения нового общества к слиянию стихийного движения с неким объединяющим образом. Ведь апокалиптическая идея ранних христиан рождалась из инстинктивно-эмоционального комплекса, который соответствовал уже существовавшей жизненной практике и выражал себя через символический язык, объединяющее начало которому сообщал миф пришествия царства господня⁴. Этот процесс, поддающийся констатации на материале раннего христианства, выражает, по мнению Сореля, общую историческую закономерность. Поэтому всякую теорию социального преобразования он определяет на основе ее способности опираться на иную по сравнению с существующей практику и внушать веру социальным слоям, которые она призвана увлечь за собой. «Революция,—пишет он,—произ-

¹ Ibid., p. 63.

² G. Sorel. *Scritti politici*, p. 680.

³ Ibid., p. 673.

⁴ G. Sorel. *Le système historique de Renan*. Paris, 1906.

водит глубокие, долговечные и победоносные перемены лишь в том случае, если ей сопутствует идеология, философское значение которой соизмеримо с материальным размахом совершающегося переворота. Эта идеология внушает участникам драмы уверенность, необходимую для победы. Она воздвигает барьер на пути попыток реакции, которые последовательно будут предпринимать юристы и историки, движимые стремлением реставрировать подвергшиеся ломке традиции. Наконец, в более позднее время она поможет оправдать революцию, которая благодаря ей будет выглядеть победой разума, реализовавшейся в истории»¹.

Все это помогает понять, почему трактовка Сорелем всеобщей революционной забастовки, оставившая итог его анализа и более всего сделавшая его известным как теоретика, выглядит довольно эксцентричной на фоне дебатов о всеобщей забастовке, развернувшихся во II Интернационале на основе бельгийского, итальянского и особенно русского опыта революции 1905 года². В глазах Сореля всеобщая забастовка, прежде чем стать определенной революционной стратегией, является «точкой зрения», с которой действительность, несмотря на все осложняющие ее обстоятельства, вновь обретает ясность, и это открывает возможности для возобновления разговора о социализме. Всеобщая забастовка как бы устанавливает систему координат, выявляет простор для оперативных действий — одним словом, заменяет путаный язык официальных социалистов новой ясностью. «Мы,— пишет Сорель,— ничего не изобрели, более того, мы утверждаем, что ничего и не нужно изобретать; мы лишь ограничились признанием исторической важности идеи всеобщей забастовки и попытались показать, как из забастовочной борьбы, которую революционные профсоюзы развернули против предпринимателей и государства, могла бы возникнуть новая культура»³.

Содержание «Размышлений о насилии» кристаллизуется вокруг трех пар противостоящих понятий: сила — насилие, всеобщая политическая забастовка — всеобщая революционная забастовка, утопия — миф. Возвращаясь к оценке недавних событий французской истории, Сорель выявляет обстоятельство, общее, на его взгляд, для действий дрейфусаров и для рабочих забастовок: решающую роль *hommes de violence* — живых конкретных носителей насилия. Стратегию, которую можно извлечь из этих событий, Сорель называет «прямым действием»; ее главными носителями выступают рабочие, выведенные из-под какого бы то ни было чуж-

¹ G. Sorel. *Matériaux d'une théorie du proletariat*, p. 249—250.

² На эту тему см. статьи В. Страды и М. Сальвадори в настоящем томе.

³ G. Sorel. *Scritti politici*, p. 86—87.

дого им руководства и ведущие борьбу с политиками. Он всячески подчеркивает, что данная стратегия не порождение ума мыслителя-одиночки, а случайный стихийный итог целого комплекса обстоятельств. Более того, новую революционную практику он характеризует как «истинную ревизию марксизма»¹. Ведь именно всеобщая пролетарская забастовка способна вооружить полезными указаниями тех, кто направляет свои усилия на приспособление марксистского учения к меняющейся действительности. Она позволяет, в частности, преодолеть реформизм, к которому вынужденно остался прикованным Бернштейн. «Чуждый заботам нашего современного синдикализма, он, на мой взгляд, не извлек из марксизма всего, что тот содержит. Впрочем, он писал свою книгу, когда нельзя еще было постичь то революционное движение, которому посвящены эти размышления»². Таким образом, насилие есть «великий социальный факт сегодняшнего дня, факт, масштабы которого нужно попытаться понять»³.

Обратившись к историческому происхождению предрасудков в отношении насилия, Сорель обнаруживает их корень в недостаточной терминологической ясности, сопровождающей применение этого понятия. Смысл своего утверждения он резюмирует следующим образом: «Термины «сила» и «насилие» употребляются недифференцированно; ими обозначают то акты власти, то акты возмущения, хотя ясно, что последствия в этих двух случаях совершенно разные. Я считаю, что было бы в высшей степени целесообразно применять терминологию, не оставляющую места никакой двусмысленности, и что термин «насилие» следовало бы сохранить лишь для второго случая. Следовательно, мы будем говорить, что сила имеет целью навязывание организации социального порядка там, где господствует меньшинство, тогда как насилие нацелено на уничтожение подобного порядка. Буржуазия применяла силу с первых мгновений современной истории, пролетариат же ныне реагирует на нее и ее государство с помощью насилия»⁴.

В свете этого первого разграничения становится возможным различить опростую разницу между силой, применявшейся якобинцами в революции 1793 года, с одной стороны, и методом насилия, всеобщей забастовки — с другой. В первом случае речь шла о завершении процесса, который неизменно вел к усилению государства. Пролетарское же насилие не имеет ничего общего с «суеверным культом государства». «Синдикалисты не ставят себе целью, как это

¹ G. Sorel. *Matériaux d'une théorie du prolétariat*, p. 286.

² G. Sorel. *Scritti politici*, p. 149—150.

³ Ibid., p. 120.

⁴ Ibid., p. 236.

делали люди XVIII века, реформировать государство. Их цель — уничтожить государство, то есть осуществить идею Маркса, в соответствии с которой социалистическая революция не должна привести к замене одного правящего меньшинства другим»¹. Следовательно, переход к самоуправлению производителей, который еще в «Социалистическом будущем профсоюзов» рисовался как передача власти от государства к профсоюзам, здесь предстает в качестве насильственного разрушения государства как такового. Кроме того, делая упор на устранении какого бы то ни было типа власти, Сорель открывает перспективу сведения к минимуму применения мер принуждения. Раз пролетарское насилие в конечном счете есть не что иное, как «простые и чистые акты войны, которые имеют значение военных демонстраций и служат подчеркиванию деления общества на классы»², то не только «нет необходимости, чтобы жестокость применялась с размахом и кровь лилась потоками», но и можно даже предположить, что применение насилия сведется к чисто символическим актам. «Я, — пишет Сорель, — рассматриваю насилие только с точки зрения его идеологических последствий... с тем чтобы трудящиеся видели в экономических конфликтах обесцвеченные образы великой битвы, которая решит участь будущего»³. Все это возможно при одном условии: «Если класс капиталистов ведет себя энергично и постоянно демонстрирует свою волю к защите, то своим откровенным и узаконенно реакционным поведением он — не меньше, чем пролетарское насилие, — способствует наглядному выявлению раскола общества на классы, а это-то и есть вся та основа, на которой возникает социализм»⁴.

Таким образом, если пролетарское насилие имеет следствием выявление раскола общества и направление борьбы между капиталистами и наемными работниками в русло честной войны, то политика в своей совокупности, напротив, ведет дело к подавлению и затушевыванию каких бы то ни было факторов, вносящих ясность в социальный антагонизм. Для достижения этой цели политика не только использует силу, но и все больше прибегает к эффективному и изощренным инструментам убеждения и подкупа: «В силу общей тенденции извечная жестокость заменяется изворотливостью»⁵. Предпосылкой критики демократии Сорелью служит неопровержимый, как ему представляется, факт: парламентарно-демократический строй не просто держится на коррупции, взяточках, но и не допускает самой возможности сущест-

¹ Ibid., p. 170.

² Ibid., p. 169.

³ Ibid., p. 248.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., p. 258.

ования других институтов, основывающихся на других принципах, а потому старается низвести их до собственного уровня. Сорель прослеживает историю отношений между правительством и профсоюзами во Франции — от корыстного покровительства Вальдека-Руссо до социальной политики Мильерана, который полагал, что трудовые конфликты можно разрешить с помощью *арбитража*. Пролетарское насилие по замыслу есть ответ на изворотливость политиков, ответ, который знаменует отказ от использования политики как таковой, сводящейся теперь, по мысли Сореля, просто к коррупции. Сами капиталисты в этом смысле должны были бы быть заинтересованы в восстановлении более прозрачной логики классового противоборства. «Это насилие,—лишет Сорель,—вынуждает капитализм заботиться исключительно о своей производительной функции и ведет дело к возрождению у него былых воинственных свойств. Развивающийся и крепко организованный рабочий класс может заставить класс капиталистов сохранять боевой пыл в борьбе, которая ведется в юфере промышленности. Если против богатой и алчной до завоеваний буржуазии поднимется единый революционный пролетариат, то капиталистическое общество достигнет своего исторического совершенства»¹.

Так пролетарское насилие становится важнейшим фактором марксизма: оно служит единственным инструментом, способным возродить идеальную модель социального антагонизма, описанную Марксом, и не допустить, чтобы революция разразилась в период упадка. Коррупцией, однако, затронут не только лагерь противника, то есть буржуазии: зло это проникает и в ряды рабочего движения, порождая там путаницу и замешательство. Социалисты-реформисты стараются добиться успеха, сохраняя старые революционные формулы, но в корне искажая их смысл: «В устах этих так называемых представителей пролетариата все социалистические формулы утрачивают свой подлинный смысл. Классовая борьба, конечно же, остается великим принципом, но должна подчиняться национальной солидарности. Интернационализм есть наше кровное убеждение, но... ведь и патриотизм налагает свои священные обязанности. Освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся, но... истинное освобождение состоит в том, чтобы отдавать голоса очередному профессионалу от политики... Наконец, государство должно исчезнуть (эти люди остерегаются оспаривать то, что написано по сему поводу Энгельсом), однако это совершится лишь в столь отдаленном будущем, что нужно приготовить пока использовать его... а лучшая политика по уничтожению государства состоит в том, чтобы временно ук-

¹ Ibid., p. 141.

реплять сочленения государственной машины»¹. Для тактики отсюда вытекают два последствия: теряется из виду специфичность борьбы рабочих и берется на вооружение свойственный буржуазии метод применения силы.

Эти элементы четко различимы и во всеобщей политической забастовке, которая заимствует у буржуазии свои основополагающие мотивы. Организаторы подобных забастовок, отдавая себе отчет в невозможности устранения стачечной борьбы как таковой, пытаются хотя бы «использовать в политических целях выступления широких народных масс»² и претендуют на подчинение рабочей стихийности собственному руководству с помощью централизации и жесткой дисциплины. Образцом для этих людей служит партия, которая в соответствии со своими целями манипулирует оружием забастовки; поэтому-то «политиканы — такие рьяные сторонники централизации профсоюзов и так часто говорят о дисциплине»³. Вместе с тем отсюда же следует необходимость опираться на рабочую стихийность, оберегая ее от попыток использования в утилитарно-тактических целях и демонстрируя всем ее плодотворность. Именно это и стараются делать Сорель, противопоставляя всеобщую пролетарскую забастовку как *миф* всеобщей политической забастовке.

Здесь становится обозримым масштаб теоретического переосмысления, к которому вынудил Сореля ревизионизм. Трудности выявления связи между теоретической моделью в «Капитале» и новыми явлениями в экономике в сочетании с небывалым расширением поприща для политической инициативы побуждают его к расширительному толкованию понятия «инструмент познания». Теперь оно включает в себя и *fiction**, вбирает и воображение; более того — элемент воображения оказывается единственным, способным удержать видение общественных отношений в их совокупности и сбегать стихийное творчество масс. Сорель следующим образом определяет миф: «Люди, участвующие в великих общественных выступлениях, воображают свои грядущие действия в форме битв, которые увенчаются торжеством дела, за которое они сражаются... В этом смысле всеобщая забастовка синдикалистов и катастрофическая революция Маркса суть мифы»⁴.

Интеллектуальная философия неспособна охватить подлинно великие исторические движения; она может, самое большее, производить на свет утопии — «плод ума теоретиков... складную конструкцию, собранную из деталей, выра-

¹ Ibid., p. 175.

² Ibid., p. 213.

³ Ibid., p. 214.

* Фикции, вымыслы (франц.). — Прим. ред.

⁴ Ibid., p. 73.

занных таким образом, чтобы их можно было просунуть — после небольшой подгонки — в очередной дебатированный законопроект»¹. Как и различие между силой и насилием, разграничение между утопией и мифом в глазах Сореля не чисто терминологическое. Сорель стремится противопоставить два в корне разных проекта социального преобразования: утопию, сконструированную кучкой интеллигентов за спиной у главных участников борьбы, и миф, соответствующий «убеждениям определенной группы».

Обращение Сореля к философии Бергсона в конечном счете направлено именно на всемерное выделение этой черты активного участия в революции. Сорель опирается на то место в «Непосредственных данных сознания», где Бергсон проводит различие между поверхностным «я», результатом механического приспособления к внешнему миру, и глубинным «я», свободно реализующим себя в творческом акте. Миф в этом смысле становится перевоплощением в образы творческого порыва широких масс, которые обретают тем самым способность преодолеть историческую обусловленность и выступить в роли главного героя радикального обновления. В качестве первого результата миф — всеобщая забастовка сметает прочь путано-демагогические речи реформистов, заменяя их ясной картиной противоборствующих сил. Речь идет о «совокупности образов, которые еще до всякого теоретического анализа способны *сразу и силой одной только интуиции* передать всю массу чувств, соответствующих различным проявлениям войны, объявленной социализмом современному обществу»².

По Сорелю, вопрос об осуществимости или неосуществимости всеобщей забастовки лишен смысла: главное здесь то, чтобы в такой забастовке нашли отражение основные тенденции рабочего класса. Следовательно, миф — это одновременно и «система образов», и «охваченные страстью» массы; он есть блок, делающий очевидными, чуть ли не на ощупь достоверными для пролетариата принципы марксизма: диалектический раскол общества на классы, организацию пролетариата как результат воздействия самого механизма капиталистического производства, социализм как «решающее» и необратимое преобразование. Свершения, к которым миф зовет пролетарские массы, есть «серьезное, внушающее почтение, возвышенное дело»³.

Похоже, что классовая борьба, как понимает ее в этот период Сорель, целиком укладывается в бергсоновское понятие «élan» [«порыва»], то есть определяется как свободное от

¹ Ibid., p. 82—83.

² Ibid., p. 177.

³ Ibid., p. 196—197.

всякой обусловленности творчество. Рациональность при этом выступает всецело как функция самоконтроля, тем более необходимого, что никаких прочных внешних точек опоры у этой рациональности нет. Вот почему последним вариантом сорелевского марксизма оказывается концепция, по которой социализм, никогда и не представлявший собой необходимости, утрачивает вообще всякие связи с видимыми процессами изменения действительности и становится чем-то таким, что целиком волюнтаристски проистекает из недр сознания трудящихся. Соответственно в типе «свободного производителя на достигшем высочайшего уровня производительности предприятии»! Сорель видит преемника воина античного общества и наполеоновского солдата, то есть тех, кого «страстный индивидуализм» сделал «способным на героизм. Энтузиазм производителя, его неустанный поиск точности в труде и улучшения выпускаемой продукции, отказ от выдвижения чисто эгоистических запросов, его чуткость к требованиям классовой солидарности — одним словом, энтузиазм в сочетании с «моралью добросовестного труда»² — выглядят единственными силами, способными обеспечить дело прогресса и цивилизации.

Правда, почвой, на которой вырастает эта новая нравственность, Сорелю представляются все же производительные силы, причем задача видится ему здесь не только в том, чтобы вернуть самим производительным силам поступательное движение, как будто бы затухающее в них, но и в том, чтобы сделать пролетариат прямым контролером их развития, вновь пробудив в нем уверенность в собственных познавательных возможностях (уверенность, которую миф, как могло показаться, изгнал из сознания трудящихся) на прочной основе современной промышленности. «Более или менее инстинктивно все понимают, что каждый элемент культуры ныне подлежит универсализации»³. Самоуправление и обобществление знания, таким образом, по-прежнему составляют перспективу, в сторону которой устремлен взор Сореля.

5. Успех Сореля и сорельянства

То, какое распространение получили идеи Сореля, проливает достаточно яркий свет на степень как привлекательности их, так и ограниченности. Влияние его идей в конкретно-политическом плане было, бесспорно, незначительным. Он сам, впрочем, никогда и не претендовал на роль руководи-

¹ Ibid., p. 321.

² Ibid., p. 328.

³ G. Sorel. La valeur sociale de l'art. — In: "Revue de métaphysique et de morale", VII, 1901, p. 266.

теля пролетариата, а скорее ставил перед собой задачу осмысления явлений, порождаемых практикой пролетарской борьбы. Неслучайно «Размышления о насилии» (несомненно, самая распространенная из его книг) вышли отдельным изданием лишь в 1908 году, когда репрессии уже положили конец памятной полосе массовых забастовок 1904—1906 годов.

Сорель всегда держался вдали от организационной жизни и политических споров социалистического движения во Франции, в те годы мучительно нащупывавшего пути к объединению. Органического характера не имели даже его связи с синдикалистским течением: в силу самой сложности теоретических построений мысль Сореля поневоле оставалась чуждой руководителям французского революционного синдикализма; один из них, например, мог позволить себе пошутить, что предпочитает читать Дюма, а не Сореля¹. Это, впрочем, несколько не умаляет того факта, что сорельянская идеология во Франции представляла собой, как отмечено исследователями, «опосредованное выражение определенного типа рабочей организации и определенной стадии развития профсоюзного движения»² — основой им служило наличие высшего слоя рабочих, сохраняющих профессиональное мастерство старого, ремесленного характера (то есть не прошедших процесса деквалификации на крупном промышленном предприятии) и привязанность к организационной модели ремесленного профсоюза³.

Разными авторами уже высказывалась мысль о том, что особенно широко — шире, чем во Франции, — идеи Сореля распространились в Италии. Это, несомненно, верно — особенно применительно к кругам итальянской интеллигенции. С этой точки зрения главным опекуном и покровителем Сореля в Италии был не кто иной, как Бенедетто Кроче, который лично занимался распространением его работ. Следы влияния сорельянства на жаркие идейные споры тех лет наиболее четко прослеживаются, например, в выступлениях авторов, группировавшихся вокруг журнала «Воче». Однако, если говорить о самом полном восприятии Сореля, то есть не только об использовании некоторых теоретических аспектов его размышлений, но и об обращении к нему как к источнику определенного идейно-политического курса, то в первую очередь здесь следует назвать руководителей течения революционного синдикализма в Италии. Эти руководители, Энрико Леоне и Артуро Лабриола, как раз пытались приме-

¹ См.: E. Dolléans. *Storia del movimento operaio*. Firenze, 1967, v. II, p. 127.

² E. Santarelli. *La revisione del marxismo in Italia*. Milano, 1977, p. 81. В этой работе содержится наиболее полный анализ истории распространения «сорельянства» в Италии.

³ S. Mallet. *La nuova classe operaia*. Torino, 1972, p. 50—56.

нить идеи Сореля непосредственно к политике — сначала в рядах социалистической партии, а затем в своей анархо-синдикалистской практике. Они не просто восприняли от Сореля текуче изменчивую концептуальную постановку проблем, но и придали ей догматическую жесткость, сведя до нескольких схематически очерченных тем (в результате чего, в частности, критика демократии и парламентаризма у них оказалась дополненной доводами антипротекционистской полемики, сквозь которую просвечивал не столько Сорель, сколько Парето с его последовательно либеральной проповедью). Формуле всеобщей забастовки в этом контексте суждено было выродиться в пустое заклинание, обветшалость которого уже вскоре была вскрыта ходом событий. Сорель же, напротив, как мы видели, не оставался пленником собственных схем: последнее из его боевых выступлений было выступлением в поддержку «революции Советов» и Ленина¹.

Ценное и применимое с точки зрения марксистской традиции ядро идей Сореля было с большой отчетливостью выявлено в последующие годы в трудах Антонио Грамши². Сорель следил за движением фабрично-заводских советов в Турине и приветствовал их опыт; и когда Грамши называет его «искренним другом пролетариата», то этим он выполняет не только продиктованный приличиями долг благодарности, о чем свидетельствует его стремление проводить четкое различие между Сорелем и сорельянством. На одной из страниц своих «Тюремных тетрадей» Грамши следующим образом указывает на принципиальную ограниченность мысли Сореля: «„Абстрактный“ характер сорельянской концепции «мифа» выявляется его враждебностью (принимавшей эмоциональную форму нравственного отвращения) к *якобинцам*... Курьезный антиякобинизм Сореля, сектантский, мелочный, антиисторический, есть одно из следствий политического кровопускания 1871 года... которое перерезало пуповину, связывавшую «новый народ» с традицией 1793 года. Сорель хотел бы быть выразителем такого разрыва между народом и историческим якобинством, но это ему не удалось»³.

¹ В одной из статей, «За Ленина», написанной в 1919 году, за три года до смерти автора (1922), и опубликованной в виде приложения в четвертом издании «Размышлений о насилии», Сорель заявлял: «Ленин... хочет форсировать историю, подобно Петру Великому. Он на самом деле хочет ввести у себя на родине социализм, который, если послушать наиболее авторитетных глашатаев социал-демократии, может прийти на смену лишь в высшей степени развитому капитализму» (с. 371). «Единственным подлинно важным вопросом, подлежащим философскому обсуждению, — добавлял он, — является вопрос о том, способствует ли Ленин направлению России на путь строительства республики производителей» (с. 376).

² Об обращении Грамши к идейному наследию Сореля см.: N. Badaloni. *Il marxismo di Gramsci*. Torino, 1975.

³ A. Gramsci. *Quaderni del carcere*, ed. critica a cure di V. Geratana, Torino, 1975, p. 1559, 1498.

Итак, неспособность заполнить разрыв между интеллигенцией и народом, недоверие к любой форме власти, отсутствие теоретической глубины, которая бы позволила верно очертить «волю как действительное сознание исторической необходимости»¹, — вот факторы, обусловившие ограниченность Сореля. Но внутри обозначенного таким образом пространства сорельянский использование марксизма сохраняет свою специфическую привлекательность. В самом деле, слияние марксизма с пролетариатом, по Сорелю, неизменно предполагало наделение последнего способностью использовать исторические рубежи, на которые выводит его классовая борьба. Разумеется, ценой конечного смысла этой операции оказывалось сведение марксизма к идеологии — сведение, при котором во всей полноте обнаруживался отрыв марксизма-мифа от марксизма-науки. Тем не менее идеологическое окостенение категорий у Сореля (коррупция, пессимизм, миф) было продиктовано намерением облегчить восприятие неких явлений действительности, от возникновения которых другие теории не могли дать гарантий.

В основе прихода Сореля к социализму лежала в конечном счете глубинная историческая интуиция: убеждение подсказывало ему, что социализм есть единственное — хотя и не неизбежное — решение проблемы того разрыва общества, который порождало развитие капитализма, машинного производства и науки. Классовая борьба, неизменно выступавшая для Сореля в связи с марксизмом, всегда была в его глазах основным орудием преодоления этого разрыва и «формирования» пролетариата.

¹ Ibid., p. 1559.

Эндрю Арато

АНТИНОМИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА: МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ

Слагающаяся из антиномий область отношений «марксизм и философия» представляет собой спектр альтернатив, многие из которых в свою очередь внутренние антиномичны. Этот спектр простирается от детерминистской философии истории (или даже онтологии), связанной как с материализмом, так и с классической позитивистской мыслью XVIII века, а также от более современного нам, более скептического и методологического увлечения «наукой», связанного с «неопозитивизмом», до двух разновидностей неокантианства, опирающихся соответственно на примат практики или теории, и далее вплоть до позиций, колеблющихся между историзмом *Geisteswissenschaften* * и иррационализмом *Lebensphilosophie* **. Подчеркивание широты этого спектра не пустая формальность, ибо его центральная антиномия — между необходимостью и свободой — влечет за собой целый комплекс серьезных и оставшихся нерешенными проблем социальной теории Маркса, которая тем не менее продолжает быть нашей единственной исходной точкой как в направлении разработки философии истории, питающей практику освободительной борьбы, так и в направлении развития строго критической теории современных общественных формаций.

Поэтому мое намерение состоит в том, чтобы описать всю эту антиномическую область от Плеханова до Сореля, постепенно переходя от объективной необходимости к воле, от сциентистского детерминизма к мифологически понимаемому самоопределению. Моей целью будет показать, что ни одна попытка повенчать марксизм с философией в эпоху II Интернационала не смогла вырваться из плена рокового дуализма, пронизывающего все стороны данной проблемы. В завершение обзора этого спектра я попытаюсь указать источник главной антиномии в социальной теории классического марксизма — антиномии, которая представляла собой одновременно скрытую пружину возникновения разнородных философских стратегий и тайную причину их банкротства. Хотя мне при-

* Гуманитарные науки (нем.). — Прим. ред.

** Философия жизни (нем.). — Прим. ред.

дется учитывать в своем анализе также философию практики, относящуюся к более позднему периоду истории марксизма, тем не менее следует признать, что и эта философия, несмотря на всю ту самокритичную проищательность, с какой сторонники этой философии подошли к антиномиям и буржуазной, и социалистической теорий, не сумела «опосредовать» самого глубокого их противоречия.

1. Материализм как всеобщее мировоззрение: Энгельс, Плеханов и Ленин

Марксистский материализм как всеохватывающее мировоззрение имеет своим истоком работы Фридриха Энгельса. Именно Энгельсу мы обязаны той синтетической теорией, которую обычно обозначают как диалектический материализм и которая послужила главным источником философской мысли для германской социал-демократии и в еще большей мере для куда более монолитного советского марксизма. Масштабы влияния Энгельса на последующие поколения теоретиков-марксистов многократно описывались¹, причем объективистско-оциентистские аспекты этого влияния — особенно после Лукача — справедливо критиковались большинством теоретиков-неомарксистов. В последнее время корни (теоретические, а не социальные или культурные) энгельсовского «позитивизма» были усмотрены в том разработанном Марксом и Энгельсом варианте философии истории, который вошел в науку под названием исторического материализма². Естественно, антимарксистская (или немарксистская) историография не раз выявляла детерминистскую природу марксистской теории в целом. Однако эту общую (и зачастую поверхностную) критику опроверг не кто иной, как Лукач, которому в значительной степени удалось воссоздать марксистскую теорию — главным образом позднюю Марксову критику политэкономии, но также и исторический материализм, — благодаря опоре на ряд тезисов, решительно отрицающих всякий объективизм и оциентизм³. Последующее открытие философской антропологии молодого Маркса («Экономические-философские рукописи 1844 года») и систематической связи антропологических положений с положениями полити-

¹ G. Lichtheim. *Marxism. A Historical and Critical Study*. New York, 1962, p. 234 ff.; H. J. Steinberg. *Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Partei vor dem 1. Weltkrieg*. Hannover, 1969, S. 43ff.

² Под другими вариантами я подразумеваю недетерминистские теории общественных формаций, отрицающие их поступательное, непрерывное развитие, наподобие прежде всего теории, изложенной в подготовительных рукописях Маркса к «Капиталу» («Экономические рукописи 1857—1859 годов»).

³ A. Arato. *Lukacs' Theory of Reification*. — In: "Telos," 1971.

ческой экономии («Экономические рукописи 1857—1859 годов») подтвердило историческую точность интерпретации Лукача. Тем не менее в самое последнее время Юрген Хабермас и Альбрехт Вельмер сумели шагнуть еще дальше и выявить позитивистскую линию уже в самых ранних произведениях Маркса, например в «Немецкой идеологии», где сведение символического взаимодействия к труду содержит возможность дальнейшего его превращения в редукционистскую теорию исторического материализма¹. Каковы бы ни были конечные выводы из этой констатации², остается фактом, что постепенное растворение понятия политического отчуждения (а это понятие присутствует и в работах «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права. Введение», как, впрочем, и в «Немецкой идеологии») в понятие отчуждения труда было первым и знаменательным признаком формирования теории, отнесшей в конце концов политику, сознание и т. п. к некоей безграничной надстройке, которая пассивно следует — пусть даже и с великим скрипом — за антагонистическим развитием производительных сил и производственных отношений³.

Подобная критика в адрес Маркса подкрепляется в первую очередь пониманием (или непониманием) своих работ самим Марксом в старости (чтобы убедиться, достаточно сравнить различные его предисловия к собственным поздним работам), а также, разумеется, вкладом Энгельса в развитие марксизма, исходящим из этого самоистолкования Маркса. Неоспоримо, во всяком случае, что к этой теории Энгельс добавил от себя некоторые детерминистские и редукционистские элементы. Уже само осуществленное им видоизменение экономического детерминизма с помощью известной теории взаимообусловленности и взаимовлияний⁴ подтверждает механистическое понимание им теории отношений базиса и надстройки в терминах причинно-следственной связи. Даже воспроизводя знаменитое место из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» Маркса, отражающее совсем иное понимание базиса, — понимание не причинное и даже не основанное на взаимодействии, а как совокупности объективированных

¹ J. Habermas. *Knowledge and Human Interests*. Boston, 1968, p. 28ff. and chap. II; A. Wellmer. *Critical Theory of Society*. New York, 1971, p. 70ff.

² Как раз и Хабермас, и Вельмер заслуживают критики именно за чрезмерное сведение социальной теории Маркса к ее позитивистскому аспекту. Их прочтение «Экономических рукописей 1857—1859 годов» и «Капитала» никак не может быть признано приемлемым.

³ См.: К. Маркс. К критике политической экономии (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 6—7).

⁴ См. письма Ф. Энгельса к Й. Блоху и К. Шмидту от 21 сентября и 27 октября 1890 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, с. 393—397, 414—422).

и объективных возможностей, при которых люди творят собственную историю¹. Энгельс все же чувствовал необходимость свести человеческую деятельность к пассивному в конечном счете следствию объективных сил². Правда, если мы в отличие от многих его последователей из числа социал-демократов (и в еще большей мере сталинистов) не будем приписывать Энгельсу ничего сверх того, что им было действительно внесено, то следует сказать, что он ограничивал свою целиком детерминистскую интерпретацию «предысторией», «царством необходимости», историей человечества до социализма, до сознательного созидания истории «по единому общему плану»³. Однако же именно эта аргументация делает переход из царства необходимости в царство свободы крайне проблематичным, повторяя классическую неудачу поисков места для свободы при таком механистическом представлении о мире. Не удивительно поэтому, что столь жесткий детерминист и рационалист, как Энгельс, вынужден в этом контексте говорить о «скачке человечества из царства необходимости в царство свободы»⁴. Его ученику Плеханову пришлось потом превращать этот «скачок» в особый случай детерминистской диалектики количества и качества⁵, открытый для вмещения социальной технологии как повивальной бабки истории.

Детерминистская теория истории представляет собой косвенное устранение последних следов свободной субъективности мысли и действия, ибо в мире, описанном механистической физикой, истории суждено было — от Вико и Канта до наших дней — оставаться последним прибежищем свободы. Включение материалистического толкования истории в метафизическую диалектику природы завершает редукцию. У Гегеля диалектика развивается между свободой и необходимостью: их конечным единством является самосознание абсолютного в спекулятивной философии. Гегель парадоксальным образом описал это единство как познание необходимости, равноценное свободе. Энгельс и его последователи, особенно Плеханов и Ленин, присоединились к такому пониманию свободы. Естественным, что для философии, высшей точкой в которой является абсолютное созерцание, понятие свободы как познанной необходимости знаменательно. Спиноза, поскольку

¹ Мы должны признать, что многие из редукционистских положений самого Маркса не могут быть интерпретированы в терминах диалектического противоречия между необходимостью и свободой.

² См. упоминавшиеся письма Ф. Энгельса к Й. Блоху и К. Шмидту.

³ Там же. Эта аргументация следует за центральным положением главы о товарном фетишизме «Капитала» Маркса.

⁴ Ф. Энгельс. Анти-Дюринг (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 295).

⁵ См.: Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения. М., 1957, т. III, с. 148—149).

он определил свободу как тотальное самоопределение¹, мог найти человеческой свободе место лишь в тотальном тождестве, более того — в растворении индивида в абсолютной субстанции; о тождестве, обладающем смыслом, речь у него идет лишь тогда, когда человеческое сознание целиком охватывает необходимое строение мира в акте конечного созерцания. Но подобное понятие свободы должно было бы быть неприемлемо для марксиста, ищущего свободу социального действия и социального самоопределения. По Спинозе, даже самые лучшие общественные законы сигнализируют о существовании чего-то, что определяет наши действия извне (человек, иначе говоря, выступает как предмет аффектов, обузданию которых и служат законы), а посвященная этому часть его «Этики» неслучайно озаглавлена «О человеческом рабстве». Познание внешнего причинного порядка, согласно Спинозе, ни в коем случае не может считаться свободой, пока не сделается просто содержанием, просто смыслом существования нашего разума, а следовательно, и перестанет быть внешней необходимостью. Конечно, историческая теория самозамкнутого формирования человека, которое объективно возможно в гражданском обществе и которое Спиноза уже видел перед собой и изучал, могла бы разорвать замкнутый круг философии спинозовской субстанции². Есть, таким образом, двоякий парадокс в — подразумеваемом у Энгельса и намеренном у Плеханова — превращении истории в детерминистскую «субстанцию». Уже по сравнению с «феноменологией» Гегеля³ (то есть замыслом истолкования субстанции как субъекта) переход к Спинозе представляет собой серьезный шаг назад, хотя сама гегелевская система в конечном — но только в конечном — счете возвращает нас к созерцанию некоей исторически не раскрытой субстанции. Энгельс подготовил почву для такого шага назад, хотя сам он тщательно старался проводить различие между методом и системой в диалектике Гегеля. (В частности, он утверждал, что гегельянцы, стремящиеся следовать методу Гегеля, почти все без исключения революционеры, между тем как те из них, кто принимает его

¹ Б. Спиноза. Этика, ч. I, пред. 7 (Б. Спиноза. Избранные произведения. М., Госполитиздат, 1957, т. I, с. 362).

² A. Heller. Spinoza Etikája. — In: "Erték és Történelem", 1969, p. 170.

³ С точки зрения критики молодым Марксом «второй природы» отчуждения (включающей и политическое отчуждение), спинозианский марксизм осуждает человечество на вечное пребывание на почве гражданского общества (которое уже у Спинозы служило опорой общественной этики, или политической философии), что влечет за собой жесткий дуализм между гражданином (человеком разумным и общественным) и субъектом (человеком эгоистичным и иррациональным). Самая основательная критика Марксом политического отчуждения содержится в его работе «К еврейскому вопросу», которая была известна уже и социал-демократам II Интернационала (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, с. 396 и след.).

систему, суть консерваторы.) Гегелевский метод, по Энгельсу, есть растворение всего устойчивого и окончательного в процессах движения, в то время как гегелевская система есть движение абсолюта от самоотчуждения к самопознанию кульминирующее в догматической философии абсолютного познания¹.

Именно вследствие этой критики гегелевской системы — и ее консервативных импликаций — совершенным парадоксом выглядит представление Энгельса о диалектике. Находясь под сильным впечатлением прогресса естественных наук (часть из которых сигнализировала о развитии как свойстве, присущем природе: космогонические теории Канта — Лапласа, открытие эволюции Дарвином и т. д.), Энгельс пошел по двум направлениям, противоречащим одно другому. С одной стороны, он «изгнал» философию из области изучения истории и природы, объявив их уделом специальных эмпирических наук, с другой — «ужал» философию до законов мышления «логики» и «диалектики»². Упор на первой из двух сторон сводит диалектику к методологии (в том смысле, какой этот термин имел в конце XIX века), причем подобный акцент, как будет показано ниже, приводит к работам Лабриолы, некоторым мотивам у Каутского, к эмпириомонистам и Макс Адлеру. Акцент же, сделанный на другой стороне, в контексте энгельсовской материалистической теории познания как отражения ведет к Плеханову и Ленину, то есть к воскрешению классической позитивистской философии истории. Сведение философии к законам мышления вовсе не есть сведение, если диалектическая философия является лишь простым отражением исторических и природных процессов в мыслящем мозгу³. Поэтому диалектика сводится «к науке об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления: два ряда законов, которые по сути дела тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, поскольку человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе, — а до сих пор большей частью и в человеческой истории — они прокладывают себе путь бессознательно, в форме внешней необходимости...»⁴.

Эта цитата чрезвычайно примечательна, так как выдает

¹ См.: *Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии* (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 21, с. 276 и след.).

² Там же, с. 316.

³ Там же. То же противоречие между критико-метатеоретическим и расширительно-метафизическим пониманием диалектики присутствует и в «*Анти-Дюринге*», написанном восьмью годами раньше (в 1878 году). Свою полную победу в трудах Энгельса расширительное толкование празднует в «*Диалектике природы*», опубликованной после смерти автора; это самый настоящий учебник для будущего советского марксизма.

⁴ Там же, с. 302.

три основные отличительные черты марксизма Энгельса: торжество систематического, метафизического, спекулятивного построения, торжество природы над историей и торжество объекта над субъектом или субъективной практикой. Триумф системы объясняется тем, что диалектика определена как общий закон движения абсолютно для всего и вся, что диалектика превращается в некое всеохватывающее мировоззрение (чего никогда не встречалось у Маркса). Соотношение системы Энгельса с системой Гегеля и Спинозы выявляет целый ряд признаков существенного сходства. Специфические законы движения мира (переход количества в качество, отрицание отрицания и т. д.) Энгельс выводит из «Логики» Гегеля, из ее первой части—«Логики бытия». Как показал Альфред Шмидт, Гегель мог позволить себе составить своего рода «онтологическую логику», иначе говоря, некую «досубъективную» диалектику, потому что в конечном счете он уравнивал ее односторонность, вводя подразделение на «логику сущности» и «логику понятия», предполагавшие переход от субстанции к субъекту, от природы к духу¹. Без такого опосредования гегелевские законы ведут лишь к детерминистской философии субстанции, знаменуют возврат к Спинозе. Да и сама терминология Энгельса в приведенной выше цитате поражает своим спинозизмом. Он говорит о двух рядах законов (внешнего мира и человеческого мышления), которые «по сути дела тождественны». Спиноза же, как мы видели, с ясностью сделал все выводы из философии субстанции, причем один из них, с марксистской точки зрения, заключается в невозможности для общественной практики выйти за пределы гражданского общества, за границы «человеческого рабства». Энгельс, насколько можно судить, так и не понял этого следствия и этой опасности: вместо использования идеи истории для разрыва замкнутого круга спинозовской субстанции, или природы, он отождествил природу и историю в терминах общего ряда «диалектических» законов, объединенных вместе понятием «внешнего материального мира». С нашей точки зрения, все это лишь отягощается тем, что применительно к истории он оставляет открытой возможность сознательного применения законов. Подобное применение, как мы покажем, сводит политику к социальной технологии. В философии субстанции именно внешний характер законов как таковой образует источник несвободы². Согласно Спинозе, до тех пор пока эти законы остаются законами вне нас, законами, которые мы должны применять, человек

¹ А. Schmidt. Il concetto di natura in Marx. Roma, 1969, p. 46.

² В рамках социальной реальности никакое сознательное действие не может изменить того факта, что законы являются внешними. Согласно Спинозе, их интериоризация достигается лишь ценой растворения индивида в универсальной субстанции.

разорван между разумом и аффектами, или — пользуясь терминологией политической философии гражданского общества — между гражданином и субъектом (у Маркса — между *citoyen* и *bourgeois*). Характерное для «гражданского общества» отчуждение личности при такой постановке вопроса увековечивается. В соответствии с классической традицией, идущей от Макиавелли, Гоббса и Руссо, обнаружение политического отчуждения всегда приводило либо к различным вариантам *bourgeois*, либо к якобинской политике. Из двух последователей Энгельса — Плеханова и Ленина — второй изберет «социально-технологический» вариант, между тем как первый, подобно Бернштейну и по крайней мере некоторым кантианцам из рядов социал-демократии, вернется к более смягченному политическому варианту¹.

Торжество природы, или субстанции — в схеме Энгельса (соответствующее импульсу к установлению единства наук в оциентизме второй половины XIX века), и неспособность к различению «диалектики» природы и истории приводят поэтому к совершенно определенным политическим последствиям. Такого же рода последствия вытекают и из торжества объекта в системе Энгельса. «Теория отражения», или «наивный реализм» двух рядов законов, попеременно отражающихся один в другом, влечет за собой четко и жестко выраженные дуалистические выводы, и, видимо, именно этого материалист Энгельс пытался избежать, обращаясь к Спинозовской субстанции. Однако он вновь пренебрег тщательным учетом всех последствий, вытекающих из Спинозовской концепции. В строго последовательной теории Спинозы мышление может адекватно отражать структуру мира в силу того, что между мышлением (под которым подразумеваются верные, истинные идеи) и миром существует полное тождество, но нет ничего похожего на взаимодействие. Для исторического материалиста такая позиция неприемлема. Помещая диалектическое взаимодействие в область самой объективно существующей природы, Энгельс, по-видимому, допускает механистическую (не соответствующую тому смыслу, который диалектика имеет у Гегеля и Маркса) форму взаимодействия между теорией и практикой, субъектом и объектом. Если к этой постановке мы добавим материалистическую предпосылку Энгельса об абсолютном причинном приоритете мира материального и особенно социального бытия, то окажется, что

¹ Этим определением раздвоения на *citoyen* и *bourgeois* в политике и этике социал-демократии я обязан Агнеш Хеллер и Михаю Вайде. Естественно, Марксова идея «тотальной революции» была нацелена на преодоление этого дуализма, но, поскольку, согласно данной идее, тотальная революция осуществлялась одним классом, она вновь приводила к возрождению антиномии. Многие верные критические возражения Марксу по этому вопросу содержатся в работах Жана Козна.

допустимо также отклонение от последовательности теории (а «истина» любой теории может быть поставлена под сомнение), но при этом никакая альтернатива — ни философия субстанции, с одной стороны, ни механистический материализм — с другой, — не меняет вытекающего отсюда представления о созерцательной и пассивной роли человека.

Философия Энгельса со своей мешаниной из сциентизма, материалистической метафизики и коммунистических идеалов («царство свободы») породила в рядах социал-демократии многочисленные и разнообразные философские концепции. Но неслучайно ни одна из них не изменила сколько-нибудь серьезно детерминистскую социальную теорию, заложенную в системе Энгельса (но не всегда, правда, вытекающую из его конкретных исторических исследований)). Последовательнее всего эту сторону его взглядов, несомненно, изложили Плеханов и Ленин, включившие теорию «социального детерминизма» соответственно в своего рода технологическую философию исторического детерминизма и в материалистическую эпистемологию, которые уходят своими корнями в эволюционистскую материалистическую метафизику.

Г. В. Плеханов в нашем спектре отношений между «марксизмом и философией», бесспорно, выступает самым крупным представителем полюса материалистического детерминизма. В марксистской традиции никто не питал большего почтения к способности объективного научного познания объяснить все и вся¹, никто не сделал больше для включения результатов науки во всеохватывающую материалистическую систему². Неоспоримо также и то, что, несмотря на резкое отрицание им каких бы то ни было онтогенетических или филогенетических проекций в истории и в известном смысле непоследовательную борьбу с биологизмом, социальной физикой или социальной физиологией, его труды обладают определенным сходством с классическими позитивистскими философиями истории. Лишь в самых ранних, еще народнических его статьях проскальзывает отпечаток влияния учения Конта³. В конечном же счете он интерпретировал закономерный прогресс рода человеческого в довольно непоследовательных терминах детерминистского и эволюционистского материализма, в духе складывавшихся представлений о социальной технологии, способной контролировать как природные, так и

¹ По мнению Плеханова, «все, чего можно и должно требовать от мыслителей», — это то, чтобы «они мыслили последовательно с точки зрения современной им науки» (Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. — Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. I, с. 513).

² См.: L. Haimson. The Russian Marxists and the Origin of Bolshevism. Harvard University Press, 1955, p. 35.

³ Ibid., p. 33.

межличностные процессы. Плеханов, конечно, был убежден, что ему удалось избежать дуалистических и циклических толкований истории в духе Сен-Симона и Конта, ибо распространение знаний он объяснял изменениями в технике производства, а последние выводил из распространения знаний — в точном соответствии с технологическим детерминизмом. В его схеме само распространение знания превращается в социальную технику. Если вначале (в 1895 году) он обосновывал технологический детерминизм путем несколько насильственного синтеза материализма просветителей с некоторыми аспектами немецкого идеализма, то позже (в 1908 году), с появлением рецидивов дуализма в своих собственных произведениях, он вернулся к самой жестко монистической и антителеологической из систем, к материалистическому истолкованному Спинозе.

Заслуженно знаменитая работа Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», которая увидела свет в 1895 году, трактует марксизм как раз в русле материализма XVIII века с намерением доказать, что наследие «объективного идеалиста» Гегеля может сделать материализм более последовательным. В дальнейшем я постараюсь подробнее разобрать вопрос об антиномии и диалектике, здесь же можно пока лишь подчеркнуть, что Плеханов рассматривал непоследовательность, дуализм материализма просветителей, а также утопического социализма и классического позитивизма именно по образцу кантианской антиномии свободы и необходимости! (в данном случае речь идет о среде и нравах, человеческой природе и среде, человеческой природе и истории, производстве и культуре, утопизме и фатализме, понимаемых как противостоящие, но логически одинаково доказательные — с точки зрения исторической обоснованности — доводы). Помимо этого, Плеханов утверждал, что антиномию нельзя разрешить, сославшись на взаимодействие двух начал; ее можно ликвидировать, лишь найдя более основательный уровень причин, обуславливающих развитие и определяющих как оба анализируемых фактора, так и их взаимодействие². Модель для объяснения ему поставляют «абсолютная идея» или «абсолютный дух» Гегеля, носящие, правда, в трактовке Плеханова неприемлемо мифологический характер³. Таким образом, идеализм предоставляет марксизму не только средства для того, чтобы сделать материализм более динамичным и способным к развитию, но и идею всеохватывающей, полностью детерминированной и не-

¹ См.: Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. I, с. 514 и след.).

² Там же, с. 520—521 и в других местах.

³ Там же, с. 603 и след.

обходимой системы, представляющей собой продукт деятельности. Разумеется, гегелевское мифологическое выражение этой деятельности, абсолют, в историческом материализме заменяется экономикой. Но, памятуя о трудностях, встреченных Энгельсом в вопросе о взаимодействии базиса и надстройки, экономики и политики, Плеханов идет на шаг дальше, или, если угодно, «вглубь». У него первым и абсолютным фактором становится материальное производство или даже производительные силы, интерпретируемые как технология¹.

Как бы мы ни оценивали степень редукционизма во взглядах Маркса и Энгельса, фактом остается то, что понятие базиса (иначе говоря, «анатомии гражданского общества Гегеля») — понятие, к которому сводятся все другие измерения их анализа, — само выступает у них в качестве единства (антагонистического) двух групп отношений: между человеком и человеком (производственные отношения) и между человеком и природой (производительные силы). Притом в большинстве их трудов ясно утверждается, что ни один из этих двух моментов нельзя ни опустить, ни свести к другому; иначе говоря, пока между ними сохраняется такое соотношение, остается возможность рассматривать идеологию, политику, право, обыденное сознание, искусство и т. д. — а ведь все это, в сущности, факторы, связанные с материальными и символическими отношениями между человеком и человеком, — как насыщенные смыслом и даже активно воздействующие аспекты данной социальной общности. В работах же Плеханова, как убедительно показывает Коллетти², базис отождествляется с «чисто материальной сферой, не содержащей межчеловеческих отношений». Производство в этой схеме есть производственная техника или производственная технология, и к ним-то сводится все остальное. Отсюда следует, что вся совокупность общественной жизни может причинно определяться лишь политикой, которая сама, говоря словами Сен-Симона, является «наукой о производстве»³, то есть своего рода подготовлением социальной технологии.

В «Основных вопросах марксизма» (1908) Плеханов доходит до составления целой причинной иерархии, связывающей технологию (в недрах базиса) с идеологией (на верхушке общества) через при промежуточных причинно обусловленных уровнях: 1) экономические отношения (отношения собственности), обусловленные технологией; 2) социально-по-

¹ Там же, с. 609 и след.

² См.: L. Colletti. The Marxism of the Second International. — In: "Telos", VIII, 1971, p. 87.

³ Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (Г. В. Плеханов, Избранные философские произведения, т. I, с. 538).

литический строй, выросший на данной экономической основе; 3) психику общественного человека, определяемую двумя предыдущими уровнями и в свою очередь отражающуюся в различных идеологиях¹. Эта иерархия жестко (хотя и не вполне успешно) проводит различие между социальным и экономическим и сводит все измерения анализа к производительным силам. Тем не менее Плеханов был слишком ортодоксален, чтобы игнорировать известные письма Энгельса о взаимодействии и взаимозависимости, например, между экономикой и политикой. Уже в 1895 году он трактовал эти вопросы в духе технологического детерминизма. Данный уклад производительных сил (изначальный фактор) создает для своего функционирования общественные, политические и психические структуры. Когда изначальный фактор меняется, старые «надстройки» становятся тормозом и выступают в этой роли до тех пор, пока ход развития не породит новые надстройки, более соответствующие новому базису. Между старыми и новыми надстройками неизбежно развертывается конфликт, выражающийся в форме классовой борьбы (которая в свою очередь в царстве идей проявляется в виде конфликта идеологий, философий, нравственных систем и т. д.), причем новое при любых обстоятельствах неотвратимо одерживает победу. Вызванное тормозящим действием надстройки запаздывание носит в силу этого лишь временный характер: в конечном счете весь ход движения определяет лежащая в основе базиса техника².

Значение, вкладываемое Плехановым в понятие техники, заслуживает более пристального рассмотрения. В самом деле, именно это понятие позволяет ему интерпретировать марксизм как точную, детерминистскую науку и в то же время как философию действия³. Возражения Плеханова против материализма XVIII века касаются отсутствия в нем теории эволюции, исторического развития, но одновременно он тщательно следит за тем, чтобы к теории общественного развития не примешалось биологическое понимание эволюции на манер Спенсера и его последователей (в число которых входили не только многочисленные противники Плеханова — народники, но и некоторые социалисты, включая даже — в известном смысле — самого Каутского, неоспоримого наследника немецкого марксизма). По мнению Плеханова, методы Маркса и Дарвина можно облизить вплотную, но Марксова область исследования начинается как раз там, где

¹ См.: Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. III, с. 179—180).

² См.: Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. I, с. 638—639).

³ См. там же, с. 692—694.

кончается дарвиновская — с возникновением процесса самоочеловечивания человека¹. Собственно человек определяется здесь как разновидность животных, изготавливающая орудия труда и преобразующая свою «природу» путем воздействия на внешний мир². Первые шаги в этом направлении еще могут быть связаны с биологической эволюцией и — в еще большей мере — с географическими условиями, но с того времени, когда человек обзаводится орудиями производства в полном смысле слова, сами биология (Плеханов прямо говорит об «искусственных органах») и география претерпевают изменения, хотя долго еще не утрачивают своего значения. При этом весь процесс протекает без вмешательства специфически человеческого сознания, или разума, каковой представляет собой вторичное, куда более позднее явление. По крайней мере на протяжении того отрезка, который Маркс называл предисторией (или царством необходимости), отношения между человеком и природой сохраняют свой первоначальный, непосредственно причинный характер. Отношения эти в основе своей активны, но точно в той мере, в какой в основе своей не являются сознательными, телеологическими, свободными.

Одновременно (примерно в 1895 году) Плеханов пытался обосновать и другой — сознательный и свободный — тип отношений человека с природой. Чувствуя потребность развенчать исторический фатализм, вытекавший как из материализма XVIII века, так и из философии Гегеля, он искал ключ к решению этой задачи в спинозианско-гегельянском учении о свободе как осознанной необходимости. Вначале он давал этому учению социально-технологическое истолкование. Самосознание человека в специфической форме науки есть продукт развития человечества от состояния подчиненности природе до состояния господства над нею. Полная власть над природой возможна, лишь когда этот продукт, наука (и технология), сознательно регулирует всю совокупность процессов взаимного обмена между человеком и природой. Но в классовом обществе подобное глобальное регулирование невозможно, ибо весь комплекс антагонистических социальных отношений в целом выступает препятствием на пути полного развития производительных сил. К счастью, законы истории также действуют в направлении, ведущем к росту научной продукции; замена производственной анархии капитализма полностью планируемым индустриальным обществом — вот тот единственный неизбежный шаг, который остается совершить. В новом обществе, может быть, даже в скачке, необходимом, чтобы прийти к нему, человечество на-

¹ См. там же, с. 690—691.

² См. там же, с. 609 и след.

конец восстает против экономической необходимости¹. Но это восстание понимается Плехановым как открытие и использование законов необходимости, как борьба против слепой необходимости ради необходимости, контролируемой и регулируемой². Общественное знание, обеспечивающее победу над необходимостью, само мыслится по образцу социальной технологии, инженерии. К тому же во избежание недоразумений — поскольку и технология, и инженерия легко могут породить мысли о творческом вмешательстве человека — Плеханов исходит из того, что освещенная научным знанием политическая борьба может лишь ускорить приход целиком подготовленной необходимостью исторической фазы либо сократить длительность фазы, уже осужденной на исчезновение.

В работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», датированной 1895 годом, еще сохраняются следы того прежнего народнического дуализма³ между сознательной волей и детерминистской теорией, который Плеханов в дальнейшем четко разрешил в пользу второй. Он со всей очевидностью еще бился в кругу проблем свободы и необходимости, практики и причинности. Установленная связь между социальной технологией и социальной наукой, естественно, сократила разрыв между ними, но антиномия Сен-Симона (распространение знаний и производство), исследованием которой занимался сам Плеханов, должна была бы насторожить его. Являются ли наука и технология лишь причинно объяснимыми результатами производства? Если же нет, то это значит, что телеологический элемент сознательного, независимого целеполагания ускользал от этого марксистского противника всякой телеологии. Плеханову следовало бы напомнить себе, что в эмпирическом мире самая что ни на есть основательная форма проявления третьей антиномии Канта (между свободой и необходимостью) — это как раз антиномия между телеологией и причинностью. К тому же в наши дни хорошо известно, что в Марксовом понятии труда, несомненно, присутствует телеологический аспект (см. «Капитал», т. I). Сравнение самого бездарного архитектора с самой передовой семьей пчел с очевидностью обнаруживает наличие такого элемента, как человеческие цели, которые переворачивают порядок природной причинности⁴. Но в 1908 году источником для Плеханова по этому вопросу служил не Маркс, а Спиноза⁵. Поэтому он соглашается при-

¹ См. там же, с. 689 и след.

² См. там же.

³ L. Haimson. *The Russian marxists...*, p. 46.

⁴ См.: L. Colletti. *The Marxism...*, p. 85.

⁵ См.: Б. Спиноза. Этика, ч. I. Прибавление (Б. Спиноза. Избранные произведения, т. I, с. 394—401).

знать только то, что человеческое сознание, видимо, постулирует некие цели, на основе которых человек и действует. Тем не менее все конечные цели иллюзорны, если рассматривать их в рамках естественного порядка во всей его совокупности. Человеческая деятельность — это лишь необходимое звено в общей цепи причинности. Человек творит собственную историю, но под давлением необходимости. Плеханов неслучайно предпочитает обращаться к примеру детей или «дикарей» для доказательства того, что цели, которые они ставят, и свобода, которую они чувствуют, с точки зрения современной биологии и социологии могут быть объяснены как необходимым образом причинно обусловленные их физиологией, географическим положением и уровнем развития технологии. В подобной модели истории и сама сознательно применяемая социальная технология в конечном счете оборачивается иллюзией. Этого урока верный последователь Плеханова, Ленин, так никогда и не усвоил.

Хотя Ленин в пору написания и опубликования своей единственной философской работы «Материализм и эмпириокритицизм» (1908) был уже, по существу, политическим противником Плеханова, именно в 1908—1909 годах фракционная борьба как в рядах меньшевиков, так и среди большевиков привела к временному сближению этих двух деятелей. В самом деле, книга Ленина нацелена против самых близких противников — группы «левых большевиков», пытавшихся в обоснование откровенно волюнтаристской практики большевиков разработать такую философскую позицию, которая больше не была бы связана с детерминистским материализмом. Как известно, политическая теория самого Ленина опиралась на организаторское, сознательное, волюнтаристское начало, призванное и способное форсировать ход истории. Однако если он выступил в защиту детерминистского материализма, то главную причину такого выбора следует, вероятно, видеть в политических централизаторских (антифракционных), да и бюрократических, соображениях, которые вытекали из свойственного ему организационного волюнтаризма. Как бы то ни было, в дискуссии о материализме Ленин в силу комбинации политических и теоретических соображений пошел дальше Плеханова (который в общих теоретических вопросах был для него авторитетом на протяжении 90-х годов), попытавшись представить предельный вариант материалистической эпистемологии и материалистической метафизики. Подобно Плеханову 1895 года, он тоже попытался примирить свою революционную волю и исторический детерминизм, обратившись к социальной технологии. По сути такого рода решение вполне согласовывалось с его теорией организации — теорией, сторонников которой с самого начала обвиняли в утилитарно-революционном (якобинском)

подходе к использованию масс такие деятели, как Аксельрод, Люксембург, Троцкий и — непоследовательно — сам Плеханов¹. Но в данном случае нас интересует пока лишь «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина — книга, в которой он всячески старается не касаться политического контекста споров. Философскими ориентирами для Ленина служат Плеханов (вопреки собственной воле автора), Фейербах, Энгельс, порой Дицген и раз или два непосредственно Маркс. Позитивную, то есть неполемическую, часть книги можно подразделить на метафизическую предпосылку, известное число частично выводимых из нее эпистемологических предпосылок и основные социально-технологические выводы.

Главная метафизическая предпосылка Ленина состоит в признании безусловного примата и независимости — как временной, так и логической — внешнего объекта от познания: идет ли речь о природе или общественном бытии. Он пытается убедить читателя (хотя это, по правде говоря, получается у него довольно слабо), что подобная позиция не метафизическая, ибо отражает инстинктивную точку зрения большинства ученых². Сам по себе мир — это совокупность единообразной материи в движении. Причинность, закономерность, время и пространство суть независимые, внешние, объективные и абсолютные характеристики этого мира, более или менее точно копируемые или отражаемые в описании действительности классической, ньютоновской механикой (в том ее понимании, которое оставил материализм XVIII века)³. В противоположность теориям познания неокантианцев и махистов Ленин выводит из уже упомянутой материалистической предпосылки два эпистемологических следствия: примат внешнего мира перед познанием и тождество «гнозменических» и «феноменологических» уровней действительности⁴. Следуя за Энгельсом по пути «опровержения» кантовского учения о непознаваемости вещи в себе, Ленин весьма непринужденно отождествляет научное позна-

¹ Следует отметить, что к этому хору антибюрократических голосов позже присоединится и первая в истории партии большевиков левая оппозиция. Речь идет об оппозиции во главе с Богдановым (против которого и был направлен «Материализм и эмпириокритицизм»). Богданов и его сторонники вступили в спор с Лениным, завершившийся исключением оппозиционеров. Отчасти родственные синдикалистским, «продеткуловским» идеи Богданова представляют собой продукт этой борьбы, равно как и его отказа от ленинского понятия партии. См.: *L. Haimson. The Russian Marxists...*, p. 118ff.; *E. H. Carr. Storia della Russia sovietica*, v. 1: *La rivoluzione bolscevica*. Torino, 1964, p. 34ff. *R. V. Daniels. The Conscience of the Revolution*. New York, 1960, p. 12ff.

² См.: *В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 39 и след.)*.

³ Там же, с. 185 и след.

⁴ Там же, с. 181—182.

ние с превращением непознанной вещи в себе в познанную вещь для нас¹. Движение от неизвестного к известному определяется им как «диалектический аспект» познания. Диалектический элемент, на его взгляд, заключается в признании того, что научное познание никогда не бывает исчерпывающе полным и противоречащим прежним представлениям, а протекает постепенно (и по процессно), отталкиваясь от незнания и неточности. По Ленину, следовательно, лишь ложные представления и идеология обладают историей, тогда как развитие истины — прямолинейное, кумулятивное и непрерывное. В этом убеждении он оказывается заодно с позитивизмом, как классическим, так и современным.

Ленинская теория истины — это просто теория соответствия, представленная как теория «образа (Abbild) вне нас существующей действительности». Автор силился мобилизовать в поддержку этой теории также авторитет «Тезисов о Фейербахе» Маркса, которые в действительности наносят сокрушительный удар по одному из главных источников Ленина. Содержание первого и второго тезисов, ясно утверждающих, что общезначимая предметность дана в человеческой практике, истолковывается им таким образом, что смысл их оказывается сведенным лишь к тому, что объективность нашего общественного познания, во-первых, отражает объективные общественные действия² и, во-вторых, практически испытывает, проверяет (хотя и не до абсолютной степени) способность нашего сознания точно и объективно копировать действительность³. Движимый стремлением опровергнуть Маха — в глазах которого любое восприятие, в том числе сон или мечта, представляло собой такой же факт, как и любой другой, — Ленин, таким образом, независимо ни от кого открывал для себя ключевой критерий неомахистской и неопозитивистской теории истины.

Тем не менее Ленину — в отличие от философов Венского кружка — приходилось приводить свою эпистемологию в соответствие с общезвестной историко-материалистической теорией идеологии. Материал ему был дан психологистским утверждением Богданова насчет тождества общественного сознания и общественного бытия. Вполне в духе Маркса — и, на наш взгляд, правильно — Ленин показывает, что, хотя люди сознательно «вступают» в общественные отношения и участвуют в них, в общем и целом они не сознают исторически сложившихся общественных отношений, создаваемых их действиями. Следовательно, экономическая система обладает объективностью, выходящей за рамки чисто психичес-

¹ Там же, с. 101—103.

² Там же, с. 103—104.

³ Там же, с. 131 и след.

кого измерения бытия¹. Но из этого положения Ленин выводит два противоречащих друг другу следствия и еще одно следствие, социально-технологического свойства. Первый вывод — общественное бытие совершенно независимо от общественного сознания — нельзя обосновать ссылками на Маркса; действительно, ленинское построение не рухнет только потому, что, идя по стопам Плеханова, автор полностью абстрагируется от Марксовых категорий практики и труда. Второй вывод — общественное сознание есть отражение общественного бытия, в смысле его копия, опечаток, — противоречит историко-материалистической теории идеологии, учащей, что идеология есть ложное, искаженное, мистифицированное сознание. Правда, Ленин, к счастью, успел до этого ввести в свое построение ограничительное толкование идеологии в историческом материализме и соответственно ее релятивистских последствий. Его подразумеваемая оговорка гласит, что эта теория неприменима к научному познанию. Идеология исторически обусловлена; трудности науки и борьба науки с идеологией также исторически обусловлены; наконец, обусловлена и степень возможностей познания в данную эпоху. Но подлинное научное познание все равно отражает, копирует внешние предметы, и лишь такое познание более или менее точно «отражает» общественную основу. При всей непоследовательности в аргументации² ленинская позиция выглядит именно так, и дела не меняет вполне оправданная отсылка к авторитету по крайней мере двух предшественников по объективистско-сциентистской интерпретации исторического материализма, Энгельса и Плеханова. Последний пункт особенно подчеркнут тем, что Ленин совершает здесь шаг — пусть даже довольно робкий — в сторону социальной технологии, которая фактически выступает как необходимая связь между его материалистической метафизической теорией и его в общем (хотя и не всегда) волюнтаристской политикой.

Предпосылки марксистской социальной технологии — которые первым сформулировал Энгельс, достаточно произвольно извлекая их первоначально из контекста философии Гегеля и учения Спинозы (где какое бы то ни было «технологическое» истолкование было бы лишено смысла), — коренятся в соответствующих определениях свободы и осознанной необходимости, с одной стороны, и слепой необходимости как отсутствия такого осознания — с другой. Ленин рассуждает следующим образом. Слепая необходимость существует объективно. Знание, сознание суть продукты необходи-

¹ Там же, с. 342—343 и след.

² Достаточно сравнить страницы 130—131 ленинского труда со страницами 342—343 (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18).

мости; они превращают непознанную необходимость в необходимость познанную: познание объективной необходимости ведет к практическому господству над природой¹. Та же аргументация применима и к научному познанию общества. «Самая высшая задача человечества — охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции (эволюции общественного бытия) в общих и основных чертах с тем, чтобы возможно более отчетливо, ясно, критически приспособить к ней свое общественное сознание и сознание передовых классов всех капиталистических стран»².

С точки зрения высказанного нами тезиса — о том, что Ленин становится тут на позиции социальной технологии, — приведенная цитата (если учесть недостаточную ясность того, что Ленин хотел сказать глаголом «приспособить») остается в известной мере двусмысленной. В нашем случае, однако, нет нужды обращаться к его более поздним рассуждениям о тейлоризме, милитаризации труда, государственном капитализме, диктатуре партии и т. д. Полное философское отождествление Ленина с историческим и философским материализмом, его теория науки и идеологии, сведение им понятия практики к понятию проверки и прикладной деятельности — все это ведет (по крайней мере имеет такую тенденцию) к разделению человеческого общества на ученых (или авангард ученых) и объекты, манипулируемые наукой.

Разумеется, сформулированное еще раньше, в 1895 году, Плехановым соотношение между «свободой и познанной необходимостью», с одной стороны, и переходом на деле к контролируемому функционированию планового общества — с другой, представляет собой еще более откровенное изложение той же самой позиции. Большая робость, проявленная Лениным в этом вопросе, объясняется, возможно, как предшествующими нападениями на него (не было, кажется, такого критика, который бы не использовал в полемике против него противоречия между диктатурой пролетариата и диктатурой над пролетариатом), так и желанием смягчить волюнтаристский элемент в столкновении с самыми волюнтаристски настроенными большевиками. Да и сам Плеханов в 1908 году придавал меньшее значение социально-технологическому компоненту своей теории. Важно, во всяком случае, то, что вплоть до «Философских тетрадей» Ленина, которые появились позже и к которым мы еще вернемся, в историческом материализме, разработанном двумя самыми крупными русскими марксистами, нельзя обнаружить никакого другого понимания практики. Внутренне ограничивающие их мысль пределы — это, с одной стороны, созерцательная (а в конечном счете спи-

¹ См. там же, с. 197.

² Там же, с. 345.

нозианская) теория истории — и природы, — а с другой, зеркально противоположной, — активистская социальная технология. Среди предложенных интерпретаций, *episteme* и *techné*, не оставалось места для того, что Аристотель и Кант последовательно, а Маркс порой несколько отступая от последовательности определяли как *praxis*, то есть как политическое и этическое начало, понимаемое в смысле чистого, телеологического самоопределения к действию. Следует отметить, однако, что в попытках заполнить этот пробел все другие философские тенденции и альтернативы II Интернационала также проявляли колебания и непоследовательность. Каутский и Лабриола, Богданов и неокантианцы — все они решились в конечном счете лишь на то, чтобы отвергнуть и пересмотреть только отдельные методологические притязания и заявить о неприятии полного отсутствия телеологического и этического начал у материалистической метафизики. Лишь на другом конце нашего спектра найдется мыслитель — им окажется философ синдикализма Ж. Сорель, — который поставит действительно серьезные проблемы, но лишь для того, чтобы «разрешить» их путем абстрактного мифологического отрицания научного детерминизма с помощью философии волюнтаризма.

2. Исторический материализм: Лабриола и Каутский

И в «Анти-Дюринге» (1878) и в «Людвиге Фейербахе и конце классической немецкой философии» (1886) Энгельс передает своим наследникам во II Интернационале две различные концепции философии. С одной стороны, он всячески подчеркивает конец всякой спекулятивной, всеобщей, субстанциональной философии и весьма неполную замену ее наукой, или теорией о самом мышлении: формальной логикой и диалектикой. С другой стороны, он отождествляет самое диалектику с новой (и, на наш взгляд, спекулятивной) философией, или «наукой о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления»¹. В то время как материализм Плеханова и Ленина основывался на этой именно позиции, Карл Каутский² и особенно Антонио Лабриола предприняли критику марксизма (или по крайней мере отмежевались от него) в качестве пусть и материалистичес-

¹ См.: Ф. Энгельс. Анти-Дюринг (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 25 и след., с. 145).

² См.: К. Vorländer. Kant und Marx. Ein Beitrag zur Philosophie des Sozialismus. Tübingen. 2 Auflage. 1962. S. 227—228. Частичным подкреплением тезиса Форлендера, который пытается связать также и позиции Каутского с критикой познания неокантианцами Марбургской школы, выглядят замечания самого Каутского по поводу первой «Критики» Канта. См.: К. Kautsky. L'etica e la concezione materialistica della storia. Milano, 1958, p. 32ff.

кой, но некоей всеобщей, универсальной философии. Лабриола, во всяком случае, стремился разработать методологическую альтернативу, которая на самом деле выступала как самобытный синтез первой позиции Энгельса (диалектика, ограниченная «мышлением о мышлении») с личной философией самого Лабриолы — философией практики и труда.

В «Беседах о социализме и философии» (1898) Лабриола вспоминает о своей более чем двадцатилетней неприязни как к систематической философии, философии как таковой, или «сверхфилософии», так и к эмпиризму («нефилософии») ¹. С самого начала он воспринял марксизм как средство избавления от этой дурной альтернативы. Конкретно он ссылается на «Анти-Дюринга» Энгельса как на пример необходимого сужения философии, все же гарантирующего ей опцифическое предметное поле: мышление по поводу мышления (или работа над мыслью) и критическая самокоррекция научного познания ². Вместе с тем Лабриола признает опасность того, что диалектический материализм может в конечном счете вызвать своего рода вендетту: «Отрывок из Энгельса... способен, однако, породить любопытные последствия: нечто вроде того, что случается с человеком, который протягивает другому палец и вдруг чувствует, что у него захватили всю руку. Если за исходное принимается, что логика и диалектика продолжают существовать как бы сами по себе, то не может ли это послужить, так сказать, подходящим поводом для перестройки заново всей философской энциклопедии?» ³ Лабриола считает, что его задача — преградить путь «марксистской схоластике», предложить ей альтернативу, не делая чрезмерных уступок ее противоположности, нефилософскому сциентизму.

Лабриола признает притягательную силу «науки» для своей эпохи, тенденцию к поглощению, впитыванию философии целиком в некую унифицированную, монистически понимаемую науку. Он допускает также наличие у научного монизма позитивной функции, то есть стремления охватить все стороны эмпирической действительности. Однако рост и дифференциация отраслей эмпирической науки сопровождались — что совершенно правомерно — параллельным ростом методологического и логического знания, представляющего собой необходимую самокритику науки ⁴. Даже самым великим ученым недоступно полное осмысление масштабов — и пределов — открытий и методов отдельных наук. Поэтому преходящее разграничение между философией и наукой должно сохра-

¹ См.: A. Labriola. *Discorrendo di socialismo e di filosofia*. Bari, 1939, p. 84, 95.

² *Ibid.*, p. 80, 152.

³ *Ibid.*, p. 83. Энгельс действительно предлагал и палец, и руку.

⁴ *Ibid.*, p. 74—75.

няться ради обеспечения самокритики познания. Философская природа исторического материализма должна пониматься в этом именно смысле как «критико-формальная тенденция» к монизму (а не как не завершённый и, может быть, никогда не завершимый процесс движения) ¹.

Что же тогда такое исторический материализм? Лабриола дает нам две слегка различающиеся между собой трехчленные схемы, которые мы подвергнем здесь сопоставлению.

1. В качестве «науки», или «критической науки», исторический материализм в первом варианте — это «критика экономики, оперирующая категориями, которые можно представить в виде закономерностей лишь в той мере, в какой исследованию подвергается определенная историческая фаза»; во втором варианте — это обновление «направлений исторического исследования, ибо искусство историка возвращается благодаря ему на почву классовой борьбы и обусловленных ею социальных перемен с учетом соответствующей экономической структуры».

2. В качестве философии исторический материализм представляет собой в первом варианте «всеобщее воззрение на жизнь и мир», а во втором — «трактовку направляющих принципов» методологии.

3. Наконец, в качестве политики исторический материализм и в том, и в другом варианте выступает как анализ конкретных исторических условий, в которых действуют различные пролетарские партии, с целью приведения социалистической стратегии в соответствие с «причинами, возможностями и опасностями политических осложнений».

Лабриола обладал незаурядной для своего времени проницательностью в том, что касается целей и методов первого тома «Капитала», который он справедливо считал единственным вполне завершённым самим Марксом образцом его критической науки. Лабриола интерпретировал Марксову теорию стоимости не как плод чисто эмпирического исследования, а как фундамент логического построения, призванного выявить «морфологическую структуру капиталистического общества». Он также интерпретировал понятие «критика» не просто как эквивалент позитивной науки и не «в субъективном смысле слова», а как метод, который «извлекает критику из антитетического и потому противоречивого движения самой действительности». Но поскольку он не задавался вопросом об отношениях между теорией и ее «антитетическим», внутренне противоречивым предметом, то и результат он мог интерпретировать, по существу, в духе причинного эмпирико-аналитического, номологического объяснения. Вследствие этого он, подобно всем марксистам своего времени, не сумел увидеть

¹ Ibid., p. 83—84.

никакого системного различия между критикой политической экономии и материалистическим методом поисков причинных объяснений в истории на основе классового анализа, исходящего из конечного примата экономики!.

Что касается второй, *философской* ипостаси исторического материализма, то Лабриола допускает двусмысленность даже со своей собственной точки зрения. Он, по-видимому, возвращается к дилемме Энгельса (что и неудивительно, если вспомнить его восхищение «Анти-Дюрингом»): всеобщая философия «бытия» против метатеории науки. Решение Лабриола состоит в том, что он истолковывает и «жизнь» (или «мир»), и «науку» с точки зрения исторического материализма как труд, или «практику». В результате два со всей очевидностью различных толкования исторического материализма как философии сводятся к одному — к философии труда, или практики. В «Беседах о социализме и философии» очень немного говорится о возможности органического сочетания учения, в действительности являющегося философией истории, с метатеоретическими вопросами, поскольку Лабриола сосредоточивается лишь на первом. И все же результаты здесь представляют интерес. Философия практики, согласно Лабриоле, порывает со всеми разновидностями натуралистического материализма, а также с жестким экономическим детерминизмом и редукционизмом.

Ключевая посылка философии практики Лабриолы на первый взгляд привязывает его к Плеханову. Он пишет: «В процессах практика предстает как природа, или историческая эволюция человека... ибо история — это, иначе говоря, история труда»². Однако разница по сравнению с плехановской технологической, антитеологической интерпретацией производства очевидна. Для Лабриолы (как и для Маркса) труд неотделим от умственной деятельности человека и ее общественных характеристик. В труде, следовательно, люди не только подвергаются детерминации, но и сами детерминируют: разумеется, не в самостоятельно выбранных ими условиях, а в тех, которые созданы прошлым трудом³. Лабриола, правда,

¹ Ibid., p. 21—22. В этом контексте лишь очерк Лукача «Изменение функции исторического материализма» (1919) и некоторые части его «Истории и классового сознания» дали подлинно новое понимание Маркса. Однако интерпретация Лукача, несмотря даже на последующее подтверждение ее обнародованными «Экономическими рукописями 1857—1859 годов», нашла немногих последователей среди марксистов. Для «ортодоксов» всех мастей критикой политической экономии по-прежнему остается просто приложение взятых из эволюционистского варианта исторического материализма моделей «базис — надстройка» и «производительные силы — производственные отношения» к специфическому предмету исследования — капиталистическому обществу.

² Ibid., p. 40.

³ Ibid., p. 57.

сохраняет двусмысленность по многим важным пунктам. Он отвергает натуралистический материализм, но интерпретирует процесс человеческой истории как абсолютно объективный; рассматривает «интеллект» как продукт истории, но определяет его как «процесс постоянного творчества». Его решение в некоторых отношениях напоминает решение авторов «Немецкой идеологии», которая в то время не была опубликована, но о существовании которой Лабриола знал. История есть объективная наука для историка; абстрактный философский разум может быть продуктом истории, но в то же время выступает и как сознательная деятельность (Маркс не случайно проводил сопоставление между сознанием (*das Bewusstsein*) и осознанным бытием (*das bewußte Sein*). Причем в этой деятельности всегда есть что-то от экспериментальной науки, искусственно и телеологически творящей «естественное» и обеспечивающей удовлетворение человеческих потребностей и создание тех условий, в которых будут призваны действовать последующие поколения¹. Отсюда труд выступает как саморазвитие человека, «экспериментирование есть процесс роста, а то, что мы называем духовным прогрессом, есть не что иное, как накопление трудовых потенций»².

Если история представляет собой саморазвитие человечества через труд, то вся предыдущая история была «трагедией труда». Подавляющему большинству тех, кто трудится, социальная история труда принесла лишь угнетение и лишения. Вместе с тем, однако, это же развитие, не подчиненное никакому сознательному плану, создало такую производительность труда, которая образует основу всеобщего участия в будущем (но необходимо ли это в интересах будущего?) в пользовании плодами труда, включая высокую культуру³. Право научного социализма на существование основывается, согласно Лабриоле, на этом факте (этой необходимости?), а не на каких бы то ни было моральных постулатах. В этом последнем пункте он, похоже, смыкается с детерминистским истолкованием исторического материализма. Он, конечно, подчеркивает невозможность выведения духовного творчества, например философии, искусства, самой религии (которые, с его точки зрения, являются умственной деятельностью), из экономического развития. Но разве это положение не должно сохранять свою истинность также по отношению к научному социализму и его проекциям в будущее? Более того, у Лабриолы можно прочесть, что нам дана лишь возможность прогресса⁴, лишь объективные предпосылки (плоды прошлого

¹ Ibid., p. 62—64.

² Ibid., p. 87.

³ Ibid., p. 108—109.

⁴ Само понятие прогресса — в отличие от понятия развития — содержит в себе, по мнению Лабриолы, ценностное суждение. См.: K. Wörldänder. Kant und Marx. S. 224.

труда) и что его осуществление зависит от практических политических результатов классовой борьбы пролетариев¹. Такого рода понимание истории, по-видимому, сближает Лабриолу с Марксом (в обход последующих искажений Энгельсом и Плехановым), который писал: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»².

У Лабриолы, конечно, есть немало от такой постановки вопроса, но вместе с тем он, похоже, склоняется к объяснению возможности-вероятности лишь как меры нашего невежества. Классовая борьба обусловлена объективными обстоятельствами, идеи же определенной эпохи в принципе можно вывести если не из одной лишь экономики, то из всех социально значимых характеристик данного общества. Самое же важное то, что в своем понимании марксизма как политики Лабриола полностью отрывает его от практико-нормативной сферы и подчиняет науке. Он, например, даже определяет «истинную нравственность» как сознание детерминизма.

Именно по этому последнему вопросу, вопросу об отношении между этикой и наукой, попытка проникнуть в более глубинные слои теории была предпринята еще одним видным мыслителем-марксистом, кстати, более ортодоксальным, чем Лабриола, — Карлом Каутским. Попытка эта, правда, была предпринята Каутским, по его собственному признанию, в такой период (1906), когда неокантианский вызов социал-демократии делал неотвратимой постановку этой проблемы. Как сообщает Форлендер³, сам Лабриола вопреки собственному убеждению в том, что социализацию производства следует понимать как имманентный и необходимый исторический процесс, не подвластный свободному выбору или стремлению к определенной цели, питал некоторый интерес к решению этой проблемы кантианцами-социалистами; более того, он рекомендовал одному из своих студентов, Альфредо Поджи, заняться изучением соответствующих источников. В глазах Лабриолы все «повороты назад» марксистов в философии были подозрительны. У Спинозы и материалистов XVIII века, по мнению Лабриолы, отсутствует понимание специфики истории, идея становления. Кант внес в философию «неразрешимую антиномию между практическим разумом и разумом теоретическим», религиозно окрашенный категорический

¹ G. D. H. Cole. *Storia del pensiero socialista*, v. III: *La Seconda Internazionale* (1899—1914), P. II. Bari, 1972, p. 255—256.

² К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, с. 119).

³ K. Vorländer. *Kant und Marx*. S. 225—226ff.

императив и (буржуазную) теорию естественного права¹. Согласно Лабриоле, классический марксизм, безусловно, является философией, хотя и нуждающейся в развитии. Не видел он только того, что именно это развитие вело к сопоставлению со всеми теми учениями, мимо которых он надеялся пройти, в частности с кантовскими антиномиями.

Таким образом, если Лабриола пошел дальше метафизического материализма, то сделал он это главным образом в области методологии. Вклад же Каутского, более ортодоксального — с этой точки зрения — ученика Энгельса, заключался в попытке (пусть даже и неудавшейся) «выручить» этику и телеологию, или, точнее говоря, исторический материализм, перед лицом вызова, брошенного так называемым этическим социализмом. Справиться с этим можно было только путем частичного включения в исторический материализм самого этического социализма.

Исторический материализм Каутского представляет собой смесь биологического и технологического детерминизма. К марксизму он пришел прежде всего через Дарвина², и, как это ни парадоксально, именно в какой-то мере телеологическое истолкование им биологического начала сделало его схему в целом более гибкой по сравнению со схемами Плеханова и Ленина. Так, он находит возможным отвести место в своей системе и нравственной жизни, хотя и «основывает» практику не на свободе, самосознании или самоопределении, а на биологической необходимости. По Каутскому, мы, разумеется, «чувствуем себя» свободными созданиями, действующими в соответствии с целями, которые нами выбираются. Это чувство, однако, основывается лишь на нашем неведении относительно будущего. Со строго научной точки зрения, которая экстраполирует прошлое и нынешнее развитие на развитие будущее, кажущаяся свобода оборачивается неизбежным результатом проявления необходимости, а телеология и свободный выбор сводятся к жесткой причинной обусловленности³. Есть лишь одна-единственная сфера эмпирической действительности, где цели, финализм действительно существуют, — это органический мир: «Все органические существа устроены и структурированы более или менее финалистски... Цель заключается в самом индивиде: его части так устроены и приспособлены, что служат целому — индивиду»⁴. В случае организованной (и органической) человеческой жизни финализм индивидов как частей заключается в сохранении целого — общества. Существует «социальный инстинкт»⁵, кото-

¹ См.: A. Labriola. *Discorrendo...*, p. 96 (nota).

² См.: H. J. Steinberg. *Sozialismus...*, S. 48.

³ K. Kautsky. *Etica...*, p. 49—54.

⁴ *Ibid.*, p. 60.

⁵ *Ibid.*, p. 75ff.

рый, по Каутскому, можно определить как скрыто действующее в человеческих индивидах (но также и в животных особях) альтруистическое побуждение. Социальный инстинкт в огромной степени усиливается такими основополагающими феноменами человеческого существования, как разделение труда и язык; но столь же основательно он и подрывается большей частью человеческой истории. Тем не менее биологическому *telos*'у суждено в конечном счете восторжествовать в детерминистской схеме Каутского, которая сама имеет в основании щедрую дозу просветительской веры в необходимость прогресса.

Биологическая эволюция в теории Каутского ведет к непрерывному усилению социального инстинкта в контексте борьбы за существование и потребности в приспособлении. Однако как марксист Каутский отрекся от своих первоначальных, крайне утопических представлений об этом процессе и открыто отказался выводить реальный ход истории из биологии. Человек у него также определяется как *homo faber*, как животное, изготавливающее орудия труда¹. В качестве «моральных» существ (то есть особей, наделенных социальным инстинктом) человеческие существа суть всего-навсего части животного мира, но производство орудий труда ведет к очеловечению человека, к процессам, не имеющим аналогий в природе: стремлениям увеличить могущество человека сверх пределов, установленных для него природой. Интерпретация человека в трактовке Каутского поражает своим сходством с плехановской: «Технический прогресс является отныне основанием всего развития человечества». Видимое различие в их концепциях заключается в утверждении Каутского о том, что каждый шаг в развитии техники — сознательный и намеренный. Но и это различие практически сходит на нет, когда Каутский трактует познавательную способность в качестве органа, служащего животному целям приспособления.

Технологический детерминизм образует краеугольный камень исторического материализма Каутского, особенно как теории истории, построенной на документах. «Всякое общество образуется техническим аппаратом, которым оно располагает...»² Разумеется, Каутский предостерегает против смешения технических условий со способом производства; приемы крестьянского земледелия, как известно, применяются в весьма различных общественных и политических условиях. Прямолинейность этой трактовки возвращает нас непосредственно к Плеханову (скорее, именно к нему, а не к Лабриоле, который в соответствии со своим пониманием «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» Маркса подчеркивал активно-твор-

¹ Ibid., p. 101—104.

² Ibid., p. 113.

ческую природу трудового процесса). По Каутскому, сочетание все той же техники с различными географическими условиями ведет к формированию различных способов производства¹. Если уж быть совершенно точным, то и Плеханов, и Каутский являются поклонниками технологическо-географического детерминизма в духе великой традиции материализма XVIII века, но Каутский при этом по крайней мере отказывается от защиты типичного для этой традиции тезиса о зависимости культурно-нравственного прогресса от развития производительных сил. Он следует, скорее, второму из «Рассуждений» Руссо (на которое еще Энгельс указывал как на образец подлинно диалектического истолкования развития человечества): «Нет ничего ошибочнее мнения, что культурный прогресс и возрастающее знание с необходимостью влекут за собой и высшую гуманность»². Точнее говоря, Каутский объединяет взгляды Руссо, изложенные в первых его двух «Рассуждениях», с тезисом, который строился на убеждении в конечной необходимости прогресса и был чужд самому Руссо. Результатом оказывается позиция, столь же давняя, как позиция Вико, но только выведенная на сей раз из Маркса (а в еще большей степени из Энгельса с его «Происхождением семьи, частной собственности и государства») и влекущая за собой некоторое исправление руссоистской интерпретации технического развития (не говоря уже о развитии частной собственности) как неизбежной причины морального упадка. Последний вследствие такого исправления выступает уже лишь как необходимый момент перехода к — столь же необходимо обусловленному — торжеству высшего уклада человеческих отношений. Развитие техники и разделение труда ведут — через энгельсовский прибавочный продукт — к образованию частной собственности, которая в свою очередь порождает два следствия. С одной стороны, все формы частной собственности (особенно западные формы?) превращаются в могущественные средства дальнейшего технического развития, а с другой — частная собственность ведет к конкуренции, конфликту внутри общества, эгоизму, порокам и особенно к экономическому неравенству, а также к жесткому фиксации социально-классовой структуры. Однако сочетание нового технического развития, толкающего вперед процесс покорения природы человеком, и животной целесообразности, выступающей в новых условиях в форме социальной солидарности, образует, по Каутскому, путеводную нить необходимого прогресса, которую не могут полностью прервать никакой моральный упадок, никакая бесчеловечность и никакие страдания. Многие крупные комплексы общественных феноменов

¹ Ibid., p. 144—147.

² Ibid., p. 123.

имеют двойное значение: положительное и отрицательное. Например, христианство, выражая в некотором смысле наиболее насущные социально-экономические тенденции, продвинуло историю на несколько шагов по пути растущей универсализации, взаимозависимости рода человеческого. Но в то же время оно порождало религиозные войны, догматизм и гонения. Капитал, безусловно, «создает материальную основу для всеобщей человеческой морали», а следовательно, и для подлинной человеческой взаимозависимости и универсальности, «но он создает ее тем, что беспрерывно попирает ногами эту мораль»¹. Истинная надежда на универсальность и солидарность человеческого рода, а точнее, осознание их необходимости присуще социал-демократии и тому классу, который она представляет, — пролетариату.

В каутскианском понятии самостоятельного классового интереса пролетариата сочленяются биологические и социологические мотивы обоснования морали². Капиталистическое развитие, которое создает возможность для появления эгоизма, конкуренции и порождает соответствующий ему человеческий тип, решающим образом ослабляет конкретное действие социального инстинкта. В этих условиях лишь интересы «эксплуатируемых, угнетенных и эмансипирующихся» классов представляют общий интерес человечества³. Почему? Здесь Каутский апеллирует непосредственно к молодому Марксу и его гегельянскому отождествлению принципа отрицания с принципом универсальности. «Господствующие классы нередко внутренне расколоты борьбой, которую им приходится вести между собой» за дележ капиталистической собственности; напротив, «чем беднее восходящие классы [читай: пролетариат. — Э. А.], тем больше они должны рассчитывать исключительно на собственные силы, тем сильнее чувство солидарности, которое испытывают все их члены друг к другу — в противовес разладу внутри господствующих классов, — и тем мощнее развиваются их социальные инстинкты по отношению к собственному классу»⁴. Таким образом, пролетариат, в силу его дегуманизации в обществе, где человечность представлена собственностью, выступает носителем некоей животной солидарности человеческого рода — рода, которому исторический разум в форме христианства и капитализма придал всеобщий характер. Иными словами, перед нами вновь является мечта о неиспорченном первобытном человеке, но только в марксистской оболочке.

¹ Ibid., p. 135.

² О проблеме «выведения» таких категорий, как стоимость, норма и т. п., см.: A. Heller. *Toward a Marxist Theory of Value*. — In: "Kinesis V", Carbondale, 1972, № 1.

³ K. Kautsky. *Etica...*, p. 146—147.

⁴ Ibid., p. 147.

Весьма примечательно, однако, отступление Каутского назад по сравнению с Руссо. У Руссо в его втором «Рассуждении» («Рассуждении о начале и основании неравенства между людьми») выдвижение тезиса об исторической необходимости влечет за собой мысль о появлении определенной формы цивилизации (основанной на собственности и внезапном конституировании общества), причем этот процесс знаменует в представлении Руссо нравственно-культурный регресс по сравнению с некоей гипотетической изначальной природой человека (человек в «естественном состоянии») и периодом неолита, понимаемым с более исторических позиций (то есть как переходный период от естественного состояния к гражданскому обществу). В «Общественном договоре» того же Руссо оформление общества в виде санкционированной законами ассоциации граждан (то есть, согласно его представлению, некоей комбинации идеи античного полиса с общественно-договорными гипотезами, выведенными из теории «естественного права») предстает не как природно обусловленный процесс, историческая необходимость, а как плод самоопределения, «праксиса» в аристотелевском смысле этого понятия. Разумеется, обращение Руссо к мифическому законодателю (или воспитателю, как в «Эмиле») и отсутствие в «Общественном договоре» того исторического анализа, который был проделан им самим в предыдущем «Рассуждении», превращают его систему в своего рода антиномическую конструкцию, где сожительствуют историческая необходимость и нравственно-политическая свобода. Но и в таком жестко антиномическом виде система Руссо свидетельствует о глубинной интуитивной догадке (как раз упущенной Каутским) относительно того, что самоопределяющееся общество может конституироваться исключительно под воздействием биологического инстинкта либо исторической необходимости. Почему же тогда социальный инстинкт пролетариата не должен привести к созданию не только коллективистского, но и полностью авторитарного общества вроде того, которое Руссо во втором «Рассуждении» называет равенством в форме всеобщего деспотизма?

Ответом на этот вопрос может, пожалуй, служить понятие нравственного идеала, выдвигаемое Каутским в угоду кантианцам (и, по существу, Руссо как автору «Общественного договора»). Определяемый как «энергичное стремление к чему-то, отличному от существующего»¹, нравственный идеал не сводится, согласно Каутскому, к естественному, животному началу: «Только человек в состоянии создавать себе идеалы и стремиться к ним»². Идеал не может быть выведен и из клас-

¹ Ibid., p. 166.

² Ibid., p. 87.

сового антагонизма, из классового интереса, потому что отдельные индивиды могут избрать путь следования новому нравственному идеалу вне связи с собственным происхождением или классовой принадлежностью¹. Тем не менее содержание нравственного идеала (в противовес его форме, выражающей лишь отрицание существующего) носит специфически классовый характер (достаточно вспомнить о том, сколь различным смыслом наполнялись в ходе истории требования свободы, равенства и т. д.), и новый нравственный идеал не может обрести действительности, до тех пор пока не наполнится классовым содержанием². Если эти уточнения, по-видимому, восстанавливают хотя бы минимальные права гражданства для таких категорий, как моральная телеология, моральная свобода³, которые Каутский, как мы видели, в принципе отрицает, то понятие нравственного идеала подчинено необходимости и науке в точном соответствии с общей позицией Каутского. Не опиравшиеся на помощь науки нравственные идеалы прошлого приводили лишь к непреднамеренным общественно-политическим последствиям. С помощью науки, то есть исторического материализма, нравственный идеал в его чисто отрицательном, противоречащем существующему нравственному порядку обличье осознается как необходимое — эмотивное — оружие классовой борьбы и в то же время утрачивает всякое влияние на ведение непосредственной, каждодневной политики. Иными словами, нравственный идеал — это инструмент, оружие, средство в руках науки, которому подчинена всякая этика. Наука же есть признание необходимости; лишь из экономической необходимости выводятся и грядущее торжество пролетариата, и параметры нового общества⁴.

Не удивительно, что подобная трактовка нравственного идеала позднее вызвала к жизни пресловутые споры о разграничении между необходимой наукой, выполняющей функции провидца и «повивальной бабки», которая помогает новому явиться на свет, и идеологией, необходимой, для того чтобы мобилизовать «массовую базу» для такого преобразования и управлять ею. Естественно, по убеждению Каутского, между историческим материализмом и идеалами пролетариата имеется некая предустановленная гармония; однако, хотя он и не выявляет отчетливо эту связь, со стороны пролетариата такая гармония может опираться лишь на неиз-

¹ Ibid., p. 168.

² Ibid., p. 166—168.

³ Во всяком случае, Форлендер, стремящийся отыскать кантланца в каждом социал-демократе, истолковывает выдвинутое Каутским понятие нравственного идеала именно таким образом. См.: K. Vorländer. Kant und Marx. S. 230.

⁴ K. Kautsky. Etica..., p. 170—176.

вестно откуда взявшийся постулат о единстве коренящихся в биологии социального инстинкта и классового интереса. И действительно, понятие нравственного идеала совершенно не выдерживает натиска историко-экономической науки, способной выявлять причинные связи и прогнозировать. Подобными методами Каутский надеялся сдержать вызов кантианцев в рядах социал-демократии. К взглядам этих последних мы теперь и обратимся.

3. «Критика» и этика: Кант и Маркс

Неокантианская критика в адрес натуралистического диалектического материализма и исторического материализма, ущербного с точки зрения идеологического самосознания и этики, имела два очевидных оправданных пункта, причем оба в обобщенном виде уже содержались в двух первых «Критиках» Канта — «Критике чистого разума» и «Критике практического разума». И ортодоксия Плеханова, и ортодоксия Каутского страдали одним и тем же недугом: с одной стороны, отсутствием соответствующего нравственного компонента, а с другой — присутствием более или менее догматических (или, скорее, метафизических) эпистемологических оснований. Форлендер, Вольтман, Туган-Барановский, Штаудингер и другие выступили с нападками на детерминистский материализм, действуя в первую очередь под флагом социалистической теории, опирающейся на нравственные основы. Бернштейна также можно отнести к этой группе мыслителей, хотя и не без некоторых оговорок как с его, так и с их стороны. Имелась и другая, в известном смысле противоположного направления группа — группа так называемых австромарксистов, куда входили, в частности, Макс Адлер, Отто Бауэр и — в меньшей степени — Рудольф Гильфердинг, а также «эмпириомонист» Богданов. Эти деятели намеревались заново построить здание исторического материализма (который они в отличие от членов первой группы несколько не ставили под сомнение) на фундаменте критической эпистемологии. Если члены первой группы нуждались в критическом методе Канта для разрешения проблемы правильного соотношения между наукой и этикой, то члены второй группы, не считавшие необходимым выводить социалистическую политику (как нечто антитетическое социалистической науке) из каузально обоснованной теории общества, в конечном счете вынуждены были пойти на кое-какие уступки кантианской этике. Тем не менее австромарксисты и Богданов остались на более ортодоксальных позициях в теории и политике в сравнении с группой, возглавлявшейся Форлендером и Вольтманом и проявлявшей склонность к ревизионистской теории и практике.

В рамках того идейно-теоретического течения, которое мы разбираем, идея этического обоснования социализма впервые была выдвинута в работах Ф. А. Ланге и Германа Когена. Для нас важнее Коген, ибо многие социал-демократы были его учениками. Основатель знаменитой Марбургской школы, Коген полагал, что категорический императив Канта, его максима, предписывавшая никогда не обращаться с ближним лишь как с вещью и средством, уже представляет собой требование создания социалистического общества. Коген считал также, что нравственно обоснованный социализм не может иметь ничего общего с какими бы то ни было разновидностями материализма, а следовательно, и с марксизмом. Его последователи Форлендер и Вольтман никогда не заходили так далеко, понимая, что и самый высокий идеал социализма осужден оставаться чистой грехой, если не учитывать экономические и политические факторы¹. Вместе с тем все они более или менее разделяли мнение Туган-Барановского и Бернштейна о том, что социалистический идеал никогда не сможет осуществиться просто как плод объективной исторической необходимости. Ссылаясь на Бернштейна, Людвиг Вольтман в 1900 году утверждал в своем «Историческом материализме», что исторический крах капитализма — вещь весьма маловероятная, потому что отсутствуют и, по-видимому, во все большей мере будут отсутствовать в дальнейшем экономические условия, преобладающие для этого, согласно марксистской теории. Следовательно, заключал Вольтман, построение социализма может зависеть единственно от нравственной воли масс и от социалистического движения, ведущего борьбу с несправедливостями капитализма². Аналогично Туган-Барановский, разработавший куда более систематические, чем у Бернштейна, аргументы в поддержку тезиса о невозможности чисто экономического краха капитализма, в «Теоретических основах марксизма» (1905) настойчиво подчеркивал, что действительное противоречие капитализма — нравственное, а не экономическое. Поэтому социализм может стать лишь результатом сознательной нравственной деятельности человека³. Бернштейн, как известно, пришел к подобным выводам еще раньше, хотя неокантианцы справедливо отмечали, что из-за непонимания им кантианской этики, на которую он часто ссылался, нравственная идея у него носит чисто утилитарный характер⁴. С правомерно кантианской точки зрения наиболее ос-

¹ См.: H. J. Steinberg. Sozialismus..., p. 98—99.

² См.: L. Woltmann. Der Historische Materialismus. — In: "Der Marxismus. Seine Geschichte in Dokumenten". München, 1967, S. 255—257.

³ M. Tugan-Baranovskij. Theoretische Grundlagen des Marxismus. — In: "Der Marxismus...", S. 253—254.

⁴ См.: K. Vorländer. Kant und Marx, S. 189.

новательной аргументацией против детерминистской теории социализма была аргументация Вольтмана. Он подчеркивал, что, даже если бы капитализм рухнул в результате катастрофы, необходимо обусловленной как экономическим кризисом, так и классовой борьбой, за этим отнюдь не последовало бы с необходимостью создание социалистического общества. Естественнo-объективное развитие может привести к смене форм порабощения (*Formwechsel der Knechtschaft*), но никогда не способно привести к ликвидации классового господства (*Abschaffung der Klassenherrschaft*). Лишь свободное нравственное действие пролетариата, выступающего сознательным представителем всего человечества, способно привести к построению того высшего сообщества, которое соответствует требованиям кантианской этики. Поскольку же пролетариат еще не подготовлен к своей свободе, задачей социалистического движения должно стать в первую голову его образование и нравственное воспитание. Экономическое развитие и порождаемые им возможности, по Вольтману, нельзя предавать забвению, однако лишь параллельное нравственное развитие людей может преобразить первичные экономические условия в подлинный прогресс человечества¹.

Как отмечает Форлендер, аргументация Вольтмана стала наиболее последовательно сформулированной политической программой реформизма². Но в отличие от Бернштейна большинство реформистов-неокантианцев старались выяснить свои отношения с марксистской теорией в ее совокупности. Если Бернштейн пытался обойти вопрос о самой возможности детерминистской науки об обществе, то Форлендер, Вольтман и Штаудингер разработали последовательную концепцию причинности и свободы, центральным в которой было то положение, что действительность можно изучать через призму причинности, но причинно построенный анализ не может вызвать к жизни социализм. В конечном счете сам этический компонент во всех этих попытках синтезировать Канта с Марксом превратился в спектр разнообразных мнений.

Начнем с того, в чем сходились все. Вольтман, Штаудингер и Форлендер (три социалиста, испытавшие на себе наибольшее влияние Когена и Марбургской школы), а также Конрад Шмидт, в меньшей степени являвшийся кантианцем, а в большей — ортодоксом, соглашались с Бернштейном в самом решающем пункте — в том, что существо социалистического идеала может рассматриваться как порождение традиции естественного права революционной буржуазии XVIII века. По их мнению, именно составляющие часть этой

¹ См.: *L. Woltmann. Der Historische Materialismus*, S. 257.

² *K. Vorländer. Kant und Marx*, S. 207.

традиции кантианский категорический императив и руссоистская идея народного суверенитета, гарантированного общественным договором, предполагают такое общество, в котором ни одно человеческое существо не принижается дорогами средства достижения чужой цели, а общественный договор не низводится до уловки на службе у частной собственности¹. Когда Туган-Барановский попытался привлечь для обоснования социалистического будущего провидения великих социалистов-утопистов XIX века, Форлендер подверг его острой критике². Даже Макс Адлер, занимавший еще более радикальные позиции, был склонен интерпретировать гражданское общество Канта как общество, где каждый является бюргером, то есть равноправным гражданином. Такой аспект действительно присутствует в кантианской концепции. Но в этой концепции есть и другой аспект, связывающий ее стилистическими положениями естественного права, которые, обосновывая священный характер частной собственности, указывают на пользу конкуренции и на необходимость подавлять желания. Не уделив достаточно внимания этой двоякой природе кантовской теории, Адлер — вне всякого сомнения, против собственного намерения — сомкнулся с Бернштейном, который, будучи более последовательным ревизионистом, пытался изобразить пролетария и буржуа в равной мере бюргерами (гражданами), участвующими в политической борьбе за расширение пределов демократии³.

Естественно, что никто из кантианцев в рядах социал-демократии, как уже было сказано, не пытался вернуться к позиции Г. Когена, сводившейся к требованию построения социализма исключительно в соответствии с категорическим императивом (и предопределяемыми им социальными последствиями)⁴. Но согласно относительно кантианской этики (и теории естественного права) как краеугольного камня социалистического проекта сразу же приходил конец, как только дело касалось вопроса об отношениях с другим его краеугольным камнем — историческим материализмом. Бернштейн, по крайней мере в нескольких случаях, выступил с нападкамии на детерминизм исторического материализма как такового и пытался понемногу исправить его с помощью политики, вдохновляющейся этикой как некоей само-

¹ Соответствующие статьи Вольмана, Шмидта и Штаудингера см. в публикации: H. J. Sandkühler, R. De La Vega (Hrsg.), *Marxismus und Ethik*, Frankfurt am Main, 1970.

² См.: K. Vorländer, *Kant und Marx*, S. 207.

³ Об этом см.: A. Arata, *Reexamining the Second International*. — In: "Telos", XVIII, winter 1973/74, p. 11.

⁴ См. об этом в книге Форлендера «Кант и Маркс» главы, посвященные Бернштейну, Туган-Барановскому, Вольману и Штаудингеру, а также заключение автора.

довлеющей ценностью. Тутан-Барановский, который был довольно творчески мыслящим экономистом, утверждал, что детерминистская экономическая теория способна доказать лишь неодолимость капитализма и что ломка здесь зависит от сознательной, организованной воли пролетариата. Вольтман, судя по всему, был убежден, что исторический материализм в качестве детерминистской науки, может быть, и в состоянии доказать неотвратимость краха капитализма, но никак не способен доказать необходимость нового — социалистического — мирового порядка. Наконец, Штаудингер и Форлендер склонялись к последовательно дуалистической позиции, согласно которой ортодоксальный исторический материализм способен обосновать необходимость социализма как такового, но не в состоянии фундировать его нравственно-оценочную и соответственно нормативную сторону, принадлежащую кантианской этике. Особенно поучительно такая дуалистическая позиция вырисовывается у Форлендера. Насколько можно судить, в первоначальном варианте своей книги 1904 года о Канте и Марксе он ориентировался исключительно на этическое обоснование социализма¹. Однако в дальнейшем, после критики со стороны Макса Адлера, который в этом споре отстаивал трактовку исторического материализма как науки о социализме, Форлендер выступил с критикой некоторых своих прежних союзников и перешел на уже упомянутую строго дуалистическую позицию с ее тезисом о детерминированности социализма комбинацией факторов, в которой методологически четко различаются этика и наука². Одновременно сам Макс Адлер — вследствие спора с Каутским и Плехановым — пришел к признанию необходимости обращения к нормативной этике (необходимость социологически-описательной этики была ему всегда ясна)³ для обоснования долженствования (*Sollen*) социализма с целью решительного разграничения между самим социализмом и другими возможными вариантами посткапиталистического общества. Как раз работы Макса Адлера особенно наглядно показывают, что последовательно и строго дуалистическая позиция представляла собой единственную альтернативу для марксистов-кантианцев, которые свое понимание Канта восприняли от когеновской Марбургской школы, а свое понимание Маркса — от Энгельса и Каутского.

Макс Адлер не считал, что Маркса следует исправлять Кантом, потому что «социология» Маркса, на его взгляд, была вершиной немецкой классической философии, основа-

¹ L. Goldmann. *Dialektische Untersuchungen*. Berlin, 1966, S. 216ff.

² См.: K. Vorländer. *Kant und Marx*, S. 287—288.

³ См.: M. Adler. *Kant und der Sozialismus*. — In: "Marxismus und Ethik", S. 178ff.

нием которой служил сам Кант¹. Марксова критика политической экономии, заявлял в 1904 году Адлер, — это критика в кантианском смысле термина: она содержит кантианскую критику познания (*Erkenntniskritik*) и потому не нуждается в том, чтобы ее дополняли этой последней. Основопологающие понятия критической теории Маркса (стоимость, товар, абстрактный труд и т. д.) — это орудия мышления (*Denkmittel*), с помощью которых бесконечно сложный и разнообразный мир явлений можно охватить в его закономерностях. Раскрыть обширное царство явлений с помощью какой-то комбинации индукции и дедукции нельзя: для этого требуется точный анализ заранее изолированных экономических «клеток» пражданского общества.

Здесь Форлендер (идя по стопам Вольтмана) провел даже параллель между методами Канта и Маркса, причем сделал это более четко, чем Адлер. По Форлендеру, и критика Канта, и критика Маркса имеют предметом законченные результаты наук: у Канта — ньютоновской физики, у Маркса — политической экономии. И тот и другой выводят или открывают свои абстрактные категории в ходе критики науки. Но сразу же вслед за этим Форлендер проявляет двойственность, роковую для своей позиции (и присутствующую, как мы увидим, также и у Адлера): Маркс, заявляет он, применял свой критический метод бессознательно; в общем и целом он был таким же исследователем общественных явлений, как другие, и его наука — исторический материализм — еще ждет своего Канта².

Макс Адлер, впрочем, не ограничился ожиданием нового Канта, а попытался показать среди всего прочего, что теория Маркса — это шаг вперед в сравнении с кантианским вариантом критики, иначе говоря, с его историко-социологической метакритикой сознания в себе (*Bewusstsein überhaupt*), выведенной чисто трансцендентальным путем. Естественно, Адлер не мог игнорировать историю понятия категории от Канта до Маркса, но он понимал ее как историю понятия социального априори. Адлер стремился подчеркнуть субъективную сторону «трансцендентальной дедукции» Канта, делая особый упор на наличие категорий в сознании, которое само по себе было для Канта созерцательно-внеисторическим. В это сознание Фихте, согласно Адлеру, ввел прак-

¹ См.: *L. Goldmann. Dialektische Untersuchungen*, S. 224. Сама неспособность — или нежелание — Адлера видеть в различии между кантианским и марксистским смыслом термина «категория» что-то иное, кроме исторически обусловленной разницы содержания (а не функции), представляет собой шаг к истолкованию критики как социологии. По поводу проблемы категории см. ниже наш анализ диалектики Адлера.

² См.: *K. Vorländer. Kant und Marx*, S. 278, 291.

тику, Гегель — историчность, и только у Маркса сознание как таковое, или «сознание в себе», стало вполне социальным и историческим, опоспособным указывать с помощью своих только что обретенных категорий общественные закономерности данного периода истории. В этом контексте Адлер и называет Марксову социальную критику вершиной немецкой классической философии. Тем не менее почти тут же он определяет марксизм как детерминистскую науку об обществе, социологию, в результате чего невзгоды научного марксизма напоминают о себе в самый неподходящий момент, разваливая весь предыдущий анализ как картонный домик. Одним словом, Адлер никак не мог решить, был ли Маркс Кантом или Ньютоном социальной действительности.

Такого рода двусмысленность присуща и Форлендеру. Однако полностью идейно-теоретические корни позиции Адлера проясняются благодаря другому представителю этого течения — эмпириомонисту Богданову, последователю Маха и Авенариуса (а также, естественно, Юма). Богданов определяет основы объективной действительности на базе коллективного, а конкретнее — «социально-согласованного... социально-организованного опыта»¹. Доводы эти возвращают нас уже не к Канту, а к Юму и его «рутине» и «привычке» наблюдателя сопоставлять факты как к пусть случайному, но единственному основанию причинности. С той, впрочем, оговоркой, что у Богданова «социально-организованный опыт» современной науки рассматривается под строго причинным углом зрения². В схеме Богданова Маркс выступает как «величайший социолог»³, но Ленина, конечно же, нельзя упрекнуть в неправоте, когда он вкладывает в уста «матхистов» мнение эмпириокритиков (в данном случае Ф. Блея) о том, что Маркс в силу своего материализма не постиг гносеологической «критики понятий»⁴. Богданов всячески пытался утвердить собственное убеждение в социальной детерминации сознания *в противовес* тезису о детерминации сознания чем-то объективно существующим, внешним. И хотя он и старался привлечь для поддержки своих усилий авторитет Маркса, он не скрывал вместе с тем, что основателями «науки об обществе» на общефилософском уровне считает Маха и Авенариуса⁵. Отношения между марксизмом и философией у него описываются с помощью аналогии между Ньютоном (или Оствальдом) и Махом, а не между Ньюто-

¹ В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 188, с. 1235).

² Там же, с. 172, 174.

³ Там же, с. 342.

⁴ Там же, с. 337.

⁵ См.: S. V. Utechin. Philosophy and Society: Alexander Bogdanov. — In: L. Labedz (ed.). Revisionism. New York, 1962, p. 118—119.

ном и Кантом. Но сама по себе роль аналогии и структура ее внутренней двусмысленности остаются в точности такими же.

Довольно серьезные последствия эти параллели имели и для Адлера. В своей полемике с Плехановым и Каутским, с одной стороны, и Форлендером — с другой, Адлер делал упор на том, что марксизм следует рассматривать как строго детерминистскую науку об обществе, а Маркса (в большей мере, чем Конта) — считать основателем этой науки, то есть социологии. Следуя в этом русле, он внес изменения в свою концепцию отношений Маркса с критикой познания. С этого момента социология Маркса превратилась у него в продолжение научного переворота XVII века, стала распространением этого переворота на мир социальных феноменов, а Маркс стал Ньютоном общественных явлений. В результате такой девальвации Маркса сама идея кантианской критики оказалась как бы отчасти обесцененной. Критика познания в этом случае преобразуется — на неопозитивистский лад — лишь в некое вспомогательное методологическое приложение к марксизму, принуждающее его к выяснению понятий, анализу содержания и пределов «инструментов» социологии. Другими словами, критика познания, выступая как нечто совершенно отличное от марксизма, не исправляющее и не выверяющее его, может, самое большее, создавать предпосылки для его более последовательного и гармоничного развития в будущем ¹.

И хотя между отстаиванием Адлером марксизма как критики и переходом к иной, в конечном счете социентистской дефиниции марксизма прошло почти десять лет, элементы обоих этих толкований присутствуют во всех его работах. Забавно поэтому наблюдать, как интерпретаторы Адлера, например Гольдман и Лихтхайм, толкуют о двух его разных подходах к проблеме связи Маркс — Кант, не замечая серьезности затруднений, которые тому приходилось преодолевать. Когда к такому молчанию при изложении взглядов Адлера прибегает Форлендер, то здесь по крайней мере имеется весома причина: у них были общие трудности. Впрочем, будем откровенны: ни с кантианской точки зрения, ни с точки зрения пронизательного марксиста критика и наука не могут быть представлены как одно и то же. У Канта «кри-

¹ M. Adler. *Marxistische Probleme*. Stuttgart, 1913, S. 64—65. Адлер не слишком последователен в этом вопросе. В других работах он зачастую говорит о кантианском учении как об эпистемологическом основании и философском дополнении марксизма. Он тоже имеет в виду отношение между Кантом и Ньютоном, но порой Маркс выступает у него как Кант, а порой — как Ньютон (*ibid.*, S. 138—139). Его отношение к Эрнсту Маху было вполне положительным, хотя он и ощущал, что неокантианцы включают вызов Маха в любую метафизику и обладают более прочными методологическими основами (*ibid.*, S. 255ff.).

тика» включает в себя трансцендентальную саморефлексию о построении науки, причем наука здесь является тем, что выстраивается и на что обращена рефлексия. У Маркса различие между критикой политической экономии и наукой политической экономии проводится столь же четко (хотя и не совсем аналогично кантовскому подходу). Тем не менее различие между критикой и наукой затушевывается, с одной стороны, любым неопозитивистским истолкованием Канта, сводящим важность трансцендентальной позиции к чисто методологической критике, а с другой — «научным социализмом». И то, что Адлер не в состоянии ясно видеть это различие, здесь выступает признаком его пресмысленности по отношению к вульгарному марксизму¹.

Это не значит, что Адлер не критиковал материалистическую ортодоксию Каутского и Плеханова, причем с позиций, которые он разделял с Богдановым². Он вполне последовательно доказывал, что марксизм не может иметь ничего общего с материалистическим мировоззрением, с материалистической метафизикой; что марксизм, иначе говоря, не нуждается в обосновании его каким бы то ни было всеохватывающим мировоззрением и уж, во всяком случае, менее всего — мировоззрением материалистическим. Материализм представляет собой ответ на онтологический вопрос о сущности мира — ответ, догматически утверждающий, что мир состоит из физической материи, предмета изучения естественных наук. Речь идет о последовательном мировоззрении, но узко ограниченном, сводящем все к находящейся в движении материи³. Но, рассуждает Адлер, так называемая материалистическая теория истории оперирует совсем иным понятием материи: под материальными условиями существования исторический материализм всегда имеет в виду человеческие и потому духовные (*geistige*) условия⁴. Маркс, по Адлеру, заимствует из естественных наук не их понятие материи, а их методологический позитивизм и их упор на причинности и закономерности. На этом основании Адлер утверждает, что Марксову теорию истории нужно переосмыслить и переиме-

¹ В статье раннего Маркузе, несущей на себе явный отпечаток влияния Лукача (*H. Markuse, Transzendentaler Marxismus?* — In: *„Die Gesellschaft“*, VIII, 1931, S. 304ff. Перепечатано в: *H. Markuse, Kritische Theorie der Gesellschaft*, IV, Frankfurt am Main, o. d.), был окончательно продемонстрирован эциентистский характер и марксизма, и кантовства Адлера. С точки зрения диалектической теории Лукача, Корша и раннего Маркузе, критика была справедливой. Но мы должны подверживать много подходов к Адлеру в контексте II Интернационала. Впрочем, независимо от этого Маркузе — первый автор, уделивший описанную выше двусмысленность связи Кант—Маркс.

² См.: S. V. Utechin. *Philosophy and Society*, p. 118—119.

³ M. Adler. *Marxistische Probleme*, S. 66—67.

⁴ Ibid., S. 4.

повать в социально-экономический детерминизм. Новое наименование, казалось бы, не предвещает ничего хорошего, но Адлер, как мы сейчас увидим, пытается использовать его для разработки такого понимания духовного (*geistige*) и психического (*psychische*) начал, которое бы отличалось от редукционистских схем ортодоксов. Уже на уровне теории познания он (будучи кантианцем) чувствует необходимость разделаться с теориями, отводящими сознанию исключительно пассивную роль. Прежде всего, он доказывает, что если теория познания как копирования может быть вполне последовательно разработана таким мыслителем, как Спиноза, то материалист, вроде Плеханова, не может обращаться к подобной подпорке. Адлер правильно подчеркивает, что, по Спинозе, никакого взаимодействия между сознанием и материей не может быть, что, более того, в этом — предварительное условие любой последовательной теории поисков истины как копии действительности. Любая материалистическая философия, между тем, должна вести дело к причинному, или функциональному, сведению сознания к материи, однако с момента, когда подобная редукция вызывает к жизни некий «мозг», пассивно воспринимающий внешние явления, совершенно загадочной становится его способность осмысливать истинное устройство материи¹. Материализм и спинозизм, по Адлеру, — это два последовательных, исключительных и догматических мировоззрения, смешение которых не может не быть внутренне противоречивым². Следует поэтому игнорировать основанную на таком смешении энгельсовскую теорию познания как копирования. Но как быть со знаменитым материалистическим положением насчет детерминации мышления бытием? Адлер готов признать, что в качестве исследовательского принципа это положение способно облегчить поиск причинных объяснений общественных феноменов, связывая между собою, например, идеологию и экономику. Но какое бы то ни было расширительное эпистемологическое толкование этого положения Адлер третирует как допотоптную эпистемологическую наивность³, причем, если учесть его кантианскую точку зрения, подобная оценка не нуждается в доказательстве. Тем не менее его рассуждения по поводу социальной психологии и антропологии ясно свидетельствуют о том, что указанный материалистический тезис фактически сохраняет свое значение — пусть даже весьма ограниченное, частичное — и для его теории общественного развития.

¹ В подкрепление этого тезиса Адлер мог бы призвать всю историю английского эмпиризма.

² М. Адлер. *Marxistische Probleme*, S. 70.

³ *Ibid.*, S. 82-83.

Среди марксистов Адлер был единственным, чья научная подготовка давала возможность участвовать в знаменитом «диспуте о методе» (*Methodenstreit*) — диспуте, который происходил в научном мире Германии. В этом споре Адлер противостоял гейдельбергским неокантианцам и Зиммелю, отстаивая идею единства всех наук, — единства, опирающегося на каузальность естественных наук. Наука об обществе среди своих тем может иметь гуманные цели, гуманные ценности, но это несколько не меняет необходимости причинного, номологического рассмотрения ею своих предметов¹. За решением Адлера в пользу такого всеохватывающего натурализма кроется его выбор психологии как основной среди наук об обществе. Опасность, связанную с этим выбором, снова лучше всего позволяет увидеть сравнение со взглядами эмпириомониста Богданова. По мнению Богданова, Марксов тезис о зависимости общественного сознания от общественного бытия следует пересмотреть в сторону тождества между ними, поскольку *«социальная жизнь во всех своих проявлениях есть сознательно психическая»* жизнь². Но то, что под этим понимает Богданов, заключается попросту в требовании, чтобы на место иерархически понятого экономического детерминизма был поставлен монистически понятый психо-социальный детерминизм³, с той невыгодой, как показывает Ленин, что при этом теряется важная мысль об общественно-экономической системе, действующей за опиной сознательных индивидов. К тому же, если ограничиться психологическим анализом индивидуального сознания, то всю сумму изменений, вносимых этими индивидами в общественное бытие, «не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов»⁴. Кантианство Адлера в этом отношении обнаруживает определенные преимущества перед махизмом Богданова. Адлер также относится ко всем общественным, политическим, культурным, экономическим или иным фактам как к психическим. Он опасается догматического ожесточения термина «общество» и рассматривает индивида — социализированного индивида — как единственного носителя (*Träger*) общественной жизни. Разумеется, при этом он отдавал себе отчет в тех проблемах, которые индивидуалистическая психология ставит перед марксизмом. Чтобы справиться с ними, он постулировал некую фундаментальную антропологическую характеристику человека — способность к оценкам и действиям в соответствии с нормами и целями. Основопологающая среди этих норм и ценностей — общественная жизнь (базирующаяся на признании других

¹ К. Vorländer. Kant und Marx, S. 253.

² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 342.

³ S. V. Utechin. Philosophy and Society, p. 119.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 345.

индивидов людьми), иначе говоря, единство с другими людьми. Восприятие общества как ценности ведет, однако, к глубинному антагонизму между индивидуальным и общественным, потому что исторические формы проявления стимула к единству (например, стремление к счастью) влекут за собой конфликты и борьбу с другими людьми¹.

Нужно заметить, что вплоть до этого пункта мы обнаруживаем поразительное структурное сходство между биологической концепцией Каутского о человеческой природе (антагонизм между социальным инстинктом и историей) и психологическо-антропологической концепцией Адлера (антагонизм между общественными ценностями и историей). Но при их наложении адлеровское решение обнаруживает несколько большую тонкость. Если формальное созидание общественного начала, утверждает он, располагается в плоскости нормативности (*Normmässigkeit*), то реальное его созидание есть функция сознательного целенаправленного (*zweckbewusste*) труда. Посредством труда, отождествляемого у Адлера, как мы увидим, с практикой вообще, законы внутренней жизни становятся внешней причинностью и приводят к реализации ценностей. Таким образом, причинность в царстве общественной жизни не слепа: она руководствуется идеями и целями². Однако, по Адлеру, нельзя игнорировать внешнюю причинность экономических отношений. Возможность реализации ценностей зависит от пределов, которые ставит свободе действий объективное развитие экономической жизни и институтов (даже если их объективное развитие есть не что иное, как развитие самих людей). Адлер резко подчеркивает, что само по себе экономическое развитие не реализует никаких ценностей, ничего не создает, ничего не уничтожает, ничего не меняет, а лишь определяет (здесь то и находится область беспорной правоты исторического материализма) границы возможностей развития общественной жизни и дает средства для реализации этих возможностей. Процесс производства — это механизм общественной жизни, а целенаправленная сознательная деятельность — это мотор, сообщаящий ему энергию и направление движения.

Таково в высшей степени двусмысленное толкование Адлером положения Маркса о том, что люди сами творят свою историю, но в обстоятельствах, которых они не выбирали. В этом отношении Адлер оказывается весьма близок к философии практики Лабриолы, за рамки которой он так и не выходит. И то, что в конечном счете он отождествляет «марксистский» смысл понятия «сознание в себе» (понятие

¹ M. Adler. *Marxistische Probleme*, S. 9—11.

² Ibid., S. 12—13.

критики) с детерминистской наукой об обществе, тесно переплетается с его анализом. Вместо выявления межсубъективной детерминации **praxis** (не являющейся лишь социальной **techne**) с помощью теории как момента самой этой **praxis** он останавливается у черты, обозначенной индивидуальными субъектами и детерминистской наукой. Тем самым он вынужден интерпретировать своего сознающего цели человека как существо, которое обуславливает, лишь когда само оказывается обусловленным, действует, когда само подвергается воздействию¹. Иначе говоря, он запирает телеологию в клетку тесной системы причинности, в результате чего вынужден прибегнуть к серии звучных заявлений о практике, которые начинаются третьим тезисом Маркса о Фейербахе, а кульминируют в тезисе о соединении науки и политики в некоей *прикладной науке* (**angewandte Wissenschaft**), основывающейся на *осознании необходимости* общественных процессов². Телеология, по Адлеру, представляет собой точку зрения индивидуально действующего человека, причинность — точку зрения социологии, а социальная технология, или *социальная инженерия*, — единство теории и практики³. Его толкование проблемы отношений марксизма и этики должно рассматриваться в этом контексте.

Общая философская позиция Адлера была, таким образом, последовательно дуалистической, поскольку предполагала четкую антиномию телеологии и причинности, этики и науки, **Sollen** (долженствование) и **Sein** (бытие). И каковы бы ни были заявления Адлера — довольно парадоксальные — на сей счет, он был противником как примата практики, так и примата теории, как этического обоснования учения о социализме, так и причинной редукции этики социализма. Он был убежден, что благодаря особой гибкости его позиция позволит интегрировать самое этику в выработанное им понятие науки об обществе, не порывая с дуализмом. Ведь этика в схеме Адлера в подавляющей своей части принадлежит прежде всего области социологии права и морали⁴. Нравственная жизнь, способность к моральным оценкам, этическая воля — все это были для Адлера причинные факторы, имманентные человеческой истории. Он считал, что в этих пределах строго причинная социология может трак-

¹ Ibid, S. 58ff. В немецком тексте прямо говорится, что человек есть существо, на которое можно воздействовать, если только оно само действует (*auf das nur gewirkt werden kann, indem es selber wirkt*). Но еще важнее здесь для нас то, что телеологии оказывается исключительной принадлежностью индивида, который иначе будет скопан неотвратимой целью причинности. В конечном счете телеология у Адлера почти столь же иллюзорна, как у Спинозы и Плеханова.

² Ibid., S. 58—59.

³ L. Goldmann. *Dialektische Untersuchungen*, S. 223.

⁴ См.: M. Adler. *Kant und der Sozialismus*, S. 178ff.

товать этику индивидов и индивидов, объединенных в группы, как одну из важнейших сил мировой истории. Более того, здесь он усматривал единственное различие между причинностью социологии и причинностью физики. Вместе с тем Адлер — по крайней мере после 1910 года — выдвигает положение, что никакая социология не может оценивать ценностное и нормативное содержание действий, что это задача практического и нормативного этического исследования. Разумеется, после того как оценка произведена и предприняты действия (во внешнем мире), направленные к достижению поставленных целей, мы вновь возвращаемся в область социологии¹. Адлер на этом основании решительно выступает против представления (Германа Когена и молодых Форлендера и Вольтмана) о том, что социализм можно построить на этических основаниях. Социализм, утверждает он, никогда не будет осуществлен без индивидов, рассматривающих его как ценность. Само по себе признание исторической необходимости социализма не поведет никого на борьбу за его построение. Однако нравственная воля индивидов (действующая в причинном порядке и изучаемая причинной социологией) — лишь необходимое, но еще недостаточное условие социализма; общая цепь причинности включает в себя причинность не только психического развития, но и развития экономики и институтов. Кроме того, лишь тогда объективные исторические условия делают необходимым слияние индивидуальных нравственных волей в некий единый массовый феномен, лишь тогда этика может приобрести характер исторически причинного фактора и лишь тогда **Sollen** может быть реализовано в мире и превратиться в **Sein**. Возникает впечатление, что, говоря о революции, Адлер выходит за пределы своей дуалистической схемы. Но это лишь впечатление: анализ проблемы революции в целом он вновь возлагает на причинную социологию. Конечно, саму причинную последовательность можно оценивать с точки зрения индивидуальных этик (положительно оцениваемых с позиции категорического императива), но таким путем мы рискуем вернуться к полностью разграниченному, дуалистическому способу «построения феноменов».

Так Адлер пытался создать синтез Канта и Маркса — синтез, который отличался бы значительно большей последовательностью, чем конструкции молодого Форлендера и особенно Вольтмана и Туган-Барановского, предпринимавших попытки разработать этические основания для учения о социализме в целом. Не считая необходимым отрекаться от детерминистских аспектов теории Маркса, Адлер вместе с тем стремился доказать важность этики внутри теории и,

¹ См.: *M. Adler. Marxistische Probleme*, S. 145—147.

следуя таким путем, смог подойти к постановке марксистской проблематики теории и практики. В то же время он неукоснительно придерживался ортодоксально кантовского разграничения (более «ортодоксального», как мы покажем далее, даже чем у самого Канта) между практическим и теоретическим. Подобного рода заведомо дуалистическая конструкция использовалась им также в полемике, которую вместе с Отто Бауэром он вел против каутскианского полного поглощения этики — в подчиненной роли — детерминистской теорией.

Критика Каутского Адлером была прямой противоположностью его критики в адрес Форлендера. Последний стремился построить часть теории социализма (то, что, по Адлеру, было явно наукой о причинном *Sein*) на моральном фундаменте, на теории *Sollen*, между тем как Каутский пытался свести всякое *Sollen* к причинной теории *Sein*, то есть к научно-естественному материализму. Адлер же считал, что натуралистическая этика может объяснить что угодно (следует помнить, что натуралистическая этика интегрирована в социологию Адлера), включая исторические истоки содержания любой этической системы, но не может объяснить действительность и обязательность нравственных максим, реальную *форму* этических законов, форму *Sollen*. *Sollen*, по Адлеру, предполагает усилия по переустройству мира, первоначально данного нам в причинном опыте, с точки зрения нашей субъективности, нашей оценочной деятельности. *Sollen* — это форма нашего нравственного чувства (совести) и одновременно нашего «нравственного идеала». Поэтому, утверждает Адлер, бессмысленно пытаться вывести его причинным путем — из эмпирической заинтересованности, пользы, инстинкта или потребностей борьбы¹. Каутский между тем выводил нравственный смысл из социального инстинкта, а нравственный идеал — отчасти из классовой борьбы. Полемизируя с ним, Адлер доказывает, что, даже если бы удалось причинным порядком вывести мораль («нечто неизвестное») из социального инстинкта («нечто еще менее известное»), то перед нами оказалась бы лишь фактическая констатация наличия нравственного смысла, но отнюдь не его обязывающее действие, которое может возникнуть исключительно из сознательного осмысления целей действия как чего-то представляющего ценность². Эта цель может быть осмыслена нами и как негативная ценность и тем самым также побуждать к борьбе, решительному действию. Но если источником осуждения любого другого инстинкта является социальный инстинкт, то остается необъяснимым, почему единственно этот инстинкт оценивается выше всех других.

¹ Ibid., S. 108—109.

² Ibid., S. 121.

Адлер, кроме того, доказывает, что точную параллель вышеописанному соотношению являет собой соотношение между классовой борьбой и нравственным идеалом (которое, по Каутскому, влечет за собой не столько биологическую, сколько историческую редукцию этики). Ни один классовый социологический анализ не может породить общезначимых ценностей и идеалов. Можем ли мы нравственно различить ценности одного класса и ценности другого? Если наш ответ опирается на гармоническое совпадение идеала с объективно понимаемым историческим развитием, то это означает, по Адлеру, что мы наделяем это развитие безусловно положительным нравственным смыслом. Но на каком основании? Почему то, что нравственно, обязательно должно быть осуществимым? Аргументы Адлера направлены на доказательство того, что шкалу приоритетов биологических, социологических и исторических фактов можно выработать только на основе *Sollen*.

Доводы Адлера против Каутского поддержал Отто Бауэр, который в дополнение еще доказал, что ни один индивид не может найти никаких нравственных указаний, руководствуясь исторической необходимостью¹. Но здесь-то по крайней мере Каутский мог выдвинуть обоснованное встречное возражение: не менее трудно — в реальных ситуациях — извлечь нравственные указания из категорического императива². В самом деле, странно, что, сокрушив Каутского, Бауэр и Адлер, до-видимому, довольствовались просто повторением принципов и концепций кантианской этики, понимаемой совершенно формально, хотя сам Кант не был удовлетворен жестким дуализмом теории и практики, и Гегель и другие философы принципиально критиковали его по этому вопросу.

Впрочем, в социальной этике Адлера есть шкала отсчета, вроде бы предполагающая выход за рамки формально понятого учения Канта. В известной мере ему удалось, как мы показали, сочетать воедино этическую сторону со своей социологической теорией и выдвинуть тезис о невозможности выведения нравственно позитивных общественных порядков из одного лишь экономического развития. Выдвигая доводы против Каутского, Адлер и Бауэр с их утверждением о том, что на руинах капитализма может возникнуть иной общественный строй, в конечном счете облизались со своими противниками-кантианцами, причем, как это ни парадоксально, с самым крайним вариантом этического социализма Вольмана и Туган-Барановского. Реализовать эту альтернативу

¹ O. Bauer. *Marxismus und Ethik*. — In: "Der Marxismus", S. 262—263.

² См.: K. Kautsky. *Leben, Wissenschaft und Ethik*. — In: "Der Marxismus", p. 270—271.

в старом споре о выборе между социализмом и одичанием (Адлер добавляет сюда еще представление об индустриальном феодализме) может только пролетариат, его нравственное решение в пользу социализма. В этом контексте Адлер, как может показаться, склоняется к частичному этическому обоснованию социализма¹. Однако буквально на следующей странице, вновь касаясь этой темы, он возвращается к жесткой антиномии. Он задается вопросом о том, что может предложить этике материалистическая теория истории, и отвечает: «Все и ничего». Смысл этого ответа в том, что этическое начало, участвующее в причинном обусловливании общественной жизни, уже совсем не этическое, а составляет часть детерминистской социологии (поскольку эта последняя соответствует представлению Адлера об историческом материализме). Этическое измерение, нравственное, моральное начало, между тем не может иметь ничего общего с какой бы то ни было наукой, с каким бы то ни было причинным объяснением, научным понятием исторического развития или успеха. Лишь самопознание, критика практического разума, то есть кантианская этика, может дать понимание нравственной природы воли и индивидуального сознания — той нравственной природы, которая остается для Адлера несводимым атрибутом человеческого существования². Философия Адлера, таким образом, сознательно остается на почве кантианской, или, точнее, неокантианской, антиномии теория (необходимость) — практика («свобода»).

Проблематика синтеза Кант — Маркс в период II Интернационала заключалась отнюдь не в чрезмерной вере Канта в «Критике практического разума», как полагает Коллетти. Дело было, скорее, в тенденции обоих течений (а особенно их главных представителей, Форлендера и Адлера) занять дуалистическую, жестко антиномическую позицию, опирающуюся на «комбинацию» сциентистски истолкованной «Критики чистого разума» и более или менее формально истолкованной «Критики практического разума»³. Различные попытки Канта разрешить свою классическую антиномию свободы и необходимости, практики и теории при помощи разработанных им концепций природной — эстетической и исторической — телеологии были либо начисто забыты (как забыли «Критику способности суждения» авторы, о ко-

¹ M. Adler. *Marxistische Probleme*, S. 134.

² Ibid., S. 136—137.

³ То, что столь жесткое истолкование не было неизбежным ни для одного из этих двух течений, показано в марксистских исследованиях — особенно самого последнего времени — о Канте. См. книгу: L. Goldmann. *Introduzione a Kant*. Milano, 1972, и значительно более строгий в научном отношении очерк: A. Heller. *Kant Etikai*. — In: *Portrévázlatok az Etika Történelméből* («Очерки истории этики»). Budapest, 1976.

торых идет речь)), либо решительно переосмыслены в детерминистском ключе (как случилось с его философией истории). Между тем Кант был убежден, что при отсутствии формально закрепленного значения и до тех пор, пока эмпирический мир не создал условия для концептуализации возможности конечных целей, нравственная свобода осуждена на выхолащивание.

Это положение «Критики способности суждения» имплицитно и двусмысленно присутствует уже в «Идее всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», написанной в 1784 году, то есть задолго до упомянутой выше работы, но уже относящейся к «критическому» периоду творчества Канта. Центральным здесь выступает понятие природы, которое вначале понимается Кантом в смысле первой «Критики...», то есть необходимости под властью закономерности (*natura naturata* Спинозы), а затем как бы в результате внезапного поворота, но без всякого предупреждения — в смысле третьей «Критики...»: как царство, или источник, конечных целей (*natura naturans*). Кант стремится доказать, что если в истории (интерпретируемой с помощью конфликтной модели естественного права) никакой сознательный человеческий проект и не может быть эффективным, то замысел человеческой свободы предполагает тем не менее возможность скрытой конечной цели. Это та цель, которую он приписывает провиденциально и мифологически осмысленной природе, причем содержание этой цели раскрывается им как развитие человеческого рода вопреки принесению в жертву отдельных индивидов, а возникновение всемирного гражданского общества вопреки антагонизму между государствами (но отчасти и благодаря ему). Среди всего прочего в этой работе, как и во многих других «исторических» работах Канта, делается попытка связать в едином рассуждении об истории роль необходимости и культурного упадка из второго «Рассуждения» Руссо* с проектом свободы и освященной законом политики из его же трактата «Об общественном договоре». Переход от первой из этих двух стадий ко второй, подразделяемых Кантом в терминах, которые могут вызвать в памяти Марксово разделение истории на «предысторию» и собственно историю человечества, отмечен все же внутренней двойственностью. С одной стороны, Кант вводит спекулятивное понятие, которое — предваряя Гегеля — можно было бы назвать телеологической «хитростью природы», с другой — дает понять, что это понятие — с точки зрения нашего практического действия — выполняет лишь функцию регулятивной идеи¹. Вместе с тем эта новая антиномия от-

* Имеется в виду «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми» (1755). — *Прим. ред.*

¹ См.: A. Heller. Kant Etikái, p. 223.

нюдь не выступает у Канта как непримиримо жесткая конструкция, ибо сам практический разум может находить подкрепление в виде присутствующих в эмпирической действительности следов, или знаков, выявляющих уже в самой сиюминутной действительности возможность (но не необходимость) развития в русле мораль — культура. Такими знаками служат просвещение умов, межгосударственные отношения в области культуры, политики и экономики и, следовательно, неизбежность того, что любая революция в будущем охватит все государства Европы. В знаменитом «Споре факультетов» Канта (1798) эта последняя возможность, реализовавшаяся к тому времени во Франции, предстает самым важным из знаков, наделяющих эмпирическую сутью практический проект прогресса человечества. Кант, однако, со всей ясностью подчеркивает, что обещание такого прогресса есть нечто неопределенное и подверженное воздействию случайных обстоятельств. В работе неукоснительно доказывається, что на уровне теории нельзя экстраполировать как необходимость ни прогресс, ни регресс, ни даже развитие критической способности человечества. Априорный синтез истории возможен лишь в том случае, если «сам прорицатель изобретает и творит события, о которых заранее возвещает». Таким образом, путь, проделанный Кантом (который для обозначения самотворения в самом средоточии отчуждения вовсе не прибегал к понятиям типа объективации или объективного духа), идет от спекулятивной квазипроvidенциальной телеологии (упор на которую делался в 1784 году) к означенной выше позиции, основывавшей практический проект в истории на признаках нового. Единственное, чего Кант — за исключением отдельных случаев — не делал, так это не применял свое теоретическо-научно-причинное понятие природы к истории.

Но как раз то, чего не делал Кант, столетием позже совершили Макс Адлер и Карл Форлендер. Их позиция по отношению к Канту в этом смысле точно та же, что позиция Каутского по отношению к Руссо. Макс Адлер не признает и тени присутствия телеологических элементов в исторических работах Канта. Такие кантовские понятия, как «цель природы» (*Naturabsicht*) и «сокровенный план» (*verborgener Plan*), воспринимаются им как временные гипотезы, призванные привести в дальнейшем к причинному объяснению явлений¹. Цель кантовской философии истории, по Адлеру, — подвести все факты и события, прошлые, нынешние и будущие, под единый причинный закон и доказать необходимость антагонизма между людьми, ведущего к прогрессу человечества. Со своей стороны Форлендер, разумеется, признает сме-

¹ См.: *M. Adler. Kant und der Sozialismus*, Note 175—176, S. 166—169.

щение причинных и этико-телеологических объяснений в исторических работах Канта, но утверждает, что, основываясь на современной науке, неокантианцы устраняют эти объяснения из системы Канта как чисто метафизические. Под покровом телеологии неокантианцы открывают «историю человечества, концептуально построенную целиком на научно-природной основе»¹. По Форлендеру, «этическая критика... не исключает строго причинной концепции истории», напротив, формализм первой предполагает свободную от ценностей природу второй.

В одной из работ 1900 года Л. Вольтман объявлял себя сторонником «старокантианства» в вопросах этики, то есть сторонником формального этического ригоризма. За это он подвергся резким нападкам неокантианца Марбургской школы Ф. Штаудингера, выступавшего за известную гибкость применения морального закона². На деле же «старокантианцем» в этом отношении был не Кант — ими были главные теоретики синтеза Кант—Маркс, Форлендер и Адлер. Они смело отбросили наметки своего учителя, которые — уже у него — указывали на возможность преодоления жесткой антиномии теории: практика, причинность — телеология, необходимость — свобода. Способность разрешить и «опосредовать» эту антиномию они связывали естественным образом с самым смыслом понятия диалектики в гегелевской системе. Но целесообразность такого приложения метода Гегеля была упущена не только марксистами-кантианцами, но и сторонниками всех других направлений в социал-демократии.

4. Судьба диалектики в рядах социал-демократии

До сих пор мы шли в нашем анализе от марксистских эквивалентов материализма XVIII века к различным крайне антиномичным вариантам попыток синтезировать Канта и Маркса. Обращение к Гегелю в рамках марксизма II Интернационала можно представить как стремление использовать некоторые положения гегельянской философии исключительно для того, чтобы сделать более привлекательными все те же детерминизм и антиномию. Естественно, в терминах логики в контексте Гегеля антиномия выглядит особенно внушительно: она указывает самое место рождения современной диалектики. С точки зрения гегелевской «Феноменологии духа» антиномию, особенно антиномию свобода — необходимость, следует развивать как опосредование в сторону самосознания.

¹ K. Vorländer. Kant und Marx, S. 7—8.

² См.: L. Woltmann. Die Begründung der Moral (1900); Sadi Gunter (F. Staudinger). Sozialismus und Ethik. — In: "Marxismus und Ethik", S. 118, 132—133.

Однако использование учения Гегеля во II Интернационале даже в тех случаях, когда оно вызывалось антиномическими последствиями догегелевской философии, вело к неправомерному и внутренне противоречивому разрешению антиномии: сведению ее к одному лишь детерминистскому полюсу (Плеханов) или новому воспроизведению той же антиномии (Адлер). Даже в «Философских тетрадах» Ленина, на которые зачастую указывают как на пробный камень возрождения гегелевской диалектики в марксистской теории, дело не пошло дальше разработки (пусть даже чрезвычайно насыщенной) объективистской диалектики. Несмотря на широко распространенный среди теоретиков II Интернационала интерес к философии, большинство их обнаруживает почти полное невежество в вопросах учения Гегеля. Убежденные, что благодаря Марксу и современной науке они уже оставили Гегеля позади, они в действительности отступили на догегелевские, а подчас докантианские теоретические позиции. Сам Энгельс, как мы видели, высказывал порой суждения, отдающие наивным эпистемологическим реализмом, а Каутский (который никогда и не претендовал на то, чтобы числиться компетентным в философии) в сравнении с Энгельсом еще более усугубил «науку о развитии». Форлендер, который, несмотря на свою репутацию ревизиониста и исследователя Канта, в этом вопросе шел за Каутским, утверждал, что единственное рациональное зерно диалектики — естественно-научная теория развития, а все остальное у Гегеля можно и должно отбросить¹. Он отрицал также, что «Капитал» имеет что-либо общее с гегелевскими понятиями, невзирая даже на прямо противоположные заявления Маркса². В согласии с большинством своих современников-прогрессистов: марксистов, неокантианцев либо позитивистов — Форлендер был решительно убежден, что Гегель — реакционный философ «реставрации», автор самых безрассудных философских спекуляций. Бернштейн открыл у Гегеля «прегрешения» прямо противоположного свойства, обвинив его в том, что он посеял революционные иллюзии в работах ничего не подозревавших Маркса и Энгельса. Истолковывая гегелевскую диалектику самым вульгарным образом, Бернштейн утверждал, что диалектика требует насильственного приложения некоего комплекса взрывчатых саморазвивающихся противоречий к действительности, которая развивается, но только очень медленно, поэтому Маркс и Энгельс были склонны ожидать революционный взрыв на почве «исторического самовнушения, достойного политического мечтателя, полностью утратившего чувст-

¹ См.: *H. J. Steinberg. Sozialismus...*, S. 57; *I. Fetscher. Das Verhältnis des Marxismus zu Hegel.*—In: «*Marxismusstudien*». Tübingen, 1960, S. 88ff.

² *K. Vorländer. Kant und Marx*, S. 64.

во реальности». Подобное самовнушение выглядело бы совершенно непостижимым, «если в нем не проглядывали плоды пережитков гегельянской диалектики противоречий, от которой Маркс (как, впрочем, и Энгельс) так никогда полностью и не освободился»¹. Во всем перечне деятелей германской социал-демократии мы находим, по-видимому, лишь двух мыслителей, о которых нельзя сказать, что у них, как у всех, «двойка по Гегелю»: русского Плеханова и австрийца Адлера.

В 1896 году Каутский писал Бернштейну о Плеханове: «Это наш философ, более того, это единственный среди нас, кто изучил Гегеля»². Это изучение, однако, не помешало ему превратить диалектику Гегеля в доггегелевскую детерминистскую философию субстанции. Правда, Плеханов прямо и открыто связал постановку проблемы антиномии с диалектикой: «Диалектика... умеет соглашать прямо противоположные отвлеченные положения»³. По Плеханову, как мы отмечали, основным недостатком материализма XVIII века, классического позитивизма и утопического социализма была их неспособность преодолеть кантовскую антиномию свободы и необходимости в ее различных формах: распространения знания и среды, человеческой природы и истории, сознательного творчества и технологии, психологии и социального окружения. Добавим, что, по Плеханову, теория взаимодействия двух (антиномических) факторов может дать не разрешение, а только объяснение антиномии и ее противоположных полюсов (и их взаимодействия) с помощью некоего третьего, более глубинного уровня анализа. В этом смысле Плеханов — вопреки даже настойчивому подчеркиванию Энгельсом важности гегелевского метода (от которого, кстати, сам Энгельс отошел) — был, в сущности, заинтересован в использовании детерминистских и общелогических аспектов гегелевской системы⁴.

В очерке 1891 года «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» Плеханов повторил энгельсовскую интерпретацию диалектики Гегеля как учения, в основе которого лежит прин-

¹ E. Bernstein. I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia. Bari, 1974, p. 54.

² Цит. по: H. J. Steinberg. Sozialismus..., S. 58. Сам Штейнберг, по-видимому, разделяет это мнение, хотя и не приводит в поддержку его сколько-нибудь веских доводов.

³ Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. I, с. 566).

⁴ Легко заметить, что Плеханов был против сравнительно гибкой позиции Энгельса, автора писем об историческом материализме, и за позицию Энгельса, автора «Диалектики природы», объективиста и строгого логика.

ция растворения всего прочного и законченного в процессах становления и развития. Единственное крупное исключение из этого принципа связано с понятием «абсолютного духа» (этим краеугольным камнем всей гегелевской системы), представляющим собой (во всяком случае, так казалось Плеханову) некое единое и неизменное начало, к которому с необходимостью приводится всякое изменение и разнообразие. Плеханов, разумеется, не желал иметь дела ни с какими «духами» и предлагал поставить на место гегелевского абсолюта необходимые законы экономики (или экономическую эволюцию) ¹.

Как мы видели, в 1895 году Плеханов, объясняя развитие экономики, то есть там, где Энгельс указывал на лежащее в основе всего взаимодействие «базиса» и «надстройки», обращался к еще более глубокому уровню: технологической необходимости. Легко заметить, что, предлагая такое решение, Плеханов, в сущности, лишь ограничивался повторением того, что сам описывал как «заколдованный круг» Сен-Симона: если производство и совершенствование его техники суть основные движущие силы развития человечества, то не составляет ли сознательная работа ученого или конструктора (а также работа по научному воспитанию и распространению знаний) еще более глубокий уровень, по крайней мере на самых недавних стадиях развития человечества? Каутский, с его технологическим детерминизмом, выражает этот парадокс еще отчетливее: ведь если изменения в технологии всегда носят сознательный характер, то происходящие из них последствия неизменно оказываются непреднамеренными. Плеханов же здесь явно занимает оборонительные позиции, и его конечное решение заключается попросту в упразднении проблемы. Прийдя к заключению, что антиномия автоматически разрешается с выходом к третьему, более фундаментальному уровню, он довольствуется тем, что просто рассматривает диалектику в терминах разъяснения закономерностей развития этого третьего уровня, то есть в терминах перехода количества в качество, единства противоположностей, отрицания отрицания — одним словом, пользуясь остатками гегелевской системы.

Уже из плехановских рассуждений 1891 года ясно видно, что, даже воздавая почести Гегелю, он на самом деле думал о Спинозе: то, что он именовал абсолютным субъектом, правильнее было бы назвать абсолютной субстанцией. Диалектика у Плеханова в конечном счете становилась просто другим

¹ Содержание этого очерка дано в общем виде в: *L. Colletti. The Marxism of the Second International.*

² Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. I, с. 538 и след.).

названием философского материализма, выстроенного по модели, сходной с моделью Спинозовской субстанции. Плехановская работа «Основные вопросы марксизма» (1908) представляет собой настоящий триумф полностью детерминистской философии и содержит, пожалуй, не имеющее равных переосмысление некоторых категорий диалектики в духе вульгарного материализма. Достаточно напомнить, например, что в этой работе «единство» субъекта и объекта означает для Плеханова, что вне человеческого тела нет никакого мыслящего (субъекта) и что, если «я» — субъект для самого себя, то же самое «я» выступает объектом для других¹. Такого рода аргументация — даже без учета того, что она оперирует психологическим (то есть впрямь «иллюзорным») и безнадежно атомистичным понятием субъективности, — выдает поразительное незнание всей проблематики субъект — объект в современной философии, иначе говоря, того контекста, который составлял подлинный ключевой вопрос (*Problemstellung*) большей части посткартезианской философии, включая монистические попытки Спинозы и материалистов. Не задерживаясь больше на это теме, отметим лишь, что в работах Плеханова нет ни малейшего намерения возродить диалектическую теорию. Более сложную и интересную ситуацию мы находим только у Макса Адлера, пытавшегося спасти некоторые аспекты диалектики от полного крушения, причем сделал он это в контексте критики того систематического или расширительного толкования, которое придали им Энгельс и Плеханов, а в дальнейшем их советские последователи.

Макс Адлер был первым марксистом, который, защищая диалектическую теорию, выступил с критикой ее «расширительной» интерпретации, появившейся под вывесками диалектики природы и диалектического материализма. Он воспринял различие между методом и системой у Гегеля настолько серьезно, что применил это различие против самой энгельсовской системы. Более того, он отметил, что система Гегеля, основывающаяся на онтологизации понятий диалектической «логики», имела очевидную параллель в уже описанной нами объективистской системе Энгельса (несмотря на критику, которой подвергали метафизический панлогизм Гегеля Маркс и Энгельс). В глазах Адлера диалектика природы Энгельса была «материалистической» имитацией гегелевской системы, а его теория познания как копирования представляла собой всего-навсего грубую подделку под «абсолютное познание» Гегеля. Разницу между так называемым абсолютным идеализмом и диалектическим материализмом Адлер видел единственно в том, что они уходят корнями в два разных вида ме-

¹ Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма (Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. 3, с. 137—143).

тафизики. Оба они, на его взгляд, являлись формами философии тождества, которая постулирует — догматически, с кантовской точки зрения, — тождество мышления и бытия¹. Адлер утверждал, что диалектика представляет собой крайне двусмысленный термин как у Гегеля, так и у Энгельса. В качестве метода она занимается формами мышления, в качестве же метафизики тождества накладывает формы мышления на бытие (Гегель) либо формы общественного существования на мышление, а в конечном счете и на бытие во всей его глобальности (Энгельс). Выделяя методологический аспект (а диалектикой Адлер называл только это), он надеялся избежать сползания к догматической философии тождества. Основанием этой критической перестройки диалектики еще раз незаметно стала критическая философия Канта.

Великий вклад Гегеля в философию состоял, по Адлеру, в его понимании того, что реальные процессы мышления и открытия действительности не следуют правилам формальной логики. Не будем забывать, что категории кантовской философии выведены из форм, восходящих к положениям аристотелевской логики. На этой почве в области критической саморефлексии мышления Адлер рассматривает философию Гегеля как следующий шаг после философии Канта. Гегель, утверждает он, понял, что реальный поток сознания движется непрерывно через противоречия, встречая и преодолевая любое логическое ограничение, наложенное им на себя, так же как и любую односторонность, и развиваясь под знаком категории всеобщности. В этом плане Адлер восстанавливает изначальное гегельянское значение противоречия, состоящее не в абстрактном схематическом отрицании типа А — не А, а в детерминированном отрицании (детерминация и отрицание) содержания эмпирического факта — иначе говоря, в сохранении и исключении одновременно². Тем самым Адлер возвращает известную тонкость категориям целостности и противоречия. Вместе с тем его новое понимание этих категорий намеренно ограничивается мышлением; противоречия, конфликты и борьбу в мире социальной действительности он предпочитает суммировать под названием «антагонизм» (а не диалектика). В конечном счете понятие диалектики у Адлера сохраняет характер структуры, антиномически противопоставляющей мышление бытию, хотя и по причине, противоположной той, по которой они противостоят в концепции Энгельса. Адлеровская диалектика оказывается чисто «мыслительно диалектическим» (*Gedankendialektik*) обращением как к историчности категорий априорного (то же, что адлеров-

¹ См.: М. Адлер. *Marxistische Probleme*, S. 20—21, 37—39.

² *Ibid.*, S. 23—25, 30—33. Адлер истолковывает «мышление» с точки зрения психологизма, а не с трансцендентальной точки зрения; но, разумеется, здесь нет возможности рассмотреть этот вопрос.

ская теория истории социального а priori), так и к логическому движению этого априорного в качестве «исследовательского принципа» (*Forschungsprinzip*).

Одновременные сила и слабость подобной позиции обнаруживаются при интерпретации Адлером метода политической экономии Маркса. Сосредоточив внимание на понятии категории, Адлер в поисках марксистского понимания диалектики обращается к одной важной, но, как правило, оставлявшейся марксистами в стороне работе Маркса — «Метод политической экономии»¹, где выявляется смысл экономических категорий. Адлер считал эту работу вершиной развития понятия социального априори. И Маркс действительно говорит здесь о рассмотрении абстрактных категорий как процессе, кульминирующем в синтезе «мысленной целостности» (*Gedankentotalität*) и «мысленной конкретности» (*Gedankenkonkretum*)². Адлер верно понимает этот методологический прием как разрыв с фетишистскими иллюзиями (*sachlichen Scheine*) политической экономии и обнаружение их «человечески-социальных» оснований³. Однако Адлер совершенно игнорирует другие части работы Маркса, не согласующиеся с таким взглядом. Маркс пишет, например:

«Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного. В мышлении оно поэтому выступает как процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный исходный пункт и, вследствие этого, также исходный пункт созерцания и представления»⁴.

Стремясь последовательно истолковать мысль Маркса, Адлер сосредоточивается всецело на первом из этих двух предложений, полагая, вероятно, что второе есть пережиток философии тождества. Но Лукач, хорошо знавший работы Адлера, впоследствии покажет, что возможно и совершенно иное истолкование этого отрывка и что это «возвратно-гегельянское истолкование (противостоящее как кантовским, так и реалистическим истолкованиям) действительно может дать основу отношениям теория—практика в критике политической экономии»⁵. Здесь для нас важно отметить, что Адлер своим

¹ К. Маркс. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов), разд. 3 (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 709—738). Эта работа впервые была опубликована Каутским в журнале «Нойе цайт», XXI, № 1 за 1903 год, а затем перепечатана в виде приложения к работе: К. Маркс К критике политической экономии. Штутгарт, 1907.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 727; M. Adler. *Marxistische Probleme*, S. 43ff.

³ M. Adler. *Marxistische Probleme*, S. 44.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 727.

⁵ A. Arato. *Lukacs's Theory of Reification*; J. Cohen, A. Arato. *The Whole is False: on the Dialectic of the Abstract and the Concrete*. — In: «Dialectical Anthropology», 1979.

замечанием о том, что Маркс, критикуя Гегеля за проекцию синтеза умственно конкретного в структуру бытия, отодвигает себя на позицию восприятия конкретного как *исключительно* умственного, то есть на позицию, которая для Маркса была невозможной. Верной в этом случае была бы интерпретация умственного синтеза конкретного как шага к высвобождению синтезирующих возможностей действительности, способной опосредовать самое себя как уже целостность «в себе» (*an sich*), но еще не целостность «для себя» (*für sich*) — например, класс «для себя». Но на такую позицию Адлер встать не мог, в частности потому, что не располагал гегельянской категорией опосредствования. А без этой категории (каковы бы ни были в конечном счете ее пределы) наука об обществе, в которой теория действительно могла бы стать моментом практики, не получала обоснования. В результате социальному априори Адлера суждено было оставаться созерцательным перед лицом общественной действительности. Такая позиция способна была обеспечить «понимание» этой действительности лишь в таком же смысле, в каком абстрактные, идеализирующие понятия математической физики продуцируют теорию перед лицом бесконечно сложной вселенной. Маркс для Адлера, как уже говорилось, становится Ньютоном социальной действительности, причем Адлер утверждает также — вполне последовательно, впрочем, с точки зрения своей интерпретации, — что диалектика как «мысленная диалектика» (*Gedankendialektik*) «приложима и к общественным, и к естественным наукам»¹.

С точки зрения применения диалектики к истории любая связь между природой и диалектикой создает серьезную ограниченность². Как бы ни демонстрировал Адлер довольно тонкое искусство применения диалектических положений к решению вопросов исторического развития (например, вопроса реформы и революции), как бы ни старался связать диалектику мысли — хотя бы в качестве «исследовательского принципа» (*Forschungsprinzip*) — с изучением форм социального антагонизма, как бы ни склонялся в сторону теории практики, в конечном счете присущее ему натуралистически-созерцательное представление о теории разбивает все его замыслы. Историческое развитие в его работах — это всегда исторический детерминизм, действующий под знаком катего-

¹ *M. Adler. Marxistische Probleme*, S. 36.

² Как мы отмечали, Кант никогда не пытался толковать историю — более того, противился ее истолкованию — с помощью категорий, обобщающих опыт наблюдения природы: причинности, субстанции и т. д. (см. его работы о проблемах истории). Об истолковании Кантом «трансцендентальной диалектики» как критики натурализма см. его «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» (*И. Кант. Сочинения*. В 6 т. М., 1965, т. 4, ч. I, § 60, с. 186—189).

рии причинности, социальный антагонизм — это особый случай антропологического противодействия индивида обществу, а практика — это социальная технология. Такое толкование трех разных понятий природы — природного детерминизма, человеческой природы и технологии — полностью разрушает в трудах Адлера его замысел последовательного развития положений диалектической теории общества. Особенно большую роль здесь сыграла интерпретация практики как социальной технологии, преградившая путь к пониманию Гегеля во II Интернационале. Иначе говоря, философия Гегеля не особенно преуспела, имея дело с такими мыслителями, как Адлер или Плеханов, ибо они истолковывали теорию как естественную науку, а практику — как науку прикладную. Написанные Лениным в 1914—1916 годах, то есть в конце рассматриваемого периода, «Философские тетради» о логике Гегеля отражали ту же трудность, хотя и представляли собой, пожалуй, самую серьезную марксистскую попытку «померяться силами» с Гегелем на протяжении всего периода до появления работ Лукача.

Ценность открытий Ленина, достигнутых в процессе глубоко самостоятельного изучения Гегеля, неоспорима. В первую очередь она заключалась в самокритике, то есть критике материалистической метафизики. Тем самым Ленин приходил к пониманию той перспективы, в которой Плеханов, да и он сам, вели борьбу с Кантом и эмпириокритицизмом, точно так же как и с «вульгарным материализмом», противостоящим диалектике, которую все же нужно изучать «по-гегелевски»¹. Во-вторых, Ленин стоял теперь на пороге нового прочтения «Капитала» Маркса на основе «Логики» Гегеля². В-третьих, он вновь ввел в оборот многочисленные понятия диалектики (опосредствование, понятие самополагания, взаимоперехода категорий и т. д.), результатом чего явилась несравненно более богатая идеями разработка объективной диалектики, нежели та, которая вытекает из соответствующих формулировок Энгельса и Плеханова. В-четвертых, он пришел к выделению значения практики и сознания в конституировании объективной действительности. Но по третьему и четвертому пунктам прежний Ленин «Материализма и эмпириокритицизма» оказался непреодолимым. Субъективное дополнение объективной диалектики вновь оказалось представленным в терминах сциентистского варианта теории копирования, а практика, участвующая в создании объекта, по-прежнему понималась как технология, развивающаяся под эгидой внешней, причинной необходимости. Здесь мы и сосредоточим внимание на этих двух пунктах.

¹ В. И. Ленин. Философские тетради (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 161).

² См. там же, с. 160.

Вслед за Гегелем Ленин рассматривал антиномию как главного врага и главный вызов диалектической теории. Впервые в истории марксизма он попытался найти решение как с одной, так и с другой стороны: опосредствования объективной действительности в себе самой и практического проекта сознания. С одной стороны, независимое движение вещей опосредует любую абстрактную противоположность, любую односторонность, любую редукцию и количественную абстракцию, порождая «всемирную, всестороннюю, живую, связь всего со всем»¹. Движущей силой этого движения, или самодвижения, является противоречие, благодаря которому во всех ячейках действительности осуществляется и самодифференциация, и единство противоположностей². На один вопрос, однако, Ленину нелегко было ответить со всей ясностью — на вопрос о соотношении сознания, субъективности и объективной целостности. Отнюдь не расположенный расстаться со своей прежней теорией копирования, он продолжал, таким образом, трактовать материалистическое «перевертывание» Гегеля как отражение совокупности объективного мира силою действия понятий, «которые должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях»³. Если объективная действительность выступает как многообразие связей между всеми вещами и как переходы каждого определения, качества, черты, стороны, свойства в каждое другое, то познание предстает как бесконечный процесс открытия и воспроизводства (отражения, или копирования) этих самых связей и переходов⁴. Такой возврат к учению Спинозы о единой и всеобщей субстанции, проявляющей себя двумя соответствующими способами, особенно парадоксален, если учесть согласие Ленина с гегельянской критикой системы Спинозы, в которой «нет субъекта свободного, самостоятельного, сознательного (недостает «свободы и самостоятельности самосознающего субъекта»)»⁵.

С другой стороны, и, пожалуй, непоследовательно, Ленин готов был пойти на уступку Гегелю в отношении «логики сущности» (*Wesenslogik*) и «логики понятия» (*Begriffslogik*) и Марксу «Тезисов о Фейербахе» и признать, что сознание и самосознание находятся в активном и даже конституирующем отношении с объективностью. Более того, по мере продвижения комментария Ленина от «логики бытия» к «логике сущности» и «логике понятия» его акцент, похоже, смещается с наиболее бесхитростной формы объективизма в

¹ Там же, с. 131.

² См. там же, с. 202—203.

³ Там же, с. 131.

⁴ См. там же, с. 164.

⁵ Там же, с. 149—150.

сторону теории познания, основывающейся на понятии практики. Он проводит различие между практическим познанием и познанием теоретическим, причем указывает, что лишь это последнее соответствует теперь его спинозианской теории копирования, воспроизводя «объект в его необходимости, в его всесторонних отношениях, в его противоречивом движении *an und für sich*». Практическое познание, возможное в силу преобразования действительности в «для себя бытие», «„окончательно“ ухватывает, уловляет, овладевает» «объективной истиной познания»¹. Признав это, Ленин может теперь сформулировать свое знаменитое утверждение, которое для многих его интерпретаторов знаменует окончательный разрыв с теорией копирования: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»².

Что же понимает Ленин под «творением»? 1. Человек как субъективное снова предполагает «само-в-себе сущее иныбытие», то есть независимую от человека природу. 2. Человеческое сознание тем не менее стремится «реализировать себя, дать себе через себя самого объективность в объективном мире и осуществить (выполнить) себя»³. 3. В теоретическом плане субъективное сознание противостоит этому (объективному) миру, но стремится почерпнуть определенное содержание и наполнение, «реализировать себя» в соответствии со структурой и движением объекта. 4. В практическом плане объект, мир, «не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его»⁴.

Ясно, что здесь не только «наука логики» Гегеля, но и «Тезисы о Фейербахе» оказывают решающее влияние на автора. Для нового Ленина **«практика выше (теоретического) познания»**, ибо она стремится «посредством уничтожения определенных (сторон, черт, явлений) *внешнего мира* дать себе реальность в форме *внешней действительности*»⁵. Несмотря на это, нельзя пренебрегать и теоретическим познанием вследствие независимости внешнего мира, и препятствий с его стороны на пути осуществления практических замыслов. Следовательно, лишь **«соединение познания и практики»** может уберечь практику от опасности превращения просто в «добро», или «субъективное должествование», внешнее, неспособное пронизать собой действительность и обеспечить свое подлинное самоосуществление⁶. Тем не менее остается открытым важный вопрос о том, что понимает Ленин под терминами «практика» и «единство теории и практики».

¹ Там же, с. 193.

² Там же, с. 194.

³ Там же.

⁴ Там же, с. 195.

⁵ Там же.

⁶ Там же, с. 196—198.

Классическое представление о философии практики, начиная с Аристотеля, содержало двоякое отличие **praxis**: от **epistème** (или теории) и от **techne** (или поэзии) ¹. **Praxis** отличается от **techne** тем, что включает в себя идею самопреобразования, самотворения, телеологически приведенного в соответствие с межсубъектно признанными нормами, ценностями, традициями, нравами. **Techne** включает в себя идею преобразования внешних объектов соответственно на основе куда более ограниченных критериев: прежде всего, путем их использования. Средством **praxis** является политика, средством **techne** — труд ². В марксистской традиции это различие проводится редко, но в той мере, в какой Маркс обращался к идеализму как источнику «активного элемента», он применял кантианские и особенно гегельянские понятия, которые давали глубокие корни идее межсубъектно обоснованной нормативности. Разумеется, кантианское понятие практики есть индивидуалистически определяемое понятие. Тем не менее параметры морали были для Канта постулатами, императивами, которые ясно выражали и идеально, регулятивно предполагали некое будущее сообщество. Естественно, Кант основывал возможность такого сообщества на почве истории, интерпретированной провиденциально, даже отчасти мифологично. Гегель со своей стороны стремился положить в основу межсубъектности понятие духа, которое призвано было выразить одновременно отчуждение и взаимодействие. Маркс перевел гегелевское понятие духа с его пусть поверхностными, но все же мифологическими оттенками в свое телеологическое понятие «опредмечивания» (**Vergegenständlichung**), возможно чересчур близкое по смыслу к понятию труда. Понятие объективации, во всяком случае, позволило Марксу философски обосновать свой политический проект самореализации — символической и материальной — человека в условиях отчуждения ³. Однако для Энгельса, Лабриолы, Плеханова, Каутского и Ленина практика означает просто труд, **praxis** сводится к **techne**. У Ленина первым свидетельством тому служит превратное истолкование гегелевской идеи духа просто как мистицизма ⁴. Вторым же свидетельством является его понятие задач и целей: «На деле цели человека порождены объективным миром и предполагают его, — находят его как данное, наличное. Но *кажется* че-

¹ Искусства, умения. — *Прим. ред.*

² См. по этому вопросу работы Ю. Хабермаса, К. О. Апеля, А. Вельмера, а также Ханна Арент (несмотря на совершенно неверное истолкование ею Маркса).

³ По этому поводу см. работы Агнеш Хеллер, Ференца Фехера и Дьердя Маркуса.

⁴ В. И. Ленин. Философские тетради (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 186).

ловеку, что его цели вне мира взяты, от мира независимы («свобода»))¹. Так все возвращается к Спинозе, к Плеханову. Отбрасывая понятие целеполагания, отталкиваясь от гегельянского описания «техники механической и химической», Ленин сводит всякую телеологию к каузальности и отступает назад, к своему определению практики времен «Материализма и эмпириокритицизма»: «*практикой* своей доказывает человек объективную правильность своих идей, понятий, знаний, науки»². Теперь понятие практики поглощено некоей всеобщей каузальностью, а активное измерение практики представлено исключительно в терминах технологического предварения причинной обусловленности и приспособления к ней.

Дело, однако, в том, что позиция Ленина по вопросу о практике была изначально двусмысленной. Его политический волюнтаризм явно плохо соотносился с всеобъемлющим детерминизмом (отсюда и его уступки творческой стороне сознания). Вместе с тем его централистские наклонности мешали ему принять понятие практики как чего-то межсубъектно обоснованного (отсюда его подозрительность к телеологии и понятию свободы). Единственным конечным решением проблемы для Ленина оставалась социальная технология, но на такой выбор влияла очевидная привлекательность для него в этом вопросе существенно иных доводов Гегеля. Так, вслед за Гегелем он — в противоположность всей социал-демократической традиции — считал «закон» самым непосредственным, «спокойным» (*ruhige*) отображением мира явлений, а абсолютизацию закона — его фетишизацией³. Но, переименовав аргументацию Гегеля, для которого это спокойное отражение есть «*существенное явление*», Ленин сразу же идет дальше и утверждает, что «закон и *сущность* понятия однородные (однопорядковые) или вернее, одностепенные, выражающие углубление познания человеком явлений, мира etc.». В то время как Гегель хочет сказать, что закон односторонен и что момент самодвижущейся формы представляет собой более глубокий уровень действительности, Ленин настойчиво проводит мысль о всохватывающей природе закона⁴. Аналогично комментируя выдержку из Гегеля об «отрицании», определяемом как внутренний, динамичный источник субъективности, и об «отрицании этого отрицания» как о «*сокровеннейшем, объективнейшем* моменте жизни и духа, благодаря которому имеет бытие субъект, лицо, свободное», Ленин приходит к самому странному заключению, характе-

¹ Там же, с. 171.

² Там же, с. 173.

³ См. там же, с. 136.

⁴ Там же.

ризуя диалектику отрицания как «1)... самодвижение, источник деятельности, движение жизни и духа; совпадение понятий субъекта (человека) с реальностью; 2) объективизм в высшей степени»¹. В том самом месте, где Гегель пытался охарактеризовать самое объективную межсубъектность как колыбель свободной, самоопределяющейся личности, Ленин говорит об «объективизме в высшей степени». И все же это не мешает ему чуть ниже восторженно подчеркнуть утверждение Гегеля о том, что «богаче всего самое конкретное и самое субъективное»².

Двусмысленная интерпретация Лениным понятия практики — столь же двусмысленная, как грядущая большевистская революция, — решительно ставит его взгляды в один ряд с концепциями от механического материализма Плеханова до философии воли Сореля, так и оставившими антиномию неразрешенной. Ибо, кроме Плеханова, один лишь Сорель предложил вполне монистическое «решение» проблемы, поставленной перед мыслителями соотношением «марксизм и философия».

5. Сорель и антиномии марксистской мысли

Жорж Сорель воплощает альтернативный полюс традиции, которую мы рассматривали до сих пор. Он не только дальше всех отстоит от материалистической метафизики — этой точки отсчета, от которой мы ведем наш обзор, — но и в некоторых отношениях противостоит II Интернационалу в целом, со всем его спектром философских теорий. Духовные истоки Сореля лежат не в диалектической философии, они связаны с его предшественниками-романтиками и с его последователями-неоромантиками. Яростный противник материализма просветителей (с которым марксисты всех других направлений, напротив, были тесно связаны), Сорель в последний и наиболее значительный период своего творчества враждебно относился к самой идее науки об обществе³. И все же разработанная им проблема «романтического антикапитализма»⁴, и особенно многие ее составные части, принадлежит к проблематике того богатого и противоречивого учения, которое Маркс создавал всю свою жизнь, что-

¹ Там же, с. 210.

² Там же, с. 212.

³ Порой Сорель высказывается против всякой науки об обществе, порой же — только против такой науки в узком, прогностическом, детерминистском смысле.

⁴ Специально «романтическому антикапитализму» посвящен содержательный очерк Ф. Фехера (*F. Fehér. A. Romantikus Kapitalizmus Választám*), частично опубликованный в: "New German Critique", 1979.

бы завещать его своим наследникам. Сверх того, открыто мифологическое разрешение Сорелем антиномий марксизма проливает особенно яркий свет на глубину проблем и масштабы опасности, стоящей перед теми, кто так или иначе посвятил себя делу Маркса в XX столетии.

Сорель противопоставил своим противникам не только философскую критику, но и — главным образом — весьма основательно разработанный вариант критики идеологии¹. Исторический материализм он намеренно интерпретирует не в ключе экономического детерминизма, а как теорию идеологии, обосновывающую функции идей и их влияние (но не их происхождение!) на классовые интересы, в частности политические. В этом смысле он так или иначе связывает все интеллектуальные традиции просветительства с политическими интересами либо абсолютистской бюрократии, либо набирающих экономическую силу средних слоев, тех, кто обладал государственной властью, контролировал ее в XVIII и XIX веках².

Уже само представление просветителей о прогрессе содержало, по Сорелю, одновременно идею науки «как рецепта по добыванию известных выгод»³ и проекцию так называемых естествоиспытательских методов на социальную действительность. Но наука как таковая есть познание в виде самоцели. К тому же в социальной действительности отсутствует сама предпосылка естественных и точных наук, то есть возможность построения подлинно всеобщих законов. Из этого следует, что предвидение, то есть экстраполяция прошлого и настоящего в будущее, невозможно. Сорель исходит из прямо противоположной идеи о том, что прошлое приобретает рациональную структуру в ретроспекции, настоящее текуче и беспорядочно, будущее же есть предмет действия, а не познания. Только такого рода представление, по Сорелю, соответствует революционным и антиэтатистским чаяниям пролетариата (в лице синдикалистского движения).

Достаточно прочное обоснование своей радикальной критике любых концепций исторического процесса как необходимости Сорель надеялся найти в антипросветительской и в известной мере антирационалистской философии Бергсона. Связь Сореля с Бергсоном выступает особенно рельефно в свете двух обстоятельств: специфичности той культурной среды во Франции, в которой Бергсон выступал в роли защитника гуманности против пагубного наступления «машинной»

¹ Лучшей англоязычной монографией о Сореле является: J. J. Horowitz. *Radicalism and the Revolt Against Reason*. Southern (Ill.), 1968. Автор верно рассматривает сорельянскую критику идеологии как политическую социологию познания.

² G. Sorel. *Les illusions du progrès*. Paris, 1908.

³ G. Sorel. *Considerazioni sulla violenza*. Bari, 1970, p. 199.

цивилизации, и стремления Сореля найти опору синдикализму в «прямом действии». Целью его поисков была не столько новая — и, возможно, дуалистическая — теория науки, сколько новая теория действия¹.

Теология позитивистского культа науки знаменовала, по мнению Сореля, конец философии: спасти ее способно было только движение в прямо противоположном — от науки — направлении². Эту необходимую антинауку содержали работы молодого Бергсона. На Сореля произвели впечатление три элемента философии Бергсона: понимание опыта как чего-то целостно-нерасчленимого, выдвижение на первый план интуиции как способа познания самых существенных компонентов действительности и понимания действия как целиком творческого акта. Эта философия учила, что нужно отбросить ординарный, фрагментарный опыт повседневного существования «я» и его приложение в виде чисто аналитического знания, смешивающего самопознание человека с механическим познанием, то есть познанием внешних объектов. Подобные психология и эпистемология не позволяют постигать творческие основы нового в глубинах опыта, всего целостно-неделимого оредоточии. В одном отношении, однако, Сорель должен был почти сразу же пойти дальше своего философского учителя: в центре его интереса находился в конечном счете не индивид, а коллективный субъект действия. Бергсоновские психология, эпистемология и этика действия переносились вследствие этого в совершенно новый контекст: в политические планы революционного синдикализма. Сорелянская концепция мифа была открыто направлена к этой цели. Как для Бергсона, так и для Сореля будущее не поддавалось предвидению ни индивидов, ни групп. Тем не менее невозможно действовать без воображения, без воображенных целей. Лишь предварение будущего в форме мифа способно обеспечить такого рода образцы цели без ложной и опасной надежды на научную экстраполяцию и предсказание³.

Было бы чрезвычайно легко истолковать связь сорелянства с философией Бергсона и особенно его категорию мифа — таким образом, что, мол, оно совершенно чуждо марксизму. Но достаточно приоткрыться к наиболее существенным компонентам сорелянской теории общества и сопоставить их с важнейшими воззрениями марксистов-ортодоксов и самого Маркса, чтобы избавиться от подобного соблазна. Такое сопоставление покажет, что, если марксизм и Сорель сталкиваются почти по всем стержневым вопросам, то пото-

¹ Об этом см.: *I. I. Horowitz. Radicalism*, ch. II, p. 21—52.

² См.: *G. Sorel. Considerazioni sulla violenza*, p. 202.

³ См.: *Ibid.*, p. 177.

му, что эти противоречия заложены в основе учения самого Маркса¹.

Уже говорилось, например, что Сорель придерживается антипросветительской точки зрения, выступает с позиции отрицания понятия прогресса. Казалось бы, нет ничего более чуждого марксистскому мировоззрению. Следует, однако, избегать риска неверного истолкования позиции Сореля. Он разделял представление о техническом прогрессе. Отвергал же он традиционные для XVIII века и для исторического материализма утверждения о позитивной корреляции между прогрессом производства и культурно-политическим прогрессом. Таким образом, дистанция между Сорелем и ортодоксальностью Каутского, Плеханова и др. видна со всей ясностью. Куда сложнее выглядит та же проблема в применении к самому Марксу. Разумеется, метатеоретические утверждения Маркса об историческом материализме и особенно введение 1857 года к «Критике политической экономии» явились определяющими источниками для последующих ортодоксальных интерпретаций марксизма. Однако Марксова теория отчуждения, восходящая к романтическим истокам, вела к несколько иной расстановке акцентов. Согласно его «Экономическим рукописям 1857—1858 годов», капитализм знаменует высшую точку отчуждения индивидов в условиях неслыханно мощного развития человеческого общества в целом. Приход капитализма на смену предшествующим формациям с этой точки зрения вряд ли можно считать прогрессом, если только не рассматривать весь этот вопрос через призму гармонически развитого общественного индивида коммунистического общества, которого пока не существует². Рассматривая категории отчуждения, коммунизма и экономической необходимости отдельно от других категорий, мы увидим, что Сорель в конечном счете представляет тотрез учения Маркса в его совокупности, который был утерян в ортодоксальных теориях исторического материализма. Поскольку же Сорель, разумеется, не знал «Экономических рукописей 1857—1858 годов», нельзя не признать любопытным то, что колебания его по вопросу о значении смысла будущего коммунистического способа производства совпадают с колебаниями Маркса. С одной стороны, Сорель — в точности как Маркс в «Экономических рукописях» — усматривал в современном ему художественном творчестве и естественно-

¹ О фундаментально антиномическом характере учения Маркса в целом см.: A. Heller. *La teoria marxiana dei bisogni in Marx*. Milano, 1978; C. Castoriadis. *On the history of the working movement*. — In: "Telos", XXX, 1976—1977. Об антиномиях и крупнейших последователях Маркса, Розе Люксембург и Дьерде Лукаче, см.: A. Arato. *Reexamining the Second International*; A. Arato. *Lukacs's Theory of Reification*.

² См.: К. Маркс. *Экономические рукописи 1857—1858 годов* (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. II, с. 346—348; см. также с. 203—207).

научной деятельности прообраз будущего способа труда, опирающегося на развитие технологии, которое капитализм отчасти стимулирует, а отчасти тормозит¹. С другой стороны, он подчеркивал возможность, уже имеющуюся в скрытом виде на некоторых «прогрессивных капиталистических предприятиях», свести до минимума иерархическую структуру работников и максимально расширить их поливалентность в условиях разделения труда — особенно с помощью всеобщего политехнического обучения².

Коммунизм, по Сорелю, выступает как совершенно новая культура, основывающаяся на упразднении государства и преобразовании труда. Он был убежден, однако, что этот новый строй нельзя создать на основе научной, детерминистской экстраполяции прошлого и настоящего в будущее. Поэтому он видел стержень учения Маркса скорее в классовой борьбе, чем в примате экономики, смысл социалистической политики — в этике, чем в науке, а принцип социалистической организации — скорее в спонтанности трудовых масс, чем в бюрократии, таящей в себе зародыш будущего государства. Что касается первой из этих трех позиций, то и сам Маркс в своих работах занимает здесь как бы пограничное положение³. Можно найти такие его произведения, где классовая борьба представлена как двигатель истории, и можно указать другие, где классовая борьба и политическая борьба сведены просто к выражению динамических отношений между производительными силами и производственными отношениями. Даже в «Капитале» классовая борьба сохраняет кое-какие «творческие» функции, особенно когда речь идет о переходе от присвоения абсолютной прибавочной стоимости к присвоению относительной прибавочной стоимости и от машинного производства к крупной промышленности. Однако такого рода места сравнительно редки в наиболее систематических работах Маркса.

По второму вопросу прямые высказывания Маркса свидетельствуют против Сореля: свое учение Маркс понимал как детерминистскую науку об обществе. И все же нельзя не считаться с тем, что в последних работах Сореля воссозданы этические предпосылки Марксовой науки⁴. Да и социалисты-кантоницы тоже приложили немало сил, чтобы восполнить

¹ G. Sorel. *Considerazioni sulla violenza*, p. 321—327.

² G. Sorel. *Les illusions du progrès*. По вопросу о затруднениях самого Маркса при подходе к проблемам организации труда при коммунизме отсылаю читателя к моему очерку в книге: J. Cohen, D. Howard, A. Arato. *Marx and the Social Theory*. Telos Press, 1979.

³ О противоречиях теории классов Маркса и антинормативной природе его учения об обществе в целом см.: J. Cohen. *Class Analysis and Late Capitalism*. — In: "New School for Social Research". Telos Press, 1979.

⁴ См.: A. Heller. *Toward a Marxist Theory of Value*.

упущения ортодоксальных марксистов в этом отношении. Но при всем том в поисках этического обоснования социализма никто не пошел так далеко, как Сорель, полностью отвергнувший значение науки об обществе как науки. Точнее говоря, он использовал историческую социологию политики лишь для изучения и критики прошлого. Задачу настоящего он рассматривал исключительно (но дуалистически) в терминах «этики насилия» и «этики производителей» как необходимых стадий самоорганизации, самовоспитания и самомобилизации пролетариата. «Этика насилия» (с ее ницшеанскими обертонками) восходит к понятию «мифа», который необходим для мобилизации группы на действие, между тем как «этика производителей» призвана вызывать к жизни прообраз будущего, служащий цементом солидарности той социальной группы, которая желает видеть в себе провозвестника и творца грядущего строя.

Первым и главным объектом сорелевской критики было современное государство. Маркс, как известно, занимал по этому вопросу двойственную позицию. В его трудах можно найти равным образом как тезис о временном усилении государства после революции, так и мысль о необходимости почти немедленного отмирания его «государственного характера»¹. Ту же двойственность выражают два его разных идеала: централизованное планирование и свободная кооперация ассоциированных производителей. И если социал-демократия стремилась двигаться по этактистскому направлению Марксовой мысли, то Сорель отчетливо олицетворял ее анархистствующее направление. Сорель был убежден, что переход на научные — в строгом смысле слова — позиции заведомо предreshит вопрос об организации общества будущего, направив ее в государственно-бюрократическое русло. Кстати, в марксистской традиции Сорель был не одинок в своих опасениях по поводу «бюрократического централизма»: достаточно вспомнить критику Ленина по этому вопросу Розой Люксембург. Более того, признаком антиномичности концепции Люксембург было как раз то, что она признавала идею науки об обществе в строгом, прогностическом, детерминистском смысле (что явно предполагало обращение к средствам социальной технологии) и вместе с тем выше всех других ценностей ставила самовоспитание, самоорганизацию и самостоятельную деятельность пролетариата. Можно добавить, что недолгое — слишком недолгое — время, когда Ленин разделял идею «государства-коммуны», он предавал забве-

¹ Следует сравнить, например, «Манифест Коммунистической партии» и «Гражданскую войну во Франции». Нападки Бакунина на Маркса имеют смысл только применительно к одной из этих двух позиций. О сравнении этиатизма «Манифеста» и антиэтатизма молодого Маркса см.: J. Cohen. *Class Analysis*.

нию и политическую роль централизованной партии, и даже самое науку управления обществом, которая неизбежно проводит различие между бюрократами и кухарками. В этом контексте преувеличения Сореля состояли лишь в том, что он воплощал антиэтистический аспект Маркса и марксизма с мифологической последовательностью.

В действительности Сорель прекрасно сознавал антиномическую природу теорий Маркса, особенно теории классовой борьбы¹. Он считал, что требование признать за марксистским классовым анализом роль эмпирико-аналитического инструмента исследования неизбежно влечет за собой следующие открытия: 1) модель двух классов ложна; 2) трудящиеся обычно ведут борьбу за реформы, а не за революцию; 3) трудящиеся подвержены влиянию демагогов и типично буржуазных методов организации; 4) тезис о растущем обнищании рабочих ложен и т. п.² Признавая, что этими открытиями он обязан Бернштейну, Сорель вместе с тем делал из них выводы, прямо противоположные бернштейнианскому реформизму. По Сорелю, все эмпирически не подтверждающиеся гипотезы Маркса могут и должны быть сохранены как аспекты мифа («всеобщей забастовки»), призванного сплотить трудящихся в борьбе. Сореля не беспокоило то, что идея самоорганизации явно опровергается тезисом о том, что именно развитие капитализма, с его периодическими кризисами и уничтожением созданного богатства, концентрирует, сплачивает и организует рабочий класс. Хотя Марксов тезис о кризисе (и особенно о «крахе») капитализма, считал он, не находит эмпирического подтверждения, все же этот тезис также составляет часть мифа, предназначенного организовать трудящихся и разрушить иллюзию непобедимости системы. Иначе говоря, если на уровне эмпирической науки об обществе теория развития капитализма и теория пролетарской революции антиномичны, то на уровне мифа они не только совместимы, но и взаимно усиливают одна другую. Единственная проблема заключается в том, что само понятие мифа у Сореля распадается на два антиномичных аспекта: миф как символический параметр межсубъектности и миф как иррациональная мобилизация к действию. Оставив в стороне весьма проницательное понимание Сорелем важности проблемы иррационального, нельзя не видеть, что его антиномия воспроизводит антиномию Маркса: самоформирование революционной субъективности и утилитарно-инструментальное использование творцов революции в историческом процессе³.

¹ Обо всех важнейших аспектах этой проблемы — лишь некоторые из них были поняты Сорелем — см.: *J. Cohen. Class Analysis*.

² *G. Sorel. Considerazioni sulla violenza*, p. 192—195.

³ См.: *A. Heller. La teoria dei bisogni in Marx*. Особенно главу данной работы «Радикальные потребности».

Если у Маркса, как понимал Сорель, мифологизация науки имеет тенденцию к макировке антиномии, то у самого Сореля ту же роль выполняет мифологизация мифа. Здесь-то и кроется разгадка поддержки Сорелем Ленина, а вовсе не в каких-то иллюзиях насчет синдикалистского характера Советов. Миф в его глазах означал одновременно межсубъектное самоформирование и действие как самоцель. Перед необходимостью выбирать он выбрал второе и, таким образом, под прикрытием мифа смог избежать необходимости признаться самому себе в том, что он отрекся от «этики производителей» в пользу «этики насилия», от диалогической, межсубъектной модели политической практики в пользу использования масс как простого инструмента революции.

6. Неустрашимый дуализм

На Сореле завершается наш обзор антиномии классического марксизма. Оправданно ли в действительности применение этой строгой философской категории немецкого идеализма к разнородной совокупности рассмотренных нами дуалистических воззрений? Я думаю, что да. Все кантовские антиномии чистого разума выражают внутренний конфликт рассудка, устремленного на поиски целокупности. В особенности третья антиномия — существует «свободная причинность» против «нет никакой свободы, все в мире совершается только по законам природы» — представляет собой импульс к синтезированию «идеи абсолютной целокупности» в условиях «противоречия, обусловленного видимостью»¹. »Марксистский вариант этой антиномии как раз и является в точности попыткой вывести социализм-коммунизм из самоопределяющейся деятельности субъекта и одновременно из квазиприродной законосообразности исторического объекта. Из этой основополагающей антиномии могут быть легко выведены все остальные двойственности: телеология против каузальности, наука против этики, коммунизм как разрыв с прошлым против коммунизма как экстраполяции капитализма, классовая борьба, а также антиэтатизм (основанный на свободе, на ломке прошлого и на новой этике) против этатизма (основанного на экстраполяции, на необходимости и на науке). Но разве смыслом марксистской (и гегельянской) диалектики не является именно разрешение, опосредствование всех антиномий?? Более того, с точки зрения марксистско-гегельянской теории гражданского общества можно за-

¹ И. Кант. Критика чистого разума (И. Кант. Соч. в 6 т. М., 1964, т. 3, с. 418, 419, 461).

² По этому вопросу см.: M. Vajda. The Myth and the Reality of Mediation. — In: "Telos", 1979.

ново теоретически осмыслить обоснование антиномии свобода—необходимость. В гражданском обществе, характеризующемся конкурентной системой всеобщего товарного производства, отдельный индивид рождается одновременно свободным и несвободным¹: свободным от отношений личной зависимости, но интегрированным в комплекс фетишизированных, овеществленных необходимостей, превратившихся во вторую природу. Свободная деятельность человека отныне возможна только на коллективной основе, но индивиды в гражданском обществе (при отсутствии общности) встречаются друг с другом лишь через посредство фетишизированных отношений. В гражданском обществе все представители частного и особого, и в том числе классов, действуют на основе необходимости, поскольку социальное мироздание остается непреднамеренным следствием всей суммы их действий. Как Гегель, так и Маркс пытались противоборствовать этой тенденции к гетерономии соответственно либо с помощью обобщений, направленных на интеграцию гражданского общества в некую этическую общность (Гегель), либо с помощью синтеза представления и деятеля будущей всемирной этической общности, грядущей на смену гражданскому обществу (Маркс). У Маркса этим представителем и деятелем выступал пролетариат, по его мнению являющийся классом, выражающим интересы всего общества. Однако в реальности эмпирически выявляемый пролетариат не обладал теми радикальными потребностями, которые могли бы сделать его представителем человечества в целом. Он имел лишь свои партикулярные интересы, привязывающие его к насущным условиям². Обобщение было изначально двусмысленным и вело к возрождению антиномии. В плане осуществления своего философского замысла Маркс всю жизнь оперировал теми категориями отчуждения, овеществления, классовых потребностей и классового сознания, которые требовали, чтобы им предшествовала возможность действительного самоформирования субъекта. В плане практически успешного осуществления своего замысла, задуманного в терминах XIX века, он стремился обосновать тезис о нарастании революционных сил анализом почти природной законосообразности развития своего «научного» объекта — капиталистического общества. В этом-то и заключалась главная антиномия Маркса. Лукач в своей книге «История и классовое сознание» очень хорошо показал, что синтез целокупности, преодолевающий антиномию субъекта и объекта на основании некоего мифологического субъекта, ведет к непрерывному воспроизведению все

¹ А. Heller. *La teoria dei bisogni*. По этому вопросу см. характеристики эпохи либерализма в классических работах авторов Франкфуртской школы, и особенно в домарксистских и раннемарксистских работах Лукача.

² См.: А. Heller. *La teoria dei bisogni*; J. Cohen. *Class Analysis*.

тех же антиномий. Теория самого Лукача тоже вела к антиномичному исходу¹, и это должно было бы открыть ему глаза на то, что «понятийная мифология» («Begriffsmythologie») выполняет в его концепции пролетариата и в еще большей мере в его «мифе» о ленинской партии роль отождествления субъекта и объекта. Будучи освобождена от мифов, теория Лукача об овеществлении распадается на философию практики, занятую поисками субъективности, и теорию общества, в которой можно отыскать лишь скудные следы объективной возможности для борьбы, самосознания и межсубъективности.

Практический опыт отношения между «марксизмом и философией» в период II Интернационала свидетельствует о происхождении социалистических теорий либо от одного из двух полюсов антиномии, либо даже от статической, механической комбинации этих двух полюсов. Между тем опосредствование, проходящее через крайности, не сулит надежд на самоопосредствование действительности, на ее самосинтезирование в соответствии с ожиданиями философии тождества². Поэтому единственное возможное для нашего времени опосредствование антиномии состоит в осознанно дуалистическом противопоставлении, с одной стороны, некой философии истории с заключенным в ней практическим намерением искать субъектность и освобождение во всех эпохах истории и во всех сферах действительности, а с другой — критической теории, анализирующей скрытую динамику всего того, что овеществлено и превращено в естественное в современных общественных системах.

¹ A. Arato. *La ricerca del soggetto rivoluzionario*. — In: D. Howard, K. Klare (eds.). *The Unknown Dimension*. New York, 1971.

² T. W. Adorno. *Filosofia della musica moderna*. Torino, 1973, p. 29sgg.

Андраш Хегедюш

АГРАРНЫЙ ВОПРОС

Аграрный вопрос предстает в марксизме отчасти как анализ отношений собственности и производственных отношений, сложившихся в рамках определенного способа сельскохозяйственного производства и более или менее отличающихся от отношений в сфере промышленности. Этот анализ основывается на предпосылке, что сельское хозяйство, как и все общество, развивается под воздействием определенных законов, которые имеют силу законов природы и подлежат выявлению наукой. Однако нередко аграрный вопрос изображается в качестве крестьянского вопроса, дополнительного аспекта исследования всей социальной структуры общества. При таком подходе крестьянство интерпретируется как своего рода переходный класс: с одной стороны, в историческом смысле переходности, то есть когда крестьянство рассматривается как социально-экономическое образование, уже исчезнувшее на Западе как основополагающий компонент феодализма, но продолжающее существовать и при капитализме; с другой стороны, в структурном смысле переходности, то есть когда крестьянство считается переходным классом между двумя основными классами при капитализме — классом рабочих и классом капиталистов. Кроме того, марксизм анализирует внутреннюю структуру крестьянства и на этой основе определяет отношение рабочего класса, иначе говоря, партии рабочего класса, к различным слоям класса крестьян, а также формулирует аграрные программы социалистических (или социал-демократических) рабочих партий.

Подобная двойственность в постановке проблемы, выражающаяся в проведении грани между аграрным вопросом в узком смысле и крестьянским вопросом, появляется в марксизме постепенно; как следствие многих противоречий и споров она в значительной мере способствовала тому, что внутри марксизма в течение относительно короткого промежутка времени сформировались открыто противостоящие друг другу политические теории и тенденции, которые отчасти явились результатом дискуссий по аграрному, или крестьянскому, вопросу, отчасти же сами способствовали поддержанию высокого накала дискуссии.

Таким образом, история постановки в марксизме аграр-

ного, или крестьянского, вопроса неразрывно связана с историей тенденций, сформировавшихся в рамках социализма, и особенно в европейском марксизме. Я поставил перед собой задачу проследить — но не с точки зрения историка, а с позиций социолога и идеолога — развитие этого процесса шаг за шагом, вплоть до формирования марксизма-ленинизма, лишь вкратце касаясь начального этапа раскола между большевиками и меньшевиками.

1. Маркс об аграрном и крестьянском вопросе

Маркс столкнулся с крестьянским вопросом, а также с аграрной проблемой в более узком смысле в начальный период своей деятельности, когда он в качестве редактора «Рейнской газеты» занялся изучением положения мозельских виноградарей, оказавшихся в нищете, и решил написать на основе обширного материала по этой проблеме цикл из пяти статей. Из задуманного цикла свет увидели только две статьи; выходу третьей помешала цензура, и работу над следующими статьями Марксу пришлось прекратить. В двух увидевших свет статьях Маркс заявляет о себе как о решительном защитнике мелких производителей, оказавшихся в нищете из-за падения цен на рынке, и как о суровом критике чрезвычайных мероприятий правительства¹.

Однако это первое знакомство с крестьянским вопросом было плодотворным с точки зрения разработки теории бюрократии, потому что Марксу самому пришлось познакомиться с реальностью партикуляризма бюрократии, что и побудило его подвергнуть ее серьезному анализу в теоретическом плане в своей работе «К критике гегелевской философии права» (1844). В его тогдашнем понимании государственной бюрократии еще противостоят, с одной стороны, «реальная жизнь», реальные процессы производства материальных ценностей, а с другой — аморфный народ, являющийся объектом действий бюрократии, инертным материалом, в отношении которого бюрократия чинит произвол и позволяет себе всевозможные злоупотребления; при этом произвол и партикуляризм бюрократии он считал преодолимыми только с помощью свободной печати, а следовательно, интеллигентов.

Несколько лет спустя, в 1848 году, крестьянский вопрос снова привлек к себе внимание Маркса, но теперь характер его интереса был уже совершенно иным: на сей раз внимание к данному вопросу было продиктовано не потребностями развития определенной теории, а насущной необходимостью изу-

¹ H. Stein. Karl Marx und der rheinische Pauperismus im Vormärz. — In: "Jahrbuch des Kölnerischen Geschichtsvereins", XIV, 1932, S. 130—147.

чить его в контексте реальных историко-политических событий, связанных с революциями в Германии и Франции. К этому времени за плечами у Маркса уже было два особо важных с точки зрения нашей статьи дела: написание — совместно с Энгельсом — «Манифеста Коммунистической партии» и продиктованное неизменными чувствами особой симпатии по отношению к крестьянам отстаивание своих концепций в ходе яростной дискуссии с Прудоном.

Под воздействием бурного развития событий Маркс совместно с Энгельсом опубликовал «Требования Коммунистической партии в Германии», к которым в соответствии с их замыслом присоединился также только что учрежденный Центральный Комитет Союза коммунистов. Это была программа, полностью соответствовавшая буржуазно-демократическим требованиям; в ней также было изложено отношение к крестьянскому вопросу. Требования, наиболее важные с этой точки зрения, были сформулированы следующим образом:

«...Все феодальные повинности, все барщины, оброки, десятины и т. д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа.

...Земельные владения государей и прочие феодальные имения, все рудники, шахты и т. д. обращаются в собственность государства. На этих землях земледелие ведется в интересах всего общества в крупном масштабе и при помощи самых современных научных способов.

...Ипотеки на крестьянские земли объявляются собственностью государства. Проценты по этим ипотекам уплачиваются крестьянами государству.

...В тех областях, где распространена аренда, земельная рента или арендная плата уплачивается государству в виде налога...

Земельный собственник как таковой, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. Поэтому его потребление — это просто злоупотребление»¹.

В свете последующего это очень важная программа, ибо некоторые ее пункты (например, требования передачи крупных сельскохозяйственных владений в государственную собственность, осуществление рационального управления экономикой в крупном масштабе, отказ от раздела земли) войдут почти без изменений в официальные аграрные программы партий I Интернационала, рабочих социалистических и социал-демократических партий. Эта концепция содержит в себе некоторую двусмысленность, которую тем не менее можно считать в определенной мере естественной: программа отча-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, с. 1—2.

сти имеет решительно прокрестьянский характер, но в то же время, будучи программой требований коммунистической партии, она, естественно, не могла содержать в себе идею создания «класса свободных земельных собственников»; впрочем, это не помешало Марксу и Энгельсу несколько позже упрекнуть немецкую буржуазию в том, что она в 1848 году предала (в отличие от французской буржуазии в 1789 году) своих самых естественных союзников — крестьян, без поддержки которых она оказалась бессильной перед лицом дворянства.

Поражение европейской революции 1848 года ввело новый элемент в представления Маркса о крестьянском вопросе. В этот период Маркс становится совершенно другим человеком в своей реакции на исторические события, непохожим на журналиста-философа, возмущавшегося некогда голодом на Рейне и упорно выступавшего с антибюрократических позиций. Он превращается в знаменосца революционной идеологии — коммунизма, ратует за «подлинные интересы» рабочего класса, только что продемонстрировавшего свои революционные возможности на парижских улицах, и обрушивается с критикой на крестьян, не пришедших в движение во Франции в 1848 году. Под воздействием всего происшедшего он приходит к выводу, что на Западе класс крестьян не может более играть роль самостоятельной революционной силы, но что рабочий класс нуждается в поддержке крестьянства и в принятии его крестьянством в качестве своего естественного союзника и руководителя¹. Он считает, что это особенно важно для Германии, и в одном из писем к Энгельсу утверждает: «Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием Крестьянской войны. Тогда дела пойдут превосходно»².

В 50-е годы, интенсивно работая над созданием экономической теории, Маркс все больше сосредоточивается не столько на крестьянском вопросе, требовавшем немедленных политических выводов, сколько на аграрной проблеме в более узком смысле, на выявлении законов функционирования и развития сельского хозяйства. По мере дальнейшего развития им своей теории мы обнаруживаем у него две, в определенной мере независимые одна от другой, концепции, особенно важные для нашей темы. Это теория земельной ренты и формулировка закона концентрации капитала, который считается действительным также и для сельского хозяйства. Первая концепция, теория земельной ренты, — это не что

¹ См.: К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 8, с. 115 и след.).

² Письмо Маркса к Энгельсу от 16 апреля 1856 года (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 29, с. 37).

инное, как включение аграрного вопроса в Марксову политическую экономию, что — особенно благодаря положению об абсолютной земельной ренте — подводит солидную теоретическую базу под одно из фундаментальных требований социалистических аграрных программ — требование национализации земельной собственности. Тем не менее эта теория не произвела никакого революционного эффекта — в отличие от теории стоимости, или, точнее, прибавочной стоимости, — в части, касающейся эксплуатации рабочих.

Кроме того, Маркс рассматривает большинство видов земельной дифференциальной ренты в качестве феномена, существование и сохранение которого является одной из главных гарантий динамизма развития сельскохозяйственного производства. Тем не менее теория земельной ренты — одна из наименее развитых частей «классического» марксизма хотя бы уже потому, что эта теория исходит из гипотезы, будто в сельскохозяйственном производстве господствуют рыночные отношения. Во времена Маркса и Энгельса это было уже более или менее верно применительно к странам Западной Европы, однако Восточная Европа была от такого положения дел еще бесконечно далека. Именно признание подобной ситуации вынудило Маркса во второй половине его деятельности, когда он уже разработал свою теорию земельной ренты, посвящать значительную часть своего времени анализу условий, существовавших в России. Наиболее полно теорию земельной ренты Маркс изложил в незаконченных рукописях третьего тома «Капитала», однако в этих рукописях нет и намек на его изучение положения сельского хозяйства в России. В предисловии к указанному тому Энгельс объясняет это так: «Для этого отдела о земельной ренте Маркс в семидесятых годах предпринял совершенно новые специальные исследования. В продолжение нескольких лет он изучал в подлинниках ставшие в России неизбежными после «реформы» 1861 г. статистические справочники и другие публикации о земельной собственности, предоставленные в его распоряжение русскими друзьями с желательной полнотой, делал из них выписки... и намеревался воспользоваться ими при новой переработке этого отдела. Благодаря разнообразию форм земельной собственности и эксплуатации сельскохозяйственных производителей в России в отделе о земельной ренте Россия должна была играть такую же роль, какую играла Англия в книге I при исследовании промышленного наемного труда. К сожалению, Марксу не удалось осуществить этот план»¹.

Чрезвычайно важный компонент Марксовой теории общества — выявление процесса концентрации капитала и вклю-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, с. 10.

чение этого процесса в рамки теории его развития, поскольку данная теория опосредствовала закладыванию основ веры в реальность картины предлагаемого социализмом будущего. Процесс концентрации капитала является, по сути, элементом, ведущим к крайнему обострению противоречия между капиталом и трудом, концентрации рабочего класса в крупных производственных единицах и к возможности высокого уровня организации, так что, с одной стороны, будущие рабочие крупной промышленности (которые в процентном исчислении будут становиться все более многочисленными) послужат надежной и постоянно расширяющейся базой революции, а с другой — наличие крупных производственных единиц сделает возможным ликвидацию частной собственности капитала и рациональное, унитарное управление всей экономикой, в рамках которой откроется простор для деятельности «свободных ассоциаций производителей».

Уверенность в превосходстве крупного производства и в необходимости его дальнейшего развития — это один из краеугольных камней политэкономической теории Маркса. Тем не менее проблематично, была ли подобная тенденция (вне всякого сомнения, наличествовавшая в промышленности уже в XIX веке) закономерна и для сельского хозяйства. Во времена Маркса европейское сельское хозяйство (не говоря уж о сельском хозяйстве Северной Америки) являло собой чрезвычайно пеструю картину. Наиболее глубоко капиталистические отношения проникли в английское сельское хозяйство, и именно в Англии крупное капиталистическое производство — не в последнюю очередь благодаря системе аренды, которой Маркс так усердно занимался, — стало преобладающим. Во Франции доминировала парцеллизация собственности. Что касается Германии, то здесь в промышленных районах превалировали крестьянские усадьбы, владельцы которых все больше превращались в производителей, работающих на рынок, тогда как Пруссия характеризовалась наличием Junkerства, собственников среднего масштаба. На обширных пространствах обрабатываемой земли в Испании и в Австро-Венгерской монархии царили полуфеодалные латифундии. Подобная ситуация была также в России, где, однако, еще сохраняли свою жизнеспособность «мир» и община. При этом следует помнить, что во времена Маркса сельскохозяйственная статистика находилась еще в плачевном состоянии, и работа ученого, пытавшегося в такой обстановке выявить ту или иную универсальную тенденцию, была крайне затруднена. Тем не менее Маркс (по крайней мере в отношении Западной Европы) не сомневался, что в сельском хозяйстве должны возобладать не только капиталистические отношения, но и концентрация капитала. А такая уверенность порождала у него надежду, что при этом и аграрный вопрос

будет решаться в ходе социалистической революции более легко, аналогично решению проблемы промышленности.

Поскольку по первой теоретической проблеме — теории земельной ренты — в период I и II Интернационалов и вплоть до появления ленинизма сколько-нибудь существенных споров в марксизме не возникало, именно дискуссия по вопросу о концентрации капитала, происходившей в сельском хозяйстве, сыграла роль водораздела между различными течениями внутри марксизма.

2. Аграрная программа социализма и II Интернационал

Когда социалистические рабочие движения организовались в партии, даже когда возник I Интернационал, крестьянский и аграрный вопросы вышли за теоретические рамки и снова стали основополагающими элементами социалистических программ. Поначалу пытались дать ответ прежде всего на следующие два вопроса:

1. Что будет с земельной собственностью после социалистического преобразования общества, если принять во внимание ту доминирующую или по крайней мере весьма важную роль, которую крестьянская собственность играет в большинстве стран?

2. Каким образом в сельском хозяйстве будет осуществляться организация производства, если учесть, что в большинстве стран крупные хозяйства еще не преобладают?

Полемика по аграрной программе развернулась в связи с Лондонской конференцией I Интернационала, за которой последовал I Конгресс Интернационала (Женева, 1866), а затем и II Конгресс (Лозанна, 1867). Эти международные консультативные встречи можно считать благотворной почвой, на которой произошли сопоставление и кристаллизация марксистской и прудонистской точек зрения.

Поборники марксистской точки зрения (основные из них — Эккарнус, Лесснер и Штумпф), исходя из традиционного Марксова подхода, иными словами — из необходимости и эффективности концентрации сельскохозяйственного капитала, выдвигали требование национализации земли и создания крупных производственных единиц. Английская, немецкая и бельгийская делегации поддерживали такое требование. Им противостояли сторонники Прудона, придерживавшиеся относительно единой точки зрения (среди них были Лонге и Толен), которые защищали частную собственность крестьянских усадеб, усматривая в ней гарантию личных свобод. Эта платформа пользовалась поддержкой не только французских делегатов, но и итальянских.

В ходе полемики дискутировалась не одна лишь проблема

экономической рациональности — были подняты также вопросы о гуманитарных и социальных ценностях в самом широком смысле. Приверженцы Маркса подвергли нападкам крестьянский способ производства как из-за его недостаточной эффективности, так и потому, что сомневались в этических и духовных результатах функционирования этого способа. Не следует забывать, что в ту эпоху перед лицом явлений становившегося все более выраженным и характерным для капиталистического развития нравственного кризиса многие мыслители — и среди прудонистов и вообще среди последователей различных антикапиталистических тенденций — считали идеальной формой жизни жизнь крестьянина. В их глазах тот факт, что крестьянин, производя зерно, вкладывает больше труда, чем наемный рабочий на крупном предприятии, не имел значения в сравнении с высокими моральными ценностями крестьянской формы жизни. Маркс и составители программ, вдохновлявшиеся его идеями, с самого начала враждебно относились к такого рода оценкам и ценностям. Они усматривали в них мелкобуржуазный образ мышления, связанный с романтическим и обскурантистским антикапитализмом. Их требование национализации земли было порождено среди прочего и той этической предпосылкой, что обрабатываемая земля — достояние всего человечества, всего общества и, следовательно, абсолютная земельная рента совершенно аморальна. После того как стало ясно, что достичь компромисса невозможно, на Брюссельском конгрессе 1868 года дискуссия завершилась победой сторонников Маркса, и на этой основе Базельский конгресс смог принять детальную аграрную программу.

Наиболее четким образом марксистская точка зрения в этот период была изложена в так называемом «Женевском воззвании»^{*}, в заключительной части которого утверждается, что власть капитала, влияние науки, ход событий и интересы общества в целом неумолимо и безапелляционно осудили мелкокрестьянский способ хозяйствования. Из воззвания явствует, что решение проблемы заключается в спонтанном формировании сельскохозяйственных производственных кооперативов, а там, где мелкие собственники не изъявляют желания создавать кооперативы, их должны создавать батраки, требуя землю от коммун, государства и церкви. Батраки крупных латифундий, ликвидировав господство земельных собственников, основанное на авторитарном принципе, будут управлять экономикой при помощи демократических организаций¹.

^{*} Имеется в виду «Манифест к сельскохозяйственным рабочим». — *Прим. ред.*

¹ Документ опубликован в декабре 1869 года в «Der Verbote», выходившем под редакцией И. Ф. Беккера. Беккер же и автор воззвания.

Стоит процитировать два очень важных, с нашей точки зрения, пункта резолюции Брюссельского конгресса, который положил конец полемике между сторонниками Маркса и Прудона:

«Конгресс заявляет, что общество имеет право отменить частную собственность на землю и недра и превратить их в общественную собственность.

Конгресс заявляет, что в интересах общества землю и недра необходимо передать в общественную собственность»¹.

Результат голосования по этим двум пунктам показательен для тогдашнего соотношения сил, то есть прочности марксистской позиции. По первому пункту было подано 54 голоса «за» и 4 «против» при 13 воздержавшихся, по второму — 53 «за» и 8 «против» при 13 воздержавшихся (голосовали против или воздержались от голосования главным образом французы). Брюссельский конгресс принял Марксову точку зрения не только на частную собственность на землю, но, по существу, и на социалистический способ производства, однако в последнем вопросе конгресс занял гораздо более терпимую позицию и ясно не определил, что же произойдет с землей, переданной в общественную собственность. В то же время конгресс решительно высказался в пользу крупномасштабного хозяйствования, как того требуют «законы сельского хозяйства». Что касается форм, в которые должны были бы вылиться крупные хозяйства (хотя конгресс, по существу, высказался в пользу кооперативов, занятых на государственных предприятиях и в сельском производстве), то не исключалась возможность обработки земли общинами и, как временная мера, предусматривалась в качестве допустимого варианта сдача земли в частную аренду.

Поскольку Маркс и Энгельс непосредственно не участвовали в разработке аграрных программ вышеназванных конференций и конгрессов, то применительно к концу 60-х годов и началу следующего десятилетия особого внимания заслуживает деятельность Иоганна Георга Эккариуса и Вильгельма Либкнехта.

Иоганн Георг Эккариус был портным немецкого происхождения, жил в Лондоне и дружил с Марксом. Свои взгляды по аграрному вопросу он изложил в брошюре, пользовавшейся в свое время большой популярностью². От Эккариуса через Либкнехта и вплоть до «Аграрного вопроса» Каутского ведет своеобразная «жесткая линия», которую можно проследить шаг за шагом,—жесткое отношение к

¹ Цит. по: W. Liebknecht. Zur Grund-und Bodenfrage. Leipzig, 1876, S. 23.

² G. Eccarius. Eines Arbeiters Widerlegung der nationalökonomischen Lehre John Stuart Mills. Berlin, 1869.

крестьянской экономике, которая «обречена на разорение» и которую, по выражению Маркса, можно поддерживать только ценой варварства, бесчеловечного добавочного труда, ценой сдерживания уровня потребления. Речь идет, таким образом, об «антикрестьянской» позиции, выработанной и отстаиваемой, однако, «в интересах» крестьян. В своей брошюре Эккартус высказывает, к примеру, такое итоговое суждение: «Мелкое крестьянское хозяйство — это сельское хозяйство прошлого. Оно принадлежит к такой социальной формации и согласуется с такой стадией развития общества, при которых потребности людей любой округи, любой деревни, почти всякой семьи удовлетворяются плодами имеющейся в распоряжении земли... Крупномасштабное сельское хозяйство производит продукты питания и сырье для населения, занятого в промышленности, мелкое крестьянское хозяйство производит все это для самих крестьян»¹.

В процитированном пассаже, как можно заметить, отражена типичная точка зрения рабочего, по убеждению которого питание трудящихся, сосредоточенных в городах, зависит от крупных хозяйств, потому что мелкие хозяйства производят продовольствие только для удовлетворения потребностей крестьянской семьи². Посвятив свою брошюру условиям жизни крестьян и полемизируя с Джоном Стюартом Миллем (который на ее страницах подвергался критике за то, что перед лицом породистой нищеты и, естественно, «аморальности» он идеализирует крестьянскую жизнь и призывает рабочих, скопившихся в городах, вернуться назад в деревню и заняться сельским хозяйством), Эккартус подчеркивал, явно не без преувеличений, постоянную нищету, тяжелый, доводящий до полного одичания труд и бесчеловечно низкий уровень жизни крестьянина. Как на единственный выход он указывал на необходимость превращения крестьянина в промышленного рабочего. Основой подобного анализа был прежде всего личный опыт автора, который наверняка подтверждал эту его теорию.

Вскоре были предприняты попытки смягчить жесткость резолюций, принятых в Базеле. В этом смысле следует рассматривать, по крайней мере частично, опубликованную в Лейпциге в 1876 году книгу Вильгельма Либкнехта «К кре-

¹ Ibid., p. 48.

² Но и при сегодняшнем уровне знаний мы не можем упрекнуть Эккартуса в том, что он не сумел увидеть способности части крестьянских хозяйств стать производителями для рынка, активными мелкими семейными хозяйствами. Только спустя столетие экономисты-аграрники в Восточной Европе с опозданием заметили (а многие, увы, до сих пор в этом не убеждены), что личные приусадебные участки, гораздо меньшие — по крайней мере в том, что касается размеров площади обрабатываемой земли, — чем среднее крестьянское хозяйство, оказываются способными производить на рынок.

стьянскому вопросу», — даже при всем том, что в конечном счете автор заявляет в ней о себе как о приверженце взглядов в крестьянском вопросе, названных нами «жесткой линией». Эта публикация была подготовлена на основе материалов конференции 1870 года, сыгравшей — особенно в Германии — большую роль в формировании аграрной политики социал-демократии. Главным стремлением Либкнехта было уравновесить негативное политическое влияние базельской резолюции на крестьянство. В то же время он разделял мнение Маркса о крестьянском способе хозяйствования, особенно о мелкой собственности. Что касается переустройства сельскохозяйственного производства, то на сей счет Либкнехт весьма четко сформулировал два принципа, которым впоследствии суждено было сыграть огромную роль при планировании социальных преобразований в странах Восточной Европы:

1) община, будучи естественной формой деревенской ассоциации, должна постепенно перевести индивидуальную крестьянскую собственность на рельсы организованного управления в крупном масштабе;

2) государственные латифундии должны быть организованы как образцовые хозяйства, в которых воплотятся аграрные отношения будущего.

В этой публикации, призванной успокоить крестьянство, содержалось также положение, предвещавшее будущие несчастья. Это положение гласило: если интересы общества потребуют настоятельным образом применения насильственных мер в отношении крестьянства, то демократическое или социал-демократическое государство (правительство) не станет прибегать к использованию таких мер¹.

Либкнехт явно противопоставляет французское парцелльное сельское хозяйство английской системе крупной собственности. О французском сельском хозяйстве он писал, что оно «пускает по миру государство, пускает по миру страну, пускает по миру крестьянина и если не произойдет вмешательства разумной политики, стремящейся к народному благу, то приведет ко всеобщему банкротству»². Ссылаясь на «Капитал» Маркса, Либкнехт критикует также английскую систему, поскольку она, хотя и может считаться более рациональной, чем французская, держит земельного собственника в нищете и безмерно его эксплуатирует. Германия представляется ему комбинацией этих двух основных систем, варьирующейся в зависимости от района страны.

Германская социал-демократия на съездах в Штутгарте (1870) и Готе (1875) почти без сопротивления взяла на во-

¹ См.: W. Liebknecht. Zur Grund-und Bodenfrage, S. 176—177.

² См., например: Ibid., S. 82.

оружие «жесткую линию», только слегка подправленную В. Либкнехтом, и, таким образом, Марксова аграрная программа одержала победу в самой крупной и наиболее важной в международном масштабе рабочей партии.

Очень часто утверждается, особенно в буржуазном лагере, что марксизм в своем развитии пришел к решительно враждебной позиции по отношению к крестьянству¹. На мой взгляд, это упрощенный и необъективный подход. Не следует забывать, что Маркс рассматривал проблемы крестьянства со стороны, на основе идеологии, которая во главу угла ставит интересы другого класса — промышленного пролетариата и вдохновляется человекоими и социалистическими ценностями, чуждыми господствовавшему среди крестьянства западных стран традиционализму. На той фазе своего развития марксизм считал крестьян отдельным миром (*part-society*) и определял его интересы, опираясь на собственные ценности, а потому марксисты не только не хотели быть враждебными к крестьянам, но и объявляли себя единственными защитниками их «подлинных интересов».

3. Попытки ревизии аграрной программы

Размышления о первоначальной аграрной концепции марксизма, или, иными словами, ее ревизия, были вызваны — можно даже сказать, навязаны — специфическими партийными интересами, возникшими одновременно с тем фактом, что социалистические партии Западной Европы смогли добиться избрания своих представителей в парламент. В связи с этой заинтересованностью крестьян перестали замыкать рамками *part-society*, и в новых аграрных программах их все больше стали считать гражданами, имеющими право голоса и действующими исходя из собственных интересов. Это привело к необходимости пересмотра «жесткой линии». Он начался в 90-е годы главным образом внутри германской социал-демократии, общее влияние которой на марксизм было огромным (как-никак, эта партия на выборах 1893 года оказалась на первом месте, получив почти два миллиона голосов).

Эрфуртская программа 1891 года, по сути дела, была еще триумфом ортодоксальных тезисов о крестьянском вопросе. В ней подчеркивалось, что развитие буржуазного общества неизбежно ведет к разорению мелких хозяйств. Каутский, сыгравший ведущую роль в разработке Эрфуртской программы, пошел даже дальше в более существенном вопросе: он

¹ См., например: *D. Mitrany. Marx against the Peasant. University of North Carolina Press, 1951.*

не только сформулировал концепцию, которой было суждено оказать значительное влияние на последующую политику социал-демократии, согласно которой в программе партии нельзя брать на себя защиту крестьянства, но и заявил, что крестьяне-собственники, не ощущающие себя пролетариями, не могут послужить делу пролетариата, что они принадлежат к числу его наиболее опасных антагонистов¹. Каутский не разделял точку зрения, развитую Марксом после 1848 года; он делал это не только потому, что он не допускал возможности, чтобы крестьяне как таковые могли считать рабочий класс своим естественным союзником и вождем, но и потому, что он ставил под сомнение даже правомерность модного в 70-е годы лозунга о нейтралитете крестьянства. В то же время точка зрения Каутского на жесткое отмежевание от мелких крестьянских собственников не могла не показаться бесплодной в связи с новыми политическими целями, выдвигавшимися партией. В итоге уже на съезде во Франкфурте в 1894 году аграрный вопрос рассматривался как отдельный пункт повестки дня, и были высказаны глубокие сомнения относительно точности тезисов, выдвинутых по этому вопросу Экариусом, Либкнехтом и Каутским.

В целом на съезде был повторен тезис о «неизбежной пролетаризации крестьянина», но в то же время партия взяла на себя задачу защиты крестьян как налогоплательщиков. Один из докладчиков по этому пункту, Георг Генрих Фольмар, подчеркнул тот факт, что у прусских крупных земельных собственников задолженность выше, чем у владеющих землей крестьян. Новым элементом в его докладе было также признание того, что мелкие крестьянские хозяйства в некоторых отраслях производства (например, в виноградарстве, садоводстве и овощеводстве) оказываются более эффективными, чем крупные².

Более гибкую позицию занял Франкфуртский съезд социал-демократов также по отношению к крупным хозяйствам: он признал противоречие между крупным хозяйством и земельными владениями юнкеров и предрек победу первых. В то же время съезд оказался не в состоянии отметить, что и внутри крестьянской собственности уже наметилась аналогичная дифференциация, что — особенно в промышленно развитых районах Германии — наряду с традиционными хозяйствами старого типа все более определенную форму принимало мелкое хозяйство и, следовательно, этим путем шли не

¹ См.: K. Kautsky. Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil. Stuttgart, 1892.

² "Protokoll über die Verhandlungen des Parteitage der Sozialdemokratischen Partei. Abgehalten zu Frankfurt am Main von 21—27 Oktober 1894". Verlag der Expedition des Vorwärts; см. также: A. Bebel. Unsere Ziele. Berlin, 1893.

только арендаторы, но и известная часть носителей патриархальной крестьянской собственности.

После Франкфуртского съезда была учреждена так называемая аграрная комиссия, дискуссионной в которой привели к появлению идеи раздела земли. Идея эта приняла форму конкретного требования — выделить малоземельным крестьянам — за счет государственной собственности — достаточные для обеспечения семьи участки. Однако тогда этот проект не был принят комиссией, хотя в ней и господствовал реформистский дух, и позднее она была обвинена в ревизионизме. Съезд социал-демократов в Бреславле отверг даже уже ратифицированную аграрной комиссией аграрную программу в результате сыгравшего очень большую роль контрнаступления ортодоксальных сил. Резолюция, подготовленная Каутским, заклеила позором программу аграрной комиссии за то, что в ней предусматривались улучшение условий жизни крестьян и укрепление частной собственности. Тем самым в Бреславле — по крайней мере временно — была официально пресечена инициатива, проявленная на Франкфуртском съезде.

Сходные с немецкими перипетии наблюдались в начале 90-х годов и в социалистических рабочих партиях других стран Западной Европы. И здесь особого внимания заслуживает новая французская аграрная программа, в разработке которой участвовали такие марксисты, как Поль Лафарг и Жюль Гед. Программа эта была обсуждена и принята на съездах в Марселе (1892) и в Нантере (1894)¹.

Столь бурные изменения в аграрном и крестьянском вопросе, происшедшие на протяжении всего нескольких лет, вызвали серьезную озабоченность среди защитников ортодоксальной марксистской точки зрения. Контрнаступление началось очерком Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и Германии», опубликованным в 1894 году в десятом номере «Нойе цайт».

Зерном проблемы Энгельс считал установление — на основе строгой принципиальной позиции — связи между социалистическими партиями и мелкими крестьянами (которые сами обрабатывают собственную землю, не применяют наемного труда и не нанимаются на работу). Кроме того, Энгельс подчеркивал, что этот центральный статус крестьянского сословия является «остатком такого способа производства, который принадлежит уже прошлому», и что мелкий крестьянин — это «будущий пролетарий»². Исходя из этого, он критиковал аграрную программу французской социалистической

¹ "Programme agricole du Parti ouvrier français (par P. Lafargue)". Lille, 1894; см. также: J. Jaurès. *Socialisme et paysans*. Paris, 1894.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 506, 507, 517—525.

партии, одобренную в 1892 году на съезде в Марселе, и утверждал, что задача социализма заключается в передаче средств производства в общественную собственность и в руки производителей, ибо в сельском хозяйстве иначе быть не может. Между тем программа французской партии, как он считал, не дает ответа на вопрос, существует ли намерение сохранить parcelльную собственность мелкого крестьянства, которая, как об этом недвусмысленно заявила партия, неотвратимо приговорена к разорению.

Энгельс считал правильным придерживаться следующих принципов:

не следует ускорять разорение мелкой крестьянской собственности;

в отличие от крупной собственности она не должна экспроприоваться силой;

необходимо помочь ей примером и социальными субсидиями встать на путь кооперации.

Партия, считал Энгельс, не может оказать и самой себе, и мелким крестьянам худшей услуги, если станет обещать или делать вид, что в ее намерения входит постоянное сохранение parcelльной крестьянской собственности; единственное, что партия могла бы, по его словам, обещать мелким крестьянам, так это только то, что она не будет вмешиваться силой в их имущественные отношения.

В своей работе Энгельс проводил четкое различие между мелким, средним и крупным крестьянином и заявлял, что считал бы чуть ли не предательством, если бы двум последним категориям крестьянства партия обещала постоянное сохранение экономической независимости; ведь и эти категории крестьянства должны «неминуемо погибнуть от конкуренции капиталистического хозяйства и дешевого заокеанского зерна», а потому и для них существует единственная возможность — кооперирование. Вот почему партия, как считал Энгельс, должна полагаться не на эти социальные слои, а на наемных рабочих. Основное требование вкратце очерченной в этой работе Энгельса аграрной программы — экспроприация крупных хозяйств и передача их кооперативам, находящимся под контролем общества. Ясно, что в подобную концепцию не вписывается идея раздела земли, которая совершенно не сочетается с теорией, образующей завершенное целое.

Немалую роль в формировании марксистской точки зрения по аграрному вопросу сыграл состоявшийся в 1896 году конгресс II Интернационала, который вошел в историю как конгресс полного разрыва с анархизмом. Дискуссия, развернувшаяся на конгрессе, была подготовлена длительным анализом и полемикой, прокатившейся по ряду стран, когда впервые дали о себе знать — соответственно их значению —

особенности аграрного вопроса в Восточной Европе, отличавшие этот регион от западноевропейского. Комиссия по подготовке конгресса признала также существующие между отдельными странами различия и в своем документе предложила, чтобы конгресс предоставил отдельным странам право решать, при помощи каких требований привлекать на свою сторону сельское население. Однако в качестве общего принципа был оставлен принцип социализации всей обрабатываемой земли¹.

4. Полемика вокруг тезиса о «невозможности выживания» мелкой и средней крестьянской собственности

Энгельс не смог довести до конца полемику по вопросу о невозможности выживания крестьянской собственности — можно сказать, что полемика эта тогда только разпорчалась, ибо в конце 90-х годов она выпыхнула с новой силой в связи с политическими интересами партии (борьба за крестьянские голоса), усилением процесса внутренней поляризации в социал-демократии, а также в связи с ростом числа серьезных статистических публикаций по аграрному вопросу. Как раз последний факт и вызывал немало сомнений в правомерности законов, провозглашенных одним из корифеев ортодоксальной аграрной теории, в частности закона о пауперизации мелкой и средней крестьянской собственности. Ортодоксы придерживались главным образом этого тезиса, считавшегося объективным законом, и, как мы уже видели, даже реформаторы крестьянской политики в начале 90-х годов не осмеливались подвергать его критике, впад тем самым в отмеченное Энгельсом противоречие: руководствуясь политическими интересами партии и соображениями гуманности, они оказывали поддержку той крестьянской собственности, которая с теоретической точки зрения считалась неспособной сохранить свои позиции. Все более неизбежным становилось то, что до сих пор считалось первородным грехом: ревизия неоднократно повторенного тезиса о невозможности выживания крестьянской собственности.

На основе новых аграрных статистических данных ортодоксия была вынуждена внести ряд корректив. Это заметно по книге Каутского «Аграрный вопрос», которая, появившись в своем первом издании в 1899 году, сразу же вызвала широчайшую полемику. Из новых данных автор сделал вывод, что в сельском хозяйстве наблюдается не только concentra-

¹ "Verhandlungen und Beschlüsse des Internationalen Sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschaftskongresses zu London". Berlin, 1896, S. 14; A. Volgin (G. Plekhanov). The Theoretical Basis of Peasantism. Sankt-Petersburg, 1896.

ция, но и парцелляция земли: «Везде, где имеется растущая возможность найти вспомогательное занятие вне собственно-го хозяйства, парцелляция собственности получает невероятное развитие, тогда как центростремительные тенденции, действующие в противоположном направлении, полностью, по крайней мере сейчас, аннулируются»¹.

Такова была важнейшая корректировка прежней точки зрения, преувеличивавшей процесс интеграции крестьянской собственности. Но даже и теперь парцелляция все еще рассматривалась как дополнительный по отношению к концентрации процесс, случайным образом действующий вместо него и отнюдь не опровергающий, а, наоборот, в известном смысле подкрепляющий тезис о неспособности выживания мелкой крестьянской собственности. Каутский отмечал: «Эти две противоположные тенденции, по-разному проявляющиеся в различных районах, имеют, однако, нечто общее, а именно то, что в одном случае увеличение, а в другом уменьшение земельной собственности происходит главным образом за счет *средней собственности*. В обоих случаях именно она подвергается давлению с двух сторон»².

Итак, убеждение в том, что мелкая и средняя крестьянская собственность не в состоянии выжить, было не только не поколеблено новыми статистическими данными, но, наоборот, даже подкреплено. Каутский исходил из того, что сельскохозяйственное производство при данной структуре может развиваться лишь крайне медленно (что для того времени было в известной мере верно); однако он полагал, что такое положение — по крайней мере в рамках капиталистической структуры — закономерно вообще, и потому считал абсолютно невероятным или нежелательным такой ход развития капитализма, при котором наблюдались бы ускоренное развитие сельского хозяйства и вытекающее отсюда ускорение роста производства. Каутский активно протестовал против того, чтобы социал-демократия — при тогдашней своей структуре — выступала в поддержку мер, способствующих развитию сельскохозяйственного производства³.

После этой прелюдии на авансцену вышли Эдуард Бернштейн и Эдуард Давид⁴. Они отстаивали тезис — также подтвержденный данными статистики, — согласно которому крестьянская собственность в странах Западной Европы в последние десятилетия XIX века доказала свою способность к выживанию.

¹ K. Kautsky. Die Agrarfrage. Stuttgart, 1902, S. 172.

² Ibid., S. 171.

³ Ibid., S. 322, 324.

⁴ E. Bernstein. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart, 1899; E. David. Sozialismus und Landwirtschaft. Leipzig, 1903.

Для нашей темы особенно важной представляется работа Э. Давида, который, отталкиваясь в своем изложении от политических задач социал-демократии, обвинял ортодоксальную аграрную политику в том, что из-за нее крестьяне в Германии вопреки своим демократическим традициям выступают против рабочего класса. Книга Давида была написана под воздействием полемики, которая разгорелась вокруг «Аграрного вопроса» Каутского и в которой Давид принял активное участие. Критикуя на страницах «Нойе цайт» работу Каутского, Давид в подтверждение своей точки зрения приводил немецкие статистические данные, согласно которым, во-первых, с 1882 по 1895 год обрабатываемая площадь хозяйств размером 2—5 га и 5—20 га увеличилась и, во-вторых, помимо этой группы хозяйств увеличение обрабатываемой площади обнаруживали только владения, превышающие 1000 га, однако совокупная площадь крупных хозяйств не достигала и 5% площади хозяйств первой и второй групп¹. В другом номере «Нойе цайт»² за тот же год была опубликована подборка французских статистических данных, которые аналогично немецким также порождали сомнения в ортодоксальном тезисе. Французские данные показывали, что в 1882—1892 годах не наблюдалось никаких существенных изменений в структуре распределения земельной собственности между различными типами хозяйств; были отмечены лишь незначительная парцелляция и некоторое увеличение площади, принадлежащей хозяйствам размером менее гектара (с 2,19 до 2,68%).

Каутский незамедлительно ответил³ на критику, высказанную Давидом, но переместил центр полемики на идеологический уровень, обвинив своего оппонента в том, что он занимается не чем иным, как модернизацией прудонизма, занимая свои взгляды из мелкобуржуазных и анархо-социал-либеральных концепций.

В следующей работе, написанной уже в ходе полемики и увидевшей свет в 1893 году, Давид атаковал ортодоксию, отталкиваясь в первую очередь от анализа, проведенного на основе аграрных статистических данных. И он пришел к следующим выводам:

нельзя распространять на развитие сельского хозяйства законы и особенности процесса промышленного производства (при этом Давид сводил сельскохозяйственное производство к органическим процессам);

по сравнению с условиями, существующими при простой кооперации, крупное хозяйство имеет в своем распоряжении

¹ См.: "Neue Zeit", 1900, S. 229.

² См.: Ibid., S. 448.

³ См.: Ibid., S. 476.

труд более низкого качества, который оно к тому же оплачивает по более дорогой, чем мелкий собственник, цене; кроме того, оно должно контролировать своих рабочих, имея на содержании непроизводительный аппарат надсмотрщиков, что приводит к удорожанию продукции;

мелкому крестьянскому хозяйству легче переносить сезонность сельскохозяйственного производства; кроме того, для него характерны менее высокие инвестиции и расходы по содержанию;

паровая машина не может оказать на сельское хозяйство такого же революционизирующего воздействия, как это имело место в промышленности; очевидно, нечто подобное можно ожидать от электрической энергии, но — как считал Давид — даже электричество не будет в состоянии занять место живой силы, разве что помогать ей;

факт роста интенсивности производства, указывая на увеличение потребности в рабочей силе в сельском хозяйстве, позволяет сделать вывод о том, что общая тенденция в этой отрасли заключается не в недостатке труда, а в недостатке рабочей силы.

Предвидение Давида, как мы знаем, не осуществилось в том, что касается последних двух пунктов. Но в равной мере не обманул и считавшийся не подлежащим дискуссии тезис ортодоксов относительно неизбежности разорения крестьянской собственности. «Аграрный вопрос» Каутского и «Социализм и сельское хозяйство» Давида при всей их четкой противопоставленности явились выражением дихотомии социалистического подхода к аграрному и крестьянскому вопросу, даже если этот контраст был тогда, несомненно, связан в известной мере с местом действия — странами Западной Европы, и прежде всего Германией¹.

5. Марксизм и аграрный вопрос в Восточной Европе

Постепенно центр тяжести аграрной программы марксизма начал перемещаться в Восточную Европу, где аграрные отношения второй половины XIX века по многим аспектам отличались от западноевропейских, причем не только из-за отсталости по времени, но и в связи с фундаментальным различием в области институциональных форм: ведь, говоря конкретнее, община в деревне была еще и во второй половине

¹ О дискуссии по аграрному вопросу в те годы см.: *F. Hertz. Agrarfrage und Sozialismus. Berlin, 1901*; *“Sozialdemokratie im Bayerischen Landtage 1893”. Nürnberg, 1899*; *J. Bordeau. L'évolution du socialisme. Paris, 1901*; *L. Deslinaires. L'Application du système collectiviste. Paris, 1899*; *R. Cabannes. Le Parti socialiste et les paysans. Bayonne, 1907*; *E. Vandervelde. Le socialisme et L'agriculture. Bruxelles, 1906*.

XIX века живой реальностью. На почве этой институциональной системы оформились влиятельные идеология и политическое движение народничества. Идеализируя сельскую общину, народники считали ее позитивным элементом русского исторического развития, который надлежало спасти в интересах будущего развития общества.

Сходную позицию занимало также панславистское движение. Какой-то период в России не было четкого размежевания между народнической и марксистской концепциями. Иначе говоря, марксизм, как и в других странах Восточной Европы, не только проложил себе путь благодаря рабочим организациям, но и нашел для себя место также внутри либеральной и народнической тенденций. Этому опосредствовала еще одна особенность капиталистического развития в России: индустриализация здесь поглотила прежде всего избыток населения, весьма внушительный по сравнению с Западной Европой. Решительные поборники общины часто ссылались именно на этот факт в своей борьбе против частной собственности на землю. Крестьянские массы в том, что касалось их численности, выглядели предельно стабильным фактором и в плане социальных движений представлялись единственной решающей силой. Народники в своих программах частично выдвигали требования в защиту крестьян, носившие чисто экономический характер (к примеру, требование об уменьшении налогов), частично же настаивали на увеличении самостоятельности местных общин и на сохранении их в качестве народнохозяйственных ячеек.

Если применительно к аграрному вопросу в Западной Европе Маркс и Энгельс демонстрировали свою непротивность в отстаивании принципиальной перспективы, то в связи с проблемой общины они какое-то время были склонны согласиться с возможностью такого пути развития, который бы отличался от западноевропейского и суть которого заключалась бы в избежании капиталистической фазы. Углубленно заняться этой проблемой Марксу пришлось в связи с полученным из Женевы от Веры Засулич и ее товарищей письмом, в котором со ссылкой на популярность «Капитала» в России был поставлен вопрос о том, имеет ли в этой стране община какое-либо будущее, то есть не повторится ли и в России то, что уже произошло во всей Западной Европе, а именно распад общинной собственности архаичного типа. Судя по всему, Маркс долго обдумывал ответ. Он написал три черновика, четвертый же практически был уже готовым ответом (эти черновики и ответ были изданы в Москве только в 1925 году в первом томе «Архива Маркса и Энгельса»). На главный вопрос, почему в России не может повториться путь развития Западной Европы, Маркс ответил осторожно, но решительно: «Анализируя происхождение капиталистичес-

кого производства, я говорю: «В основе капиталистической системы лежит, таким образом, полное отделение производителя от средств производства...» («Капитал», франц. изд., с. 315)... Следовательно, «историческая неизбежность» этого процесса точно ограничена странами Западной Европы... Анализ, представленный в «Капитале», не дает, следовательно, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общины. Но специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального возрождения России, однако для того, чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»¹.

Через несколько лет эта концепция снова излагается в написанном Марксом совместно с Энгельсом предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии», где возможность избежать пути капиталистического развития ставится в зависимость от еще одного условия: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»².

Письмо, которое Энгельс 17 октября 1893 года направил из Лондона Н. Ф. Даниельсону, содержит гораздо более негативные суждения насчет возможностей русской общинной собственности. Обсуждая мрачные предвидения Даниельсона в связи с экономическим развитием России, Энгельс отметил: «Несомненно, что переход от первобытного, аграрного коммунизма к капиталистическому индустриализму не может произойти без ужасной ломки общества, без исчезновения целых классов и превращения их в другие классы; а какие огромные страдания, какую растрату человеческих жизней и производительных сил это неизбежно влечет за собой, мы видели уже, хотя в меньшем масштабе, в Западной Европе. Но от этого до полной гибели великого и высокоодаренного народа еще очень далеко... Более чем стоимиллионное население составит в конце концов очень большой внутренний рынок для весьма значительной *крупной промышленности*; и у вас, как и в других странах, все придет в свою норму — конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно долго»³.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 137.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 305.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 129—130.

Однако именно по этой причине он не считал более возможным сохранение общинной собственности: «Вы сами признаете, что «социальные условия в России после Крымской войны не были благоприятны для развития той формы производства, которую мы унаследовали из нашей прошлой истории». Я пойду еще дальше и скажу, что в России развитие из первобытного аграрного коммунизма более высокой социальной формы могло бы стать возможным не больше, чем во всяком другом месте, если бы только эта более высокая форма не существовала уже в какой-либо другой стране и не служила бы в качестве образца. Эта более высокая форма — всюду, где она исторически возможна, — является необходимым следствием капиталистической формы производства и создаваемого ею социального дуалистического антагонизма, она не может развиться непосредственно из земельной общины иначе, как в виде подражания примеру, уже где-либо существующему. Будь Западная Европа в 1860—1870 гг. созревшей для такой трансформации, будь эта трансформация проделана тогда Англией, Францией и т. д. — в этом случае русские действительно были бы призваны показать, что могло бы быть сделано из их общины, в то время еще более или менее нетронутой. Но Запад пребывал в застое, не пытался произвести такую трансформацию, а капитализм развивался все быстрее и быстрее. Итак, у России не было иного выбора, кроме следующего: либо развить общину в такую форму производства, от которой ее отделял еще ряд промежуточных исторических ступеней и для осуществления которой условия еще не созрели тогда даже на Западе — задача, очевидно, невозможная, — либо развиваться в направлении капитализма. Спрашивается, что оставалось еще, кроме этого последнего шанса?»

На Лондонской конференции 1896 года русские социал-демократы действовали именно в этом русле. Сознывая особенность русского вопроса, они приняли отдельную резолюцию. Однако в ней сказались опасения, как бы не переоценить возможности общины, и были высказывания в пользу неизбежного укрепления капиталистических тенденций¹.

Ленин, роль которого в русской социал-демократии постоянно возрастала, на первых порах полностью идентифицировал свои взгляды по аграрному вопросу с концепциями Каутского. Так, в предисловии к своей работе «Развитие капитализма в России» он выразил сожаление в связи с тем, что получил «Аграрный вопрос» Каутского тогда, когда большая часть его сочинения была уже набрана². «Аграрный вопрос»

¹ См.: "Die Agrarfrage und die Sozialdemokratie in Russland". — In: "Neue Zeit", 1896, № 44, S. 560—66.

² См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, с. 7.

Ленин оценил как самую замечательную работу в социалистической литературе после III тома «Капитала». Поставив целью доказать, что в России развитие экономических отношений в деревне идет капиталистическим путем на уровне помещичьих латифундий, и крестьянских хозяйств, и сельской общины, Ленин в своей работе сделал вывод о том, что иной, отличающийся от капиталистического, путь развития невозможен, как невозможна никакая иная классовая структура, кроме порожденной капиталистической социально-экономической формацией.

Главной мишенью полемической работы Ленина были идеология и движение народников. Вот почему в России дискуссия по аграрному вопросу в противоположность происходившей в Западной Европе вышла за рамки социал-демократии. Этим в основном объясняется тот факт, что указанная ленинская работа не сыграла в расколе русской социал-демократии столь значительной роли, какую сыграли работы по аграрному вопросу в Германии. Этому способствовало и другое не менее важное обстоятельство: ортодоксальная аграрная теория левой социал-демократии не подкреплялась такой же ортодоксальной политической практикой. В России на основе ортодоксальных тезисов отнюдь не меньшевики, а как раз большевики довели до конца ревизию жесткой практики, применявшейся в отношении крестьян. Так, уже в письме, датированном 1909 годом¹, Ленин упрекал меньшевиков в том, что они, ведя борьбу против народников «с доктринерским упрощением», изображают движение крестьян реакционным. По мнению Ленина, меньшевики «просмотрели» в народническом движении реальное прогрессивное содержание, сердцевину которого составляла теория массовой борьбы против развития деревни по «прусскому» пути. Выступление типа ленинского не было единственным фактом, да и не могло им быть, особенно после русской революции 1905 года. Каутский, который, как мы уже видели, являлся ортодоксом в крестьянском вопросе на Западе, признал, что в связи с аграрным вопросом необходимо проводить четкое различие между Западной и Восточной Европой. Особенно ясно это видно в его письме, направленном в официальный орган венгерской социал-демократии «Социализмус». В письме этом он писал: «Крестьяне в Западной Европе (за исключением Италии) стали повсеместно элементом реакции. Крестьянин-собственник (мы не имеем в виду мельчайших собственников) — это самый фанатичный сторонник частной собственности и самый решительный враг каких бы то ни было улучшений условий жизни батраков, так как подобные улучшения сделали бы

¹ Письмо к Н. И. Скворцову-Степанову от 16 декабря 1909 года (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 226—232).

для него более дорогой рабочую силу. Никакая аграрная программа не в силах изменить этот факт. На этом участке классовая борьба пролетариата может развиваться только против крестьянского сословия, а не благодаря завоеванию его для нашего дела.

Совершенно иначе дело обстоит в Венгрии. Здесь, как и в России, крестьянин — это революционный элемент. Только вследствие поражения нынешнего опоса производства, пользующегося пережитками феодализма в целях самой бесстыдной капиталистической эксплуатации, и только вследствие поражения ныне господствующей в политике аристократии можно улучшить его отчаянное положение»¹.

Однако в политической практике, касающейся аграрного вопроса, венгерская социал-демократия твердо и некритично копировала немецкий образец, и пагубные последствия такой политики драматическим образом проявились особенно в ходе венгерской революции 1919 года. Напротив, аграрная политика большевиков, строившаяся на основе признания важности крестьянства и различий между Востоком и Западом², была ориентирована на идею раздела земли, которая, согласно ортодоксии, является первородным грехом всякой аграрной программы, а позднее осуществила эту идею на практике. Именно здесь в основном следует искать объяснение успехов, достигнутых в ходе Октябрьской революции и в еще большей степени во время гражданской войны.

¹ *K. Kautsky. Nemzetközi elmélet és nemzeti sajátosság.* — In: "Szocializmus", I, 1906, № I, S. 4.

² Интересные факты на этот счет см. в: *K. A. Wieth-Knudsen. Bauernfrage und Agrarreform in Russland.* München, 1913.

ДИСКУССИИ О НАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ В РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ

Принятая в 1869 году Эйзенахская программа — первая программа зарождавшейся германской социал-демократии, вдохновлявшаяся идеями Маркса и получившая его одобрение, — отвергла необходимость рассмотрения национального вопроса, объявив его чисто буржуазным. Подобная формулировка, конечно, не была чем-то новым, во всяком случае, она согласуется с содержавшимся в «Манифесте Коммунистической партии» утверждением о том, что «рабочие не имеют отечества»¹. При всем том, что эта весьма ясная формулировка сопровождалась различными оговорками, разъяснявшими, что «...по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала борьбой национальной»², она тем не менее служила принципом, на который постоянно ссылались непримиримые интернационалисты; для них пролетарский интернационализм — это основной критерий марксизма. Но что же такое на самом деле пролетарский интернационализм?

1. Национальный вопрос: пробел в марксистском анализе

Быть может, до сих пор недостаточно обращалось внимания на тот факт, что, если не считать лирического призыва к пролетариям всех стран объединяться, определение, которое Маркс дает пролетариату, является отрицательным, поскольку положительная сторона последнего еще только должна проявиться в будущем. Это обнаружилось после того, как Маркс избавился (если, конечно, считать, что он полностью вообще избавился) от своего философского определения пролетариата как спасителя всего человечества в своих работах, посвященных экономическому анализу, таких, как «Наемный труд и капитал» (1848—1849), «Заработная плата, цена и прибыль» (1865), а также в разных подготовительных работах к «Капиталу». Именно поскольку рабочий класс лишен собственности и не раздраем частным интересом, считается, что он склонен проявлять солидарность; последняя развивается благодаря общности труда, являющейся

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 444.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 435.

в первую очередь общим условием эксплуатации и лишь во вторую очередь—объединением через производство производственной жизни. Кроме того, данная потенциальная близость людей должна еще выдержать натиск конкуренции из-за поиска рабочего места, конкуренции, которая постоянно воспроизводится под давлением фактора, получившего в «Капитале» название «перенаселения». Вот почему с таким трудом формируется основополагающее интернационалистское ядро классового сознания. При этом необходимо иметь в виду, что классовое сознание не развивается постоянно по восходящей линии, в ходе данного процесса возможны провалы, деформации и уклоны, связанные с расколами и расслоениями внутри рабочего класса, потрясениями на рынке труда и соотношением сил между различными классами. Мы не говорим уже о том, что первоначальной средой, в которой происходит рост сознания, являются такие коллективные социальные образования, как семья, где человек воспитывается, деревенская община, откуда выходит рабочий, культура городской бедноты, национальная лингвистическая и политическая среда,— а все это марксистский философский и экономический анализ обошел молчанием, полагаясь лишь на классовый принцип. По этой причине марксистскую концепцию следует ограничить противоречиями развития рабочего класса и эволюцией рабочего движения.

В 1869 году Маркс в своих выступлениях на Генеральном совете Международного товарищества рабочих (I Интернационал), а также в переписке с Энгельсом, Мейером, Фогтом и особенно Кугельманом подчеркивал, что в Ирландии речь идет не только об экономической проблеме, но и о национальном вопросе, и прибегал к формулировке, однажды уже использованной в 1847 году в связи с разделом Польши: «Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации». Таким образом, национальный вопрос выдвигался на первый план для того, чтобы освободить английский рабочий класс от положения, подчиненного образу мышления английской буржуазии, иными словами — от националистического затемнения его классового сознания. Вот почему провозглашалось, что освобождение Ирландии — это теперь «первое условие» его собственного социального освобождения¹. Маркс и Энгельс, однако, придавали такое значение национальному вопросу (причем не без колебаний) только в отношении двух наций—Польши и Ирландии, оправдывая этот свой подход сугубо стратегическими соображениями: Россия — это исключительно реакционная держава, Англия же — страна, где возможна пролетарская революция.

¹ См. письмо К. Маркса к Л. Кугельману от 29 ноября 1869 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, с. 531).

Однако теоретическое объяснение этого вопроса отсутствует. Ни Маркс, ни Энгельс не рассматривают национальный вопрос как таковой. Они ограничиваются тем, что объявляют себя сторонниками той или иной национальности, более того, высказываются за или против существования того или иного народа. Однако все эти заявления суть выражения позиции в рамках текущей политической практики. Таким образом, марксизм остался без какой-либо концепции нации, увязанной с логикой способов производства и классовой борьбы, хотя классовая борьба признавалась основой истории, а с универсальной точки зрения пролетарской революции интерпретировалась в качестве ее становления¹.

Именно в этом и заключается проблема, которую пытаются разрешить (или же отрицать) современные марксисты, ибо национальный вопрос и в Европе, и во всем остальном мире на протяжении XX века продолжал оставаться актуальным в такой степени, что даже революции, ставившие социалистические цели, были совершены в обстановке мировых войн и национальных революций, а ход мировой истории сопровождался крупными националистическими столкновениями; наконец, даже сегодня страны, называющие себя социалистическими, ведут между собой борьбу с позиций силы, в ходе которой нелепко провести различие между тем, что характерно для национально-освободительной борьбы, и тем, что обусловлено государственным интересами, пусть облеченными в терминологию мирового социализма. Налицо тот факт, что оправдания и возражения различных марксизмов (ибо не существует какого-то единообразного марксизма) находятся на грани прагматизма, служат своеобразной иллюстрацией партийных или фракционных позиций. Такое положение особенно характерно для сегодняшней обстановки, но таким оно было уже в период II Интернационала, до Октябрьской революции, который и является предметом настоящего исследования.

Тогда выбор позиций был детерминирован ирландским и польским вопросами, а также конфликтной ситуацией, порождавшейся внутренним положением в многонациональных Российской и Австро-Венгерской империях или же в Османской империи, вплоть до появления Восточного вопроса. От-

¹ По этой проблеме см., в частности, исследование: *G. Haupt, M. Lowy, C. Weill. Les marxistes et la question nationale (1848—1914). Paris, 1974*; см. также *F. Bloom. The World of Nations. A Study of the National Implications in the Work of Karl Marx. New York, 1941*; *H. B. Davis. Nationalism and Socialism. Marxist and Labor Theories of Nationalism to 1917.* — In: "Monthly Review Press", 1967; *M. Robinson. Le marxisme et la nation.* — In: "L'homme et la société", 1968, № 7; *A. Yaari. Le défi national. Les théories marxistes sur la question nationale à l'épreuve de l'histoire. Paris, 1978*; *E. Cahm and V. C. Fiserá (ed.) Socialism and Nationalism. Nottingham, 1978.*

дельные, отталкивавшиеся от господствующего прагматизма теоретические разработки, которые были осуществлены, в частности, в пришедшем в движение регионе Центральной и Восточной Европы¹, представляют в силу своей исключительности особую ценность для того периода времени не столько в качестве формулировки позиции по национальному вопросу или в защиту так называемых национальных интересов, сколько как попытка изучить проблему. Мы не ставим себе цель подвести общий итог дискуссии по национальному вопросу, ибо при таком подходе пришлось бы, конечно, пожертвовать теми авторами, которых современная марксистская политическая публицистика не возвела в ранг теоретиков, хотя они и были проводниками идей и главными действующими лицами политических баталий своего времени. Наша цель — показать процесс разработки национального вопроса. Для этого необходимо будет вспомнить Карла Каутского и Отто Бауэра, затем, переходя от Центральной Европы к России, Бера Борухова и Владимира Мадема, Розу Люксембург и Ленина, вплоть до систематизации Сталина, столь упростившего проблему, что долгое время она оставалась закрытой.

Действительно, на протяжении длительного времени центральное место занимал Каутский: на его интерпретацию национального вопроса и на предложенные им прагматические решения этого вопроса опирались, по сути, все другие исследования. Каутский был рупором марксистской традиции, да и сам Ленин в значительной мере сформировался на его писаниях. Именно Каутский в своих неоднократных высказываниях по национальному вопросу — начиная с 1887 года, когда он говорил о «современной национальности», и кончая 1917 годом, когда вел речь об «освобождении наций», — пытался вывести из марксистского наследия, опираясь на экспликативные принципы экономического характера, концепцию нации, но вынужден был признать невозможность понять эту социальную категорию. «Национальность, — писал он в «Нойе цайт» 18 января 1908 года, — это некое социальное отношение, постоянно модифицирующееся и приобретающее в разных условиях весьма различное значение, это какой-то Протей, ускользающий у нас из рук всякий раз, когда мы пытаемся его поймать, но, несмотря на это, постоянно присутствующий в нашей жизни и оказывающий на нас мощное воздействие».

Это последнее замечание Каутского выглядит чуть ли не уступкой Отто Бауэру, опубликовавшему в 1907 году работу «Национальный вопрос и социал-демократия», — работу,

¹ H. Mommsen. Die Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage in Habsburgischen Vielvölkerstaat. Wien, 1963.

которую также можно считать существенным вкладом в дискуссию по национальному вопросу, объясняющим внимание к проблеме культурной автономии в Австро-Венгрии и попыткой определить национальность в качестве внутритерриториального сообщества (как раз такая интерпретация имела особое значение для Бунда в качестве решения еврейского вопроса). Однако конструктивистские выкладки Борухова, сформулированные в 1905—1906 годах, подготовили другой взгляд на национальный вопрос в соответствии с разработанным в России учением марксизма о законах капиталистического развития, эксплицитно являющегося развитием экономическим, а имплицитно — территориальным и государственным; это ясно видно на примере того, что писал, опираясь на Плеханова, Ленин в своем исследовании «Развитие капитализма в России», относящемся к 1898 году. На этом фоне очень скоро произошло — из-за разногласий по вопросу об организационных принципах построения партии и под влиянием желания найти политическое решение национального вопроса накануне революции — размежевание между Розой Люксембург и Лениным, у которого новые нотки в размышлениях по национальному вопросу звучали лишь гораздо позднее, под воздействием опыта империалистической войны, а затем и несбывшихся надежд на революцию на Западе (эти надежды впредь стали возлагаться на национальные движения народов Востока) и, наконец, когда было уже слишком поздно, под влиянием его «последнего боя», данного великорусскому национализму.

Победа революции в России — и только в России, да еще в особых условиях, — но главным образом сведение марксистской ортодоксии к советскому сталинскому марксизму, будь то под вывеской ленинизма или марксизма-ленинизма, превратили в догму и в теоретическую «сокровищницу» текст, который первоначально был всего лишь длиннющей журнальной статьей под названием «Национальный вопрос и социал-демократия» (1913), потом брошюрой под заглавием «Национальный вопрос и марксизм» (1914) и в конце концов трудом «Марксизм и национальный вопрос» в собрании сочинений Сталина и великим вкладом Сталина в марксизм. Конечно, сопоставление критериев в одном определении и четкость формулировок — немаловажный элемент их силы проникновения. Но изменение названия статьи и обобщающее звучание заголовка брошюры вводят в заблуждение относительно первоначального назначения этой работы, состоявшего всего лишь в том, чтобы дать обоснование позиции большевиков, позиции, несовместимой с любой другой позицией, ибо тогда было необходимо прежде всего отстаивать единство партии, то единство, которое Сталин при первом приближении к этой теме в 1904 году называл «политическим цент-

рализмом». Лишь много лет спустя, да и то под прикрытием абстрактной декларации о праве на самоопределение, появилась возможность поговорить о региональном управлении, а потом, в 1922 году, также о федерации и об автономии. Экстраполяция сталинской концепции за рамки истории и даже сведение ее смысла к подчинению задачам партии привели к тому, что на протяжении долгих лет существовала уверенность, будто получено наконец марксистское решение национального вопроса, ибо считалось, что найден ключ, открывающий все замки; в результате было упущено из виду даже то, что было в этой концепции ценного, то, что можно было бы применить к развитию капитализма в странах атлантической Европы в качестве «категории восходящего капитализма», на что, в частности, уже задолго до Сталина и с гораздо большей проницательностью указывали К. Каутский и О. Бауэр, но в этом состояла также и ограниченность этой концепции.

Преувеличения Сталина привели как к забвению роли Каутского, первым начавшего ее разработку, так и к пренебрежению заслугами О. Бауэра и полному игнорированию Борухова (если, конечно, исключить тот факт, что в узкой сфере еврейской и сионистской мысли сохранялся до известной степени культ личности Борухова), тогда как воспоминания о роли Бунда остались только в связи с полемикой, которую вел против него Сталин. Тем не менее реставрация этой теоретической связи грешила бы тем же недостатком, что и попытки ограничиться только реабилитацией Бауэра или Борухова. Если марксизм обеднили в результате нормативного экстраполирования, то необходимо вернуть его истории в том двойном плане, благодаря которому, как показал Г. Гаупт, марксизм через понятие практики пересекается с историей: с одной стороны, это случайности, обусловленные местом действия и противоречиями, в общем и целом обстановка, объединяющая и противопоставляющая рабочее движение и национальные движения, а с другой — слияние и появление идей в ходе политической борьбы, что представляет собой сферу марксистского исследования общества и истории, которое всегда оказывается незавершенным¹.

Необычайное брожение национальных противоречий и связанное с ними невероятное кипение страстей и идей, интеллектуальная смелость, обновляющая эстетику и науки, — все это привело к тому, что Центральная и Западная Европа — как в пределах, так и за пределами влияния II Интернационала — явилась крупным центром истории марксизма и исследовательской работы по национальному вопросу. То,

¹ См. введение Г. Гаупта (написанное совместно с К. Вейлем) в публикации: *G. Haupt, M. Lowy, C. Weill. Les marxistes et la question nationale (1848—1914). Paris, 1974.*

что сегодня называют кризисом марксизма, кризисом, возникшим отчасти из-за недооценки государственного принуждения и силы национализма, а следовательно, из-за недостаточности анализа национальной реальности и в равной мере в результате таких более серьезных факторов, как влияние национализма на рабочее движение и превращение социализма в государственную идеологию, свидетельствует только об одном — о тяжести нанесенного марксизму ущерба. Вот почему следовало бы теперь взглянуть на причину такого положения глазами историка.

2. «Горизонты 1848 года»: исторические нации и народы без истории

Наследие первоначального марксизма по тому, что считают национальностью и нацией, таким образом, не являлось плодом добровольной и синтетической разработки этой проблемы — оно было прежде всего результатом установленной Марксом и Энгельсом связи европейского демократического национального движения, в частности движения в германской Европе, с «горизонтами 1848 года»¹. Оно связано также с деятельностью Маркса и Энгельса в I Интернационале в поддержку дела ирландцев и поляков, обнажившего противоречия между национальным вопросом и национализмом внутри самого рабочего движения. Вклад Маркса и Энгельса в разработку этой проблемы и оставленные ими при ее анализе пробелы можно объяснить, отталкиваясь от их фундаментальной концепции развития капитализма, являющегося результатом всемирной истории и предпосылкой социализма; они были настолько поглощены разработкой этой концепции, что оставили незаконченным исследование национального вопроса. Тезис о национальном государстве, имплицитно принятый с самого начала, постепенно все больше утверждал себя и в конце концов стал базой для создания II Интернационала, состоявшего из партий, пользующихся признанием в рамках существующих государств. В этих условиях, когда едва ли не окончательно была закреплена организационная и стратегическая линия рабочего движения, Каутский стал первым, кто предпринял попытку придать стройность и последовательность марксистской теории современной национальности.

«...Победа английских пролетариев над английской буржуазией имеет решающее значение для победы всех угнетенных над их угнетателями» — таков вывод, сделанный Марксом в речи, произнесенной в Лондоне 29 ноября 1847 года по

¹ G. Haupt e C. Weill. *L'eredità di Marx ed Engels e la questione coloniale*. — In: "Studi storici", 1974, p. 270—324.

случаю годовщины польского восстания 1830 года¹. То было время, когда писался «Манифест Коммунистической партии», время кануна «весны народов» 1848 года, и молодой марксизм, выступавший тогда от имени пролетариата несколько философски, попытался совместить рабочее движение, которое, несомненно, стояло на первом месте, с движением национальным.

Но Маркс и Энгельс были воодушевлены событиями в Польше и до такой степени разделяли накалившиеся демократические страсти с членами польских эмигрантских ассоциаций в Лондоне, Париже и Брюсселе, что в Кёльне Маркс, например, предпочел примкнуть к Демократической ассоциации, а не к коммунистическому союзу или партии. Итак, впервые Маркс и Энгельс соприкоснулись с национальным вопросом в момент воспевания ими классовой борьбы и в рамках немецкого демократического движения, возлагавшего надежды на «Великую Германию», пока не наступило разочарование из-за Франкфуртского парламента и не развеялись все иллюзии под ударами контрреволюционных репрессий. На страницах «Новой Рейнской газеты» Маркс и Энгельс формулировали свою позицию перед лицом национальных восстаний в Центральной Европе, выступая главным образом против вмешательства царской России, представлявшей им последним жандармом Священного союза. Они высказывались в пользу восстановления Польши, сохранения Австрии в ущерб чехам, реставрации Венгрии в ущерб хорватам и даже заявляли о желательности исчезновения южнославянских национальностей, «которые история уже в течение столетий влечет за собой против их собственной воли» и которые «неизбежно должны быть контрреволюционными»². Тон их выступлений становился крайне презрительным, когда они говорили о панславизме, который «по своей основной тенденции направлен против революционных элементов Австрии и потому... заведомо реакционен»³.

Именно участие Маркса и Энгельса в событиях 1848 года лежало в основе предложения Энгельса делать различие между «историческими» нациями и народами «без истории», то есть не имеющими исторического опыта государственности и приговоренными историей к исчезновению,—говоря вообще, этим же объясняется и отрицательное отношение Маркса и Энгельса к национализму, хотя они и не порывают со своими демократическими обязательствами, взятыми, например, в отношении Польши⁴.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 372.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, с. 293.

³ Там же, с. 181.

⁴ См.: R. Rosdolsky. Engels und das Problem der "geschichtlosen" Völker. — In: "Archiv für Sozialgeschichte", IV, 1964.

Энгельс писал, что четко определившимися великими историческими нациями Европы, нациями, несомненно, «жизнеспособными», являются Франция, Испания, Скандинавия, Англия, Италия, Польша, Германия и Венгрия. Однако только первые четыре, как считал Энгельс, — уже сформировавшиеся национальные государства, а остальные заслуживают полного суверенитета; Германия и Италия должны снова найти для себя место, обеспеченное им прошлым, путем объединения, а Польша и Венгрия — два поработенных народа — выстояли, несмотря на ассимиляцию, и, следовательно, способны вести независимое национальное существование. Другие же народы потеряли свою «политическую жизнеспособность». Таковы, например, чехи — умирающая национальность, которую следует отнести к нациям без истории, к народам, у которых никогда не было ни истории, ни необходимой энергии. Эти последние представляют собой «натуральные», крестьянские, варварские народы, какие-то остатки народов и этнографические экзопонаты; таким народам, по примеру Окситании, включенной в состав Франции, поглощение их Германией или Венгрией даст в качестве компенсации «демократию».

Характерная черта, обесценивающая южнославянские и балканские народы, согласно статьям Энгельса в «Новой Рейнской газете», следующая: это народы, которые должны исчезнуть, так как они являются *«главным орудием контрреволюции»*¹. Таким образом, за выделением народов без истории и за естественным отбором сильных государств скрывается другое различие — деление наций на революционные и контрреволюционные, а поскольку такое деление изменчиво и зависит от конъюнктуры, то состав полярных групп государств может подвергаться некоторым изменениям. И хотя впоследствии Маркс и Энгельс признали ограниченность своих этнологических познаний, их сомнения относительно будущего славянских и балканских народов возросли, а оценки остались связанными с судьбами «главных государств».

Отказ в будущем чехам включен в контекст самого сурового осуждения панславизма. Было признано, что объединение славян открыло бы путь русской гегемонии. Наладки были направлены на Бакунина, который на Пражском конгрессе в июне 1848 года говорил о славянах как о «рабах земли» и восхвалял естественное право национальностей на существование и на восстание, объявив любое национальное движение угнетенных справедливым делом. Однако полемика, которую развернул Энгельс, касалась всех поборников национальных движений, считавшихся контрреволюционными или способ-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, с. 299.

ными привести к контрреволюции. Такая позиция вынудила Энгельса отмежеваться от всех национальных движений. Тридцать с лишним лет спустя он в письме Бернштейну признал: «Первоначально — поскольку все мы сперва прошли через либерализм или радикализм — мы оттуда переняли это сочувствие ко всем «угнетенным» национальностям, и я помню, как много времени на изучение мне понадобилось, пока я отделался от этого — но зато уж основательно». Но далее, во имя интересов пролетариата, Энгельс в том же письме обнаружил постоянство оценок и выбора в том, что касалось революционной стратегии: «Мы должны сообща бороться за освобождение западноевропейского пролетариата и этой цели подчинить все остальное. И какой бы интерес ни возбуждали балканские славяне и т. п., но если их освободительные стремления вступают в коллизию с интересами пролетариата, то мне до них совершенно нет дела. Эльзасцы тоже угнетены, и я буду рад, когда мы снова сбудем их с рук. Но если накапуне явно надвигающейся революции они захотели бы спровоцировать войну между Францией и Германией, снова натравить друг на друга эти два народа и таким образом оттянуть революцию, то я сказал бы: «Остановитесь! Вы можете терпеть столько же, сколько и европейский пролетариат. Когда он освободится, и вы, само собой, станете свободными, а до тех пор мы не позволим вам становиться поперек дороги борющемуся пролетариату». То же и со славянами»¹.

В результате поражения революций 1848—1849 годов как в Праге, Париже и Будапеште, так и в Кёльне и Франкфурте Маркс и Энгельс в своей политике отошли от идеи союзов с демократическими силами и стали подозрительно относиться к любому национальному движению независимо от того, где оно возникло — внутри великих наций или же в немецкоязычных землях. В «Обращении», направленном в марте 1850 года Союзу коммунистов с целью возродить его к жизни, содержался призыв к бдительности в отношении мелкобуржуазных демократов и к созданию рабочей партии, «возможно более организованной... и возможно более самостоятельной» во имя того, чтобы «сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоеует государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьется настолько, что... по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев». Если Маркс и Энгельс отвергают национализм, то государство остается в силе как пролетарское государство;

¹ Письмо Ф. Энгельса к Э. Бернштейну от 22, 25 февраля 1882 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 229 и 230).

цель революции, по их мнению, заключалась теперь в том, чтобы не только построить в Германии «единую и нераздельную германскую республику», но и добиться в ее рамках «самой решительной централизации силы в руках государственной власти»¹.

Так выглядели первые наброски идеи о диктатуре пролетариата, которая должна была бы осуществиться в условиях сохранения государства по крайней мере в развитых капиталистических странах. Эта идея займет впоследствии центральное место, несмотря на критику социалистического государства лассальянского типа. Энгельс продолжил свою разработку этой идеи в работе «Революция и контрреволюция в Германии» (1852) на основе исторических изысканий по периоду возникновения немецкой нации в ходе крестьянской войны XVI века. На этом пути, оказавшемся плодотворным, но все же не лишенном влияния национализма, вероятно, идущим от немецкой историографии, Энгельс приблизился к этнологическим представлениям о национальности, хотя стержнем и этой его позиции осталось подчинение проблемы интересам революционной партии.

Позиция, занимаемая Марксом и Энгельсом в начале 50-х годов XIX века, не только показывает их отход от демократического движения, но и, быть может, объясняет, почему они поставили под сомнение самое будущее Польши, названной Энгельсом «une nation foutue» [пропадающая нация, обреченная нация. — *Ред.*]². Однако очень скоро мы снова находим благоприятные по отношению к Польше высказывания: в Польше может произойти революция. Намек такого рода был сделан уже в «Манифесте Коммунистической партии», где говорилось о поддержке коммунистами польской партии, «которая ставит аграрную революцию условием национального освобождения»³. Существование Польши Маркс считает необходимым и заявляет об этом на одном из заседаний Международного товарищества рабочих, выступая в поддержку демократического права на самоопределение. Затем в 1865 году на Лондонской конференции Маркс указал как на срочную задачу на уничтожение господствующего влияния России в Польше путем использования поляками права любого народа решать самому свою судьбу и восстановление страны на социальной и демократической основе. Восстановление Польши — одна из целей «рабочей политики».

Польский вопрос снова оказался причиной столкновения с Бакуниным. Основа аргументации Маркса и Энгельса оста-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 258, 261, 265—266.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, с. 240.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 458. См. также: С. Bobinska. Marx und Engels über Polnische Probleme. Berlin, 1958.

лась, однако, неизменной и подкреплялась тем же тезисом о народах без истории: по отношению к ним Маркс и Энгельс отказываются применять принцип национальностей, обычно используемый ими в связи с «великим вопросом о праве на национальное существование исторических народов», при этом они ставят вопрос, «что же такое панславизм, как не применение Россией в своих же интересах принципа национальностей к сербам, хорватам, русинам, словакам, чехам и другим остаткам былых славянских народов в Турции, Венгрии и Германии»¹.

Принцип восстановления независимости Польши был повторен в 1875 году с геополитической мотивировкой. «Другой причиной симпатии рабочей партии к возрождению Польши является особенность ее географического, военно-стратегического и исторического положения. Раздел Польши — вот та цель, которая скрывает между собой три большие военные деспотии: Россию, Пруссию и Австрию. Лишь восстановление Польши может разорвать эту связь и тем самым смести величайшее препятствие, стоящее на пути к социальному освобождению европейских народов»². Развитие экономики Энгельс использует в аргументации в поддержку польского дела и в 1892 году (на основе аналогичных аргументов пятью годами позже Роза Люксембург выступит с диаметрально противоположными выводами): «...Быстрое развитие польской промышленности, оставившей позади русскую, является в свою очередь новым доказательством неиссякаемой жизненной силы польского народа и новой гарантией его будущего национального возрождения»³. Таким образом, виталистическая концепция национального существования была сохранена и, быть может, даже усилена под воздействием дарвинизма. Однако двойственный политический детерминизм не претерпел изменений и по-прежнему зависит от будущего революции и от межгосударственных отношений. Впрочем, в том, что касается Польши, судя по всему, был намечен принцип необходимости национального освобождения как предварительного условия постольку, поскольку это освобождение обеспечивает развитие демократического движения в стране, считающейся «великой нацией», а также развитие рабочей революции в угнетающих странах, благодаря подрыву их консервативного деспотизма.

Правда, Маркс и Энгельс не смогли вывести понятие перехода к социальной революции от движения за националь-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 162.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 555.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 290.

ное освобождение непосредственно из своей экономической доктрины или своей исторической концепции о всемирной миссии пролетариата. Хотя их относительно неизменная позиция в поддержку независимости Польши (и скрытым образом в поддержку немецкого единства, пусть даже и осуществляемого Бисмарком) и кажется нам сегодня близкой к национально-демократическому течению, но против такого представления говорят романтические порывы и разочарования, ставящие на одну доску все проявления нетерпимости к национальному угнетению. Немецкие демократы, космополиты по своей тенденции, выступили в силу своего интеллектуального воспитания в роли апостолов социалистической революции в «главных» капиталистических государствах. В этом корни противоречия, которое в связи как с ирландским вопросом, так и с деятельностью I Интернационала превратилось едва ли не в парадокс.

3. Ирландия как исключение и уроки I Интернационала

Участие Маркса и Энгельса в разработке линии и акций Международного товарищества рабочих, главным образом в лондонском Генеральном совете, часто свидетельствует о поддержке ими двух национальных вопросов, которые в качестве таковых считаются двумя единственно важными задачами рабочего движения, о чем Энгельс считал необходимым еще раз напомнить Каутскому в письме от 7 февраля 1882 года: «...Две нации в Европе не только имеют право, но и обязаны быть национальными, прежде чем они станут интернациональными: это — ирландцы и поляки. Они более всего интернациональны именно тогда, когда они подлинно национальны»¹. Об основании I Интернационала было объявлено во время митинга в Сент-Джеймс-холле в Лондоне, созванного в честь годовщины польского восстания, а заявление о создании Интернационала прозвучало на другом митинге в поддержку Польши, состоявшемся в лондонском Сент-Мартинс-холле в сентябре 1864 года.

Однако с осени 1867 года на первый план выдвигается ирландский вопрос, считавшийся «ключом к решению английской проблемы и английским решением европейской проблемы». В этот вопрос Маркс и Энгельс оказались вовлеченными даже в личном плане, так как дочери Маркса помогали ирландским политзаключенным и поддерживали их голодовку, а Энгельс — ввиду отношений с Лиззи Бернс. Маркс был склонен ставить скорее на практическую, чем на теоретическую почву проблему прямой связи между национальным и

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 222.

рабочим движениями, между национальным вопросом и социалистической революцией. В случае Польши необходимость «национального восстановления» выводилась прежде всего из демократического принципа, а развитие демократии считалось этапом на пути развития капитализма в такой же мере в Польше, как и в России, Австрии, Пруссии и Германии, политическую эволюцию которой блокировала реакционная ситуация. Считалось также, что решение польского вопроса привело бы в действие демократический процесс, обычно сопутствующий развитию экономического либерализма. Если бы такого рода движение в итоге привело к пролетарской революции, то между ними не было бы прямой причинной связи. Напротив, ирландский вопрос, как считали Маркс и Энгельс, ставит на повестку дня пролетарскую революцию.

Рабочее движение, или Интернационал, должно взять на себя решение этой национальной задачи не из демократических соображений, а именно потому, что от ее решения зависит сама его судьба. При этом, впрочем, учитывается, что ирландское национальное движение, сугубо националистическое фенианство в ответ на ужасный гнет, обрушивающийся на Ирландию, прибегает к терроризму, а английская армия, как всякая колониальная армия, может прибегнуть к репрессиям в отношении английского рабочего класса. Но это соображение рассматривалось как второстепенное, как считается второстепенным социальное и даже социалистическое значение этого движения, поскольку оно оценивается как выражение ирландского пауперизма. Правда, Маркс склонен приписывать фенианству социалистическую тенденцию, так сказать, «от противного», как движению, направленному против частной земельной собственности. Так, он писал Кугельману: «Я все более и более прихожу к убеждению, — и теперь дело в том, чтобы вкоренить это убеждение в умы английского рабочего класса, — что он никогда не будет в состоянии сделать в самой Англии решительного шага вперед, пока не порвет окончательно с политикой господствующих классов в ирландском вопросе, пока он не только не станет действовать заодно с ирландцами, но и не возьмет на себя инициативу в деле упразднения основанной в 1801 г. унии и замены ее свободным союзом на федеративных началах. И такой политики английский пролетариат должен держаться не из сочувствия к ирландцам, а потому что она является необходимой с точки зрения его собственных интересов... Каждое народное движение в самой Англии парализуется разладом с ирландцами, которые и в самой Англии составляют очень значительную часть рабочего класса». Кроме того, решение ирландского вопроса нанесло бы решающий удар по гегемонии земельной олигархии, имеющей свой «сильно укрепленный форпост» как раз в Ирландии: «...Уничтожение земельной аристократии...

произойдет там несравненно легче, чем здесь, потому что для Ирландии это не только чисто экономический вопрос, но в то же время и *национальный*, ибо лендлорды в Ирландии не являются, как в Англии, традиционными сановниками и представительными лицами, а смертельно ненавистными угнетателями национальности»¹.

Рассуждения Маркса, когда он подчеркивает значение классовых отношений и формирования сознания английских рабочих, связано с логикой капиталистического развития, как оно проанализировано в «Капитале», а также исходит из господствующего положения Англии в капиталистическом мире. В письме к Зигфриду Мейеру и Августу Фогту от 9 апреля 1870 года он писал: «Англия, как метрополия капитала, как держава, до сих пор господствующая на мировом рынке, является пока самой важной страной для рабочей революции и к тому же *единственной* страной, в которой материальные условия этой революции достигли известной степени зрелости. Поэтому важнейшая цель Международного товарищества рабочих — ускорить социальную революцию в Англии. А единственное средство к тому — сделать Ирландию независимой... Специальная задача Центрального Совета в Лондоне — пробудить в английском рабочем классе сознание того, что *национальное освобождение Ирландии является для него не абстрактным вопросом справедливости и человеколюбия, но первым условием его собственного социального освобождения*»².

Несколько выше в том же письме подчеркнуто «самое важное»: «Все промышленные и торговые центры Англии обладают в настоящее время рабочим классом, который *разделен* на два *враждебных* лагеря: английский пролетариат и ирландский пролетариат. Обыкновенный английский рабочий ненавидит ирландского рабочего как конкурента, понижающего его уровень жизни. Он чувствует себя по отношению к нему представителем господствующей нации и именно потому делается орудием в руках своих аристократов и капиталистов *против Ирландии*, укрепляя этим их господство *над самим собой*. Он питает религиозные, социальные и национальные предубеждения по отношению к ирландскому рабочему. Он относится к нему приблизительно так, как белые бедняки относятся к неграм в бывших рабовладельческих штатах американского Союза. Ирландец с лихвой отплачивает ему той же монетой. Он видит в английском рабочем одновременно соучастника и слепое орудие *английского господства* в Ирландии... В этом антагонизме заключается тайна

¹ Письмо К. Маркса к Л. Кугельману от 29 ноября 1869 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, с. 531).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, с. 558—559.

бессилия английского рабочего класса, несмотря на его организованность»¹. Возможности освобождения рабочего класса в Англии и во всем мире, возможности социалистической революции связаны, таким образом, с требованием того, чтобы английские рабочие приобрели классовое сознание. Это как раз то условие, которое не было выполнено, что и явилось одной из причин краха I Интернационала. Однако Маркс и Энгельс благодаря своему воинствующему энтузиазму долгое время сохраняли на это надежду.

Ирландский вопрос имел для Маркса и Энгельса такое исключительное значение также потому, что они впервые на этой основе вынесли на обсуждение вопрос о перспективах пролетарской революции, которую они считали возможной в скором будущем. Сами того не осознавая, они таким образом затронули один из главных узлов будущих событий: рабочая революция разразится не в сердцевине капиталистических государств, ибо рабочий класс в развитых странах будет интегрирован — точно так же, как это произошло в XIX веке в Англии, — в государство и, разделяя господствующий национализм, отдавится от революционного социализма. Речь идет не только о феномене рабочей аристократии, который был отмечен Энгельсом в предисловии 1891 года к «Положению рабочего класса в Англии» и к которому впоследствии возвращался Ленин, так как национальное отчуждение в данном случае касается всего рабочего класса Англии, а о замеченном уже тогда разрыве между реальным развитием рабочего движения, с одной стороны, и революционной теорией — с другой.

Однако ни Маркс, ни Энгельс не стали заниматься в дальнейшем проблемами, связанными с формированием классового сознания. Не оставляя ирландское дело, они тем не менее перестали считать его решающим, так как, по их мнению, революционный центр переместился в континентальную Европу. Необходимо также учитывать и то, что, хотя ирландский вопрос и был определен Марксом и Энгельсом как колониальный, идея о необходимости предварительного национального освобождения подавляемой нации все же не была распространена на заморские колонии. И хотя ужасы колониализма осуждались, колонизация, характеризующаяся бурной капиталистической экспансией, рассматривалась в рамках великого поступательного движения цивилизации². Да, конечно, сопротивление колонизации тогда только начинало приобретать черты, характерные для национального движе-

¹ Там же, с. 557—558.

² См.: R. Gallissot. *Marxisme et Algérie*. Paris, 1976.

ния. Это проявилось уже в восстании в Египте в 1882 году, возглавляемом полковником Араби, что, очевидно, ускользнуло от внимания Энгельса: именно в этот период в своих письмах он размышлял об обуржуазивании английского рабочего класса, как бы расширяя анализ ирландского вопроса, но о будущей независимости говорил прежде всего в отношении стран-колоний, а не в отношении колонизованных обществ, которые являются подлинно угнетаемыми нациями, если только за них не заступится пролетариат метрополий.

«Вы спрашиваете меня, — писал он Каутскому 12 сентября 1882 года, — что думают английские рабочие о колониальной политике? То же самое, что они думают о политике вообще: то же самое, что думают о ней буржуа. Здесь нет рабочей партии, есть только консервативная и либерально-радикальная, а рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке. По моему мнению, собственно колонии, то есть земли, занятые европейским населением, Канада, Кап, Австралия, все станут самостоятельными; напротив, только подчиненные земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские, португальские, испанские владения, пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности»¹.

Не забудем, однако, что Энгельс добавил следующее: «Победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы». Итак, мы снова оказываемся перед логикой приоритета пролетарской революции, согласно которой решение национальных вопросов как второстепенных должно быть отложено на последующее время.

Противоречия, наметившиеся в связи с ирландским вопросом, быть может, помогут объяснить возвращение Маркса к диалектическому парадоксу при анализе, сделанном им после Парижской коммуны. Неомотря на все то, что можно было бы сказать после прочтения Маркса и его комментаторов, Коммуна была в основном национальным актом, а уж потом превратилась в рабочее дело, или, лучше сказать, Коммуна в основном ставила своей задачей обеспечение национальной обороны и с этой целью осуществляла народную власть, вдохновляясь интернационалистскими позициями рабочих. Этот демократический опыт был опрраничен рамками города и не приобрел национального масштаба: в этом заключалась драма Коммуны, заметил Маркс; но, быть может, по данной причине Коммуна и оказалась одним из последних

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 297—298.

крупных проявлений городского коммунизма, по крайней мере в стране развитого капитализма. Во всяком случае, движение коммунаров шло на гребне великого патриотического порыва, и Коммуна представляется нам прежде всего высоким проявлением национального духа.

В «Воззваниях», составленных от имени Международного товарищества рабочих, и особенно в «Гражданской войне во Франции» Маркс смещает центр реальных событий и использует борьбу коммунаров, анализируемую им как взятие рабочими власти, в качестве предлога для развития своих взглядов на пролетарское государство: «Единство нации подлежало не уничтожению, а, напротив, организации посредством коммунального устройства. Единство нации должно было стать действительностью посредством уничтожения той государственной власти, которая выдавала себя за воплощение этого единства, но хотела быть независимой от нации, над нею стоящей. На деле эта государственная власть была лишь паразитическим наростом на теле нации... Коммунальное устройство вернуло бы общественному телу все те силы, которые до сих пор пожирал этот паразитический нарост, «государство»... Одним уже этим было бы двинуто вперед возрождение Франции... Она была, по сути дела, правительством рабочего класса... политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда».

Затем в «Гражданской войне во Франции» дается общая картина диктатуры пролетариата, образовавшейся в рамках одной страны и трансформирующей национальное государство, кладя конец национализму: «Коммунальное устройство ошибочно считали попыткой заменить союзом мелких государств, о чем мечтали Монтескьё и жирондисты, то единство, которое — у крупных наций, — хотя и создано было первоначально политическим насилием, стало теперь могущественным фактором общественного производства»¹.

Парадокс пролетарского государства состоит в том, что оно является национальным вне рамок национальности или нации, а также не имеет никакого налета национализма, поскольку пролетариат, согласно формулировке, близкой к философскому парению периода 1845—1848 годов, отразившемуся в «Манифесте Коммунистической партии», будет «лишен отечества». В этом сердцевина противоречивости марксизма по национальному вопросу: не имея никакой теории нации, марксизм вынужден признать национальное государство, пусть для того лишь, чтобы возвратить государство гражданскому обществу, выводя его из лишения рабочего класса отечества посредством классового сознания.

Точности ради следовало бы заметить, что в эпоху I Ин-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 17, с. 344—346.

тернационала рабочий класс еще не «обрел отечество», ибо он еще только складывался в индустриальных капиталистических странах в результате ухода крестьян из деревень, широчайших региональных миграций, а также вследствие своей еще тесной связи не столько с ремесленным производством, сколько с физическим трудом и профессиональными навыками. В состав рабочих обществ, групп, секций и федераций I Интернационала входили именно трудящиеся-космополиты, кочевавшие из одной страны в другую, и ремесленники — портные, сапожники, лудильщики и т. п., — более многочисленные, чем промышленные рабочие (исключением были рабочие крупных корпоративных федераций): Интернационал по веским соображениям держался отнюдь не на национальной основе.

Именно английский рабочий класс был тем первым рабочим классом, который «обрел отечество», то есть подвергся последовательной общей интеграции в *государство*, а также оказался привязанным к своему национальному статусу через посредство собственного уровня жизни, несмотря на существовавшие внутренние региональные и этнические различия. Это действительно обнаружили Маркс и Энгельс в связи с ирландским вопросом. Поэтому неудивительно, что вопреки надеждам Маркса тред-юнионы первыми дезертировали из Международного товарищества рабочих — еще до трагической гибели Коммуны. Точно так же Интернационал лишился своей опоры в Европе из-за сопротивления организаций Швейцарии и Бельгии директивам Генерального совета, а главной силой этого Совета стали немецкие рабочие-эмигранты в Соединенных Штатах (чем и объясняется сделанное в 1875 году предложение перевести центр Интернационала в Филадельфию).

И вот уже в речи, произнесенной в Амстердаме, сразу после Гаагского конгресса, состоявшегося в сентябре 1872 года, Маркс признал необходимость учитывать национальные условия: деятельность международного рабочего движения должна была теперь осуществляться в рамках национальных государств. Такой урок вытекает из конца I Интернационала.

4. «Капиталоцентризм» и незавершенность исследования национальности

Оставим в стороне позиции, продиктованные конъюнктурными соображениями, но все же характеризующиеся значительным постоянством проводимой линии и мотивировок, и

† См.: G. M. Drava. *La Prima Internazionale. Storia documentata*. Roma, 1978, p. 834.

рассмотрим теперь мысль Маркса и Энгельса с точки зрения разработанной ими общей концепции развития капитализма: всем странам уготована судьба подчиниться закону этого развития и его закономерностям при переходе через капиталистическую стадию, известную как важнейшая фаза на пути прогресса цивилизации, дающая возможность преодолеть узость национальных барьеров, кладя конец варварству крестьянских наций, первобытному разбою и кочевой жизни, дикому состоянию «естественных» наций. В этом смысле термин «нация», имеющий небольшое значение, употребляется Марксом и Энгельсом почти исключительно как показатель разнообразия народов¹. Что касается феодальных перегородок, патриархальных связей, то создание мирового рынка и развитие свободного обмена сокрушат национальные границы; капитализм подготавливает исчезновение наций. «Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными», — утверждает в «Манифесте Коммунистической партии»².

Капитал рассматривается Марксом и Энгельсом в исторической перспективе объединения мира: пролетарский же интернационализм противостоит капиталистическому космополитизму либералов — сторонников свободной торговли. Данная интерпретация имеет, однако, тот недостаток, что упускает из виду экономическую функцию самого государства, главного звена, отсутствующего в «Капитале», и наделяет самостоятельностью экономическую инфраструктуру. Впрочем, недооценка экономической функции государства, разрыв между базисом и надстройкой — этот разрыв пытались безрезультатно восполнить тезисом об отражении — не столь серьезны, как обрасывание со счета коллективных социальных реальностей, между которыми помещается нация, иначе говоря, ограничение исследования исключительно сферой межклассовых отношений.

Мало того, что Маркс весь свой анализ сосредоточил на торговом капитализме, который в Англии превратился в промышленный, в экспликативном аппарате «Капитала» также наблюдается тенденция увязать всю историю, сегодняшнюю и вчерашнюю, с этим типом капиталистических отношений. И дело не столько в европоцентризме — ибо Маркс признает смещение центра тяжести капитализма, вызывающее одновременное смещение революционного центра в направлении Германии и, возможно, в XX веке в направлении Соединенных Штатов и России, — околько в капиталоцентриз-

¹ О слове молодого Маркса см.: J. Gertler. Zur Bedeutung der Kategorien Volk und Nation in den frühen Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. — In: "Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte". Berlin, 1973.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 428.

ме, к которому сводится все развитие человечества. Способы производства сменяют один другой как «прогрессивные эпохи экономической общественной формации», а «буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства... Буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества»¹. Данная перспектива революционной цели и его исторический агент — организация рабочего класса — в конечном счете и оправдывают конъюнктурный выбор того или иного национального дела. Выходит, напрасный труд противостоять шестивку материальной силы — историческому материализму капитала; выходит, защищать специфику старых деревенских общин, отставших в своем развитии народов, варварских национальностей, являющихся обломками цивилизаторских деминургов, означало бы сопредельно против истории и научных законов.

Именно такого рода примыкание марксизма к односторонним представлениям о прогрессе и связывает его с научным эволюционизмом XIX века до такой степени, что заставляет думать о своего рода дарвинистском отборе народов. Настойчивость, с какой Энгельс переносит экономические законы на законы природы и связывает историческую диалектику с диалектикой природы, делает такую параллель еще более очевидной.

Все это, однако, не означает, что в этих основополагающих текстах марксизма — несмотря на неопределенность словаря — отсутствует различие между национальностью и нацией: в этих текстах есть даже исследование национальностей. Одно только примечательно: не это мы находим за рамками работ, посвященных экономике, и за рамками обобщающих статей Энгельса, излагающих суть учения, и даже — главным образом — его публицистических выступлений, посвященных национальному вопросу и международным событиям. Нация восходит к современному обществу капиталистического государства, национальности же связаны с длительным периодом прошлых дифференциаций и объединения населения в народы. Конечно, общинные формы и история великих наций — на первом этапе развития исторической мысли Маркса — расставлены вдоль магистрального пути, который от азиатского способа производства, если не от первобытного коммунизма, ведет к античному способу производства, затем к рабовладельческому, феодальному и к западному капиталистическому способу производства. Причем этот путь ведет в той последовательности, которую не может не

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 7—8.

напомнить нам движение идеи Гегеля — от Китая к Персии, Египту, Греции, Риму и т. д., через германские нашествия, к Священной Римской империи и современным монархиям Запада, наконец, к государствам буржуазной революции, освещенным взрывом Французской революции. Но вся эта прямолинейная схема очень скоро полностью разрушится в ходе исследований Маркса и Энгельса. Ведь уже в период написания «Капитала» Маркс изучал «формы, предшествующие капиталистическому способу производства», как об этом стало известно почти столетие спустя после опубликования «Экономических рукописей 1857—1859 годов». Сельские общины рассматриваются как коллективные социальные образования, которые не связаны с одной лишь классовой структурой, не сводятся к производственным отношениям, различаются между собой этнически. В то же время они служили опоркой социальной эволюции, завершающейся или не завершающейся в национальном плане, и их можно иногда обнаружить в составе наций (например, в Шотландии) или же проследить их исчезновение (в Германии) либо сохранение (в России).

Позднее внимание Маркса и Энгельса привлекла проблема родственных связей и отношений, о чем свидетельствуют «Этнологические тетради» Маркса, недавно изданные Л. Крадером, и «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса (1884). В итоге работа над «Капиталом» так и не была доведена до конца: в целях уточнения природы земельной ренты Маркс с головой ушел в длительные исследования организации сельских общин и докапиталистических форм, положив начало изучению социальной истории, идущей гораздо дальше схем экономического производства и воспроизводства. Общинные реальности сельских и этнических общин привели к глубокому изменению самих представлений о прошлом, что нашло отражение в многомерной истории, очерченной Марксом в набросках письма к Вере Засулич от 1881 года¹. Выписки из книги русского ученого Максима Ковалевского о коллективной земельной собственности — в книге, полученной Марксом из Москвы сразу же после ее публикации в 1879 году, — свидетельствуют о расширении сферы исторического исследования за счет множественности перспектив².

Можно только сожалеть о том, что если о «молодом Марксе» существует обширная литература, то его последние размышления до сих пор не подвергнуты такому же изучению. На заключительном этапе исследований Маркса фоном для про-

¹ См. письмо К. Маркса к В. И. Засулич от 8 марта 1881 года (*К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 35, с. 137).

² См.: "Ecrits sur le tsarisme et la commune russe". — In: "Cahier de l'Ise", 1969, № 7.

ведения различий между той или иной «исторической средой» становится дифференциация по коллективному признаку, хотя эта догадка приводит обычно лишь к классическому противопоставлению Востока Западу. И все-таки здесь начинается прослеживаться различие между моделью наций «Запада, развившихся полностью буржуазным путем», и национальной формацией, которая будет иной на Балканах, в Центральной или Восточной Европе. Так, когда Каутский спросил Энгельса, как он представляет себе национальную судьбу южных славян и какую позицию следовало бы занять социалистам, Энгельс затруднился ответить, ибо эти национальные движения находятся «вне нашей культурной среды» (см. письмо от 11 мая 1882 года), что, однако, не помешало Энгельсу перейти затем к поспешным выводам относительно международной политики.

Помимо такого рода политических высказываний, исследование проблемы национальности продолжалось. Энгельс, больше погруженный в свою великую работу, чем Маркс, расширил сферу исследования национальности благодаря изучению лингвистических племенных стволов, миграции народов, общинных структур, основанных на родственных связях, организации деревни и наконец признал, что исторически существуют способы общественных отношений, непосредственно не принадлежащие к производственным отношениям и тем не менее лежащие в основе общественного воспроизводства. Это такие коллективные формы, которые могут стать национальной базой в ходе собственной трансформации и благодаря своей возможности ассимилирования, а также долговечности культуры.

Что касается Польши и многонациональной ситуации в Восточной и Центральной Европе, то Энгельс весьма быстро заметил наличие движения населения, а также изменение языковых и территориальных границ на протяжении «исторического развития последних двух тысячелетий». Многонациональный состав государств, а значит, и современных национальных государств, объясняется именно этими факторами: «В Европе не существует такой страны, которая бы не состояла из различных национальностей, находящихся под властью одного правительства... И по всей вероятности, так будет всегда».

Энгельс, работая над своей незавершенной «Историей Ирландии» (1869—1870), особенно углубил изучение этнической ассимиляции и сохранения специфики национальной культуры независимо от изменений в словаре и от привычного для той эпохи языка науки, использовавшего расистскую терминологию. Он полагал, что ирландский национальный ха-

рактир определяется благодаря именно этому двойному движению — амальгамированию и дифференцированию: «Если бы эта ассимиляция * удалась, то ход ее следовало бы целиком отнести к области истории. Он подлежал бы ее приговору, но возврат к прошлому был бы уже невозможен. Но если, после семивековой борьбы, ассимиляция не удалась, если, наоборот, за каждой из новых волн, одна за другой наводнявших Ирландию завоевателями, следовала их ассимиляция самой Ирландией, если ирландцы и в настоящее время еще так же мало стали англичанами, или так называемыми «западными британцами», как поляки, которые подвергаются угнетению только сто лет, — «западными русскими», если борьба все еще не окончена и нет никаких видов на ее окончание иным способом, кроме истребления угнетенной гасе, — то никакими географическими осылками нельзя будет доказать, что Англия призвана покорить Ирландию»¹. Энгельс занялся изучением народной культуры, легенд и песен, литературной культуры духовенства с целью обнаружить, «несмотря на все примеси германской крови», ирландский национальный характер.

Объясняя формирование нации, Энгельс далее подчеркивает решающее значение колониального положения страны, которое изменило ход ирландской истории: несмотря на языковое и культурное угнетение, накладывающееся на аграрную колонизацию, национальность не исчезает, напротив, социальная оппозиция препятствует ассимиляции, и сопротивление превращается в национальное движение. Ирландия должна стать нацией, порвав с колониальным господством. Необходимо отметить исключительный характер анализа ирландского вопроса как вопроса колониального: ведь аналогичный анализ не распространялся на страны, находившиеся в то время на положении колоний. И все-таки этот подход Энгельса предвосхищает представления о национально-освободительных движениях, пусть даже он касался лишь их отношения к британской метрополии, которая по-прежнему считалась очагом рабочей революции в капиталистическом мире.

Наибольшим достижением исследований Энгельса по национальному вопросу — по крайней мере в том, что касается публично изложенных взглядов, так как работать в этом направлении Энгельс не прекращал и в дальнейшем, — можно считать предисловие к «Происхождению семьи, частной собственности и государства», где содержится признание основополагающей функции общественного воспроизводства, то есть чередования поколений людей, составляющих коллек-

* Ирландии Англией. — Прим. ред.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 482.

тивные общественные формации, воспроизводства такого рода, которое нельзя оторвать от экономического производства и воспроизводства, но нельзя и отождествлять с ними.

Энгельс писал: «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой — производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны — труда, с другой — семьи»¹.

Следует подчеркнуть, что сведение марксизма к простой «природе» отношений и способов экономического производства — этот ортодоксальный взгляд в дальнейшем приведет к выстраиванию в шеренгу механических чередований способов производства, к «капиталоцентризму», ставшему господствующим взглядом в ходе развития социализма как идеологии, или как «сознания», европейского рабочего движения, — повлекло за собой утрату в марксистской теории возможности решить проблему, сопоставляя нацию и классы посредством исторического объяснения, ведущего к пониманию общества через экономический анализ классовых отношений, неявно существующих до капитализма, и через осмысление самого воспроизводства общества как общинного комплекса — начинаая семей и кончая народом, — а также как исторического сообщества, претерпевающего постоянные преобразования в своих внутリエкономических отношениях и в ходе непрерывного процесса культурной ассимиляции и диссимилиации, на котором базируется национальность. Утрата такой возможности, несомненно, способствовали сама действительность марксизма в борьбе трудящихся масс и его относительное укоренение в рабочем движении и в среде работников умственного труда. Эта утрата и привела к известному сведению марксизма к экономизму, тем более что оставшиеся незавершенными исследования Маркса и Энгельса и поднятые ими исторические вопросы долгое время оставались неизвестными — никто не видел ни текстов, ни черновиков рукописей. Марксизм II Интернационала взял на вооружение только «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал», в основном первый том, в меньшей степени — второй, вышедший в 1885 году, и еще меньше — третий, опубликованный в 1894 году, хотя именно третий том возвращается к проблеме генезиса капитализма, хотя здесь анализ об-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 25—26.

щества и не доведен до конца. Так образовался разрыв между этнологией и тем, что призвано было стать марксистской традицией, то есть комментирование работ классиков об экономике, их полемических произведений, посвященных политическим вопросам, а также исследований материализма. По этой же причине в конце концов упор стали делать на принцип национального государства, тем более что социалистические партии, и в первую очередь немецкая социал-демократия, сформировались как национальные партии, объединенные во II Интернационале.

5. Национальный этатизм и его первая теоретическая разработка у Каутского

На основе опыта, приобретенного в связи с национальным вопросом, а также благодаря размышлениям Маркса и Энгельса о национальности наметился путь, который, с одной стороны, подавал народам «без истории» больше надежд на будущее, а с другой — приносил известную рационализацию во взгляды на место, занимаемое национальным государством в истории, и на его все большее утверждение, хотя и без терминологического пояснения. Трудно сказать что-то большее, не обращаясь к источникам и вне контекста. Правомерность национальности и многонациональной реальности стала признаваться более широко, но политические судьбы национальностей по-прежнему подчинялись революционным интересам. Когда Энгельс в письме к Бернштейну от 9 октября 1886 года излагал свою точку зрения на балканский кризис, он был настроен в пользу национальных движений южных славян только в том случае, если они находились в оппозиции к России. Если же они вдруг воювали бы против Османской империи, то это движение следовало бы считать контрреволюционным, так как оно создало бы возможность для экспансии царизма. Впрочем, естественно, если бы Россия перестала быть реакционной державой, то есть там произошла бы демократическая революция, то южные славяне могли бы самостоятельно развиваться¹. Наряду с этим Энгельс в 1890 году допускает, что сохранение Австрийской империи оправданно постольку, поскольку она представляет собой преграду на пути продвижения русских к Константинополю; если бы империи исчезли, то национальностям были бы свободными: «Магьяры, румыны, сербы, болгары, арнау-ты, греки и турки получают, наконец, возможность уладить без иностранного вмешательства взаимные споры, произвести

¹ См. письмо Ф. Энгельса к Э. Бернштейну от 9 октября 1886 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, с. 462—463).

размежевание своих национальных территорий, устроить свои внутренние дела по собственному усмотрению. Тогда сразу обнаружится, что главным препятствием к автономии и свободному объединению народов и обломков различных народностей на территории между Карпатами и Эгейским морем был все тот же царизм, который использовал мнимое освобождение этих народов для маскировки своих планов мирового господства»¹.

Логика рассуждений Энгельса не изменилась, однако проводимое различие между историческими нациями и народами без истории исчезло, и, следовательно, демократическая революция могла теперь вылиться в освобождение национальностей.

В то же время Энгельса начинает беспокоить проблема национализма. Когда речь идет о «подлинной» угнетаемой или даже разделенной национальности вроде Польши, тогда это — законное явление, тем более что, становясь навязчивой идеей, оно уводит в сторону от классовой борьбы. Касаясь той же Польши, Маркс, по словам Энгельса, говорил: «Пока жизнеспособный народ скован чужеземным захватчиком, но по необходимости направляет все свои силы, все свои стремления, всю свою энергию против внешнего врага; и пока его внутренняя жизнь остается таким образом парализованной, он не в состоянии бороться за социальное освобождение»². Энгельс же теперь опасался, что пролетариат не в состоянии идти против течения. Так, в 1882 году он писал Бебелю: «Европейскую войну я считал бы несчастьем; на этот раздел приняло бы чрезвычайно серьезный характер, война на долгие годы разожгла бы повсюду шовинизм, так как каждый народ боролся бы за свое существование. Вся работа русских революционеров, которые уже находятся накануне победы, оказалась бы бесполезной, пошла бы насмарку; нашу партию в Германии сразу же захлестнул и расколол бы поток шовинизма, и то же самое произошло бы во Франции»³.

В 1891 году в статье, появившейся в «Нойе цайт», Энгельс бьет тревогу в связи с опасностью возникновения войны между Германией, с одной стороны, и Францией и Россией — с другой. Германия, по его мнению, будет бороться за существование, но то же случится и с социал-демократической партией, которая должна будет защищаться до последнего человека. Его утверждения впоследствии были использованы немецкими социал-демократами в 1914 году для

¹ Ф. Энгельс. Внешняя политика русского царизма (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 49—50).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 555.

³ Письмо Энгельса к А. Бебелю от 22 декабря 1882 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 348).

оправдания своей поддержки национальному делу и голосования за военные кредиты. Раз судьбы революции в Германии связаны с ростом социал-демократии, то разве не необходимо попытаться спасти партию любой ценой¹. По мнению социал-демократов, решающим фактором в революционной ситуации было соотношение силы между государствами, причем государственная мощь только усиливала революционный эффект; развитие государства, полагали они, расширяло также возможности пролетариата.

Национальная модель, модель развитого капитализма и буржуазной демократии, — это, следовательно, и есть то государство-нация, какое виделось Энгельсу. Если национальное государство — нормальная форма организации господствующей буржуазии, то «без установления независимости и единства каждой отдельной нации невозможно ни интернациональное объединение пролетариата, ни мирное и сознательное сотрудничество этих наций для достижения общих целей». Подводя своеобразный итог развитию европейских стран после 1848 года, Энгельс подчеркивал: «Но ни в какой стране господство буржуазии невозможно без национальной независимости. Поэтому революция 1848 г. должна была привести к единству и независимости тех наций, которые до того времени их не имели: Италии, Германии, Венгрии. Очередь теперь за Польшей»². По этой причине первоочередной задачей рабочего движения должно было стать создание «мощных национальных организаций».

В конечном счете для марксизма нет разницы между государством-нацией и тем, что Маркс называет обобщенно «современным обществом», то есть «капиталистическое общество, которое существует во всех цивилизованных странах, более или менее свободное от примеси средневековья, более или менее видоизмененное особенностями исторического развития каждой страны, более или менее развитое»³. Уже сформировавшаяся или потенциальная нация (например, Польша) — это та сфера, в которой развивается классовая борьба, то есть прежде всего осуществляются господство буржуазии и, следовательно, завоевание рабочими политического руководства. В Европе 1848 года буржуазия предприняла попытку прийти к власти в Италии, Германии, Австрии и Венгрии; контрреволюция остановила ее движе-

¹ О немецком рабочем движении см. также: H. U. Wehler, *Sozialdemokratie und Nationalstaat. Nationalitätenfrage in Deutschland 1840—1914*. Göttingen, 1971; W. Conze, D. Groh, *Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung*. Stuttgart, 1966.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 382.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 27.

ние, и буржуазия разных стран должна была снова добиваться национального единства. По завершении этого начинания благодаря завоеванию власти в национальном масштабе рабочим классом начнется социалистическая революция.

Не удивительно, что сотрудничавший с Энгельсом молодой Карл Каутский, который в 1883 году был одним из основателей теоретического журнала немецкой социал-демократии «Нойе цайт», попытался систематизировать наследие марксизма и дать первую синтетическую формулировку того, что он называл «современной национальностью». В силу своего происхождения и воспитания Каутский остро осознавал национальный вопрос, или, лучше сказать, проблему национальностей, в Австро-Венгерской империи и — в более широком плане — в Центральной, Восточной Европе и на Балканах. Когда в 1887 году Каутский начал писать свою статью в «Нойе цайт», у него еще были свежи впечатления от поездки в Лондон, где он сопоставлял, в частности по ирландскому вопросу, свои идеи с мыслями Энгельса. Поэтому можно сказать, что благодаря соединению тех и других он был в состоянии систематизировать учение марксизма по национальному вопросу. Каутский воспринял и дополнил марксистское объяснение формирования нации: ее генезис в условиях восходящего капитализма, начиная с торгового капитализма итальянских и немецких городов в XV веке; ее распространение при неравномерном развитии капитализма, вызывающее фазы спада и отливов в Центральной Европе и Средиземноморье и периоды быстрого продвижения в атлантической Европе; ее кризис под воздействием свободного обмена и даже ее неизбежное исчезновение. «Классическая форма современного государства — это национальное государство», — утверждал Каутский. Но это законное оправдание существования национального государства вызвало как следствие необходимость признать национальный вопрос: «Сегодня нет ни одного чисто национального государства, которое было бы в состоянии полностью включить в себя нацию и которое не включало бы в себя целиком или частично другие нации. Формирование национальных государств и формирование самих наций еще не завершено». Таким образом, в отличие от бывших наблюдений Маркса и Энгельса, относивших национальности к прошлому, Каутский считает, что они существуют для себя и принадлежат настоящему. Если он и осуждает панславизм, то только потому, что он «несовместим с подлинной национальной жизнью каждого славянского народа». Можно было бы сказать, что его австрийский опыт подсказывает ему то, что нам представляется постоянной практикой в тех случаях, когда речь идет о поиске решений, призванных примирить государственную организацию жизни с национальным вопросом. Коль скоро капитализм развивается ре-

гионально, полагает Каутский, то национальный антагонизм обостряется, равновесие разрушено, и необходимо найти новую национальную организацию политической жизни общества.

Национальную зрелость, являющуюся, следовательно, результатом развития капитализма, Каутский определяет как социальное расширение: если классы крестьян и мелких буржуа подвергаются угрозе, то усиливаются собственно капиталистические классы. В ходе этого преобразовательного движения всякий регресс на пути национального развития подвергает опасности общество в целом, и — что еще хуже — в случае покорения или расчленения нации «страдает весь народ». На протяжении столетий идет борьба, вызываемая стремлением к единству и национальной независимости: «Национальное чувство, таким образом, является движущей силой, действующей самостоятельно, вне связи с экономическим развитием, а в некоторых случаях становится даже препятствием для такого развития».

Однако более самобытный, чем определение значения национального чувства, вклад Каутского в разработку национального вопроса заключается, вероятно, в осмыслении функции интеллигентов в национальной сфере — тех, кого он называет «умственным пролетариатом», то есть тех, для кого образование — единственный капитал, с помощью которого они могут вырваться из крестьянской или мелкобуржуазной среды, тех, чье социальное будущее зависит от создания новых рабочих мест, что возможно благодаря расширению деятельности государства¹. Это тот социальный слой, который в конце концов становится носителем национальных требований, так как национальная независимость дает этим интеллигентам возможность продвигаться вверх по социальной лестнице. Этот слой готов даже ринуться в колониальную политику и согласиться с изгнанием с государственной службы ненациональных элементов. Но надежда на доступ к государственной службе в рамках национального государства может и не оправдаться, если развитие капитализма пойдет ускоренными темпами. Поэтому, полагает Каутский, чешское национальное движение действительно обречено на провал, так как должно победить более широкое движение.

Такой подход к проблеме привлекает внимание к силе национализма, к его особой социальной базе, которую в то время составляли мелкая буржуазия и те, кто выполнял ее функции в государственном аппарате, к связанным с национализмом чаяниям и его способности идеологически мобилизовать угнетаемые нации. И хотя вопреки ожиданиям Каут-

¹ См.: *K. Kautsky. Die Intelligenz und die Sozialdemokratie.* — In: «*Neue Zeit*», 1894—1895.

ского чешское национальное движение не потерпело провала и даже добилось создания нового государства, его толкование проблемы, как показывает сегодня опыт приобретения независимости колониальными странами, сохраняет свое значение: «пролетарская интеллигенция» прибирает к рукам новое государство, или, попросту, старое колониальное государство, узаконивая национализм в ущерб оказавшимся в меньшинстве национальностям или вообще отказывая им в праве на существование, а также в ущерб соседним соперничающим государствам, — и снова национальный этатизм одерживает триумф.

Все же Каутский считает, что будущее принадлежит не этим движениям. Подобно Марксу и Энгельсу, он питает иллюзии в отношении интернационализма свободной конкуренции: «Внутренний рынок теряет свое значение по сравнению с внешним рынком по мере того, как растет экономическая зависимость каждой из современных наций от заграницы».

Территориально рынок становится слишком узким, языковые границы рушатся. Появляются мечты об универсальном языке — «волапюке». Нация уже сейчас переживает кризис. Прибегая к помощи протекционизма, чтобы справиться с перепроизводством, впадая в шовинизм, буржуазия становится реакционной. Теперь дело за пролетариатом — он должен разрушить национальные рамки, довести до конца работу капитала: «По мере развития современного способа производства и углубления интернациональной солидарности трудящихся национальная солидарность между рабочими и капиталистами одной и той же нации уменьшается». Но ведь теперь уже нельзя сказать, что пролетарский интернационализм «не знает границ», как говорилось в «Манифесте Коммунистической партии»; даже пролетариат проходит фазу «обретения отечества». Каутский вскрывает новое противоречие между рабочим движением и марксизмом, ибо сам рабочий класс становится национальным и в свою очередь приносит жертву национализму: «Конечно, антагонизм между буржуазией и пролетариатом не перестает расти, но в то же время пролетариат все более становится ядром нации благодаря своей численности, интеллигентности и энергии; интересы пролетариата и интересы нации совпадают во все возрастающей степени. Враждебная по отношению к нации политика была бы, следовательно, самоубийственной для пролетариата».

В заключение Каутский делает попытку совместить пролетарский интернационализм, имеющий тенденцию к благопристойной утопии, с солидарностью наций, стремящихся к социализму. Революция подведет итоги национальным государствам: «Задача этого столетия состоит в том, чтобы открыть путь такому развитию посредством ликвидации эко-

номических антагонизмов, которые, с одной стороны, отделяют нации одну от другой, а с другой — в возрастающей степени раздирают сами нации изнутри. Задача заключается также и в том, чтобы установить единство международной жизни одновременно с единством жизни национальной».

Таков идеал мира между народами, который пытались противопоставить националистическому озлоблению дерулов, катковых и «Кёльнише цайтунг», то есть тому, что в то время повсеместно именовалось патриотизмом, выражавшимся даже в милитаристской форме.

Несмотря на свою прямую преемственную связь с первоначальным марксизмом, и в особенности на соответствие с эволюцией взглядов Энгельса, которые после смерти Маркса шли в направлении к национальному государству и огосударствлению рабочего класса, это первое марксистское обобщение по вопросу о нации открывает новую эпоху. В эту эпоху действительно закладывается фундамент для национального развития рабочего движения. Но в то же время она характеризуется противоречиями между буржуазным либерализмом, сохранившимся в Западной Европе и вселявшим надежды на демократический прогресс на Востоке, национальной и националистической реакцией на протекционизм и первыми формами монополистических экономических образований. Каутский, как и Энгельс, верил в продвижение к социализму в рамках крупных капиталистических государств благодаря двойному наступлению индустриализации и урбанизации наряду с наступлением рабочего движения, ставшего движением большинства.

В частности, в этой схеме Каутского уже содержатся в зародыше узловые вопросы дискуссии о нации, по которым в дальнейшем начнутся столкновения между социалистическими партиями и фракциями, партийными представителями, теоретиками и доктринерами. К этим вопросам относятся: индустриализация, которая, как утверждает Роза Люксембург, опережает рост рабочего движения; федерализм, с помощью которого можно найти выход из многонациональной ситуации в Австрии и на Балканах; значение национального чувства, языка и культуры на этих двух территориях и в связи с еврейским вопросом в России; национальное государство как модель нормального (по мнению марксистов-экономистов, легальных марксистов и Борухова) развития классов и классово-вой борьбы; функция интеллигенции и мелкобуржуазный характер национальной идеологии (как понимали ее радикальные интернационалисты). Только Отто Бауэр, осмысливая историю формирования наций, рискнул выступить с другим обобщением марксистского учения по национальному вопросу, с обобщением совершенно иного масштаба. Каутский устранил такое положение вещей, когда национальный воп-

рос рассматривался марксистами как второстепенный и трактовался с этатистских позиций, на первых порах лишь молчаливо подразумевавшихся, а впоследствии ставших явными в результате развития рабочего движения в рамках государства-нации. Во II Интернационале национальная проблема стала центральной, а национализм был субъектом и объектом краха тогдашнего рабочего движения.

6. Кошмар национализма во II Интернационале

В сентябре 1907 года на Эссенском съезде германской социал-демократической партии подруга Розы Люксембург Клара Цеткин, также занимавшая левые позиции в партии, говорила о «родине», которую пролетариат должен завоевать в борьбе против «внутреннего врага» и которая должна стать «родиной для всех». Обращаясь к правому крылу партии, в частности к Нооске, призывавшему к «национальной солидарности», она напомнила, что капитал лишает пролетариев их отечества. В то же время она отвечала и тем, кто вслед за Гюставом Эрве восклицал: «Наше отечество — это наш класс!» Незалого до того Клара Цеткин опубликовала в еженедельнике женщин-социалисток «Глайххайт» («Равенство») серию статей о «нашем патриотизме», в которых утверждалось, что рабочий класс борется «за превращение государства эксплуататоров в подлинное отечество для эксплуатируемых». «Пролетариат, — писала она, — вынужден прежде всего завоевывать отечество для себя»¹. Эти фразы напоминают нам слова Жореса, но как изменился и тон и язык, если вспомнить, к чему зывали за 30 лет до этого Гед или В. Либкнехт, говоря о международном пролетариате, подымающемся против буржуазной нации!

В том же, 1907 году Бауэр опубликовал работу «Национальный вопрос и социал-демократия», где можно прочитать, например, следующее (это еще ближе к Жоресу): «Социалистическое общество осуществит на практике мечту Фихте: приобщить каждого к развитию национальной культуры... Социализм обретет свое значение благодаря доступу всего народа к общности национальной культуры, благодаря завоеванию полного самоопределения нации, благодаря национальной духовной дифференциации».

Казалось, социал-демократия намерена вырвать знамя «отечества» из рук буржуазных партий и использовать его в качестве требования рабочего движения. По мере того как в последнее десятилетие XIX века и в начале XX века евро-

¹ Ж. Бадиа дал французский перевод этих статей в: «Pluriel-débat», 1975, № 2.

пейский национализм становится все более угрожающим и появляются сторонники войны, II Интернационал развивается в атмосфере националистического угара и в нем все больше возрастает напряженность между защитниками «национального интереса», склонными отождествлять его с национальным государством, пусть даже буржуазным, и верными приверженцами марксизма, которые пытаются заменить национальное государство отечеством пролетариата или всенародным государством. Эту ситуацию, вызывавшую изменение позиций в ходе медленного и часто противоречивого процесса развития, можно сравнить с серьезным поворотом в советском и международном коммунистическом движении, когда в 1934—1936 годах (достигнув апогея после немецкой агрессии в 1941 году) даже с еще большей быстротой брали на вооружение «национальные ценности». Судя по всему, угроза войны, подобно катализатору, ускоряет проявление противоречий марксизма в вопросе о нации.

Однако при сравнении этих двух исторических периодов не следует заходить слишком далеко, так как в эпоху II Интернационала конфликты только начинали развиваться, хотя и прогрессировали весьма быстро. В частности, конфликты эти были тогда двух различных видов и могут быть отнесены к двум разным сферам. В развитых капиталистических странах существовал национализм, направленный на защиту данного государства, а для рабочих этот национализм служил защитой того положения рабочих в национальных рамках, которое завоевал пролетарский класс, имеющий тенденцию к определенной форме интеграции в государство, особенно через синдикализм. В Западной Европе лишь одна Ирландия отличалась по степени развития национального вопроса; там этот вопрос приобрел иное значение, а именно борьбу за освобождение. На Балканах же, в Центральной и Восточной Европе ставился вопрос о национальности, или, лучше сказать, о национальностях. Для II Интернационала национальные рабочие движения в Восточной Европе открыли своего рода второй фронт, ставший также ареной теоретической дискуссии об осуществлении национального вопроса при социализме. Социалистические партии раскалываются, фракции противопоставляются друг другу, и на таком фоне разворачивается оживленный теоретический поиск. Дебаты начались на Лондонском конгрессе 1896 года в связи с вопросом о Польше, и уже на этом конгрессе произошло размежевание между националистами и сторонниками развития всех национальностей. В дальнейшем они развернулись еще шире, в итоге принятия компромиссной австрийской программы в городе Брно (1899), которая породила дискуссию в России. Особенно серьезной эта дискуссия стала после революционного взрыва 1905 года. Началась она с работы Бауэра и его диалога с

Каутским, затем обострилась из-за разногласий по вопросу о самоопределении и достигла кульминации в споре между Лениным и Розой Люксембург.

Это крещендо дискуссии, знаменовавшее собой и развитие теории, происходило в обстановке столкновений по организационным вопросам, определявшим практику рабочего движения. На первый план выдвинулся вопрос о партии и ее программе: партия национальная или партия революционная, национальная автономия или централизм? Быть может, именно в связи с обсуждением этого вопроса о партии обнаружилось новое противоречие: марксизм и национальный вопрос, проблема коммунизма и верховенства партии, — противоречия, которые коренились в недостаточности большевистского решения проблемы, но на первых порах были замаскированы тем, что это решение имело успех в условиях разгула национализма, вызванного развязыванием империалистической войны.

7. Национализм и национальное освобождение: от Розы Люксембург к Джеймсу Конноли

Восстановление рабочего Интернационала с 1889 года происходило, как правило, хотя прямо это нигде не было установлено, на основе участия в конгрессах одной делегации от каждой страны. Делегация формировалась из представителей политических и профсоюзных организаций, если, конечно, они не были объединены в одну, как это было в случае Бельгийской рабочей партии. Формы представительства — а по сути дела, политический отбор, проводившийся исходя из признания необходимости автономной политической деятельности, — вырабатывались иначе, чем у анархистов, иными словами, иначе, чем у тех, кто считал, что борьба за рабочее дело неделима. Такова была центральная тема Лондонского конгресса 1896 года, однако именно на нем, правда, под сурдинку, и возникла по инициативе Розы Люксембург дискуссия по национальному вопросу.

Разгоревшийся конфликт — как, впрочем, случится еще не раз в будущем — носил прежде всего организационный характер, будучи связан с разногласиями между Польской социалистической партией (ППС), выступившей с резолюцией в поддержку независимости Польши, и Союзом польских социалистов за рубежом, малочисленной партией, одной из вдохновительниц которой была сама Роза Люксембург, а также Социал-демократией Королевства Польского (СДКП), основанной в 1893 году. Предложенный текст резолюции в основном отражал позицию Маркса в I Интернационале по вопросу о Польше и главным образом об Ирлан-

дни: «Принимая во внимание, что порабощение одной нации другой может играть на руку только капиталистам и деспотам, что это всегда и при любых обстоятельствах оборачивается несчастьем для трудового народа угнетенных наций, что особенно русский царизм, черпающий свои силы внутри страны и приобретающий влияние за ее пределами благодаря порабощению и расчленению Польши, представляет собой постоянную опасность для прогресса международного пролетариата, Конгресс заявляет: независимость и автономия Польши суть политические требования, являющиеся не менее необходимыми для международного рабочего движения в целом, чем для пролетариата самой Польши»¹.

Напротив, Роза Люксембург выступила против подчинения пролетарского интернационализма, который должен служить фундаментом социалистических партий, моральному примату права угнетенных национальностей, ибо она была убеждена, что национальный вопрос, равно как и любой другой социальный и политический вопросы, является вопросом классовых интересов. Возможность победы революции в Российской империи, считала она, сделала бы бессмысленной борьбу за предварительное возрождение Польши. Каутский предложил временное решение проблемы, изменив резолюцию с помощью гибких и туманных выражений. Интернационал заверял в основном о своей симпатии «к рабочим всех стран, находящимся под военным, национальным или каким-либо другим гнетом деспотизма», хотя в резолюции и признавалось также «право всех наций на самоопределение»; то есть формулировка (в таком виде встречающаяся, правда, только в немецком тексте, тогда как в английском и французском текстах речь идет лишь об автономии), которая впоследствии стала широко употребляться Лениным. Уже одна эта резолюция Интернационала дает представление о том, насколько второстепенным был тогда данный вопрос. Но позднее дискуссия вокруг него станет гораздо острее.

Роза Люксембург как марксистка выступила по национальному вопросу, конечно, не только по случаю Лондонского конгресса². В связи с полемической позицией своей партии (СДКП) она уже высказывалась на эту тему в ряде написанных по-польски статей, а затем издала (под псевдонимом Матей Розга) брошюру о рабочем вопросе в Польше (1896). Лондонский конгресс дал ей возможность подготовить несколько статей и на страницах «Нойе цайт» — орга-

¹ Цит. по: *R. Luxemburg. La questione polacca al Congresso internazionale di Londra.* — In: «Critica sociale», 16 luglio 1896; *R. Luxemburg. Scritti scelti.* Torino, 1975, p. 12.

² *G. Haupt. Dynamisme et conservatorisme de l'idéologie: Rosa Luxemburg à l'orée de la recherche marxiste dans le domaine national.* — In: «Pluriel-débat», 1977, № 11.

на, который благодаря Каутскому стал ориентиром в ходе дискуссии по национальному вопросу,—призвать к международной дискуссии по данному вопросу.

Прежде всего Роза Люксембург отвергла организацию Интернационала по национальному признаку: рабочие партии, считала она, ведут борьбу в политических рамках существующих государств, то есть государств, не только не соответствующих национальному сообществу, но даже многонациональных. Признание правилом права национальностей вызвало бы опасный раскол в рабочем движении: «Кольско-ро Польша, несмотря на то что она поделена между тремя государствами, сумела организовать в общую национальную партию для борьбы за свою политическую независимость, почему бы не сделать то же самое и другим национальностям в Австрии, эльзацам по отношению к французам и так далее? Одним словом, открылась бы настежь дверь и для борьбы, и для национальных организаций... Вместо политических программ, соответствующих классовым интересам, появились бы национальные программы»¹.

Таким образом, Роза Люксембург поставила вопрос о функциональном противоречии II Интернационала, где мандат на съезд представлялся отдельным странам. Однако и в будущем тот же принцип применялся при формировании секретариата, Международного социалистического бюро хотя начиная с 1905 года Камиль Гюнемане и попытался создать сеть корреспондентов от различных партий и даже фракций, причем не только в Европе, именно с целью предоставить базу Интернационалу на основе национальных реальностей.

Мысли Розы Люксембург, как свидетельствуют ее статьи 1896 года, шли в совершенно ином направлении. Россия, и в частности польская часть империи, благодаря своему капиталистическому развитию уже преодолела национальную фазу. Начинать в Польше новое восстание теперь не имеет смысла; пролетариат должен быть организованным накануне революции, которая вот-вот произойдет (и казалось, революция 1905 года подтверждала ее предположения). Ради доказательства этого своего политического тезиса Роза Люксембург провела огромную работу по изучению промышленного развития Польши, ставшую ее магистерской диссертацией. Диссертация была защищена в 1897 году и на следующий год опубликована. Ее следует рассматривать в сопоставлении с почти одновременно появившейся работой Ленина о развитии капитализма в России (1899) и с более общими работами Плеханова, посвященными исчезновению общины в русской деревне, ослаблению крестьянской базы и провалу

¹ *R. Luxemburg. Scritti scelti*, p. 20.

народничества. В Российской империи, писала Роза Люксембург, наблюдается экономический подъем, изменяющий политическую ситуацию и делающий ее революционной. Эти глубокие изменения, по ее мнению, вызывают необходимость отказаться от занятых Марксом, Энгельсом и I Интернационалом позиций по польскому вопросу, не предопределяя, однако, заранее решения вопроса о том, какой может быть нация и национальная политика на следующий день после победы социалистической революции, которая, как она думала, не за горами. Таким образом, позиция Розы Люксембург очень близка идеям ее партийных товарищей—Варшавского и Мархлевского,—которые по-прежнему вели разговоры о независимости после революции. В то же время Роза Люксембург проявляет большую склонность следовать конъюнктуре, которая в тот момент складывалась так, что Люксембург заговорила об «абсурдности» польской независимости.

При этом она подвергала сомнению позиции Маркса и Энгельса не только в том, что касалось Польши, и Каутский одобрил ее образ мыслей, написав в 1896 году следующее: «По вопросу о Востоке, равно как и Польше, я придерживаюсь того мнения, что старая позиция Маркса стала теперь неприемлемой, как и его взгляды относительно чехов. Было бы совершенно не по-марксистски закрывать глаза на факты и продолжать настаивать на точке зрения, которую преодолел сам Маркс». В 1897 году Роза Люксембург выступила за развитие балканских национальных движений против Османской империи, но логика ее рассуждений оставалась все той же: именно потому, что турецкая империя теперь пришла в упадок и экономически бессильна, независимость национальностей является положительным фактом, ибо позволит создать ряд новых государств, которые станут центрами и экономического развития, и роста рабочего движения. (Роза Люксембург думала, что говорит нечто новое, ибо в то время она еще не была знакома со статьями Маркса по восточному вопросу, в которых излагалась такая же позиция и которые были опубликованы только в 1902 году на страницах «Нойе цайт» вместе с письмами к Кугельману.) Другими словами, главным мерилom в отношении к национальному вопросу всегда является степень зрелости капитализма или глубина его кризиса.

По этой причине позиция Розы Люксембург могла становиться эволюционистской или дифференцированной, тем более что в то время она проводила практическое различие между тем, что присуще политической борьбе, и тем, что принадлежит к частной сфере или не должно переводиться—разве что от случая к случаю—на язык политики (например, национальная проблема, относящаяся, скорее, к сфере культуры). Данная установка привела Розу Люксембург к

решению национального вопроса с помощью национальной культурной автономии. Уже в 1893 году, когда Люксембург выступила против независимости Польши, увидела свет ее статья о «денационализации», в которой она осуждает как раз русификацию Польши, провозглашает долгом каждого защиту польского языка и демонстрирует своего рода культурный патриотизм; по ее мнению, именно буржуазия более не в состоянии выступить в защиту «патриотизма и его идеалов». Первый съезд Социал-демократии Королевства Польского (СДКП), состоявшийся в Варшаве в 1894 году, дополнил программу партии требованием преобразования царской империи в демократическую республику, которая ликвидировала бы национальное угнетение не только путем предоставления прав и политических свобод рабочему классу, но и путем признания за Польшей права на автономию, суть которой, однако, не была уточнена. Как ни парадоксально, но именно Роза Люксембург и ее партия установили таким образом границы дискуссии об автономии во II Интернационале и в то же время будоражили мысль в связи с национальным вопросом, осуждая одновременно все зло национализма, способного привести рабочее движение к поражению.

Начиная с этого момента, Роза Люксембург фактически стала предвещать прежде всего парализующее воздействие национального вопроса на рабочий класс (по той же причине Маркс и Энгельс предлагали сначала решить этот вопрос, а затем перейти к другим), но наибольшие опасения вызывала у нее возможность развращения рабочего класса национализмом. «Принятие резолюции [предложенной на Лондонском конгрессе] означало бы протаскивание национализма под знаменем интернационализма»¹. Обвиняя польскую социал-демократическую партию в «социал-патриотизме» (именно так звучало название одной из ее статей в «Нойе цайт» в 1896 году), она клеймит позором «социал-шовинистов» и «социал-националистов» и, быть может, предвосхищает тем самым термин «национал-социализм», обозначающий явление, которое она проклинала как предательство и позор социализма. Все это — терминология, употребленная в 1915 году Г. Штрёбелем в специальном номере «Интернационала».

И все-таки Роза Люксембург придерживалась того же самого мнения, что и другие марксисты ее времени; его отстаивал и сам Энгельс после смерти Маркса, и развивал Каутский: капитализм, считали они, знаменует собой конец наций и расширяет политическую базу крупных государств в соответствии с расширением рынков, что видно, в частности,

¹ Ibid., p. 119.

на примере Российской империи, смешивавшей внутренний и внешний рынки, а впоследствии интегрировавшейся в мировой рынок. В то же время эта однородность с торговой точки зрения дестерминируется центрами промышленного производства, что видно на примере Польши. И вот как раз этот акцент на капиталистическую концентрацию является тем новым наблюдением, которое оказалось плодотворным и привело австромарксистов и саму Розу Люксембург к концепции монополистического капитализма, популяризированной позднее Лениным в качестве империализма как высшей стадии капитализма.

Повышенным вниманием к крупным партиям, или, лучше сказать, к странам развитого капитализма, объясняется один удивительнейший факт в работе Лондонского конгресса II Интернационала. На этом конгрессе дискуссия о Польше имела лишь второстепенное значение и уж совсем был обойден молчанием ирландский вопрос, причем как раз в момент, когда на голосование, хотя и как бы между прочим, был поставлен вопрос о праве на самоопределение. А ведь английская делегация все-таки насчитывала 475 делегатов, тогда как всех остальных было 293 человека, а после удаления анархистов — и того меньше. Известно, что, за исключением парламентского комитета, демократической социалистической федерации и независимой партии труда — слабых в политическом отношении организаций, предшественников созданной в 1900 году лейбористской партии,—основное ядро английской делегации составляли тред-юнионы. Это был тот самый раскол, о котором предупреждал Маркс, говоря об английском рабочем движении, имеющем тенденцию к корпоративизации по цеховому и профессиональному признаку, к защите профессиональных интересов даже в новых индустриальных федерациях,—движению, ведущем борьбу за сохранение условий найма и заработной платы, которые оказываются под угрозой из-за конкуренции ирландской рабочей силы. Так сегрегация внедрилась в рабочий класс (подобно тому как она вошла в городские кварталы), и через рабочие организации политический фактор оказался подчиненным защите социальных условий. Из-за подобной реформистской ограниченности ирландский вопрос исчез, или лучше сказать, Ирландия была молчаливо приговорена подчиниться английскому закону. Последствия этого явления не замедлили сказаться на II Интернационале, и Лондонский конгресс принял решение не выносить на обсуждение ни ирландский вопрос, ни вопрос об Эльзас-Лотарингии. Таким образом, господствующими интересами стали исключительно интересы рабочего движения развитых стран, отождествленные Бернштейном в том же 1896 году с интересами свободного развития высокоцивилизованных великих народов европейской культуры.

Итак, борьба ирландских рабочих (так же как и их представитель Джеймс Коннолли¹) оказалась в изоляции. В 1896 году Коннолли, возвратясь из Шотландии, где он участвовал в деятельности Социалистической лиги, основал в Дублине Ирландскую социалистическую республиканскую партию, в программе которой выдвигалась задача объединения национальной и рабочей борьбы. Хотя он и не был теоретиком, но объяснял смысл соединения двух движений, национального и рабочего, в перспективе социалистической революции через революцию национальную: «Национальная и экономическая свобода должна завоевываться одним и тем же образом — путем установления Ирландской социалистической республики и ее преобразования, в результате чего средства производства и обмена перейдут в коллективную собственность общества, которыми будет владеть и управлять демократическое государство в интересах всего общества в целом». И далее: «Полагаться на национализм без социализма, без реорганизации общества на основе более широкой и развитой формы общественной собственности, наподобие той, которая лежала в основе социальной организации древней Ирландии, может только тот, у кого мозги настроены на националистический капитулянтский лад».

Не случайно по ирландскому вопросу Коннолли ссылается на Маркса и Энгельса в оправдание того, что он именует национальным революционизмом, так как национальное восстание представляется ему делом ближайшего будущего. Коннолли кончил трагически: возглавив «Ирландскую гражданскую армию», созданную в 1914 году, он погиб мученической смертью в конце ирландской пасхи 1916 года. Его вера социалиста привела его к мысли о том, что это восстание должно быть делом рук трудящегося класса и должно положить конец английскому и капиталистическому господству. Национальная революция, считал он, — одновременно и революция социальная.

Данная аргументация также заимствована у Энгельса, и те же мысли положены в основу истории Ирландии, опубликованной Коннолли в 1910 году под названием «Рабочий класс в истории Ирландии» («Labor in Irish History»). Эта книга построена на классовом анализе, на обосновании политики союзов и дифференциации. Ирландская буржуазия, писал он, предала дело борьбы за национальное освобождение

¹ Conn J. *Connolly. Socialism and nationalism*. Dublin, 1948; *J. Connolly. Select Writings*. London, 1973; *J. Connolly. Select Political Writings*. London, 1973; *J. Connolly. Labor in Irish History*. Dublin, 1966; *F. Bedarida. Le socialisme et la nation: James Connolly et l'Irlande*. — In: "Mouvement social", 1965, № 52.

ине; мелкая буржуазия, напротив, патриотична, но не революционна, она не доводит до конца национальную борьбу; только ирландский рабочий класс способен стать революционным, благодаря борьбе за национальное освобождение. Это пояснение Конноли, выраженное чеканным и ясным языком, основано на опыте его жизни в эмиграции в Соединенных Штатах, где он был активным членом организации «Индустриальные рабочие мира», сотрудничал с Даниелем Де Леоном и к моменту возвращения в Ирландию в 1910 году перешел на позиции революционного синдикализма. Конноли стал генеральным секретарем профсоюза транспортников, оставаясь в то же время во главе Ирландской социалистической партии.

В установлении связи рабочего и национального движения он исходил из рабочих, едва ли не унитаристских требований и, следовательно, занимал позицию, отличающуюся от позиции 1896—1897 годов, по своей сути глубоко популистской. Тогда Конноли отождествлял пролетариев и все классы, являющиеся жертвами эксплуатации, с угнетенными народами: «Республика, которую я хотел бы предложить в качестве идеала своим соотечественникам, должна быть скроена из такого материала, чтобы одно упоминание ее имени служило маяком для угнетенных всех стран... для крестьянина, задавленного алчностью земельных собственников и американской конкуренцией... для наемных рабочих порока, измученных притеснениями рабовладельческого капитализма... для сельскохозяйственного рабочего, истощенного усталостью... то есть для всех тех миллионов трудящихся, нищета которых служит фундаментом здания современной цивилизации, на первый взгляд столь привлекательного... Ирландская республика могла бы стать ориентиром для повстанца, пристанищем для угнетенного, отправной точкой для социалиста, готового на подвиги во имя свободы человека».

В этом сострадании перед лицом нищеты всех эксплуатируемых, унижений в ходе бесконечного социального деклассирования, связанного в Ирландии еще и с насилием колониального угнетения, звучат нотки популизма в духе колонизованного «третьего мира», заставляющие вспомнить о Фаноне. Жизнь и борьба Конноли как бы предвосхищают некоторые формы национального синдикализма, сопровождающего национально-освободительные движения, а также те социалистические цели, которые эти движения ставят перед собой в наши дни. Но именно потому, что Конноли многое предвосхитил, современники его и не поняли.

В ходе дискуссии, начатой на Лондонском конгрессе, в результате столкновения между Розой Люксембург и поль-

ской социал-демократической партией Каутский тоже постарался не поднимать ирландский вопрос, так как из-за своего капиталоцентризма во главу угла он ставил проблемы Центральной Европы. Кроме того, Каутский расходился с Конноли, не ведая об этом, в таком существенном вопросе, как значение языковой проблемы. Конноли, считая борьбу за национальное освобождение по сути своей борьбой политической, не придавал большого значения этой проблеме. Так, в одной из статей 1898 года он, высказываясь о «движении в защиту языка», подчеркнул, что страсти, разгоревшиеся из-за галльского языка, могут обернуться «слишком эгоцентричным подходом» к проблеме национального освобождения. Напротив, Каутский, именно принимая во внимание значение языковой проблемы, полагал, что в отношении южных славян национальный вопрос будет не так легко урегулировать, как заявляет Роза Люксембург. Национальные различия связаны с языком, и этот уровень отношений представляется Каутскому не менее важным в социальном плане, чем торговые отношения в экономической области. Национальность, следовательно, является такой культурной реальностью, применительно к которой необходимо подогнать организацию государства. Это становится особенно необходимым в момент, когда развитие капитализма, идущее на пользу самому рабочему классу, приводит к созданию государств с обширной территорией. По этой причине Каутский, сосредоточиваясь на дискуссии вокруг Центральной Европы, поставил на повестку дня не только национальный вопрос, но и вопрос о национальностях.

Таков смысл его ответа Розе Люксембург на страницах «Нойе цайт» (1895—1896) в статье, озаглавленной «**Finis Poloniae**» [«Конец Польши»]. Каутский заявляет здесь о своем согласии с Люксембург в отношении необходимости пересмотреть вызванные конкретной обстановкой позиции Маркса и Энгельса, особенно потому, что «национальная независимость не настолько прочно связана с интересами рабочего класса, чтобы она стала безусловным фактором и ее следовало бы защищать при любых обстоятельствах». Уже в этой осторожной формулировке нельзя не заметить понимания значения национальной проблематики для рабочего движения. Пусть права национальностей — и не принципиальный вопрос, тем не менее необходимо принимать в расчет их политическую нагрузку. В конце концов мы снова возвращаемся к феномену культуры и национального чувства. По мнению Каутского, Роза Люксембург не учитывает этой обусловленности и приходит к абстрактным выводам. Он подчеркивает, что «языковое сообщество представляет собой связь более прочную, чем единство действий в политической борьбе».

8. Австрийский компромисс и дискуссия в России (1898—1905)

В 1848 году, если не считать спорадических порывов аристократии и крестьянских выступлений, национальные движения в Центральной Европе были по существу буржуазно-либеральными. К концу XIX века различные отряды рабочего движения относят себя к национальным и являются составной частью борьбы за национальное освобождение, а иногда и сами превращаются в национальные движения. Эта трансформация с особой силой обнаружилась в Австро-Венгерской империи, что было вызвано не только существованием в ней ряда национальностей, но и последствиями экономических преобразований. В сельскохозяйственных областях, например в Чехии и Моравии, возникли индустриальные центры, города стали играть роль магнитов, притягивающих к себе деревенских жителей. Последствия были двоякого рода: изменился национальный и социальный состав городского населения, возросли диспропорции между разными областями. Внутренняя миграция трудящихся и безработных только подлила масла в огонь национального вопроса. Межрегиональные экономические диспропорции повлекли за собой общее деклассирование в обнищавших областях, поразившее главным образом мелкую буржуазию и крестьянство в целом. Социальная ненависть приобрела теперь облик ненависти национальной, направленной против тех территорий городов или городских кварталов, где, казалось, было сосредоточено все богатство, где проживали в основном немцы, а также против аристократической и буржуазной, банковской, бюрократической и космополитической столицы империи. Урбанизация привела к распределению по категориям населения старых кварталов, где прозябала городская беднота, и пригородных районов. Распределение это произошло согласно национальному признаку. «Быть чехом в Вене, — пишет Гаупт, — значит быть пролетарием». В результате контактов с новыми иммигрантами и как реакция меньшинств возникло явление, когда горожане решали дегерманизироваться, чтобы снова обрести язык предков; Прага из немецкого города превратилась в город с чешским большинством; в Вене четверть населения оказалась чешской; в Триесте возросло славянское население. На юге империи выступали против итальянцев, среди славян — против венгров и против немецкого засилья, не говоря уж об антисемитизме, расцветшем главным образом в Вене, — повсюду разгорелась «война рас», будь то на рабочем месте или по месту жительства, по поводу любых массовых мероприятий, начиная со спортивных состязаний.

Сегрегация дала знать о себе в самом рабочем классе:

его организация, первоначально немецкая по составу, оказалась под угрозой в связи с притоком сначала в профсоюзы, а затем и в социал-демократическую партию рабочей массы с ярко выраженной национальной дифференцированностью в условиях, когда не прекращались миграционные потоки, а славянский Юг играл роль резервуара рабочей силы. В итоге таких сдвигов и массовых явлений Австрия в конце XIX века превратилась в арену противоборства между немцами и чехами. А уже в начале нового столетия, в период экономического подъема, прерванного затем кризисом, еще более обострившим напряженность, конфликт этот стал повсеместным. Явно повторялось то, что уже произошло в момент становления пролетариата Западной Европы в середине XIX века, однако теперь этот конфликт разгорался в обстановке национальных противоречий, раздирающих уже сформировавшееся рабочее движение, и в ряде отношений его можно сравнить с конфликтами между эмигрантами, прибывавшими на Американский континент, или конфликтами, возникавшими в обществах, население которых складывалось в ходе колонизации (в Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, но также в Корее, Маньчжурии, Южной Африке, Алжире, Тунисе или Египте). Этот конфликт предвосхищал противоречия и борьбу внутри освободительных движений в колониальных и отсталых странах в XX столетии.

В самом конце XIX века тот же конфликт дал знать о себе и в рабочем движении в России, особенно на Кавказе, где, по переписи 1897 года, согласно языковой принадлежности насчитывалось 16% турков, 14,5 — грузин, 12 — армян и 34% инородных элементов (русских, немцев, греков). В район Баку тогда стали вливаться широким потоком эмигранты из Ирана и Османской империи (главным образом курды), а Российская империя по-прежнему оставалась «тюрьмой народов», особенно для финнов и поляков. К тому же империю захлестнула беспрецедентная волна злобного антисемитизма как раз тогда, когда еврейское население, главным образом на Украине и в Прибалтике, стало создавать первые организации рабочих.

Урбанизация, региональное и сельское деклассирование охватили также страны восточного Средиземноморья, прежде всего районы портовых городов и даже целые области, например Южную Италию, Сицилию и Сардинию, где возросла неприязнь к континенту и Северу, в том числе и к рабочим Севера. В Испании в результате появления промышленных предприятий в Каталонии и Стране Басков указанные выше явления накладывались на старые национальные противоречия. Последствия иностранной эмиграции стали заметны также в западноевропейских странах, рабочие организации которых считались образцовыми: в Германии стали ко-

ситься на поляков, во Франции возобновилась миграция, в Англии ирландцы по-прежнему подвергались эксплуатации.

Новая концентрация промышленности вызвала декалфикацию рабочей силы, и рабочие организации не поспевали за этим процессом, как из-за своей структуры, так и из-за образа мыслей, зачастую все еще носившего ремесленно-кустарный характер по сравнению с умонастроениями рабочих промышленности или новых профессиональных групп, которые создавали новые профсоюзные федерации. Несомненно, это явление лежало в основе трансформации старого анархо-синдикализма в революционный или реформистский синдикализм, сторонники которого стремились гарантировать легальным образом привилегированное профессиональное положение. Такова социальная реальность II Интернационала в те годы, когда его база расширялась, но в то же время повсеместно, в том числе и внутри него, усугублялась напряженность в межнациональных отношениях.

На фоне глубоких преобразований рабочего движения популизм и увриеризм издания 1848 года в конце концов стали выглядеть пережитком прошлого или привычкой придерживаться нравственных и демократических позиций, в рамках которых интернационализм и братство народов восходят к принципам равенства всех представителей рода человеческого. В то же время социалистические партии — будь то существовавшие социал-демократические партии, или рабочие ассоциации наподобие бельгийской рабочей партии и партий, зарождавшихся в Южной Европе и Франции, или же лейборизм Северной Европы (лейбористская партия была создана в 1900 году), — хотя и не порвав с национализмом, выступили под знаменами нового интернационализма, предусматривавшего мир между народами и признание национальных рамок государств. Лейборизм в Австралии и Новой Зеландии (где он превратился в политическую силу большинства, обосновался в правительстве или оказался близким к этому задолго до того, как эта проблема стала на повестку дня в Западной Европе) и колониальные профсоюзы в Северной Африке, заявлявшие о своей ориентации на интернациональный социализм, практиковали расовую дискриминацию или были подвержены ксенофобии, как об этом свидетельствует пример Соединенных Штатов. В различных более или менее крупных партиях утвердились течения, выражавшие национальные интересы. Представители этих течений выступали с позиций превосходства европейской культуры, а подчас переходили, подобно ряду первоначально революционно настроенных интеллигентов, на позиции откровенного пролетарского национализма.

Таковы были проявления того, что можно было бы назвать двойным отходом от марксизма: с одной стороны, марк-

систская мысль отдалялась от реального развития рабочего движения, была не в состоянии анализировать его или же склонна была отвергать эту реальность; с другой — марксистов затягивало в националистическое идеологическое течение как в теории, так и на практике. Отход был двояким также и из-за пропасти, разделившей различные национальные лагеря и свидетельствующей о наличии явной демаркационной линии между Востоком и Западом Европы. В конце концов этот процесс затронул и рабочее движение, вскрыв антагонизмы между социализмом национальных государств и рабочими движениями на национальных перифериях или организациями, связанными с национально-освободительными движениями.

Можно понять обеспокоенность Виктора Адлера ростом сил, упрощавших перевернуть государство вверх дном и тем самым подорвать перспективы австрийской социал-демократии. В программе, принятой на Гайнфельдском съезде 1889 года, эта партия согласилась признать государственные рамки Австро-Венгерской империи и оставила в стороне национальный вопрос, заявив, что «привилегии национальностей, равно как и привилегии, связанные с рождением и расой», подлежат осуждению и что «борьба против эксплуатации должна носить интернациональный характер, как и сама эксплуатация». Но в 1897 году на Вимбергском (Венском) съезде под давлением национальных меньшинств, в первую очередь чехов, а также словен, галицийских поляков и закарпатских украинцев, австрийская социал-демократия, чтобы спасти партию от развала, отказалась от своей централизованной структуры в пользу организации по федерации, с шестью автономными секциями: немецкой, чешской, русинской, польской, итальянской и словенской. Единство этого малого Интернационала должно было обеспечиваться общими для всех институтами, всеимперским исполнительным комитетом и проведением съездов раз в два года. Так впервые в истории партия марксистского направления порвала с централизмом и организовала свою работу по национальному принципу. Дискуссия по национальному вопросу возобновилась в связи с оргвопросом, и федеративный принцип, принятый в партийной работе, был перенесен в качестве программного применительно к Австро-Венгерской империи. После выборов 1897 года впервые в парламенте стали заседать и представители рабочих, и представители национальностей. Чтобы спасти государственные рамки империи, партия решила принять новую программу на Брюнском (Брюнском) съезде — намеченном на февраль 1899 года, но проведенном в сентябре — в связи с усилением национальных требований¹.

¹ См.: *Mommsen. Die Sozialdemokratie; A. G. Kogan. The Socialdemo-*

Все предложения по программе сводились к требованию федеративного решения проблемы, но за этим федерализмом скрывались весьма различные цели. Наиболее общие взгляды на федерализм, зато и в наиболее последовательной форме, позволявшей использовать их в качестве ориентира, изложил Каутский на страницах «Нойе цайт». По Каутскому, федеральное государство — это государство национальностей, в котором ликвидированы традиционные внутренние границы между землями и изменена структура администрации с учетом по возможности языковых границ — а значит, сделана попытка улучшить территориальное разграничение на национальной основе — и наконец в рамках этих территорий гарантированы культурные права существующих меньшинств. По сути, речь шла о решении проблемы путем территориальной автономии и проведении мероприятий в культурно-языковой области. Но было предложено и другое решение — на основе внетерриториальной автономии. Так, словенский делегат Этбин Кристан сослался на сделанное еще Кошутом в 1848 году предложение предоставить либеральный статут движениям южных славян в Венгрии. Он предлагал организовать национальности в сообщества или корпорации на основе предоставления им особого статуса по образцу сословий старого режима, наделив их административной властью прежде всего в области правосудия и школьного образования. Граждане становились бы членами сообщества в индивидуальном порядке, а не в зависимости от места жительства; административные вопросы решались бы самим сообществом автономно.

Этот тезис развил молодой юрист социал-демократ Карл Реннер, которому было суждено играть все возрастающую роль. В феврале 1899 года в Вене он опубликовал (под псевдонимом Синоптикус) свой проект «Государство и нация». Его план предусматривал сочетание деятельности внетерриториальных корпораций и учреждение гражданских регистров с указанием общинных прав. За образец для своего статуса национальностей Реннер явно брал организацию жизни религиозных общин — так сказать, корпораций, построенных по принципу духовного самоуправления, а также управления общинным имуществом, — общин, существовавших в качестве религиозных меньшинств (господствующая религия не нуждалась в уставных гарантиях). В частности, можно предположить, что эту корпоративную внетерриториальную структуру подсказал пример общинных еврейских организаций.

crats and the Conflict of Nationalities in the Nabsburg Monarchy. — In: "Journal of Modern History". 1949, № 3; R. Gallissot, P. Taffani, A. Orsini. Le Congrès de Brünn, une interprétation. — In: "Pluriel-débat", 1975, № 4.

Этбин Кристан отстаивал на съезде территориальный подход к решению проблемы, утверждая, что «никакое решение невозможно» без «отделения идеи нации от идеи территории», и требуя предоставления права «всем народам, населяющим Австрию, независимо от занимаемой ими территории, создавать автономные группы, которые бы сами решали свои национальные дела [в области языка и культуры] на основе подлинной независимости». Мнение руководства партии, высказанное представителем его умеренного крыла Виктором Адлером, натолкнулось на оппозицию возглавляемой Немцем чешской делегации. Руководство партии стремилось сохранить структуру империи, ставя во главу угла организационный вопрос и немецкий язык. Проект программы, предложенный съезду, соответствовал указаниям Каутского: в нем говорилось об «автономных национальных территориях, которые по возможности должны совпадать с языковыми единицами». Хотя в проекте программы и отвергалась — с целью «не признавать никаких национальных привилегий» — идея государственного языка, в нем все же говорилось о необходимости сохранения немецкого языка как средства межнационального общения.

Эти гегемонистские поползновения вызвали на съезде острую полемику, и в конце концов текст был отредактирован так, чтобы получилось приемлемое для всех компромиссное решение. В программу были включены элементы предложений сторонников внетерриториальной автономии, в ней сохранилась общая схема федеративной структуры государства, и из нее были удалены упоминания о роли немецкого языка. В статье 2-й окончательного варианта программы предусматривалось создание «вместо исторических стран Короны... национальных самоуправляющихся корпораций, чьи законодательные и административные функции будут определять национальные палаты парламента, избранные путем всеобщего и прямого голосования», а в статье 3-й говорилось о «территориях, самоуправляющихся одной и той же нацией, образующей однородный союз, который решает все национальные вопросы полностью автономно». Окончательный вариант пришлось написать таким туманным и запутанным юридическим языком, лишь бы достичь единодушия по программе съезда.

Итак, в этом документе, построенном на основе федеративного принципа, содержался итог всей противоречивой дискуссии по территориальной автономии и языковым и культурным правам. По этому компромиссному тексту, по этой туманной программе в дальнейшем занимали позиции различные социалистические партии и фракции, происходили столкновения, вплоть до раскола, между течениями и руководителями, формулировались его интерпретации и экстрапо-

ляции, которые сами служили затем основой для новых тезисов по национальному вопросу. Программа, разработанная в Брно, использовалась либо в качестве ориентира, либо в качестве примера омерзительного документа, каким его считали главным образом большевики. Но в момент принятия этой программы казалось, что решение национального вопроса наконец найдено, и как сказала сама Роза Люксембург, это — «первая попытка, предпринятая какой-либо пролетарской партией, на практике разрешить эти трудности».

Брненская программа способствовала прежде всего переносу дискуссии из Австро-Венгрии, где эта дискуссия имела центральное значение, в Россию, где положение национальностей было иным, поскольку сепаратизм там обосновался, так сказать на периферии, охватив Польшу, Финляндию и Прибалтийские страны. Однако положение национальностей в России было аналогично положению национальностей в Австро-Венгрии в том смысле, что в связи с миграциями обострилась национальная рознь, как, например, на Кавказе, и существовал еврейский вопрос.

Под натиском махового антисемитизма еврейское население, в значительной массе обнищавшее, вынуждено было присоединиться к основному потоку европейской эмиграции в Америку, и только незначительная часть евреев предпочла эмигрировать в Палестину, воплощение тысячелетней мечты еврейского народа, мечты, которая позвала в дорогу «хове-вей Цион» («возлюбленных Сиона») на исходе XIX века. Те же, кто остался, и прежде всего еврейские трудящиеся, стояли на передовой линии борьбы за рабочее дело, будучи весьма восприимчивы к марксизму. В 1897 году в Вильню был организован Союз еврейских рабочих — Бунд. Наибольшую популярность он обрел накануне революции 1905 года. Основу Бунда составляли главным образом высококвалифицированные рабочие, и рабочие-ремесленники. Именно этот потенциал, усиленный еврейской интеллигенцией, превратил Бунд в главного передатчика социалистических идей и документов в Российскую империю. Относительный регресс Бунда после 1905 года объяснялся прежде всего появлением новой рабочей базы — хотя и носившей еще локальный характер — на стройках, в шахтах, промышленных районах, где закладывалась довольно-таки неоднородная основа Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В частности, именно благодаря синдикализму большевизм обеспечил себе в дальнейшем возможность неуклонного продвижения вперед¹.

¹ О Бунде см.: *H. J. Tobias. The Jewish Bund in Russia from its origins to 1905. Stanford U. P., 1972*; о России см.: *R. Pipes. The formation of the Soviet Union. Communism and nationalism. Harvard University Press, 1954*.

Когда в 1898 году в Минске была создана РСДРП, Бунд участвовал в съезде в качестве «автономной организации для решения вопросов, касающихся в особенности еврейского пролетариата». В ходе бурного подпольного съезда 1903 года Ленину удалось добиться — хотя и временно — принятия своей концепции партии, изложенной в работе «Что делать?», и создать авангардное унифицированное ядро партии в обход каких бы то ни было национальных особенностей. В результате из РСДРП вышел как Бунд (после того как его отказались признать единственным представителем еврейского пролетариата и не приняли его предложение об организации партии по федеративному принципу с учетом национальных особенностей), так и партия, в которой вела свою борьбу Роза Люксембург и которая после объединения с Рабочим союзом Литвы в 1900 году стала называться Социал-демократией Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). И опять организационный вопрос дал толчок дискуссии по национальному вопросу. В основном дискуссия велась вокруг вопроса о партии, ибо она еще только создавалась, и сторонники федеративной организации выступали против унитарного централизма. Где-то на втором плане обсуждался, однако, и национальный вопрос, поскольку орудие пролетарского единства, каким должна быть «большевистская» партия, нельзя создать при разъединении по национальному признаку. Против такой позиции выступали те, кто отстаивал одновременно политическую автономию — защищая демократию от опасностей, грозящих ей со стороны руководства исполнительными органами партии, — и национальную автономию, чтобы таким путем прийти к единству действий пролетариата.

Чтобы избежать обхода национального вопроса, съезд, или, точнее, группа, имевшая тогда большинство — отчего ее члены и стали именоваться большевиками, — включила в программу ставший впоследствии знаменитым 9-й пункт: право наций на самоопределение — формулировку, которую, как утверждал Ленин, он позаимствовал из резолюций Лондонского конгресса II Интернационала. В соответствии с этим принципом в программе говорилось о признании «права на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства». Задача отразить в программе позицию по национальному вопросу в виде не подлежащей сомнению формулировки была чрезвычайно срочной по той причине, что социалисты-революционеры — конкуренты РСДРП, пользовавшиеся тогда гораздо большим влиянием, — могли получить преимущество благодаря наличию в их программе 1903 года и концепции федерализма и принципа культурной автономии, то есть австрийской формулировки, наряду с «полным и безусловным правом на самоопределение».

До 1901 года Бунд выступал только с требованием — записанным в резолюции его III съезда, проведенного в Ковно, — «гражданской, а не национальной» эмансипации, то есть добивался равенства прав. На IV съезде, состоявшемся в 1901 году в Белостоке, предлагался уже федеративный принцип внетерриториальной культурной национальной автономии: «Съезд считает, что Россия должна стать федерацией наций, имеющих свою полную национальную автономию независимо от заселяемой ими территории». Таким образом, было заимствовано решение национального вопроса, предлагавшееся в Австрии Реннером. Подобного рода ориентация на федеративное государство при уважении и осуществлении культурной автономии была подхвачена и развита социалистическими течениями на Кавказе, которые вели споры о присоединении рабочих-армян, если только организация уже не состояла из трудящихся этой национальности, как, например, две фракции Армянской революционной федерации, которая, впрочем, клонилась к упадку. Большевики опирались на Кавказский союз РСДРП, созданный в 1903 году, между тем как самая значительная на Кавказе Армянская социал-демократическая рабочая организация, считавшаяся меньшевистской, так же как Бунд и Польская социалистическая партия, вышла из РСДРП, отвергнув ее программу 1903 года и ее 9-й пункт и потребовав внетерриториальной культурной автономии, более соответствовавшей сложностям национального вопроса на Кавказе, и в частности в Баку, в связи с существованием грузинского национализма.

В такой ситуации впервые на арену выходит Сталин, который, отсидев в тюрьме и сбежав из сибирской ссылки, попал в Тифлис в начале 1904 года, где стал руководить Кавказским союзным комитетом РСДРП. Как выразитель позиции оформившегося в 1903 году большевистского течения, он опубликовал на грузинском языке статью «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (сентябрь 1904 года)¹, в которой обрушился на грузинскую партию за рубежом (в Париже и Женеве), то есть на грузинскую федералистскую партию, сложившуюся вокруг газеты «Сакартвело» («Грузия») — партию, объединившую сторонников федеративного принципа. Сталин осудил также позиции армянских социалистов, назвав их требования буржуазными, чуждыми подлинно классовой точке зрения².

Значит, с классовой точки зрения выступает сам Сталин, следуя за ходом мыслей Каутского и Розы Люксембург: «... „Национальный вопрос“ в разные времена служит различ-

¹ И. В. Сталин. Соч., М., 1951, т. I, с. 32—55.

² A. Terminassian. Les cas arménien: socialistes et marxistes et la question nationale. — In: «L'expérience soviétique et le problème national». Paris, 1978.

ным интересам, принимает различные оттенки в зависимости от того, **какой класс и когда** выдвигает его». Описание Сталиным грузинского национализма почти слово в слово повторяет описание Розой Люксембург польского национализма, который она осуждает, говоря, что национальный вопрос сначала был выдвинут дворянством, выступившим с требованиями «феодално-монархического национализма», а затем буржуазией, неспособной добиться независимости. «Наше экономическое развитие, — пишет Сталин, — постепенно прокладывает мост между передовыми кругами грузинской буржуазии и «Россией», экономически и политически связывает эти круги с «Россией» и тем самым расшатывает почву и без того расшатанного буржуазного национализма». Теперь «на арену борьбы выступил новый класс, **пролетариат**», чтобы решить «новый „**национальный вопрос**“», который следует ставить на основе принципа пролетарского единства: «Но для победы пролетариата необходимо объединение **всех рабочих без различия национальности**. Ясно, что разрушение национальных перегородок и тесное сплочение русских, грузинских, армянских, польских, еврейских и проч. пролетариев является необходимым условием победы российского пролетариата».

Но как свергнуть «злейшего врага российского пролетариата» — царизм, который одновременно «притесняет со всех сторон «чужие» национальности»? Быть может, «разделиться на отдельные национальные партии и создать из них свободный союз»? Нет, наоборот: надо «пролетариев объединить в одну партию», учитывая, что «...до настоящего времени первейшим вопросом для нас был вопрос о том, в чем сходятся между собой пролетарии национальностей России, что общего между ними, — чтобы на почве этих общих интересов построить одну централизованную партию рабочих всей России». Налицо кардинальное расхождение между двумя линиями поведения: «Второстепенные для централиста «национальные различия» становятся для федералиста фундаментом национальных партий».

Чтобы пролетариат был в состоянии решить национальный вопрос путем социалистической революции, требуется, по мнению Сталина, только одно предварительное условие — создание централизованной партии, как указывал Ленин в работе «Что делать?». Что касается всего остального, то Сталин повторяет Каутского, стремящегося сокрушить национальные барьеры, и комментирует партийную программу, обещавшую в 7-м пункте «полное равноправие всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности», обходя молчанием 9-й пункт, где говорится о праве на самоопределение. В 8-м пункте содержится требование о «праве населения получать образование на родном языке», и Сталин комментирует: «Язык — орудие развития и борьбы», «интере-

сы российского пролетариата требуют, чтобы пролетарии национальностей России имели полное право пользоваться тем языком, на котором они могут более свободно получить образование». Высказываясь о тех, кто требует автономии, Сталин признает, что самоуправление, конечно, необходимо «для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения», но снова подчеркивает необходимость политического централизма в партии, ставящей себе цель руководить борьбой пролетариата всей России.

Хотя в высказываниях Сталина под покровом рассуждений о необходимости централизма в области классовой педагогики можно заметить сочетание грузинского национализма (вопрос о языке) с русским национализмом (вопрос о государстве), тем не менее у него мы еще не можем обнаружить никакой цельной концепции нации — столь не связаны между собой отдельные элементы его работы. На практике же это его выступление в печати привело к тому, что в 1905 году был запрещен прием в РСДРП армянских национальных организаций, а это в свою очередь только усилило оборонческие позиции и углубило специфическую особенность армянских организаций («обособленность») среди социалистических течений армянского пролетариата, который в то время был самым многочисленным на Кавказе.

Бунд со своей стороны еще упорнее настаивал на культурной автономии, считая, что революция 1905 года вызывает необходимость скорейшего уточнения программы по национальному вопросу. Это уточнение было сделано на Цюрихском съезде Бунда в октябре 1905 года путем включения в программу параграфа, предусматривавшего «национально-культурную автономию». Все связанные с культурой вопросы (об образовании и т. п.) должны были передаваться из ведения местных и областных органов власти узаконенным общенациональным, местным и центральным институтам, избираемым прямым, тайным и равным голосованием, в котором должны принимать участие все члены данной национальности.

Эта автономистская платформа была прокомментирована в изданной в Вильно в 1906 году брошюре Владимира Медема «Национальный вопрос и социал-демократия». Разъясняя бундовский проект решения национального вопроса, Медем ссылаясь на австрийские тексты и привел в приложении перевод выступления Каутского о положении национальностей на Кавказе. Автономистский путь решения национальной проблемы Медем оправдывал положением евреев в России, где процесс ассимиляции в отличие от того, что происходило на Западе, прервался. Именно угнетение евреев царским само-

державием создало «специфику условий жизни еврейского народа». Медем критиковал тех, кто полагает, будто «их задача заключается в обеспечении существования еврейской культуры» путем создания материальной базы посредством как проникновения сионизма, так и предоставления евреям обособленной территории в России. Он заявлял: «Мы не отвергаем национального характера культуры, мы отвергаем националистическую политику». Таким образом, Медем выступил за сохранение еврейской национальной культуры посредством проведения в жизнь мероприятий в сфере языка и образования, то есть такой практики, которая, по его мнению, полностью совместима с необходимостью унитарной борьбы пролетариата и чужда каким бы то ни было территориальным притязаниям. Несмотря на двусмысленность понятия «еврейский народ», Медему удалось дать в общих чертах анализ национальности с точки зрения культуры и подойти к такой впервые сформулированной дефиниции понятия нации: «Нация — это совокупность всех индивидов, принадлежащих к одной определенной культурно-исторической группе независимо от их географического распределения». Впоследствии Сталин почти слово в слово вывернет эту формулировку наизнанку.

Против этой попытки оторвать культуру от территориальной привязки, а национальность — от государства выступили члены Поалей-Цион («рабочие Сиона») — сионистской социалистической партии, оппонента Бунда, — и ее теоретик Бер Борухов. Речь идет о группах интеллигенции и рабочих, главным образом из прибалтийских общин или из эмиграции, которые соперничали с Бундом даже в сфере марксистской и социалистической аргументации, из-за чего внутри этих групп было немало разногласий. В 1904 году «территориалисты» приняли программу поселения евреев в России, отказавшись от сионизма в строгом смысле слова. В 1905 году «сеймисты» (от слова «сейм» — парламент) выступили с требованием создавать еврейские национальные парламенты по образцу юридической внутритерриториальной схемы, предложенной Реннером, и тем самым из-за этой их государственно-институциональной перспективы отмежевались от Бунда, программа которого носила сугубо культурный характер. Впоследствии «сеймисты» вошли в состав Социалистической еврейской революционной партии (СЕРП), основанной в 1906 году в Киеве. Так что Борухову пришлось бороться и против Бунда, и против этих диссидентов, когда он попытался найти марксистское объяснение необходимости переселения в Сион, смешав воедино две утопии: одну — о еврейском граде, другую — о граде социалистическом — и предложив перенести построение социализма в Сион. Таков, в частности, был смысл его статьи «Классовая борьба и национальный вопрос», опубликован-

ной в декабре 1905 года и содержавшей аргументацию будущей программы («Наша платформа», 1906) партии еврейских трудящихся. Поскольку Борухова более всего занимал вопрос о том, где же в конце концов поселиться еврейскому народу, взгляды его, по сути, носят территориальный характер¹.

Еще одной отправной точкой в рассуждениях Борухову служил страстный национализм, что и понятно, если принять во внимание тогдашний разгул махрового антисемитизма. Осуждение Боруховом русского национализма привело его к изучению причин возникновения на почве национализма реакции (по его мнению, это вызывалось конкуренцией среди мелкой городской буржуазии), и таким путем он выявил место евреев на социальной лестнице и среди профессий, к которым они допускались. Условия экономической жизни евреев он установил, изучив аномалии их существования.

По сути, Борухов придерживался установок Каутского и Розы Люксембург, то есть экономической линии марксистской ортодоксии. Согласно этой линии, понятие нации сначала возникает у знати, затем усваивается буржуазией, прежде чем стать (так считал Каутский) или перестать быть (так считала Люксембург) источником антагонизма пролетариата и буржуазии, двух классов зрелого капитализма. Нормальный ход капиталистического развития ведет к пролетарской революции, необходимо только, чтобы ход этого развития был нормальным, но в отношении евреев, считал Борухов, увы, не был таким. Национализм — по мнению большинства последовательных марксистов того времени — становится патологическим, когда господство буржуазии клонится к закату, и с ним необходимо бороться. Однако Борухов полагал, что для преодоления еврейского национализма нужно прежде всего обеспечить нормальные условия, создав еврейскую нацию. Таким образом, нация как феномен предшествует социалистической революции, представляя собой «стратегическую базу классовой борьбы». Евреи в России, находясь в аномальных классовых условиях в результате собственной замкнутости или насильственного оттеснения на обочину, образуют, писал Борухов, своего рода народ-класс. Создание еврейской нации обеспечило бы развитие классов и появление антагонизма между ними. Национальный характер капиталистического развития оздоровил бы национальное сознание и позволил бы пролетариату выработать классовое сознание.

Итак, в экономическом марксизме Борухов нашел необходимые элементы для конструкции своей программы по на-

¹ См. во французском переводе: В. Borokhov. *La lutte de classe et la question nationale*. Paris, 1969. Частично опубликовано в: "Partisans", 1970, № 52. Работы Борухова на иврите были изданы после 1955 года в Тель-Авиве.

циональному вопросу, но натолкнулся на два нерешенных вопроса: первый — о происхождении народа, так как ссылки на производственные отношения не дают на него ответа, и второй — об отсутствии национального сознания, так как для выработки его нет ничего, кроме классов. Вот почему Борухов одним из первых вскрыл марксистское противоречие в национальном вопросе, объясняющееся тем, что все свое внимание марксисты сосредоточили на других проблемах и это помешало им осознать роль коллективных факторов и в качестве способа общественных отношений, и в качестве общественного культурного и идеологического феномена. Борухов, конечно, не мог не заметить ряд особенностей, отличавших немецкий рабочий класс от английского, французского и т. д., равно как и от совокупности классов. В те же годы об этом недостатке марксизма писал и Жорес в «Социалистической истории Французской революции»: «Концепция экономического материализма, объясняющая крупные события в истории посредством классовых отношений, — это прекрасный путеводитель... но он не исчерпывает всей исторической реальности... Сами же классы, как таковые, не обладают классовым сознанием».

Борухов также пытается уравновесить зависимость общества от производственных отношений с помощью иного фундаментального определения, по его мнению, тоже связанного с экономическим материализмом, то есть с условиями производства. Он отмечает два вида деления человечества: «по горизонтали», связанное с классами и производственными отношениями, и «по вертикали», связанное с национальными различиями в экономике. «Относительно различные группы, на которые делится человечество в зависимости от условий производства, называются «обществом», социально-экономическими организмами (племена, роды, народы, нации). Группы, на которые общество делится согласно особым отношениям, связанным со средствами производства, называются «классами» (касты и т. д.)». Вследствие этого «национальная проблема должна бы определяться как конфликт между развивающимися производительными силами и состоянием условий производства».

Эти терминологические и понятийные колебания, выходящие далеко за рамки различия двух основ, проявляются и в перечислении «экономических условий»: 1) физические, климатические, географические условия; 2) антропологическое состояние рас; 3) исторические условия, в свою очередь носящие двойственный характер: внутренние условия, присущие конкретной группе, и внешние, определяющие межгрупповые отношения. Подобная эклектическая точка зрения может иметь тенденции к географическому детерминизму, связанному с территориальными условиями, или же к биоло-

гическому эволюционизму (расы). Но Борухов настаивает, скорее, на различии исторических условий в свете экологического объяснения, что довольно близко к Марксовым формулировкам о различиях «исторической среды». Так и кажется, будто вполне «законный развод» между экономическим марксизмом и этнологией мешает Борухову пользоваться категориями социального воспроизводства и приводит к признанию причинности, которая кажется материалистической, а на самом деле идет от натурализма.

Прочно привязанный к своей теории двойного определения (национального и классового), Борухов пытается разрешить конфликт классового сознания. Согласно классическому переходу от сознания в себе к сознанию для себя, он сравнивает два вида сознания: «Общество, члены которого находились в одинаковых условиях производства, — это народ [в себе]. То же общество, на определенном этапе своего исторического развития переходящее к независимости, становится нацией [для себя]... Жизнь через посредство общественных производственных отношений способствует возникновению классового сознания и классового братства. В тех же производственных условиях жизнь приводит к обретению национального сознания и к чувству национального родства». В условиях нормального экономического развития народ подходит к национальному сознанию, избегая националистических извращений, через столь же обычное формирование классового сознания, особенно пролетарского. «Необходимо отдавать себе отчет в том, что классовое сознание не может развиваться нормально до тех пор, пока остается нерешенным национальный вопрос, в какой бы форме он ни ставился». Борухов развивал этот принцип, основываясь на платформе 1906 года, вплоть до момента, когда вновь занялся изучением еврейского вопроса, что привело его к созданию исследования «Экономическое развитие еврейского народа» (1914). В дальнейшем он занимал различные позиции в национальном вопросе и разрабатывал его еще в 1917 году. Однако он остался одиночкой и даже не вошел в Поалей-Цион, превратившийся в 1907 году во всемирную организацию. И произошло это только потому, что он был среди первых, если не самым первым, кто попытался по-марксистски увязать сразу оба понятия: и понятие «класса», и понятие «общности», — не говоря уже о том, что нации он предрекал долгую, если не вечную, жизнь, тогда как марксисты считали ее переходной категорией.

В то время как Борухов, сконцентрировав внимание на проблеме еврейского народа и определении его территориальности, пришел к подчинению и даже смешению понятий национального государства и национальности, Каутский уже в своих ранних работах отмечал, что в Центральной Европе нация весьма полиморфна и способна выжить благодаря

трансформациям. Он отличал национальности (выделяющиеся различием культуры, особенно языка) от нации, являющейся экономическим образованием и политической формой, связанной с государством капиталистического Запада и загнанной в рамки империй Центральной и Восточной Европы, которые должны быть реформированы с целью создания национальных федеральных государств. Каутский в своих указаниях все более подчеркивает эту сложность, когда кавказские социалисты просят его рассмотреть национальный вопрос в Российской империи, особенно в период революции 1905 года¹. В своем ответе он вновь настаивает на федеральности, пользуясь случаем придать своей точке зрения более историческое обоснование: «Нация — это не общность, данная природой — как предполагают теоретики расы, — а социальная совокупность, которая в различное время возникает из различных условий, принимает самые разнообразные формы и зависит от постоянного течения истории... Но каковы бы ни были различия между нациями, у них есть одна общая характеристика — это общность языка».

Каутский настойчиво защищает особое положение народностей «на Балканском полуострове, в Малой Азии, в Австрии» или же на Кавказе, где эти народности невозможно разделить территориально. «Отсюда и появляются национальные вопросы, непонятные для западного европейца и не разрешимые средствами Западной Европы».

Реально существующая проблема многих национальностей в дальнейшем усложняется миграцией в поисках работы, что создает резервную армию «еще необразованных пролетарских масс», которую тем более необходимо воспитывать в духе интернационализма. «Борющийся пролетариат прямо заинтересован в том, чтобы в его рядах воцарилась всеобщая международная солидарность». Эти замечания об иммиграции и заключение о целях пролетариата в дальнейшем будут подхвачены Сталиным, но для того, чтобы подчеркнуть необходимость единства и централизма партии. В 1913 году Сталин позаимствует у Каутского и объяснение последствий проникновения капитализма на Кавказ — что разрушало местную изоляцию, городские и общинные барьеры и вызывало необходимость национального объединения армян (как, впрочем, и поляков в других местах) в единую государственную организацию, — чтобы применить эти соображения по отношению к Грузии. «И тогда, — замечает Каутский, — возникает необходимость демократической организации государства... которая одновременно должна быть национальной и демо-

¹ K. Kautsky. Die Nationalitätenfrage in Russland. — In: "Leipziger Volkszeitung", 29 aprile 1905.

кратической [и которая] при многонациональной структуре не может найти иного разрешения, кроме как федерация национальных государств». Впрочем, именно революция разрешит национальный вопрос в России: «Если на смену абсолютистской России придет Россия демократическая, требование независимости наций может быть удовлетворено, даже если они останутся в рамках Российской империи, при условии преобразования этой империи и превращения ее в федеральное государство — „Соединенные Штаты России“».

В 1915 году эту формулировку будут обсуждать Ленин и Троцкий, впоследствии она ляжет в основу советской конституции. Значение этого текста, переведенного на русский язык Медемом в 1906 году в приложения к его брошюре, не столько в практическом применении, которое он получит — прежде всего у Сталина, — сколько в том, что именно в 1905 году он как бы уравновесил соображения о национальности и о нации, дополнив культурно-политическую концепцию, которая уже вырисовывалась в противоречивых дискуссиях по еврейскому вопросу. Дискуссии о культурной автономии и поисках национальных путей пролетариата готовят почву для более широкого теоретического обоснования национально-культурной общности, которое предпринял Бауэр. Следует также подчеркнуть, что революция 1905 года прошла и через это.

9. Отто Бауэр и национально-культурное развитие

«Во всех государствах европейской культуры в центр всех дискуссий ставится позиция рабочей социал-демократической партии в отношении национального вопроса». Значение этого вопроса усиливает революция 1905 года, замечает Отто Бауэр, который, однако, не принимает во внимание последствий пробуждения народов Востока. Революция 1905 года укрепила воинствующих революционеров и их сторонников в ожидании революции. Если на Западе продолжался процесс интеграции и эволюции легальности в рабочем движении — как это видно из профсоюзного реформизма и ревизионистского кризиса партий, чьи успехи на выборах вроде бы открывали перспективы вхождения в правительство, — то на Востоке вновь возникает возможность революции. На Западе же только крайне левые интернационалисты ставили в повестку дня этот вопрос. В Центральной Европе и на Балканах, а особенно в России революция казалась неминуемой, разразится ли она из-за национальных распри или из-за все более обостряющихся аграрных проблем, резко выявляя и подчеркивая различия между Российской империей и Австро-Венгрией также и в том, что касается национального вопроса.

Но в основе русской революции лежала русско-японская война и даже угроза возникновения мировой войны из-за столкновения великих держав в поисках союзников и из-за разгула агрессивного милитаризма. В этом смысле 1905 год был генеральной репетицией 1914-го. Воздействие национализма сильно сказывалось на рабочем движении. В 1911 году перед фактом распада единого профсоюза и раскола федеральной Социал-демократической партии Австрии Адлер комментирует: «Миф, согласно которому мы, социал-демократы, обладаем иммунитетом от национализма, окончательно развенчан». Это замечание прежде всего относится к Западу, где сторонники рабочего и революционного интернационализма начинают оставаться в меньшинстве. Хотя интернационализм каутскианского толка и интернационализм Жореса, призывая к солидарности наций, маскируют этот регресс, в действительности национализм проникает повсюду до такой степени, что в рабочем движении все дискуссии концентрируются вокруг патриотизма. До 1905 года все, кто открыто разжигал страсти вокруг национального вопроса, находились в абсолютном меньшинстве во II Интернационале, а те, кто открыто призывал к сохранению национального характера основных социалистических партий, исключая разногласия между ними, организационно не составляли большинства. После 1905 года национальный вопрос преобладает в двух аспектах: с одной стороны, он связан с проблемой национальностей и включением рабочего движения в движение национальное, а с другой — с победным шествием навязчивых идей националистического толка. Инверсия субъекта и объекта по сравнению с 1848 годом и «Манифестом Коммунистической партии» становится тотальной для рабочего движения.

В 1905 году возникает новый момент политического и идеологического обострения, что вынуждает партии и социалистическую науку определить свою позицию по национальному вопросу. Двойственный характер движения приводит теоретическую практику марксизма — в ходе ее разработки, — с одной стороны, к теории империализма, которая с некоторым опозданием вырастает из разоблачений милитаризма, с другой — к теории нации, к которой склоняется Бауэр, в то время как немало других теоретиков прилагают усилия к тому, чтобы увязать рабочее движение с национальной борьбой. Во всяком случае, не только национальный вопрос, но само понимание национальности и нации уже навсегда теряют в марксизме свою чуждую простоту.

С юношеским пылом Бауэр стремится по-марксистски обосновать то, что можно назвать нацией. Он пишет толстую, более 500 страниц, книгу, отягощенную повторами еще не вполне сформировавшейся мысли, и публикует ее в Вене весной 1907 года. Книга называется «Национальный вопрос и

социал-демократия»¹. Сам Бауэр объясняет свою смелость тем, что он был воодушевлен ранним австромарксизмом, который, как позднее будет сказано, появился тогда благодаря неокантианской философии, а возможно, в связи с исключительно благоприятной интеллектуальной обстановкой в Вене тех лет. Для этого неокантианства характерна тенденция к психологическому пониманию коллективных явлений, и если, с одной стороны, оно приближается к социальной психологии сознательного и бессознательного, то, с другой — подталкивает Бауэра к тому, что впоследствии будет названо концепцией основной личности — конкретизацией в индивидууме наследственности и характерных черт социальных условий существования. Как в философии познания, неокантианство привлекает внимание молодых марксистов к рассмотрению интеллектуальной и культурной сфер, той надстройки, которую экономический марксизм тщетно пытался соединить с инфраструктурой. Молодежь «в старой Австрии, раздираемой национальными распрями, должна была понять, как следует применять марксистское понимание истории к сложным явлениям, отвергая любое схематическое и поверхностное применение марксистского метода».

Бауэр начал с некоторых теоретических принципов, как это явствует уже из последовательности глав его книги: 1) теория нации; 2) проблема национального государства, многонационального государства и автономии; 3) программа и тактика национальностей в социал-демократии Австро-Венгрии. «Основу книги, — замечает Бауэр в предисловии, написанном для переиздания 1924 года, — составляет попытка понять с помощью марксистской концепции изучения истории современные нации как общности характера, сформировавшейся благодаря общности судьбы». По сути, подобное определение представляет собой вывод из историко-психологических изысканий Бауэра. Именно поэтому его книга — фундаментальная для изучения исторических движений наций Центральной Европы путем анализа социальных и идеологических конфликтов.

Самое новое в книге Бауэра было изложено на страницах, посвященных социологии и социальной психологии. Здесь анализируется механизм межнациональных столкновений и расовой ненависти. Бауэр решительно порывает с прямолинейной концепцией марксистского эволюционизма, которой придерживалась Роза Люксембург; его книга — противостоит ее «Промышленному развитию Польши», где как раз отрицаются эти противоречия. Таким образом, он принимает во внимание национальное пробуждение «народов без исто-

¹ O. Bauer. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien, 1907.

рии» и констатирует инверсию, которая делает их революционными, исходя из анализа реальности и фактов примитивного сознания и вскрывая на примере Австро-Венгрии то, что позднее подтвердит история освобождения от колониального ига. «Всегда и повсюду там, где народ поднимается против своих угнетателей, там, где силы господствующего класса общества противостоят национальной борьбе и где цель национальной политики соответствует разрушению господствующего режима, рабочий национален».

Поместив себя непосредственно в гущу «национальной борьбы», он рассматривает национальность для самой себя. Расовая ненависть, которая свирепствует в особенности среди мелкой буржуазии, переживающей конкуренцию и экономический кризис, распространяется и на производственные отношения и объясняется неравномерностью развития. Предваряя тезис о неравномерности обмена, Бауэр показывает, как различается реализация прибавочной стоимости в отсталых областях и областях развитого капитализма, в отношении рабочей силы и в смысле различий в стоимости. Но более важны для него социальные последствия миграции и место иммиграции в обществе, а не экономические процессы. Именно эмиграция порождает национальную проблему и переносит ее на политическую почву, внутрь самого рабочего класса, когда эмигранты сталкиваются с сегрегацией в кварталах гетто, отвергаемые превосходящими силами национализма. Социальные преобразования в Чехии и Моравии служат не просто фоном у Бауэра, а органически входят в его книгу, которая, таким образом, становится теоретическим документом, основанным на конкретном анализе, а не на идеологическом переложении классической капиталоцентристской схемы.

Возможно, именно изучение образа мыслей заставляет Бауэра настаивать на психологическом национальном характере своего тотализирующего определения. Национальность он рассматривает как социальную индивидуальность, как отличительный характер, зависящий от приобретенных черт и от воли, а лучше сказать, от опыта, формирующего личность. Но повторение психологической формулировки, естественно утомляющей читателя, сделано с целью отклонить какое бы то ни было расистское определение национального характера, который рассматривается с точки зрения психики и культуры и, таким образом, не связан с физиологическим наследием: «Именно различие культурных сообществ, несмотря на кровосмешения, строго разделяет нации». Впрочем, Бауэру настолько надоедает расистский лексикон, свойственный его времени, и он так стремится постичь духовную сущность понятия культурной общности, что в самокритичном предисловии 1924 года даже согласен принять то, что сам называет национальным фетишизмом. Психологический характер, эту на-

циональную психику, которая приведет в замешательство Сталина, Бауэр соотносит с историей: «Нация — это то, что есть у нас исторического», или же: «Общность характера есть устоявшаяся история». В этом — итоговое значение всего, что есть материального и духовного в формуле «общность судьбы», которую лучше было бы перевести как «общая судьба»¹, как советовал Лео Валиани.

В отличие от ортодоксальных марксистов с их экономическим эволюционизмом, Бауэр постоянно стремится показать двойственность становления человечества, хотя в большой мере упрощает этапы этого становления в смысле времени. По Бауэру, начиная с того, что он считает примитивным коммунизмом — по крайней мере с сельских общин, так же как и с германских и славянских племен, от пастушеских племен до племен горцев, — в изменениях первоначального языка и обогащении устной культуры проявляется развитие способов объединения, и именно эти сообщества являются хранителями определенного типа производственных отношений и классовых различий; отсюда в равной степени возникает специфичность культуры, выражающаяся в языке и передающаяся через язык.

В изучении языковых групп и ответвлений Бауэр весьма близок к Энгельсу и ссылается на «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Устная культура народна, однако в ходе развития социальных классов она становится достоянием господствующих классов; письменность также становится впоследствии культурой привилегированных. Так, Бауэр, считает, что культура рыцарского периода была элитарной, тогда как у крестьян она оставалась ограниченной их диалектами. Благодаря такой привилегии, как школа, буржуазная культура становится селективной, и только социализм сможет обеспечить полное развитие национальных культур — действительно национальных благодаря их общностному характеру. «То, что составляет нацию, уже не «ровное единство и единство культуры, а единство культуры господствующих классов». И именно такому национально-классовому этапу кладет конец социализм с помощью освоения культуры всеми.

Все это объясняет и дополняет последовательность способов производства и возникновения классовых противоречий в ходе преобразования коллективистских структур, придающих значение и жизненность народности. Бауэр также пытается увязать оба ключевых понятия, когда пишет: «На политическую власть, на ее нарушения, на смерть и возрождение нации влияет изменение форм труда и производственных отношений». Мировые отношения в собственном смысле «ин-

¹ L. Valiani. Histoire du socialisme du XX-e siècle. Paris, 1948, p. 47.

тернациональны», тогда как история плюралистична благодаря разделению культур, развившихся из коллективных общественных образований. Интернационализм, не основанный на признании национальных культур,— это лишь «утопический космополитизм».

Поскольку Бауэр рассматривает культуру в ее преемственности, он зачастую не обращает внимания на постоянный процесс разрушения и обновления, который он, впрочем, признает. Иногда кажется, что он склоняется к «культурализму» и недооценивает влияния капиталистического дивеллирования культуры (в чем его упрекал Каутский) или же принижает классовые противоречия, что подчеркивали еще до Ленина интернационалисты Штрассер и Паннекук. Но, определяя нацию через культуру (Бауэр не говорит в этом смысле о национальности), он выделяет ее как часть государства. Именно в этом заключается актуальность проблемы нации по сравнению с проблемами национальностей, весьма неустойчивых элементов системы политической организации Центральной Европы, и в этом состояло возрождение актуальности проблемы в тот момент перед лицом сопротивления в области культуры, оказывавшегося национальными меньшинствами и лингвистическими группами в Восточной Европе. У Бауэра — четкий подход к вопросу о культурных сообществах, являющихся наследием истории, представляющих национальную идеологию и ограничивающих политическую борьбу стремлением к государственности. Социализм, не принимающий во внимание эту национальную автономию, реставрирует государственный гнет и, таким образом, теряет свой демократический характер. Культурная автономия есть в то же время осуществление демократической политики.

Бауэр не дает определения нации как исторически сложившейся общности, поскольку считает это понятие априорно необъяснимым, но идет от генезиса общностных коллективных сообществ (и их современной политической реализации), то есть рассматривает их как исторически сложившиеся сообщества, реализующиеся через культуру. Его объяснение показывает нам связующие факторы: нация — это комплекс взаимосвязей. Становление общности отвергает любое атомистически-индивидуалистическое объяснение общества как только суммы индивидов. Поэтому Бауэр и критикует, встречая непонимание со стороны Каутского, либеральную концепцию пражданского общества, которое рассматривается как сумма граждан и в общем имеет тенденцию быть сведенным к нации. Со своей стороны — не без уступок некоторому социальному органицизму — он прибегает к принятому у немцев разделению (которое, в частности, взял на вооружение Фердинанд Тённис) между обществом и сообществом: коллективная ассоциация поддерживает чувство при-

надлежности, которое и составляет национальную идентичность.

Таким путем Бауэр отказывается от формулировок, в которых суммируются все критерии, используемые немарксистскими авторами, в частности от формулировок «итальянских социологов», цитируемых Ф. И. Нейманом в работе «Нация и нация» («Volk und Nation»), опубликованной в Лейпциге в 1888 году, и критически использованных Бауэром. «Здесь остается противопоставить нашей теории нации исследования тех авторов, которые установили определенное количество элементов, составляющих нацию (так считают из-за их совпадения). Итальянские социологи считают такими элементами общность: 1) территории, 2) происхождения, 3) языка, 4) обычаев и традиций, 5) опыта и исторического прошлого, 6) законов и религии. Вполне очевидно, что эта теория объединяет целую серию характеристик, которые вовсе не следует смешивать в одну кучу, но которые можно понять, лишь когда они находятся во взаимозависимости. Абстрагируясь от предполагаемого первого элемента, то есть от общности территории, и от группы других элементов, мы подходим к пятому — общности истории».

Сталин пойдет противоположным путем, исходя из формулировки об «исторически сложившейся устойчивой общности», но не давая исторического объяснения способов объединения. Он просто выбирает характерные черты, выстраивает их одну за другой и объявляет их необходимыми признаками нации.

В конце книги Бауэр упоминает Реннера, однако бегло, несмотря на искажение его мыслей в русском переводе и критику со стороны большевиков. В действительности же расхождения между этими двумя австромарксистами весьма основательны. Реннер — юрист, и он стремится спасти австрийскую империю. Он не говорит или почти не говорит о нации, которая для него является попросту категорией естественного права. Еще меньше внимания уделяет он национальности, которую рассматривает как сообщество праждан. Для него национальный вопрос — это проблема, относящаяся к сфере государственного устройства, и в своих работах на эту тему, среди которых следует упомянуть «Борьбу национальностей в Австрии за государство» (1902), с помощью искусственных юридических конструкций он предлагает некоторые проекты реформы имперской конституции, предусматривающие определенные гарантии для национальных меньшинств. Он скорее формулирует теорию нации, а не национальности, и понимает ее как органическое целое, а Бауэр полемизирует против того, что ему кажется «атомизированным государством».

Бауэр переписывался с Каутским еще во время работы

над своей книгой, а затем дискуссия между ними развернулась на страницах «Нойе цайт» и в австромарксистском журнале «Дер кампф». Она продолжалась и после войны, вплоть до написания Бауэром его предисловия к переизданию 1924 года, где он прямо признает влияние неокантианства и Туган-Барановского. Вскоре у них обнаруживаются расхождения и в вопросе о балканских национальностях, чьи выступления подтверждают тезисы Бауэра, хотя он и принимает идею федерации. Аннексия Австрией Боснии-Герцеговины в 1908 году вызвала сильное недовольство южных славян. Бауэр не доверял комбинациям государственного порядка и предвидел, что национальности не смогут не следовать своей судьбе. Каутский в это время вновь возвращался к старому проекту «малого интернационала» партий и федераций государств.

Тем не менее Каутский приветствовал Бауэра как «первого исследователя, который, в частности, подошел к национальному вопросу по-марксистски»; у Реннера он компетентно, но довольно недоброжелательно отмечал «лассальянскую точку зрения», свойственную юристу, рассуждающему о государстве, в то время как Бауэр — с его точки зрения — обладал «марксистским взглядом экономиста». Во всяком случае, критика Каутского обращена против концепции национального общества, которой, по его мнению, Бауэр приписывал слишком большой вес и жизнестойкость. Защищая собственное определение нации как «преходящих социальных отношений», он считал, что историческое значение нации выводится из политической организации и что только язык является культурной реальностью и обладает очень длительной жизнестойкостью. Он, однако, не считал, что можно говорить об общности характера и не говорить об общности культуры. Даже национальность, определяемая с лингвистических позиций, — явление преходящее, тем более что у всех языков есть тенденция к унификации и лингвистической интернациональной задаче.

Бауэр отвечал, что в итоге все примерно сводится к проводимому им самим различию между обществом и сообществом, возвращаясь к классическому ограничению нации рамками политического общества, тяготеющего к государству. Взяв на вооружение элементы теории Каутского, Бауэр мог бы продемонстрировать, что эта национализация государства осуществляется через государственную школу и государственный язык, а также через национализм интеллигенции, выступающей в качестве государственной бюрократии. И он сожалел, что не мог продолжить работу в области социологии общественных формаций, которая явилась бы марксистским ответом на этот вопрос.

Таким образом, Бауэр отлично видел центральный пункт

расхождений: не удовлетворенный различием между экономической базой и надстройкой, он стремился изучить коллективные формы, поддерживающие различные культур и идеологических представлений. Каутский же обращал внимание только на экономические формации, не дающие возможности социально-политического анализа. Вебер пришел позднее к тому же выводу, восстановив различие между обществом и сообществом и создав политическую социологию, которая в какой-то части отходила от марксизма. Еще один пункт расхождений с тем, кого Бауэр называл своим «почитаемым учителем», касался упрощения социальных отношений и сведения культуры к лингвистическим явлениям. Если его понятие культуры включало и функцию языка, то язык не мог рассматриваться как единственный посредник в социально-культурной наследственности. Реальные же разногласия начинались с того, какое значение придавалось национальной культуре. Бауэр считал, что социализм способствует ее развитию, а Каутский, опираясь на свою концепцию экономического эволюционизма, способствующего исчезновению национальностей и интернационализации культуры, принимал ее значение. Поскольку нация — что-то весьма преходящее, Каутский мечтал о крупных федеральных государствах, которые должны присоединиться к крупным национальным государствам Запада и Соединенным Штатам России, чтобы образовать Соединенные Штаты Мира.

Именно эта критика Каутского, который снова обратился к примерам Швейцарии, Бельгии и Соединенных Штатов, явилась основой полемики с Лениным, который противопоставил «историко-экономическую» концепцию Каутского «культурно-психологической» концепции Бауэра, из которой могли черпать свои доводы сторонники автономии. Именно по вопросам автономии начнет дискусию Роза Люксембург, и на отказе от нее будут сконцентрированы все усилия большевиков. «Перед пролетариатом стоит задача не изменения политической географии капиталистических государств, а скорее организации на географической и политической основе, переданной ему историей, с тем чтобы завоевать власть и создать социалистическую республику». Это заявление Розы Люксембург на Парижском конгрессе Интернационала в 1900 году ясно характеризует ее позицию. Продолжая утверждать, что независимость Польши — это уже пройденная цель, она всю свою энергию борца применяет, с одной стороны, в германской социал-демократии, а с другой — в руководстве своей партией (СДКПил) с перспективой революционного преобразования Российской империи и ее уничтожения, которое сделает возможной автономию национальностей. Таким образом, она продолжает защищать культуру народа, борясь против германизации польских трудящихся, как рань-

ше она боролась против их русификации. Если ее борьба направлена против любого национализма, начиная с польского, который защищала ПСП, то она выступает и против денационализации рабочего класса. В 1900 году она публикует на польском языке брошюру «В защиту национальности», за что была осуждена прусскими властями. Она борется за поляков Силезии, за их право на собственный язык, собственные школы, собственную печать с таким упорством, что это вызывает беспокойство даже немецкой социал-демократии.

Именно эти позиции она отстаивает в некоторых статьях, опубликованных на страницах партийного журнала СДКПиЛ в 1908—1909 годах, под общим названием «Национальный вопрос и автономия»¹. (Статьи написаны после изучения Бауэра, однако Люксембург избегает его цитировать.) В соответствии с ее последовательной позицией, связанной с идеей единого развития классовых отношений, принцип культурной автономии не основывается на определении национальности или теории нации. Полемически намекнув на тезисы Бауэра («очень странно слышать постоянные разговоры об исключительно национальной культуре и предлагать в качестве цели социализма национальную культуру народным массам»), она замечает: «Каутский, насколько мне известно, впервые в социалистической литературе последнего времени формулирует историческую тенденцию, направленную в основном на уничтожение существенных различий [модели] социалистической системы и на унификацию цивилизованного человечества в единой нации». По ее мнению, принятие культурной автономии в условиях империализма и всемирного углубляющегося кризиса при наличии революционной ситуации, сложившейся после 1905 года, отвечает трем основным целям: 1) культурная автономия — это аргумент борьбы против всех проявлений национализма; 2) это также отказ от этатизма, связанного с национальной концепцией, который прикрывается правом на независимость, чему, как она подозревала, симпатизировал Каутский; 3) это отрицание политического централизма, который большевистская фракция РСДРП хотела связать с помощью своих уставов и программной статьи, призывающей к самоопределению, и возвращение к критике в адрес Ленина в статье «Организационные проблемы русской социал-демократии», опубликованной на страницах «Нойе цайт» еще в 1904 году.

Розе Люксембург удается даже использовать Каутского против него самого при анализе обострения национализма и подъема милитаризма в европейских государствах. Протекционизм, осужденный теоретиками немецкой социал-демокра-

¹ См. сокращенный перевод в публикации: *R. Luxemburg. Scritti scelti*, p. 259—315 (две последние цитаты — на страницах 288—289 и 290).

тии, показывает, насколько реакционным стал буржуазный национализм, но он становится также и агрессивным, поскольку передает интересы государства в руки империалистического экспансионизма. Отсюда и полемика Люксембург, направленная против идеализации Каутским крупного государства, и, наоборот, восхваление автономии, демократической в своей основе, поскольку она отрицает единое государство, к которому стремятся сторонники независимости и права на самоопределение. Национального государства уже не существует: оно могло соответствовать периоду воехождения буржуазии, и пролетариату не стоит его возрождать. В том же, что касается России, Люксембург возвращается к своей мысли о федеральной республике, которая с помощью автономии гарантировала бы многонациональную демократию. В 1906 году на Стокгольмском конгрессе РСДРП Бунд и СДКПил приблизились к русокой социал-демократии именно потому, что там не вставал вопрос о самоопределении и централизме. Битва вновь возобновилась опять-таки по инициативе Розы Люксембург и вездесущего Каутского. И вновь дискуссия по этому вопросу перекинулась на Россию.

10. Революционный централизм и право на самоопределение, или национальная автономия и демократия

Труд Бауэра не был продолжен, и даже распространение его книги из-за ее объема оказалось ограниченным. Впоследствии она стала известной в основном в отрывках, как это было с русским переводом, изданным Социалистической еврейской революционной партией (СЕРП). Поэтому аналогии с другими позициями следует рассматривать как результат не столько непосредственного знания вопроса, сколько параллельного развития. Сюда относится позиция Жореса, чье понимание нации развивается благодаря историческому рассмотрению формирования французской нации, завершившегося в ходе Великой революции¹. Он также считает, что существует национальное сознание, сформировавшееся на базе культурного наследия и переросшее в политическую традицию. В своих книгах «Социалистическая история Французской революции» и «Новая армия», где она называется «страстным высказыванием» фразу Маркса: «Рабочие не имеют отечества», он смешивает нацию с демократией и в этом видит смысл революций 1848 года: «Было невозможно бороться против европейской реакции, не создав в то же время, вопреки ей и против нее, наций и демократий». Нацию нельзя свести к буржуазному либерализму, она явля-

¹ О Жоресе см.: S. Sand. Jaurès et la question nationale. — In: "Pluriel—débat", 1977, № 12.

ется исторической формой, имеющей законную силу для всех народов. Коллективная идентичность и совместная жизнь касаются всех классов, и прежде всего через них передается культурный капитал, к которому должен иметь доступ пролетариат и который он впоследствии освоит. Таким образом, социализм, которому угрожает опасность растерять это культурное наследие, охватывая огромное количество группировок или территорию обширной империи, должен «действовать так, чтобы создать новую и лучшую родину». Отрицание родины — это только уход в абстрактный интернационализм; интернационализм должен основываться на равенстве наций.

Жорес ближе к Бауэру в том, что обращает все больше и больше внимания на многообразие культур, принимая в расчет и неевропейские народы. Но все-таки параллель здесь не к месту, поскольку он, как и многие другие социалисты, говоря о нации, никогда не претендовал на выработку теории вообще и в еще меньшей степени — марксистской теории в этом вопросе. Во всяком случае, тут можно было бы сослаться на многие высказывания, свидетельствующие о путях синтеза или компромисса между интернационализмом и патриотизмом в попытке противостоять милитаризму. Отзвуки этого мы находим во всем Интернационале: у Христиана Риковского («в некотором смысле даже самый интернациональный социализм идет национальным путем»); у социалистов молодых социалистических партий Балканских стран, сформировавшихся как раз в годы военного кризиса (1912—1913); в различных партиях Западной Европы, пытающихся сопротивляться националистическому разгулу с помощью двусмысленных формул, не проясняющих национальных противоречий. Но именно эта теоретическая слабость оставляет место для инициатив разного рода социализмов Центральной и Восточной Европы. В Австрии больше, чем в Германии, интернационалисты-радикалы — особенно Штрассер и Паннекук — пытаются создать линию обороны против разрастания национализма, а в России марксисты вновь начинают дискуссию по национальному вопросу.

Непримиримый интернационализм занимает оборонительные позиции, как об этом свидетельствуют две брошюры: «Рабочий и нация» Иосифа Штрассера и «Классовая борьба и нация» Антона Паннекука, опубликованные в 1912 году в Либереце (бывший Рейхенберг), в Чехии — области острейших конфликтов и националистической борьбы между чехами и немцами¹. В этих брошюрах дается ответ Бауэру, чей

¹ См. французский перевод в: *J. Strasser e A. Pannekoek. Nation et lutte de classe. Paris, 1977.*

труд, как считает Штрассер, подмочен национализмом и вдохновлен вульгарным социал-демократическим культурализмом, а по мнению Паннекука — «национальным оппортунизмом». Любая уступка в этой области ведет к отказу от социализма. На глазах у Штрассера, главного редактора рейхенбергской социал-демократической газеты «Форвертс!», в Чехии ежедневно происходит национальное разделение в рабочем движении; в Австрии чешские профсоюзы разрушают профсоюзное единство, в Моравии раскол поражает саму партию. Все это вынуждает Штрассера поставить под вопрос организацию социал-демократии по федеральному признаку и высказаться за образование единой партии, которая «собрала бы вместе все силы пролетариата; национальная автономия, о которой говорят сепаратисты,— это просто химера». Еще в 1909 году он писал, что «единство — высшее достояние партии». Но, по сути дела, он борется против австро-немецкого национализма, тенденции, которую воплощал сам председатель социал-демократической парламентской группы Энгельберт Пернершторфер, близкий к Карлу Реннеру, только что опубликовавшему книгу «Немецкий рабочий и национализм. Очерки о величии и силе немецкой нации в Австрии и о национальной программе социал-демократии» (1910).

Выступая против Реннера, Штрассер легко доказал, что аргументом о национальных интересах и о национальном величии прикрывается опасная вещь — немецкий национализм, но, споря с Бауэром, он оказался в затруднительном положении и был вынужден вернуться к оценке интересов пролетариата с позиций «Манифеста», где нация определяется как буржуазная категория, за исключением случая иноземного гнета. Он берет каждый элемент из тех, которые якобы составляют национальную общность, в отдельности, чтобы удобнее было их разбить: родная земля, национальное чувство, национальный характер. В отношении языка замечания Штрассера дополняют указания Каутского о пролетариате умственного труда. Для «трудящихся», или «профессионалов языка», национальные требования являются требованиями социальными, поскольку открывают им возможности в социальном плане: национальная интеллигенция по своим тенденциям националистична, ибо она — кандидат на многочисленные общественные должности, а государство она называет нацией, чтобы добиться народной поддержки.

Подмену государства нацией осуждает также голландский «трибун» Паннекук, ставший вместе с Радеком одним из теоретиков «бременских левых». Он принимает у Бауэра историческую трактовку нации, но лишь с целью превратить ее в еще более преходящее явление («для нас нация — это эпизод в бесконечном прогрессивном процессе эволюции че-

ловечества») и с тем, чтобы более обстоятельно раскритиковать выводы, касающиеся будущего культурной общности. В его представлении государство в перспективе исчезнет и будет «заменено децентрализацией и широкой административной автономией». Некоторое время еще будут существовать лингвистические сообщества, в свою очередь обреченные на исчезновение. «Экономическое единство не государство, не нация, а мир». Исходя из своего опыта западного европейца, Паннекук видит в национализме государственную идеологию: с помощью государства буржуазия пытается навязать пролетариату свою идеологию и благодаря тому же государству навязывает свою империалистическую политику. Слабость Паннекука в постановке вопроса с классовых позиций заключается именно в отказе от анализа всего того, что есть национального — и что он как раз считает националистическими проявлениями в национальном движении угнетенных и разделенных народов. «Национальный феномен — это не что иное, как буржуазная идеология, которая исчезнет с развитием классовой борьбы... Как всякая буржуазная идеология, она является препятствием для классовой борьбы». На это Бауэр отвечает так: «То, в чем мы нуждаемся сегодня, — это не дискуссия о сути нации... а дискуссия о том, какую позицию пролетариат должен занять по отношению к национальной борьбе, которая ведется среди буржуазии».

В итоге Штрассер и Паннекук «снабдили боеприпасами» Ленина и Сталина, особенно Штрассер — Сталина. Борьба за автономию продолжалась в России прежде всего благодаря Розе Люксембург, чья ненависть к национализму возросла с ростом милитаризма, или, выражаясь ее же словами, империализма. Но, поднимая национальный вопрос, она проводит различие между службой интересам государства, то есть национализмом (государство, по ее мнению, — это система централизованного угнетения, против которой борется пролетариат и которая является противоположностью автономии — орудия демократии по отношению к государственному централизму), и национальностью, культурным явлением, для которого необходимо сохранить свободу выражения и полное развитие которого будет гарантировано революцией. Основа самоопределения национальностей — самоопределение пролетариата. Роза Люксембург, как и Бауэр, убеждена, что только международный социализм в состоянии создать свободные нации, равноправные и независимые. В начале войны она даже сожалела о том, что не нашла лучшего применения принципу самоопределения, чем использование его как орудия освобождения (приближаясь, таким образом, к ленинской позиции). В знаменитой брошюре «Кризис социал-демократии», изданной под псевдонимом Юниус в 1916 году, она указывает на то, что одной из причин краха II Интер-

национала была капитуляция перед национализмом входящих в него партий («патриотическое опьянение масс») ¹. Только международный социализм «может реализовать право народов на самоопределение... Пока существуют капиталистические государства, особенно пока мировая империалистическая политика определяет и формирует внутреннюю и внешнюю жизнь государств, право на национальное самоопределение не имеет ничего общего с практикой ни во время войны, ни в мирное время» ².

В этом состоял также смысл ее борьбы против уставов и программы большевиков, против пункта, в котором отстаивалось право на самоопределение, и в ущерб своему анализу государства она все резче критиковала эти тексты, стремясь к централизму в партии и отказываясь от федеральности, которая подразумевала свободное разделение на государства, объединяемые центром. По мнению Люксембург, автономия — вот основа демократии. Для нее это также средство обойти проблему независимости Польши, поскольку эта цель превращает польский социализм в национализм с социалистическим акцентом. Довольно близко подходит к этой мысли Ленин, когда утверждает, что марксистское отношение к данному вопросу состоит в защите равенства наций и их языков с одновременным сохранением принципа интернационализма и непримиримой борьбы против заражения пролетариата буржуазным национализмом.

Позиция Ленина накануне империалистической войны кажется нам, таким образом, целиком обусловленной стратегическими соображениями. Право на самоопределение — это удовлетворение «в принципе» национальных буржуазных движений, направленных против угнетения и поэтому наполненных «демократическим содержанием». Это агитационный лозунг, подрывающий национализм, и прежде всего господствующий, такой, как великорусский, о котором, по мнению Ленина, Роза Люксембург забыла в своей полемике с польскими социал-патриотами. А значит, это средство для того, чтобы привлечь на сторону пролетарской партии национальные силы, которые — от Восточной Европы до Востока — поднимаются против режимов угнетения. Ленин пишет, что «политика пролетариата в национальном вопросе (как и в остальных вопросах) лишь поддерживает буржуазию в определенном направлении... Буржуазия всегда на первый план ставит свои национальные требования. Ставит их безуслов-

¹ R. Luxemburg. La crisi della socialdemocrazia. — In: R. Luxemburg. Scritti politici, Roma, 1967, p. 449.

² Ibid., p. 517—518.

но. Для пролетариата они подчинены интересам классовой борьбы. Теоретически нельзя ручаться наперед, отделение ли данной нации или ее равноправное положение с иной нацией закончит буржуазно-демократическую революцию; для пролетариата важно в *обоих случаях* обеспечить развитие своего класса; буржуазии важно затруднить это развитие, отодвинуть его задачи перед задачами «своей» нации. Поэтому пролетариат ограничивается отрицательным, так сказать, требованием признания *права* на самоопределение, не гарантируя ни одной нации, не обязуясь дать ничего *на счет* другой нации»¹.

В полемике с Розой Люксембург весной 1914 года Ленин вновь обвиняет ее в том, что она «падает в «грех метафизичности» и «абстрактности» (это обвинение содержалось еще в русской программе самоопределения народов 1903 года). Он признает, что его политическая позиция, может быть, и «непрактична», но, «будучи враждебны всякому национализму», «пролетарии требуют «абстрактного» равноправия, принципиального отсутствия малейших привилегий». В общем, дело идет об объявлении таких прав, как равенство человека и гражданина, но применить их — как покажут война, послевоенный период и движение за национальное освобождение — можно будет только после изменения соотношения сил в результате войны и повстанческих выступлений. Право на самоопределение — это орудие политической борьбы.

Впрочем, Ленин не вырабатывает собственной концепции нации. По крайней мере для него нация сама по себе имеет ценность лишь как орудие борьбы: «Интересы рабочего класса и его борьбы против капитализма требуют полной солидарности и теснейшего единства рабочих всех наций, требуют отпора националистической политике буржуазии какой бы то ни было национальности. Поэтому уклонением от задач пролетарской политики и подчинением рабочих политике буржуазной явилось бы как то, если бы с.-д. стали отрицать право самоопределения, т. е. право отделения угнетенных наций, так и то, если бы с.-д. взялись поддерживать все национальные требования буржуазии угнетенных наций»². Полемизируя с Розой Люксембург, Ленин соглашается с Каутским в том, что национальное государство — это закон и норма капитализма и его образование соответствует буржуазно-демократическому этапу развития. Именно потому, что эта фаза еще не завершена — даже в эпоху кризиса капитализма — в странах Восточной Европы, и особенно в России из-за существования царизма, национальное движение Вос-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 273—274.

² Там же, с. 288.

тока положительно отличается от реакционного национализма империалистических государств. Задача социал-демократии в России — одновременно осуществить демократическую революцию и революцию социалистическую: впоследствии это придаст непрерывный характер революции 1917 года, хотя этот тезис и появится лишь весной того же года и подтолкнет самого Ленина к тому, чтобы — в размышлениях о проблемах демократической революции — вновь поставить на обсуждение свое учение о государстве (в «Апрельских тезисах» и «Государстве и революции»).

Для Ленина нация по сути неотличима от государства. Он повторяет это вместе с Каутским и отдает предпочтение крупным государствам, которые разрешают национальный вопрос, ссылаясь на древнюю историю. Полемизируя с бундовцами, поднявшими «вопрос об ассимиляторстве, т. е. об утрате национальных особенностей», он подчеркивает, что «развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе». Первая — «пробуждение национальной жизни и национальных движений», вторая — «ломка национальных перегородок». Осуждая ассимиляцию, Бунд ссылается на «всемирно-историческую тенденцию капитализма к ломке национальных перегородок, к стиранию национальных различий, к *ассимилированию* нации, которая с каждым десятилетием проявляется все могущественнее, которая составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм». Такая постановка вопроса должна служить оправданием позиции большевиков в РСДРП во имя марксизма: «Марксисты... относятся враждебно к федерации и децентрализации — по той простой причине, что капитализм требует для своего развития возможно более крупных и возможно более централизованных государств. *При прочих равных условиях* сознательный пролетариат всегда будет отстаивать более крупное государство. Он всегда будет бороться против средневекового партикуляризма, всегда будет приветствовать возможно тесное экономическое сплочение крупных территорий, на которых бы могла широко развернуться борьба пролетариата с буржуазией... Но, пока и поскольку разные нации составляют единое государство, марксисты ни в каком случае не будут проповедовать ни федеративного принципа, ни децентрализации. Централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира, и иначе как *через* такое государство (*неразрывно связанное с капитализмом*) нет и быть не может пути к социализму»¹.

Демократическая альтернатива, указанная в программе

¹ Там же, т. 24, с. 143—144.

партии, в отношении реорганизации Российской империи, считавшаяся идеальной основой для экономического и политического развития пролетариата, состояла в «региональной автономии», основанной не на национальностях, а на административных округах, где можно было осуществлять политические права и проводить всеобщие выборы. Выступая против общей тенденции смешивать «демократический централизм... с произволом и бюрократизмом», Ленин утверждал, что, напротив: «Демократический централизм не только не исключает местного самоуправления с автономией областей, отличающихся особыми хозяйственными и бытовыми условиями, особым национальным составом населения и т.п., а, напротив, необходимо требует и того и другого... нельзя себе представить современного действительно демократического государства без предоставления такой автономии...»¹

Такова была линия, определенная «Резолюцией по национальному вопросу», принятой в мае 1913 года конференцией ЦК РСДРП, а лучше сказать, фракцией большевиков, которая одновременно требовала «безусловного единства и полного слияния рабочих всех национальностей во всех рабочих организациях, профессиональных, кооперативных, потребительских, просветительных и всяких иных, в противовес всяческому буржуазному национализму»².

Лишь позднее Ленин решился перейти в атаку по существу против позиции Розы Люксембург по вопросу об автономии, что было видно уже по его статье «О брошюре Юлиуса» (июль 1916 года), но, в общем, он развертывает полемику против всех сторонников национальной автономии различного типа, территориальной или культурной, и сторонников федерации. Начиная с 1911 года большевики отделяются по национальному вопросу от меньшевиков, которые до тех пор были согласны с ними в неприятии двойственного решения — и федерации, и автономии. Необходимо учесть характер отношений с другими российскими социалистическими партиями и ситуацию, сложившуюся в связи с дискуссией по национальному вопросу, охватившей в 1912 году даже саму IV Думу. Практически большевикам было важно привлечь к себе выразителей национальных устремлений, и это объясняет их сплоченность вокруг лозунга самоопределения в период 1912—1914 годов.

После поражения революции 1905—1906 годов стала вырисовываться изоляция большевиков в результате сближе-

¹ Там же, с. 144.

² Там же, с. 119. См. H. Carrère d'Encausse. *Unité prolétarienne et diversités nationales. Lénine et la théorie de l'autodétermination*. — In: "Revue française de science politique". XXI, 1971, № 2

ния Бунда с Социалистической еврейской революционной партией (СЕРП) и появления возможности образования в России — в связи с внетерриториальной автономией — «малого Интернационала» социалистических партий, включающего, кроме двух еврейских партий, польско-литовскую партию (СДКПил), латышскую социал-демократию и часть армянских социал-демократов. Эти политические группировки, к которым примыкали социалистические украинские течения, положительно относившиеся к перспективе автономии, могли объединиться с меньшевиками и вступить в контакт с эсерами. От такого проекта отказались в 1911—1912 годах, и вместо него появилось неустойчивое сожителство Бунда и СДКПил с РСДРП. Это был своего рода инкубационный период, когда вызревало множество идей, особенно пущенных в оборот бауэровских идей по национальному вопросу и культурной автономии, и одновременно трудный для рабочего движения период реакции, наступившей после 1905 года. Только в начале 1912 года, когда стали возрождаться национальные движения и социалистические тенденции — не говоря уже об обострении национализма, возникшем между прочим из-за балканских войн, — вновь открываются дискуссии и споры в связи с созывом конференции РСДРП в январе 1912 года. Национальные социалистические партии на конференции не присутствовали. Меньшевики отделились, и их заклеили как «ликвидаторов». Бунд порвал отношения с РСДРП. Именно тогда в определенной степени и сформировалась большевистская партия на основе партийного централизма и осуждения национальной автономии. Но реальное национальное движение — не только еврейские рабочие, но и большая часть рабочего движения Кавказа, которое перешло к координации своих действий на «конференции блока» в августе 1912 года, — вышло из-под влияния большевиков. Кавказский союз, опора большевиков, вступил в контакт с Кавказской федерацией, в которой объединились другие социалистические течения и которая проявила явный интерес к национальной автономии, вплоть до того, что потребовала поставить вопрос об автономии в повестку дня новой организационной конференции РСДРП I.

Ответные действия большевиков разворачиваются, таким образом, в двух планах: ведутся и организационные бои, и политическая полемика. Это характерно для всей практической деятельности Ленина. На IV конференции латышской социал-демократии он критикует требования культурной автономии и затем ведет такую же атаку внутри польской соци-

1 См.: C. Weill. Les théories austro-marxistes et le débat sur l'autonomie culturelle dans la social-démocratie russe (1912—1914). Сообщения на коллоквиуме "L'expérience soviétique"

ал-демократии, а на «летнем совещании» ЦК РСДРП в сентябре 1913 пода ему удастся навязать резолюцию по национальному вопросу, дополняющую программу 1903 года. В этой резолюции он особенно выделял право «угнетенных царской монархией наций на самоопределение» в рамках централизованного государства, которое является предпосылкой областной автономии. Подчеркивалось также, что «вопрос о праве наций на самоопределение... непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или иной нации». В то же время всем партийным организациям, прессе и т. д. предлагается «подробнее освещать... национальный вопрос» с целью ответить на «попытки кавказских с.-д., Бунда и ликвидаторов отменить программу партии...»¹

Одним из первых на это отозвался Сталин — именно потому, что он был свидетелем столкновений на Кавказе и очень внимательно следил за полемикой с Бундом. К тому же он недавно вернулся из Вены после кратковременного пребывания там, в течение которого имел возможность познакомиться с брошюрой Штрассера. Эту брошюру он систематически использовал. Однако он был не единственным, кто выступил. В марте 1913 года под псевдонимом Н. Скопина с Бундом полемизировал, вероятно, Зиновьев на страницах «Просвещения», теоретического большевистского ежемесячника, в котором впоследствии была опубликована статья Сталина, в конце того же года ленинские «Критические заметки по национальному вопросу», а весной 1914 года — статья «О праве наций на самоопределение». Война прервала ширившуюся между всеми социалистическими движениями дискуссию. Армянский большевик С. Г. Шаумян, который еще в 1906 году опубликовал брошюру «Национальный вопрос и социал-демократия», находясь в ссылке в городе Аст-раханин, вновь начал дискуссию с социалистами Кавказа, опубликовав брошюру «О культурно-национальной автономии». Затем Троцкий в марте 1914 года на страницах «Борьбы» напечатал статью грузинского меньшевика Жордания (Ан), выступавшего против Сталина в поддержку тезиса Бауэра о национально-культурном развитии, живо критикуя всяческое сведение национальной культуры к культуре буржуазной. В то время Троцкий ограничился высказываниями австромарксистского порядка. Он выступал за установление «в государстве условий, гарантирующих мирное сосуществование национальностей на общегосударственной территории и обеспечивающих каждой из них свободу культурного развития». Когда в последующие годы к моменту объединения левых социалистов России Троцкий вновь вернулся к национальному вопросу, он выступил за национальное государст-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, с. 57—59.

во с позиций, весьма близких к точке зрения Каутского в том, что касается его экономических объяснений и проекта Соединенных Штатов России и Соединенных Штатов Мира¹.

От всей этой дискуссии остались лишь статья Сталина и выступление Ленина, которые, как считают, дополняют друг друга. Не говоря об уже тогда проявившейся способности Сталина к предельному упрощению, которая дает ему возможность излагать предмет менторским тоном, перечисляя и объясняя национальные черты, необходимо подчеркнуть, что его оригинальность идет от источников: это Каутский и Ленин, а точнее, все то, что ему известно из анализа Каутского, сделанного в статье о национальном вопросе на Кавказе (перевод Медема), и из цитат австрийских социал-демократов, почерпнутых из статей Бунда или услышанных во время дискуссий тех лет, а также позиции Ленина и Штрассера. Основной точкой опоры Сталин считает необходимость единой пролетарской партии для большевиков. И исходя из этого постулата, он тут же вступает в полемику со сторонниками национальной автономии, а тем более — федерализма, хватаясь за бундовские программные документы, внетерриториального порядка да и за объяснения самого Бауэра, в частности по еврейскому вопросу. Бауэр действительно трактует эту проблему в двух главах и показывает, что еврейская культура национальна, тогда как еврейский вопрос — нет или по крайней мере не может быть разрешен с национальных позиций. От Сталина ускользает смысл этих внутренних противоречий, социальных и культурных взаимовязей. От имени социал-демократии Кавказа и русской социал-демократии и во имя пролетариата он выступает против федерации в любой формулировке, вновь и вновь настаивая на принципе права наций на самоопределение. Следует отметить, что в своей статье Сталин постоянно говорит о нациях, а не о национальностях. Если Каутский разделяет эти два понятия и мечтает о «федеральном государстве национальностей», то Сталин говорит о нации и о территориальном государстве.

Все, что есть ценного у Каутского и Люксембург (которую Сталин не упоминает), вместе с принципом примата классовых интересов, лежит в общей основе марксизма того времени: нация как категория поднимающегося капитализма, образование нации в ходе экономического развития и, естественно, экспансия государства. В отношении Кавказа Каутский показал, что перелом, происшедший в жалких условиях существования на местах, коснулся и национальных

¹ См.: "Pluriel—débat", 1975, № 4.

противоречий, привнесенных эмиграцией рабочей силы. Сталин отдельно рассматривает формирование нации и иммиграцию. Его анализ относится прежде всего к Грузии, которая освобождается от древней замкнутости, чтобы сформироваться в нацию, низводя до положения национальных меньшинств другие национальности на Кавказе. Если Сталин и вспоминает об эмигрантах, то рассматривает их как людей без национальных корней, рабочих и безработных, которые, будучи безземельными, утрачивают национальность. Это настоящие пролетарии без родины, и их удел — ассимиляция при переселении на другую национальную территорию. Если Каутский отмечал плюраэтнические условия — правда, с тем чтобы сделать упор на их недолговечности — и если это еще весьма далеко от бауэровского анализа экономических условий и последствий миграции в социальном и национальном плане, то у Сталина положение о людях без гражданства может навести на мысль о евреях.

У Сталина, как и у Бауэра, нация — это общность. Сталин напоминает также об «общности психического склада», на которой основывается национальный характер, но он полемизирует с австрийским социалистом, утверждая, что тот «смешивает **нацию**, являющуюся исторической категорией, с **племенем**, являющимся категорией этнографической»¹. На самом деле для Бауэра все формы общности исторические, и нация — это итог постоянного процесса взаимосвязи и перестройки социальных формаций. Но именно дискуссия об общности культуры особенно упрощается Сталиным, который разделяет национальную культуру по классовому принципу, исключая, таким образом, проблему национального и классового сознания, как это делал Штрассер, призывая к чистоте классического интернационализма. На это противопоставление у Сталина накладывается противопоставление высшей культуры низшим, которое завершается подчеркиванием превосходства евроцентристских культур и которое уже было свойственно ортодоксальному марксизму. Именно прогрессом высшей цивилизации Сталин оправдывает забвение национальных культур; также необходимость в больших территориях для государства ведет к исчезновению отсталых культур. Отсталость крестьянства компенсируется социалистической революцией. Сталин замечает, правда мельком, что «осью политической жизни России является не национальный вопрос, а аграрный»². Возникает мысль, что аграрный вопрос превалирует даже над интересами пролетариата или по крайней мере является основным согласующим фактором. Здесь Сталин говорит о разнице в национальных дви-

¹ И. В. Сталин. Соч., т. 2, с. 301.

² Там же, с. 318.

жениях на Востоке и на Западе: необходимо вывести Россию из состояния варварства и покончить с условиями мушкетерского существования.

Что же касается языковой проблемы, позаимствованной у Каутского, который, опираясь на нее, вел серьезную дискуссию с Бауэром о будущем национальных культур, Сталин считает язык одной из составных частей нации, но в то же время и составной частью национализма, поскольку при отсутствии лингвистического единства (как, например, в случае с эмигрантами и евреями) национальность исчезает и уступает место территориальной национализации, а язык рассматривается как государственный. Каутский предлагал установить федеральное государство, по возможности основываясь на автономии лингвистических территорий. Когда же Сталин в конце своей статьи подходит к областной автономии, включенной в программу большевиков, он представляет ее как территориальную администрацию на практике, в том числе и для различных наций, составляющих Российскую империю. С исключительной ясностью он излагает способ использования языка, то есть компенсацию, которую необходимо дать национальностям взамен их интеграции в централизованном государстве: «Единственно верное решение — **областная автономия**, автономия таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т. п. Преимущество областной автономии состоит, прежде всего, в том, что при ней приходится иметь дело не с фикцией без территории, а с определенным населением, живущим на определенной территории. Затем, она не межит людей по нациям, она не укрепляет национальных перегородок, — наоборот, она ломает эти перегородки и объединяет население для того, чтобы открыть дорогу для межвания другого рода, межвания по классам... Нет сомнения, что ни одна из областей не представляет сплошного национального единообразия, ибо в каждую из них вкраплены национальные меньшинства. Таковы евреи в Польше, латыши в Литве, русские на Кавказе, поляки на Украине и т. д. Можно опасаться поэтому, что меньшинства будут угнетены национальными большинствами. Но опасения имеют основание лишь в том случае, если страна остается при старых порядках. Дайте стране полный демократизм — и опасения потеряют всякую почву... Что особенно волнует национальное меньшинство? Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему пользоваться родным языком, — и недовольство пройдет само собой»¹.

Уместно было бы сказать, что после 1934 года Сталин уступает национализму русского языка, и этот лингвистичес-

¹ Там же, с. 361—363.

кий национализм проявляется в последний раз в дискуссии о Марре в 1951 году («Марксизм и вопросы языкознания»). По мнению Сталина, язык долговечнее надстройки, будучи передаточным звеном, которое пронизывает следующие один за другим способы производства. На самом же деле в данном случае его преемственность связана с передачей государственности от Российской империи Советскому Союзу. Именно благодаря языку нация представляет собой историческую категорию.

Стало быть, и язык служит основополагающим элементом при определении нации, которая «есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»¹. Таким образом, у нации своя база в прошлом, то есть своя история, о которой может заранее позаботиться только государство. И тут мы возвращаемся к различию между государственными нациями и «народами без истории». Вероятно, именно поэтому Сталин прибегает к термину «общность», заимствованному у Бауэра, но в этом случае отнесенному к давно прошедшему времени, тогда как ни Каутский, ни Ленин его не употребляют, а даже отрицают. Для них нация — это временная единица политической организации (Протей Каутского), момент истории капитала, причем для Ленина она еще в большей степени, чем для Каутского, соответствует демократической стадии буржуазного развития. Отсюда и ее значение, уже не актуальное для Запада, но актуальное для России и угнетенных стран, составляющих слабое звено той цепи, в которой национальный вопрос служит достижению демократии и, стало быть, может иметь значение для создания союзов в ходе пролетарской революции, если партия сумеет определить его потенциальные возможности, не снисходя до уступок.

В стратегической концепции Ленина присутствует мысль также и о неравномерности развития демократии, и в этом заключается демократический смысл права народов на самоопределение. Сталин, наоборот, упорно настаивает на нерушимости нации, которая, по его мнению, всегда является субъектом истории, и когда он говорит о праве наций на самоопределение, то утверждает, что нации имеют полное право организовать все так, как они этого пожелают; нация — суверенное понятие². Фактически это устойчивая, исторически сформировавшаяся общность, возникшая на общей территории и роковым образом оказавшаяся на территории государства.

¹ Там же, с. 296.

² См. там же, с. 349, 349—351.

Если проанализировать сталинское определение нации, исключая один за другим критерии, объявленные неотъемлемыми, то получится, что главное, обеспечивающее необходимую связь и языковую преемственность,—это территория. Она — единственный фактор, природа которого вызывает исчезновение нации. Без территории не существует устойчивой общности и, стало быть, национального государства. Издесь Сталин выражает свою мысль точно так же, как Борухов: национальная территория—это основа развития классов и основа революционного будущего. И тот и другой — сторонники территориального признака (территориалисты), конструктивисты по сравнению с Бундом и убежденные противники бауэровской концепции национально-культурного развития. Выступая против Бунда, Сталин прибегает к аргументу, который мог бы принадлежать Борухову: «... у евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, естественно скрепляющего нацию не только как ее остов, но и как «национальный» рынок. Из 5—6 миллионов русских евреев только 3—4 процента связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96% заняты в торговле, промышленности, в городских учреждениях и, вообще, живут в городах... рассеянные по России...»¹ Нация — понятие крестьянское и территориальное, или же ее не существует. Возможно, земля, основа тех уз в области психики, о которых Сталин говорит весьма приблизительно, — нечто глубоко подсознательное в сталинизме, связанное с идеей осуществления революции, для того, чтобы традиционно аграрная страна смогла обрести государственную помощь и приблизиться к высшей культуре? Сталин — конструктор нации-государства, которое возникнет через революцию в России.

Именно сильный интерес к вопросу о нации придает логичность и силу сталинскому изложению и объясняет, почему его статья смогла послужить движению национальной независимости, как раз оправдывая образование национального государства, возвращая само его существование в историческое прошлое, на ту же территориальную базу, как это свойственно любому национализму, переделывающему историю в рамках государства. Следуя за ортодоксальным объяснением экономической формации Каутским (нация есть «экономическое единство» в отношении рынка), Сталин вносит эту национально-государственную точку зрения в свое толкование исторического материализма.

Вот так сталинский сборник «Марксизм и национально-колониальный вопрос» с 1934—1935 годов становится ключевым текстом для всего коммунистического движения в самых его различных национальных формах — после восста-

¹ Там же, с. 333.

новления «национальных ценностей» благодаря новой политике, направленной против нацизма и фашизма, и он часто будет использоваться партиями и движениями национально-го освобождения стран «третьего мира».

Ленинская концепция национального вопроса связана со стратегическими и даже тактическими соображениями, с концентрацией всей энергии на революции в России и на ее ору-
дии — партии. Но идея, которая подвела Ленина к тому, что уже в статье «О праве наций на самоопределение» он выделяет две эпохи и два типа национальных движений, продолжает развиваться, углубляя после 1914 года даже само понятие войны и его взгляд на империализм: «Империализм означает перерастание капиталом рамок национальных государств, он означает расширение и обострение национального гнета на новой исторической основе... Поэтому в программе с.-д. центральным местом должно быть именно то разделение наций на угнетающие и угнетенные, которое составляет *суть* империализма...»! Таким образом, Ленин вновь возвращается к особенности, которую Маркс относил единственно к Ирландии (Ленин познакомился с работами Маркса по ирландскому вопросу только в 1913 году), и переносит ее на отношения в мире. Исходя из этого, он может возложить свои надежды на национальные движения Востока и определить задачи III Интернационала. Бесполезно искать в этих работах теорию и даже определение нации, но он говорит, что интернационализм всегда стоит на стороне угнетенных наций и движений национального освобождения.

Поскольку право нации располагать собой наполнилось содержанием в ходе освобождения угнетенных и колониальных стран, выбор Лениным принципа самоопределения, а не национальной автономии кажется исторически оправданным. Действительно, то, что прежде всего являлось стратегическим планом партии, изменило свое значение и приобрело у Ленина смысл благодаря анализу империализма и значению, которое впоследствии приобрели движения национального освобождения. Это оправдание апостериори повысило ценность ленинских соображений по национальному вопросу и прежде всего сталинской теории нации-государства, перечеркнув, впрочем, все иные соображения и марксистские разработки и, главное, скрыв недостатки, вытекающие из сведения марксизма XIX века к чисто экономическим проблемам и стратегическому упрощению, которое предпринял большевизм в этой области. Значимые коллективные явления и со-

! В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 62—63.

циальные сообщества — те комплексы общностных связей, которые пытался прояснить Бауэр,— как и любое проявление культуры, не принимались во внимание: они отступали перед классовой реальностью, разбивались о нее, а сама она выдавалась за единственное и всеобъемлющее явление материализма и даже за прямую гарантию его существования. Впрочем, эти социальные образования остаются как бы средоточием социальной идеологии и социального сознания, в настоящее время одновременно и национального, и политического, этнического или религиозного. Именно в этих областях коллективных идеологий сталкиваются, вновь возникают, пересекаются и обостряются идеологические противоречия и извращения, в эти же области проникают и на них же отражаются результаты идеологических движений предшествующих периодов. Без глубокого социально-политического анализа противоречий между национальным и классовым сознанием, между силой националистических идеологий и их использованием в целях оправдания государства, включая государство «реального социализма», в национальном вопросе сохранится двойственность, препятствующая пониманию национальности и культурного развития, сковывающая марксистскую мысль и подводящая ее к национальной государственности, да и сама теория государства останется в такой же степени неполной. Но это уже следующая история, связанная с тем, что сегодня называется кризисом марксизма, и она может привести к новым раскрепощающим изображениям.

Франко Андреуччи

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ВОПРОС И ИМПЕРИАЛИЗМ

Около двадцати тетрадей, заполненных заметками, схемами, статистическими выкладками, цитатами, общим объемом почти восьмьсот печатных страниц¹—вот результат долгого и упорного труда Ленина в богатых книжных фондах свободной Швейцарии. В итоге он написал труд об империализме, который ему удалось переправить через плотную сеть военной цензуры между 1916 и 1917 годами. После Октябрьской революции и основания Коммунистического Интернационала этот «популярный очерк», как сам Ленин называл его, стал одним из самых известных, самых читаемых и цитируемых трудов в мире. Само слово «империализм» наполнилось новым семантическим содержанием, до этого ему несвойственным, и теперь воспринимается нами под сильным влиянием ленинской интерпретации².

Созданию исследования помогли условия (не будем здесь говорить о личных способностях Ленина): исследовательская и интерпретаторская работа предшествующих авторов—марксистов и немарксистов, влияние которых на «Тетради по империализму» явное и несомненное, а также тот факт, что война и бессилие II Интернационала подтвердили ряд предположений и суждений, которые Ленин высказывал в предыдущие годы³.

Вычленив все это из массы влиятельных толкований и мнений, выросшей из работы Ленина почти полвека спустя после ее публикации, далеко не легко: критика самых разных направлений насаждалась на большевистскую традицию, превратившую Ленина в одинокого титана среди моря оппортунизма. Поэтому не лишним будет начать с 80-х годов XIX века, когда стала оозревать масса проблем и суждений, сыгравших впоследствии опромную роль во всей дискуссии об империализме. Короче, следует обратиться ко времени обсуждения «колониального вопроса».

¹ См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 28. Тетради по империализму.

² Это недооценивается в работе: R. Koeber, H. D. Schmidt, *Imperialism. The Story and Significance of a Political Word*, 1840—1960. Cambridge, 1965.

³ H. W. Kettenbach, *Lenins Theorie des Imperialismus*, I: Grundlagen und Voraussetzungen. Köln, 1965.

1. Колониальный вопрос, угнетенные народы и «крах» капитализма

В годы становления марксизма, во время цюрихского изгнания руководящей группы немецкой социал-демократии, оформился также ряд направлений, которые впоследствии, в период, когда колониальная европейская экспансия, перестав быть одним из аспектов деятельности капитализма, превратилась в жгучую политическую проблему, станут основой антиколониальной идеологии международного рабочего движения¹.

В начале 80-х годов XIX века все основные европейские страны вступили в новую фазу колониальной экспансии. Это были страны старых имперских традиций, такие, как Англия, а также недавно созданные государства Германия и Италия, и, кроме того, Франция, Бельгия, Россия. За пределами Европы, на территории почти всего остального мира — от Египта до всего африканского Средиземноморья, от Тонкинского залива до Черной Африки, от Средней Азии до островов Тихого океана — они все осуществили серию военных интервенций, включились в борьбу за новые владения, предприняли дипломатические маневры.

«Колониальный вопрос» был частью того багажа проблем, которые молодые марксисты немецкой социал-демократии должны были разрешить в исключительно сложное время². Вопрос, по сути, не исчерпывался сферой колониальной политики, а распространялся на жизненно важные проблемы рабочего движения. В первую очередь речь шла о столкновении разных цивилизаций, и из этого проистекали не только этнологические курьезы, но и брали начало проблемы, относящиеся к древним формам производства и социальным отношениям, которые, с точки зрения марксизма, уже сходили со сцены исторического развития. Одновременно надо было подумать о результатах влияния колониальной экспансии на Европу, где эта экспансия опиралась на капитализм и в то же время, как казалось, помогала ускорить его развитие. Должны были способствовать или противостоять подобному развитию политические выступления рабочего класса? Это была одна из центральных проблем. И еще: значимость новых проблем вытекала не только из характера оппозиции, зачинателем которой должна была стать

¹ H. C. *Schroeder*. *Sozialismus und Imperialismus. Die Auseinandersetzung der deutschen Sozialdemokratie mit dem Imperialismusproblem und der "Weltpolitik" vor 1914*, I. Hannover, 1968, S. 105, sgg.; H. C. *Schroeder*. *Sozialistische Imperialismusdeutung. Studien zu ihrer Geschichte*. Göttingen, 1973.

² F. *Andreucci*. *Engels, la questione coloniale e la rivoluzione in Occidente*. — In: "Studi Storici", 1971, p. 437—479.

рабочая партия, но и из необходимости международных связей в соответствии с международной обстановкой. В общем, речь шла о выработке новой внешней политики рабочего класса, принимающей в расчет прошлый опыт международного рабочего движения и одновременно выверяющей некоторые из своих предыдущих положений, например те, что касались России, считавшейся «главным врагом». Последнее положение следовало пересмотреть в свете новых международных отношений, в которых не последнюю роль играли как успехи социалистического движения в России, так и обострение восточного вопроса. Наконец, возникали проблемы, непосредственно касающиеся колониальной экспансии. Каково ее значение? Каковы ее движущие силы? Давали ли связи между цивилизациями право высшей цивилизации властвовать над низшей и направлять ее?

Одним из первых в кругах социал-демократов, ориентировавшихся на марксизм, кто заинтересовался колониальным вопросом, был Каутский¹. Этот вопрос занимал довольно значительное место как в культурном развитии Каутского, так и в процессе его приближения к марксизму. Он много интересовался этнологией, историей первобытных народов, был весьма увлечен теорией мальтузианства, был восприимчив к проблемам эмиграции. Под влиянием Хохберга, молодого мецената, финансировавшего некоторые издания, близкие к немецкой социал-демократии, Каутский посвятил колониальной проблеме некоторые из своих первых трудов. Эта тема увлекла его до такой степени, что он вел по ней живые дискуссии и, в конце концов вступив в интеллектуальный конфликт с самим Хохбергом (по его мнению, последний был слишком ярким сторонником колониальной экспансии), порвав на этой почве со своим другом, почувствовал необходимость обратиться к такому авторитету, как Энгельс. «Я хотел бы обратиться к Вам с вопросом, — писал он Энгельсу в мае 1882 года, — над которым думал, однако не пришел к какому-либо определенному выводу. Как будет относиться социализм к колониям, в частности в Азии? Например, освободит или нет английский пролетариат Индию? С точки зрения теории на этот вопрос надо было бы ответить положительно, но, я думаю, наши принципы безоговорочны только в отношении народов, возвращенных нашей цивилизацией»².

В центре внимания Каутского стояла проблема связи между перспективой независимости колониальных народов, этапами их экономического и социального развития и рево-

¹ См.: K. Kautsky. La questione coloniale. Antologia degli scritti sul colonialismo e sull'imperialismo. Milano, 1977, p. 23 segg.

² «Friedrich Engels' Briefwechsel mit Karl Kautsky. Zweite, durch die Briefe Karl Kautskys vervollständigte Ausgabe von "Aus der Frühzeit des Marxismus"». Wien, 1955, S. 54—57.

лющей в Европе. По мнению Каутского, завоевание Индии революционным пролетариатом было бы выгодно и для индийского народа; если же его предоставить собственной судьбе, то ему может грозить самый жестокий «восточный деспотизм», в то время как разобщенная, разрозненная индийская крестьянская община не сумела бы воспрепятствовать рождению на Востоке той самой буржуазии, которая уже была бы разбита европейской революцией. «И наоборот,—добавляет Каутский,—ведомая европейским пролетариатом, Индия могла бы довольно спокойно подойти к современному социализму, минуя переходную стадию капитализма»¹.

И для Энгельса, и для Маркса все это было не ново. В сущности, речь шла об особой точке зрения, когда затрагивался вопрос о социалистическом пути развития в регионах, где доминировали докапиталистические формы производства,—тот самый вопрос, на который оба уже ответили многочисленным корреспондентам из числа русских народников. Что касается Энгельса, то он не сразу дал ответ на вопрос Каутского, хотя ему уже представлялся случай подойти к этой проблеме с другой точки зрения. Это было в связи с публикацией на страницах еженедельника немецкой социал-демократии одной из статей по египетскому вопросу. В то время в международной политике широко обсуждалась бомбардировка англичанами порта Александрии. Симплатии многочисленных социалистических партий и групп в Европе были на стороне Араби-паши и националистических сил, которые он возглавлял в их борьбе как за независимость страны, против пассивной позиции хедива, так и против англо-французского вмешательства.

В помещенной в «Социал-демократе» статье «Социал-демократия и египетский вопрос» приводились примеры и одобрялось содержание призывов из Парижа, прозвучавших в ходе демонстрации солидарности, организованной гедистами. В них выражалась поддержка национальной партии Египта как партии, борющейся за независимость и суверенитет по буржуазно-европейскому образцу, а также с энтузиазмом был поддержан призыв двух бывших участников Парижской коммуны, проявивших желание прийти на помощь феллахам на берегах Нила и повторить героические подвиги, «совершенные в 1871 году славными интернационалистами на берегах Сены во имя пролетариата»².

Позиция, в которой ни Бернштейн, ни Каутский никогда не сомневались, у Энгельса вызвала ряд суждений и прежде всего желание заставить двух своих молодых кор-

¹ Ibid.

² "Die Sozialdemokratie und die egyptische Frage". — In: "Der Sozialdemokrat", 3. VIII. 1882.

респондентов понять, необходимость отнестись к подобным политическим проблемам сдержанно и осторожно: «И все-таки, чуть где-нибудь вспыхнет мятеж, как весь революционный романский мир совершенно не критически приходит в восторг... Во всех вопросах международной политики к сентиментально-политическим партийным газетам французов и итальянцев следует относиться с величайшей осторожностью, и мы, немцы, и в этой области обязаны с помощью критики доказывать свое теоретическое превосходство, раз мы им обладаем»¹.

Кроме того, Энгельс формулировал некоторые положения реальной политики, суровой и без иллюзий, являвшейся результатом опыта эпохи Возрождения, но связанной в общем и целом с мыслями, которые он сам и Маркс высказывали в отношении крестьянства вне пределов Европы, а также в отношении деспотизма и застоя на Востоке. По мнению Энгельса, Араби-паша ничем не отличался от других. Просто он был военным противником англичан и в случае победы лишил бы иностранцев привилегии взимать налоги в свою пользу. По отношению к египетским крестьянам, феллахам, Араби-паша был живым воплощением традиционной формы эксплуатации, той самой, что осуществлялась сатрапами или пашами: «Тут повторяется обычная в крестьянских странах история. От Ирландии до России, от Малой Азии до Египта — в крестьянской стране крестьянин существует для того, чтобы его эксплуатировали... Я считаю, что мы вполне можем выступать в поддержку угнетенных феллахов, не раздвоя при этом их теперешних иллюзий (ведь крестьянскому народу нужно веками подвергаться обману, пока он не созреет на собственном опыте), и можем выступать против насилиев англичан, отнюдь не солидаризируясь из-за этого с их теперешними военными противниками»².

В письме к Бернштейну Энгельс вновь высказал несколько новых мыслей в отношении колониальной проблемы и «угнетенных народов», о чем в свою очередь ему писал Каутский. Но он все еще не ответил на изначальный вопрос. «Должен открыто признаться, — писал Каутский 6 сентября 1882 года, торопя Энгельса с ответом, — что об этом предмете мне все еще не удалось составить себе ясного представления». Именно события в Египте прояснили для Каутского то, что казалось ему драматическим противоречием между железными экономическими законами, связывавшими застой с эксплуатацией крестьянства и борьбой национальной египетской партии: «Как это ни кажется отрица-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 291.

² Там же, с. 290—291.

тельными, я целиком на стороне дела Араби-паши, восставшего против европейского капитала. Но я не вижу никакой возможности внутренней социальной революции в Египте. Посему должен признаться, будет ли Араби-паша честным или нечестным, победителем или побежденным, рано или поздно старая экономика времен пашей и эксплуатация феллахов возродятся вновь»¹.

Наконец 12 сентября Энгельс решил ответить на многочисленные вопросы Каутского. «Вы спрашиваете, что думают английские рабочие о колониальной политике? То же самое, что они думают о политике вообще; то же самое, что думают о ней буржуа». Сразу же после этого Энгельс говорит о колониальном вопросе, высказываясь прежде всего по проблемам перспективы развития колоний. Он считает, что колонии надо разделить в первую очередь на те, которые должны руководствоваться принципом независимости, и те, которые еще нуждаются в руководстве. В случае победы европейского пролетариата — что следует повторять, поскольку это составляло предпосылку всей дискуссии,—собственно колонии, то есть Австралия, Канада, Капская колония, стали бы самостоятельными, а «земли, занятые туземцами... пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности». «Как именно развернется этот процесс,—продолжал Энгельс,—показать трудно. Индия, может быть, сделает революцию, даже весьма вероятно, и так как освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется помириться... То же самое может разыграться еще и в других местах, например, в Алжире и в Египте, и для нас это было бы, несомненно, самое лучшее»².

Победоносный революционный пролетариат «реорганизу-ет» Европу и Северную Америку, которые станут примером такой мощи, что смогут взять на буксир все получивилизованные страны. «Какие социальные и политические фазы придется тогда проделать этим странам, пока они дойдут тоже до социалистической организации, об этом, я думаю, мы могли бы выставить лишь довольно праздные гипотезы. Одно лишь несомненно: победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы»³.

Речь шла о ряде положений, переключившихся одно с другим даже по форме и отражавших тогдашние дискуссии о будущем России. Но они в то же время напоминали о ображениях, высказанных Энгельсом Бернштейну несколько

¹ "Friedrich Engels' Briefwechsel mit Karl Kautsky...", S. 59.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 297—298.

³ Там же.

месяцев тому назад. Речь шла о южных славянах, народах «без истории», пешках во внешней политике русского царизма, к которым Бернштейн высказал симпатии, весьма сходные с симпатиями Каутского к египетской партии. «Вполне понятно, что это мое письмо (имеется в виду письмо Энгельса Каутскому: *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 35, с. 219—224.—*Ред.*) не убедило Вас,—писал Энгельс Бернштейну, объявившему себя сторонником восставших Боснии и Герцеговины,—коль скоро Вы уже сочувствовали «угнетенным» южным славянам. Ведь первоначально,—поскольку все мы сперва прошли через либерализм или радикализм,—мы оттуда переняли это сочувствие ко всем «угнетенным» национальностям, и я помню, как много времени и изучения мне понадобилось, пока я отделался от этого,—но зато уж основательно... Впрочем, Вы можете сочувствовать этим маленьким отсталым народностям, сколько Вам угодно... Но они были и остаются орудием царизма, а в политике не место поэтическим симпатиям»¹.

В основе подобного рода мнений, вполне совпадавших в том, что касается признания абсолютного примата революции на Западе и «пролетариата Запада, развитого с точки зрения капитализма», как ее субъекта, были две вещи, которые лишь частично могли повлиять на Каутского и Бернштейна: с одной стороны, историческое значение таких понятий, как «народ» и «угнетение», которые рабочий класс должен был осмыслить и изучить, и противоречия, которые он должен был разрешить с помощью победы революции; с другой стороны—постоянные ссылки на Россию (ее влияние явно чувствовалось на Балканах, но ее длинная рука доставала, по мнению Энгельса, до Араби-паши), которая в революционной пролетарской перспективе играла роль сколь главную, столь и противоречивую в том смысле, что оставалась оплотом реакции, хотя в ней все более определенно проявлялись возможности нового своего «1789 года».

Тем не менее ответы Энгельса, связанные с перспективой неминуемой революции в Европе, не давали возможности разрешить проблемы, которые вскоре приобретут гораздо более важное значение и выйдут далеко за рамки проблем южных славян и египетских феллахов, причем в обстановке, не подтверждавшей оптимистических предсказаний Энгельса. В конце века, когда предметом дискуссии стала вся традиция теории Маркса и Энгельса по восточному вопросу и когда колониальные захваты распространились на все части света, два авторитетных представителя европейского рабочего движения, Э. Бернштейн и Э. Белфорт Бакс, могли бы сослаться на один из аргументов противоречивого мнения Эн-

¹ *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.* т. 35, с. 229, 232.

гельса. «Не всякая борьба угнетенных народов против их угнетателей,—заметил бы Бернштейн,—является борьбой за освобождение... Нецивилизованные народы и враги свободы, восстающие против цивилизации, не имеют никакого права на наше сочувствие... Если в прошлом со стороны социалистов можно было предложить помощь диким народам и варварам в их борьбе против наступающей капиталистической цивилизации, то все это было связано с пережитками романтизма, чья несостоятельность обнаружилась в тот момент, когда полностью проявились его последствия»¹. Бельфорт Бакс со своей стороны приводил в пример свои беседы с Энгельсом: «Согласно тому, что неоднократно повторял Энгельс пишущему эти строки, единственно верной политикой социал-демократии по отношению к остальным народам является, как бы там ни было, политика временного невмешательства». И далее утверждал, что единственный якорь спасения для капитализма — колониальная экспансия. «С этой точки зрения,—заключал он,—любой прогресс колонизации представляет собой регресс для дела социализма. В равной степени, с той же точки зрения, любое поражение цивилизованной державы в ее борьбе против варваров и диких народов должно рассматриваться социалистической партией, если она хочет быть последовательной, как дело весьма желательное. С этой точки зрения дело аборигенов — действительно наше дело»².

Формулировка Бакса отсылает нас к тому, что, по мнению Энгельса, а также и марксистов немецкой социал-демократии, составляло суть колониального вопроса — его связь с развитием капитализма. С этой точки зрения «Капитал» Маркса рассматривался как основной источник принципиальной ориентации, поскольку суждения Маркса в ту эпоху были известны лишь по конечным выводам, а большая часть его трудов, таких, как статьи, посвященные Индии и Китаю, написанные в 50—60-е годы, не была известна. В трудах Каутского, особенно относящихся ко времени подготовки им книги об экономической теории Маркса, влияние «Капитала» явно ощутимо, особенно в том, что касается примеров преднамеренного преступления британских колонизаторов в Индии. А в социал-демократической печати вообще ссылки на Маркса, и в частности на главу о «Первоначальном накоплении», обычно были сплошными цитатами. «Колонизация,—писала газета «Социал-демократ»,—означает накопление капитала. Накопление капитала означает накопление нищеты. Вот вкратце изложение точки зрения Маркса, являющееся и точ-

¹ E. Bernstein. Die deutsche Sozialdemokratie und die türkische Wirren.— In: "Neue Zeit", XV, B. 1, S. 109—110.

² E. Belfort Bax. Kolonialpolitik und Chauvinismus. — In: "Neue Zeit", XVI, B. 1, S. 423—424.

кой зрения социал-демократии на колониальный вопрос. Это единственная точка зрения, которую может принять сознательный пролетариат»¹.

В сущности, колониальная экспансия именно из-за того, что она была чертой капиталистического развития, не могла быть (как это понимали сторонники концепции государственного социализма) аспектом политики социальных реформ, способных направить в русло эмиграции относительное перенаселение, приводящее к безработице, а, скорее, стимулировала «обнищание масс» и рост «пропасти между богатыми и бедными»². Однако вопрос представлялся менее простым, если учесть, что все вроде бы говорило о второстепенности колониальной экспансии в рамках капиталистического развития, как это показывал пример Германии.

Энгельс никогда не был высокого мнения о Германии своего времени. Страна обывателей, отставшая в капиталистическом развитии, она, по мнению Энгельса, переживала свой колониальный опыт как ограниченный мелкий буржуа, ханжа и лицемер. «С помощью колониальной аферы Бисмарку удалось совершить великопнейшую выборную аферу. Филистеры попались на эту удочку окончательно, бесповоротно и в большом количестве»³. Но далее Энгельс радовался тому, что «афера» Бисмарка кончилась ничем. «Я очень рад,— писал он Бебелю осенью 1884 года,— что колониальная афера не удастся. Это был самый сильный козырь Бисмарка, отлично рассчитанный на психологию филистера, сулящий призрачные надежды и чреватый невероятно тяжелыми, очень медленно окупающимися затратами. Бисмарк с его колониями напоминает мне полоумного последнего герцога Бернбургского (настоящего идиота), который заявил в начале 40-х годов: «Я тоже хочу иметь железную дорогу, хотя бы она обошлась мне в тысячу талеров». Что такое тысячи талеров по сравнению со стоимостью железной дороги? Таково же представление Бисмарка и его друзей-филистеров о колониальном бюджете»⁴. Именно для того, чтобы поддержать оценку немешкими социал-демократами настоящих масштабов «надувательства», связанного с [немецкой] колониальной политикой, которая была несонмерима с жестоким размахом английской политики, Энгельс высказал мнение о том, что движущими силами колониальной экспансии являются паразитические круги армии и бюрократии, а также установление привилегированных отношений с биржевыми спекулянтами. В то время утверждался и другой комплекс,

¹ "Marx über das Kolonialsystem". — In: "Der Sozialdemokrat", 10. VII. 1884.

² "Die Maske herunter!", 19. III. 1885.

³ "Eduard Bernsteins Briefwechsel mit Friedrich Engels", S. 296.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, с. 185—186.

который еще долго довлел над марксистской оценкой европейской колониальной экспансии. Это были суждения о недопотреблении, центром которых была тема общего кризиса капитализма.

Связь между перспективой кризиса капитализма и колониальной экспансией находит заметное выражение и в суждениях позднего Энгельса. В центре их стоит проблема Китая. Китай представлял собой «последний новый рынок», где наиболее остро и ожесточенно происходила конкурентная борьба между державами. Предположение, что Китай явится «последним предохранительным клапаном, спасающим от перепроизводства», Энгельс впервые высказал в 1886 году и затем повторял так часто, что оно стало убеждением¹. Механизм, через который Китай мог бы привести капитализм к *débacle* (разгрому), в основе своей имел противоречие между необходимостью экспансии европейской индустрии и становлением капиталистических производственных отношений в этой стране. Железные дороги, паровые машины, электричество, телеграф, которые с помощью европейского капитала в огромных масштабах распространялись во всех районах «Поднебесной империи», явились в то время мощным ударом по вековым производственным отношениям, основанным на связи между сельским хозяйством и домашним производством в деревне. Конец самообеспечения сельских общин, который наступил бы с появлением продукции современной индустрии (процесс, протекавший в Китае уже десятки лет), выбросил бы на рынок труда миллионы кули. И в то время как сам китайский рынок имел бы тенденцию к сокращению, крестьяне, толпами хлынувшие из Гуандуна и Цзяньсу в города Европы, Америки и Австралии, ввергли бы в хаос организацию капиталистического производства. Тогда европейские и американские рабочие — а прежде всего англичане — узнали бы, что настал их час: пролетарская революция и кризис капитализма представляли собой два неразделимых вывода в вопросе завоевания Китая: «Опять мы имеем великолепный пример иронии истории: капиталистическому производству остается завоевать только Китай, но, наконец, завоевав его, оно само делает невозможным свое существование у себя на родине»².

С точки зрения политической и при самостоятельном анализе, который Каутский начинает в «Нойе цайт», отношение социал-демократии к колониальной политике носит более систематичный характер, чем в редких замечаниях Энгельса. Европейские социалисты, ориентирующиеся на марксизм,

¹ W. Blumenberg (ed.). August Bebel's Briefwechsel mit Friedrich Engels. London's Gravenhage—Paris, 1965, S. 265—269.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 252.

все — по крайней мере до конца века — являлись ревностными противниками колониальной политики¹. Их аргументация касается прежде всего провокационной роли колониальной политики в международных отношениях, ее негативного значения для колониального баланса, который не приносил существенных плодов, но выражался в грабительских налогах, бьющих по всем гражданам, стимулировании военных расходов, связанных с колониальными акциями, в изъятии части государственных средств, предназначенных на социальные реформы. И все это происходило как бы на фоне усиления противоречий между ростом производства и сокращением рынков сбыта. «Перепроизводство, — скажет впоследствии Бебель, — станет хроническим, и все средства, которые попытаются против него применить, ни к чему не приведут. По мере развития капиталистического общества присущий ему закон развития достигает своей высшей точки. Кризисы становятся все более затяжными, дороговизна возрастает, а периоды процветания становятся короче. И по мере того как этот процесс происходит не только у нас, но в равной мере и в других цивилизованных странах мира, арена борьбы становится все более узкой, конкуренция — более жестокой, борьба обостряется, и конец латинян — я повторяю — станет общим крахом... Тогда появимся мы, социал-демократия»².

Именно благодаря подобной аргументации в анализе отношений между колониальной системой и капитализмом на первый план выступало перепроизводство и «крах», тогда как другой аспект (который будет полностью осмыслен и выражен лишь в начале XX века) — роль колониальной экспансии как необходимого дополнения к существованию капитализма — оставался в тени. Но более активные поиски причин и характеристик колониальной политики начнутся только тогда, когда она обретет новое лицо в рамках «мировой политики».

2. Мировая политика и капитализм конца столетия

Несмотря на уверенность Бебеля в неминуемом кризисе капитализма, систематически выработанной теории по этому вопросу в трудах Маркса и Энгельса не имелось. Критики Бернштейна были правы, когда упрекали его в том, что он «торопит» разработку теоретического наследия марксизма с

¹ См.: G. Haupt, M. Reberieux (ed.). *La deuxième Internationale et l'Orient*. Paris, 1967.

² Отрывок из выступления в рейхстаге 2 декабря 1892 года. См.: "Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstags", VIII, Legislatur periode, 2 Session 1892—1893, I, Berlin, 1893, S. 121.

целью идеологической полемики, касающейся политических прогнозов немецкой социал-демократии.

Однако существовали возможность идеологического выбора, распространенные мнения, комплекс разделяемых многими убеждений, согласно которым капитализм уступит место социализму в условиях гигантского кризиса. В конце века, в частности, в связи с психологической напряженностью, нередко свидетельствующей о переходе «от одного века к другому», утвердилось представление о капитализме как о вроде бы уже не связанном с принципами свободной конкуренции. Все более распространялась идея об упадке всей системы ценностей и отношений, которая столь долгое время вырабатывалась в рамках всемирного сценария¹. «Никогда еще в мировой истории, — писал Гайндман, — не было периода одновременно и необыкновенного и волнующего, как тот, в который мы сейчас вступаем. Европа, Азия, Африка, Америка — все связаны одной великой цепью, и все, что происходит в каком-то из уголков мира, может серьезно повлиять на международные отношения государств на всей планете»².

Тем не менее конечный результат «шедевра» капитализма, то есть объединение мирового рынка, достигался в беспокойной обстановке. Пять или шесть лет в конце XIX и начале XX века были насыщены политическими и военными событиями: от англо-бурской войны до интервенции великих держав в Китае, от испано-американской войны до англо-французского фашодского кризиса и, наконец, конфликта между Россией и Японией. Это требовало от социалистического международного движения внимательного анализа всего того, что отмирало, обновлялось или рождалось заново.

Первым событием, поразившим мир, являлся, несомненно, упадок Англии. Держава, которая в течение долгих лет служила ориентиром для европейского демократического движения и давала традиционный пример борьбы против абсолютизма, испытывала теперь двоякие перемены. С одной стороны, она, несомненно, потеряла монополию в международной торговле, с другой — вроде бы рождалась новая коллективная психология, проникнутая духом насилия и национализма. Макс Беер, один из самых вдумчивых обозревателей международной политики, так писал в «Нойе цайт» о масштабах этих изменений в плане мировой истории: «До 1875 года Англия целиком господствовала на мировом рынке. Торговля и промышленность приносили ей доходы, которые сегодня кажутся нам баснословными... Борьба за

¹ См.: *F. Andreucci. La socialdemocrazia tedesca e l'imperialismo alla fine del XIX secolo.*

² *H. M. Hyndman. Indien, China und das Erwachen Asiens. — In: "Vorwärts", 24. VII. 1900.*

Трансвааль, завоевание которого должно было составить основу мощной империи,— это пятый акт одной из самых грандиозных драм мировой истории... Сегодня мне более, чем когда-либо, ясно, что современная Англия не отличается нормальным здоровьем, а, скорее, устала и находится в состоянии упадка... Социальному прогрессу она уже ничего дать не может. А ведь именно этот прогресс мог бы спасти от унижения англичан, которые некогда обучали мир азам в политике и промышленности. На наших глазах происходят изменения огромной важности»¹.

Одним из аспектов этой проблемы стал комплекс изменений, все более утверждавшихся в экономической политике великих держав. На мировой оценке произошло нечто вроде перераспределения ролей и партий. Немецкие промышленники и крупные торговцы превратились в ярых защитников свободного обмена, в то время как в Англии, где эта теория считалась чуть ли не «религиозной догмой», общественность выступила за «имперский союз», в рамках которого английские товары могли бы не бояться иностранной конкуренции. Речь шла об изменении всего политического климата: «От экзальтации эпохи мира в торговле необходимо перейти к более энергичной экспансии. От приторных забот о спасении несприятельских душ в Африке следует как можно быстрее перейти к разделу на сферы влияния на этом континенте. Вместо слащавой сентиментальной лирики Теннисона нам нужна казарменная поэзия Редьярда Киплинга»².

«Мировая политика», или, как все чаще стали говорить, характеризую все стороны политики экспансии и международных провокаций, «империализм», внесла в международную обстановку новую угрожающую динамику, захватившую все сферы современной жизни: политику, общество, экономику. «Похоже на то, что старая эпоха застоя проходит, — писал Макс Беер КAUTскому. — Американская конкуренция, наступление трестов произвели глубокое впечатление на английскую публику... Нельзя не сделать вывода, что происходит нечто вроде качественного поворота»³.

Возможно, одним из событий, оставившим самый глубокий след в сознании современников, была англо-бурская война. В Англии, как впоследствии писал Гобсон в одном из своих исследований, ставшем позднее знаменитым, политический и социальный климат глубоко переменился: страну захлестнули воинственный дух, националистическое ожесто-

¹ M. Beer. Betrachtungen über den Niedergang Englands. — In: "Neue Zeit", XIX, B. I, S. 805 sgg.

² H. Cunow. Handelsvertrags — und imperialistische Expansionspolitik. — In: "Neue Zeit", XVIII, B. II, S. 208.

³ "Kautsky Nachlass", Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, D. IV. 47.

чение, примитивные инстинкты, характерные для обстановки войны, от которой, как думали, во многом будет зависеть имперский престиж. «Неожиданный взрыв национальной ненависти, которую называли «джингоизмом», есть особая форма этих примитивных чувств, изменившихся и обострившихся благодаря некоторым чертам современной цивилизации»¹.

Империализм тоже поначалу считался типично английской идеологией, родившейся как внутренняя реакция на мировую политику позднего викторианства. «Наряду с социализмом,— считал Каутский,— из поражения «манчестерской школы» родилась еще одна сила. Это империализм, который под давлением господствующих классов разглядел в английском народе большие возможности для развития социализма и который в настоящее время является основным орудием подавления прогрессивных устремлений последнего»².

Речь шла о самом настоящем «социальном империализме», который преследовал две цели одновременно: в виде альтернативы социализму создать популярную базу для политики экспансионизма и «восстановить расшатавшееся капиталистическое производство». И Каутскому представлялась весьма важной попытка выявить социальные основы и движущие силы империалистической идеологии.

По мнению Каутского, революционными силами современной эпохи были только два главных действующих лица: промышленный пролетариат и промышленный капитал. Но уже надо было сводить счеты и с новым действующим лицом — финансовым капиталом. В то время как «манчестерцы» осуществляли конкурентную борьбу за счет рабочих собственной страны и «поддерживали не только свободный обмен, но и мир», современные коммерсанты, финансисты, чиновники, каста военных — все ярые протекционисты — торопили гонку вооружений и агрессивную колониальную политику. «Манчестерцы» нуждались не в мировой политике завоеваний, а в торговой политике, основанной на договорах, на мирном развитии связей, тогда как «коммерческий и финансовый капитал» стоял у истоков современного милитаризма: времена либеральной политики безвозвратно ушли в прошлое. Тем не менее Каутский главный упор делал на комплекс экономических и социальных изменений, составляющих, как ему казалось, основу современной мировой политики. «Промышленный капитал в последние 30 лет также претерпел глубокие изменения... Великий кризис 70-х годов, последствия которого продолжали давать себя знать столь глубоко и в 80-е годы, не привел к краху мир капиталисти-

¹ J. A. Hobson. *The Psychology of Jingoism*. London, 1901, p. 2.

² K. Kautsky. *Der Krieg in Südafrika*. — In: "Neue Zeit", XVIII, B. I, S. 198—199.

ческого производства, а вызвал крах идеалов свободной конкуренции... Этот дух насилия еще более укрепит, поскольку именно организации предпринимателей — с их централизацией промышленности, примером которой является акционерное общество, — предлагают средство проникновения крупного капитала в индустрию. Этот крупный капитал теснейшим образом связан в государстве с жестокими и воинственными классами и именно благодаря их вооружению и махинациям извлекает максимум прибыли. Не менее важно и то, что в капиталистической индустрии текстильная промышленность, которая во времена Ричарда Кобдена являлась ведущей, занимает теперь второе место, а вперед вышла металлургическая промышленность... Но крупный капитал заинтересован в насильственной политике экспансии и по другой причине. Национальная арена действий капиталистических государств очень скоро становится слишком узкой для целей экспансии накопленного капитала... Именно самые воинственные и жестокие классы общества выходят на сцену благодаря экономическому развитию, в то время как это же экономическое развитие, с одной стороны, делает неспособной все более ширящуюся часть классов — пока что настроенных мирно — оказывать сопротивление духу насилия, а с другой — наделяет их разбойничьей психологией»¹.

Новая «интернациональная буржуазия» с новыми действующими лицами, такими, как Соединенные Штаты (за их появлением на мировой сцене особенно внимательно наблюдала Роза Люксембург), стремящаяся к «новому разделу мира в интересах крупного капитала», стояла у истоков империалистических устремлений, которые уже в первые годы века стали предметом изучения во всей своей сложности и не только по направлениям, указанным Каутским².

Самую продуманную и зрелую, с марксистской точки зрения, попытку проанализировать содержание мировой политики и империализма предпринял в 1902 году Макс Беер. Империализм уже нельзя было рассматривать просто как идеологию или как результат политического выбора. В своей исследовательской работе Беер исходил из того, что основная черта современной эпохи — быстрый рост производительных сил, превышающий возможности национальных капиталистических рынков, и что капиталистические страны производят более того, что в состоянии потребить. Но вместе с этим широко распространенным мнением об отношениях между капиталистическими и некапиталистическими сфера-

¹ K. Kautsky. Schippel, Brentano und die Flottenvorlage. — In: "Neue Zeit", XVIII, B. I, S. 750—751.

² Das Grössere Britannien". — In: "Leipziger Volkszeitung", 7. XI. 1902.

ми он выделял и другие элементы, более глубокого, по его мнению, характера: «Для экономики этого периода характерны: а) миграция капиталов в менее развитые страны и возвращение в метрополию дивидендов и процентов; отсюда — кажущийся дефицит коммерческого баланса капиталистических стран, то есть увеличение импорта по сравнению с экспортом; б) растущее преобладание финансов над производством; в) концентрация производства в руках синдикатов и трестов; г) лихорадочные поиски потребителя; д) проявление теоретического интереса к значению внутреннего рынка»¹.

Борьба между финансами и индустрией, между торговым и промышленным капиталом, по мнению Беера, вовсе не была борьбой между реакцией и прогрессом, что особенно подчеркивали некоторые марксисты. Движущими силами империалистической политики являлись, скорее, монополистические объединения, родившиеся и развившиеся не в результате антагонизма, а из взаимопроникновения промышленного и финансового капитала. Отсюда вытекала двойственная тенденция — к экспорту капитала и импорту сырья. Далее исследование Беера касалось способов и форм мировой экспансии, типичных для империалистической политики. Стремление к разделу мира требовало создания более широких, чем в прошлом, экономических возможностей, в то время как сама колониальная экспансия не обязательно должна была опираться на прямой захват территорий. «Главы правительств и сами правительства Китая, Сиама, Афганистана, Персии, Турции и Северной Африки постоянно чувствуют на себе растущий контроль империалистических классов Европы. Азиатские и африканские правители были приучены обманывать свои народы в интересах европейцев, эксплуатировать их и подавлять любое устремление к былой самостоятельности»².

Хоть в этом и не было ничего неожиданного, поскольку уже начиная с 90-х годов в рабочем движении и вне его широко публиковалась литература, посвященная процессам капиталистической концентрации, суть исследования Беера в большой мере отличалась от огромного числа приблизительных характеристик, с помощью которых, особенно в правом крыле немецкой социал-демократии, пытались определить, что такое монополии, тресты и картели — преимущественно в плане контрударов, наносимых ими на рынке, — и представить социал-демократическую оппозицию как оппозицию «потребителей». Впрочем, аналогичные проблемы, относящиеся к общей оценке современного капитализма, стояли в центре дискуссий по тезисам Бернштейна. В них рассматривались

¹ M. Beer. Imperialistische Politik. — In: "Neue Zeit", XXI, B. I, S. 389—390.

² Ibid.

две силы, противостоящие друг другу именно в вопросе жизнеспособности или упадка, что было связано с новыми формами организации капиталистического производства.

Если деятели, подобные Францу Мерингу, подчеркивали в политике империализма попытку буржуазии отсрочить момент краха и определяли ее как мировую политику умирающего капитализма! (впоследствии эту формулировку заимствует Ленин), то Бернштейн особенно выделял элементы жизнеспособности, присущие последней фазе капиталистического развития. Бернштейн открыл полемику против сторонников, как он говорил, «традиционно выдвигаемых предположений, в которых частица правды приобретала эпиграмматический характер». Эта полемика перестала носить только личный оттенок и оказалась воплощением настроений широких слоев немецкой социал-демократии. «Тот, кто видит буржуазный мир в агонии, — писал Бернштейн, — легко может узреть в любой из его акций лишь признаки смерти... Тем не менее история никогда не следует схемам эпитаграмм, если не считать разве что великих эпох. То, что верно с точки зрения вечности, может оказаться серьезной ошибкой с точки зрения дня. С какого-то момента наша жизнь — это долгое умирание, но наши деяния будут продолжаться еще долго после того, как мы минуем этот момент, и это будут деяния живых, а не мертвых»².

Метафора была более чем ясной. Впрочем, не менее ясными были и политические выводы, которые Бернштейн делал из этих предпосылок. Рассматривая империализм как политическое направление, он прежде всего противопоставлял демократический английский империализм («никаких умалений политических прав английских рабочих, никаких ограничений для объединения, никаких преследований за политические убеждения — вот что характеризовало до сих пор эпоху империализма»), имеющий целью создание «систематически организованной и рациональной» имперской федерации, немецкому империализму, которому недоставало «аспекта демократичности». Но утверждавшиеся на мировой сцене крупные имперские объединения в основном следовало рассматривать как никогда ранее в качестве «необходимых» носителей экономического прогресса. Вновь возникал — но уже в новом обличье — мотив необходимости экономического прогресса, та идея, которую ставили в упрек «ортодоксам». Однако с позиции Бернштейна противоречие в программных заявле-

¹ См. соответствующие главы: "Die Weltpolitik des krachenden Kapitalismus". — In: "Weltkrach und Weltmarkt", dell'aprile 1900. F. Mehring. "Gesammelte Schriften (VII: Zur deutschen Geschichte von der Revolution 1848—1849 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts)". Berlin, 1965, S. 428—432.

² E. Bernstein. Sozialdemokratie und Imperialismus. — In: "Sozialistische Monatshefte", IV, S. 238 sgg.

ниях международного рабочего движения, которое он критиковал («реакционный утопизм» — род нового луддизма, — связанный с желанием бороться против процессов и явлений, считающихся необходимыми предпосылками реализации социализма), разрешалось таким путем, что не без основания его можно было бы назвать «примпериалистическим». Можно было клеймить жестокости колониальных завоеваний, опасности неосмотрительной гонки вооружений и мировой политики, но нельзя было лишить рабочий класс преимуществ, связанных с завоеваниями и экспансией на мировом рынке, нельзя было обрекать рабочее движение на бездействие, лишать его собственной позитивной внешней политики, гуманной колониальной политики, опоспособной исправить тенденции, присущие общему процессу модернизации капитализма, одним из аспектов которого являлась внешняя политика империализма.

Именно благодаря политической борьбе вклад в понимание империализма обогатился новыми данными. В то время как Роза Люксембург усматривала здесь тесную, нерушимую связь между целями новой империалистической эпохи и качественно иными задачами, вставшими перед рабочим классом, ортодоксальные марксисты заняли единую позицию по проблеме империализма, своими выступлениями в социал-демократической печати Германии и за ее пределами способствуя тому, что акцент в изучении империализма окончательно сместился с политических аспектов на общие характеристики наступившей новой фазы капиталистической экономики. «Основным пунктом этого вопроса, — утверждал Ледебур на Майнцском съезде немецкой социал-демократии, — является вступление капитализма во всех странах в фазу, характеризующуюся хищнической политикой, которая в свою очередь приводит европейский капитализм, как и капитализм американский, в самые отдаленные части света... Во всемирно-историческом плане мы имеем дело с проявлениями последней стадии капитализма (*im letzten Stadium des Kapitalismus*). Эти проявления в зависимости от фаз развития различных стран принимают ту или иную форму, но по сути всегда остаются теми же самыми как в самодержавной России, так и в конституционной Англии, как в республиканской Франции, так и в Америке и в Германии»¹.

Созвучие с другой весьма известной формулировкой не должно нас смущать, и формулировку Ледебура не следует переоценивать. Однако и наличие подобных суждений, многократно появлявшихся на страницах марксистской печати в

¹ "Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands abgehalten zu Mainz vom 17 bis 21. September 1900", S. 166—167.

эпоху II Интернационала, всегда с новыми акцентами, с новым содержанием, с новыми приближениями, не должно рассматриваться нами с доктринерским самодовольством. Наоборот. Ведь речь идет о первом важном этапе в разработке темы империализма. В период, предшествующий первой мировой войне, к ним добавятся новые, более значительные и глубокие формулировки.

3. Империализм

По мере развития своей творческой мысли Маркс и Энгельс, хотя и с различными акцентами, оставили целому поколению марксистов описание капитализма, его прошлого, настоящего и будущего. Они обрисовали капитализм как способ производства, носящий исторический характер не только в смысле того, что это явление преходящее, но и в силу того, что ему свойственны и внутренние изменения. Это предвидение подчеркивало факт растущих противоречий, что было верно. Но так же верно и то, что вопрос о перспективе неминуемого будущего общего гигантского кризиса, — перспективе, которую считали реальной многие марксисты конца XIX — начала XX века, — вылился в обсуждение самой способности капитализма к изменениям и его возможности смягчить или исправить масштабы своих внутренних противоречий.

Дискуссия о капитализме конца века, в которой активно участвовали многочисленные либеральные экономисты, обсуждая вопрос о концепции Бернштейна, довольно ясно выявила тот факт, что капитализма эпохи свободной конкуренции уже не существует и что он твердо встал на новый путь — протекционизма, гонки вооружений и колониальной экспансии.

В период, предшествовавший первой мировой войне, это соображение постоянно и многократно подтверждалось. События военно-дипломатического характера — от марокканских кризисов до напряженности на Балканах и Балканских войн — все более изменяли облик империализма; соответственно акцент смещался с вопросов идеологического порядка в область практической политики, и наконец проявились основные признаки способа существования капитализма. Капитализм изменился, он вступил в новую фазу, отличающуюся агрессивной внешней политикой и приматом финансового капитала. Именно на этом пути, несмотря на различную степень приближений и попыток его оценки, вырисовывался исторический облик капитализма, который в предвидениях Маркса и Энгельса всегда был связан со становлением социализма. В то же время, особенно после русской революции 1905 года, внесшей огромный вклад в дело революционного движения в Азии, идейным достоянием социалистического

движения вновь становилась перспектива мировой или по крайней мере европейской революции, которая благодаря своей потенциальной силе сможет достичь Азиатского континента.

Марксистские исследования характера современной эпохи, процессов капиталистической концентрации и ее отношений с империализмом хронологически относятся преимущественно к годам острых международных кризисов. Это годы непосредственно после русской революции 1905 года и до 1912 года. В это время, с одной стороны, обретала все более определенное и точное значение тема обострения классовых противоречий (особенно после 1905 года и в рамках дискуссии о «действиях масс»), с другой — предпринимались многочисленные попытки вывести анализ капитализма, вышедшего из XIX века в формах высокой концентрации и под господством монополий, из тупика обычных противоречий между перепроизводством и недопотреблением. Тем не менее большинство марксистов из числа немецкой социал-демократии, занимавшихся этой проблемой, лишь с трудом поняли, что новые формы организации капиталистического производства находили выражение в ряде качественных изменений капитализма. Наряду с Рудольфом Гильфердингом и Розой Люксембург, которым мы обязаны попытками самого серьезного анализа современного капитализма, «ортодоксальный» марксизм предлагал уравнение «перепроизводство — крах» (типичен с этой точки зрения пример Парвуса¹), которое находило свое дальнейшее развитие в работе Каутского «Путь к власти».

Вышей точкой в размышлениях об империализме и об отличительных чертах современного экономического и политического положения явилась, вероятно, дискуссия, развернувшаяся в рядах немецкой социал-демократии в 1912 году во время Хемницкого съезда. Хотя в центре дискуссии находились специфические темы борьбы против милитаризма и лозунг о разоружении и союзниках рабочего класса, тот факт, что империализму был посвящен отдельный пункт повестки дня, способствовал формулировке ряда оценок, касавшихся большей части вопросов, которые через четыре года Ленин систематизирует по-новому.

Выступавший с вступительной речью Гуго Гаазе, именно потому, что держался нейтралитета в отношении различных взглядов, высказанных на съезде — от фритредерства Бернштейна, не обходившего вниманием и различий между предпринимателями, до «радикализма» бременцев, — представил в конце концов компромиссную оценку империализма, но изображение это было весьма примечательным: «Я думаю,

¹ Parvus. Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch. Leipzig, 1907.

что выражу мнение всех товарищей, — заявил он, закрывая дискуссию, — если определяю нашу общую оценку империализма как проявление самой зрелой фазы капитализма. Империализм станет могильщиком капиталистического способа производства. Достигнув высшей точки своего развития, капитализм превратится в социализм»¹.

Но именно после съезда на страницах партийной печати развернулась серьезная дискуссия, особенно в «Лейпцигер фолксцайтунг», которая, несмотря на изменения в редакционном составе, все еще находилась под влиянием левого крыла марксистов. Она посвятила проблеме империализма серию содержательных статей. Основная задача ряда анонимных статей, которые, возможно, принадлежали перу Ю. Марклевского², состояла в том, чтобы показать тотальный характер империализма. Согласно этим статьям, историческая эпоха, начавшаяся с середины 90-х годов, после Великой депрессии во всех своих аспектах — экономическом, политическом, идеологическом — определялась наличием империализма как определенной фазы развития капитализма. Империализм был неизбежен и являлся источником не только агрессивной внешней политики, но и обострения классовых противоречий и усиления оппортунистических тенденций внутри рабочего движения. Если даже партийная ежедневная газета «Форвертс» допускала, что империализм надо считать «самым последним, самым жестоким, но также и заключительным проявлением силы капитализма»³, то лейпцигская газета выступила по этому вопросу с более глубокими соображениями: «Капиталистическое развитие, — читаем мы в номере от 14 сентября 1912 года, — является огромной силой, движущей мир вперед. В настоящее время, вот уже двадцать лет, как нас окружает беспрецедентное процветание, которое только два раза прерывалось короткими кризисами. За этот период капитализм укрепился, в нем вызрели новые формы, у него появились новые характеристики, которые мы определяем словом «империализм». Его стремительное наступление захватило самые далекие континенты, весь мир становится его гигантской добычей, а буржуазия в это время с радостью вершит мировую политику, забывая все свои старые программы и готовясь к разделу мира с помощью гигантской гонки вооружений... Эти новые империалистические формы капитализма обостряют классовые противоречия между буржуази-

¹ "Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands abgehalten in Chemnitz vom 15 bis 21 September 1912". Berlin, 1912, S. 434.

² D. Fricke. Die deutsche Arbeiterbewegung 1869—1914. Berlin, 1976, S. 422.

³ "Chemnitz und die Parteipresse". — In: "Leipziger Volkszeitung", 27. IX. 1912.

ей и пролетариатом и толкают трудящихся на еще более тяжелую борьбу. Социализм — уже не просто страстное желание, призрачная мечта маленьких групп. Он стал уже ближайшей практической целью миллионов и миллионов людей, готовых к борьбе»¹.

В том же духе и на ту же тему была написана брошюра Карла Радека о немецком империализме и рабочем классе. В ее основе (которая — возможно, это небезынтересно напомнить—начинается с той же таблицы, что и работа А. Супана о колониальной экспансии, с таблицы, с которой Ленин начнет шестую главу своего «Империализма, как высшей стадии капитализма») лежал синтез оценок империализма за предыдущее десятилетие. Этот синтез станет основой «популярного очерка» Ленина. Начиная с замечания о противоречии между развитием производительных сил и рынком, Радек обосновывает необходимость экспорта капитала в менее развитые страны, показывает движущую силу империализма (капитал в его последней фазе развития) в тяжелой промышленности и крупном капитале, наконец, привлекает внимание к тому факту, что реакционная природа империализма порождает препятствия к любому рода политике социальных реформ, способствует уменьшению роли парламента и ухудшению условий жизни рабочего класса из-за контроля над рынком со стороны монополий².

Когда несколько лет спустя Ленин готовил свой очерк об империализме, оказалось, что темы, которые ему предстояло разработать, уже стояли на повестке дня предшествовавших дискуссий немецкой социал-демократии. Тем не менее между 1912 и 1916 годами это не было просто продолжением дискуссии об империализме: уже началась война, и произошли события 4 августа 1914 года. Оба эти факта значительно повлияли на ход анализа Ленина.

Большевистская традиция, и особенно ее интерпретация Сталиным, а также распространение этой традиции в годы существования Коммунистического Интернационала сильно повлияли на представление о Ленине и его идеях. Это в значительной мере продолжается до сих пор. В отличие от Маркса, чьи мысли сама марксистская критика старалась отделять от идей его последователей или же его «эпигонов», Ленину выпало на долю, по крайней мере частично, стать жертвой недостаточного осмысления проблемы сталинизма. Чтобы правильно понять Ленина, следует пойти по тому же пути,

¹ См.: Chemnitz und die Parteipresse". — In: "Leipziger Volkszeitung", 27. IX. 1912.

² K. Radek. Der deutsche Imperialismus und die Arbeiterklasse. Bremen, 1912.

который позволил отделить мысль Маркса от путаницы связанных с ним политических, идеологических и «партийных» традиций. Однако образ Ленина, его мысли, весь комплекс его трудов еще теснее переплетены с «марксистско-ленинскими» традициями, нежели все творчество Маркса с традицией марксистской, а догматическая завеса, скрывающая идеи Ленина, возможно, более плотна, чем та, что скрывает идеи Маркса. К тому же — а это как раз весьма близкая для нас тема — Ленину было посвящено несравненно меньшее количество научных исследований.

В этом смысле случай с «Империализмом, как высшей стадией капитализма» весьма показателен. Книгу не приняли как пропагандистский труд. Скорее, ее оценивали как вклад в историю экономической мысли. Почти никогда не изучалось ее возникновение. Столь же нечасто в отношении этой книги прилагались хотя бы минимальные усилия с точки зрения филологической. И редкость цитат из «Тетрадей по империализму» является еще одним доказательством этого. Подобным же образом проявила себя традиция III Интернационала. Она превратила труд Ленина в труд титана, труд гиганта в пустыне, который смотрит на своих предшественников с высоты теоретически недостижимых завоеваний. Сталинистская интерпретация сознательно изолировала Ленина от предыдущего опыта марксистской мысли. Тем не менее, если не обращать внимание на всем известные рассказы о глубоком уважении Ленина к Каутскому и о его восхищении немецкой социал-демократией как спящей, организованной партией, подготовительная работа для создания «популярного очерка» была бы невозможна без деятельности немецких марксистов в предшествующее десятилетие, а скудость цитат в нем объясняется острой полемичностью труда. Весьма тесно с этими соображениями связан и другой момент: «Империализм, как высшая стадия капитализма» рассматривается также в отрыве от всех предшествующих работ Ленина, посвященных тенденциям современной экономики, и интерпретаторы «Империализма» большей частью осуществляли его проекцию на последующие годы, на годы Октябрьской революции и строительства социализма. Из всей этой массы ссуд под залог будущего случай с «популярным очерком» во многих отношениях показателен. Даже просто слегка приоткрыть завесу, которая его окружает, — дело весьма трудное, достойное усилий первооткрывателей. Попробуем сделать хотя бы первый шаг в этом направлении.

Уже само название книги отражает пороки времени, и они столь укоренились в дальнейшем, что мы их почти не замечаем. Когда издательство «Парус» в 1917 году опубликовало ее первое издание еще до Октябрьской революции, книга называлась «Империализм, как новейший этап капитализма», а

в подзаголовке объяснялось, что речь шла о «популярном очерке». Ключевое слово титула — прилагательное «новейший», означающее «последний», в смысле «свежий», — повторяет подзаголовок труда «Финансовый капитал» Рудольфа Гильфердинга. Таким образом, точный перевод звучал бы как «Империализм, новейшая стадия капитализма», а не как всем нам известный «Империализм, как высшая стадия капитализма». Как же получилась такая замена «новейшего этапа» «высшей стадией»? И когда? Вопрос этот непростой.

В связи с текстом произведения Ленин прямо ссылается на проблемы, связанные с царской цензурой, но есть и общие осылки на его название. В «Тетрадах», когда речь идет о редакции планов этого труда, мы находим две разнящиеся формулировки. Первая — «Империализм, как высшая (современная) стадия капитализма»¹ — отличается от второй: «Империализм, как высшая стадия капитализма» (Популярный очерк). (Для цензуры примерно: «Основные особенности современного (новейшего, новейшей стадии) капитализма»².) В то время в письме М. Н. Покровскому, занимавшемуся изданием этого труда, Ленин, казалось, больше был озабочен возможностью поставить на титуле существительное «империализм», чем прилагательное «высшая». «Насчет заглавия: если неудобно данное, если слово империализм желательно избегать, тогда поставьте: „Основные особенности новейшего капитализма“»³. И несколько месяцев спустя, протестуя против того же Покровского, изъывшего из книги критику, направленную против Каутского, Ленин уже ничего не говорит насчет заглавия⁴.

Но дело осложняется при научном издании текста, потому что вплоть до конца 20-х годов во всем мире были изданы переводы ленинского труда под первым названием, а не с тем, которое появилось позднее, а ведь все они выходили под непосредственным наблюдением Ленина, который даже написал предисловия к французскому и немецкому изданиям, и это никак не было связано с цензурой. В Италии в 1921 году появился перевод под названием «Империализм, как новейшая стадия капитализма», и только двадцать лет спустя слово «новейшая» заменили на «высшая». То же самое произошло с французским, испанским, английским и словенским переводами. Но наиболее примечателен случай с немецким переводом. Впервые труд вышел в 1920 году под названием «Империализм, как новейший этап капитализма». Год спустя он был опубликован в Гамбурге издательством Коммунистического Интернационала, и в том же 1921 году по случаю

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 28, с. 178.

² Там же, с. 207.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 259.

⁴ Там же, с. 343—344.

публикации в журнале «Коммунистический Интернационал» предисловия Ленина к французскому и немецкому изданиям заголовок вновь был повторен. То же произошло и при переиздании в 1926 году в серии «Марксистская библиотека. Произведения марксизма-ленинизма» (Вена—Берлин) 1.

Без соответствующего знания рукописей и литературы на русском языке (первый вариант заглавия был повторен в изданиях 1923 и 1925 годов, и это, кажется, противоречит редакционному примечанию к четвертому изданию «Собрания сочинений», в котором утверждается, что заглавие было изменено уже во втором издании 1917 года))² невозможно извлечь из нашего анализа какие-либо выводы. Но даже если единственным результатом явится призыв к большей осторожности, осмотрительности, к более продуманному отходу от традиции, представляющей нам труд Ленина как нечто аксиоматичное, не требующее доказательств и, наконец, угрожающе «катастрофическое», — уже одно это будет удовлетворительным результатом.

Подобные соображения, призывающие нас к более внимательному прочтению «Империализма, как высшей стадии капитализма» получают дальнейшее подтверждение при анализе ленинского текста, современных ему работ и ленинских трудов, писавшихся в те же годы. Действительно, определения империализма, сделанные Лениным в начале войны, представляются весьма близкими социал-демократическим традициям, во всяком случае, они разнообразны, полны, многосторонни, иногда даже противоречивы. Прежде всего прилагательное «империалистский» имеет у Ленина ряд синонимов или по крайней мере дополнительных определений, особенно в отношении характера войны: «буржуазная, империалистическая, династическая война»; «империалистическая война, т. е. война ради интересов капиталистов»; «империалистическая, завоевательная, хищническая»³. Но у него и немецкие социалисты — «империалисты, т. е. шовинисты»; «великорусский великодержавный капитализм»⁴ и т. д.

Более сложны постепенные приближения к определению «эпохи» империализма. В сентябре 1914 года Ленин просто пишет о «новейшей, империалистической стадии развития капитализма» и добавляет далее, что «эпоха империализма неизбежно будет эпохой всяких кризисов»⁵. Одно из первых,

1 "Lenins Werk in deutscher Sprache. Bibliographie". Berlin, 1967, S. 338—339.

2 Lenin, Opere, vol. 22, p. 366.

[Ни в итальянском, ни в русском четвертом издании Сочинений В. И. Ленина, с которого сделан итальянский перевод, этого утверждения нет.— Прим. ред.]

3 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 1, 302; т. 27, с. 101.

4 Там же, т. 26, с. 9, 109.

5 Там же, с. 15, 114.

относительно полных определений, связанных еще с социал-демократической традицией, относится к марту 1915 года: «Современная война имеет империалистический характер. Эта война создана условиями эпохи, когда капитализм достиг высшей стадии развития; когда наиболее существенное значение имеет уже не только вывоз товаров, но и вывоз капитала; когда картелированные производства и интернационализация хозяйственной жизни достигли значительных размеров; когда колониальная политика привела к разделу почти всего земного шара; — когда производственные силы мирового капитализма переросли ограниченные рамки национально-государственных делений; — когда вполне созрели объективные условия осуществления социализма»¹.

Несколько месяцев спустя, говоря о том, что «не только повторялись эти выводы тысячи раз во всей необъятной газетной литературе социалистов *всех стран*», Ленин определял империализм как борьбу «гибнущей, одряхлевшей, сгнившей буржуазии за дележ мира», но добавлял, что «всестороннее научное исследование империализма... только начинается»². Первые плоды этого анализа, который начинал проводить сам Ленин, побудили его углубить исследование темы оппортунизма и его связей с рабочей аристократией и с империализмом. Отсюда вытекал ряд политических последствий, социально-экономический анализ которых существенно дополнял картину раскола в рабочем движении.

В то время как в ленинском анализе определение, сделанное в марте 1915 года, повторяется по разным поводам и с незначительными изменениями, в нем появляется и новый элемент, который становится основным для характеристики политической перспективы. Эпоха империализма представляется как эпоха «прогрессирующего угнетения наций всего мира горсткой «великих» держав»³. Это — один из основных элементов политики, направленной на признание права на самоопределение. Именно в рамках этих предпосылок Ленин и стал писать работу «Империализм, как новейшая стадия капитализма» в начале 1916 года. Хотя Ленин широко использовал результаты предшествующих исследований, особенно Джона Гобсона и Рудольфа Гильфердинга, в его труде было по крайней мере два новых момента.

Во-первых, он свел воедино ряд отдельных наблюдений и пришел к выводу, что империализм — это капитализм на определенной, весьма продвинутой стадии своего развития (в тексте «Империализма» доминируют прилагательные «новый», «современный», «самый последний», «новый», тогда как

¹ Там же, с. 161—162.

² Там же, с. 216.

³ Там же, с. 328.

прилагательное «высший» встречается лишь один раз), и дал определение, справедливо ставшее классическим: «Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами»¹.

Во-вторых, «популярный очерк», и это весьма важно, не постулировал на основе ряда аксиом необходимость социализма, но предлагал рабочему движению оружие политической борьбы (разрыв с «оппортунистами», союз с угнетенными народами), основанной на глубоком и последовательном анализе войны и современной эпохи. То есть в этом не было ничего общего с теми формулами, которые войдут в обиход в самые мрачные годы Коммунистического Интернационала, когда в отношении империализма утвердится точка зрения, наспех связанная с формулировками, в которых фигурируют слова «загнивание» и «гибель»². Поэтому весьма уместно обратить внимание на полемику Ленина с «упрошенцами» именно в то время, когда он дописывал свой требующий большого напряжения сил труд об империализме.

Ленин писал: «Нельзя понять данной войны, не поняв эпохи...»

Но когда стали отсюда выводить: «в эпоху империализма не может быть национальных войн», это вздор. Это явная ошибка и историческая, и политическая, и логическая (ибо эпоха есть сумма разнообразных явлений, в коей кроме типичного есть *всегда* иное)»³.

¹ Там же, т. 27, с. 387.

² См., в частности, «Программу Коммунистического Интернационала», принятую на VI конгрессе, в: A. Agosti. *La terza internazionale. Storia documentaria*, vol. II: 1924—1928. Roma, 1976, p. 986 sgg.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 287.

Мадлен Реберью

ДИСКУССИИ О ВОЙНЕ

В августе 1914 года Интернационал потерпел крах из-за войны. Этот факт настолько очевиден, что многочисленные истолкования его не стоит здесь рассматривать особо тщательно. Предметом данного исследования является другое. Формулировка, в которых заключена не только истина, но и невольный комизм (ведь Интернационал был организован для дела мира, а не войны), следует противопоставить шпирту, насыщенность и разнообразие выступлений марксистов по вопросу о войне до этого трагического лета и выявить изменения, к которым заставила прийти Интернационал ужасная бойня. Поэтому, не ограничивая рамок эволюции данной проблемы, невозможно рассматривать то, что историография II Интернационала называла «дискуссией о войне», отдельно от соответствующей точки зрения Маркса и Энгельса, от их теории и анализа.

1. Теоретические обоснования

В наследстве, оставленном нам Марксом и Энгельсом по этому вопросу, нелегко разобраться. Их произведения о войне полны наблюдений и аналитических рассуждений, которые разбросаны по различным источникам. Кроме газетных статей — от самых боевых, написанных в 1848—1849 годах для «Нойе рейнише цайтунг», до корреспонденций для «Нью-Йорк дейли трибюн» между 1861 и 1862 годами, — надо еще иметь в виду переписку, материалы, подготовленные Марксом для Генерального совета Международного товарищества рабочих, и, наконец, «Анти-Дюринг» Энгельса (1878), чтобы понять отношение основателей марксизма к этой проблеме вплоть до начала 80-х годов. Дипломатическая обстановка, политический и социальный фон привлекают их внимание прежде всего между 1850 и 1870 годами, в тот период, когда начинаются европейские войны — в Крыму и в Италии, в Австрии и во Франции. Очень интересовали Маркса и Энгельса также военные операции, тщательным анализом которых занимался Энгельс, самый страстный из них военный стратег, которого ласково называли «генералом». «Наш Карно», — скажет о нем впоследствии Вильгельм Либкнехт. Во всяком случае, не-

смотря на фрагментарный характер замечаний, о которых мы говорили, попытаемся хотя бы в общих чертах показать политические и теоретические соображения Маркса и Энгельса по вопросу о войне, высказанные ими за тридцать лет.

Взгляд Маркса и Энгельса на войну глубоко отличается от взглядов либеральных буржуа, их современников, разного рода кобденов и ламартинов, воспевавших мир. Организованная форма насилия, всякая война, по мнению Маркса и Энгельса, является одновременно следствием, эпизодом и ставкой в классовой борьбе. Война — выражение уровня производительных сил и средства их изменения, она, разумеется, и продолжение политики, но также и акт, с помощью которого могут измениться классовые отношения. «Война раньше достигла развитых форм, чем мир; способ, каким на войне и в армиях и т. д. известные экономические отношения, как наемный труд, применение машин и т. д., развились раньше, чем внутри гражданского общества», — писал К. Маркс в 1857 году¹. Так было с войнами в период Французской революции и империи. То есть насилие — вовсе не «первородный грех человечества». Стоит только просмотреть бичующие страницы Энгельса, полемизирующего с Дюрингом. Сама по себе злом война не является. Она, несомненно, разрушительница богатств, но именно в природе классового общества, и в частности капиталистического, разрушать, одновременно создавая. Поэтому вне сомнения, что «насилие играет в истории еще и другую, именно революционную роль, что оно... является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы...»². Во всяком случае, любая война — это замаскированная форма гражданской войны. Именно потому она исчезнет только с исчезновением классового общества и с победой коммунизма. Перед Генеральным советом Международного товарищества рабочих Маркс заявил 13 августа 1867 года, что марксисты — не апологеты мира любой ценой, марксизм не пацифизм и всякая война должна взвешиваться на весах классовой борьбы.

Как относиться к войнам того времени, когда жили Маркс и Энгельс, войнам той третьей четверти XIX века, когда утверждается промышленная революция, а «призрак» — призрак коммунизма — «бродит по Европе»? Пролетариат, исторический протагонист революционного процесса, который приведет к коммунизму все человечество, может существовать в полную силу лишь на всей мировой арене. На этом основывается и марксистский интернационализм: «Пролетарии всех

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 735.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 189.

стран, соединяйтесь!» Необходимая универсальность этого условия, казалось бы, могла дискредитировать все войны, подготовленные в государствах господствующими классами, которые видят в войнах способ утверждения собственной власти над трудящимися и возможность усилить их угнетение. В общем, в эпоху «Манифеста Коммунистической партии» должны были бы существовать только несправедливые войны. Однако Маркс и Энгельс не рассуждают подобным образом: классовые интересы намного сложнее. Рабочие — и социалисты — должны научиться понимать общие интересы всего пролетариата и, таким образом, подходить дифференцированно к характеристике каждой войны. Уже сам этот факт говорит о том, что на каждом определенном этапе интересы пролетариата могут определяться и противостояться во все не в зависимости от обстоятельств, непосредственно вызывающих войну, а в зависимости от его целей.

На повестке XIX века — образование государств, которые Энгельс определяет как «великие национальные государства»: «Только такие государства представляют нормальную политическую организацию господствующей европейской буржуазии и являются вместе с тем необходимой предпосылкой для установления гармонического интернационального сотрудничества народов, без которого невозможно господство пролетариата»¹.

Большое национальное государство, даже если оно должно появиться с помощью войны, все равно является образованием, необходимым для самого прогресса цивилизации и утверждения пролетариата. Революции 1848 года показали необходимость появления подобных государств на европейской сцене для наций, которые Маркс определял как «революционные», а Энгельс — пользуясь гегелевской терминологией — называл «историческими»². Это — Италия, Германия, Польша. Даже после поражения революции 1848 года Маркс и Энгельс не отказались от собственной стратегии — выдвинуть на первый план образование этих государств. Они считают это основной, а в случае необходимости единственной целью рабочего движения начиная с того момента, когда буржуазия отрекается от великих перспектив 1848 года, и готовы положительно оценить военные выступления государств в этом направлении. Таким образом, могут быть и справедливые войны. Это — войны, имеющие целью консолидацию этих наций, являющуюся основным фактором динамики революционного развития³.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 421—422.

² G. Haupt, C. Weill. Marx et Engels devant le problème des nations.— In: «Cahiers de l'Isée», serie S, octobre 1974, № 2.

³ См.: S. F. Bloom. The World of Nations. A Study of the National Implication in the Work of Karl Marx. New York, 1941.

Что думает об этом нарождающийся пролетариат? Остается ли он порячо приверженным этим целям также и после окончания «весны народов»? Нельзя быть в этом вполне уверенным. Прежде всего потому, что национальный принцип и то, что Маркс называет «социалистическим сентиментализмом», в 60-е годы (хотя приверженцы их и отдают предпочтение делу независимости Италии и Польши) обращены все-таки ко всем народам; между тем Маркс и Энгельс призывают малые народы к терпению, поскольку их требования, как это было в 1848 году с чехами и южными славянами, рискуют стать препятствием к осуществлению требований «революционных наций». Энгельс открыто заявит об этом в письме молодому Бернштейну в 1882 году: «Мы должны сообща бороться за освобождение западноевропейского пролетариата и этой цели подчинить все остальное»¹. Таким образом, защита наций основана на их «необходимости» для будущего пролетариата; она носит, так сказать, узкоцеховой характер.

Далее, рабочие организации, примыкающие к Международному товариществу рабочих, сначала развертывают свою деятельность по вербовке среди более квалифицированных рабочих, наиболее полно осознающих свои непосредственные интересы. На этих рабочих зачастую может оказывать влияние и либеральный пацифизм, так что в рабочем движении глубоко укореняются тенденции к отрицанию каких бы то ни было национальных проблем и к их защите всеобщих интересов производителей. Отсюда третий пункт — скорее пропедевтический, чем теоретический (а что такое для Маркса и Энгельса теория без практики?), — наследия, оставленного рабочему движению основателями марксизма: истинный интернационализм возникает лишь в результате преодоления уваризма и националистических взглядов. Он возможен лишь после достижения глобальной точки зрения на революционные перспективы (тогда такой перспективой считалась Западная Европа) и только когда есть возможность систематически анализировать политику, проводимую правительствами, которые готовят будущие войны. Возможно, Маркс никогда не говорил более ясно об этой необходимости, чем он это сделал в заключительной части «Учредительного манифеста Международного товарищества рабочих», написанного в октябре 1864 года: «Если освобождение рабочего класса требует братского сотрудничества рабочих, то как же они могут выполнить эту великую задачу при наличии внешней политики, которая, преследуя преступные цели, играет на национальных предрассудках и в грабительских войнах проливает кровь и расточает богатства

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 230.

народа?.. Опромные и не встречающие никакого сопротивления захваты этой варварской державы, голова которой в Санкт-Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы, указали рабочему классу на его обязанность — самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность — объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости... стали высшими законами и в отношениях между народами.

Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей борьбы за освобождение рабочего класса»¹.

Только при этом условии, продолжал Маркс развивать эту мысль в мае 1869 года в «Обращении к Национальному рабочему союзу Соединенных Штатов», пролетариат «вступает на арену истории уже не как покорный исполнитель, а как независимая сила, сознающая свою собственную ответственность...»².

2. Разработка вопроса о войне и мире: с 1848 года до I Интернационала

Именно между 1864 и 1870 годами, в славное время существования Международного товарищества рабочих, развертываются дискуссии по вопросу о войне, которые дадут пищу марксизму II Интернационала. Тем не менее первый военный опыт восходит к 1848 году, а сразу же после смерти Маркса дискуссии и резолюции конгрессов Интернационала, статьи, опубликованные в социалистической печати, письма и выступления различных деятелей Интернационала позволяют начать разработку более глобальной позиции по этому вопросу в мире, который неуклонно движется к империализму. В это время уточняется значение дискуссии, которая велась в Интернационале по вопросу о войне. Металингвистическая функция (так определил ее Роман Якобсон³) в ходе I конгресса должна была способствовать выработке ясного кодекса социалистического языка с помощью системы определений, как эквивалентных, так и *acontrario*. Определив теоретические рамки, она на последующих конгрессах привела к началу дискуссии нормативного характера. В об-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 11.

² Там же, с. 372—373.

³ R. Jakobson. *Essais de linguistique générale* Paris, 1970; I. Muller. *De la guerre: le discours de la Deuxième Internationale. 1889—1914*. Genève, 1978.

шем, из-за возрождения старых противоречий, их пополнения, их отбора формируется научный арсенал, в котором основное место занимают неясные намеки, ссылки на прошлое и прямые цитаты. Результаты всех этих выступлений подытоживаются дискуссиями в I и II Интернационалах.

Когда в апреле 1848 года Маркс и Энгельс с радостью возвратились в Германию, их цели были ясны: создание одной из крупных национальных арен борьбы, что является составной частью самой их концепции. Единство немецкой нации должно было способствовать тому, чтобы рабочий класс, находящийся в эмбриональном состоянии развития, мог противостоять выродившейся буржуазии. В 1848 году такой проект на несколько месяцев сделал возможной солидарность между рабочим и национально-демократическим движением. Но необходимо было победить множество врагов, которые в итоге все-таки одержат верх над революцией: бюрократические династии Пруссии и Баварии, Габсбургскую монархию, полуфеодалыные классы и течения среди дворянства, мелкую буржуазию с ее узким ретроградным мышлением и особенно царскую Россию, душу Священного союза, «самый крупный резерв европейской реакции», единственное государство, не затронутое революционной волной. Боязнь революционного вмешательства страны, считавшейся «жандармом Европы», была столь сильной, что 7 июня 1848 года «Новая Рейнская газета» призывает к превентивной, национальной и прогрессивной «войне с Востоком». Через несколько месяцев, несмотря на неоднократные поражения, газета предвещает на 1849 год «революционное восстание французского пролетариата» и «мировую войну» против царской России.

Конечно, эти призывы к освободительной войне не предназначаются для того, чтобы занять достойное место в марксизме II Интернационала. Но враждебность Маркса и Энгельса в отношении царской России будет чувствоваться все время, потому что именно Россия была источником огромного количества преступлений против интеллигенции, против трудящихся, против угнетенной Польши — короче говоря, против культуры. Тем большую ненависть вызывает она своей панславистской политикой на Балканах. Если в 1848 году Россия явилась причиной поражения революции, выступив через год с прямой интервенцией против восставшей Венгрии, то теперь она пытается руками славян воспрепятствовать борьбе других «исторических наций». Таким образом, по словам Маркса и Энгельса, само существование царизма делало «невозможной победу европейского пролетариата». И эта нелюбовь к России, земле восточного варварства, очагу контрреволюции, для их последователей, в частности для немецких социал-демократов, станет чем-то вроде

завещания. Естественно, возникает вопрос: как это отразится на решениях немецкой социал-демократии в 1914 году?

С возникновением Международного товарищества рабочих отношения Маркса с рабочим движением обретают новые масштабы. В лихорадочные годы (с 1859, с началом войны в Италии) оформляется единство «исторических наций» Запада: Италии и Германии — с помощью ряда военных конфликтов и под руководством тех, кого Энгельс называет «душеприказчиками» 1848 года, Кавура и Бисмарка. В условиях дуалистической монархии Габсбургов Венгрия добивается если не полной независимости, то по крайней мере широкой автономии. Только Польша все еще разделена и угнетена. Следовательно, кончается одна эпоха, а с образованием Интернационала, центра коллегиальной разработки исторической перспективы для трудящихся, начинается другая. Влияние Маркса на Интернационал не вызывает никаких сомнений, но в свою очередь постоянная дискуссия и зачастую само движение тоже влияют на мысль Маркса. Какой выбор должно было сделать рабочее движение при наличии националистическо-шовинистического хора, когда уделяется особое внимание вопросам национального объединения, политике солидарности, стремления к миру, существует ненависть к бонапартистскому правлению? И вот открывается дискуссия. Об этом свидетельствуют ежегодные конгрессы, на которых Маркс никогда не присутствует, хотя регулярно готовит доклад Генерального совета. Общее число точек зрения в отношении войны численно увеличивается, и они становятся все более разнообразными. Отсюда II Интернационал будет буквально пригоршнями черпать свои идеи, касающиеся войны.

Позиции Маркса и Энгельса² можно анализировать в четырех аспектах. Во-первых, в правительственном плане, то есть в том плане, от кого зависит принятие решения (в связи с войнами австро-пруско-датских герцогств, австро-пруской, итало-австрийской, франко-пруской), первоначальные недоверие и подозрительность быстро становятся повсеместными: в 1865 году называют опасным «военным деспотизмом»³ прежде всего бонапартизм, а не прусский режим. Если первое Воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-пруской войне 23 июля

¹ См. документы, представленные Генеральному совету и конгрессам: *«La Première Internationale. Recueil de documents»*, Genève, 1962. О первых годах см.: *J. Jemnitz. The First International and the War (1864—1866)*. — In: *«Acta historica»*, Budapest, 1965, № 1—4.

² Вплоть до июля 1869 года Энгельс был занят в Манчестере, а в Генеральный совет его кооптировали в сентябре 1870 года.

³ *Ф. Энгельс*. Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия (*К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 16, с. 71).

1870 года подчеркивает «бандитизм» * Французской империи, то в то же время оно частично проливает свет и на ответственность Бисмарка за «французскую агрессию» ** и выражает беспокойство по поводу претензий Пруссии в отношении Эльзаса и Лотарингии, чья принадлежность к национальному французскому государству не вызывает никаких сомнений. Никаких компромиссов с Бисмарком, уточняет Энгельс 15 августа, и никаких «священных союзов», поскольку ответственность за это лежит на правительствах, а рабочий класс не принимал участия в их решениях. Участие в войне не означает, что ее хотели: именно в этом уоматривается существо политической практики.

Во-вторых, в плане анализа политических целей обстановка иная, несмотря на новые тенденции в Интернационале, возникшие благодаря воинственному пацифизму французских студентов и рабочих, которых называли прудонистами, или же, наоборот, тем тенденциям, которые Маркс называет «глупыми проитальянскими симпатиями англичан»¹. Конечно, по мнению Генерального совета — в связи с австро-итальянской войной 1866 года, вовлекшей в свою орбиту два общества, в которых силы рабочего пролетариата находились еще в эмбриональном состоянии, — рабочие должны придерживаться строгого нейтралитета. Однако это уже не будет сказано в 1870 году, когда участниками франко-прусской войны станут две нации с уже развитым рабочим движением. Тут дело будет касаться всех трудящихся. Однако воюющие стороны находятся в разных положениях. В Воззвании 23 июля война рассматривается как решающий момент для дела независимости и единства Германии. Она должна привести к освобождению страны, всей Европы от постоянной угрозы бонапартизма. Итак, несмотря на прусский режим, несмотря на Бисмарка, немецкая война рассматривается как война «справедливая», хотя, вообще-то, сам этот термин не употребляется. Мы просто можем прийти к такому заключению на том основании, что немецкая нация рассматривается как «историческая» и необходимая, а также основываясь на характеристике рабочего движения Франции и Германии. В письме Энтельсу от 20 июля 1870 года Маркс подчеркивает, что вслед за прусской победой последующее преимущество Германии передвинет центр тяжести западноевропейского рабочего движения из Франции в Германию,

* В тексте Воззвания говорится о «банде 10 декабря». См.: *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 17, с. 3. — *Прим. ред.*

** В русском тексте Воззвания этих слов нет, там говорится о «войне против французского народа». См.: *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 17, с. 4. — *Прим. ред.*

¹ См.: *J. Jemnitz. The First International*, p. 72.

поскольку «немецкий рабочий класс в теоретическом и организационном отношении превосходит французский. Его перевес на мировой сцене над французским был бы в то же время перевесом нашей теории над теорией Прудона и т. д.»¹. Действительно, в 1869 году «наши» — как говорит Энгельс — на съезде в Эйзенахе набрали очки, объединив под знаменем классовой борьбы Союз немецких рабочих обществ и Всеобщий германский рабочий союз. Приоритет национальных интересов немцев происходил не из политического строя и не из дипломатических уловок, в которых Пруссия играла роль жертвы, и даже не из возможности, представившейся наконец немецкому пролетариату, действовать на объединенной территории. Речь шла о преимуществе, проявившемся благодаря образованию социал-демократической рабочей партии и отсутствию прудонистского течения. Это весьма перспективная идея, отличающая ведущие партии от всех прочих². Крайняя форма, которую эта мысль приняла в начале франко-прусской войны, по правде сказать, не пробила себе дороги, но, как мы увидим, она укоренилась в сознании немецких социал-демократов и многочисленных активных последователей марксизма в других странах.

Если историческое значение войны 1870 года можно рассматривать в этом плане, то среди тумана дискуссий о войне, происходивших в период I Интернационала, начинают прорисовываться третий аспект. В отношении роли рабочего класса в антивоенной борьбе социалистическая мысль обогащается благодаря широкой дискуссии на Лозаннском (2—8 сентября 1867 года) и Брюссельском (6—13 сентября 1868 года) конгрессах. Возникла дискуссия по чисто внешней причине: речь шла об отношении этих двух конгрессов к конгрессам Лиги мира и свободы, которые эта последняя созвала сразу же после конгрессов Интернационала — в Женеве в 1867 году и в Берне в 1868 году. Здесь тесно переплелись две проблемы: о степени автономии рабочего Интернационала по отношению к Лиге, в которой преобладающим, но не исключительным элементом являлось пацифистское крыло либеральной буржуазии, и о дифференцированной оценке причин войны. В качестве инструкции своим делегатам на Лозаннском конгрессе Генеральный совет рекомендовал не примыкать к конгрессу Лиги, поскольку возникли подозрения в том, что «в ее намерения не входило бороться против истинных причин войны»³. Хотя в Лозанне у Лиги были свои горячие сторонники, особенно среди швейцарских

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 33, с. 3.

² См.: G. Haupt. Un partito guida: l'influenza della socialdemocrazia tedesca nel Sudest europeo. — In: G. Haupt. L'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin. Torino, 1978, p. 185—232.

³ G. U. Bravo. La I Internazionale, t. I, p. 123.

делегатов, победила рабочая автономия, и конгресс обусловил присоединение Интернационала к выработанной декларации о войне¹. Год спустя Брюссельский конгресс, не удовлетворившись простым отклонением приглашения Лиги, в свою очередь призвал ее примкнуть к Интернационалу². Об этой гордости трудящихся Маркс в уже цитированном нами «Обращении к национальному рабочему союзу Соединенных Штатов» в мае 1869 года говорит так: «...Рабочий класс вступает на арену истории уже не как покорный исполнитель, а как независимая сила, сознающая свою собственную ответственность и способная диктовать мир там, где его так называемые хозяева кричат о войне»³.

В какой степени гордое самосознание Интернационала было связано с оригинальной коллективной концепцией причин войны? Дискуссии в Лозанне и в Брюсселе ясно показывают, что единство по этому вопросу достигалось с трудом. Кое-кому война представлялась анахронизмом, и возможность ее вытекала из суеверия и неведения народов; для других ее причинами являлись произвол и деспотизм правительств, не представлявших законных интересов трудящихся. (Здесь чувствуется влияние некоторых рабочих кругов Франции, заклятых врагов империи.) Наконец, в Лозанне утвердилась позиция Сезара де Папа, поддержанная Экарриусом: «Основной и первой причиной войны является пауперизм и отсутствие экономического равновесия». На смену этой позиции пришла другая: «Недостаточно распустить армию по домам. Необходимо также изменить и общественный строй с помощью более справедливого распределения производства»⁴. Первая формулировка Толена⁵, хотя и весьма расплывчатая, не только сделала возможным принятие воззвания, но и впервые, акцентируя внимание на социально-экономических причинах войны, повлекла за собой серию более отработанных документов на эту тему, особенно характерных для II Интернационала.

Наконец, что касается надежд и будущего рабочего движения, то появляются первые признаки марксовского интер-

¹ G. U. Bravo. *La I Internazionale*, t. I p. 224—225.

² Ibid., p. 323: «Делегаты съезда Международного товарищества рабочих заявляют, что Лига мира и свободы не имеет права на существование перед лицом усилий Международного товарищества рабочих, и призывают членов данной Лиги примкнуть к различным секциям Международного товарищества рабочих в собственных странах».

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. *Соч.*, т. 16, с. 372—373.

⁴ См. предложенное Толеном дополнение к воззванию Лозаннского конгресса конгрессу мира: G. U. Bravo. *La I Internazionale*, t. I p. 225.

⁵ В Брюсселе «немецкая группа» объединилась на основе предложенной Беккером недостаточно точной резолюции меньшинства, в которой главной причиной войны объявлялись «современные экономические институты». Она отличалась от резолюции большинства тем, что в ней не было и намека на всеобщую забастовку в случае войны.

национализма, придающие определенную реальность мечте о мире, который когда-нибудь будет обходиться без шовинизма и войн. Именно так понимаются выражения истинного братства, которыми обмениваются трудящиеся враждующих сторон в ходе конгрессов Интернационала, как и международные сборы средств в пользу бастующих. В июле 1870 года Маркс отмечает «великое событие, не имеющее параллелей в истории прошлого»: «Послания мира и дружбы», которыми обмениваются митинги немецких и французских рабочих: «Это событие показывает, что в противовес старому обществу с его экономической нищетой и политическим безумием рождается новое общество, интернациональным законом которого будет мир, поскольку национальным законом повсеместно станет труд. Пионером этого нового общества является Международное товарищество рабочих»¹.

9 сентября Генеральный совет, взяв на вооружение формулировки немецкой рабочей социал-демократической партии, выработанные за четыре дня до этого, выражает протест «в интересах Франции и Германии» против аннексии Эльзаса и Лотарингии и заключает:

«Если трудящиеся забудут собственный долг, если они останутся пассивными, то настоящая ужасная война явится предвестницей новых, еще более смертоносных международных конфликтов и в каждой стране приведет к новым победам над трудящимися хозяев оружия, земли и капитала»².

В этом первом испытании на пути нарождающегося рабочего интернационализма избранники социалистов в рейхстаге ведут себя с честью. Депутаты-лаосальянцы объединяются вокруг Бебеля и Вильгельма Либкнехта, с тем чтобы 28 ноября проголосовать против новых кредитов, которые требовал Бисмарк для продолжения войны. Арестованные и обвиненные в предательстве, они сразу же стали легендарными героями в истории пролетарского интернационализма.

3. «Единственно подлинная партия мира»

За тридцатилетие от Парижской Коммуны до начала XX века сам вопрос о войне претерпел изменения. Вот уже много лет Европа обходилась без войн. Великие «исторические нации» — с некоторыми вариантами Энгельс продолжает употреблять это определение вплоть до своей смерти в 1895 году³ — добились своего государственного единства. Это — Италия, Германия и в известной степени Венгрия⁴, которые

¹ G. M. Brava. *La I Internazionale*, p. 438.

² Ibid., p. 441—442.

³ G. Haupt, C. Weill. *Marx et Engels*.

⁴ «Очередь теперь за Польшей» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 382).

вошли в сообщество развитых наций Запада и вступили, разумеется в неравной мере, в период, который в Германии называли эрой основателей. Более того, вплоть до 90-х годов прозорливой бисмарковской дипломатии до такой степени удалось изолировать Францию, что реванш для нее стал невозможным. Конечно, опасность полностью не исчезла, и некоторые социалисты вполне это понимали. Коммунары, возвратившись в 1879—1880 годах во Францию, несколько лет были уверены в том, что «монархическая коалиция» во главе с Бисмарком не удовлетворится победой 1871 года¹. Особенно это относится к бланкистам, объединившимся в Центральном революционном комитете вокруг Вайяна. В то же время на землях балканских славян («эти обломки народств»², говорит о них Энгельс, остро чувствующавший, как использует их Россия в целях своей экспансионистской политики) разгораются новые конфликты, которые могут перерасти в войны, как это показывает короткая русско-турецкая война 1877—1878 годов. Тем не менее вплоть до конца века напряженность носит ограниченный характер. Наконец, начиная с 1890—1891 годов франко-русский альянс против Тройственного союза 1882 года, с особой торжественностью возобновленного в 1887 году, начинает означать нечто вроде разделения Европы на два лагеря, которые тем больше волнуют Либкнехта, чем меньше ожидали подобного шага со стороны республиканского правительства³.

Новым национальным, а также многонациональным, хотя и образованным с большими трудностями, государствам подобная, в основном мирная, обстановка предоставляет возможности — наряду с промышленным развитием — и для развития пролетариата. Национальные рамки, в которых заключено политическое и культурное наследие каждого народа и рабочего класса каждой страны, становятся основополагающими. Благодаря этому рабочее движение приобретает политический размах и — в рамках уже образованных социалистических партий или же партий, находящихся в процессе становления, — начинает проявлять свое отношение к различным аспектам современной цивилизации. Успехи движения таковы, что для первого поколения марксистов утверждения, которые Сезар де Пап и Эккартс отвергли на Лозаннском конгрессе Интернационала в 1867 году, становятся символом веры. (Утверждения эти касались обсуждения проекта воззвания к Лиге мира.) В то время утверждалось, что мир не

¹ J. Howorth. La propagande socialiste d'Edouard Vaillant pendant les années 1880—1884. — In: "Le mouvement social", VII—IX, 1970.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 223.

³ См. заявления Либкнехта на Брюссельском конгрессе, а также письмо Ф. Энгельса к П. Лафаргу от 10 февраля 1891 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, с. 21).

является необходимым условием для социальных преобразований! Однако времена меняются, и мир, пишет Энгельс Бернштейну в 1882 году, служит делу «освобождения западноевропейского пролетариата и этой цели подчинить все остальное»¹. Мир дает преимущества революции, которая, как надеются, если и не неминуема, то по крайней мере довольно близка.

Социалистические конгрессы Интернационала, которые вновь начали созываться с 1889 года, проходят с учетом этой стратегии, связывающей мир и революцию. И тем не менее ни на одном из этих «рабочих парламентов» не обсуждались проблемы войны. В 1889 году этот вопрос лишь по предложению парижской организационной комиссии был поставлен на повестку дня съезда, который называли «конгрессом в зале Петрель» и где встретились друзья Гада и друзья Вайяна. А на подготовительной конференции в феврале 1889 года, как и на так называемом «конгрессе в зале Ланкри», обсуждались исключительно узкошеховые вопросы. Но в 1891 году в Брюсселе, в 1893 году в Цюрихе, в 1896 году в Лондоне дискуссия время от времени повторялась и обновлялась, приобретая новый характер. Принятые резолюции, которые зачастую публикуются отдельными выпусками, в конце концов составили самостоятельный оборник документов. Международное социалистическое бюро (МСБ) публикует его в 1892 году вместе с повестками дня и резолюциями II Интернационала². При сравнении с текстами I Интернационала в этих резолюциях обнаруживается ряд отступлений (едва завуалированных с помощью терминологии того времени) по структуре и духу пресмственности в отношении пацифизма трудящихся, который прежде не соответствовал марксистским позициям.

Пацифизм растет от конгресса к конгрессу в жаркой атмосфере символических фраз и жестов. Так, в 1891 году, собравшись впервые, социалисты называют себя «интернациональной социалистической партией», и их единство проявляется в словесных выступлениях именно в момент, когда структура организации развивается в противоположном направлении и никто даже не думает ее изменить. Неслучайно формулировка резолюции по милитаризму приравнивает «интернациональную социалистическую партию» к «единственной подлинной партии мира»³. Объединяющий лозунг при-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 230.

² Этот том будет многократно переиздаваться, и уже в 1916 году Карл Грюнберг напечатает его в «Die Internationale und der Weltkrieg». Недавно этот том был воспроизведен фотомеханическим способом в серии документов по истории II Интернационала издателем Минкоффом в Женеве.

³ «Rapport du Congrès international ouvrier socialiste tenu à Bruxelles du 16 au 23 août 1891». Bruxelles, 1893, p. 64—65.

кладывается к акциям, которым марксисты придают новое значение. Празднование 1 Мая, как известно, утвержденное в 1889 году, благодаря своему международному характеру превращается — по словам Каутского — в самую настоящую ежегодную демонстрацию мира. Еще один символический жест — одновременное председательство француза Вайяна и немца Пауля Зингера на торжественном открытии Брюссельского конгресса. «Это — торжественное подтверждение мира между народами», — комментирует Вайян, а Зингер подчеркивает, что на этом грандиозном представлении в качестве публики присутствует вся Европа¹. Наконец, в Лондоне братское единение делегатов из многих стран отмечается в Гайд-парке, и английский оргкомитет посвящает первый день «международному миру»².

Конечно, стремление к миру не исключает националистической напряженности. На Цюрихском конгрессе польский делегат Мендельсон объясняет, что в его стране именно антирусские и антинемецкие национальные чувства составляют основу социализма. Тем не менее в 1896 году рабочая политическая комиссия Лондонского конгресса отвергает как националистический проект резолюции Польской социалистической партии, поскольку в нем есть тенденция превратить дело независимости Польши в международное политическое требование пролетариата³. Также и в поведении делегации социалистов Франции — особенно в Цюрихе — проявляется ненависть к немцам. Это чувствуется в поведении рабочего-активиста Дежанта и Виктора Жаклара, который составлял отчет о конгрессе для «Ревю сосьалист». Французская делегация не желает принять ни дисциплины немцев, ни того, что вместо портрета Бланки был вывешен портрет Маркса. За пределами братства все еще дает себя знать горечь поражения. Тем не менее за два года до Брюсселя марксисты одного и того же поколения — Вайян и Либкнехт — договорились избегать вопроса об Эльзас-Лотарингии. «Это не вопрос для социалистов», — заявил Либкнехт⁴, поспешно и слишком легко отделиваясь от этой проблемы.

4. Экономические противоречия и милитаризм

Эта коротенькая фраза позволяет нам еще раз выяснить то, что же являлось «вопросом для социалистов»: экономическая сущность этой проблемы. Вместо «пауперизма» (весьма расплывчатого понятия, появившегося в 1867 году и направ-

¹ Ibid., p. 13.

² В Социальном музее в Париже есть досье «Пресса», в котором широко освещается это событие.

³ «Le Peuple» di Bruxelles, 24. VIII. 1896.

⁴ «Rapport du Congrès international», p. 62.

ленного против обнищания, а не капитализма) или «отсутствия экономического равновесия» (понятия, еще более туманного) упор сделан на объяснение причин войны, вернее, опасности войны. Это объяснение более серьезно и призвано чему-то научить. Заявляя, что в XIX веке «фатальный продукт настоящих экономических условий»¹... или, выражаясь более пространно, результат «экономических противоречий, вызванных способом производства, к которому вынуждены прибегать правящие классы различных стран»², исчезнет окончательно лишь с самым исчезновением капиталистического порядка, первые конгрессы II Интернационала внесли значительный вклад в дело создания упрощенного, вульгаризированного марксизма.

Приверженность к миру (мир — это «первое и обязательное условие всякого освобождения рабочего класса») ³ и общая воля развенчать систему, которая постоянно делает мир непрочным, становятся столь сильными, что в теоретико-политических документах Интернационала за войной не признается какой бы то ни было возможности революционного исхода. Голландец Домела Ньювенгейс в Брюсселе, выдвигает идею о том, что правительства, объявив войну, сделали бы революционный жест, на который народы ответили бы революцией⁴. Впрочем, главная мысль его выступления состояла вовсе не в этом. И тут он не встретил ни поддержки, ни оппозиции. Как бы то ни было, фаталистический взгляд на историю в резолюции 1889 года на последующих конгрессах не был подтвержден в тех же словах. Эти конгрессы ориентировались на формулировки Жореса, которые он, обращаясь к французским депутатам, сконцентрировал в единственной фразе, ставшей знаменитой: «Ваше общество, общество насилия и хаоса, даже когда оно жаждет мира и находится в состоянии относительного спокойствия, несет в себе войну, как туча несет в себе ураган»⁵. Эта формулировка одновременно говорит и о необходимости сохранять европейский мир (поскольку в связи с франко-русским сближением существовала опасность конфликта, в сравнении с которым война 1870 года показалась бы детской игрой))⁶, а

¹ "Motion du Congrès international ouvrier socialiste de Paris, 14—21 juillet 1889". — In: "Les Congrès internationaux. Ordres du jour et résolutions". Gand, 1902, p. 77.

² "Mozione del Congresso di Londra, 1896", p. 79.

³ "Mozione dell Congresso di Parigi, 1889", p. 77.

⁴ "Rapporto del Congresso di Bruxelles", p. 68.

⁵ Эту знаменитую фразу Жореса, произнесенную им в палате депутатов 7 марта 1895 года, часто цитируют неточно. Она звучит так: "Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée porte l'orage".

⁶ Энгельс выражает беспокойство по этому поводу в 1890 году на страницах «Нойе цайт», где была напечатана его работа «Внешняя политика русского царизма». См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 11—52.

также о расширении колониальных экспедиций, во время которых весьма ярко проявляется конкуренция между крупнейшими западными державами.

Война, являющаяся результатом подобной конкуренции, разоблачается еще и как причина бедствий пролетариата. Реалистический характер этим высказываниям придает постоянная подготовка к войне, которую социалисты в первое время называют «вооруженным миром», а затем, начиная с 1891 года, — «милитаризмом». На первых конгрессах II Интернационала это понятие было направлено против регулярных армий с длительным сроком призывной службы и корпусом кадровых офицеров, из-за чего, как считалось, исключалась настоящая демократизация правительства. Подобный «военный гнет» неоднократно служил правящим классам для подавления стачек. Во Франции, Германии, Австрии жестокость армейской жизни, иерархический характер отношений в армии (иногда армейскую дисциплину! рассматривают как нечто предшествовавшее фабричной), высокая стоимость содержания регулярной армии — все эти факторы вызывали активный антимилитаризм и давали многочисленные поводы для того, чтобы ставить вопрос о войне с помощью разоблачения внутреннепо милитаризма.

Но поскольку этот милитаризм проявляется в основном как специфически внутренняя проблема каждой нации, разве не должны различные национальные партии время от времени выступать против него? Тогда проблема может разрешиться спокойным созданием организаций для этих целей, медленным завоеванием избирателей на свою сторону. Подобное решение вопроса отвергает инициативы, которые могут рассматриваться как авантюристические или в лучшем случае преждевременные. Оно основывается на быстром росте влияния социалистических партий не только в Германии, но и во Франции и Бельгии, пусть и в разной степени. В более широком смысле превалирует тезис, выдвинутый Вайяном в Брюсселе (это было сделано с трудом, поскольку он оказался в меньшинстве во французской делегации), согласно которому надо было оставить «за каждым выбор средств борьбы с милитаризмом»². При таком положении дела все сильнее чувствовалось влияние немецких марксистов. Они только что пережили период жестоких репрессий, но тем не менее, разоблачая милитаризм, не горели желанием вступать в активную кампанию против него и предпочитали неслишком углубляться в этот вопрос, поскольку по нему совсем недавно на Эрфуртском съезде у них произошел разрыв с

! «Пролетариев загоняют в казармы, чтобы сохранить рабство на фабрике!» — воскликнул Вайян на Брюссельском конгрессе. См.: *«Rapport du Congrès international»*, p. 63.

² Ibid., p. 64.

«молодыми» социалистами. К тому же, как об этом ясно заявил Плеханов в Цюрихе, русские и немецкие марксисты не хотели ослаблять немецкую армию при наличии царизма, этой «постоянной угрозы европейскому миру»¹.

Вскрывая роль экономических противоречий в угрозе делу мира, Интернационал считал себя единственной организацией, способной указать путь предотвращения войны. Ориентируя пролетариат отдельных стран на борьбу против внутреннего милитаризма и учитывая национальный характер антивоенного движения, которое он стремился усилить, Интернационал, таким образом, лишал себя возможности предусмотреть координированные действия в случае войны. Марксисты во главе с немецкой социал-демократией, которая добилась полной поддержки других социалистов, таких, как Вольдерс и Жорес, а также большинства на всех конгрессах, были заняты этим полностью. Противники их были изолированы и разбиты — как те, кто, подобно некоторым французским социалистам, считал необходимым придавать значение политическим корням внешней политики², так и те, кто из вражды к немецким марксистам, из пацифистских убеждений, анархистских симпатий или вследствие удаленности от полей великих европейских битв выступал за то, чтобы Интернационал, как в 1868 году, на каждое объявление войны отвечал «призывом к народу объявить всеобщую забастовку»³ или же призывом «к антивоенной забастовке в воюющих странах одновременно со всеобщей забастовкой трудящихся повсюду, где рабочее движение имеет хоть какое-то влияние»⁴. Их общий представитель Домета Ньувенгейс, похожий на Христа, собрал вокруг себя в Цюрихе большинство французов, австралийцев, норвежцев и, разумеется, голландцев. Но марксисты великолепно сыграли на разоблачении не очень-то эффективного характера подобного объединения: австралийцы, норвежцы, голландцы не слишком рисковали быть втянутыми в европейскую войну, и, хотя у французских делегатов, настроенных особенно антипарламентаристски, и у части профсоюзных деятелей⁵ вновь

¹ См. отчет Плеханова о выступлении в «Л'Эр нувель» от 1 сентября 1893 года.

² Гюстав Руане вновь возвращается к поправке Приюдан-Дервилье: причиной войны зачастую являются «политические или династические интересы или же незаконные национальные претензии». См.: *"Rapport du Congrès international"*, p. 75.

³ Таково было заключение резолюции, представленное Ньувенгейсом на Брюссельском конгрессе. *Ibid.*

⁴ См. краткую резолюцию, поддержанную голландской делегацией в Цюрихе в: *"Protokoll des internationalen sozialistischen Arbeiterkongresses in Zurich vom 6 bis 12. August 1893"*, S. 20.

⁵ Федерация бирж труда была образована в 1892 году после раскола Национальной федерации профсоюзов, ядро которой с 1886 года составляли гедисты. Федерация бирж вела пропаганду за всеобщую забастовку.

возник вопрос о всеобщей забастовке, во Франции не замечалось особой агитации для подготовки антивоенной забастовки.

Столь усилившаяся напряженность могла где-то оказаться непреодолимой. Но зато Интернационал теперь мог опираться на целый комплекс документов, в которых уже подтверждалась поддержка большинства. В последующие годы к этому комплексу добавились другие предложения «позитивного» характера. Первое из них относилось к регулярным армиям. С 1889 года предложение о замене армий «всеобщим вооружением народа» или «вооруженной нацией»¹ стало предметом тщательного анализа. Оно было результатом влияния как бланкистской традиции, так и примера швейцарской милиции: «Каждому свое ружье и экипировку дома... для защиты общественной свободы и национальной безопасности». Вскоре появление многочисленных социалистов в различных парламентах (в 1890 году — в Германии, в 1893 — во Франции, в 1894 — в Бельгии) привело другую часть социалистов к отказу от старых форм обличения: теперь уже палаты депутатов стали вырабатывать, по крайней мере номинально, внешнюю политику, и партии могли давать своим избранникам определенные наказания. На Цюрихском конгрессе Вольдерс отстаивал отказ «посланцев социалистической партии на полномочных собраниях» поддерживать военные бюджеты. Эта формулировка, вошедшая в так называемую «немецкую» резолюцию и поддержанная Плехановым, стала одним из основных принципов движения. На Лондонском конгрессе, дискуссии которого весьма трудно воспроизвести из-за отсутствия официального отчета и неопределенности текстов самих резолюций, появились две новые темы: разоблачение тайных договоров и предложение учредить «арбитражные суды для мирного урегулирования конфликтов между нациями». Первое предложение не вызывает удивления, но второе может показаться курьезным: ведь создание международного суда уже давно отстаивалось явно буржуазными организациями, такими, как Общество по арбитражу между нациями (Фредерик Пасси), Межпарламентский арбитражный союз (Рендал Кремер), Международное бюро за мир в Берне и движение, организованное в Германии Бертой фон Зутнер. Поэтому остается лишь удивляться, что подобное предложение было поддержано комиссией во главе с таким убежденным каутскианцем, как Эммануэль Вурм. Но с 1891 года требование об «урегулирова-

¹ В те годы оба этих понятия употреблялись как синонимы, но в 1896 году в Лондоне марксисты настояли на «вооруженной нации», поскольку «всеобщее вооружение народа» являлось в большей степени подражанием немецкому.

нии всех международных конфликтов арбитражным путем» фигурирует в Эрфуртской программе, и Каутский в своих комментариях к Эрфуртской программе (1892) ¹ высказывается за закон, который обязал бы правительства прибегать к арбитражу во всех конфликтных ситуациях. Возможно, речь шла не столько о реальном решении вопроса, сколько о том, чтобы как-то оформить стремление к миру и к революции в рамках законности, выражаемое в эти годы немецкими социалистами. Создание суда естественно вытекало из подобного проекта, раз уж стремились придать ему институционные формы. И по этому пути в конце века пойдет большинство марксистов и все социалисты.

5. На рубеже века: **Weltpolitik** и заморские войны

Антивоенные проекты были хороши в мирное время. Но на рубеже веков возросла напряженность. После фашодского кризиса, когда английский и французский колониализм чуть было не дошли до столкновения (сентябрь 1898 года), в 1899 году разразилась англо-бурская война, а в августе 1900 года, после начала боксерского восстания, была принята международная экспедиция для восстановления в Китае порядка, установленного европейцами. На Кубе, в Пуэрто-Рико, на Филиппинах — везде проявляется экспансионизм Соединенных Штатов, в то время как в Османской империи и в Средней Азии, на Балканском полуострове и в Марокко обостряется соперничество между старыми и новыми империалистическими державами. Германия Вильгельма III начала осуществлять **Weltpolitik**. В 1904 году разразилась русско-японская война. Таким образом, вопрос о войне из теоретического превратился в политический. Хотя он и был достаточно реальным, проявлялось это весьма беспорядочно и смутно. Поля сражений были далеки от Берлина, Лондона, Парижа, и социалисты довольно легко разоблачали колониальные экспедиции, анализируя последствия тотального раздела «внешнего мира» ² между великими капиталистическими державами. В эти годы, пока марксистов разъединяла дискуссия о ревизионизме и министриализме, вопрос о войне окончательно не проявил себя. Тем не менее различное отношение к ней начинало сказываться, и становилось необходимым выявить причины расхождений.

Они имелись в трех областях, где существовало множество предпосылок для приближения к проблеме. Как учиты-

¹ К. Kautsky, B. Schönlanck. Grundsätze und Forderungen der Sozialdemokratie. Berlin, 1892.

² Это выражение употребил Ж. Докуа, см.: "Journée d'étude sur l'impérialisme". Paris, 1970, № 86, p. 119.

вались новые данные в марксистском теоретическом осмыслении? В последние годы века первые теории об империализме вырабатывались исключительно силами буржуазных экономистов, уверенных в способности капитализма к мирному росту благодаря расширению рынка и его обновлению. Оптимизм Бернштейна, как, впрочем, и Кампфмейера (который уже принадлежал к группе левых «молодых» диссидентов, а с 1897 года входил в редакционный состав зарождавшегося «*Sozialistische Monatshefte*» «Социалистический ежемесячник»), основывался на такой же вере в гармоничное и мирное развитие производства и потребления, поэтому они ставили перед марксистами те же вопросы, что и буржуазные экономисты. Среди этих экономистов первым начал проявлять некоторое беспокойство, связанное исключительно с экономическими вопросами и вытекающими из них политическими последствиями, Гобсон в 1902 году. У социалистов первые оригинальные соображения на эту тему высказывает Каутский, а затем Роза Люксембург. Итог ее, хотя и специфического, анализа совпадает с выводами неоспоримого теоретика немецкой социал-демократии. В статьях, опубликованных Каутским на страницах «*Нойе цайт*» в 1899—1900 годах¹, он сразу же делает вывод, что далекие от Европы войны и колониальные экспедиции предвещают начало периода обострения не только классовых, но и межгосударственных противоречий. На омену свободной и относительно мирной конкуренции приходит монополия, а с ней и «идеал пирата», осуществление которого в классовой структуре такой страны, как Германия, может стать особенно активным: между банкирами, ищущими рынки для помещения капитала, накопленного бешеными темпами, и прусскими юнкерами, традиционными проводниками самого воинственного милитаризма, может быть заключен самый тесный и опасный союз. **Weltpolitik** может иметь своим «окончательным последствием **Weltkrieg**».

Атака, предпринятая Розой Люксембург, носит непосредственно политический характер. С 1898 года, с момента первого появления Розы Люксембург на немецкой социал-демократической сцене², она ассоциирует милитаризм с таможенной и колониальной политикой и таким образом готовит почву, чтобы перейти от уже ставшего классическим разоблачения внутреннего милитаризма к борьбе против милитаризма внешнего. Два года спустя, в сентябре 1900 года, в своем докладе на Парижском конгрессе она объединяет выводы двух комиссий (колониальная политика и милитаризм — два

¹ См. великолепный анализ: *P. Angel, Eduard Bernstein et l'évolution du socialisme allemand*. Paris, 1961. d. 169—170.

² *P. J. Netti, Rosa Luxemburg*. Milano, 1970, p. 139 sgg.

лица **Weltpolitik**) и составляет их анализ¹. Как и Каутский, но с еще большим пылом, она разоблачает милитаризм и «маринизм» (развитие военно-морского флота) как виновников бедствий пролетариата и виновников погони за колониями, как явления, создающие обстановку постоянной международной враждебности, которая рискует перерасти в войну между «цивилизованными государствами». Однако в отличие от Каутского деятельница польского движения не ограничивается этим анализом: перед лицом интернационализации империализма (в ее выступлении и вообще в то время это понятие и понятие милитаризма отождествлялись) она призывает к международным выступлениям пролетариата, когда пролетариат будет действовать не только в области экономических требований, но и на политической арене.

В этом стремлении к борьбе Люксембург обличается со своим политическим противником Жоресом, который тоже яростно защищает «политику действий» во имя мира. (Жорес выступал против цветистых выступлений и «платонических заявлений»² большинства социалистов.) На Парижском конгрессе, где защита министерализма лишила его энергии борца и он отказался от выработанного за несколько недель до этого проекта Европейской лиги мира, основанной социалистами, но «открытой для всех людей доброй воли»³, Жорес, хотя вплоть до 1905 года он и не осознавал новой опасности⁴, не прибегая к методам анализа Каутского или Розы Люксембург, неоднократно предлагал конкретные международные инициативы. Он также возлагает надежды на способность Международного социалистического бюро (МСБ) призвать все партии к совместным действиям. Однако в том, что касается целей борьбы, их точки зрения расходятся в силу различной обстановки, в которой они действуют, и культуры, в которой они сформировались. Для Жореса, полностью занятого блоком французских левых, речь идет о том, чтобы, используя относительное спокойствие в Европе, приступить к созданию пацифистских организаций, которые с 1896 года получили одобрение Интернационала. «Как подготовить всеобщее разоружение? Как поверить в арбитражные организа-

¹ Биографы Люксембург (см. также работу, указанную в предыдущей сноске, с. 292 и след.) не относятся с должным вниманием к этому ее вкладу и работу съезда. Чтобы иметь нужную информацию, надо сравнить немецкий протокол с официальным отчетом на французском языке.

² Так же поступала Роза Люксембург. См.: *“Rapport sur la paix des peuples, le militarisme et les armées permanentes”*. — In: *“Internationaler Sozialistischer Kongress zu Paris”*. Berlin, 1900, S. 27.

³ Жорес излагает этот проект в двух статьях 5 и 7 августа 1900 года в *“La petite République”*, где он был заместителем главного редактора.

⁴ В частности, в январе 1903 года он думал о возможности образования «европейского союза за труд и мир». См.: *M. Reberieux. Jean Jaurès: textes choisis*, t. I, Paris, 1959.

ции»¹ — вот вопросы, которые он предлагает обсудить весьма основательно на предстоящем Амстердамском конгрессе и которые вновь встали в ходе дискуссии среди членов МСБ несколько дней спустя². Но проекты резолюций, подготовленные партиями для Амстердамского конгресса, показывают, что только английская Независимая рабочая партия (НРП) разделяла беспокойство Жореса³. Розу Люксембург волновали другие проблемы. Арбитраж, разоружение — каким образом заставить буржуазные правительства, которые проводят *Weltpolitik*, перейти к этим вопросам? Роза Люксембург не столько изучает постепенно складывающуюся обстановку, сколько рассчитывает на антивоенную агитацию и — в этих целях — на воспитание и организацию молодежи. Первая жертва милитаризма — это именно молодежь, ей необходимо показать его новые масштабы и привлечь народ на свою сторону.

В большинстве своем социалистические партии остаются индифферентными и ограничиваются «полуфаталистским осуждением», которое Жорес так же не одобряет, как и Люксембург. Среди немецких деятелей большее распространение получила противоположная точка зрения, которую первым сформулировал Макс Шиппель, а затем Вольфганг Гейне. Движение, во главе которого они стояли, отражало уверенность во второстепенности проблемы антимилитаризма и склонность к соглашательству. В 1898 году лидеры этого движения предложили нечто вроде сделки: голосование за военные кредиты в рейхстаге в обмен на расширение свобод, — а вскоре пошли еще дальше, превратившись в приверженцев колониальной экспансии, завоевания мирового рынка с целью укрепления рабочего движения в немецком государстве и преодоления его социальных язв. Делая ставку на регулярную армию, которая обеспечит величие родины, они проявляли недоверие к народной милиции (впрочем, такое же недоверие выражал иногда и Энгельс), доказывали неэффективность подобных вооруженных контингентов для защиты Германии, расположенной между такими державами, как Франция и

¹ "La petite République", 27 декабря 1902 года. МСБ собирается в эти дни на свое второе заседание в Брюсселе.

² "Le Bureau socialiste international. Comptes-rendus, Manifestes, Circulaires", v. I: 1900—1907. Paris-s/Gravenhage, 1969, p. 64. Проект для был подготовлен Жоресом и наконец принят единогласно: «Было бы очень интересно, если бы на предстоящем Амстердамском конгрессе социалистические партии представили доклады о международном положении, о народных предрассудках или же о планах правительства, способных скомпрометировать мир, и об эффективных средствах разрешения противоречий и предупреждения конфликтов между народами».

³ Проект резолюции, представленный НРП, см. в: "Congrès socialiste international d'Amsterdam. Rapports et projets de résolutions sur les questions à l'ordre du jour". Bruxelles, 1904, p. 141.

Россия. Из марксистской традиции они усвоили лишь внимание к рабочему классу и к национальному государству.

6. Штутгарт: последнее проявление единства Интернационала

Резолюция о милитаризме и международных конфликтах, принятая на Штутгартском конгрессе Интернационала (16—24 августа 1907 года), впоследствии постоянно цитировалась социалистами как свидетельство их коллективной воли противостоять войне, а затем — большевиками и их союзниками, наоборот, как доказательство предательства II Интернационала. Интерес к этому знаменитому, весьма многословному документу («У нас было слишком мало времени, чтобы его сократить», — извинялся Вандервельде, который зачитывал эту резолюцию) прежде всего объясняется дискуссией, в результате которой родился носивший временный характер вывод — свидетельство единодушия, проявившегося в последний раз. Важно отметить не только тот факт, что этот вывод стал последним выражением единства Интернационала, но что оно было достигнуто с трудом; позднее Интернационал станет объектом давления. Резолюция весьма пространна — 80 страниц аналитического отчета, опубликованного секретарем МСБ, куда вошло 67 выступлений известных деятелей социалистического движения, выступавших от имени 20 стран. Резолюцию долго готовили — и не на основании докладов, представленных в МСБ, а скорее, на основании дискуссий, развернувшихся в ходе национальных конгрессов в Международной организации социалистической молодежи¹, а также в печати и — между 1905 и 1907 годами — в парламентах. Вплоть до Копенгагенского конгресса 1910 года реакция социалистов на опасность войны существенно не меняется. Следовательно, Штутгартский конгресс можно рассматривать как кульминационный пункт в деятельности II Интернационала, как особую позицию, дающую возможность проследить, каким образом эта организация между 1905 и 1910 годами реагировала на вызовы со стороны милитаризма, национализма и империализма.

В период проведения конгресса проблемы, вызванные обострением международной обстановки, уже стояли в повестке дня, и так было вплоть до заседания МСБ 10 ноября 1906 года². Вайян настоял на том, чтобы немецкие социалисты подготовили доклад о «предупреждении международных конфликтов», а голландец Трульстра добавил к этому «вопрос

¹ Доклад Международной организации социалистической молодежи, написанный Де Маном, включен в *“Notes complémentaires”*, которые на конгрессе представлял Камилль Гюисманс.

² Отчет VIII пленарного заседания. См.: *“Le Bureau socialiste international”*, p. 240—265.

об антимилиитаризме», который в окончательной редакции стал звучать как «вопрос о милитаризме». Это не излишнее уточнение, поскольку Вайян остро полемизировал с немецкими социалистами, а Трульстра — с французскими. Действительно, начиная с 1905 года взамен уже прошедших войн последних лет XIX века возникла постоянно обострявшаяся напряженность между европейскими государствами: Италией и Австрией, Швецией и Норвегией и особенно Францией и Германией, для которой мощным детонатором явился марокканский кризис весны 1905 года. Поэтому французские и немецкие социалисты по-разному реагировали на эти события и в 1907 году выступали неодинаково. Чувствовалось, что французы понимают всю серьезность угрозы. В статьях и выступлениях Жореса выражена его глубокая озабоченность тем, чтобы пролетариат Франции и Германии своими выступлениями сделал невозможными «подобные предприятия и подобное варварство»¹. Тем временем соотношение сил между французской и немецкой партиями изменилось. Благодаря достижению социалистического единства Жорес приобрел во Франции — даже если его руководящая роль в новой политической организации, Французской секции рабочего интернационала (СФИО), и не была достаточно гарантирована — такой авторитет, которого он до сих пор еще не имел. Более того, перед лицом угрозы войны Жорес установил с Вайаном, старым бланко-марксистом и коммунарком, который принадлежал к другому направлению во французском социализме, рассчитанный на многие годы прочный союз, тем более ценный, что французская Конфедерация труда находилась тогда в зените своего развития, а боевой настрой профсоюзно-революционного руководства встречал широкий отклик, особенно среди рабочих-металлургов, благодаря растущему престижу рабочих организаций. Между 1905 и 1907 годами именно по вопросам войны и мира Жорес порывает с руководящими группами радикализма и со многими другими, кто поддерживал его в дни милитаризма. Поэтому не удивительно, что новые предложения исходят из Франции: ведь в них подчеркивается то, что затем подтвердится на Штутгартском конгрессе, а именно возрастающий престиж Французской секции рабочего интернационала и Жореса.

В то же время в немецкой партии, руководство которой переходит на оборонительные позиции, наблюдается определенный спад. Это уже не первый случай. То же самое наблюдалось и в момент ревизионистского кризиса. Но между 1899

¹ Выражение *“les entreprises de hasard et de barbarie”* взято из выступления 9 июля 1909 года *“La paix et le socialisme”*, опубликованного в «Юманите» и «Форвертс». Оно явилось предметом интересного нового исследования: *G. Chauveau. Analyse linguistique du discours jaurésien. — In: “Langages”, XII. 1978.*

и 1904 годами теоретические вопросы, поднятые Бернштейном, вызвали целый поток откликов не только ортодоксальных марксистов, но и тех, кто, как Жорес, усвоил лишь основы Марксовой мысли¹, и немецкая социал-демократия после Дрезденского съезда в 1903 году вновь получила преимущественное право на наследие Маркса и Энгельса. Совсем другой была обстановка в 1907 году. В результате выборов и под ударами национализма партия потеряла значительное число мест, предоставив, таким образом, течению, во главе которого стояли Георг Фольмар и Густав Носке, аргументы в пользу проправительственного понимания национальной обороны и в пользу некоего Кальвера, который в ходе марокканского кризиса защищал скорее антифранцузские, чем интернационалистские, позиции². И все это задевало интересы той самой партии, чей прочный союз с профсоюзами после Мангеймского съезда 1906 года усилил тенденции к политической пассивности, утриеризму, к недооценке новой обстановки, возникшей в ходе развития империализма.

Из-за вполне понятной реакции на официальную позицию Коммунистического Интернационала, который долгое время переоценивал влияние Ленина во II Интернационале и предвещал его разрыв с Каутским, в той же степени в общем были недооценены и выводы, которые русские и польские левые марксисты — от Ленина до Мартова и Розы Люксембург — сделали из русско-японской войны: военное поражение царизма открыло двери революции в России и Польше. Для русских и польских социал-демократов зависимость между войной и революцией потеряла абстрактный характер, который все еще чувствовался в выступлениях немецких и французских деятелей³. «Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма», — заявил Ленин задолго до «кровавого воскресенья» в Петербурге⁴, и события 1905 года подтвердили справедливость этих слов.

В этом и состоит суть дискуссии, развернувшейся в Штутгарте. Здесь выделяются три позиции, однако нельзя быть уверенным в целостности каждой из них. Наступление начали французы⁵. Они весьма энергично отстаивали специфический

¹ J. Jaurès. Bernstein et l'évolution de la méthode socialiste. — In: "Langages", XII, 1978; "Oeuvres", Paris, 1961, t. II, p. 119—140.

² Основной источник по этому вопросу: C. Schorske. German Social-democracy 1905—1917. Cambridge (Mass.), 1955.

³ Поль Лафарг в «Ле сосьялист» 25 июля 1905 года написал о том, что невозможно, чтобы европейская война привела к социальной революции, и поэтому агитация в пользу войны во Франции и Германии имеет своей целью единственно поддержку промышленности.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 158.

⁵ «Прежде чем отправиться на международное собрание, долг каждой нации — утвердить самое себя», — заявил Жорес на съезде в Нанси. См.: "Quatrième congrès national tenu à Nancy les 11—12—13 et 14 août 1907. Compte-rendu sténographique". Paris, 1907, p. 286.

характер вновь возникшей опасности войны. Об этом говорили Жорес и Вайян, а также Гюстав Эрве. Именно их голоса обеспечили резолюции Вайяна большинство на решающем съезде в Нанси. Отрицая перманентный характер международной обстановки, большинство членов СФИО приписывали себе заслугу пацифизма широких слоев трудящихся и крестьянства, провозглашая собственную способность находить политические ответы на проблемы, возникшие в результате международных конфликтов. Основная ответственность, которую несет капитализм, даже не дискутировалась. «Теперь, когда образовались великие народы Европы, не может быть новых войн, кроме капиталистических», — заявляет Жорес в Штутгарте¹. Но «капитализм — это не бог, замкнувшийся в своем святилище», и его можно поразить «во всех его проявлениях». Таким образом, антивоенная борьба не является отвлекающим маневром. В этом вопросе Вандервельде и Андреа Коста, Карл Либкнехт² и Анри де Ман более или менее явно поддерживали Жореса. Конечно, тут не обошлось и без расхождений. В теоретическом плане Гюстав Эрве основывался на отрицании понятия родины при капитализме, тогда как Жорес, всегда критически настроенный против «антинациональных» утверждений «Манифеста», считал, что кажущийся кризис идеи родины — просто кризис роста. Что же касается средств для защиты мира, то Эрве вновь призвал к антивоенной забастовке, к чему без особого успеха в свое время — в 1891 году — призывал Ньюенгейс. Вайян и Жорес предлагали использовать «все средства»: от парламентских выступлений до уличной агитации, от народных манифестаций до всеобщей рабочей забастовки и восстания, все средства граждан и пролетариев. В отличие от Эрве тут была цель, скорее, не «навязывать свои условия друзьям-социалистам»³, то есть немецким социалистам, а достичь в рамках конгресса общих правил действий, «хорошо обдуманных и принятых всеми». Однако по основным позициям (осознание опасности, стремление бороться против нее и надежда на победу) большинство членов СФИО, пользовавшееся немалой поддержкой других сторон, выступило единым блоком.

Блок, правда, с некоторыми оттенками, образовала также социал-демократическая немецкая делегация. В комиссии ее поддержали австриец Адлер, румын Раковский, французские гедисты и их бельгийские друзья, а англосаксы составили

¹ "Septième congrès socialiste international tenu à Stuttgart. Comptendu analytique", Bruxelles, 1908, p. 133.

² Карл Либкнехт не входил в комиссию, обсуждавшую вопросы милитаризма и международных конфликтов, но представлял основной доклад на Конференции молодежных организаций.

³ Так говорил Вайян в Нанси. См.: "Quatrième congrès", p. 227.

особую партию¹, отказавшись, как и шведы, повлиять на заключительную резолюцию. В общем, ортодоксальные марксисты, область деятельности которых значительно сократилась, сгруппировались вокруг немецких представителей, тем более что наметилось примирение, как это случилось при обсуждении вопроса о колониях между ортодоксами и ревизионистами, между Бебелем и Фольмаром. В целях принятия единой платформы против анархизма, разработка которой шла очень медленно, и, стало быть, во имя верности прошлому, во имя высших целей немецкого социализма, который мог развиваться только в духе уважения к легальности, марксистские позиции были смещены вправо. В обстановке, которая не нова, утверждалось теперь, нет необходимости в новых решениях: в случае возможных угроз достаточно противопоставить им возросшую силу партии в парламенте, тогда как одно лишь упоминание о всеобщей забастовке ухудшило бы ее положение. И наконец, в XX веке можно — единственно в этом плане ситуация внешне изменилась — различать оборонительные и наступательные войны². Таким образом, любая инициатива, превращающая борьбу рабочего класса против войны в самоцель, становится пагубной или, во всяком случае, бесполезной.

Но левые польские, русские и частично голландские марксисты впервые вступают в дискуссию довольно оригинальным образом. Намечается новое течение. Согласно ему, в тактическом плане, несомненно, не надо безоговорочно поддерживать резолюцию Бебеля, великого борца за объединение немецкой партии, почти ставшей международной: ведь столько социалистов разных наций Центральной и Западной Европы обрели там очень важные позиции; надо подкрепить его резолюцию поправками, а главное — выступить против Фольмара. В политическом же плане Ленин и Роза Люксембург критикуют уход марксистов в схематизм и парламентаризм. «Живое стремление ко все более решительным и новым приемам борьбы всецело признано международным пролетариатом...», — комментирует Ленин³. В смысле стратегии — и это весьма важно — прививка русской и польской революции на дерево русско-японской войны дает реальную перспективу, которая до сих пор оставалась чисто отвлекающей и даже с 90-х годов не упоминалась в резолюциях, представлявших собой документы пацифизма. Ленин подчеркивает вклад Ро-

¹ Англичане и американцы выступили в Штутгарте против всеобщего вооружения народа. Они считали это отступлением, поскольку в их странах не было призыва в армию.

² «Прозорливый политик, — говорил Бебель, — без особого труда увидит основные причины конфликта. Тайны политики кабинетов больше не существует». «Septième congrès», p. 118.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 88.

зы Люксембург «вместе с русскими делегатами с.-д. (Ленин и Мартов, оба выступали здесь солидарно)»¹, предложившей поправки к резолюции Бебеля:

«В случае начала войны социалисты обязаны бороться за скорейшее ее прекращение и повсеместно использовать экономический и политический кризис, вызванный войной, для агитации в самых глубоких народных слоях в целях ускорения падения капитала».

Комментарии Ленина² в то же время подчеркивают иную сторону этого успеха: «...Штутгартский съезд рельефно сопоставил... оппортунистическое и революционное крыло международной социал-демократии и дал решение этих вопросов в духе революционного марксизма»³. Изолировав «полуанархистский» и «простоватый» эрвензм, интересный только как лакмусовая бумажка, показывавшая волю к борьбе, а также более опасный оппортунизм фольмаровского типа, левые марксисты — от Жореса, поведение которого в Штутгарте Ленин иногда хвалит, до Бебеля и русских и польских социал-демократов — способствовали усилению единства движения, опиравшегося на собственные позиции.

Что касается окончательной позиции, то поправка, во всяком случае, усиливала радикальную окраску резолюции. Но за кажущейся ясностью и единодушной поддержкой скрывались значительные двумысленности. Возможно, только русские и поляки серьезно смотрели на проблему революции. Немцы и их сторонники приняли резолюцию потому, что в ней не упоминалось о всеобщей забастовке, приводились исторические примеры борьбы пролетариата против войны и она не нарушала политической практики, на которую рассчитывала социал-демократия в надежде вновь обрести успех на выборах. Французы и те, кто их поддерживал, приняли резолюцию, потому что живо почувствовали ее активный тон и то, что даже с точки зрения престижа она означала отступление немецкой социал-демократии. Англичане и американцы поддерживали ее, поскольку были уверены, что к ним она не имеет никакого отношения. Вандервельде, докладчик на пленарном заседании и председатель МСБ, со своей стороны рассчитывал на то, что каждая партия, возвратившись в свою страну, изучит возможности корректировки прицела. И ничто не мешало на это надеяться.

7. Какая война?

В первой части Штутгартской резолюции в редакции Бебеля утверждалось, что войны между капиталистическими

¹ Там же, с. 87.

² Там же, с. 87, 74.

³ Там же, с. 74.

странами, тень которых, казалось, нависла над Европой в 1905 году, вызываються конкуренцией этих стран на мировом рынке. Поэтому возникавшие дискуссии о характере конкуренции ставили конкретные проблемы войн, угрожающих миру.

Возможна ли в XX веке война по воле народа, который стремится к собственному национальному единству? Заслужой Жореса является то, что он не уклонялся от этого вопроса. Марксисты, считавшие, что этот вопрос решен, все же продолжали его разрабатывать. Для Жореса первостепенное значение мира жоренится во все глубже осознаваемой ценности европейской цивилизации, обогащенной всеми составляющими ее культурами и опирающейся на «великие народы Европы». Таким образом, он подходит к тем же выводам, что и Энгельс с Каутским: даже если «национальные соображения брали верх над планами правительств» в прошлом, например в период объединения Германии и Италии, то эта эпоха уже прошла и наступило время лишь капиталистических войн¹. Жорес возвращался к этой теме неоднократно, особенно во время первой Балканской войны. «Эра великих национальных войн закончена»², европейская цивилизация достигла такого уровня, когда «глубоко скрытая сила вековых инстинктов» не может вылиться в крупные конфликты. Те же балканские народы, которые из-за этнической и религиозной неразберихи практически находятся в том же состоянии, что и в прошлом, могут рассчитывать на будущее лишь в рамках федерации, упоминаемой в программе балканских социалистов. Только «капиталистическая конкуренция» заставила Италию напасть на Триполитанию, начать войну, которая сделала возможными конфликты внешненационального характера, терзающие теперь Юго-Восточную Европу. Мелкие политические партии на Балканах шли еще дальше и развешивали «кровавый идеал национальностей»³.

Понятие оборонительной войны для этих социалистов уже не могло иметь никакого значения. По-иному шли дела на Западе, где ни французский, ни немецкий пролетариат, ни даже социалистические партии не испытывали влияния иностранного засилья. Поэтому самая настоящая дискуссия на эти темы еще только начинается. В Штутгарте никто не присоединился к предложению Бебеля по этому пункту, и второй параграф резолюции Вайяна — Жореса, по которому было достигнуто почти полное единство в СФИО⁴, выпал из

¹ "Septième congrès", p. 133.

² J. Jaurès. Guerre et intrigue. — In: "L'Humanité", 20. X. 1912.

³ См.: «Манифест» социалистов Турции и Балкан: "Bulletin périodique du Bsi", № 9, p. 5—7. Бюллетень отредактирован Раковским по поручению МСБ.

⁴ Против выступили только эрменсты.

из хода дискуссии и из заключительной резолюции. Этот параграф напоминал о долге рабочего класса перед своей нацией, независимость которой оказывалась под угрозой, а также о том, что надо противостоять этой опасности, и призывал трудящихся других стран оказывать помощь в борьбе против нее. Молчание конгресса говорит о его замешательстве. Выходит, что капиталистическая война, видимо, может быть и оборонительной? Какой же смысл имеет для марксистов подобный вопрос? Полемика по этому вопросу разворачивается в сентябре 1907 года на Эссенском съезде в Германии, а не во Франции, где ортодоксальное течение во главе с Гедом не делало тайны из того, что полностью согласно с вариантом текста, выработанным друзьями Вайяна.

Опправным пунктом стало заявление Носке в рейхстаге, где говорилось о том, что «немецкий народ в своей целостности проявляет интерес к военным организациям для защиты нашей родины»¹. Было ли это формой неолассальянства² или речь попросту шла о многозначительной реакции на интеграцию партийной фракции в государство? Бебель выступил в защиту Носке, используя положение о различии между оборонительной и агрессивной войнами, сформулированное на конгрессе. Но многие выступили против. Друг Бернштейна пацифист Курт Эйсер заявил, что эти соображения опасны и объективно увеличивают международную напряженность. Принципиально против был и Каутский, чье беспокойство, касающееся теоретической области, чувствовалось еще в Штутгарте; он не признавал никакого марксистского содержания в понятии оборонительной войны, считая, что если уж делать выбор, то только в интересах пролетариата³. Была также политическая оппозиция левого крыла

¹ "Stenographische Berichte der XI Legislaturperiode", p. 1098—1101.— In: J. Rovin. Histoire de la Socialdémocratie allemande. Paris, 1978, p. 138.

² Через несколько лет анализ этого явления будет опубликован в работе: C. Andler. Le socialisme impérialiste dans l'Allemagne contemporaine. Dossier d'une polémique avec Jean Jaurès. 1912—1913. Paris, 1918.

³ Ленин придерживался тех же принципов, когда 5 апреля (23 марта) 1905 года писал в газете «Вперед»: «...несомненный факт наглядно показывает нам, как даже такой «простой» и ясный вопрос, как вопрос о войне и мире, не может быть правильно поставлен, если упускается из виду классовый антагонизм современного общества, если упускается из виду, что буржуазия при всех и всяких ее выступлениях, как бы демократичны и гуманитарны они ни казались, оберегает прежде всего и больше всего интересы своего класса, интересы «социального мира», т. е. интересы подавления и обезоруживания всех угнетенных классов... Пролетариат борется и всегда будет неуклонно бороться против войны, не забывая, однако, ни на минуту, что уничтожение войн возможно лишь наряду с полным уничтожением деления общества на классы, что при сохранении классового господства нельзя оценивать войны с одной только демократически сентиментальной точки зрения, что при войне между эксплуататорскими нациями необходимо различать роль прогрессивной и реакционной буржуазии той или иной нации» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 373).

партии. Пауль Ленш и — менее явно — Георг Ледебур, исходя из реальной обстановки в мире, утверждали, что она не позволяет оправдывать никакую войну. Но дискуссия так и не привела к окончательным выводам: немецкие социалисты просто отказались дать разъяснения по основному пункту.

Тем не менее дискуссия показала, что трудности были как теоретического, так и политического порядка. Необходимо было отдать себе отчет в опасностях войны, выходящих за рамки конкретного международного положения, чтобы учесть их по возможности в коллективной классовой политике. Необходимо было также охарактеризовать природу и тенденции новых противоречий между капиталистическими державами и определить вытекавшие отсюда последствия. Дать такой анализ попытался Каутский в 1909 году в своей книге «Путь к власти»¹. Эта книга, о которой Ленин позже скажет, что в ней в последний раз проявились достоинства Каутского, вызвала беспокойство в партии. Ссылаясь на возможность обвинений партии в нарушении законов, руководство потребовало внести в книгу некоторые изменения и добилось этого, вызвав очень сильное раздражение левых. Как бы то ни было, Каутский в своей книге возвращался к тематике статей в «Нойе цайт» и значительно дополнял их. В тех статьях он выступал против тезисов Макса Мауренбрехера о возможности мирного перехода к социализму. По его мнению, в начале XX века перспектива, открывшаяся перед рабочим движением, характеризовалась возросшей напряженностью и великими революционными битвами², имевшими большие шансы вылиться в войну. Хотя она маловероятна, но ее нельзя считать невозможной, и тогда именно рабочий класс сможет больше, чем кто бы то ни было, смотреть с уверенностью на ее исход. С тех пор как в 1891 году Энгельс выразил опасение, что война может привести к преждевременной революции, произошло довольно много изменений: численность, организация, моральное и идеологическое превосходство пролетариата уже настолько возросли, что «нельзя уже говорить о *преждевременной* революции, если пролетариат впитал в себя из существующей государственной основы всю ту силу, которую оттуда можно было извлечь, если перестройка этой основы стала необходимым условием для его дальнейшего подъема»³. Хотя Каутский и предвидел революционный исход

¹ K. Kautsky. Der Weg zur Macht. Politische Betrachtungen über das Hineinwachsen in die Revolution. Berlin, 1909. В приложении к книге помещена переписка Каутского с некоторыми деятелями немецкого социализма в 1909 году.

² K. Kautsky. La via al potere, capp. II, IX.

³ K. Каутский. Путь к власти. М., Госполитиздат, 1959, с. 126.

империалистической войны, правда, несколько фатально истолковывая объективные условия для этого, в своем выступлении он решительно порывал не только с правыми социал-демократами и с «леностью»! Бебеля и центра, но и с «цивилизаторской» ориентацией Жореса и английским пацифизмом. Поскольку новый век рождался из империалистической политики, то теперь уже надо было не рассуждать об оборонительном характере новой войны, а любой ценой способствовать росту морального авторитета международной социалистической партии, чтобы она превратилась в единственную нерушимую силу в обстановке всеобщего хаоса.

Однако Каутский вовсе не был новатором в области анализа империалистической политики. Социал-демократия сформулировала свои выводы еще в последние годы XIX века. Каутский продолжал связывать с империализмом политику экспансии и колониальных завоеваний, разработку новых видов вооружения для морских и сухопутных сил. Первая попытка нового широкого осмысления этих проблем была предпринята в 1910 году марксистской школой Вены, где в 1904 году был опубликован первый том «Маркс студийен». Эта попытка нашла свое выражение в публикации «Финансового капитала»², исследовании молодого австромарксиста Рудольфа Гильфердинга. В этом обширном труде, следуя за своим соотечественником Отто Бауэром³, но иным путем, он предлагает определить империализм как завершение развития капитализма, но не архаичных его интересов, как утверждали некоторые, а, наоборот, самых современных его форм. В растущем слиянии банковского и промышленного капитала первое место занимает экспорт капитала, который поддерживается государствами, окончательно отказавшимися от либерализма. Таким образом, в результате яростной конкуренции может разразиться война, чреватая «революционными бурями». Подобная гипотеза Гильфердинга в 1911 году вызовет ожесточенные нападки Бернштейна, уверенного в том, что «повсюду важнейшие фракции делового мира сопротивляются войне»⁴.

Этой эмпирической аргументации очень скоро будет противостоять другая, еще более острая, непосредственно вытекающая из анализа австрийского ученого: не могут ли способствовать уменьшению (а затем и исчезновению в мировом

¹ Эту «леность» Каутский объясняет в письме к Гаазе от 19 февраля 1909 года возрастом Бебеля (*"Le chemin du pouvoir"*, p. 179).

² Французский перевод этой работы вышел в Париже в 1970 году с очень важным предисловием Бурде. Итальянский перевод опубликован в Милане в 1961 году.

³ *"Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie"*. Wien, 1907.

⁴ *E. Bernstein. Das Finanzkapital und Krisen.* — In: *"Sozialistische Monatshefte"*, 1911, p. 954; *Angel. Eduard Bernstein*, p. 350.

масштабе) конкуренции, которая является причиной войн, тесная связь между капиталами различных империалистических наций и развитие международных трестов? Если отбросить тему взаимозависимых отношений, выдвинутую Бауэром, то откроется путь для теории ультраимпериализма, для экономического обоснования веры в возможность избежать войн. Мы вновь вернемся к этим гипотезам, но после одного необходимого отступления.

8. Война войне

В 1911—1912 годах, когда после конфликта в Агадире возник второй марокканский кризис, а затем началась война в Ливии, искра которой попала и в балканский пороховой погреб, начинаются мучительные и тревожные поиски, с одной стороны, инициатив, способных локализовать конфликты, с другой — ответа со стороны масс, который мог бы показать силу социализма в мобилизации мира труда. Георг Гаупт прекрасно обрисовал нам эти лихорадочные годы¹. Используя архивные документы МСБ, он описал, как после Штутгарта поведение большинства членов СФИО продолжало расходиться с большинством немецкой социал-демократии² и как Интернационал в целом и его действующий руководящий орган оказались в центре напряженности между двумя крупными партиями.

Франко-немецкие разногласия все более возрастают еще до Базельского конгресса. Как и в 1905 году, это в основном разногласия в оценке степени опасности войны. В июле—августе 1911 года немецкий делегат в МСБ Герман Молькенбург и тот же Бебель усматривают в посылке канонерки «Пантера» в Агадир лишь отвлекающий маневр немецкого правительства, пытавшегося повлиять на выборы в рейхстаг. Два месяца спустя, во время итальянской агрессии в Триполитании, руководство немецкой партии считает, что этот вопрос «пока что не представляет интереса». Даже в августе 1912 года, когда на Балканах множатся тревожные признаки, немецкая социал-демократия не находит причин для беспокойства, тогда как Жорес и Вайян очень остро переживают каждое из этих событий.

Впрочем, отсутствие согласия между руководством обеих

¹ G. Haupt. *Le congrès manqué. L'Internationale à la veille de la première guerre mondiale*. Paris, 1965. Английский перевод (Оксфорд, 1972) дополнен главой о крахе II Интернационала.

² Кроме уже устаревшего исследования: M. Drachkovitch. *Les socialistes français et allemand et le problème de la guerre, 1870—1914*. Genève, 1953, см. капитальный труд: C. Pinzani. *Jaurès, L'Internazionale e la guerra*. Bari, 1970.

партий выходит за рамки анализа международной политики. Это заметно, когда просматриваешь французские предложения, отвергнутые немцами. Для Жореса и Вайяна Интернационал не только сумма составляющих его национальных партий. Престиж этой организации как символической инстанции пролетариата должен быть превращен в политическую силу, стоящую на службе мира. Основопологающими форумами для достижения этой цели являются конгрессы. МСБ и секретариат должны в дальнейшем активизироваться, как в период 1905 года. Как «координирующая и активная сила» (по определению Штутгартской резолюции) МСБ должно выступать в качестве своего рода генерального штаба социализма, разумеется, генштаба демократического. Поэтому, когда обстановка становится угрожающей — а так оно и было, — французы считают необходимым созвать совещания партий (июль 1911 года), созвать МСБ (сентябрь 1911 года), побудить его опубликовать международные воззвания (октябрь 1911 года), а также ускорить созыв международного конгресса (сентябрь—октябрь 1912 года). Каждое из этих предложений укрепляет согласие между французскими социалистами и ответственными руководителями МСБ, которое заручается поддержкой англичан, американских левых социалистов и радикальных сил того региона, которых непосредственно затрагивает балканский кризис: Болгарской рабочей социал-демократической партии («тесных социалистов» — «тесняков») и федерации Салоник. Но любое предложение натывается или на вето, или на серьезные помехи со стороны социал-демократов Центральной Европы. После Амстердама немецкая партия твердо провозглашает, что каждая секция Интернационала должна быть максимально независима, а МСБ, которому нередко симпатизировали мелкие партии, вызывает иронию Виктора Адлера: «На мой взгляд, роль МСБ как дипломатической инстанции не очень-то привлекательна. Все время такое впечатление... будто оно хочет заставить нас поверить во влияние, которого оно не имеет»¹. При международных консультациях престиж немецкой социал-демократии остается довольно солидным, и она собирает вокруг себя — кроме организаций, считающих ее хранительницей марксистской ортодоксальности (Голландия, Испания, Чехия), — тех, кто рассчитывает на ее политическое благоразумие, в частности скандинавские партии.

И все же в 1911—1912 годах, несмотря на глубокие разногласия, Интернационал резко выступает против войны. От массовых демонстраций, организованных МСБ во всех столицах Европы 5 ноября 1911 года, в тот самый день, когда

¹ Адлер—Бебелю, 7 августа 1911 года. — In: V. Adler. Briefwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky. Wien, 1954, S. 537—538.

Италия объявила об аннексии Триполи¹, до чрезвычайного Базельского конгресса (24—25 ноября 1912 года) — все или почти все партии активно участвуют в антивоенных манифестациях. В то же время многие местные социалистические организации в Германии быстро реагировали на события в Агадире², и к концу года немецкая социал-демократия организовала свою предвыборную кампанию под антивоенными лозунгами. Хотя реакция социалистов в Италии запоздала и сначала была не очень энергичной³, будущий главный редактор «Аванти!» Бенито Муссолини организует бурные манифестации против захвата Ливии. В сентябре—октябре 1912 года австрийские социал-демократы в ряде статей в «Арбайтер цайтунг» разоблачают националистические софизмы на Балканах и пытаются ограничить конфликт. На этом фоне в атмосфере почти религиозного экстаза чрезвычайный Базельский конгресс торжественно провозглашает, что Интернационал, и только Интернационал, может противостоять войне. «Я размечу молнии войны, прозящие из туч», — так Жорес, повторяя гневную фразу Шиллера, превращает ее в клятву⁴. «Ле Пёплэ», почти официальный орган МСБ, менее поэтично, но не менее твердо заявляет: «Мы еще раз можем повторить: только социализм выступал за мир на Балканах. Так же он действовал и в ходе итало-турецкой войны. Он оказался единственным фактором мира в мире капитализма. Он окажется в том же положении завтра, если, к несчастью, ему не удастся локализовать пожар»⁵. И несколько высокопарно звучит призыв: «благодаря величайшему сотрудничеству рабочих всех стран» социалистическим партиям суждено стать «истинными протагонистами истории».

9. Война или революция?

В тот самый момент, когда в Базеле на капитализм возлагают полную ответственность за будущую войну и манифест, принятый по этому случаю, подчеркивает обострение классовых противоречий, углубляется и характер принципиальной дискуссии, подводящей большинство социалистов к

¹ «Триполисты» — и среди них Биссолати — были исключены из Итальянской социалистической партии. О действиях Интернационала см. в: *G. Haupt. L'Internazionale socialista e la conquista libica. — In: "Movimento operaio e socialista", XIII, 1967, p. 3 sgg.*

² Роза Люксембург вместе с Гедом и Вайяном настаивает на том, чтобы 20 августа отправиться на митинг в Лейпциге, а Меринг в статье «Марокканская авантюра» в «Нойе цайт» делает из этого первые выводы.

³ *E. Ragionieri. La storia politica e sociale. — In: "Storia d'Italia Einaudi", IV, t. III, p. 1949 sgg.*

⁴ «Bulletin périodique du Bsi», № 10, p. 6.

⁵ «Le Peuple», Bruxelles 29. X. 1912.

пересмотру ими анализа тех перспектив, которые открывает империализм. Дискуссия длилась вплоть до начала войны, приняла широкий характер и отразилась на множестве докладов, составленных для международного конгресса, который должен был состояться в августе 1914 года в Вене. Пытаясь определить темы, которые вырисовываются довольно медленно, попробуем разделить их на три части. Заметим, однако, что такое деление вовсе не воспроизводит автоматически традиционного идеологического разделения между ревизионистами, ортодоксами и революционерами.

Среди крайне правых социалистических партий усиливается течение, имеющее тенденцию ассимилировать систему националистических ценностей и экспансионистские цели господствующих классов. Присоединившиеся к этому течению уже давно не верили в возможности революции и, в сущности, не рассчитывали более на мир. Причем и люди марксистской формации были убеждены, что над созерцательным гуманизмом возобладают экономические нужды, и лелеяли смутные надежды на образование огромных автаркических империй, надеясь решительно воспрепятствовать тому, чтобы преимущества прогресса стали монополией обладателей капиталов¹. В этих кругах, в общем, допускалась необходимость колониальной или полуколониальной политики, поскольку в этом усматривался вопрос жизни и смерти нации и ее рабочего класса, причем они были готовы пойти на риск войны, чтобы предоставить соответствующие возможности собственной стране или, во всяком случае, голосовать за кредиты во имя национальной обороны. В Германии насчитывалось довольно много людей, которых Каутский назвал «социалистами от реальной политики»: Давид, Шиппель, Фольмар, Носке, Мауренбрехер, Гилдебранд (единственный, кого на Хемницком конгрессе в 1912 году исключили из партии). Но в Италии такой марксист, как Антонио Лабриола, еще за десять лет до Биссолати с жаром отстаивал захват Ливии во имя «политики роста населения»².

¹ E. Priester. *Die Imperialismusdebatte. Rückschau und Bilanz.* — In: «Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte». Stuttgart. 1966.

² Известное интервью А. Лабриолы для «Джорнале д'Италия» было опубликовано 13 апреля 1902 года (A. Labriola. *Scritti politici*, p. 491—499):

«Прежде всего... необходимо начать постоянную работу по проведению экономической политики и политики роста населения. Тогда Италия, вместо того чтобы распылять свою демографическую энергию по всем частям света (это самый плачевный итог нашей отсталости в мире)... могла бы твердо перенести свои цели на недалекий регион, такой, как, например, Триполитания». 21 июня 1901 года (*ibid.*, p. 469—473) Лабриола, относясь скептически к международному арбитражу, в основном показал себя его противником. По его мнению, арбитраж должен ограничиваться разбирательством спорных вопросов между государствами, «...но спорные вопросы в итоге и постоянно — это или показатели, или же инциденты, или признаки соревнования, оппозиции, конкуренции между различными по-

Правые вербовали своих сторонников не только среди новоиспеченных колониалистов. Британская социалистическая партия, изгнав в 1913 году из своих рядов президента Гайндмана за шовинизм, не только нанесла удар по одному из немногих английских марксистов, но и выступила против одного из тех, кто многие годы осуждал английскую политику в Индии. У СФИО — возможно, из-за ее теоретической слабости — среди множества активистов не было руководителя подобного масштаба. Но с конца первого десятилетия века в разных странах Европы поиски национального социализма шли со все большей одержимостью и среди деятелей, связанных с революционным синдикализмом. Иногда это были марксисты, и не всегда члены социалистических партий: Роберт Михельс, Артуро Лабриола, Жорж Сорель...

Левые марксисты, хотя и придерживались некоторых общих с ними целей, боролись против этих людей, помимо всего прочего, из-за различия во взглядах на многочисленные тактические вопросы¹. Левых объединяла уверенность в быстром приближении революции. Ленин был убежден в этом с 1912 года, то есть с начала нового этапа развития русского рабочего движения². Либкнехт и Роза Люксембург верили в это, опираясь на свою антимилитаристскую деятельность³, причем Роза Люксембург исходила еще из теоретического анализа империализма, сделанного в ее работе «Накопление капитала», опубликованной в 1913 году. Там, в «Обращении к читателю», выражалась надежда, что это произведение может иметь «не только теоретический интерес, но и определенное значение для целей нашей практической борьбы против империализма»⁴. В отличие от Гильфердинга, для Люксембург империализм не был специфически связан с развитием финансового капитала: империализм ограничился тем, что довел до крайности постоянно присущие капитализму противоречия, которые вынуждали его включать в собст-

литико-экономическими комплексами, у которых уже есть свой радиус действия, или же между теми, кто стремится его обрести или определить сферу влияния. Эта борьба происходит из внутренней структуры самих государств и большей частью является условием их прогресса и способом проявления их прочности».

¹ О расхождении среди левых в немецкой социал-демократии см.: U. Ratz. *Kautsky und die Abrüstungskontroverse 1911—1913 in der deutschen Sozial-Demokratie*. — In: "International Review of Social History", 1966, v. 2.

² Ленин не поехал в Базель в 1912 году. См.: G. Haupt. *Lénine, les bolcheviks et la II-e Internationale*. — In: "Cahiers du monde russe et soviétique", VII—IX, 1966.

³ K. Liebknecht. *Militarisme, guerre, révolution*. Paris, 1970; *Nettl. Rosa Luxemburg*, v. II, p. 152 sgg; G. Badia. *Rosa Luxemburg, journaliste, polémiste, révolutionnaire*. Paris, 1975.

⁴ R. Luxemburg. *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomische Erklärung des Imperialismus*. Berlin, 1913.

венную систему формации, еще не ставшие капиталистическими, в целях реализации сверхприбыли, необходимой для накопления¹. Борьба за раздел этих отсталых обществ жизненно важна для империализма, необходимой формой которого является милитаризм. Поэтому война между империалистическими странами неизбежна, но она породит революцию. Таким образом, пацифизм — это обман, и пролетариат должен готовиться к революции с помощью массовой политической борьбы, и особенно борьбы против основного врага — милитаризма.

Независимо от экономических основ этих выводов разногласия между революционными марксистами в 1913 году скорее обостряются, чем затухают. Неомотря на свои тактическую ловкость и тесные отношения с крайне левыми социалистами Голландии, Ленин в Интернационале остается в изоляции. Люксембург особенно не приемлет его позиции по вопросам, связанным с социал-демократической партией Польши. В Германии также в 1911—1913 годах поразительно накалилась атмосфера дискуссий по милитаризму между крайне левыми (бременцами): Паннекуком, Радеком, Леншем, с одной стороны, и Либкнехтом и Люксембург — с другой. Для Либкнехта, всегда находящегося на линии огня, милитаризм — это прежде всего внутренний враг, ненавистный для молодежи, которая должна становиться под ружье, и враг трудящихся. Ленш, уверенный в невозможности мирного разрешения кризиса, как и Радек, склонен считать, что борьба за сокращение вооружений² лишена смысла. Однако в отличие от Радека он верит в действенность выступлений за сокращение срока военной службы. Паннекук пытается дать нелегкий синтез. В остальных же странах Европы ничего подобного даже не отмечается.

Но это позиции меньшинства. Влиятельные представители Интернационала вплоть до 1914 года сохраняют надежду увидеть торжество мира. Правда, иногда меняется их тактика. Их надежды подкрепляются и в какой-то степени возрастают благодаря успешным выступлениям против войны в 1911—1912 годах. Политические события предоставляют аргументы для нового анализа империализма. Теоретики ортодоксального марксизма приступают к нему с 1911 года. Экономическим аспектом этого анализа в основном занимается Гильфердинг, а Каутский находит для него и название — ультраимпериализм, или суперимпериализм. Речь идет

¹ См. предисловие Ж. Пети к французскому переводу книги «Накопление капитала» (*"L'accumulation du capital"*, Paris, 1967, p. 15).

² На Копенгагенском конгрессе Радек даже выступил против резолюции немецкой социал-демократии о сокращении морских вооружений, считая эту резолюцию утопической. См. в: *R. Luxemburg. Lettere a Leo Jogiches*. Milano, 1973, p. 261.

о возможностях для финансового капитала преодолеть противоречия, рост которых Каутский отмечал в 1909 году, с тем чтобы ориентироваться на бесконфликтный процесс эксплуатации, на начало солидарности. Если «крайние формулировки будут опубликованы в «Нойе цайт» только в сентябре 1914 года, то скрытые соображения очевидны по крайней мере с 1911 года: война уже кажется если и не невозможной, то, во всяком случае, маловероятной. Впрочем, Бебель с полной ответственностью говорил об этом еще во время агадирского кризиса. Имея подобную перспективу, можно обратиться свои силы против внутреннего милитаризма и заняться преимущественно пропагандой.

В этом анализе немецкая партия не имеет исключительной монополии. Немногочисленные французские теоретики, последователи Гада, в частности Бонье, развивают его на страницах «*Le сосьялизм*» и даже вынуждают выйти из редакции Шарля Раппопорта, в конце ноября 1912 года основывавшего собственную газету «*Контр ля гер*». Незадолго до смерти в 1911 году Лафарг высказывает по этому поводу новое соображение: войну невозможной делает создание все более совершенных типов оружия¹. Но другие социалисты, которых нельзя назвать ортодоксальными марксистами, возвращаются к этим идеям и ссылаются на них вовсе не с целью найти в них чувство безопасности или оправдание своей пассивности, а чтобы подкрепить свои надежды и с еще большей энергией бороться против войны. Так, 20 декабря 1911 года Жорес в палате депутатов вновь приводит тезис Бебеля о трех силах, работающих на мир (главная из них — международный финансовый капитализм, проходящий стадию организации²).

В эту эпоху у Жореса общее с Каутским и Бебелем то, что он, в отличие от левых, не отказываясь от революционной гипотезы, все же считает революцию делом отдаленного будущего. Отсюда интерес к докладам Отто Бауэра и Сиднея Вебба на Венском конгрессе. Обобщая последние труды марксистских экономистов и полемизируя с Розой Люксембург (правда, не упоминая ее имени), представитель австромарксизма [Бауэр] утверждает, что капиталистическому обществу не грозит кризис, а Вебб на примере Англии показывает, что борьба профсоюзов дала возможность отвоевать у хозяев еще часть прибавочной стоимости. Необычайный подъем немецкого и английского синдикализма³, широкое

¹ В своем докладе на Венском конгрессе к этому аргументу вновь прибегает В. Х. Флихен; см. *G. Haupt. Le congrès manqué*, p. 210.

² *Jaurès. Oeuvres*, t. IV, p. 429—431. (Жорес цитирует Гильфердинга, а не Бебеля.)

³ См. доклад Г. Хаупта на коллоквиуме: «*Jaurès et la classe ouvrière*». Paris, 1979.

влияние профсоюзов на социал-демократию в Германии и теснейшая связь между лейборизмом и тред-юнионизмом придают этому тезису оттенок правдоподобия, что мешает внимательно проанализировать экономические данные. Таким образом, на задний план отодвигается не только страх перед войной, но и сама необходимость революционной борьбы.

10. Крах Интернационала

На этом фоне развиваются инициативы против милитаризма и разгораются диспуты о возможных выступлениях в случае угрозы войны. В отличие от того, что происходило осенью 1912 года, на практике в схватку вовлекаются скорее генеральные штабы социализма, чем их войска.

Иначе и не могло быть, если вспомнить одну из штутгартских рекомендаций, касающуюся «серьезной практики» международного арбитража. В Копенгагене упорную кампанию в этом направлении ведет юрист Реннер, глашатай австрийской партии, представляющий ее правое крыло. Отношение левых скептическое, а немецкие социал-демократы не хотят использовать свое влияние. Жорес уже четыре года в первых рядах страстно борется за это. Он обладает талантом живо представлять мечту о гармонично развитом обществе, его упорство, несомненно, способствовало встрече французских и немецких парламентариев в Берне (май 1913 года). Парламенты, эти буржуазные институты, если в них проникнут социалистические силы, считает Жорес, могут стать местом встречи и работы, особенно во Франции¹, и Интернационал в 1912 году серьезно зондирует вопрос о двусторонних конференциях.

Это были долгосрочные планы, созвучные надеждам на длительный период без войны. Борьба против милитаризма, напротив, была связана с массовыми выступлениями и сопровождалась бурными митингами, манифестациями, выступлениями молодежи. Она шла дальше действий парламентов и в принципе пользовалась поддержкой левых сил. Итальянская социалистическая партия прибыла в Копенгаген с проектом созыва конференции европейских государств в целях наполовину сократить вооруженные силы². Ледебур заметил, что это предложение не имеет практического ха-

¹ 7 мая 1913 года Ленин называет конференцию в Берне «внушительной демонстрацией в пользу мира», однако предупреждает, что не стоит слишком доверять «т.г. буржуазным депутатам»: «единственная гарантия мира — организованное, сознательное движение рабочего класса» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, с. 144).

² «Huitième Congrès tenu à Copenhague. Compte-rendu analytique», p. 178—179.

рактера. Да и надо ли было придавать государственную форму подобным инициативам? Все это будет уточнено лишь в 1913—1914 годах. В марте—июне 1913 года СФИО проводит первую в своей истории подлинно массовую кампанию против законопроекта, по которому предполагается увеличить срок военной службы с двух до трех лет. Для обеспечения национальной обороны Жорес за три года до этого события предложил в форме законопроекта организовать «новую армию», которая являлась бы конкретной реализацией старого проекта социалистов об ополчении. Но это предложение было встречено без особого энтузиазма даже его собственной партией. Роза Люксембург в первые месяцы 1914 года на каждом митинге ведет пламенную пропаганду против милитаризма, «основной действующей силы государства», как выразился государственный обвинитель, который потребовал вынести ей приговор¹.

Французские социалисты, когда-то единые, и левое крыло немецкой социал-демократии оказываются в гуще агитационной кампании, которая тем не менее, если и могла мобилизовать общественное мнение против власти, не представляла собой решающего фактора в случае серьезной угрозы миру. В Штутгарте Жоресу и Вайяну не удалось добиться того, чтобы ортодоксальные марксисты признали всеобщую забастовку самым сильным оружием. Это оружие, «выкованное гением рабочих», как выразился Жорес, вновь предлагается в Копенгагене шахтером-пацифистом Дж. Кейр Харди, к которому сразу же присоединяется Вайян. И вновь отказ. Вайян упорно, снова и снова, предлагает Интернационалу изучить его поправку и предложение Дж. Кейр Харди. Мало-помалу благодаря усилиям Жореса и Вайяна перспектива антивоенной забастовки проявляется, и они могут ответить на возражения немцев и по возможности найти общий язык. Антивоенная забастовка? Об этом—ни слова. Тогда, может быть, массовая политическая забастовка в смысле длительного процесса, который проанализировала на примере России во время революции 1905 года Роза Люксембург? СФИО так далеко не идет. И все-таки вопрос стоит о забастовке, «вызванной чувствами масс»², сказал Вайян на предвоенном конгрессе. А Жорес добавил, что они не предлагают единственного решения, не предлагают гарантии, но показывают направление: «необходимо подготовиться к тому, чтобы стать достойными судьбы, которая нам уготована»³. По мне-

¹ *Badia. Rosa Luxemburg*, p. 199. Последнее слово Розы Люксембург на суде опубликовано в работе: *Nettl. Rosa Luxemburg*, v. II, p. 43—47.

² Отчет о первом дне работы конгресса: «Юманите», 16 июля 1914 года.

³ Там же. Резолюция была поддержана незначительным большинством: 1690 голосов против 1174.

нию Жореса, «всеобщая одновременная забастовка, организованная в интернациональных масштабах» (такова была формулировка, которая 16 июля 1914 года получила одобрение конгресса), является предупредительной мерой, побуждающей принять международный арбитраж. Но ни та, ни другая идея не будут реализованы. Послание Жореса от июля 1914 года имело лишь пропедевтическое значение.

С началом войны Интернационал обнаружил свое бессилие. Социализм потерпел крах на пути достижения одной из главных целей рабочего движения — сохранить мир. Это поражение подготавливалось давно, а в последний момент кризиса ему способствовали новые причины. В основном организация оказалась неэффективной. Появились возражения национального порядка, хотя и считалось, что они частично преодолены¹. Со ссылками на все тот же марксизм утверждались противоречившие друг другу толкования развития капиталистических обществ, а партии широко интегрировались в господствующие общества. Конечно, война могла бы стать не только источником гибели, но и причиной революции: историческая правда была на стороне революционных марксистов. Но в июле 1914 года никто не выдвинул подобной перспективы. Заявления на последнем заседании МСБ 29 июля колебались между каким-то доверием правительствам и общей растерянностью. Если перейти от теории к практике, то вся история марксизма XX века, а не только его история лета 1914 года, оказалась историей долгого и трудного приспособления.

¹ Весьма неясным представляется и вопрос о секретных переговорах между СФИО и немецкой социал-демократией в 1913 году.

ИСТОРИЯ МАРКСИЗМА

Том 2

Выпуск второй

Технический редактор *Л. Н. Шулейко*

Корректор *Н. И. Шарганова*

Сдано в набор 2.IX. 1981 г.

Подписано в печать 9.X. 1981 г.

Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская

Гарнитура литературная. Печать высокая

Условн. печ. л. 32,625. Уч.-изд. л. 36,22

Изд. № 24/34307. Заказ № 46

Ордена Трудового Красного Знамени

Издательство «ПРОГРЕСС»

Государственного комитета СССР

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

Москва 119021, Зубовский бульвар, 17
